

ВѢЖСКИЕ  
СОБОРЫ

НИКОЛАЙ  
Костомаров



НИКОЛАЙ  
Костомаров

ВѢЖСКИЕ  
СОБОРЫ



АКТУАЛЬНАЯ  
ИСТОРИЯ  
РОССИИ







Н.И.КОСТОМАРОВ

# ЗЕМСКИЕ СОВОРЫ

Исторические  
монографии  
и исследования



*Чарно*

1995

ББК 63.3(0)51

К 72

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ И СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

С.Е. Угловский, П.С. Ульяшов, В.Н. Фуфурин, С.Н. Харламов.

Художник В.Бобров

Костомаров Н.И.

К 72 Земские соборы. *Исторические монографии и исследования*. (Серия «Актуальная история России»). М.: «Чарли», 1995. — 640 с.

Сегодня много говорят о земстве, о народном самоуправлении. Потому так актуальны работы Н.И. Костомарова о старинных земских соборах, рассказывающие о первых представительных органах в структурах государственной власти на Руси, ограничивающих абсолютистский и чиновничий произвол. Из «Очерка торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях» читатели узнают о том, что русские люди очень любили торговать и не считали это унижением, о сметливости русских купцов, о купцах-шпионах, о ценах на товары (сколько стоили раньше икра, осетрина, соболя, мед, сало, вино, хлеб, соль...), о поборах и взятках торговых людей, о таможенных пошлинах, о торговле с границей, в характере которой почти ничего не изменилось за 300 лет. И, конечно же, прямые аллюзии с днем сегодняшним вызовут очерки историка о героях и антигероях Смутного времени, которому на Руси нет конца...

ISBN 5-86859-023-6

К  $\frac{4306000000-378}{6C5(03)-95}$  без объявл.

© Разработка серии, П.Ульяшов, 1995

© Худож. оформл., «Чарли», 1995

*Все права на распространение книги принадлежат фирме «Чарли».* Контактный телефон: 263-26-42



## СТАРИННЫЕ ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ

### I

В древности, когда народ не сплотился еще в политические общества, каждое поселение управлялось сходом хозяев жилищ и выбранными от них, из их же среды, лицами. Такой порядок был общим всем народам, стоявшим на первобытных ступенях гражданственности. И у нас было то же. «Живяше кождо с родом своим», выразился древний летописец о быте наших предков в отдаленные неведомые времена. Наша историческая жизнь в последовательном повествовании источников является со времени возникновения единого княжеского рода и с усвоения за ним права иметь своих членов правящими лицами у всех народцев, составлявших славяно-русское племя. Русь в это время делится на земли, и в каждой земле должен быть князь, как правитель, судья и предводитель военных сил по признанию в таком достоинстве всею землею, которая по отношению к нему, как к властвующей силе, называлась его «волостью». Главным пунктом в земле был город, укрепленное поселение, где пребывал князь и где обыкновенно сходились на совет с ним об общих делах жители земли; совет этот назывался вечем. Но земли, в свою очередь, делились на более мелкие земли, и в таких мелких землях возникали города, называемые по отношению к главному городу пригородами; они вместе с последним составляли одну единицу общей земли, а потому и были подчинены главному городу. Однако, при стечении благоприятных для пригородов обстоятельств пригороды иногда приобретали самобытность и даже полную независимость и тогда призывали к себе особых князей. Дробились таким образом земли, дробились и княжения. В древней Руси все отличалось неопределенностью: не было ни точного разделения жителей на сословия, ни законности в приобретении княжения для лиц княжеского рода, ни правил составления веч, ни условий состоятельности вечевых приговоров; во всем господствовала личная свобода и все на-

правлялось по течению событий. Г. Сергиевич превосходно изобразил этот характер нашей старинной политической жизни в своей книге *«Вече и князь»*, которая, будучи лучшим исследованием в нашей науке, должна надолго остаться настольною книгою для всякого желающего уразуметь нашу древнюю жизнь, хотя едва ли можно согласиться с почтенным автором ее в том, что будто<sup>1</sup> племенное различие не имело решительного влияния на образование волостей. Это утверждает автор на том основании, будто славянские племена, заселявшие Россию, не отличались резкими особенностями, которые бы могли надолго обусловить особый для каждого племени ход политического развития. При увеличивавшемся дроблении русско-славянского мира издавна, однако, светилося сознание, что Русская Земля есть едина, отлична от других, нерусских стран и все части Русской Земли составляют одно общее для всех отечество. Такая идея еще в темные для нас времена привела к единству княжеского рода; эта идея высказалась и в том внимании, какое оказывали к ней летописцы, охватывая в своих повествованиях все русские земли разом. Эта идея выразилась и в поэтической скорби о раздроблении русских сил певца Игорева. Но более всего эту идею проводила и поддерживала православная церковь, которая при всех политических дроблениях пребывала всегда единою для целого русско-славянского мира, как в своем иерархическом строе, так и в единообразии богослужения и церковного вероучения. Древняя дотатарская Русь не додумалась до соединительного органа всех земель своих; попытки некоторых князей устроить княжеские съезды остались неудавшимися и притом сами по себе были недостаточными для цели. Удельно-вечевой строй представлял такое брожение, в котором ощутительными были противоречивые стихии: из него могла выработаться и федерация свободных земель, и строгая монархия, смотря по тому, куда события повернут судьбу русско-славянского мира. Татарское завоевание повернуло его к тому, что в ее историческом ходе явился перевес к единовластию.

Справедливо можно усматривать первичные зачатки единовластия в Ростовско-Суздальской Земле уже в XII веке, но они, без сомнения, не пустили бы таких ростков,

---

<sup>1</sup> Мнение г. Сергиевича справедливо только до известной степени. Несмотря на долгое пребывание народных частей в одном политическом единении, и теперь еще можно заметить в нравах, образе жизни, верованиях и в языке народа некоторых губерний и уездов отмены, соответствующие древнему делению на земли и волости.

если бы не явилось на содействие их развитию иноплеменное завоевание. В XIV веке возникло ясное и определительное стремление к единовластию над всею Русью в Москве, прямой отрасли Владимира на Клязьме, взявшей над ним первенство подобно тому, как Владимир некогда захватил первенство над старейшими городами своей земли — Суздалем и Ростовом. В Москве развилось это стремление, в Москве окрепло оно в XV веке, а в XVI Москва стала центром Московского Государства, подчинившего все русские области, за исключением тех, которые отошли к иному, образовавшемуся из русских же стихий государству — Великому Княжеству Литовскому. Признаками московского владычества было поглощение земской областной жизни, уничтожение вечевого строя, стеснение личной свободы и порабощение народных масс воле великого князя и его наместников и волостелей. Здесь не место вспоминать, как русские земли одна за другою подпадали под власть Москвы: факт был для всех неизбежный и необходимый, но везде он возбуждал горькие жалобы привыкших к прежнему свободному строю. Дошли до потомства и стенания ростовцев, потерявших свою областную самобытность еще при Иване Даниловиче Калите<sup>1</sup>, и стенания псковичей, лишившихся своей свободы уже при Василии Ивановиче, в начале XVI века<sup>2</sup>. Господство великокняжеских наместников делалось сноснее только тогда, когда присланный из Москвы наместник был сам по себе человек доброго нрава, но вообще приходило в звании наместников больше таких, которых управляемые жители находили «лихими». Но мало-помалу начались делаться шаги к возвращению покоренным областям если далеко не полной былой свободы, то, по крайней мере, некоторого участия жителей в их местном управлении. При великом князе Василии Ивановиче велено было в Новгороде выбрать из улицы лучших людей сорок восемь человек и к целованию привести, а по государеву великому князя Иоанна Васильевича слову «оставили суди-

---

<sup>1</sup> «Увы, увы тогда граду Ростову, паче же и князем их, яко отъяся от них власть и мнение, и честь, и слава, и потягнуша к Москве... егда внидоста во град Ростов, тогда возложиста велику нужу на град и на вся живущая в нем и не мало от ростовец москвичем имения своя отдаваху с нужною, а сами противу того раны на телеси своем с укоризною взимающе» (Карамаз., IV, прим. 303).

<sup>2</sup> «И начаша наместники над псковичами силу велику чинити... и от их насиловства и налогов многие разбежашася по чужим городом, а кои иноземцы жили во Пскове и ти розыдошася во свои земли, ано не можно во Пскове жити, толко одны псковичи осташа, ано земля не расступится, а вверх не взлететь». (П. С. Р. Л., т. IV, с. 288).



ти с наместники старосту купецкого, а с тиуны судити целовальником по четыре на всякий месяц»<sup>1</sup>. В малолетство Иоанна Васильевича, когда государством управляли бояре, начались подаваться от жителей разных областей жалобы на злоупотребления и насилия наместников, и бояре стали давать грамоты, позволявшие участие выборных от народа лиц в суде и расправе. Так, в управлении Шуйского даны грамоты каргопольцам<sup>2</sup> и белозерцам<sup>3</sup>. Сущность этих грамот, выданных в 1539 году, состояла в том, что доверялось в волости избрать трех или четырех лиц из детей боярских, а при них быть старостам, десятским и лучшим людям из крестьян, человек по пяти и по шести, и передать им суд и расправу по уголовным делам. В последовавшее затем управление Бельского возвращено было псковичам их старинное право «по всем городам большим и по пригородам и по волостям лихих людей обыскивать самим крестьянам между собою по крестному целованию и казнить их смертною казнью, неводя к наместникам и их тиунам». «Наместники, сообщает летописец, были этим очень недовольны, а крестьянам была великая радость и облегчение, и суд перешел в руки псковских целовальников и сотских, которые стали производить суд в «суднице» (судной избе) на княжьем дворе, над рекою Великою». В короткий период управления Бельского не только во Пскове, но и в других местностях дано или, правильнее сказать, возвращено было жителям участие в суде. Так, в Сольгаличе дано обывателям право избрать десятских, пятидесятских и сотских и предоставить им вместе с городовым приказчиком (такие были в дворцовых волостях, а Сольгалич был волостью дворцовою) творить суд и казнить смертью преступников. Такое же право дано крестьянам сел Прилуцкого монастыря. То же произошло на севере, в Двинской Земле, где керетчанам и ковдянам дано право выбирать целоваль-

<sup>1</sup> Это сведение Карамзиным заимствовано из известной ему архивной ростовской летописи. Оно сбивчиво: установление 48 целовальников приписывается великому князю Василию Ивановичу, о введении же в суд с наместниками старосты купецкого и с тиунами целовальников говорится, что это совершилось по слову великого князя Иоанна Васильевича. Из этого мы предполагаем, что собственно это учреждение в его исполнении относится к государствованию сына Василия Ивановича, великого князя Иоанна Васильевича и, вероятно, к его младенчеству или отрочеству, так как он в юности принял уже титул царский, а не назывался только великим князем. (Карамз. Ист. Госуд. Росс., т. VII, прим. 362).

<sup>2</sup> Дополн. к Акт. Истор., I, стр. 32.

<sup>3</sup> А. Арх. Эксп., I, стр. 164.

ников, которые должны быть на суде с великокняжескими денщиками и слободчиками, посылаемыми в эти края, а последним запрещалось без целовальников творить суд и расправу.

Есть основание думать, что известными нам актами не ограничивалась тогдашняя деятельность правительства, и что эти акты стали нам известны только потому, что попались в Сборник Археографической Комиссии случайно; но в оное время дано было еще немало таких грамот и в другие места, и при Бельском положено основание того самоуправления областного, которое распространилось так широко впоследствии под влиянием избранных советников, окруживших на некоторое время молодого царя Ивана Васильевича. Недаром Курбский, один из таких советников, с сочувствием и похвалами отзывается об этом Бельском. Но туго на Руси могли прививаться подобные начатки свободной жизни, не согласные с утвердившимся уже господством произвола власти.

В 1547 году приехали в Москву псковичи жаловаться на наместника государева. Московский государь, уже достигший тогда совершеннолетия, опалился на них, бесчестовал их, обливал горячим вином, жег им бороды и волосы на голове и приказал разложить их нагишом на земле с тем, чтоб истязать. К счастью псковичей, в это время неожиданно московский «колокол благовестник отпаде», государь ускакал в Москву по такой вести и «жалобщиков не истеря». Скоро затем случился в Москве страшный пожар, а за пожаром и страшный народный бунт, в котором не оказывалось пощады государевым родственникам, а затем произошло многознаменательное по последствиям явление священника Сильвестра перед царем. Молодой царь впал в ребяческую боязнь и подпал под влияние умных людей, на которых указал овладевший совестью царя Сильвестр. Тогда царь приказал собрать со всего государства земских людей на собор. Явление новое и никогда не бывалое. Прежде, как мы выше привели, существовали веча, собрания народные по землям, но общего веча, так сказать, веча веч, не было, и никто даже не подавал об этом мысли. На прежних вечах не было никакого выбора, никакого представительства от местностей или сословий, каждый как свободный человек шел сам за себя, и дела решались на вече не большинством, а общим желанием, выражаемым тем, что кто сильнее духовно и материально, тот и берет верх. Это было возможно в каждой из земель, да и то иные были до того пространны, что затруднительно было из отдаленного

пригорода идти на вече в главный город, и это, между прочими другими побуждениями, содействовало отложениям пригородов и образованию отдельных земель и княжений. Теперь, когда Москва подчинила себе такие широкие пространства русских земель, немыслимо было уже сходиться на общий совет людям за каких-нибудь триста или пятьсот верст. Неизбежно вытекало отсюда, что если призывать на совет Русского Государства людей, то надобно в областях выбирать нескольких и отправлять в столицу в качестве послов или представителей своей области. Так и возникли земские соборы — сходки выборных людей всего Московского Государства по призыванию верховной власти — явление, в первый раз возникшее при царе Иване Васильевиче и несколько раз повторявшееся по разным важным случаям вплоть до царствования Петра Великого, начавшего преобразовывать весь строй своего государства на западноевропейский образец того времени. Что побудило царя Ивана Васильевича вызвать такое явление к жизни? Мы едва ли ошибемся, когда, принимая во внимание нравственные свойства этого государя, скажем, что его побудила к этому трусость, составлявшая от юности до старости отличительную черту его характера. Царя Ивана Васильевича перепугал народный бунт. Он трепетал от страха не только за свою родню, которую москвичи стали истреблять, но и за собственную жизнь. Шел вопрос о том, как спасти себя и свою царскую власть. Он тогда слушался советов и совершенно отдался в руки Сильвестра и людей, на которых последний указал ему, как на умных и полезных помощников. На это есть указания источников тою времени и собственное признание царя Ивана Васильевича в его письмах к Курбскому. Тут-то, вероятно, и подали ему совет обратиться ко всему русскому народу, покаяться перед всем миром в своих ошибках, в дурном управлении государством и приступить к усовершенствованию законодательства гражданского и церковного. В таких-то видах был созван в Москву земский собор из выборных людей всего Русского Государства. К большому сожалению, мы не знаем не только подробностей, но и главных черт этого первого земского собора. Не дошло до нас ни царской грамоты о созвании выборных людей, ни деяний соборных. Знаем только, что царь, благословившись у митрополита и духовных властей, вышел на лобное место перед толпу собравшихся из городов русских выборных людей, проговорил перед ними речь, каляся в том, что до сих пор управление государством велось дурно, просил у всех прощения, но приписывал все бывшее



зло боярам, правившим государством во время его малолетства, уверял, что сам он от всего чист, кланялся на все стороны, сознавал, что уже воротить того, что было прежде сделано, нельзя, убеждал до срока оставить всем свою вражду друг к другу и прекратить ссоры и распри, кроме важных дел, и обещал сам быть всем судьей, неправды разорять и похищенное возвращать. В заключение царь поручил Алексею Адашеву принимать от всех и рассматривать челобитные и назначил из бояр верховных судей<sup>1</sup>. После этого собора принялись за работу: составлен был новый судебник, составлены уставные грамоты, в силу которых по всем городам, пригородам, волостям и погостам велено выбрать старост и целовальников, сотских и пятидесятских: суд и местное управление передавались от царских наместников и волостелей народу в лице выбранных последним должностных лиц. Затем занялись церковною реформою, следствием чего был Стоглав. Не только церковные законоположения обсуждались и утверждались духовенством, самый судебник, касавшийся исключительно гражданских или мирских дел, и уставные грамоты — все это было представлено на обсуждение духовенства для рассмотрения: согласно ли оно с правилами Церкви и с прежними законами царских прародителей. Царь просил духовных, собранных на церковный собор, побеседовать, посоветовать и известить его на счет обычаев, которые в последнее время «поисшаталися, или что в самовластии учинено по своим волям, или предания законы нарушены». Дух новых законодательных преобразований был в высшей степени консервативен и даже, так сказать, ретрограден: идеал правды был позади, а не впереди, и недаром все отдавалось под окончательный контроль Церкви, которая всегда привыкла мыслить так, что вообще лучшим надобно признавать то, что было старше. Если в новом устройении является свобода для областной народной жизни, то это потому, что действительно была у русского народа свобода в старину; хотя уже она и не могла воскреснуть в прежнем виде, но теперь, однако, она должна была отзываться в жизни поколений не твердыми, как показало будущее, чертами. Духовенство не могло не одобрить таких изменений, когда усматривало, что они делались на том основании, что так было в старину. Такое подчинение царя духовенству было только временное, совершившееся под влиянием трусости; впоследствии, когда царь Иван Васильевич удостове-

<sup>1</sup> Карамз. Ист. Гос. Росс., т. VIII, примеч. 182, 183, 184.

рился, что власть его тверда, он в письме к Курбскому указывал, что «никак не подобает священником царская творити», что каждое царство, обладаемое попами, подвергается разорению, и ссылался на пример Византийской державы, подчинявшейся духовенству. О том, кто все это делал и кто всем тогда заправлял, мы находим достаточное указание в повествовании Курбского, который сообщает, что Сильвестр и Адашев «собрали к царю мужей разумных и совершенных, стариков, украшенных благочестием и страхом божием, а также и таких, которые были еще не стары, но искусны в военных и земских делах, и до такой степени усвоил их к нему в дружбу, что он без их совета ничего не устраивал и даже не мыслил». Согласно с этим известием сам царь сознается, что от него тогда «отнята была власть, данная от прародителей, все делалось так, как захотят бояре, которые утвердились между собою дружбою и даже у царя ничего не спрашивали, как бы его вовсе не было». Таким образом, следствием первого земского собора было ограничение царской воли и отдача власти в руки кружка бояр, указанных царю Адашевым и Сильвестром. Имел ли бывший собор прямое влияние на такое явление — мы не знаем, так как об этом соборе нам известно только очень немногое. Впрочем, ограничение царской воли было только фактическое, а не легальное, и потому временное, продолжавшееся только до той поры, пока самому царю угодно будет находиться в возложенных на него путах.

Итак, первый земский собор, о котором мы так мало знаем, не оставил непосредственно от себя каких-нибудь прочных плодов, потому что законодательные преобразования хотя и явились тотчас после него, однако нет никаких доказательств, чтоб они исходили из него и не могли бы возникнуть и быть приведены в исполнение, если б выборных на земский собор не было вовсе присылаемо в Москву. Замечательно, что этот собор происходил на площади, по крайней мере, там говорил с ним царь, тогда как о многих других земских соборах, бывших в Московском Государстве, нам известно, что они отправлялись в царских палатах. Никаких законоположений о созыве выборных для земского собора не начертывалось ни тогда, ни после; важным почитали тогда не форму земского собора, не способ, каким он отправлялся, а только главную цель, для которой он собирался; цель эта была потребность верховной власти говорить с народом, объявить ему свою волю, узнать от него общий взгляд Земли на какое-нибудь важное событие. Достигалась ли эта цель созванием собора или

каким-либо иным путем — все равно, лишь бы цель была достигнута. От этого цари по надобности созывали соборы неполные, то есть из некоторых только сословий или местностей, причастных к вопросам, о которых будет идти речь, или даже без призыва выборных обращались к массам сословий и жителей. В 1565 г. тому же царю Ивану Васильевичу оказалась надобность говорить с народом. Было это по поводу опричнины. Хотелось царю Ивану Васильевичу заручиться народным согласием на совершение казней, которые он задумывал над теми, которых не любил, или, по крайней мере, народным равнодушием к таким казням. Царь прибегнул к такой выходке. Он уехал в Александровскую слободу и оттуда послал сказать митрополиту, что отходит вон из царства, и отправил к нему список изменам бояр, воевод и приказных людей, обвинял их, что захватили царские земли и пораздавали своей родне, что они не хотят оборонять государство от иноземных неприятелей, удаляются от службы и творят насилия крестьянам; жаловался и на то, что духовные заступаются за виновных, когда царь замыслит кого-нибудь из них подвергнуть суду и расправе. Царь извещал, что по этой причине он удаляется от престола и намерен поселиться там, где ему Бог известит. Вместе с тем отправлена была грамота к купцам и московским посадским людям; грамоту эту велено было прочесть дьякам; в ней говорилось, чтоб жители Москвы не держали никакого сомнения, что на них нет царского гнева и царской опалы. Царь образовывал между своими подданными в Москве как бы два враждебные один другому стана: в одном — бояре и служилые, в другом — торговые и черные люди. Но общее недоразумение соединило тех и других вместе, хотя, быть может, по разным побуждениям. Отправилась к царю депутация с челобитною от всех: править как ему угодно и казнить изменников<sup>1</sup>. Царь после того учредил опричнину и возвратился в Москву: оба чина, и служилый, и не служилый (beide Stände) явились к нему, и потом все чины государства изъявили ему благодарность за его заботливость (von allen Ständen für solche vorwilligte Sorgfältigkeit Dank gesagt)<sup>2</sup>. Это, конечно, не был земский собор в его форме, но цель в глазах верховной власти была достигнута та же, для которой должен был, по-видимому, созываться земский собор: царь объяснился с народом и услы-

<sup>1</sup> См. Александровск. летоп. Русск. Истор. библиот., III. стр. 247—255.

<sup>2</sup> Taube und Kruse. Ewers, Beiträge zur Kenntniss Russlands und seiner Geschichte, 196.



шал от него мнение. Полного собора царь, как видно, созывать не решался, но тут было заявлено мнение и духовных, и служилых, и неслужилых, правда, только московских и тех, которые случайно находились в Москве. Но и в других соборах не отовсюду непременно вызывали выборных людей.

Но через год, в июле 1566 года, тем же царем был созван земский собор, уже по форме более имеющий права на это название, хотя все-таки неполный. Еще в 1558 году началась война у царя с Ливонским Орденом. По поводу начатия этой войны расстроилось согласие в боярском кружке, овладевшем царскою волею: одни были за войну, другие против войны. С немцами война велась чрезвычайно удачно для Московского Государства, но оно втянулось в войну с другим государством — польско-литовскою Речью Посполитою, которой отдался в подданство бывший гроссмейстер Ордена, снявший с себя рыцарский сан. Тогда война пошла с попеременным счастьем. Успех царя Ивана Васильевича был велик: он завоевал Полоцк с его территорией, но потом князь Радзивилл, военачальник сил литовских, разбил при Орше московское войско. Король Сигизмунд Август предложил перемирие. Царю нелегко было вести эту войну, так как она длилась уже восемь лет и стоила государству больших издержек. И вот царь собрал земских людей на совет. Соображая тогдашние обстоятельства, можно открыть побуждения, руководившие царем при созыве этого собора. При самом начатии войны он слышал мнения, не одобрявшие эту войну, и хотя те, которые тогда были против войны, служили царю добросовестно в этой же войне, но на искренность их он не мог положиться. По справедливому замечанию историка Соловьева<sup>1</sup>, царю хотелось знать, что думают о войне другие сословия, а при разделении на опричнину и земщину, совершенном в прошлом перед тем году, он не мог узнать этого ни через опричников, стоявших враждебно к остальному народонаселению, ни через опальных земских бояр, которые бы никак не посмели сказать ему правды, как сами думают. Притом отъезд Курбского сильно тревожил его, и он беспрестанно боялся, чтоб и другие бояре и военачальники не последовали примеру Курбского. Ему хотелось поставить на вид всем, что война ведется по общему хотению всей Русской Земли.

---

<sup>1</sup> Ист. России, VI, стр. 259.

На созванном тогда соборе было девять архиереев, двадцать два монаха, из которых пятнадцать были настоятелями монастырей с титулами архимандритов и игуменов; были бояре, окольные и все думные люди, были дворяне, дети боярские, гости и купцы из Москвы и Смоленска. Духовенство одно услышало лично от государя изустно вопросы, предложенные к обсуждению; боярам и другим членам царской думы дали такие же вопросы — на письме. Главный вопрос заключался в том: стоять ли против недруга короля польского или согласиться на предлагаемое примирение? Польская сторона уступала царю Полоцк и занятие в Ливонии московскими силами места; царь уступал с своей стороны Курляндию и несколько городов по сю сторону Двины, но требовал уступить ему Ригу. Соглашение на том не состоялось и польско-литовские послы предлагали государю съехаться с их королем на границе. Вот что следовало обсудить и по всему этому подать мнение.

Духовенство дало в таком смысле коллективный ответ: велико смирение государево, что он уступает королю пять городов в Полоцком повете, да в Задвинье земли верст на 60 или на 70 в стороны, да Озерище и волость Усвятскую, а в Ливонской Земле и в Курляндской за Двиною шестнадцать городов, да на сей стороне Двины пятнадцать ливонских городов с уездами и со всеми угодьями, принадлежащими к этим городам, и вдобавок отпускает взятых в плен в Полоцке Довойну с товарищами и с семьями их без окупа, своих же пленных детей боярских выкупает за деньги. Более уже ничего нельзя уступать и за те города, что хочет забрать к себе король: Ригу, Кесь (Венден), Володимерец (Вольмар), Ровно (по-латышски Раунас-Пильлис, по-немецки Раненбург) и Куконос (Кокенгузен) — следует стоять, потому что эти города близко подошли к Юрьеву (Дерпту) и Пскову. Иначе из тех городов будет происходить разорение церквам, построенным в тех городах, что отошли под власть великого государя, да немало тесноты станет и Пскову и Новгороду. При этом замечали, что царь начал войну по правде, магистра (Фюрстенберга) и епископа (дерптского Германа) взяли в плен, многие города царь покорил и православием просветил. Остальные же, видя свое изнеможение, отдались королю. Если б великий государь не наступил на Ливонскую Землю, то король не мог бы ни одного города ливонского себе взять. Не по правде король берет эти города: они — вотчина великого государя от прародителей, начиная с великого князя Ярослава Владимировича. У короля с великим государем перемирие было, а война началась от короля: его люди напали на город Тарваст, уже покоренный

царским оружием, и взяли его. Предлагает король Полоцк, и земли к нему дает по сей стороне Двины на пятнадцать верст и на пять верст вниз, а за Двиною земли не дает, чтоб Двина была рубежом. Можно ли городу стоять без уезда и сел? И деревня не живет без полей и угодий. Как же городу-то быть без уезда?

Видно, что духовные говорили так, как было угодно государю. Бояре и все думные люди сказали от себя то же, что и духовные, но в прибавку к тому указали, что на сей стороне Двины места, уступаемые королем к Полоцку, все дурные по своим качествам, а лучшие места остались за рекою Двиною, и если в таком положении принять условия и постановить перемирие, то как только пройдет перемирный срок, Полоцк неволею должен будет сдаться королю; сверх того, если оставить ливонские города королю, то король пополнит в них свои военные силы, и те будут угрожать не только Юрьеву, но и Пскову. Лучше, коли так, не мириться, а биться. Насчет съезда московского государя с польским королем на границе все думные люди предоставляли это воле государя, но заметили, что литовские послы нарочно выдумывают предлоги, чтоб иметь время укрепить ливонские города, заключить договор Литвы с Польшею и усилиться. Теперь, — соображали они, — у короля с цесарем не согласно, а как начнется у ляхов с цесарем война, тогда ляхи не подадут уже помощи литовцам. Этого король опасается, а потому и хочет скорее с нами замириться. Не пригоже нам поэтому теперь с королем мириться, а возложим надежду на Бога: он гордым противник. Будем класть головы свои за великого государя.

Дворяне и дети боярские, прибывшие на собор по выбору, делились на две статьи: первой статьи было 97, второй с детьми боярскими 99. Они представили те же доводы, что и думные люди, и выразились так: ведает то Бог и великий государь: его государская воля, а мы, холопы государевы, готовы на государское дело. Спрошенные особо торопецкие и великолуцкие помещики (первые в числе трех, последние в числе шести), как ближайшие тогда участники в войне, сказали то же, что и прежние и, кроме того выразились так о землях, należących к Полоцку, в таких словах: За одну десятину земли Полоцкого и Озерищинского поветов лучше головы положим, чем нам быть запертыми в Полоцке!

Дьяки и приказные люди в числе двадцати восьми были такого же мнения, что лучше отважиться на войну, чем согласиться на перемирие, предлагаемое королем.

Гости, в числе двенадцати, московские торговые люди в числе тридцати восьми и смольняне в числе двадцати двух, изложивши мысль о невозможности мириться на предлагаемых условиях, сказали: мы люди не служилые, службы не знаем, ведает Бог да государь, мы же не токмо за свои животы не стоим, но и головы свои кладем за государя, чтоб государева рука была везде высока. Смольняне прибавили: и село без земли стоит покинуть, и через улицу лихой сосед лихо, а городу без земли как быть! Только будет около Полоцка королевская земля, король около Полоцка город поставит и дороги отнимет и Полоцк будет теснить.

Собор этот был не полный, потому что выборных от посадов и уездов из неслужилых людей, кроме Москвы и Смоленска, не было.

## II

В 1580 году при том же царе Иване Васильевиче был собор еще более предыдущего неполный, так как на нем были только духовные и думные люди; и те и другие всегда на соборах участвовали по их сану, а не по выбору. Велась тогда тяжелая для Московского Государства война против польского короля Стефана Батория. Предложено было на обсуждение то обстоятельство, что государству угрожают и угры, и поляки, и литовцы, и немцы ливонские и свейские, и татары крымские, и ногайцы, все они «образом дивияго зверя распыхахуся, гордостию дмящеся, хотяху истребити православие»; между тем во владении епархий и монастырей состоят принесенные некогда в дар Богу села и пожни, они «в пустошь изнуряются на пьянственные и иные проторы... а воинственному чину оскудение приходит велие». По этому предложению митрополит Антоний и духовные власти вместе с царским синклитом уложили: все недвижимые имущества, села, пожни и сеножати, данные Богу и состоящие в ведении митрополита, архиереев и монастырей, не должны исходить из-под их ведения, никаким судом и тяжбою не могут быть отчуждены, и если бы какое-либо имущество стояло за монастырем без крепости, должно за ним оставаться, а вперед не тягаться с монастырями о вотчинах. Затем на будущее время, начиная с 15-го января 1580 года, вотчинники не должны по душам отдавать своих вотчин в монастыри, но могут давать деньги по цене вотчин, самые же вотчины должны переходить к наследникам, за неимением же наследников вотчины эти будут отбираемы на государя, а монастырям будет

выплачиваемо из государственной казны. Затем архиереям и монастырям вотчин не покупать, и в залоги не брать, а что после этого уложения будет поступать к ним покупкою или залогом, то отбирать безденежно; все же, состоящее в залоге у архиереев и монастырей в настоящее время, следует отобрать на великого государя, а в деньгах ведает Бог и государь, как пожелает своих богомольцев. Вперед вообще владыкам и монастырям не прибавлять своих земель, а довольствоваться теми землями, которые теперь у них остались, бедные же монастыри пусть бьют челом великому государю и государь, по совету с освященным собором и с боярами, приговорит, как устроить те монастыри.

По смерти царя Ивана Васильевича, очень скоро после вступления на престол его преемника или, быть может, в самое время этого вступления, был в Москве земский собор, который по недостаточности остается еще как бы загадкою. В ночь, последовавшую за днем смерти царя Ивана Васильевича, по известию русских источников, в царском дворце происходили между боярами какие-то смуты. Нагие, родственники последней из жен царя Ивана Васильевича, были взяты под стражу и разосланы по городам, а их имущества были отписаны на государя. Потом отправлена была в Углич сама царица Мария с малолетним сыном Димитрием. По объяснениям, сообщаемым иностранцами Горсеем и Петреем, в пользу Димитрия был тогда из бояр Богдан Бельский, которому царь Иван поручил в опеку Димитрия; подобравши на свою сторону людей, Бельский заперся в Кремле и хотел овладеть правлением, но бояре, поднявши толпу народа, пошли на него с пушками и провозгласили царем Федора Ивановича. И в русских источниках есть намеки на эту смуту, но чрезвычайно разноречивые, неясные и сбивчивые, сходящиеся только в том, что в конце концов Богдан Бельский был отправлен именем царя Феодора Ивановича в Нижний Новгород. Так как несомненно известно, что Богдан Бельский был от покойного государя назначен опекуном Димитрию, а ссылка Богдана совпадает с отправкою самого Димитрия с матерью в Углич, то кажется вероятным, что смута, происходившая в то время, имела тот смысл, что Богдан Бельский пытался объявить государем Димитрия.

По известию англичанина Горсея, 4-го мая собрался земский собор, состоявший из духовных, бояр, дворян, детей боярских и вообще служилых, составлявших в государстве как бы высший класс народа (and all the nobility whatsoever). Этот собор признал царем Феодора Ивановича.

С этим известием иностранного источника совпадает, по смыслу, русское известие о том, что «придоша к Москве из всех городов Московского Государства и молиша со слезами царя Федора Ивановича, чтоб, не мешкая, сел на Московское Государство и венчался царским венцом». Справедливо заметил Соловьев, что, вероятно, в царской думе возник вопрос: кому из двух оставшихся сыновей умершего царя передать престол, и тогда созвали земский собор решить, кто будет государем. Вопрос был, действительно, запутан и решить его могла только воля всей Земли. Из этих двух сыновей Ивана Васильевича оба не обладали тогда качествами, пригодными к принятию на себя верховной власти: один был малолеток, другой слабоумен. К большому сожалению, в современных документах не отыскано до сих пор даже упоминования об этом соборе. Быть может, этот собор совпадает с известным нам по актам собором, происходившим 1584 года в июне, составленным из духовенства, бояр и синклита (под последним могла разуместься не только постоянная царская дума, но и привлеченные к ней выборные дворяне и дети боярские, тем более, что вопрос, разрешаемый тогда на соборе, их особенно касался), об уничтожении тархан, то есть грамот на изъятие некоторых имений от общих всем другим повинностей. Наибольшая часть таких имений принадлежала архиереям и монастырям; тарханные владения не платили никакой царской дани, не несли никаких разметов; при такой льготе вся тягость того, от чего тарханные владения были освобождены, падала на земли, розданные служилым людям. От этого крестьяне с земель, принадлежавших служилым, уходили на тарханные земли и «великая тощета воинским людям прииде». Митрополит Дионисий со всем освященным собором, с боярами и синклитом приговорили тогда все тарханы отставить и платить всякие царские подати и земские разметы тарханам, как духовных лиц, так и боярских и княжеских владений, а всяким людям из тарханов, которые станут торговать, платить таксу государеву. Это постановлялось в тех видах, «чтоб не было оскудения воинству и убытку царской казне». Тот же собор подтвердил приговор собора, бывшего в 1580 году при царе Иване Васильевиче, о вотчинах архиерейских и монастырских.

Смерть царя Федора Ивановича прекращала царственную линию. Предстоял вопрос: кто теперь будет царем и откроет собою дорогу новому царскому роду в Русском Государстве. Решить его могла только сама Русская Земля. Главное лицо в государстве, оставшееся после кончины ца-

ря и после отхода его вдовы в монастырь, был патриарх Иов. Он созвал земский собор для выбора нового государя, но сам, расположенный к Борису Годунову, уже на деле правившему всею Россиею при покойном царе, слабоумном Федоре Ивановиче, патриарх думал заранее устроить выбор так, чтобы престол достался Годунову. Было даже намерение не созывать выборных людей из всех городов Московского Государства, а ограничиться спросом московских жителей и тех с ними приезжих из городов, которые на ту пору случайно очутились в столице; но сам Борис тогда объявил, что не примет венца без воли людей, выбранных от всей Земли Русской. На этот собор собралось до ста духовных особ, бояр, окольных и прочих думных людей сорок пять, стольников сорок пять, дьяков по приказам двадцать семь, стряпчих девятнадцать, ключников тринадцать, барашей два, жильцов тридцать восемь, дворян (по подписям включая тех, которые за других подписывались) сто девятнадцать, голов стрелецких пять, гостей двадцать один, гостиной сотни два, суконной сотни три; из жилецких торговых людей тридцать четыре принадлежали Москве, а из городов только двое из новгородских пятин и один из Ржева. Собор был не полный и вообще все дело заранее было решено, так что все были настроены в большинстве избрать Годунова. Духовные не смели противоречить представлениям патриарха, которому были подчинены, служилых большинство располагалось в пользу Годунова надеждами на его щедрость и обещаниями. Московские торговцы ожидали от его царствования милостей и льгот. Борис, как известно, играл роль не желающего принимать царского венца, и удалился в Новодевичий монастырь и на всякие просьбы отвечал отказом, пока, наконец, патриарх Иов не поднял на ноги московского народа и не устроил крестного хода в монастырь с целью умолить упрямого Бориса сделаться государем. Есть известие (хотя передаваемое Татищевым, которому нельзя во всем верить, однако, тем не менее, принятое историком Соловьевым за достоверное), что князья Шуйские стали было говорить, что если Борис не хочет принимать престола, то не надобно его к этому приневоливать, а следует выбирать кого-нибудь другого и что тогда именно решился патриарх устроить крестный ход. Накануне того дня, как должен был совершиться этот крестный ход, патриарх Иов, показывая вид недовольства упрямством Бориса, говорил, что если на этот раз не упрямством Бориса, говорил, что если на этот раз не упрямством они его принять престол, то он, патриарх, и с ним все русские архиереи снимут с себя свои святительские облаче-

ния, за послушание Бориса не будет в Москве отправляться литургии и тогда взывает Бог на Борисе Федоровиче Годунове. Это было средство, с одной стороны, понудить Годунова поступить по желанию избравших его, а с другой возбудить народ поступать так, как хотелось патриарху. Для русского человека того времени страшным делом было прекращение богослужения и можно было на все уговорить его, лишь бы избежать ему такой беды. Собственно просить Бориса должны были только выборные люди, собравшиеся избирать государя, но при ничтожном числе в числе выборных неслужилых для городов их место пополняла московская чернь, увлеченная в крестный ход. Современники, описывая, как народ во дворе Новодевичьего монастыря умолял Бориса принять русский венец, сообщают, что сторонники Бориса сгоняли туда московских посадских людей и приказывали им плакать, вопить и просить Бориса вступить на престол, и заранее угрожали пенею в два рубля тому, кто не отправится с крестным ходом в Новодевичий монастырь; когда же толпа стояла на монастырском дворе у келии, где сидел Борис и где его упрасивали духовные сановники и бояре, то из окон этой келии подавались знаки, приставы побуждали стоящих на дворе кланяться и вопить со слезами, а неохотно кланявшихся ободряли пинками; многие, за недостатком слез, натирали себе глаза слюною, и хоть не хотели, но поневоле были по-волчьи, а патриарх и архиереи, упрасивавшие в келии Бориса, указывали ему на трогательное зрелище плачущего народа. И такое зрелище, наконец, до того привело Бориса в умиление, что он изъявил согласие принять венец.

Этот земский собор был не полон и поставлен был в такое положение, что должен был делать угодное патриарху, но трудно решить: следует ли поэтому назвать его неправильным, так как ни до того времени, ни после не было начертано правил для отправления земских соборов и, следовательно, нельзя было определить законности или незаконности приемов, с которыми они происходили. При их созывании была, как мы уже выше сказали, одна руководящая мысль говорить с Землею, с народом; но если мы видим, что призывались одни служилые, а неслужилых не было, или последних было мало, то это только показывает, что такой неполный созыв признавался достаточным, чтобы говорить власти с Землею и слышать голос народный.

Были примеры, что считалось возможным не созывать вовсе выборных, а извещать народ, что известное государственное дело свершилось по единодушному желанию наро-



да, хотя никто в самой Москве из народа не показывал такого желания.

Такой случай произошел в Московском Государстве скоро.

Царь Борис, как известно, умер скоропостижно, оставив престол в крайней опасности. На Московское Государство шел претендент, угрожавший отнять власть у династии Годуновых. Сын Бориса Федор объявлен был царем, но патриарх Иов, зная, что новая династия еще не укрепилась и соображая, что против нее ополчается враг, который может склонить на свою сторону чувство и совесть народа, счел полезным издать грамоту, в которой воцарение Борисова наследника изображал делом народного избрания и извещал в ней всех русских людей, будто «всенародное множество народа Российского царствия» молило со слезами Федора Борисовича, чтобы он принял после отца власть, а его мать царицу Марию Григорьевну просило благословить сына на царство. Не зная хорошо событий того времени, по этой грамоте можно было бы предположить, что тогда съезжались выборные люди из всех областей Русской Земли, потому что только таким способом мог бы в Москве услышаться голос «всенародного множества народа Российского царствия» и молить Федора Борисовича о принятии на себя царской власти. Ничего подобного не было, и в то время, когда в одних официальных актах старались показать вид, будто власть принята Федором Борисовичем по единодушному молению всего народа, в других высказывается недоверие к народу и опасение сопротивлений. Так, в окружной грамоте, посланной от имени молодого царя и его матери в разные стороны, приказывалось воеводам и приказным людям беречь накрепко, чтобы не оставалось ни единого человека, который бы не целовал креста. Названный Дмитрий перед прибытием своим в Москву извещал окружную грамотою всю Россию, что его признали и приглашали все сословия на прародительский престол. И здесь показывалось дело так, как будто был тогда созван земский собор, но его не было. Впрочем, Дмитрий сделался царем по воле народа более, чем кто иной.

Существовала издавна идея, что в важных случаях сам народ устраивает судьбу свою и земский собор является только одной из форм, в которой стала выражаться эта идея. Однако, эта форма еще не установилась, не освятилась долговременным обычаем и многими примерами, не вошла в государственное законодательство, и та идея, которой выражением эта форма служила, могла высказывать-

ся равносильно и другими способами. При воцарении названного Димитрия она так и явилась: бояре и думные люди представлялись ему в Туле и принесли челобитную от всего Московского Государства. Когда после того он следовал к Серпухову, по дороге встречали его собранные толпы народа и приветствовали нового государя. В Серпухове в богато убранном шатре молодой царь угощал думных людей, прибывших к нему снова из Москвы встречать его и ударить челом. Под Москвою в селе Коломенском опять приветствовала его огромная толпа: тут были и духовные, и мирские люди всякого чина, тут были и посадские, и уездные люди, прибывшие из разных городов и сел. Все люди Московского Государства были тогда в восторге от радости, что найден законный царь, считавшийся погибшим; все несли ему, по обычаю, и дары, и хлеб-соль.

20-го июля он въехал в Москву при громадном стечении ликующего народа. Не только москвичи, не только прибывшие из близких городов и сел приветствовали его, приехало туда немало из далеких русских краев смотреть на невиданный праздник Руси, по случаю чудного обретения царя, о котором давно уже служились панихиды. Это было истинное всенародное признание, гораздо искреннейшее и действительнейшее, чем то, которое совершилось бы при посредстве съезда выборных от всей Земли Русской. При названом Димитрии земский собор не собирался; но по поводу суда над Василием Шуйским было какое-то собрание из всех сословий; к сожалению, мы не знаем, как и из кого оно составлялось. Названный царь Димитрий, хотя не истинный сын царя Ивана Васильевича, но тем не менее талантливейший и симпатичнейший из московских государей, погиб жертвою собственного добродушия и легкомысленности. Ею низложила и умертвила шайка злоумышленников при содействии подушенной толпы пьяниц и отъявленных негодяев, нарочно выпущенных из тюрем. Воцарение Шуйского было делом кружка бояр и толпы подкупленных сторонников, между тем хотели придать ему вид законности и разослали во все пределы Московского Государства грамоту, в которой уверяли русских, будто все духовные сановники, так называемый освященный собор, все бояре и думные люди, все дворяне и дети боярские, гости, торговые и всяких чинов люди Московского Государства били челом князю Василию Шуйскому, чтоб он принял престол. И теперь делался вид, как будто по поводу этого события созываемо было всенародное собрание чинов Московского Государства, но его отнюдь не было. При низложении

Шуйского Захар Ляпунов с Салтыковым и Хомутовым да с кружком единомышленных дворян и детей боярских за Серпуховскими воротами собрали «всенародное множество», пригласили туда духовных и мирских сановников и дали этому соборищу вид земской думы московских людей всяких чинов. Тут, после недолгих возражений патриарха Гермогена, хотя не любившего Шуйского, но считавшего долгом поддерживать его, как лицо, облеченное верховною властью, это соборище порешило бить челом Шуйскому, чтоб он оставил царство. И здесь голос этого соборища имел или хотел иметь значение земского собора; оно хотя им никак не было, но, как мы выше сказали, не все только в этой последней форме могла, по народному воззрению того века, выражаться воля Земли; в этом соборище за Серпуховскими воротами такая воля выразилась даже правильнее, чем при восшествии Шуйского на престол. За Шуйского никто не хотел стоять на этом соборище, а во все продолжение четырехлетнего царствования царя Василия Ивановича вся земля Московского Государства относилась к нему так, что соборище за Серпуховскими воротами смело могло говорить, что Русская Земля не хочет, чтоб он оставался более на престоле.

Признание царем вместо низложенного Василия Шуйского королевича Владислава было делом партии, состоявшей из бояр и дворян. Но по приглашению старейшего из бояр князя Мстиславского они собирались за городом и такому соборищу придано было значение собрания всей Земли Русской. Вслед затем 17 августа 1610 года бояре, князья Мстиславский, Голицын и Мезецкий и двое думных дьяков заключили с польским военачальником Жолкевским договор, по которому, от лица всей Земли: духовных и мирских властей, служилых и неслужилых, жилецких людей всего Московского Государства, изъявлялось желание иметь на московском престоле польского королевича, с тем, чтобы он принял православную веру. Здесь была ложь; но она объяснялась тогда крайнею необходимостью, потому что Москву окружали враги, собравшиеся с двух сторон терзать Россию и требовавшие от русских покорности.

### III

В годы междуцарствия русский народ оставался без руководящей верховной власти, должен был сам собою выбиваться от многих постигших его напастей и устраивать свою судьбу. Тогда политическая его деятельность прояви-

лась в частных собраниях по городам и их уездам. Народные сходки составляли постановления, города сносились с городами, гонцы бегали из одного города в другой с отписками, толковали повсюду о том, как спасти православную веру от насилия и Русское Государство от иноземного покорения, составлялись в областях ополчения, соединялись с ополчением других областей и таким образом поднимались народные восстания с целью изгнать врагов, засевших тогда в столице. Так составилось первое ополчение, не удавшееся от преждевременной гибели Ляпунова. Так впоследствии составилось другое ополчение, нижегородское, избравшее предводителем князя Пожарского. Находясь еще в Ярославле на пути к Москве, руководители восстания рассылали грамоты в разные города и приглашали избрать и прислать к ним выборных земских людей, которые бы могли обсудить и решить, что делать далее и как устроить отечество. Пожарский, в виду разнородных мнений и попыток, не брал на себя слишком многого, а просил присылать выборных по два человека из всякого чина людей и отписать вместе с присланными свой совет об избрании государя. После освобождения Москвы была разослана другая грамота о том, чтоб везде по городам выбирали лучших и разумных людей для избрания государя на государство Владимирское, Московское, Новгородское, на царство Казанское, Астраханское и Сибирское и на все государства русские кого Бог даст, чтоб такое избрание было от Бога, а не от человека. По оставшимся нам известиям одного времени было два съезда выборных людей под Москвою: один в декабре 1612 года, о котором мы почти не имеем сведений, второй в январе 1613 года, и тогда открыт был земский собор. Но и здесь показалось, что, по тогдашним воззрениям, главное состояло не в форме собора, как способа выражения народной мысли, а в самой цели, для которой собор созывался, хотя бы такая цель была достигнута и иным путем. Хотя под Москвою были уже выборные люди, съехавшиеся с целью избрания царя, но сочли нужным еще послать «верных и богобоязненных людей, во всяких людях мысли их про государское обирание проведывать» во всех городах и уездах и, кажется, избрание Романова решили полученные на соборе отзывы более, чем согласие выборных лиц, находившихся тогда под Москвою в качестве членов самого собора. Из этого видно, что хотя русский народ по необходимости избрал присылку выборных лиц, из всех местностей своего жительства способом заявления всеобщей народной воли, но не мог еще усвоить себе такого

способа вполне, как бы чувствовал его недостаточность и возвращался по возможности к прежнему, давнему способу вечевого строя, когда общее мнение всех выражалось на самом деле всеми, а не доверенными от всех немногими лицами, которые, по человеческому естеству, не всегда могли быть верными носителями чужих мнений. То же народное воззрение просвечивает в грамоте об избрании Михаила, когда рассказывается, что приходили просить на царство Михаила Феодоровича Романова не только выборные люди, прибывшие от земского собора, но и все православное христианство вся Русские земли с женами и детьми, тогда «жены ссущих своих младенцев на землю пометаху»<sup>1</sup>.

Когда на земский собор привезено было из Костромы согласие избранного в цари Михаила Феодоровича Романова, тогда была составлена утвержденная грамота за благословением владык и за подписом духовных и мирских особ, участвовавших на соборе<sup>2</sup>. Всех подписей насчитать можно 262, но сколько именно было тогда участников на этом соборе — теперь решить невозможно, так как и в грамоте, созывавшей выборных, не указывалось, сколько прислать их, а предоставлялось всем выбрать их, «сколько пригоже»<sup>3</sup>. При том же под Москвою была тогда вся вооруженная земская сила и никого нельзя было изъять от права заявлять гласно свою мысль об избрании, да и в видах руководивших делом было, напротив, предоставлять русским людям как можно шире и свободнее об этом важном вопросе высказаться: доказательством тому служит упомянутая посылка по разным городам с целью узнать о всеобщем народном мнении. В самой грамоте лица, прилагавшие там свои подписи, прилагали их не только за себя, но и за своих земляков, находившихся тогда вместе с ними, а сколько таких земляков было налицо с теми, которые подписывались — неизвестно. Выборные были не от сословий, а от местностей, от городов и уездов, и оттого за некоторые города подписывались местные духовные, хотя духовенство выступало за свое сословие подписи впереди.

По мнению Беляева<sup>4</sup>, собор, избравший Михаила, оставался при царе до конца 1615 или до начала 1616 года. Это

---

<sup>1</sup> Собр. госуд. грам. и догов., т. I, стр. 627.

<sup>2</sup> Собр. госуд. грам. и догов., т. I, стр. 636.

<sup>3</sup> Собр. госуд. грам. и догов., I, 612.

<sup>4</sup> Речь, читанная 12-го января 1867 года на торжественном акте московского университета, стр. 269.

мнение основано на том, что в период этого времени были издаваемы грамоты от земского собора, но мы собственно не знаем, все ли избравшие царя оставались членами оставшегося собора или только из всех удержаны немногие, а также неизвестно — не были ли они все распущены тотчас, а потом вместо них выбирались и присылались иные. Акты оного времени не дают на счет этого сведений, но что земский собор в первые годы царствования Михаила Феодоровича сильно действовал — это не подлежит сомнению. Земский собор занимался устройением разоренной Русской Земли и охранял царское самодержавие, которое при молодости и неопытности царя совсем было пошатнулось: бояре, писавшие условия Василию Ивановичу Шуйскому при его воцарении и избиравшие на условиях в цари Владислава, думали было и новоизбранного царя Михаила Феодоровича опутать выгодными для них ограничениями самодержавной власти. По известию Котошихина<sup>1</sup>, все цари после царя Ивана Васильевича, вплоть до Алексея Михайловича, и в числе их Михаил Феодорович давали на себя обязательство не казнить никого без суда и без вины, советоваться во всех делах с боярами и без ведома их ничего ни явно, ни тайно не делать. По известию, записанному в Псковской летописи, бояре, пользуясь молодостью Михаила Феодоровича, взяли с него под присягою грамоту, которою царь обязывался никого из людей знатного происхождения не казнить смертью, а в случае преступлений отсылать виновных в заточение, но если кому-нибудь из них приходилось быть отправленным в заточение, то они за виновного ходатайствовали, пока не успевали в своем ходатайстве<sup>2</sup>. Они высокомерно обращались с своим государем, не хотели

---

<sup>1</sup> Как прежние цари, после царя Ивана Васильевича, обираны на царство: и на них были имены писма, чтоб им быть не жестоким и неопальчивым, без седа и без вины никого не казнити ни за что, и мыслити о всяких делах с бояры и с думными людьми собча, а без ведомости их тайно и явно никаких дел не делати... А Блаженные памяти царь Михайло Феодорович, хотя самодержец писался, однако без боярского совету не мог делати ничего (Котоших. О России в царствование Алексея Михайловича. Гл. VIII, стр. 100).

<sup>2</sup> Сему благочестивому и праведному царю, смирения его ради, не без мятежа сотвори ему державу враг дьявол древний, возвыся паки владущих на мздоимание, наипаче же насиловаху православным, емлюще в работу силно себе... а при нивочтоже вмениша и не боящся его, понеже детеск сый. Еще же в лестию уловивше: первые егда его на царство посадиша, и к роте приведоша, еже от их вельможска роду и боярска, аще и вина будет преступлению их, не казнити их, но разсылати в затоки; сице окаянии умыслиша, а в затоце коему случится быти, и оне друг о друге ходатайствуют ко царю и увещают и на милость паки обратитися (Полн. собр. русск. летоп., т. V, 64).

покоряться ему и слушаться его, отнюдь его не боялись, надеялись на то, что он был милостив к ним, любил их и все делал по их прошениям. Недаром они еще прежде хотели себе государя взять из чужих стран, много раз просили себе на царство из Польши, из Швеции, а своего государя Василия задали в Литву, возлюбили было литовского короля, но от него же были разорены и Бог воздал им по их же хотению. К счастью, премилосердый Господь не изволил отдать христианской веры в разорение латинам и вложить православным в ум избрать и посадить на царство от своих единоверных христиан царя, а окаянный злой совет (бояр) отвергли<sup>1</sup>.

Летописец, знавший события своего времени, ясно показывает, что в эпоху избрания на царство Михаила Феодоровича Романова желания и виды бояр и думных людей стояли в разрез с желанием большинства народа, и содействие земского собора в правлении, в первые годы царствования молодого и неопытного государя, было очень полезно, потому что сдерживало боярские козни. К сожалению, мы знаем только в общих чертах и только по официальным памятникам о деятельности земского собора в тогдашние смутные годы; мы ничего не знаем в подробностях об отношениях и бывших столкновениях выборных земских лиц с боярством, а если опираться на исходившие тогда акты, то можно заключить, что у выборных с боярством все обстояло согласно. Земский собор после избрания царя послал во все города Московского Государства грамоты о том, чтобы все принесли присягу и грамоту к польскому королю о несоблюдении им данных обещаний, об отказе королевичу Владиславу в московском престоле, с требованием вывести из пределов Московского Государства польские войска и отпустить задержанных в плену послов.

---

<sup>1</sup> Гнушахуся своего государя и гордяхуся, не хотяще в покорении и в послушании пребывати и не боящеся отнюдь, понеже милостив бе, и любяще и миловаше их и вся подаваше им, яже они прошаху, и своеволни беша, якоже и прежде рех; издавна бо похотеша себе государя взяти от чуждих стран, просиша многажды из Польши и из Свеи, а своего государя царя Василия в Литву отдаша и литовского короля возлюбиша, от него же и разорени быша, Бог им воздал по их желанию. Но и еще премилостивый Владыка Господь не изволил разорити веры христианские от латин, и вложи во ум православным избрати и посадити на царство от своих единоверных христиан царя в Руси, а их окаянный и злый совет отвергоша и не восхотеша; аще бы и попустил Бог, по их повелению тако быти, то не бы так обладати Русскою землею и насилывали христианом, но и сами бы до конца погублени были от любимых ими. (Полн. Собр. русск. летоп. т. V, стр. 66).

Грамоты эти были запечатаны красною печатью казанского митрополита и черною печатью земского собора, из чего видно, что в это время созванное собрание земских людей считало себя как бы уже правильным государственным учреждением, с собственным порядком делопроизводства. В 1613 и 1614 годах издавались указы о сборе денег на содержание ратных людей не только от имени царя, но и «по приговору духовных и мирских всяких чинов людей». К атаману Заруцкому, волновавшему юго-восток России вместе с Мариною Мнишек, отправлена была увещательная грамота от собора всех духовных и земских людей, хотя другая такая же грамота к тому же Заруцкому послана от имени государя. В том же 1614 году, в сентябре, земский собор послал такую же увещательную грамоту в Ярославль атаманам и козакам, убеждая отстать от воровства и идти на службу царю против немецких людей к Тихвину, а если они будут упрямиться, то поручалось местной власти, собравши охочих боярских людей, монастырских слуг и дачных с посадов и уездов, промыслять над ворами.

#### IV

В течение 1615 года не видно грамот по приговору земских людей, но тем не менее значительно то, что в актах того года различаются между собою дела государственные от дел земских. Так в наказе князю Куракину, посланному с товарищи в Тулу, говорится, что им поручаются дела государственные и земские. То же в наказе, данном в июле 1615 года князю Пожарскому, отправленному в Карачев и Брянск против шайки Лисовского, сказано, что государь посылает его для своего государственного и земского дела. И в наказе Федору Шереметеву, посланному во Псков для защиты этого города от шведов, говорится, что он посылается «для государева и земского дела». В 1616 году в январе последовала царская грамота в Пермь о том, чтобы прислано было в Москву для государева «и земского дела на совет пермич посадских лучших и средних трех человек добрых и разумных и постоянных». Это было уже вторичное требование, в котором сказано было, чтоб они по прежней и по настоящей грамоте прислали выборных людей, чтоб затем государственное и земское дело не стало. Этот земский собор установил налог с посадских, с их торгов и промыслов пятую деньгу, то есть пятый процент, а с уездных, с поселян по 120 рублей с сохи. Этот налог определялся на жалование ратным людям. По расчету, основанному на оп-



ределении такого налога, следовало взять со Строгановых, богатейших в то время гостей и солепромышленников, шестнадцать тысяч рублей, и о взыскании с них такой суммы состоялся царский указ от 20 апреля, но в указе от 23-го того же месяца говорится, что по всемирному приговору с них, Строгановых, следовало получить сорок тысяч рублей по их вотчинам и промыслам. Из этого оказывается, что сначала на соборе составили приговор в одном смысле, а потом обсуждали вопрос снова и пришли к другому приговору. Налог на Строгановых был для них обременителен и это сознавал сам царский указ, в котором уговаривали Строгановых заплатить эту сумму, хотя бы им пришлось разориться, потому что иначе, если не будет средств содержать ратную силу, то постигнет разорение все православное государство и тогда у самих Строгановых животов и дворов не будет. Положение государства было критическое: шла война разом и со шведами, и с Речью Посполитою и внутри еще не вполне улеглось брожение; нужны были чрезвычайные усилия, которые только и были возможны при единомыслии всей Русской Земли; а чтоб достичь такого единодушия, необходимы были земские соборы.

В 1618 году угрожал Московскому Государству королевич Владислав, предъявлявший свои права на московский престол по избранию, состоявшемуся после низложения Шуйского. В августе этого года польский королевич распустил грамоту, в которой хотел обольстить московских людей обещанием хранить все права и обычаи и прибавить народу новые права и льготы «по приговору с боярами и со всею Землею». В противодействие врагу царь Михаил Федорович в сентябре того же года созвал земских выборных на собор и объявил «митрополитам, архиереям и всему освященному собору, боярам и прочим думным людям, стольникам, стряпчим, дворянам московским, дворянам городовым, детям боярским и всяким чинов людям, что идет на Москву королевич Владислав с польскими и литовскими людьми и с немцами, хочет Москву взять, церкви разорить, веру поправить и учинять свою проклятую еретическую латинскую веру». Царь, изъявляя намерение защищаться против врага, убеждал всех против него биться и не поддаваться на неприятельские прелести. Все обещали, и тогда собор приговорил боярам (которые поименованы в приговоре) и другим думным людям заняться обороною столицы, ставши со вверенными их начальству ратными отрядами по разным частям Москвы — на Замоскворечье, у Чертольских, у Арбатских, у Никитских, у Сретенских во-

рот и за Яузою: поименовывалось, сколько войска числом должно стоять в каждом месте и из каких городов служилые будут составлять каждый отряд. Кроме служилых в войске, назначенном для обороны столицы, значились торговые люди гостиной, суконной и черных сотен и даточные люди с пищальми и рогатинами, а по городам назначены были бояре с ратными силами в Нижний Новгород, во Владимир, в Рязань и в украинные города на юг от столицы с правом, предоставленным этим боярам, верстать служилых людей поместьями, назначать им жалованье, сыскивать и наказывать непослушных и уклоняющихся от службы. Кроме служилых, определено было взять на ратную службу даточных с посадов и с уездов по десяти человек с сохи и ополчить татар, мордву и черемис, чтобы воспрепятствовать шедшим на содействие королевичу черкасам перейти реку Оку.

После заключения мира, который, по выражению царской грамоты, «царь общим советом прия», созван был снова земский собор. В грамоте, посланной по этому поводу в Новгород, заранее излагались вопросы, подлежащие к обсуждению на этом соборе земских людей. Царь, советуясь с возвратившимся из плена своим родителем, возведенным теперь в сан патриарха, Филаретом Никитичем, со всем освященным собором, и с боярами, усмотрели, что Московское Государство разорилось во время прошедших войн от неприятелей и своих воров и везде возник беспорядок; подати берутся неправильно, то по писцовым, то по дозорным книгам, и выходило, что иным приходилось тяжело, другим легко; дозорщики, отправляемые для осмотра пострадавших от разорения областей, делали свое дело неправильно. Из замосковских и украинских городов посадские люди, льготы себе, наехали в Москву и жили у своих родных и друзей, а назад возвращаться не хотят, чтобы в своих городах им податей не платить, иные заложились за монастыри и за бояр и также не хотят платить в тех посадах и уездах, куда были приписаны, оставшиеся же на прежних местах жалуются на тягость и просят о льготах, иные молят, чтоб их оборонить от сильных людей. Тогда на съехавшемся соборе приговорено было в неразоренные города и уезды послать писцов, а в разоренные дозорщиков, приведя наперед тех и других к присяге. Посланные с таким поручением должны будут сыскивать посадских и высылать в их прежние города и уезды, а разоренным местностям давать льготы, сообразно степени разорения; также закладчиков от владык, монастырей, бояр и других чинов особ, за которыми они

заложились, вернуть в их прежние места жительства, а на тех, за которыми они, самовольно заложась, проживали, доправить всякие подати, следуемые с закладчиков за прошлые годы, и, наконец, сыскивать просильных людей, на которых последуют жалобы, указ же о таком сыске учинить князьям Черкасским и Мезецкому. Наконец, поручалось посылаемым узнать и выписать: сколько с каких городов следует по окладу всяких доходов денежных и хлебных, сколько в действительности в последних годах было дохода и расхода, и что осталось недобранного, что уцелело от бывшего разорения, что где роздано в поместья и вотчины, и сколько затем доходов и расходов указано, и что останется за расходами. Число выборных на этом соборе было заранее определено: из духовного чина по одному, из дворян и детей боярских по два, да из посадских по два человека добрых и разумных, которые бы сумели рассказать про все бывшие обиды, насильства и разорения, и подать бы могли совет — чем полниться Московскому Государству, чем ратных людей пожаловать и как устроить Московское Государство, чтобы все в нем пришло в достоинство. Царская грамота о созвании этого собора прочитывалась вслух всем в соборной церкви города, куда приходила, потом производился выбор; воеводы брали выборные списки и отправляли выборных людей в столицу.

В 1621 году был созван опять земский собор по поводу угрожавшей снова войны с Польшею. Собор этот открылся 12-го октября в Золотой большой грановитой палате в присутствии царя и патриарха. На этом соборе были: духовные сановники, владыки, настоятели монастырей и протоиереи, бояре и думные люди, стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы, дворяне и дети боярские, выборные из городов, дьяки и приказные люди, головы, сотники стрелецкие, донские атаманы и козаки, и разных городов гости, и торговые и всяких чинов люди Московского Государства.

Царь и патриарх объявили всему собранию, что «от польской стороны нарушается постановленное перемирие, порубежные люди пишут своего королевича Владислава московским царем, чинят задоры в пограничных местах Московского Государства, присваивают государевы земли, строят на них свои слободы и остроги, в Путивльском уезде делают селитру, в уездах Брянском, Луцком и Торопецком грабят поместья дворян и детей боярских, бьют их самих и сгоняют из поместий. Кроме того, полоняников русских всех оставшихся в Польше не отпускают и государево имя пишут с укоризною; в прошлом (1620) году присылали в

Москву посланников и те отзывались о государе непригоже: будто царя Ивана Васильевича не следует писать дедом, а царя Федора Ивановича дядею нынешнему государю. Поэтому царь, с благословения отца своего патриарха, желает стоять против польского короля. Турский султан уже десятый год ведет войну с поляками и в апреле присылал в Москву грека Кантакузина и двух чаушей, с подарками к царю: желает он быть в братской любви с великим государем и просит, чтобы великий государь помогал ему в войне против поляков и свои города отобрал бы у поляков; крымский царь к великому государю пишет, что польский король подущал его воевать Московское Государство, но он воевать не пошел, а пошел вместе с турками на поляков, и он, крымский царь, просит, чтоб Московского Государства ратные силы пошли на поляков. Еще и свейский король присылал к великому государю послов не раз, с тем, чтоб заодно воевать против польского короля. Великий государь уже посылал в Польшу к панам-раде свои грамоты об исправлении и грозил, что если не исправятся, то пойдет войною. Теперь поляки в тесноте от свейского короля, от турок и татар; если нам смолчать польскому королю, а они от тесноты избавятся и с неприятелями своими помирятся, тогда будут больше зломыслить на Московское Государство. С другой стороны, если нам теперь с турком и с Крымом заодно, по их прошению, не воевать против поляков, то как бы нам через то не войти в большую недружбу с турецким салтаном и с крымским царем, да еще и со свейским королем».

На это заявление все участвовавшие на соборе отвечали, что надобно стоять против врагов. Духовные обещали молить Бога о победе и одолении, бояре, думные и служилые люди сказали, что рады биться, не щадя голов своих. Гости и торговые люди изъявили готовность в помощь государевой казне давать деньги, «как кому мочно по их прожиткам».

Тут дворяне и дети боярские били челом, чтоб их в городах разобрать кому лично государеву службу служить, чтоб из них никакой человек «в избылых не был».

На основании этого собора указано было послать бояр, дворян и дьяков в города: Ярославль, Кострому, Галич, Вологду, Нижний, Великие Луки, Новгород, Псков, Тверь, Кашин, Торопец, Брянск, Владимир, Муром, Рязань, Шацк, Тулу, Калугу, Белев, Мценск, Путивль и в так называемые тогда польские города: Белгород, Оскол, Курск, Елец, Воронеж, Казань, Ливны, — разбирать дворян и де-

тей боярских в уездах тех городов и в других сопредельных уездах, нарочно для того по разбору служилых, приписанных к этим указанным поименно городам. Посланные по приговору земского собора бояре и дворяне, прибывши в назначенный каждому город, должны были созывать для пересмотра дворян и детей боярских из местностей, указанных по росписи, но не всех вдруг, чтобы лишнего скопления людей в городе не было, потом надлежало прибывших пересмотреть и произнести к ним речь по данному наказу, в которой излагалась предыдущая история неправд с польской стороны и необходимость снова начать с поляками войну, если они не исправятся. После того посланные, сообразно земскому приговору, должны были выбрать из тех же дворян и детей боярских окладчиков, и привести их к крестному целованию. Окладчики обязаны были по правде показать, за кем состоят какие поместья, сколько получается дохода и какова может быть каждому помещику служба, сообразно с своим поместьем, но следовало также расспрашивать и самых помещиков, о которых будут показывать окладчики, и если между окладчиками и окладываемыми помещиками возникнет спор, то расспрашивать целым городом, а если и тогда произойдет спор, то посылать дозировать такие поместья дворян и детей боярских иных городов. Затем молодых детей дворян и детей боярских, годных к службе, верстать поместьями и денежным окладом по статьям, а также и тех, которые хотя уже отставлены, но еще могут нести служебные обязанности, обратить на службу. Нужно было произвести дознание о запустевших поместьях и вотчинах, от чего они запустели: от военного ли разорения или от собственного «воровства» их владельцев, и сделать тем и другим списки особыми статьями, а у тех помещиков, о которых окладчики покажут, что они уклоняются от службы воровством, отбирать и отписывать на великого государя поместья и вотчины; указано так же поступать и с теми, которые бы явились на службу не в том надлежащем виде, в каком показали о них окладчики. Но самих окладчиков за неправду, если сыщется, бить кнутом. Наконец, следовало сыскивать тех помещиков, которые покинули свои поместья и, не сдавши их другим, живут в закладчиках или холопах.

Ожидаемой войны против Польши тогда не последовало, потому что у Московского Государства разом отнялись союзники, предлагавшие действовать заодно против поляков. Султан Осман, воевавший с Польшею, был умерщвлен своими янычарами, а с шведским королем польский король

успел заключить перемирие; отважиться одному Московскому Государству на войну при тогдашней своей слабости, не оправившись еще от недавних ран, нанесенных ему теми же поляками, было невозможно.

Через одиннадцать лет, однако, в 1632 году вспыхнула война с Польшою, где уже воцарился сын короля Сигизмунда III, Владислав, некогда избранный московским царем. Тогда в ноябре собран был земский собор, на котором были созваны духовные сановники, бояре и думные люди, стольники, стряпчие, дворяне, приказные люди, гости и торговые люди и всяких чинов люди Московского Государства. Вопрос шел о деньгах на жалованье ратным людям и на содержание их во время войны. На торговых людей во всем Московском Государстве наложена была пятая деньга с их животов и промыслов, как делалось прежде, но распространялся ли соответствующий налог на сошных людей, земледельцев — неизвестно. С бояр же, с думных людей, стольников, стряпчих, дворян, дьяков и приказных людей в городах положено взять на жалованье ратным людям, кто что даст. По этому приговору все означенные лица приносили пожертвования на вспоможение ратным людям по составленным росписям и отдавали назначенному для приема таких денег князю Пожарскому с товарищами, а для сбора пятой деньги с торговых людей посылали в города архимандритов и игуменов и дворян добрых, которые получали деньги от выборных самими посадскими людьми лиц. В 1634 г. января 29 созван был опять земский собор, отправлявшийся в столовой избе царских палат. Указано быть на этом соборе духовным сановникам, боярам и другим думным людям, стольникам, стряпчим, дворянам, гостям, торговым и всяких чинов людям Московского Государства.

От имени царя было объявлено, что за многие неправды была объявлена война польскому королю и послано было царское войско с боярином Шеиным, который многие города литовские повоевал и осадил Смоленск. Но польский король Владислав «накупил» крымцев и те украинные царские города повоевали, и дворяне, и дети боярские, у которых поместья в тех городах, услышавши об этом, ушли из-под Смоленска, оставя Шеина с небольшим числом ратных людей. Польский король пришел с своим войском к Смоленску, чтоб удержать этот город за Польшою и Литвою и чтобы, «по умыслению проклятого папы римского, в Московском Государстве истинную нашу православную веру христианскую греческого закона превратить в свою еретическую проклятую папешскую веру». Вспоминалось

затем разорение, какое прежде претерпела Русская Земля от поляков и литовцев. Извещалось, что государь послал на выручку войска своего к Смоленску боярина своего кн. Черкасского Дмитрия Мамстрюковича с ратными людьми, но государева казна, собранная прежде на жалованье и на корм ратным людям, была истрачена и ей «без прибыльные казны быть не уметь». В прошлом году, по приговору владетель, бояр и всех чинов людей выборных Московского Государства, посылались в города архимандриты, лучшие дворяне и приказные люди собирать пятую деньгу с животных и промыслов торговых людей. Но в Москве и в городах гости и торговые люди многие давали ту пятую деньгу не по соборному уложению и не по своим промыслам, а неправдою. В прежнее же время, когда воцарился государь Михаил Федорович, в казне денег не было, а со всей Земли Московской на ратных людей были поборы, и было тогда собрано денег больше, чем в последнее время, хотя в то время было скуднее, теперь же «Московское Государство в тишине пополнилось гораздо. И вам бы, властям духовным и боярам, и окольничим, и думным людям, стольникам, дворянам, которые на Москве, и которые в городах воеводами, дать денег на жалованье ратным людям, что с боярами и воеводами под Смоленском, а торговым людям дать пятую деньгу по животам и промыслам».

Все бывшие тогда на соборе отвечали, что готовы дать денег; те, которым не назначен был размер взноса, обещали сколько можно, торговые люди обязались платить пятую деньгу. Однако и на этот раз сбор шел также не совсем охотно, как и в начале войны. В марте того же года послан был указ Печерского нижегородского монастыря архимандриту: ему поручено было в Нижнем Новгороде собрать запросные деньги с духовных властей, монастырей, бояр, воевод, дьяков, губных старост, городских приказчиков и со всех приказных людей, а с гостей и торговых людей пятую деньгу по их животам и промыслам. Но архимандрит прислал денег скудно и теперь снова указывалось ему прислать своих монастырских и келейных денег и обложить своих монастырских служек, смотря по их животам и промыслам.

В 1637 году был созван опять земский собор по поводу нападения на украинные города крымцев в отмщение за взятие донскими козаками Азова. На этом соборе были духовные власти, бояре и думные люди, стольники, стряпчие, дворяне и всякого чина люди. Приговорили боярам, стольникам, стряпчим, жильцам, городovým дворянам, детям боярским, стрельцам, козакам, всяким ратным людям идти на

службу против неприятеля, с дворцовых сел взять ратных даточных по человеку с двадцати дворов, а с земель и вотчин митрополитов, архиереев и больших монастырей по человеку с десяти дворов, с поместий же и вотчин бояр и думных людей, стольников, стряпчих, дворян, дьяков и всяких иных чинов по человеку с двадцати дворов, с середних и меньших монастырей с десяти дворов по четыре лошади; а с городов, посадов и с уездов с черных волостей с десяти дворов вместо даточного человека двадцать рублей, по два рубля с двора, но разверстывали бы меж себя так, чтобы людям бедным перед прожиточными людьми тягости не было.



В 1642 году созван был собор, о котором сохранились полнее сведения, чем о других, происходивших в царствование Михаила Федоровича. Этот собор был созван по случаю завоевания турецкого города Азова донскими козаками. Шел вопрос: отдавать ли Азов туркам или удержать его и отважиться на войну с бусурманами? Царь указал быть на соборе: «крутицкому митрополиту, владыкам и всему освященному собору, боярам и всем думным сановникам, стольникам, стряпчим, дворянам, московским жильцам, головам и сотникам стрелецким, дворянам из городов и детям боярским, гостям, торговым людям сотен: гостиной, суконной и черных, и всяким служилым и жилецким людям». Указано было выбрать по городам «людей разумных и сведущих из всяких чинов и лучших, и середних, и меньших людей: из больших статей человек по 20, и по 15, и по 10, и по 7, а не изо многих людей человек по 5, и по 6, и по 4, и по 3 и по два». Вероятно, под большими статьями разумелись крупные собирательные числа, из которых собирали выборных людей на собор, и предоставлялась по местностям свобода, сколько где их выбрать. В столовой избе, куда вошли прибывшие в Москву выборные, были уже царские бояре и прочие члены царской думы: там было всем вслух прочтено дело о взятии козаками Азова и сделаны были вопросы: разрывать ли мир с турками и Крымом и принимать ли Азов от козаков? Если разрывать мир и принимать Азов, то нужно будет много войска и много денег на жалованье ратным людям и на хлебные и пушечные запасы не на один год. Где взять денег и запасов?

По прочтении всего этого, выборным розданы были списки всего прочтенного для ведома. Такое же писание посла-



но к крутицкому митрополиту, которому поручалось собрать духовенство, чтобы все объявили свою мысль государю на письме.

В столовой избе тех, которым сделано было объявление и розданы списки, было:

1) Стольников десять; при них особый дьяк.

2) Дворян московских двадцать два, голов стрелецких четыре, жильцов двенадцать. У них у всех особый дьяк.

3) Дворян городовых и детей боярских из городов: Владимира — три, Суздаля — три, Юрьева Польского — три, Луха — один, Гороховца — один, Переяслава-Залесского — три, Нижнего Новгорода — два, Муром — три, Арзамаса — три, Мещеры — три, Коломны — три, Рязани — восемь, Тулы — три, Коширы — три, Алексина — три, Серпухова — два, Калуги — три, Воротынска — два, Лихвина — два, Серпейска — три, Белева — три, Козельска — три, Мещовска — три, Можайска — два, Звенигорода — один, Ярославля-Малаго — два, Черни — два, Новосиля — три, Ряжска — три, Великого-Новгорода: из Деревской пятины — один, из Бежецкой — один, Ржев-вы-Володимировой — два, Зубцова — два, Торопца — два, Смоленска — четыре, Вязьмы — три, Ростова — два, Ярославля — три, Костромы — четыре, Галича — четыре, Торжка — два, Старицы — один, Белоозера — два. У них у всех один особый дьяк.

4) Гостей — три, торговых людей гостиной сотни — пять, суконной сотни — четыре, черных сотен: Дмитровской — два, Новгородской — два, Сретенской — два, Заяузской слободы — два, Покровской сотни — два, Кожевнецкой полусотни — один, Устюжской полусотни — один, Ордынской сотни — два, Мясницкой полусотни — один, Кузнецкой слободы — один, Голутвинской слободы — один, Екатерининской слободы — один, Алексеевской слободы — один, Никитской слободы — один.

Января 13 получено от крутицкого митрополита заявление духовенства в таком смысле, что предлагаемое дело — царского синклита, а не духовное, их же духовных лиц дело молить Бога, а «в подможение рады они помогать сколько сил их станет».

Стольники, спрошенные 8 января, в поданном от них письме отвечали, что во всем воля великого государя, а их мысль такова, что Азов велеть взять и быть в нем донским козакам, в прибавку же к ним послать рать из воинских вольных людей, а сами они, стольники, на службу идти готовы.

Дворяне московские, спрошенные 3 января, отвечали на поданном письме, что оставляется на волю государеву принять Азов и послать туда ратных людей, а ныне держать бы Азов донским атаманам, и велел бы государь помочь им людьми и хлебными и пушечными запасами, и велел бы охочих прибрать в украинских городах из своего государева жалованья, потому что тамошние люди на Дону бывали, и им та служба за обычай, если же охочих людей будет мало, то велел бы государь помочь им людьми из украинских же городов, а хлебные и пушечные запасы тем людям в Азов будут доставляться, откуда государь укажет.

Из дворян московских подали особое мнение Никита Беклемишев и Тимофей Желябужский в таком изложении: Государю известны неправды турецкого салтана и крымского царя. Крымский царь всегда великому государю шерсть давал и всегда лгал: по вся годы воевали татары украинные города, увозили в Азов православных христиан и там продавали в свои бусурманские орды в порабощение, а крымский царь за то брал пошлины с девяти десятого. Когда король польский воевал под Смоленском, крымский посылал своих царевичей с крымскими людьми на войну против царской державы в украинные места, и оттого украинских городов помещики разбежались из-под Смоленска. За такие неправды не велел бы государь посылать казны своей в Крым, и та его казна пригодится ратным людям на жалованье. Азов взят немногими донскими козаками, и с той поры, как взят Азов, украинные города стали спокойнее от татар. В прошлом году турецкий царь присылал под Азов пашей и крымского царя, но их злую мысль Господь разрушил: козаки отсиделись, и бусурманы погибли. И теперь ему великому государю велеть бы принять Азов, держать его донскими атаманами и козаками, а в прибавку козакам послать бы охочих вольных людей, oprичь крепостных и кабальных, и дать им денежное и хлебное жалованье. А сидеть бы им в Азове под атаманским началом, город поправлять и укреплять, пока Бог Азова от турок и крымцев не защитит, собирать же им деньги на жалованье с тех, которые великому государю не служат ни в Москве, ни в городах, да и с тех, которые хотя и служат, но находятся по воеводствам и по приказам у корыстных дел, сколько государь укажет, чтоб неслужилые со служилыми вровне были; сбор этот производить добрым лицам, выбранным нарочно для того из всяких чинов по два или по три человека. Даточных людей указал бы великий государь имать с больших монастырей и с пожалованных людей, за которыми

вотчин и поместий много. А у других не состоящих постоянно в службе (не у слуг) за окладами много лишней земли, да они ездят по воеводствам, и бедным людям с такими пожалованными людьми не стянуть. И велел бы государь разобрать: с малопоместных и беспоместных даточных людей, и за даточных денег не брать против городских дворян, потому что городские после службы живут себе в поместьях и вотчинах, а московские по его государеву указу на Москве живут без съезда и колодников держат и в посылки их посылают такие, которые никакой корысти им не приносят, и Земляной город и всякие городские дела они делают, и деньги платят на колодцы, парусы, мосты, решето-точные и посаженные со дворов, а городские дворяне всего этого не знают. А если угодно будет великому государю еще сверх того ратным людям на жалованье собирать, то указал бы выборным людям со всех земель, с вотчин и с поместий собирать поворотом хотя бы по гривне со двора, и тех денег на многие годы станет на жалованье войску и на запасы. Затем, как великий государь укажет. Если Азов останется за великим государем, то и нагай большой, и казыевы, и кантемировы улусы, и горские черкасы, и темрюцкие и кженские, и бесленеевские, и адинские — все будут служить великому государю; а только Азов будет за турком, тогда и последние нагаи из-под Астрахани откочуют к Азову».

Головы и сотники стрелецкие во всем положились на волю государеву, а сами за себя изъявили готовность служить где и великий государь укажет.

Володимирцы дворяне и дети боярские сказали: пусть будет так, как укажет великий государь и его бояре, они же сами готовы служить, но при этом заметили, что бедность их города известна великому государю и его боярам.

17 января дали ответ дворяне и дети боярские городов Нижнего Новгорода, Муром и Луха: «во всем его государева воля, принять или не принять Азова и денег взять, во всем его воля, а бояре вечные их промышленники, и они готовы служить где укажут, сколько мочи станет».

Дворяне и дети боярские городов: Суздаля, Юрьева-Польского, Переяславля-Залесского, Белой, Костромы, Смоленска, Галича, Арзамаса, Великого Новгорода, Ржевы, Зубцова, Торопца, Ростова, Пошехонья, Нового-Торга, Гороховца дали такой ответ: «надобно велеть принять Азов, а если не принять Азова, то с ним вместе образ Иоанна Предтечи достанется бусурманам. Не навесь бы через то гнев от Бога и от святого Иоанна Предтечи и чудотворца

Николая на все Русское царство, потому что их помощью по изволению Божию такой дальний украинный город достался благочестивому государю без государевой казны, без подъема больших ратей, такими малыми людьми. Они, великие светильники, подали милость и заступление таким малым людям отсидеться от многих нечестивых орд и многочисленных людей помощью Бога, который хотел явить преславные чудеса благочестивому государю и всей Русской Земле: Послать бы к козакам на помощь пеших ратных людей государевых стрельцов, да старого сбора солдат, сколько государь укажет; пушечного запаса у тебя, государь, много, а хлебных запасов можно для скорого подъема взять из украинских зарецких (т. е. за Окою) городов, с живущего со всех без выбора и из государевых дворцовых сел; а для великого поспешенья взять бы запасов с Троицкого Сергиева монастыря и с иных монастырей, сколько государь укажет. Людей ратных в полевые и повольтские города вели, государь, в Москве и других городах прибрать стрельцов и солдат сколько надобно, на будущее же время хлебных запасов вели, государь, брать со всей земли без выбора и будет тех запасов ратным людям не на один год. Учинилось государю ведомо, что турецкий визирь идет Азов осадить: велеть бы рать строить и людей собирать, как бывало при прежних царях, при Иване Васильевиче и при Федоре Ивановиче, и при иных государях, когда они с боярами сами в поход ходили, а с вотчин боярских и с поместий, и монастырей, и от властей даточные люди были конные и пешие. И ныне, государь, при тебе многие бояре пожалованы многими вотчинами и поместьями, и с них бы ратных конных и пеших взять для бусурманского нашествия; а твои, государь, дьяки и подьячие пожалованы вотчинами и поместьями, и будучи у твоих государевых дел они богатеют неправедным мздоимством: купили себе вотчины и дома построили, палаты каменные такие неудобосказаемые, каких прежде у великородных людей не было, которым бы и достойно было в таких палатах жить; с их бы вотчин и поместий взять конных и пеших ратных людей и против домов их и пожитков обложить бы их деньгами на жалованье ратным людям, сколько государь укажешь».

«С вотчин властей и монастырей взять бы даточных конных и пеших, сколько государь укажешь; да вели, государь, от них росписи взять по их святительскому и иноческому обещанию, сколько за ними, и крестьян в вотчинах, а за утайку утаенных крестьян отбирать бы от них на великого государя. Да и нашей братии есть такие, что, не

хотя государевой службы отбывать, пишутся по московскому списку и в иные государевы чины, и будучи в городах у государевых дел отяжелели и обогатели большими богатствами, а иные пожалованы вотчинами и поместьями большими и через то еще купили себе многие вотчины. С их поместий и вотчин взять бы даточных конных и пеших, и самих их с их пожитков обложить бы деньгами на жалованье ратным людям. Кроме всех этих, дворцовые царские всяких чинов люди пожалованы вотчинами и поместьями, да им же každогодно идет государево денежное жалованье; а они бывают через год или через два года на приказах (приказчиками) в дворцовых селах и наживают великие пожитки, полевой же службы не служат, а когда бывают в Москве, то, находясь у царских дел, не проживают там нажитого прежде. И с них, государь, когда не будут нести полковой службы, вели взять даточных конных и пеших, а с их пожитков деньги в свою государеву казну. Со вдов, недорослей и с отставных нашей братии дворян и детей боярских взять бы также даточных людей. Вместо тех людей, которые посланы будут в Азов в украинные и повольские города, вели, государь, набрать стрельцов и солдат, только не из наших крепостных и старинных людишек и крестьянишек. Мы готовы работать головами и всею душою. Вели, государь, нашу братью, бедную беспоместную, взыскать поместным и денежным жалованьем. Вели, государь, учинить по всей земле роспись всем вотчинам и поместьям, сколько за кем крестьян у всяких чинов людей, допрашивая их по их крестному целованию. Вели, государь, установить: со скольких крестьян служить государеву службу без жалованья, а за лишних крестьян брать бы деньги на жалованье ратным людям. Если же кто при допросе утаит своих крестьян, у тех вели утаенных крестьян отбирать бесповоротно на себя, великого государя. Коли нужно еще будет денег, вели, государь, взять у патриарха и у властей их домовую казну, а с торговых людей, с их промыслов, вели, государь, взять на то же, сколько тебе, государю, Бог известит. Вели, государь, счесть приказных людей и дьяков, и подьячих, и таможенных голов по приходным книгам в Москве и в городах, чтоб государева казна не потерялась, а пошла бы ратным людям на жалованье. Вели ту свою государеву казну собирать своим гостям и земским людям; тем же, которые ныне по городам на воеводствах и у приказных дел, вели, государь, быть на твоей государевой службе против бусурман. Вот тебе, государь, нас дворян и детей боярских разных городов наша мысль и

сказка. Затем, как тебе, государю, Бог известит и твоя государева дума одержит и твоих государевых бояр».

Дворяне и дети боярские городов: Мещеры, Коломны, Рязани, Тулы, Коширы, Алексина, Калуги, Торусы, Серпухова, Белева, Козельска, Лихвина, Серпейска, Воротынска, Медыни, Ярославца-Малого, Боровска, Болхова, Мценска, Рязьска, Карачева, дали ответ в таком же смысле, как и предыдущие, прибавивши, что если отдать Азов бусурманам, то их тем не укротить, а можно еще пуще тою отдачею турок на себя подвинуть. Взять запасы для ратных людей, которые будут посланы в Азов, советовали они из шацких и тамбовских волостей, да из комарицкой волости. Они советовали обязать нести службу без жалованья всех тех, у кого окажется пятьдесят крестьян, а с тех, за кем крестьян болес, брать деньги и запасы на ратных людей. «А мы, холопи твои», — выражались они в конце своей сказки, — «с людьми своими и со всею своею службишкою на твою государеву службу против твоих государевых недругов готовы, где ты, государь, укажешь; только разорены мы, холопи твои, пуще турских и крымских бусурман московскою волокитою и от неправд и неправедных судов. Вот наша, холопей твоих, разных городов дворян и детей боярских мысль и сказка».

Гости и торговые люди сотен гостиной и суконной насчет Азова и посылки туда ратных и их содержания сказали, что то дело служилых людей, за которыми есть вотчины и поместья. «За нами, торговыми людьми, нет ни вотчин, ни поместий, а службы мы — замечали они — не сем в Москве и в городах по вся годы беспрестанно и многие из нас оскудели и обнищали от таких служб и от платежа пятинных денег, которые давали во время смоленской войны. Мы за крестным целованьем собираем твою государеву казну против прежних лет с прибылью, в прежнее время сбиралось ее сот до пяти и до шести, а ныне собирается нами со всей земли тысяч до пяти, до шести и болес. Наши торжишки стали худы оттого, что иноземцы, немцы и кизильбаши приезжают в Москву и в иные города с большими торгами, и в городах наши люди обнищали от твоих государевых воевод, и торговые людишки, что ездят по городам для торгового промысла, от воеводских задержаний и насильств, торгов своих избыли. При прежних государях были губные старосты и тогда посадские люди сами судились промеж себя, и воевод в городах не бывало; воеводы посылались только в украинные города для береженья от турских, крымских и ногайских неприятелей. Просим пожаловать свою государеву вотчину, воззреть на бедность

нашу. Если изволишь, государь, принять Азов, если для содержания ратных положишь на всю землю, вели, чтобы в твоём государстве никто в твоей вотчинной земле в избыток не был. Мы же готовы служить тебе, государю, своими головами и помереть за Божии церкви, за твое государство здоровье и за православную веру».

Черных сотен и слобод старосты насчет Азова и ратных людей сказали то же, что и торговые люди гостиный и суконной сотен, а о себе заявили: «Мы — сироты твои сотские, старостишки и все тяглые людишки оскудели и обнищали от великих пожаров, от пятинных денег, от даточных людей и от подвод во время смоленской службы, от поворотных денег, от городского земляного дела, от платежа великих государевых податей и от многих целовальничьих служб, которые мы служим в Москве и в городах с гостями и опричь гостей. В твоих государевых приказах на всякий год с нас берется сто сорок пять целовальников, да на земском дворе стоят без съезда наших семьдесят пять человек ярыжных, да извозчиков с лошадьми на случай пожаров, и мы платим этим ярыжным и извозчикам каждый месяц большие подможные деньги и от великой бедности многие тяглые людишки из сотен и слобод разбрелись розно и дворишки свои покинули».

Акты, относящиеся до этого земского собора, не дошли до нас целиком; нет окончательного приговора, но из событий того времени мы узнаем, что хотя на соборе служилые люди оказали полную готовность начать войну с турками, однако, правительство сообразило, что на такое смелое предприятие отважиться опасно; к этому же молдавский господарь уведомил московское правительство, что султан поклялся, в случае войны с Московским Государством, истреблять православных в своем государстве. Царь приказал донским козакам оставить Азов, а на следующий год отправил в Константинополь посольство с подарками визирю и султанским приближенным, и дело с Турцией покончилось тем, что султан на отпуске московских послов обещал послать повеление крымскому хану и кафимскому паше, чтоб они не посылали воинских людей на земли московского государя, за то потребовал, чтобы и московский государь дал повеление донским козакам не беспокоить владений турецкого султана<sup>1</sup>.

Собор 1642 года, однако, тем памятен и замечателен, что на нем так гласно заявлялись жалобы на злоупотребле-

---

<sup>1</sup> Соловьев. «Ист. Росс.» т. IX, стр. 303—308.

ния тогдашнего управления воеводами и приказными людьми, возбуждавшие, как видно, повсеместный ропот в народе. Не менее замечательно, что у людей, не владевших вотчинами и поместьями, существовала неприязнь и зависть к землевладельцам, особенно богатым. Последствий, в смысле улучшений, не было, потому что такие соборы не имели обязательной силы над правительством и стремления приобрести ее не было заметно. Из того же деяния земского собора видно, что земские люди все полагали на волю великого государя. Русские не смели даже подумать, чтобы от их государя могло происходить что-нибудь худое, а если бы и чувствовали какой-нибудь гнет, то всегда готовы были приписать это каре Божией за свои собственные грехи. Не так, однако, относились они к боярам и вообще высокопоставленным лицам, управлявшим государством: оправдывая царя, они всегда рады были взвалить на них всякие обвинения, и когда мера терпения переполнялась, то не останавливались ни перед какими крайностями, что и показали народные бунты, вспыхнувшие в начале царствования Алексея Михайловича в Москве, в Новгороде и в других городах, — бунты, сопровождавшиеся и убийствами начальствовавших лиц.

По известию Котошихина, при восшествии на престол Алексея Михайловича созывался земский собор, который и избрал на царство сына умершего государя<sup>1</sup>. Что это был настоящий земский собор, показывает то, что автор, сообщая о том известие, говорит о числе выборных из каждого города и описывает пиры, происходившие после избрания, на которых новоизбранному царю подносили подарки. Об этом соборе нет никаких упоминаний в дошедших до нас актах того времени, но это не дает права подвергать сомнению действительность передаваемого Котошихиным события, так как до нас многое не дошло из старых дел, а многое еще не обнаружено исследователями и издателями.

Мало официальных свидетельств осталось и о другом земском соборе, созданном царем Алексеем Михайловичем

---

<sup>1</sup> Патриарх, и митрополиты, и архиепископы, и епископы, и архимандриты, и игумены, и весь духовный чин, соборовали, и бояре, и окольничие, и думные люди, и дворяне, и дети боярские и гости, и торговые и всяких чинов люди, и чернь после смерти прежнего царя обрали на царство сына его нынешнего царя и учинили коронование в соборной большой первой церкви и молили Бога... а было тех дворян, и детей боярских, и посадских людей, для того обрания, человека по два из города. (Котоших. О России в царств. Алекс. Мих. Гл. 1, стр. 4).



по поводу составления Уложения. Июля 16-го 1648 года государь с патриархом, духовенством, боярами и думными людьми, по челобитью многих всяких чинов людей, приговорили: «выписать из правил св. Апостол и св. отец, и из градских законов греческих царей пригодные для государских и земских дел статьи, и собрать указы прежних царей и боярские приговоры, справить их с старыми судебниками, а на которые статьи указов государевых и боярских приговоров не было, и те бы статьи вновь написать и изложить по его государеву указу, общим советом, чтоб Московского Государства людям от большего до меньшего чина суд и расправа были во всех делах всем равно». Указал государь все то собрать и в доклад написать князю Никите Ивановичу Одоевскому, Федору Федоровичу Волконскому, Семenu Васильевичу Прозоровскому и дьякам Гавриле Леонтьеву и Федору Грибоедову. Для такого великого государского и земского дела царь указал, и бояре приговорили: «выбрать из стольников, стряпчих, из дворян московских и из жильцов из чину по два человека, также всех городов из дворян и из детей боярских взять из больших городов, опричь Новгорода, по два человека, а из новгородцев с пятины по человеку — из меньших городов по человеку, из гостей — трех человек, из гостиной и суконной сотен по два человека, а из черных сотен и из слобод и из городов с посадов — по человеку, добрых и смышленных людей, чтобы государево его царственное и земное дело с теми со всеми выборными людьми утвердить и на мере поставить». По царскому указу в городах воеводы или губные старосты в губных станах должны были собирать тех, которые должны выбирать выборных, прочесть им царский указ, а по исполнении выбора — отправить выбранных в Москву. В октябре 1649 составленное Уложение слушал государь с патриархом, духовенством, боярами и другими думными людьми, а в ответной палате, где сидели выборные люди с боярином Юрием Алексеевичем Долгоруковым, было предьявлено им Уложение и, по царскому указу, все к тому Уложению подписались и с этого экземпляра напечатана была книга и разослана в Москве по приказам и в города для руководства — всем судящим лицам.

Хотя деяния этого важного земского собора до нас вполне не дошли и мы не имеем под рукою всех заявлений, представленных тогда выборными людьми, но остались, однако, некоторые указания на подававшиеся тогда челобитные выборных, которые были приняты во внимание и внесены в законодательство. Так, выборные всяких чинов

указали, что около Москвы и других областных городов, именем патриарха, владык, монастырей, бояр, думных людей, дворян и т. п. знатных того времени особ, заведены дворы и целые слободы, где жили в качестве закладчиков за сильными особами бежавшие от тяготы люди, занимались торговлею и промыслами и пользовались льготами, тогда как через то самое увеличивалась тягость на людях, оставшихся в тех тяглых общинах, откуда закладчики ушли. Таких много было в Москве и в ее предместьях, называемых слободами. В Нижнем Новгороде, в Благовещенской слободе, принадлежавшей патриарху, сверх записанных в писцовых книгах, было до шестисот ремесленных и торговых людей, которые туда сошлись из разных городов «для легости». Около Москвы за Земляным городом были исстари версты на три и на четыре от города выгоны для выпуска скота, и близ других городов около посадов были такие же выгоны и выезды в лес по дрова, а все это захватили бояре и ближние люди, и московские дворяне, и дьяки под свои загородные дворы и огороды, а в иных местах монастырские люди и ямщики (пользовавшиеся также льготами) распахали там землю и в леса не стало проезда. Выборные просили всех таких торговых и промышленных людей на посадах и в слободах взять за великого государя в тягло, наравне с посадскими. По этой челобитной состоялся указ: все заведенные частными лицами дворы и слободы, где жили их закладчики, взять в тягло, а тех из них, которые прежде находились в тягле в посадах, воротить на их прежние места, впредь же состоящим в тягле не записываться в закладчики под страхом жестокого наказания кнутом и ссылки в Сибирь на Лену. О тех же селах, слободах и деревнях, которые хотя не близко от посада, но в которых живут торговые и промышленные люди, указано было произвести сыск: если по этому сыску окажется, что они были издавна городские посадские люди, таких переводить в посады, а тем, которые, издавна бывши крестьянами, завели себе лавки и начали заниматься торговлею и промыслами, велено торговые и промысловые заведения продать тяглым людям. Но о таких селах, которые не очень близко были к посадам, велено ждать дальнейшего указа. Челобитные эти подавались в смысле уравнивания всех в отправлении государственных и земских повинностей. Другая челобитная выборных людей указывала на то, что после указов и соборных приговоров, состоявшихся еще при царях Иване Васильевиче и Федоре Ивановиче, о непринимании вперед духовным властям и монастырям земель,

многие приобрели себе и по царскому пожалованию, и через вклад от всяких чинов людей по душам своим и, наконец, покупками и взятием в залог вотчины, села и всякие угодья. Челобитчики домогались, чтоб эти земли, взяв от монастырей, раздать по разбору служилым, беспоместным и малопоместным дворянам и детям боярским. На эту челобитную не последовало полного решения, а велено было сделать выписку о вотчинах духовных властей, монастырей и церквей. Но не ко всем заявлениям, сделанным тогда на соборе, правительство отнеслось так снисходительно. Есть известие, что князь Львов, а с ним сто двадцать человек, осмелились выразить свое неудовольствие по поводу некоторых статей Уложения и за то сосланы были в Соловецкий монастырь. Впоследствии этим Уложением недоволен был патриарх Никон, называл его книгою проклятою, противною св. Евангелию, правилам св. апостол и св. отцов. В своих ответах боярину Стрешневу патриарх выразился об этом соборе: ведомо всем, что собор был не по воле, боязни ради междоусобия от черных людей, а не истинные ради правды. Но и заклятые враги Никона, раскольники, были также недовольны уложением и называли его «книгою богопротивною, антихристовою». Из этого можно с вероятностью заключить, что собор, утвердивший Уложение, не был делом всего народа русского и много было в последнем противного. Тем не менее, однако, созданное им Уложение надолго оставалось единственным кодексом законодательным, единственным мерилom правосудия для русского народа.

## VI

В 1653 году 1 октября был созван собор по поводу присоединения Малороссии. Сначала отправлялось праздничное богослужение в церкви Покрова (Василия Блаженного), где присутствовал царь с боярами и, вероятно, со всеми выборными, потом совершен был крестный ход в Кремль. Собор собрался в Грановитой палате. Были на этом соборе участниками: патриарх Никон, владыки, в числе которых митрополит сербский, архимандриты, игумены, со всем освященным собором, бояре, окольничие, думные люди, стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы, дворяне из городов, дети боярские, гости, торговые люди сотен гостиной, суконной и черных, и «всяких чинов люди» и стрельцы.

Прочтено было всем вслух о прежних отношениях к Польше, о том, что, вопреки договору, некоторые поляки пишут царское именование и царский титул не по вечному

докончанию, а иные «злодеи» пишут о московском государе с большою укоризною и своего короля пишут царем московским и обладателем. По этому поводу хотя и были посольства от царя в Польшу, но король и польские паны-рада государскую честь поставили ни во что. Сверх того происходили в порубежных местах от польских людей большие задоры и насилия людям царским, и поляки не учинили по письмам царских воевод никакой расправы. Наконец, гетман Богдан Хмельницкий и все Войско Запорожское много раз присылали к великому государю послов, жалуясь, что паны-рада и вся Речь Посполитая неволят православных запорожских черкас к римской вере и они поневоле призывали к себе на помощь против поляков крымского хана с ордою, а теперь просят царское величество принять их под свою крепкую руку и учинить им своими войсками помощь на гонителей христианской веры — поляков. Государь посылал к польскому королю и к панам-раде послов и объявил, что он простит вины тем людям, которые неправильно писали царское именование, если король и паны-рада помирятся с запорожскими черкасами, по Зборовскому договору отдадут им церкви, обращенные в унию, и вперед не станут делать гонений на христианскую веру греческого закона, но король и паны-рада и то дело поставили ни во что, отказали в мире черкасам и пошли на них войною при царских великих послах. Гетман Богдан Хмельницкий ныне с своим посланцем писал, что если великий государь над ними, православными христианами, не сжалится и войска своего им не пошлет, а иноверцы их под себя подобьют, то они волю их по нужде чинить будут.

Бояре царские первые подали голос, что нельзя более терпеть польскому королю и следует принять в подданство гетмана Богдана Хмельницкого. При этом кто-то из бояр дал такое оправдание подобному поступку со стороны московского государя: король Ян Казимир присягал, что ему веры христианской не теснить и других к тому не попускать, а буде он присяги своей не сдержит, то тем чинит своих подданных свободными от всякой верности и послушания. А как Ян Казимир присяги своей не сдержал и на православную христианскую веру греческого закона восстал и многие церкви разорил и в унию обратил, то запорожские черкасы стали теперь присягою королевскою вольные люди, и чтоб их не отпустить в подданство турецкому царю или крымскому хану, доведется гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское с городами и землями принять.

Затем были допрашиваемы по чинам порознь все бывшие на соборе. Все решали, что великому государю — пожаловать гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское для православной христианской веры и святых Божиих церквей, велеть, по их челобитью, принять их под свою государскую высокую руку. Служилые люди объявили, что они за государскую честь учнут с литовским королем битися, не щадя голов своих, и рады помереть за государскую честь; торговые и всяких чинов люди — что они вспоможеньем и за государскую честь головами своими рады помереть.

При царе Федоре Алексеевиче, уже в последний год его царствования и жизни, царь делал созовы выборных лиц, но не разом призывал все чины Московского Государства, а созывал чины отдельно, сообразно специальностям, касавшимся этих чинов. Так, в ноябре 1681 года состоялся церковный собор, столько же важный, как тот, который собирався при царе Иване Васильевиче, и составил Стоглав. Подобно тому, как делалось при царе Иване Васильевиче, и теперь от имени царя предлагались вопросы или предложения, а духовный собор подавал на них ответы или решения. Таких предложений было шестнадцать. Указана была потребность основать новые епархии, особенно в виду того, что умножались церковные противники. Правительство предлагало завести у митрополитов подначальных им епископов, но собор нашел это неудобным, опасаясь, что тогда между архиереями будут происходить распри о «высости». Собор предпочел учредить в некоторых городах новые независимые епархии. Таким образом основаны были архиепископства в Севске (к нему города с уездами: Севск, Брянск, Трубчевск, Путивль и Рыльск), в Холмогорах (к нему города с уездами: Холмогоры, Архангельск, Мезень, Кевроль, Пустозерск, Пинега, Вага с пригородками), в Устюге (к нему Устюг, Сольвычегодск, Тотьма с пригородками), епископства в Галиче, Арзамасе, Уфе, Тамбове (Тамбов, Козлов, Доброе Городище с пригородками), Воронеже (Воронеж, Елец, Романов, Орлов, Костянск, Коротояк, Усмонь, Острогожск и пр.), Болхове (Болхов, Мценск, Карачев, Кромы, Орел, Новосиль) и в Курске; вятская епископия повышена в архиепископию. На содержание новых архиерейств отчислялись разные монастыри с их вотчинными крестьянами и со всеми угодьями. Со стороны царя сделано было указание на отдаленные страны Восточной Сибири, где пространства были так велики, что до епархиального города приходилось ехать год и более, а между тем,

эти страны удачно становятся притоном противников Церкви. Но собор не решал там учреждать епархии, малолюдства ради христианского народа, ограничился одною архиепископиею в Енисейске и постановил посылать на Лену и в Даурию архимандритов и священников для научения в вере.

По вопросу о противодействии расколу духовный собор, не имея в своем распоряжении материальной силы, отдавал это дело мирской власти. Вотчинники и помещики должны извещать воевод и архиереев о раскольниках, архиереи прикажут действовать против них духовными мерами увещаний, а воеводы будут посылать служилых людей против тех раскольников, которые окажутся непослушными увещаниям архиереев. Сверх того собор просил государя не давать грамот на дозволение основывать новые пустыни, в которых обыкновенно отправляли богослужение по старым книгам. В тех же видах велено уничтожить в Москве палатки и амбары с иконами, называемые часовнями, в которых священники служили молебны по старым книгам и куда народ стекался толпами, вместо того, чтоб идти в церковь и слушать литургию. Наконец, постановлено учредить надзор, чтобы не продавались старопечатные книги и разные писанные листочки и тетрадки с выписками из св. писания, направленными против господствующей Церкви в защиту старообрядства.

На этом же церковном соборе обращено было внимание на разные бесчинства, против которых напрасно вооружались и прежние соборы: запрещалось монахам шататься, в монастырях держать крепкие напитки под предлогом, что держат их для гостей, устраивать пиры, разносить по кельям пищу; везде, как настоятелю, так и братии, одежду надлежало получать из монастырской казны, а денег на одежду никому не выдавать; в домах вне монастыря никого не постригать, для бродящих чернецов устроить принадлежащий Троицко-Сергиеву монастырю Пятницкий монастырь, собрать их туда из Москвы и держать под строгим надзором, и подобное устроить в других епархиях. Замечено, что много было черниц, которые, постригшись дома, пребывали не в монастыре, а в мирских жилищах, или шатались по перекресткам и улицам и просили милостыню. Таких черниц велено собрать и устроить для них обители из некоторых монастырей, бывших прежде мужскими. Монахиням запрещалось самим управлять своими вотчинами, а это поручалось назначенным от правительства старым дворянам. В домовых церквях запрещалось держать вдовых

священников, потому что они, как было замечено, вели себя безобразно, а тем «великим» людям, которым позволялось иметь у себя домовые церкви, следовало испрашивать к этим церквям священников от архиереев. Обращено было внимание на нищих, которые, толпясь в церкви, своими криками о подаении прерывали ход богослужения. Их велено было разобрать, слабых и больных содержать в особом месте на счет государевой казны, а ленивых, но здоровых приставить к работе. В монастырях — завести больницы.

Дозволено было посвящать священников в православные приходы, находившиеся во владении Польши и Швеции, но только с тем, если последует о том просьба от прихожан с надлежащими документами и грамотами от своего правительства. Это правило было важно в том отношении, что открывало путь русской Церкви вмешиваться в духовные дела соседей.

Все это было предложено от имени государя и только одобрено, принято и установлено собором. Но по одному сделанному предложению собор уклонился от принятия царского желания. Указывалось собору, что в печатной чиновной книге, по которой приводились к присяге и состоявшие на службе в верности своему долгу и во всяких расправных делах, находятся многие страшные и непрощаемые клятвы, которые к тем делам неприличны. Собор дал такой ответ: так как многие грешат особенно при сборах царской казны, нарушая данную присягу, и тем подвергаются клятве и убивают себя вечною смертью, то пусть великий государь изволит наложить на таких людей прощение и страх по своим градским законам.

Кроме всего изложенного, на этом соборе постановлено несколько частных правил о содержании некоторых предметов благочестия, хранившихся собственно в Москве: о частице животворящего древа, о частицах святых мощей, о ризе Господней, присланной из Персии еще при патриархе Филарете, разрезанной на кусочки: по определению настоящего собора все эти кусочки велено было собрать вместе в один ковчег и хранить в Успенском соборе.

Столько же важен, если еще не важнее, был собор служилых людей. 24 ноября 1681 года указом царским велено было созвать, под председательством боярина князя Вас. Васильев. Голицына, выборных из служилого сословия из стольников, стряпчих, московских дворян, жильцов, городских дворян и детей боярских. Они собрались 12 января 1682 года. Боярин князь Голицын с товарищи объявил им царский указ:

«В мимошедшее время на боях с государевыми людьми, государевы неприятели показали новые в ратных делах вымыслы и поэтому надлежит в государских ратях учинить рассмотрение и лучшее устроение и переменить на лучшее то, что показалось на боях неприбыльно.

Выборные люди нашли, что полковому службу стольников, стряпчих, дворян и жильцов удобнее будет расписать не в сотни, как прежде бывало, а в роты, считая в полку по шести рот, а в роте по 60 человек, и быть в ротах начальниками ротмистрам и поручикам, из стольников, стряпчих, дворян и жильцов из всех родов и чинов без мест и без подбора, кому в каком чине быть великий государь укажет. После принятия такого желания выборные подали челобитную такого рода: они, выборные люди и братья их, и дети, и сродники написаны в ротмистры и поручики, а из родов Трубецких, Одоевских, Куракиных, Троекуровых, Репниных, Шеиных, Лобановых-Ростовских, Ромодановских и иных важных родов в эти чины никого не написали за малолетством; опасно, чтоб от них после не было укоризны и попреку тем, которые в означенные чины поступили, поэтому выборные люди бьют челом, чтоб тех высоких родов дети были также написаны в ротмистры и поручики, как они в службу поспеют. Затем для совершенной в ратных, посольских и других всяких делах прибыли и лучшего устроения указал бы великий государь всем боярам, окольничим, думным и ближним людям и всем чинам быть на Москве в приказах и в полках у ратных дел, и у посольских дел и в городах быть меж себя без мест, где кому великий государь укажет и никому ни с кем впредь разрядом и местами не считаться, все разрядные случаи и места отставить и искоренить, чтоб впредь от тех случаев в государевых ратных и во всяких делах помешки не было.

Это челобитье было представлено государю. До сих пор остается неизвестным: было ли оно составлено по добровольному начинанию, возникшему среди выборных, или как-нибудь было им намечено сверху. Во всяком случае мысль о необходимости искоренить старинный обычай местничанья в то время уже достаточно созрела, так как во все предшествовавшие войны при Михаиле и Алексее, по царскому повелению, все были без мест, а в посольских делах местничанье давно было устранено. Царь, получивши такую челобитную, представил этот вопрос на обсуждение и на совет собранию из духовных лиц и думных особ. Духовенство признало обычай местничанья противным духу христианства, Божией заповеди о любви, источником вреда



для царственных дел. Бояре и все думные люди сказали, «что в мимошедшие лета во многих государских ратных, и в посольских во всяких делах чинилися от тех случаев великие пакости и нестроение и неприятелям радование», а между царскими людьми «нелюбовь и великие продолжительные вражды»; а потому приговорили «разрядные случаи отставить и искоренить». Государь указал «для совершенного искоренения и вечного забвения, те все прошения о случаях и о местах записки предати огню, чтоб та злоба и нелюбовь совершенно погибла и впредь непамятна была. А что еще есть в Розряде случаев и о местах записки, а у кого такие ж книги и записки», — приказано собрать и сжечь. Затем вперед везде на службе всем быть без мест, никакими прежними случаями не считаться, никому ни над кем «мимошедшими находы не возноситься», никому в укоризну прежнего ничего не ставить и не бесчестить.

Слыша царское решение, патриарх и духовные сановники, а за ними и члены царской думы воскликнули: «да погибнет во огни оное Богом ненавистное, враждотворное, братоненавистное и любовь отгоняющее местничество и впредь да не воспомянется во веки!»

В тот же день все разрядные книги преданы были огню в сенях государевой передней палаты. Там во время их горения стояли: князь Михаил Юрьевич Долгорукий, думный дьяк Василий Семенов и несколько архиереев по указанию патриарха.

Донесли государю и патриарху об исполнении указа. Патриарх сказал тогда думным людям: «Дело, совершенное с благословения освященного собора советом всего синклита, соблюдайте крепко и нерушимо; а буде кто не принесет хранящиеся у него книги и записки, належащие до таких случаев, а станет держать у себя в дому, тот пусть опасается за то гнева от великого государя и церковного запрещения, как преобидник царского повеления и нашего благословения презиратель».

«Да будет тако, яко рече он святейший патриарх!» единогласно произнесли бояре и все думные люди.

Государь похвалил бояр и всех думных людей за совершенное доброе дело и объявил, что прикажет в разряде держать родословные книги всем их родам и дозволяет каждому хранить такие же книги и у себя в дому. Указано быть нескольким родословным книгам по различным достоинствам службы. В одну из этих книг помещались те роды, которых члены были в звании бояр и вообще думных людей ещё в царствование царя Ивана Васильевича, а также и те,

которых члены в оное время находились в посольствах, на воеводствах или у царя в близости. В другую книгу вписывались те роды, из которых с царствования царя Михаила Феодоровича были в звании воевод, в посольствах, или записаны были в десятинах (войсковых списках) в первой вышешей статье. В третью вписывались те, которые в десятинах были записываемы в среднюю или меньшую статью, а в четвертую — которые за службу своих отцов или за свою собственную были записаны в московский список. Такой указ был прочитан вслух боярином на Постельном крыльце. Соборное деяние об уничтожении местничества было подписано патриархом, всеми духовными властями, всеми думными и выборными людьми<sup>1</sup>. Неизвестно, этим ли только делом ограничилась тогдашняя деятельность земского собрания выборных служилых людей или они после того занимались еще какими-нибудь делами по устройению службы.

За собраниями по делам церковным и служебным в декабре 1681 года указано было на следующий год созвать в Москву выборных людей торгового звания с посадов во всех городах, кроме сибирских, для уравниения их выборных служб, всяких повинностей и платежа податей. Для такой цели указано было выбрать из гостей четырех человек, а из сотен: гостиной, суконной и московских черных сотен и слобод, изо всех посадов и из дворцовых сел и слобод по два человека добрых и знающих дело. Они обязаны были привезти с собою окладные книги, хранившиеся постоянно в земских избах и именные списки лучших, средних и меньших людей<sup>2</sup>. Что делали они в Москве — нам неизвестно, как равно неизвестно, не состояла ли дальнейшая деятельность выборных людей служилого сословия после уничтожения местничества в какой-нибудь связи с деятельностью этих вызванных неслужилых выборных людей.

В конце апреля 1682 года скончался царь Федор Алексеевич. Между близкими вельможами возникло разногласие по вопросу о престолонаследии. Из двух братьев умершего бездетным царя один был слаб здоровьем и малоумен, другой малолетен. При старшем брате, Иоанне должна была бы управлять умная сестра его София, при меньшом, малолетнем Петре, мать последнего Наталья Кирилловна, вторая супруга царя Алексея Михайловича. С возведением того и другого на престол не сам царь своею особою управ-

<sup>1</sup> Собр. госуд. грам. и договор., т. IV, стр. 396-410.

<sup>2</sup> Полн. Собр. Законов Росс. Империи, том II, стр. 366.

лял бы государством. Одни вельможи, соображая свои личные интересы, были за объявление царем Иоанна, другие — за Петра. Патриарх предложил вопрос этот предать решению всех чинов Московского Государства.

Созвали все чины Московского Государства. Соловьев<sup>1</sup> догадывается, что в этом случае в смысле Московского Государства понимался один царствующий град Москва. Но нельзя не принять во внимание, что незадолго до конца царствования Федора Алексеевича созданные выборные из служилых и неслужилых, оставаясь еще в Москве, могли представлять собою чины Московского Государства. По официальному документу того времени, подтверждаемому и известиями других современников и очевидцев событий<sup>2</sup>, тогда созвали стольников, стряпчих, дворян московских, дворян городских, детей боярских, гостей, торговых людей московских сотен и иных чинов людей. Патриарх с духовенством, с боярами и прочими думными людьми вышел на крыльцо, что перед Переднею, а созданные поставлены были наверху, разместившись на площадках верхней и нижней, что перед церковью Нерукотворенного Спаса. Патриарх произнес им речь, и спрашивал: кого желают избрать на царство? Все провозгласили Петра, один только голос Сумбулова раздался за Иоанна. Тогда духовенство и бояре обратились к Петру и, как говорят, старший брат добровольно уступил меньшему свое первородное право. «Тогда ему, великому государю, подданные государевы: касимовские и сибирские царевичи, и бояре, и окольничие, и думные и ближние люди, и стольники, и генералы, и полковники, и стряпчие, и дворяне московские, и дьяки, и жильцы, и начальные люди, и городовые дворяне, и дети боярские, и приказные, и всяких чинов ратные люди, и гости, и гостиные сотни, и стрельцы, и пушкарки, и черных сотен сотские, и торговые, и тяглые, и всяких чинов Московского Государства люди все веру учинили». Уже одно упоминание об участии дворян городских и детей боярских показывает, что тогда в Кремле спрашивались не одни только жительствовавшие в столице постоянно. То же подтверждается царскою грамотою от 3-го мая донскому войску: в ней излагается избрание в цари Петра всеми чинами Московского Государства и притом говорится, что в числе

---

<sup>1</sup> Истор. Росс., том XIII, стр. 338.

<sup>2</sup> Сахаров. Записки русских людей: Желябужского, стр. 2; Медведева, стр. 3-4; Крекшина, стр. 27-28; Матвеева, стр. 6. — Голиков. Деяния Петра Великого, том I. издание 2-е, стр. 13.

этих чинов Московского Государства и «донские козаки, которые ныне на Москве, станичный атаман Пахом Сергеев с товарищи все веру учинили». Что во время кончины царя Федора Алексеевича и избрания Петра были в столице выборные люди, созданные еще покойным царем, показывает царская грамота от 6-го мая о распусчении всех городов и уездных всяких чинов людей, которые по указу бывшего государя присланы были к Москве для разборов и изравнения во всяких службах и податях. Сопоставляя эти известия, кажется, можно остановиться на том, что выражение официальных памятников об избрании Петра Алексеевича по смерти царя Федора Алексеевича всякими чинами Московского Государства нельзя относить к области той риторики, какую мы встречаем в грамотах об избрании на престол Федора Борисовича, Василия Шуйского или королевича Владислава.

По окончании последовавших затем смут и номинального двуцарствия, утвердилось единовластие Петра и для России наступили иные времена. Страстный преобразователь не созывал к себе на совет выборных Русской Земли, потому что замыслил преобразовать Русскую Землю так, как ему казалось лучшим, по западноевропейским образцам своего века, а не так, как бы, может быть, захотело большинство таких выборных, если б, их созвавши, о том стали спрашивать. Не малочисленная часть русского общества сочувствовала главной задаче своего царя-преобразователя и прощала ему то, что не могло нравиться в приложениях к жизни, а противники трепетали пред железною волею и суровостью властелина, не останавливавшегося ни перед чем, когда нужно было карать своих противников. Иные времена пошли для России и после Петра. Несколько раз оставался престол праздным, прекращались царственные линии, но в таких случаях не созывали к совету и устройению государства всякие чины государства, как бывало в прежний московский период русской истории; дело решалось кружком вельмож или дворцовым переворотом при содействии гвардии в столице, издавались законы, но при составлении их не приглашались те, которые должны были этим законам подчиняться. Только при Екатерине II, которая, при своем совершенно иноземном происхождении, хотела более других русских государей казаться русскою, явилась попытка возобновить оставленный и забытый способ единения власти с народом.

Деятельная и заботливая государыня, заметив в своем государстве недостаток правосудия, начертала наказ проекта нового Уложения законов и, дабы лучше можно было узнать нужды и чувствительные недостатки народа, повелела собрать по Империи депутатов по одному от дворян каждого уезда, от жителей каждого города, от однодворцев, государственных крестьян, пахотных солдат и других наименований служилых, составляющих ландмилицию, по одному из каждой провинции и от оседлых инородцев крещеных и некрещеных, каждого народца по одному также в каждой провинции, а определение числа депутатов от козаков и Войска Запорожского предоставлено было их начальству. Все депутаты получали от избирателей полномочия и наставления.

Эта выборная комиссия открыла свои заседания в числе 460 человек в Москве 31-го июля 1767 года. До конца этого года ее заседания происходили в Москве, а в следующем году, с половины февраля по декабрь, в Петербурге. По видам занятий учреждено было из членов этой комиссии три комиссии: дирекционная, организовавшая девятнадцать частных комиссий для разных отраслей законодательства; экспедиционная, занимавшаяся редакцией и наблюдавшая, чтобы труды всех комиссий частных были изложены по правилам языка и слога, и комиссия о разборе депутатских наказов и проектов, представлявшая выписки из них полному собранию комиссии, отсылавшему их в дирекционную комиссию.

Характеристическою чертою этой комиссии, этого воскресенного земского собора выборных русских людей, был антагонизм между сословиями, чего не представляли земские соборы до-петровской московской Руси. Каждое сословие старалось удержать свои права и расширить их даже в ущерб другим сословиям. Дворяне ревниво стояли за свое право рабовладения и хотели лишить купцов предоставленного последним от Петра Великого права приобретать населенные имения к своим заводам и фабрикам, а купцы не только желали сохранить право, которое за ними уже было, но домогались права покупать крепостных людей по одиночке с тем, чтоб иметь приказчиков и подносчиков из невольников. Купцы указывали на то обстоятельство, что вольнонаемным трудом невозможно было им пробавляться. Духовные требовали для себя также права покупать крестьян и дворовых людей. Того же добивались козаки. Дворяне, стараясь не допустить другие сословия до рабовладения,

под самыми гуманными и благовидными предложениями вооружались против этого, но доказывали, что для государства очень полезно оставлять право рабовладения исключительно за дворянами, потому что долг дворян — служить отечеству и государю с особенным усердием и своим воспитанием готовить себя к управлению подданными государя, а потому полезно для них иметь рабов, дабы, научась с младенчества управлять своими деревнями, они становились бы способными управлять частями государства. Когда послышались было голоса о том, что надобно ограничить произвол дворян-рабовладельцев, то против таких заявлений поднялся сильный ропот. Купцы, домогаясь уравниения с дворянами по праву рабовладения, хотели, однако, за своим сословием оставить исключительное право вести торговлю, воспретив ее другим сословиям безусловно, не позволяя дворянам иметь заводы и фабрики в своих собственных имениях. В среде самого дворянства происходили горячие споры между защитниками права лицам, рожденным не в дворянском звании, приобретать его службою, как было установлено Петром Великим и сторонниками родовитости, хотевшими до крайней степени ограничить доступ к дворянству, делая дворянское достоинство привилегиею знатных и старинных родов. Вообще в этой комиссии был один только согласный клич, что необходимо в России рабство. Оказывалось, что русский народ все еще двоился на две половины — властвующих и бесправных, бьющих и биемых. Это требование рабства, против которого, за недопущением порабощенных в число депутатов, невозможно было подняться энергическим голосам, было прямо противоположно тогдашней наклонности государыни уничтожить рабство в России; однако, общий дух общества до того был за рабство, что Екатерина сама прониклась им, и во вторую половину своего царствования уже не только не стремилась искоренить рабство, а еще сама поддерживала и распространяла. Замечательно, что депутаты комиссии заявили убеждения, противоположные убеждению своей государыни и по отношению к пытке. Они не только не сознавали бесчеловечность и юридическую неполезность этого способа добиваться на суде истины, но приписывали умножение преступлений тому, что вместо пыток стали довольствоваться увещаниями преступников, и произносили такой мудрый приговор, что «без пытки никакого злодеяния искоренить и в страх злодеев привести нельзя».

Наши либеральные мыслители ставили в заслугу комиссии, что в ней говорилось о необходимости заводить учили-

ща. Но дворянство, говоря о такой необходимости, хлопотало только о себе, так как в предполагаемых им училищах допускались только лица дворянского звания, а хотя дворяне некоторых уездов просили о заведении для бедных дворян таких училищ, куда бы допускались дети купцов и приказных, но добивались, чтобы дворяне пользовались перед другими сословиями такими преимуществами, чтоб определялись в службу обер-офицерскими чинами, умея читать и писать и зная немного арифметики и географии. Общим приговором комиссии положено было завести в городах и местечках приходские школы, под ведением епархиального начальства и градоначальников, с учреждением звания главного начальника земских школ. В этих школах дети должны были обучаться азбуке церковной и гражданской, краткому катехизису и началам арифметики, геометрии и русской географии. Городские депутаты заговаривали даже об учреждении академии и университетов, но то были не более, как хорошие и праздные речи.

В числе депутатов были также прибывшие из тех краев Империи, в которых, по прежней их местной истории, существовали иные стремления, чем в остальных краях государства. Такими краями были тогда Малороссия и Остзейский край. В Малороссии недавно только было упразднено выборное гетманское управление, но порядок козацкий еще оставался; там было желание восстановить Гетманщину, между тем как такое желание противоречило видам государственной политики, какой держалась Екатерина. Сам присланный в комиссию депутат Скоропадский был поборником местного национального направления, и как говорили, сам надеялся быть избранным в гетманы. «Но я осмеливаюсь уверять ваше величество», — писал Екатерине Румянцев, управлявший тогда Малороссию, — «что когда таковые и ему подобные останутся без действия и дел, а напротив, благонамеренные и сею болезнью самовладства и независимости не зараженные вашего императорского величества милостью отличатся и войдут в чины и дела, правительства ж и служба получают прямые для себя уставы, то и те, как великое всегда желание к чинам, особливо к жалованию имеющие, скоро переменят мысли и поступки». Румянцев знал и понимал малороссию. Старшины, в разные времена присвоившие своим родам козацкие земли, добивались законного признания за ними в собственность этих земель; малороссийское шляхетство хотело уравнивания прав своих с великорусским дворянством, хотело герольдии, дворянских дипломов сравнения мало-

российских военных и статских чинов с чинами общими в Империи, и паче всего хотело по закону крепостного права, драгоценнейшей из привилегий дворянского звания, которым фактически малороссийское шляхетство уже пользовалось, потому что даже многие из вольных козаков обращены были в мужики и очутились в рабском положении. Лифляндцы и эстляндцы ссылались на свои старинные права, оставленные краю по присоединении к России, и депутаты их подали в комиссию особо выработанный для своего края проект Уложения законов. Императрице это показалось очень неприятно, и заявления малороссиян и остзейцев способствовали закрытию комиссии, которое последовало под предлогом открывавшейся войны с Турцией.

Один из наших либеральных мыслителей Щапов находит, что «собрание этой комиссии вдруг повернуло государство от застоя к быстрому, живому и широкому историческому движению путем разнообразных, всесторонних радикальных реформ. Одни данные необработанные материалы для нового Уложения, доставленные и собранные комиссией 1767 года и 19 частными комиссиями, подвинули на полстолетие вперед законодательную деятельность и послужили к созданию всех тех учреждений, которыми более всего прославилось царствование Екатерины и ознаменовались в России семидесятые и восьмидесятые года прошедшего века. Таковы: учреждение для управления губерний (6 ноября 1775 года), устав благочиния (8 апреля 1782 года), указ об учреждении народных училищ (7 сентября 1782 года), городовое положение (21 апреля 1785 г.) и многие другие. Проекты всех этих законоположений начертаны были комиссиями депутатов. По окончании первой турецкой войны в 1774 году все эти проекты были мало-помалу извлекаемы из архива комиссии и, подверженные пересмотру, дополненные, измененные, согласно с видами петербургского правительства, уже под редакцию и пресом бюрократии, приводились в исполнение. Главная же существенная работа и заслуга в составлении всех этих законоположений все-таки исключительно принадлежит общей комиссии 1767 года и частным комиссиям. Многие идеи депутатской комиссии 1767 года стали насущными вопросами XIX века, заняли лучшие государственные умы». Таков взгляд Щапова. Все это может казаться последовательным, но не надобно упускать из вида той двигательной силы, которая и в XVIII, и во всяком другом веке руководит человеческими мыслями и делами. Эта сила — дух времени. Конечно, некоторые из депутатов были из немногих еще в те годы русских, усвоивших до известной степени плоды западноевропейского



просвещения, и находились под влиянием господствовавших тогда на Западе философских идей; несомненное еще то, что сама великая государыня была пропитана этими идеями, а с нею вместе оказывали они свое действие и на государственных людей, принимавших участие в законодательстве и управлении. Поэтому нет ничего удивительного, если в учреждениях семидесятых и восьмидесятых годов прошлого века проглядывает сходство с некоторыми проектами, подававшимися в комиссию. Не видим, однако, чтоб такие проекты принимались целиком и с сознанием, что имеют особую цену именно оттого, что были одобрены этой комиссией; напротив, по выражению самого Щапова, «приводились в исполнение пересмотренные и измененные согласно видам петербургского правительства». Гораздо правильнее можно признать важность влияния комиссии на перемены, происшедшие во взглядах и направлении внутренней политики Екатерины. До тех пор мы видим, что императрица была податлива к французскому учению о равноправности и свободе и ненавидела крепостное право. Не такова была она впоследствии. Никто из русских государей не возвысил до такой степени дворянства в смысле привилегированного сословия, никто не упрочил так власти дворян над их рабами. Многие обстоятельства произвели такую перемену и поддерживали новое направление государыни, а в числе их была, бесспорно, комиссия. Государыня приказала собрать со всей Земли депутатов и дозволила им высказываться в известной степени свободно для того, чтобы этим способом иметь возможность познакомиться с умонастроением народным, чтоб узнать, чего желает себе Россия? И что же узнала она? Что Россия более всего желает рабства, что Россия держится разделением своих жителей на гнетущих или желающих гнестись других и на безгласных, гнетомых. После такого дознания, какое же применение французских либеральных идей к русской жизни могла сделать великая государыня? И ее здравый природный ум, и ее начитанность и, наконец, более всего опыт показали ей, что в ее положении для охранения самодержавия верховной власти и всего соединенного с ним порядка и спокойствия в государстве необходимо не только не разрушать прав высшего класса над крепостными крестьянами, но расширять их и поддерживать, чтобы тем привязать к самодержавной власти дворян, мелких властелинов. И великая государыня не ошиблась. В Малороссии и в Слободской Украине поселяне еще не были прикреплены к земле за своими помещиками. Екатерина сравнивала эти края с остальной Россией, а через то, бесспорно, выиграла много. Гетманщина не могла бы так скоро и

легко примириться с уничтожением своего давнего порядка, если бы тамошние сильные и влиятельные люди не увидели собственной выгоды в таком уничтожении. И кто же первый указал эту истину либеральствовавшей еще государыне, как не депутаты этой комиссии, показывавшие, что людям, се составляющим, более всего желательно быть рабовладельцами? Да, если что важного учинило в нашей истории это последнее собрание земских людей, то именно, что оно освятило и узаконило рабовладение в России почти на целое столетие.

Наши земские соборы нельзя ни в каком отношении рассматривать как что-то похожее на западноевропейские парламенты и национальные собрания народных представителей. Это не были учреждения, установленные законом, с своими приемами в составе, делопроизводстве и с определенной сферой для деятельности. Они не опирались ни на каком государственном акте, вроде какой-нибудь великой хартии, золотой буллы или чего-нибудь подобного. Не было определенных навсегда правил: по каким поводам созывать соборы, в какие сроки должны быть созываемы подобные сходы; не было определено обязанностей ни председателя, ни секретаря этого собрания, и тому подобного. Все зависело от воли царя — прикажет выбрать из таких-то мест столько-то лиц, из такого-то и такого чина, и выборным ехать в Москву... там их спрашивают, о чем сами хотят спрашивать, не более, — они отвечают, толкуют, но толки их и замечания не имеют сами по себе смысла верховного решения: их слушают, сколько хотят, и распускают выборных, когда захотят. Словом сказать, это был способ узнать в данное время народное умонастроение, как говорилось при Екатерине, и, кажется, пришли к мысли созывать в столицу такие сходы главным образом по причине всеобщей малограмотности в оное время. Если бы в XVII веке могли существовать, как в наш век, журналы и газеты, то не нужно было бы созывать земских соборов: достаточно было бы дозволить об известных вопросах излагать свободно рассуждения, и потом правящая власть могла бы сообразить различные мнения, уразуметь, что думает о таких-то данных русское общество, а потом уже полагать от себя решения. Все равно, суждения земских соборов не имели обязательной для власти силы; например, в 1642 году земские люди решили, чтоб вести войну с турками, однако, войны не последовало. Соборам, как можно видеть, придавалась большая сила по вопросу об избрании царей, и это, очевидно, оттого, что избранный мог забрать в свои руки материальную силу, способную укрощать противни-

ков. Но и в таких случаях мы видим, что согласие земских выборных не обеспечивало власти царя, если на противной царю стороне оказывалась сила. Бориса избрание не спасло от Самозванца, явившегося с таким именем, которое в глазах народа имело более права, а Петр хоть и выбран был выборными людьми, но под напором стрельцкого бунта принужден был разделить престол с братом. Внутренние и внешние обстоятельства подняли было земские соборы при царе Михаиле Федоровиче, когда Земля, сплотивши без государя расшатанное государство и избравши себе царя, должна была вместе с ним приводить к совершению дело, ею начатое еще без государя. Тогда земские соборы стали собираться так часто, что, казалось, становились необходимыми органами государственного управления. Но государство начало приходить в прежний строй, и земские соборы собираются реже, а наконец, к концу XVII века, так сказать, испаряются. Мы не встречаем и тени существования в них чего-нибудь подобного тому, что называется на Западе оппозицией власти. Выборные люди всегда почти, заявляя свое мнение, когда у них его спрашивают, обыкновенно прибавляют, что во всем будет государская воля, как великому государю Бог известит. Не видно также, чтоб русские люди сколько-нибудь дорожили созыванием выборных людей, как своим правом, а скорее смотрели на выборы и на поездку в Москву, как на повинность, исполняемую по царской воле, что доказывается примерами, когда правительство, созывая выборных, принуждено бывало писать повторительные указы об их прибытии в столицу, чтоб не было остановки государевым и земским делам. При таком взгляде и при таких отношениях к делу понятно, что эти соборы собирались только до тех пор, пока верховной власти угодно было их собирать, а когда государи перестали устраивать земские соборы, то никто не домогался, чтоб они созывались, никто не заявлял потребности в них, и они забылись до такой степени, что в настоящее время история ощущает недостаток в сведениях о земских соборах едва ли не более, чем о многих других общественных явлениях старинной русской жизни.

# ОЧЕРКИ ТОРГОВЛИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVI И XVII СТОЛЕТИЯХ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Совокупность местных особенностей и вековые обстоятельства истории наложили своеобразное очертание на все проявления жизни народа, населявшего Россию. Плоскость пространства, суровый климат, отдаленность от театра умственной и гражданской деятельности цивилизованного человечества, близость к кочующим племенам, от которых Россия должна была защищать первые начатки своей образованности, слишком слабые не только для того, чтоб обновить жизнь других, но и для того, чтоб развиваться своенародно при неблагоприятных обстоятельствах; наконец, долговременное иго татарское, из-под которого Россия освобождалась медленно, не путем открытого сопротивления и борьбы, но пользуясь игрою случая и выбором обстоятельств, — все это вместе приготвило для России тот образ, в котором быт ее явился в XVI веке, когда она, освободившись от чуждого завоевания, установилась на основании государственного единства и начала новый период своей истории, определяемый названием московского. Эти условия жизни отразились, между прочим, и на русской торговле. Количественное богатство материалов страны, более девственной и обширной, чем плодоносной; скудость рукодельных произведений; труд производителя, тяжелый, вынуждаемый чаще всего внешними побуждениями необходимости и неизбежности, иногда тою отвагою, которая рождается вследствие терпения, редко изобретательностью и сознательною надеждою на успех; неудобства путей сообщения, подвергавшие торговцев невыразимым лишениям и опасностям; незнание техники чужеземных произведений;

неведение способов их приобретения и сбыта своих собственных; недоверчивость к собственным силам и чужой добросовестности, а вследствие того стремление обманом предупредить обман; задержки и препятствия, которые на каждом шагу полагались торговой деятельности, — вот черты, отличавшие русскую торговлю и составлявшие ее исключительный характер.

Падение Новгорода, убив древний порядок раздельности и вечевое порядка удельного периода, не осталось без важных изменений в торговле. Иоанн III, переселив во внутренность Московии знатнейшие новгородские фамилии, разрушил вековую корпорацию новгородских гостей, которые до того времени составляли как бы компанию, державшую в своих руках всю торговую деятельность древнего русского мира и исключительно управлявшую торговлею с Западом. Но собственно Новгород, в смысле его местности, еще долго не терял прежнего значения; под властью Москвы он, по крайней мере, до открытия беломорского пути, не перестает быть важнейшим пунктом торговых сношений России с Европою. В Новгороде был главный обмен русских сырых произведений на иноземные рукодельные. С разных сторон России стекались туда купцы, москвичи, тверитяне, смоляне, с медом, воском, мехами, солью, рыбою, лесом, пенькою, льном, угольями, и возвращались с сукнами, материями, драгоценными металлами. Покупаемые или вымениваемые русские товары отправлялись из Новгорода двумя путями: в Иван-город и в Псков, а из Пскова в Ригу и Литву. Из иностранных купцов, торговавших в Новгороде в начале XVI века, первое место занимали фламандцы, за ними литвины. Такое стечение купцов давало ему значение первого торжища во всей России.

Из городов, соседних с Новгородом, занимало важное место Белоозеро, перевалочный торговый пункт между Новгородом и северо-востоком России; там был постоянный торг или ярмарка, куда съезжались купцы тверские, новгородские и других городов, а равно и из монастырей, занимавшихся тогда большою торговлею. Сами белоозерские торговцы производили значительные закупы разных оптовых товаров, например, соли с Северного моря, и перепродавали купцам других городов. В XVI веке не только самый город, но и прилежащие к нему населенные пункты начали принимать торговый характер; но московское правительство, наблюдая свои выгоды и опасаясь, что при расширении торговых пунктов трудно будет следить за собиранием пошлин, в 1497 году уничтожило торги в селах, исключая

одного города и волости Углы. Судьба Пскова была подобна судьбе Новгорода. Падение веча в 1510 году сопровождалось такими же переселениями псковских купеческих фамилий во внутренность Московского Государства и замещением их москвитянами. И здесь угасла вековая торговая корпорация местных старожил, а новые общественные условия не позволили новому купечеству со временем сделаться тем, чем было прежде. Василий Иоаннович уничтожил вместе с гражданскою свободою Пскова и торговую вольность его, ввел тамгу и пошлины, лежавшие на торговле в Московском государстве, которых никогда не знали во Пскове. Таким образом, выгоды, которые извлекали псковские купцы, бывшие, по положению своего отечества, факторами между Европою и Россиею, не оставались уже для них исключительным достоянием, а переходили в руки правительства. Но Псков не перестал быть городом, важным для торговли. Он стоял на распутьи торгового обмена. Мы выше заметили, что часть товаров, выходивших из Новгорода, проходила в Псков. Самый Псков имел три пути сбыта и привоза: первый до Иван-города, вероятно, водяной, второй к Риге, третий в Литву. Главные иностранные купцы, торговавшие во Пскове, были ливонцы, скупавшие в этом городе огромное количество воску и меду. Эти два материала из всей обширной России приходили преимущественно во Псков и оттуда шли в Ригу, которая снабжала ими всю Европу.

В Москву в XV веке стекалось множество европейских купцов из Польши и Германии для покупки мехов, которые в московской торговле занимали первое место между вывозными товарами. Торговля эта происходила в гостином дворе; он в начале XVI века помещался в обширном каменном здании, которого лавки поражали глаза разнообразием привозимых товаров. Самое торговое время в Москве была зима, по причине более удобного сообщения, в особенности для приезжавших из Литвы через Смоленск, потому что летняя дорога этого пути находилась постоянно в самом дурном положении. Летним путем служила Москва-река, судоходная верст за сорок выше Можайска; по ней проходили в Москву суда с товарами и пригоняли лес, но вообще этот путь не был вполне удобен по причине извилистого русла реки, и зимний путь считался лучшим. В XVI веке не все иностранцы имели право торговать в Москве; туда приезжали преимущественно поляки; немцы, шведы и ливонцы ездили в Новгород. Каждый торговец, привозивший в Москву свои товары, должен был показать их таможен-

ным чиновникам, которые составляли им подробную опись и оценку и представляли на благоусмотрение государя; если великий князь пожелает купить в свою казну что-нибудь из привезенных товаров, то купец не имел права торговать, пока не окончится выбор для великокняжеской казны. Такие задержки и стеснения, вероятно, были причиною того, что вообще иноземные купцы охотнее ездили в Новгород, где это правило не наблюдалось в такой строгости, и если существовало, то ограничивалось некоторыми статьями, а потому-то англичане, приехавшие в Россию, нашли Новгород в торговом отношении значительнее царской столицы.

На северо-восток от Москвы в первой половине XVI века имел торговое значение Дмитров, потому что из него открывался важный путь в Волгу: суда шли по Яхроме в Сестрью, из Сестрьи в Дубну, а Дубною входили в Волгу. Таким образом, товары, привозимые из восточных стран, могли доходить водою в Дмитров, а оттуда сухопутьем перевозились в Москву. Дмитров, между прочим, был средоточием рыбной торговли, имевшей в тот век важное значение внутри края; по вышеупомянутому пути доставлялась рыба из Шексны. В окрестных селах Кимре и Рогачеве образовались также торговые пункты для хлеба, соли и скота. Далее, на устье Шексны образовался рыбный рынок; множество купцов съезжались туда из разных краев России для скупа шексненской рыбы, которая славилась повсюду; между прочим, монастыри посылали туда своих людей и крестьян для покупки значительных партий рыбы.

На устье Мологи существовала первая в то время в России ярмарка. Она была близ прежнего Холопьево-городка, построенного, как говорило предание, новгородскими рабами, которые в отсутствие господ воспользовались их супружескими правами, а по возвращении господ бежали на устье Мологи и там построили укрепление и защищались в нем отчаянно, но наконец были взяты силою. Под именем Холопьево-городка еще в XVI веке существовало поселение; в расстоянии же нескольких верст от него, при самом устье Мологи, стояла на скале церковь; в виду ее простирался широкий луг, на котором собиралась знаменитая ярмарка. Предания, сохранившиеся о ней в конце XVII века, когда она давно уже не существовала, уступив место другим торжищам, дают ей очень важное значение. Торг продолжался ежегодно в течение четырех месяцев. Широкое устье Мологи до того было заграждено судами, что люди без перевозов переходили по судам с одного берега на другой.

Купцы разных стран — немцы, поляки, литовцы, греки, итальянцы и персияне раскладывали на обширном лугу свои товары, удивлявшие красотой узорочья незнакомую с фабричною и искусственною производительностью Россию. Семьдесят кабаков с питьем разливали веселость в толпе.оборот на этой ярмарке был так велик, что сборщики пошлин приобретали в казну великого князя до 180 пудов серебра. *Бывшии тогда в память свою нам поведашии яже от отец своих слышаша*, говорит описывавший невиданную уже им ярмарку диакон Каменевич-Рвовский, писавший в последних годах XVII столетия. Герберштейн, посещавший Россию тогда, когда ярмарка Холопьяго-городка еще существовала, говорит, что туда стекались шведы, поляки, литовцы, но преимущественно татары и турки. Торг этого торжища был преимущественно меновой, так что почти обходилось без серебра и золота. Приезжие купцы променивали сшитые одежды, ткани, ножи, топоры и посуду на сырые произведения края, в особенности на меха. Это известие современника показывает, что сказание конца XVII века преувеличено, но тем не менее последнее служит доказательством, что ярмарка Холопьяго-городка действительно была очень важною в свое время, когда оставила в грядущих веках такую память о своем существовании.

В северо-восточной России Вологда и Устюг были города уже с торговым значением. Край Вологодский был богат льном и салом, и Вологда была сборным пунктом этих произведений, отправляя их в Новгород. В Устюге был меновой торг мехами, которые добывались на Двине и на Ваге, а также привозимы были соседними восточными инородцами: югрою, вогуличами, печерянами, пермяками и отчасти русскими промышленниками, которые сами ходили в глубины северо-восточных лесов. Из Белоозера приходили в Устюг, через Кубенское озеро, суда с хлебом и разными произведениями природы и рукоделья для обмена с инородцами на меха; между прочим, Кирилло-Белоозерский монастырь ежегодно отправлял в Устюг суда с товарами, преимущественно с кожей. Торговое плавание от Устюга до Холмогор по Двине существовало в начале XV века, и в Холмогорах была ярмарка, на которой торговали мехами. Смельчаки-промышленники спускались из Холмогор в Северное море, направляли путь вдоль правого берега, входили в Мезенскую губу, проплывали по Мезене, потом по Пезе, а оттуда коротким волоком переходили в реку Цыльму и входили в широкую Печору, по которой достигали Пустозерска. Некоторые ходили в Усу, а оттуда волоком



переправлялись в Сыгву, спускались в Обь и доходили даже до Иртыша. Само собою разумеется, что этот путь был продолжителен и исполнен опасностей и больших затруднений. Там промышленники ловили пушных зверей или выменивали меха у туземцев; другие выменивали моржей для зубов, ценных в то время в торговле; иные привозили из отдаленных краев редких птиц-соколов и кречетов, составлявших любимую забаву знатных. В земле самоедов, недалеко Мезеня, в селении Лампожне, была ярмарка, на которую съезжались из Холмогор разные купцы для вымена шкур и мехов от самоедов, как это свидетельствует грамота Иоанна IV, в 1547 году, где сказано: «Самоеды приезжают в Лампожны торговати с русаки». Некоторые из Устюга предпринимали промышленные и торговые путешествия в Вятку и Пермь: путь их лежал из Устюга по реке Югу, а потом волоком они переходили в Вятку; этот путь, однако, не считался безопасным, потому что купцы претерпевали несчастья от разбоев воинственных черемис. В Вятском крае привлекала промышленников ловля бобров в реках и белок в дремучих лесах: этим промыслом занимались татары и продавали свою добычу русским купцам. Таким образом, ловля бобров происходила в XVI веке в реке Чепце и в озере того же имени. Кроме мехов, русские торговцы покупали в Вятском крае лошадей, которые тогда уже приобрели известность.

Как ни затруднительны, как ни опасны были путешествия в глубине сурового, негостеприимного, дикого северо-востока, однако, польза, какую получали от них торговцы, была столь велика, что заставляла их отваживаться на все: в XVI веке в короткое время торговцы могли составить огромный капитал от таких поездок, потому что они выменивали ценные пушные меха на совершенную безделицу; например, за железный топор пермский дикарь давал столько мехов, сколько можно было, связав их вместе, продать в отверстие топора, куда вкладывается топорнице. Эта торговля знакомила северо-восточных дикарей с первыми зачатками цивилизации, ибо русские привозили им хлеб, одежды, посуду. Тогда как одни промышленники, vyplывая из Двины в море, отправлялись на восток, другие отправлялись по морю на запад, в землю лопарей, и выменивали рыбу за первые предметы гражданского быта. По берегам Ледовитого моря русские промышленники занимались ловлею белых медведей, моржей, рыбы и вываркою соли. Каргопольцы, порожане, устьмошане, мехренжане ездили к морю летом на судах, зимою на санях и

привозили оттуда большой запас соли, которую складывали в Турчасове и Порёге, где наемные козаки набирали ее в рогожи. Они продавали ее, между прочим, белоозерским купцам. Соль вываривалась в большом количестве в вотчинах Соловецкого монастыря и составляла важный доход его, приобретаемый торговлею. И другие монастыри имели там соляные варницы, например, монастырь св. Николая у Неноксы.

Из городов волжского бассейна Ярославль, Нижний и Балахна в первой половине XVI века были торговыми городами. Страна, прилегавшая Ярославлю, славилась своим хлебородием, а потому город Ярославль был местом хлебного закупа. В Нижнем и Балахне существовали торжища: это видно, между прочим, из привилегии, данной Данилову монастырю в Переяславле, на беспошлинную отправку разных произведений из монастырских имений на продажу в Нижний и Балахну. Казань еще в XV веке передавала России меха, получаемые из Джагатая, и, вероятно, через Казань доставлялись в Россию бухарские шелковые ткани. Из мехов, доставляемых в Россию Казанью, славилась преимущественно белки, которых ловили на Яике, куда русские еще не успели проникнуть. Что в XV веке русские купцы ездили также в Казань, это видно из грамоты митрополита Ионы в 1461 г. к казанскому царю, в которой он просит покровительства к своим людям, отправленным в Казань с *рухлядью*; митрополит напоминает казанскому царю, что он всегда был благосклонен к русским купцам, приезжавшим в Казань для торговли. Торговля с татарами не всегда была безопасна; так, в 1523 году в Казани перебили всех русских купцов. Но русские вели постоянную с ними торговлю: доставляли татарам европейские шерстяные материи, от них получали лошадей, которые были тогда в большим уважении. Татары обыкновенно вели с русскими меновую торговлю, но иногда продавали свои товары на чистую монету. По известию Барбаро, в XV веке русские посылали суда свои по Волге в Астрахань за солью. В конце XV века между Москвою и Астраханью ходили караваны. Путешествие это было очень затруднительно, по недостатку пристанища, продовольствия и частым разбоям на пути. Поэтому купцы старались везти свои товары тогда, когда астраханский царь посылал московскому великому князю подарки, что случалось почти каждый год. С этим посольством отправлялось до трехсот русских и восточных купцов с товарами, а татары за караваном гнали стада лошадей, которые служили им не только для продажи в Россию, но

и для пищи во время дороги, потому что они не брали с собой хлеба. Караван шел по правой стороне Волги, но иногда сначала по левой, для избежания нападения от татар Золотой Орды; самое опасное место было там, где Волга в своем течении сближается с Доном. Потом караван переправлялся на правую сторону Волги на плотах и шел по степи до жилых пределов России. Путь его лежал через Рязань и Коломну. Дорог совершенно не было. Негде было укрыться от дождя и зноя. Путники ночевали под открытым небом, ограждаясь повозками в виде укрепления. Для предосторожности ставили трех часовых: одного на правой, другого на левой стороне табора, третьего позади. Каждую минуту можно было ожидать нападения. Глаза не встречали в этой безбрежной степи ничего, кроме верблюдов и растерянных лошадей или татар в повозках. Так передает нам картину этого путешествия очевидец Контарини, который ехал в Москву с караваном с 10 августа по 23 сентября. В Астрахани в XV-XVI веках, до покорения ее Иоанном, была ярмарка, куда съезжались армянские и персидские купцы. Астрахань была тогда важнейшим пунктом торговли Венеции с Востоком. Торговля эта шла через Тану или Азов, отстоявший на восемь дней пути от Астрахани. Но уже в последней половине XV века Контарини заметил, что Астрахань представляла новые мазанки среди старых красивых развалин. Она не могла поправиться со времени разрушения ее Тамерланом.

Другой путь России на юг был Доном до Азова и по Азовскому морю до Кафы. Местом отправки русских произведений, выходивших из Руси этим путем, и пунктом складки привозимых был Данков, город обширный и замечательный. Плавание по Дону до Азова совершалось в двадцать дней. В 1499 году мы встречаем еще другой пункт нагрузки на реке Мече, на урочище, называемом Каменным Конем. Азов был наполнен торговцами, и не только выгоды привлекали иноземцев в тот город, но и свобода и веселость жизни. Впрочем, донская торговля не могла достигнуть большого размера, потому что Дон не во всякое время был судоходен, а только весною и в дождливое осеннее время. Третий путь России на юг был по Днепру. Вязьма была главным пунктом, где нагружались и разгружались суда с товарами. Водяной путь оканчивался Киевом: отсюда товары шли до Кафы караваном по степи. Это путешествие сопровождалось большими опасностями от татарских набегов, а потому торговля по днепровской системе не могла иметь большого успеха.

Таковы были главные пункты и главные исходы русской торговли до прибытия англичан. Пути сообщения находились вообще в самом невыгодном состоянии и ужасали иностранцев, приезжавших в Россию. Вся Московия (говорит Павел Иовий) была непроходима в летнее время по причине грязи и дурных дорог; весною таящие снега превращали поля в совершенные болота и в дождливое лето лужи стояли по дорогам до осени. Не говоря уже о таких путях, как, например, на северо-восток или в Астрахань, где путешественник каждый раз отправлялся как бы для открытия новых земель, самые обыкновенные торговые пути были в дурном состоянии. Дорога из Новгорода к Иван-городу — важнейший путь сбыта русских произведений за границу — шла по узким, невыносимым тропинкам, посреди лесов и степей; не было ни гостиниц, ни дворов, где бы путешественник мог отдохнуть; окрестности казались безлюдною пустынею; только кое-где мелькали деревушки. Дорога от Новгорода в Москву шла по дикой пустыне. Путь от Вильно до Москвы через Смоленск был непроходим летом и только одна дорога из Пскова в Ригу была самая удобная и населенная.

Из всех статей русской торговли меха занимали в то время важнейшее место. Торговля с Россиею, несмотря на все затруднения, занимала умы в Европе более, чем когда-нибудь. Во-первых, в Европе была тогда чрезвычайная мода на меха, а Россия могла доставлять этот товар; во-вторых, при неточности тогдашних географических сведений торговцы Европы вздумали проложить путь в Индию через Россию и тем подорвать монополию Испании и Португалии. Генуэзец Павел Иовий предполагал, что стоило только перевезти товары из Индии волоком в реку Окс (Аму-Дарью), которая, по его мнению, впадала в Каспийское море, и потом провозить их Волгою, по России, а потом до Белого моря, и оттуда в Европу. Эта-то надежда, основанная на недостаточности географических сведений, привела к нам предприимчивых англичан.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В Англии образовалось общество под названием Мистерия (The Mistery). Его основателем был знаменитый Себастиан Кабот, открывший Северную Америку. Ближайшая цель этой компании была — открытие нового пути в Китай и Индию через северные страны старого полушария; к тому побуждало стремление Англии подорвать монополию Пор-

тугалии и Испании во всемирной торговле. Эта компания в 1552 году снарядила три корабля: «Бона-эсперанца» (120 тонн), «Бона-конфиденция» (90 тонн) и «Эдуард Бонавентура» (160 тонн). Главным командиром экспедиции был Гуг Виллоуби, помощником его Ричард Ченслер. Это была первая экспедиция англичан в полярные страны. 11 мая 1553 года три корабля снялись с якорей у Гетфорда. Два из них, «Эсперанца» и «Конфиденция», под начальством Виллоуби, отделились от третьего, осенью 1553 года попали в сувой около Святого Носа и, загнанные непогодой в Нокуевскую губу, были заперты льдом. Адмирал погиб со всем экипажем от холода и голода. Весною на следующий год русские рыболовы нашли тела несчастных мореходцев с их кораблями.

Третий корабль экспедиции, «Эдуард Бонавентура», пристал 24 августа 1553 года к устью Двины и высадился у посада, называемого Ненокса. Оттуда командир корабля отправился в Холмогоры, явился там воеводе Фофану Макарову и земскому судье; они послали к царю Ивану Васильевичу с донесением о прибытии странников, а между тем перевели корабль в безопасную Унскую губу. Не дожидаясь царского позволения, которое должно было последовать в ответ на донесение холмогорского начальства, Ченслер сам поехал на санях в Москву и получил желаемое царское дозволение на дороге. Допущенный к царской аудиенции, Ченслер подал царю Ивану Васильевичу грамоту от имени Эдуарда VI, написанную ко всем вообще властям северных стран, куда судьба бросила бы посланную экспедицию. Английский король просил благосклонно принять отправленных мореходцев. Иоанн Васильевич обладал странников как нельзя лучше и отвечал Эдуарду VI дружелюбною грамотою, в которой изъявлял позволение английским торговцам торговать в России свободно без всяких задержек. Ченслер уехал из Москвы в марте 1554 года и возвратился в отечество прежним путем. Тогда в Лондоне образовалось другое общество или торговая компания с целью торговли с Россиею и открытия неизвестных земель на севере. Компания эта переменяла свое название; таким образом, через несколько лет она называлась *Компанией для торговли с Россией, Персией и северными странами*, вообще же в сокращенном образе выражения она называлась *русскою компаниею*. Патент королевы Марии утвердил ее организацию. Первенствующее лицо компании назывался говернор; Себастиан Кабот был назначен в эту должность на всю жизнь, а по смерти его члены компании

должны были выбрать другого голосами. Сверх того, компания ежегодно выбирала двадцать восемь правительственных главных членов; из них четверо назывались консулами, а двадцать четыре ассистентами. В отсутствие говернора три консула с двенадцатью ассистентами управляли компаниею. Торговые и судебные дела требовали решения пятнадцати голосов, включая в это число голоса говернора и двух консулов; если же говернора не было налицо, то для составления законного решения нужно было не двух, но трех консулов. Компания имела право покупать и вообще приобретать земли, не более, однако, как на 60 фунтов стерлингов в год, издавать свои правила и учреждения, если только они не были противны законам государства, наказывать членов компании, налагать на них пени и для того иметь в разных местах, где будут жить члены, полицейских чиновников, называемых сержантами, плавать по морю, но под английским флагом, строить и снаряжать свои корабли, нанимать матросов, торговать во всех портах, делать завоевания и приобретать страны и города в новооткрытых землях, пользоваться ласковым приемом русского государя и противодействовать всякому совместничеству не только торгующих в России иностранцев, но и английских подданных, не принадлежащих компании.

В 1555 году Ричард Ченслер отправился сам в Москву в качестве посла, был принят отлично и выхлопотал у Иоанна льготную грамоту для английской компании. Русский царь давал ей право свободной и беспошлинной торговли оптом и в розницу, дозволил заводить дворы в Холмогорах и Вологде, без платежа с них податей, подарил двор в Москве у церкви св. Максима; дозволил иметь собственный суд и расправу, а если кто-нибудь войдет с ними в торговое состояние, то суд принадлежал царскому казначею; ни таможенники, ни воеводы и наместники не смели вмешиваться в их торговые дела и задерживать их; они могли держать у себя русских приказчиков, но не более одного в каждом дворе; царь обещал им справедливость, в случае какого-нибудь оскорбления со стороны русских.

Когда Ченслер отправился в отечество, с ним поехал посланник Иоанна Васильевича к английской королеве, Непея. У берегов Шотландии корабль «Эдуард Бонавентура» потерпел крушение, Ченслер утонул, а Непея благополучно избежал опасности, прибыл в Лондон и пользовался там чрезвычайно радушным приемом. Так основалось торговое сношение Англии с Россиею.

С тех пор каждый год приходил в Россию большой поезд английских кораблей с товарами. Они плавали вокруг Норвегии и Швеции и доплывали к устью Двины, стараясь всегда совершить это путешествие в благоприятное летнее время до наступления заморозок на Северном море. Компания не ограничивалась торговлею с Россиею, но хотела продолжать первоначальные свои планы открытия новых путей на Восток. Летом 1555 года Стефан Борро, с товарищами, из Колы совершил путешествие до Оби, посетил Печору, Новую Землю и Вайгач. Познакомившись с берегами Сибири и увидевши невозможность проникнуть этим путем туда, куда бы хотелось, англичане начали искать другого направления. В 1557 году явился к царю один из членов компании, Антоний Дженкинсон, уже бывший перед тем в России. Он предложил царю открыть торговую дорогу России с Китаем через Бухарию. Это казалось тем возможнее, что в то время было слышно, что из Китая ходят в Бухару караваны. Дженкинсон был человек бывалый, образованный; Восток уже был ему известен, ибо он перед тем жил в азиатских турецких владениях. Иоанн дал ему дозволение на проезд до Астрахани, велел всем воеводам на пути оказывать путешественнику всевозможнейшие пособия, снабдил Дженкинсона рекомендательными письмами к закаспийским владетелям, подражая в этом случае английскому правительству, таким же образом познакомившему его с англичанами. Путешествие это совершено по воде Московую-рекою с Коломны, оттуда Окою до Нижнего Новгорода, а потом Волгою в Астрахань. Дженкинсон оставил Москву 23 апреля 1558 года, а в Астрахань прибыл 14 июля. Из Астрахани он поплыл по Каспийскому морю, счастливо достиг Бухары, но тут узнал, что Китай еще слишком далеко и что караваны, ходившие между Китаем и Бухарою, уже перестали ходить. Он отказался от своих планов и воротился в Москву, куда прибыл в сентябре 1559 года.

В 1561 году Дженкинсон снова прибыл в Москву и предложил новый проект: проект торговли с Персиею. В это время случился в Москве персидский посланник. Дженкинсон, снова напутствуемый Иваном Васильевичем, отправился с персидским посланником по Волге, достиг до Астрахани, и поехал оттуда в Персию; но это путешествие было столь же неудачно, как и бухарское. Персия была перед тем в войне с Турциею. На это рассчитывала компания, думая, что неприязненные отношения к этой державе поставят Персию в необходимость получать европейские

товары через Россию. Вышло на этот раз не так, как хотели англичане и русские. Персия опять получала товары через Турцию. Во всяком случае, предприимчивость Дженкинсона не осталась без важных результатов для России впоследствии.

В 1567 году королева Елисавета утвердила торговлю англичан с Россиею новым патентом компании. В этом патенте она предоставила и другим подданным своим, не принадлежащим компании, торговать в России в разных местах, кроме порта св. Николая. Беломорский путь предоставлялся компании потому, что, как думали на Западе, был открыт людьми, составившими компанию. Компания должна была вести торговлю не иначе, как на английских кораблях, и непременно держать на них матросов английских, а не других наций. Иван Васильевич определил права компании другою льготною грамотою, выданною Дженкинсону и после утвержденною при посольстве Рандольфа в Россию. Компания по-прежнему могла торговать в России беспошлинно и свободно, но обязана была показывать привозимые товары в царскую казну, для выборки из них того, что понадобится — старое русское право, соблюдаемое еще в XV веке в Москве. Члены компании могли торговать через Россию с Востоком, но также с соблюдением подобного условия доставки привозимых с Востока товаров для выборки в царскую казну; им дозволено в русских городах заводить конторы и подворья, а в Вологде канатную фабрику; в Вологде отведено место для иску железной руды; суд между купцами компании и русскими отдан опричникам, а в случае вины английских купцов и вообще лиц, принадлежавших к ведомству компании, царь предоставлял себе право арестовать их и налагать секвестр на их имущества, равно разбирать долговые дела через своих советников. Не позволялось заимодавцу посадить должника англичанина в тюрьму, но велено брать за него поручительство в уплате; дозволялось английским купцам посылать свои комиссии в русские города для защиты от воров и разбойников; купцы компании могли держать русских работников; допускалось хождение английской монеты в Москве, Новгороде и Пскове; дозволялось англичанам для своих торговых поездок брать ямских лошадей, дав только знать чиновникам, сколько они их берут, чтобы не было убытка казне. Царь предоставлял английской компании исключительно Холмогоры, реку Печору, реку Обь, Колу, Мезень, Печенгу, Соловецкий остров и все гавани двинские и на север от Двины, так что никакой корабль, хотя бы и английский, не



мог приставать туда, если не принадлежал английской компании. Наконец англичане не имели права, без особого дозволения королевы, приставать к Нарве и Иван-городу, и никакой иностранец и не принадлежащий компании англичанин не имел права проходить через Россию в Персию, Бухарию, Индию и Китай; члены компании имели право сами ловить таких путешественников и конфисковать их имущества. Пользуясь такими важными правами, компания захватила важнейшие места в России. В 1567 году в Москве у св. Максима была главная контора англичан; в Холмогорах у них открыта была прядильная фабрика, заведенная купцом Ричардом Греем; в Новгороде, Пскове, Ярославле, Казани, Астрахани, Костроме, Иван-городе, Кореле были у них подворья, где они продавали свои товары. Торговля с русскими была для них так же выгодна, как торговля русских с северо-восточными инородцами; например в 1557-1562 годах в Нижнем Новгороде один купец, Христофор Гудсон, продал сукно, по его собственному сознанию, стоившее со всеми издержками втрое менее того, за сколько оно было им продано. Захватив в свои руки торговые пути, произвольно возвышая цены на свои произведения, понижая на русские, англичане оказывали презрительное обхождение русскому народу и через то возбудили против себя неудовольствие; нередко сам царь, их покровитель, разделял его. Уже в 1569 году он жаловался на англичан послу Рандольфу. То же было в 1572 году. Царь разгневался на членов компании и по этому поводу приезжал в Москву старый знакомец Дженкинсон. Многие казенные Иоанном в припадке его страсти к мучительству остались должными компании, и англичане не знали, с кого получать долги свои; сверх того, за многие товары не были выплачены деньги из казны. Иоанн хотя удовлетворил требования компании, но ограничил торговлю ее Москвою и городами собственно московскими, а в Казань и Астрахань англичане могли ходить только с царского дозволения и должны были платить половину положенной таможенной пошлины. После несчастной ливонской войны, когда Иоанн уступил Швеции Нарву и другим европейцам дозволено было торговать в Северном море, англичане, постоянно стремясь к тому, чтоб вытеснить совместников и распоряжаться самовольно торговым бытом России, сильно негодовали на это; с своей стороны, русские обвиняли их в плутовстве, жаловались, что они продают гнилые сукна и материи, сносятся с царскими неприятелями и называют русских глупцами и невеждами. Посланник английский,

Томас Боус, несмотря на то, что вначале был принят дурно, начал было преклонять царя снова на сторону англичан, но Иоанн умер внезапно. Один из заклятых врагов англичан и благоприятель немцев в торговле, дьяк Щелкалов сказал тогда английскому послу: английский царь умер.

Англичане домогались вытеснить окончательно из России голландцев, фламандцев и немецких купцов, желали торговли исключительно для себя. Но противники их так же действовали и, как уверяли англичане, склоняли дьяков в свою пользу подарками. Царь Феодор отпустил Боуса ласково, а вслед затем послал в Лондон гонца Бекмана, предлагая возвратить все прежние привилегии англичанам, если королева Елисавета дозволит также свободную торговлю в Англии русским. Елисавета заметила, что это несовместно с выгодами Англии, но не отвергала совершенно предложения и домогалась прежде всего исключительно торговли в России для компании, закрытия входа в Россию всем иностранцам купцам и даже англичанам, не принадлежавшим к компании. С ответом на такое предложение царь отправил в Лондон английского гостя, жившего в России, Иеронима Горсея. В письме царя было сказано, что нельзя выгнать из России купцов различных государств, издавна здесь торговавших, единственно из угодения нескольким англичанам, с которыми королева не хочет разнять своих подданных. Елисавета, узнав, что русский государь находится в руках своего любимца Бориса Годунова, обратилась к нему; любимец заранее думал воздвигнуть себе трон, а потому и считал нужным расположить в свою пользу Англию, но он был слишком умен, чтоб отдать русскую торговлю и весь зависящий от нее быт русского общества в руки англичан. В 1587 году дана англичанам новая привилегия, которою царь позволял английской компании торговать свободно и беспошлинно, но не иначе, как оптовую торговлю, а отнюдь не в развес и не в аршин, а винами не в разливку; повелевал не брать в кабалу русских людей, не позволять под своим именем торговать русским; членам компании позволялось ходить через Россию в прочие земли только с тем, чтобы брать товары от казны и променивать и продавать их для казны. Таким образом, русское правительство, по-видимому, исполняя требование англичан, тем не менее хотело обратить данные льготы в свою пользу. Эта жалованная грамота обеспечивала имущество разбитых бурей кораблей. Право держать подворья для компании предоставлено в городах: Москве, Холмогорах, Ярославле, Вологде и у морского пристанища у Пудо-

жемского устья, о дворах других городов не упоминается; нет в числе таких городов даже Ноггорода и Пскова.

Англия не была довольна этими правами, потому что хотела полного преобладания. Как видно, английское правительство, требуя для компании исключительных прав, таило за этим другие, более обширные виды политического преобладания в России. С этой целью Елисавета и не хотела допускать в России торговли других англичан, не принадлежащих компании. В самом деле, если бы позволить англичанам вообще торговать в России, то естественно цены на продукты, их количество, сбыт, — все это подверглось бы влиянию обстоятельств, но компания, состоящая из тесного кружка купцов, имеющая исключительное право торговли во всей стране, могла управлять всеми торговыми делами этой страны произвольно и назначать какие ей угодно цены; владея капиталами, могла увеличивать и уменьшать количество вывозных и ввозных статей, давать направление торговым путям, — одним словом, обращать всю торговлю чужой страны в исключительную пользу своей нации. Компания не связана была прямо с остальным английским народом; компания знала одно правительство, от правительства зависело ее существование, ее права, следовательно, обязанная исключительно правительству, она должна была сделаться его органом и орудием. Утвердить в России монополию компании, значило подчинить Россию английскому правительству. Русские купцы видели, что англичане подчиняют их себе и что выгоды их начинают зависеть от чужеземцев, и роптали; иностранные торговцы были также ожесточены против англичан, не хотевших давать ходу другим народам.

Вскоре снова возникли недоумения между русским правительством и компаниею.

Английские гости в XVI веке составляли одно целое тело. Каждый член компании производил торговые операции и займы на имя всей корпорации. Это повлекло к недоразумениям. Один из членов компании, Антон Мерш, задолжал более 23 000 рублей. Гости отказывались платить за него на том основании, что он занимал на свое имя, а не на имя целого общества, и притом указывали на то, что царские приказные люди выдали ему особую льготную грамоту на торговлю, без ведома и спроса гостей, что некоторые русские купцы, стакнувшись с Мершем, торговали с ним тайно от прочих гостей, дали ему на себя кабалы с умыслом, что Мерш никогда не заплатит, а будут платить за него прочие гости. Русские же представляли, что все,

взято Антоном Мершем, должно быть выплачено всеми членами компании, к которой принадлежал английский банкрот. Это послужило поводом к приезду посла, доктора Флетчера, в 1588 году. Спор был продолжителен с обеих сторон. Англичане жаловались, что русские покупали у них товар в долг и, не заплатив денег, отдавали товар назад; другие же, наделавши долгов, не платили их, а приказные люди не давали англичанам управы и даже подстрекали русских не платить долгов своих. Англичане жаловались и на самое русское правительство за то, что ограбили Джона Копеля, одного из членов английской компании. Русские бояре возражали, что Джон Копель не был англичанином, а родом из Любека, жил в России, ложно именуя себя английским гостем, и оказался виновным в сношениях с шведским и датским правительствами, жаловались, что англичане нанимают русских работников и употребляют их на противозаконные дела; так один ярославец Вахруш, живучи у английского гостя, был у него лазутчиком и тайно перевозил за границу через литовские земли англичан; указывали на то, что англичане, желая отстранить совместничество других наций, покушаются на меры насильственные: перехвачено было письмо Горсея, которого так еще недавно правительство облекало своим доверием, к другому англичанину Тромболу; в этом письме излагается намерение задержать корабль купца Белоборода, которому правительство делало препоручения, приказывая их держать втайне от англичан: на этот раз ехали на корабле Белоборода гамбургские купцы, враги англичан. Правительство нашло такой замысел в высшей степени преступным. Флетчер оправдывал своих единоплеменников, доказывал, что торговля с Англией приносит России выгоды, что привилегии англичанам следует восстановить ради того, чтоб не прекратилась дружба между английскою королевою и русским царем. Главное требование его — не допускать других иностранцев в Белое море и в Новгород без воли королевы, кроме членов компании, — требование, справедливость которого англичане доказывали тем, что те, которые нашли новый торговый путь, должны пользоваться им исключительно, — это требование было отвергнуто. Бояре, бывшие на переговорах с английским посольством, доказывали, что несправедливо запираť для всех море из угождения какому-нибудь десяти человекам. Равномерно отвергнуто было домогательство способствовать англичанам в отыскании новых земель и китайского пути, но позволено ездить свободно из Москвы в Персию, Бухарию и Шемахию, не платя

пошлин с товаров. Этого права не имели другие иностранцы в России и царь давал его англичанам из особенной любви к королеве. Также только под предлогом особого расположения к английской королеве царь позволял англичанам иметь свои дворы в Москве, Ярославле, Вологде, Холмогорах, тогда как торговцы других наций, например, подданные султана, королей польского и французского должны были ставить свои товары на общих гостиных дворах. Русское правительство обещало справедливую управу для англичан, в чем только они себя найдут обиженными, и принять меры, чтобы царские чиновники не делали английским купцам никаких стеснений. Впрочем, правительство не согласилось на домогательство англичан иметь право всякого должника из русских, задолжавшего английским гостям, преследовать посредством своего гостиного приказчика и отбирать у него имущество без суда, а предоставило англичанам взыскивать с должника обыкновенным порядком, по суду и управе, через приказных людей. Дело Мерша трудно было решить; оно окончено тем, что русский царь согласился, чтоб англичане заплатили половину требуемой суммы: двенадцать тысяч рублей. Чтобы на будущее время избежать недоразумений относительно того, кого следует считать гостем и кого не следует, Флетчер дал предложение, чтобы все английские гости, торговавшие в России, должны были состоять под ведением гостиного приказчика, который имел у себя список гостей и вообще всех лиц, принадлежащих к ведомству компании; другой экземпляр того же списка должен находиться в Посольском приказе. Приказчик мог вычеркнуть имена тех, которые у него записаны в списке, и тотчас же эти имена были вычеркиваемы из экземпляра, хранившегося в Посольском приказе. Таким образом, компания отвечала только за дела тех, чьих имена находились в обоих экземплярах гостиного списка и помещались в жалованной грамоте. В эту категорию входили не только гости, но и все, которые у них жили и служили. За их поступки, исключая уголовных, отвечала вся компания, и всякий заем, сделанный кем бы то ни было, лежал равно на всех членах. Флетчер напрасно хотел отменить правило в отношении служивших у членов компании людей: русские не согласились и имена всех людей компании должны были быть вписанными в список вместе с гостями. Англичане домогались, чтобы суд над членами компании был отдан правителю государства, Борису Годунову; но им отвечали, что Годунов озабочен государственными делами, суд будет отдан его приказным людям,

впрочем, вершить дела окончательно будет сам Борис. До сих пор англичане имели право держать русских приказчиков и скупщиков, но теперь оно было у них отнято под предлогом противозаконных поступков жившего у них ярославца Вахруша. В самом же деле правительство хотело этим запрещением остановить исключительное господство англичан в торговле, подрывавшее русских купцов и самые доходы правительства. Так же точно правительство не согласилось на просьбы англичан давать им ямские подводы для торговых поездок, объясняя, что ямы учреждены для государственных, а не для торговых дел; удобство поездок предоставлено было добровольному уговору с извозчиками. Правительство разрешило англичанам покупать все русские товары невозбранно, но определило, что воск не иначе может идти за границу, как в промене на серу, порох и селитру.

Из донесения Иеронима Горсея, писанного около этого времени, видно, что англичане снова получили право беспошлинной торговли, но английские купцы должны были заплатить 500 фунт. стерл. за пошлины прошлых годов и пожертвовать 350 фунт. стерл. на постройку новой каменной стены в Москве.

Тогда Флетчер подавал своему правительству предложение, в случае царь разгневается на английских гостей, послать военные корабли к берегам Печоры и захватить русские товары тамошней ярмарки, оборот которой простирался до 16000 фунтов стерлингов. Но Елисавета, казалось, очень дорожила дружественными отношениями к России и, как бы в угодность русскому царю, запретила сочинение Флетчера о России; в сущности это сочинение вообще написано в таком духе, который не мог нравиться властолюбивой Елисавете.

В самом деле, торговля с Россиею приносила Англии неисчислимые выгоды и в настоящем, и в будущем. Современные англичане сознавались, что ни в какой другой стране торговля не представляла такой важной будущности, как в России. Как Россия нуждалась в произведениях природы, чуждых ее северному климату, и в произведениях искусств и ремесел, которые еще чужды были русскому народу, так равно вся Западная Европа нуждалась в произведениях севера. До того времени торговля Европы с Россию производилась через Данию, Швецию, Любек, Гамбург, Лифляндию и Польшу. Англия была чужда выгод, которые приносила эта торговля. Но открытие северного пути давало англичанам новое, независимое от участия других стран

сообщение с Россиею. Англия могла получать из России и, как надеялась, из Персии и вообще с Востока нужные для Европы статьи, не опасаясь соперничества ни Дании, ни Швеции, ни Германии, которых совместничество было бы неизбежно в торговле балтийской; даже в случае войны, задерживавшей торговлю, Англия спокойно могла бы совершать свои торговые операции через Ледовитое море. Проложение пути через Россию в Персию, о котором тогда все мечтали, указывало англичанам надежду на то преобладание в торговле, которым пользовались тогда Португалия и Испания. Англичане думали доставлять в Европу восточные произведения скорее через Астрахань, Волгу и северные страны России, чем Венеция, Генуя, Мессина, Пагуза путем Средиземного моря. Так рассуждали в тот век англичане.

Несмотря на дружелюбные сношения правительства, торговля в России встречала, однако, непрерывные недоразумения. В 1592 году лорд Борлей, отправляя в Москву нового агента компании, Джона Мерики, жаловался Борису, что русские чиновники в двинском порте, имея право, по договору, выбирать предварительно английские товары для царской казны, сулят английским купцам чрезвычайно низкие цены, так что англичанам невозможно продавать свои товары сообразно их требованиям; тогда чиновники обязывают английских купцов продавать все товары непременно в течение трех недель, и таким образом принуждают поневоле отдавать товары в казну с убытком. На следующий год Елисавета обращалась к Борису с письмом о покровительстве английским купцам через своего посланника Томаса Мильда. Правитель в самых дружеских выражениях обещал всю свою готовность к исполнению желания королевы. Вступив на престол, Борис оказывал англичанам постоянное покровительство, но не только не распространял их прав, стеснительных для других иностранцев, а еще старался даровать торговцам других наций свободу торговли в России. Посланник короля Иакова I, Джон Смит, просил для англичан свободного прохода в Персию и Китай, но получил уклончивый ответ; царь изъяснял ему, что в Персии господствуют беспорядки, путешествие очень опасно, и он, заботясь об английских гостях, не может позволить им отваживаться на явные опасности.

По восстановлении порядка в России, при Михаиле Федоровиче, английские купцы получили подтверждение своих привилегий на беспошлинную торговлю, с уговором доставлять в царскую казну сукна, материи и прочие руко-

дельные произведения непременно по той цене, по какой они продаются в собственном их отечестве, прибывая к Архангельску, объявлять и записывать перед таможенными головами и целовальниками свои товары, отнюдь не брать чужих товаров вместо своих, не вывозить шелку за границу и не привозить табаку. В 1619 году им воспрещено было держать закладней из русских людей. Привилегии англичанам даны на двадцать три человека, но они торговали в числе семидесяти. Захватив в руки свои всю торговлю и стремясь к монополии, они раздражали русских гостей. Англичане искусно поддерживали высокую цену своих и низкую русских товаров. Они придерживали привозимые товары и не пускали их в продажу, пока, от недостатка их в обороте, цены на них поднимались; тогда только англичане начинали их продавать и тотчас же переставали, когда товары начинали дешеветь. Таким образом, то подымая, то понижая цены, они наживали огромные проценты на свои капиталы. Они всюду рассылали своих агентов для закупки русских товаров, и так как пользовались правом не платить пошлин, чрезвычайно стеснительных не столько по сумме платежа, сколько по самой процедуре, то естественно могли всегда иметь перевес перед русскими закупщиками; притом, владея большими капиталами, они давали мелким торговцам и промышленникам чистые деньги вперед, брали с них кабалы, и таким образом мелкие торговцы были уже обязаны доставлять свои товары и произведения непременно англичанам: не платя пошлин, англичане всегда могли им дать выгоднее цену, чем русские оптовые торговцы. Такой порядок, как и заметил английский посланник при царе Алексее Михайловиче, был выгоден для мелких и небогатых торгашей и для народа вообще, но разорителен для русских оптовых торговцев.

Правда, англичане не могли добиться исключительной торговли в России, но после увидели, что совместничество немцев, голландцев, датчан для них не страшно; напротив, и его можно обратить в свою пользу. Закупая русские товары, они продавали их в Архангельском порте купцам других наций, которые в них нуждались, и тем же порядком покупали у них их привозимые товары, а потом перепродавали русским с барышом; таким образом, русские купцы никак не в силах были тягаться с ними и не могли ничего ни купить у иностранцев, ни продать им без посредства англичан. Случалось, что русский гость, решившись на конкуренцию с англичанами, посылал свои товары в Архангельск; но члены компании сговарятся и понизят цену,



а напротив, ценность иностранных товаров повысят, так что русский торговец принужден бывает уехать назад, истратившись напрасно за провоз. Сверх того, англичане привозили сукна и материи худого достоинства и вместо того, чтоб продавать по условию в казну по заморской цене, продавали с выгодой, прибавляя ценность товара. Все эти причины в совокупности побудили в 1646 году русских гостей подать челобитную на англичан: изложив все обстоятельства, служившие к подрыву русского купечества, они просили ограничить их произвол изданием таких учреждений, которые бы передали торговлю в руки русских купцов. Алексей Михайлович придрался к политическому перевороту, низведшему в 1649 году короля Карла на эшафот, и в качестве карателя народа, который «убил до смерти государя своего Карлуса», закрыл для него вход в Россию, ограничив торговлю его только Архангельским портом. После воцарения Карла II прибыл в Москву английский посол граф Карлейль с предложением возобновить прежние торговые сношения и выдать компании подтверждение старинных привилегий. Уже нельзя было отговариваться смертью Карла, ибо граф Карлейль извещал, что новый король все простил своим подданным; русское правительство прямо высказало свои обвинения на англичан, именно, что они умышленно привозят в Россию дурные товары, что продают в казну товары вовсе не по заморской цене, как было постановлено в условии, с которым единственно им позволили торговать свободно и беспошлинно, и что, пользуясь от России важными льготами, они не хотели участвовать в платеже пятинной деньги, наложенной на всех вообще торговых людей для содержания войска. На это английский посол возражал, что, напротив, английские гости говорят, что они доставляли в Москву товары дешевле, чем доставляли их голландцы и гамбургцы, именно по той цене, по какой они продавались в Англии, но с трудом получали деньги, а получая их, принуждены были давать чиновникам подарки и взятки; что же касается до тех, которые не хотели участвовать в платеже пятинной деньги, то они уже умерли, а нынешние обеднели от потери привилегий. Когда бояре говорили, что ограничение англичан сделалось по челобитью русских торговых людей, посол заметил, как выше было сказано, что русские гости для того желают вытеснить англичан, чтоб самим захватить в свои руки торговлю; но не то сказали бы мелкие торговцы, если б спросили их. Вопреки выражению русских гостей, будто англичане оголодали русское царство, вывозя отсюда съестные припасы,

Карлейль припомнил, что во время голода англичане привозили в Россию хлеб и продавали его по умеренной цене, стараясь об избавлении от ужасного бича страны, которая их приютила. Но все старания графа Карлейля остались напрасны; все, чем мог Алексей Михайлович усладить для англичан свой горький отказ, было оставление им надежды на возвращение прежних прав, которых действительно не думали более возвращать никогда.

Голландцы постоянно пользовались значительными правами, хотя меньшими, чем англичане, их соперники. При Иоанне Васильевиче, Феодоре Иоанновиче, Борисе Годунове, Василии Шуйском они составляли компанию гостей и пользовались жалованными грамотами царей. Подобно англичанам, они имели свои дворы в Архангельске, Москве, Вологде, Холмогорах, Усть-Коле и освобождались от обязанности становиться на гостиных дворах. Царь Михаил Феодорович в 1614 году подтвердил прежние права грамотою, выданною трем факторам гостиной голландской компании. Они могли постоянно приезжать в Архангельск и Колу и торговать всякими товарами по вольной цене; дворы их освобождались от всяких пошлин и тягла; они не подлежали суду бояр и воевод по городам, исключая уголовных дел; в торговых и вообще во всяких гражданских они судились в Посольском приказе. Во уважение к потерям, которые компания понесла в продолжение Смутного времени, царь дал им право на беспошлинную торговлю в течение трех лет, а после того они должны были платить половину установленной в России торговой пошлины. Голландцы, как англичане и другие иноземцы, должны были, прибывши к Архангельску, прежде всего продавать лучшие товары в казну и не производить частной торговли до совершенного закупа для казны. В XVI веке, когда устье Двины было исключительно собственностью англичан, голландцы, фламандцы и датчане торговали через Ревель, Ригу и Дерпт; но вскоре Белое море было открыто и для других народов: тогда голландские корабли ежегодно прибывали в Архангельск с грузом. Так было в XVII веке. Между ними и англичанами господствовала постоянная вражда; голландцы, говорил Самуил Коллинс, налетают, как саранча, и всюду бросаются, куда манят их выгоды; они отбивают у англичан хлеб. Они старались унижить и осмеять англичан, рисовали на них карикатуры, сочиняли пасквили, изображали Англию в виде бесхвостого льва, с тремя опрокинутыми коронами, или в виде множества собак, с обрезанными ушами и хвостами. Англичанин жалуется, что

голландцев принимают лучше, чем англичан, потому что они, подкупая подарками бояр, располагают правительство в свою пользу. Неудовольствие русских купцов на иностранцев, торговавших в России, которое мы видели преимущественно относительно англичан, распространялось и на голландцев. В 1629 году новгородские гости жаловались на торгового голландца, что он торгует всякими товарами врознь и посылает русских людей, служащих у него приказчиками, в заонежские погосты для скупа хлеба и рыбы, с целью отправки за границу. В челобитной 1646 года московские торговцы высказали негодование свое на голландцев. Голландцев они обвиняли, так же, как и их врагов англичан, в умышленном повышении и понижении цен на товары. Как англичане, так равно и голландцы дорожили неопытностью русских. Когда какой-то ярославец, торговый человек, ездил с пушными товарами в Амстердам, тамошние купцы, сговорясь, не купили у него товаров ни на один рубль, и русский купец должен был воротиться со своим грузом в Архангельск; едва он вступил на русскую почву, как те же самые голландские купцы, которые плыли с ним из Амстердама, купили у него весь его пушной товар по высокой цене. Русские укоряли их в неблагодарности. «Вы торгуете у нас свободно, — говорили они, — и мы не составляем против вас заговоров». Голландцы чистосердечно отвечали, что это сделано было именно для того, чтоб русские не ездили к ним; иначе они, голландцы, потеряют свои выгоды, коль скоро русские станут приезжать к ним. При Алексее Михайловиче голландцы были сравнены с другими иностранцами, но после падения англичан голландцы пользовались в России большими выгодами; по крайней мере, голландские купцы могли орать жалованные грамоты и торговать в России, не страшась грозных совместников. Их товары в это время покупались с большею охотою, чем английские.

Ганзеатические города после падения Новгорода не имели уже того преобладания в русской торговле, как в Средние века. Стремление Иоанна III ввести в Россию иноземные приемы гражданственности возбуждало зависть в ливонцах и в купцах ганзеатических городов. Немцы боялись образованности в России; для них гораздо выгоднее было иметь дело с народом, стоящим только на степени земледельческого развития. Ревельский Городовой Совет, по наущению Ганзы, задерживал иностранных художников и ремесленников, ехавших в Россию по приглашению великого князя; немцы преследовали их на море в качестве

морских разбойников. Следствием таких поступков со стороны Ганзы и Ливонии была неприязнь к ним русского правительства. По поводу задержания и грабежа псковских купцов в Дерпте и Риге и нападения русских на пределы Ливонии началась опустошительная война с Орденом, задерживавшая ход торговых сношений. В 1492 году Иоанн III построил Иван-город: это возбудило досаду не только Ордена в политическом отношении, но и городов в торговом: им опасно казалось образование нового порта, когда прежде иностранные товары приходили в Россию через ливонские города. В Ревеле сожгли двух русских торговцев; в отмщение за то Иоанн уничтожил ганзеатическую контору в Новгороде, столь долгое время приносившую Ганзе неисчислимые выгоды, задержал купцов и, засадив их в тюрьму, конфисковал их имущества. То был важный удар для торговли Ганзы с русскими. Дело по поводу этого происшествия тянулось и при Василии Иоанновиче; по ходатайству императора Максимилиана, великий князь хотя изъявлял охоту дозволить возобновить торговые сношения с Ганзою, но отказывал в удовлетворении убытков, понесенных купцами в Новгороде. В 1539 году правившие в малолетство царя Ивана Васильевича бояре подтвердили торговый договор с Ганзою. В XVI веке, в царствование Иоанна IV, ганзейская торговля в России находилась не в цветущем состоянии. Тому причиною было соперничество англичан, отстранявших всеми силами иностранных торговцев, внутреннее ослабление союза через взаимные несогласия, соперничество с ливонскими городами, искавшими извлечь для себя личные выгоды из этой торговли, и, наконец, тяжелые и продолжительные военные обстоятельства в Прибалтийском крае. По утишении ливонской войны ганзеатические города тщетно думали возобновить древнюю новгородскую контору. На пяти сеймах никак не могли согласиться послать в Москву посольство для ходатайства о восстановлении конторы; ливонские города сильно этому препятствовали, желая, чтобы торговля с Россией непременно шла через них. Наконец, в 1593 году Любек, от лица соединенных с ним семидесяти двух городов, отправил в Москву послом Захария Майера, с предложением возобновить дружеские торговые связи с Россией, даровать немецким купцам право производить торговлю в России свободно и беспошлинно, и держать собственные подворья. Царь Феодор дал им жалованную грамоту, по которой позволено им торговать свободно в Иван-городе, Новгороде и Пскове, с платежом пошлины, взимаемой с

прочих торговцев. Эта грамота исполнялась плохо, ибо на другой же год любечане жаловались, что таможенное начальство во Пскове берет с них пошлин более, чем сколько следует по жалованной грамоте. В 1603 году Любек, с другими союзными городами, снова обратился к царю, и царь дозволил им свободно торговать в России, в Новгороде и Пскове, приплывать с кораблями в Архангельск и Холмогоры за грузом, продавать товары и возвращаться назад, обещал ввести одинаковые веса и меры, содержать ганзейских купцов под своим покровительством. Любечане опять домогались беспошлинной торговли, но им отвечали, что если позволить торговать без платежа пошлин им, то следует позволить то же и другим; однако, в знак особого расположения, царь определил, чтоб они платили только половину обыкновенной пошлины, как и голландцы. Но вскоре под фирмою Любека начали приезжать торговцы из других городов, и царь отменил платеж половинной пошлины, а определил, чтоб и любечане платили полную наравне с другими. В Смутное время торговля с Ганзою упала. При Михаиле Федоровиче ганзейские города просили снова о свободной торговле в России, и вместе с ними за них ходатайствовали Нидерландские Штаты, но права по этой просьбе, вновь данные городам, были нарушены ими же, неизвестно как. Купцы ганзейские получили запрещение ездить в Россию; только некоторые из них подкупали дьяков и брали жалованные грамоты. При царе Алексее Михайловиче, в 1652 году, дана новая грамота Любеку на право торговли, с платежом пошлин в России наравне с другими; сверх того, купцам позволено приезжать в Москву, привозить узорочные товары для царской казны и ефимки, которые следовало брать у них по ходячей цене, В XVI веке торговля ганзейских городов совершалась через Ливонию, в XVII через Архангельск. Так, при Алексее Михайловиче гамбургцы ежегодно приплывали к Архангельску, а некоторые вели в России торговлю сухопутным путем от Архангельска.

Из других европейских соседних держав Швеция является в постоянных торговых сношениях с Россией, однако, часто прерываемых войнами. Таким образом, при Иоанне III торговля с Швециею пришла в упадок. Василий возобновил торговую взаимность народов договором с Густавом Вазою, которым предоставлена свобода шведским купцам торговать во всей России и иметь свое подворье в Новгороде. Правительница Елена в 1537 году заключила с тем же государем договор, утверждавший взаимную торговлю.

В царствование Иоанна IV с тем же государем установлен договор, по которому русским купцам позволялось ездить через Швецию в европейские страны на шведских кораблях, а шведам дозволено торговать в Новгороде, Москве, Казани и Астрахани и проходить в Индию и Китай. Но вообще в царствование Иоанна торговля с Швецией была в упадке от совместничества англичан и от военных обстоятельств. Между пограничными жителями обеих сторон в XVI веке не переставали драки, грабежи и убийства. В 1595 году дана шведам привилегия на свободную торговлю в России. Шведские купцы, как из собственно шведских, так из финляндских и эстляндских городов, могли свободно плавать по Ладожскому озеру и приставать повсюду своими судами, равно подниматься по Нарве, входить в Чудское озеро и достигать Пскова. Сверх того, шведским купцам дано право торговать в Москве, Новгороде, Пскове и других городах во всей России на востоке, севере, юге, западе, и не только в местах, уже принадлежавших русскому государству, но и в тех, которые вперед могут быть когда-нибудь присоединены к России, держать свои подворья не только в Новгороде, Пскове и Москве, где они их уже имели, но и в других городах, где до того времени их не было. Следовало только наблюдать, чтоб это право принадлежало буквально шведам, а не торговцам других наций под шведскою фирмою; поэтому на русских границах не следовало основывать новых пристаней; зато шведы обязывались пропускать торговцев всех наций, которые будут везти товары для царской казны, с тем только, чтоб на такие товары были взяты выписи в Ревеле или Выборге. С своей стороны шведское правительство позволяло русским купцам ездить с товарами в Швецию, Финляндию и Эстляндию и торговать свободно. Относительно платежа пошлин положено, чтоб как шведские купцы в России, так и русские в Швеции платили пошлины, установленные в обоих государствах. Эти привилегии были возобновлены и после Столбовского мира. В Новгороде вообще позволено было торговать только тем из иностранных торговцев, которые будут иметь жалованные грамоты; одни шведские торговцы могли торговать там беспрепятственно и держать свою контору. Тогда по Ладожскому озеру и Пейпусу происходило плавание торговых шведских судов, а суда русские ходили в Выборг, Ревель и Стокгольм, называвшийся у русских *стекольным городом*. В это время многие русские из края, уступленного Швеции, рассеялись по русским селениям Новгородского края и вели выгодную для себя и

для жителей России контрабандную торговлю, но на это обратило внимание правительство в 1628 году. Между вывозимыми из Швеции товарами первое место занимало железо, как в массе, так и в изделиях. Русские возили в Швецию, между прочим, хлеб; в 1649 году запрещено было возить хлеб в Швецию; но этот вывоз был так выгоден для русских, что крестьяне продолжали контрабандную торговлю. Впрочем, вообще торговля России с Швецией не была значительна, ибо возрастающая в большом размере торговля на Белом море с англичанами, голландцами и Гамбургом убивала торговлю как с Швецией, так с Даниею и Пруссией. Мы имеем известие под 1630 годом, что в балтийские порты Нарву и Иван-город не приходило почти никаких грузов. В половине XVI века война с Швецией прервала торговые сношения. По Кардисскому договору шведским купцам предоставлено торговать свободно по всей России, но преимущественно в Москве, Новгороде, Пскове, Ладоге, Ярославле, Холмогорах, Переяславле, Тихвине и Александровской пустыне. Они могли иметь свои подворья в Москве, Новгороде, Пскове и Переяславле, а из шведских городов, предоставленных по договору для приезда русских купцов, были Стокгольм, Рига, Выборг, Ревель, Ижора, Корела, Ругодив (Нарва), Канцы; из них в Стокгольме, Риге, Ревеле и Ругодиве русские могли строить торговые дворы. Впрочем, Кардисский договор в отношении торговли есть повторение условий 1595 года. В платеже пошлин торговцы обоих народов подвергались местным условиям, без всяких особых привилегий. Во второй половине XVII века несколько раз было то запрещается, то вновь разрешается вывозить хлеб и съестные припасы в Швецию. Так, в 1685 году запрещено вывозить лес, свиное и говяжье сало и мясо в Швецию, но на следующий год, по просьбе олонцкого земского старосты, снова позволено. Сухопутная торговля с Швецией шла через Олонецк, где устроена была таможня.

Бракосочетание Иоанна III с Софиею Палеолог имело значение передачи интересов угасшей Греции обновляющейся России. Это событие оживило и скрепило древнюю связь России с Грецией, и Греция вместе с тем передала России ненависть к своим завоевателям. Поэтому между русским и турецким правительствами никогда не могло существовать согласия, напротив, постоянно господствовала тайная неприязнь; однако, взаимные нужды связывали обе нации торговыми сношениями, тем более, что торговый класс в Турции состоял из греков, пользовавшихся особым

сочувствием в России. Вскоре после завоевания Константинополя встречаем приезды в Россию с товарами не только греков, но даже и турков. В 1499 году Иоанн III посылал в Турцию послов и исходатайствовал свободу торговли русским купцам во владениях султана, где они до того времени подвергались разного рода стеснениям и насилиям. В государственное Василия турки и греки приезжали в Москву для торговли: так турецкий посол Искандер, родом грек, три раза ездил в Москву для покупки товаров; то же повторялось и в малолетство Ивана Васильевича; в 1576 и 1580 годах были подобные торговые посольства, султановы послы приезжали в Москву для покупок. В царствование Иоанна Васильевича, несмотря на нерасположение России к Турции, турецкие подданные торговали в Москве, как и подданные русского государя в турецких владениях. При Феодоре Иоанновиче торговля с Турцией была обеспечена договором 1594 года, но торговые сношения не приняли большого размера, по причине возникавших тогда неприязненных отношений между державами. В это время путь между Россией и Турцией был уже не безопасен от нападений запорожцев. Таким образом, в 1564 году киевские черкасы на Овечьих водах погромили турчан и армянских торговых людей, из турецких подданных.

Греки всегда пользовались особыми привилегиями, платили меньше пошлин и получали ласковый прием от правительства. Это делалось из уважения к их единоверию с русскими. Греки и молдаване ежегодно привозили в столицу драгоценные камни, жемчуг, металлические изделия и вообще разные женские украшения и конские приборы. Русские также получали от них драгоценные турецкие ткани и материи. Приезжая в Москву, эти греческие торговцы подносили в дар царю лучшие из своих товаров, и вообще были обязаны, явившись в столицу, прежде всего показать свои товары для выборки в царскую казну: только тогда давалось им позволение торговать в городе. Во внимание к их единоверию, приезжие греки получали помещение, *корм* от казны хлебом и мясом, конский корм и дрова. Некоторые из греческих торговцев жили в Москве постоянно, на особом греческом подворье. В половине XVII века греки и волохи торговали в Путивле, пограничном на юге городе Московского Государства. После торгового устава 1667 года, когда русские купцы успели выпросить у правительства стеснительные для иностранцев торговые учреждения, и греки подверглись платежу пошлин наравне с другими иноземцами. Впрочем, если они торговали на зо-



лотые и ефимки, то освобождались от платежа пошлин, с обязанностью отдавать монеты в казну и брать из нее русские деньги. Несмотря на это уравнивание с другими иноземцами, греки позволяли себе контрабандные выходы, и оттого в 1672 году приказано осматривать их построжее. Торговля с греками тогда упала; приезжали в Россию только мелкие торговцы, продававшие поддельные стекла за драгоценные камни, поэтому они теряли право торговли. В 1676 году им позволено снова торговать в Путивле. Но они опять были обвинены в противозаконных разъездах с товарами по поселкам, почему снова последовали распоряжения о строжайшем надзоре за ними.

В продолжение XVI и XVII веков русские вели торговлю с восточными народами, бухарцами, персами, шамаханцами, крымцами, калмыками. Торговля с Хивой, Бухарией и Шамахией перешла к русским по завоевании Астрахани, где издавна она находила себе исток и где по-прежнему сосредоточивалась, когда уже Астрахань сделалась русским городом. В 1557-1558 годах владетели Хивы и Самарканда прислали к покорителю Астрахани Иоанну Васильевичу послов для обеспечения прав своих торговцев, и торговля России с их землями утверждена была взаимным договором. Астрахань начала наполняться купцами из Шамахии, Дербента, Юргенджа и других восточных городов. В последующие годы царствования Иоанна IV торговля была обеспечена новыми договорами с шамахинским царем в 1563 году, а с бухарскими владетелями в 1567 и 1569, и *государь грамоты к их государем послал о купечестве*. С тех пор установилась правильная торговля с этими странами. Между Астраханью и Караганским пристанищем дважды в год было торговое сообщение на государевых бусах, на которых юргенджские и бухарские купцы приплывали в Астрахань, платя за помещение на бусах во время проезда, другие же ездили в Астрахань степью. Они останавливались в Астрахани с своими товарами на особом подворье, которое называлось бухарским. Русские купцы с своей стороны ездили компаниями или артелями в Хиву и Бухарию: эти путешествия были не безопасны; так, в 1646 году татары ограбили русских купцов, ездивших в Хиву, за это арестовали в Астрахани с товарами хивинцев и бухарцев. При Михаиле Федоровиче возникла конкуренция между астраханскими местными купцами и хивинцами. Русские подговаривали воевод не брать на суда хивинцев, чтоб заставить их продавать дешевле свои товары. Это показывает, что торговля русская была очень важна для Хивы

и что в Астрахани было много хивинских купцов, ибо в противном случае купцы боялись бы стеснять их. Алексей Михайлович расширил эту торговлю, дав в 1668 году, по просьбе юргенджского хана, привилегию на свободное прибытие хивинских купцов в Астрахань, обещав им покровительство правительства, обеспечение со стороны местных властей и дачу подвод *по достоинству их товарных промыслов и пошлинного сбора*. Через руки бухарцев к русским доходили и индийские товары. Бухарцы, кроме Астрахани, вели торговлю в Сибири и торговали на гостинном дворе в Тобольске; они снабжали Сибирь рукодельными потребностями жизни, и торговля с ними была очень важна в Сибири, как видно из челобитной сибиряков в 1597 году, в которой они просят, как милости, чтоб к ним приходили из Бухарии торговые люди с товарами. Бухарцы, торгуя в Тобольске, составляли там некоторого рода компанию, почему в деловых бумагах употребительно выражение *тобольские бухарцы*. Царь Михаил Феодорович дал им льготу ездить для торгового промысла в Казань, Астрахань, в Архангельск к пристани и в приморские города, с правом не быть задержанными судом, исключая долговых обязательств и уголовных дел, нанимать подводы, покупать суда и вообще быть безопасными от притеснений воевод. В 1686 году эта грамота была подтверждена снова. Торговля с бухарцами в Тобольске в половине XVII века была стеснена тем, что бухарцам не позволено было вывозить главного и почти единственного произведения сибирского края — пушных товаров.

Ни с какою страню торговля не имела в тот век такого значительного влияния на умы, как торговля с Персиею, ибо, как мы сказали, на нее смотрели как на средство произвести совершенное изменение в торговых сношениях целого мира. Этот взгляд, без сомнения, разделяли тогда и русские, а потому русское правительство находилось постоянно в дружелюбном отношении к персидскому; при том два государства — Россию и Персию — связывала обоюдная неприязнь к Турции. Еще до прибытия англичан у русских были сношения с Персиею, и в Москву приезжали персидские посланники по торговым делам: это видно из того, что Дженкинсон поехал в Персию вместе с персидским посланником, возвращавшимся тогда из Москвы. При Феодоре Иоанновиче, во время царствования шаха Аббаса, образовались более тесные и самые дружественные отношения двух государств, поддерживаемые взаимною ненавистью к туркам. При Михаиле Феодоровиче каждогодно

отправлялись в Персию царские посланники, которые, поддерживая торговые сношения подданных обеих держав, были вместе с тем закупщиками товаров для царя и пользовались при персидском дворе всем нужным содержанием. В 1634 году основана была голштинская компания, которая получила право торговли с Персией через Россию на десять лет с платою шестисот ефимков в год и с воспреещением вывозить из России такие товары, которыми торговали русские, как-то: изделия шелковые, бумажные и металлические; эта компания, по своему ограничению и притом по большому количеству пошлин, каким подвергались ее члены в России, не могла приносить выгод. При Алексее Михайловиче торговля с Персией приняла больший размер: шах Аббас II в 1664 году дал русским привилегию на свободную торговлю во всех персидских владениях без платежа пошлин, найма за подводы и платы за стоянку на гостиних дворах и в лавках с товарами; сверх того, шах приказывал местным властям своего государства оказывать русским купцам особую почесть. Средоточием персидской торговли для России была Астрахань, которая вела эту торговлю через Дербент. Персидские купцы, приезжая в Астрахань, становились на особом дворе, называемом Гилянским. Они прибывали в Астрахань по Каспийскому морю на государевых бусах; у иных были товары от шаха, а у иных свои собственные. При Михаиле Феодоровиче (1628 года) с первых, во уважение к шаху, не брали пошлин, а вторые были обложены пошлинами, довольно высокими. Некоторые персидские купцы отправлялись из Астрахани вверх по Волге до Казани, а иные доплывали до Москвы и там предоставлялось им стоять с товарами на посольском дворе. Наравне с греками они пользовались правом получать *поденный корм* — хлебом и мясом, равно сено и дрова. Казна выбирала для себя лучшие их товары, обыкновенно вознаграждая за то мехами; на возвратном пути они пользовались правом брать гребцов на суда безденежно и также во время дороги получали содержание. Персидские товары были в большом ходу в России; в Москве был особый Персидский гостиный двор с лавками. Сам царь Алексей Михайлович, который вел значительную персидскую торговлю, подобно своему отцу, беспрестанно посылал в Персию посланников к шаху с целовальниками и приказывал закупать персидские товары, которые препровождались в Шамаху, а оттуда в Баку, где нагружались в бусы и отправлялись в Астрахань. Главным вывозным из Персии товаром был шелк-сырец и его-то правительство

брало исключительно в свои руки, так что при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче русские, покупая или выменивая шелк-сырец, привозили его в Москву и сдавали в казну государя, а казна продавала европейским купцам. В 1667 году правительство, по соглашению с персидским шахом, поручило это дело *армянской* компании: основатели ее были персидские подданные, армяне Стефан Ромоданский и Григорий Лусиков. Эта компания обязывалась закупать в Персии и возить в Россию шелк, который до того времени в большом количестве шел в Европу другими путями. Складочным местом шелковой торговли была Астрахань, куда компания подрядилась возить свой товар двумя путями: по морю и сухопутьем через город Терек. В случае, если бы продажа шелка не могла состояться в Астрахани, армянам предоставлялось везти шелк в Москву и далее в порубежные города: Новгород, Смоленск и Архангельск, наконец, при *накопившемся* количестве шелка им позволялось ездить и за границу, с тем, однако, чтоб непременно возвращаться через Россию и платить на возвратном пути пошлины. Эта компания торговала и другими товарами, как-то: верблюжьей шерстью. Правительство обязывалось давать ее членам для оберегания от разбоев во время плаванья по Волге ратных людей и вознаграждать их в случае потопления судов или убытка, происшедшего от небрежения провожатых. Компания не освобождалась от разных поборов и пошлин, но могла возить с собою беспошлинно до десяти пудов разной домашней рухляди и съестных припасов, в том числе вино и табак, которых, однако, не могла продавать. Привилегия, данная компании, возбудила зависть русского купечества. Гости жаловались, что у них отнимают хлеб, доказывали, что до основания армянской компании русские гости сами покупали у восточных купцов товары и доставляли в царскую казну, а потом брали их из казны на комиссию и перепродавали иностранцам, а полученную за то звонкую золотую и серебряную монету сполна доставляли в казну; тогда как теперь получившая права компания, продавая персидские товары иностранцам, отвозит золото и серебро в свое отечество; европейские товары переходят к восточным народам через руки армян, а восточные товары достаются европейцам через те же руки; напротив, они бы переходили через русские руки и доставляли пользу, как казне, так и купечеству, если б персидская торговля сосредоточивалась исключительно у русских гостей и они были бы посредниками между Востоком и Европою. Эти представления имели только отчасти успех при

царе Алексее Михайловиче; в 1673 году заключен новый договор с армянскою компаниею в прежнем смысле, но с некоторыми отменами, а именно: армяне не могли уже ездить с персидскими товарами за границу, *коль скоро с теми государствами какие ссоры будут*. Эта последняя оговорка была поставлена только для вида, сущность же дела была та, что правительство, настроенное гостями, хотело ограничить их поездки за границу и собирать их товары в Россию. Сверх того, правительство уже более не обязывалось давать вознаграждения за товары, погибшие от потопления или от небрежения провожатых, но в первом случае давало им единственно ту льготу, что потонувшие товары освобождались от платежа за них пошлин, а во втором предоставляло им искать судом на тех, которых небрежность и неисполнительность были виною понесенных убытков. Таким образом, правительство представлением гостей воспользовалось настолько, насколько могло принести выгоды самому себе. Для бóльшего успеха в деле с компаниею правительство выпросило у шаха грамоту, которая воспрещала его подданным продавать шелк мимо армянской компании и обязывали армян возить его единственно в Россию. Закоренелая вражда с Турциею была причиною такой сговорчивости шаха в пользу России. Персии не хотелось, во что бы то ни стало, чтоб персидские товары, особенно шелк, проходили в Европу через Турцию и доставляли последней средства к выгодам. Притом отправка до Персидского залива шелку, который родился в Гиляне, стоила дороже, чем отправка до Астрахани Каспийским морем. Русские, говорит один иностранец, не умели, однако, пользоваться неисчислимыми выгодами, какие представляла им торговля с Персиею, и стесняли ее. Персидские купцы при въезде в Астрахань подвергались обременительному для них пересмотру всего товара, переписке, оценке. Если они хотели ехать в Россию, то платили, сверх заплаченных уже с товаров пошлин, еще проезжие пошлины. При всяком переезде из города в город их пускали не иначе, как пославши наперед туда, куда они едут, роспись их товарам. Если они не успели распродать в России всех товаров, то, возвращаясь в отечество, платили отъездные пошлины.

Русские неохотно допускали иностранцев пользоваться через Россию выгодною торговлею с Персиею. При Иоанне IV только англичанам и отчасти шведам дозволено через Россию посещать Персию и восточные страны; прочие иностранные купцы не имели права даже торговать без особого дозволения с Казанью и Астраханью, которые считались

хотя принадлежащими Русскому царству, но не Московскому Государству. При Михаиле Феодоровиче хотя дано право на торговлю с Персиею голштинской компании, но с высокими пошлинами. При Алексее Михайловиче, особенно после Торгового устава 1667 года, правительство стремилось, сколько возможно, отстранить иностранцев от восточной торговли. Но желание приобретать больше выгод для казны заставляло поручить значительнейшую часть этой торговли армянской компании. Правительство не надеялось и не могло получить столько выгод от русских купцов, сколько от армян; ибо при покровительстве, какое оказывал русской торговле шах, можно было предполагать, что весь персидский шелк перейдет в Россию. Шах много давал для подданных царя; надобно же было и в России дать что-нибудь для подданных шаха. Видя, что Россия не сладит с мыслью извлечь пользу из торговли шелком, голландский посол предлагал позволить голландцам торговать с Персиею и с армянами и обещал России цветущее состояние ее торговли. На это гости, постоянно стараясь отстранить иностранцев от преобладания в русской торговле, возражали, что лучше вместо цвета пусть голландцы покажут плод, а по их мнению, гораздо будет выгоднее для России, если сами русские станут скупать шелк у персиян и перепродавать его европейцам, тем более, что этот материал очень нужен для Западной Европы. Голландцы не могли добиться дозволения, по крайней мере, на два года в виде опыта торговать с персиянами через Россию. Гости возражали, что если в течение двух лет голландцы не нанесут вреда русской торговле и даже доставят ей видимую пользу, то дозволение будет вредно потому, что договор продолжится на дальнейший срок и окрепнет, а потом голландцы овладеют русскою торговлею навсегда, как сделали в Восточной Индии. В случае крайности, гости соглашались только дозволить в Архангельске армянам торговать с иностранцами, но отнюдь не в целой России.

России суждено было только предупредить других европейцев в географических открытиях, которые после, однако, в науке остались не за русскими. Так, прежде путешествия Ченслера по Белому морю, которое англичане называли *открытием* северного пути, русские, дьяк Григорий Истома, а потом Власов совершили морские путешествия вокруг Норвегии. Так же точно козак Дежнев открыл Берингов пролив прежде Беринга, имя которого осталось за отдаленным проливом. Так предприимчивый тверской купец Афанасий Никитин посетил Индию прежде открытия

туда пути португальцами. С первой половины XVI века начинаются у нас сношения с Индией, правда, неважные, но замечательные по характеру редкости. В 1533 году прибыло в Москву посольство от индийского султана Бабура, и хотя это посольство не установило прочных сношений России с Индией, но русское правительство изъявило желание, *чтоб люди промеж их ездили*. После покорения Астрахани в числе восточных народов, толпившихся в этом городе, были индийцы, приезжавшие туда через Персию. Первое посольство в Индию было в 1646 году. Царь Алексей Михайлович отправил к великому шаху послом князя Козловского и с ним двоих купцов, казанского Сыроезжина и астраханского Тушканова. Купцы эти имели наказ изведать страну в торговом отношении, ее произведения, ее вывозные статьи, ценность их, торговлю с западными европейцами, таможенное устройство и пути сообщения. Им дано 5000 рублей для покупок тамошних произведений. Но эта торговая экспедиция не достигла своей цели. Персидский шах, бывши во вражде с великим монголом, не пропустил русских гонцов. Притом же Персия, конечно, должна была завистливо смотреть на возникающие сношения России с Индией, ибо индийские товары, состоявшие преимущественно во врачебных потребностях и пряностях, шли через Персию. Шах вежливо отделался от просьбы дать русским гонцам провожатых, указывая на опасный путь по причине междоусобий и беспорядков. Алексей Михайлович должен был ограничить свое желание сблизиться с Индией единственно тем, что приказал астраханским воеводам доставлять индийским купцам, приезжающим в Астрахань, большие удобства перед другими восточными торговцами. Индийцы получали право посещать не только Астрахань, но столицу и внутренние города России. Таким образом, в январе 1650 года два индийские купца Солокна и Лягуит продавали в Ярославле разные ткани, кушаки, ковры, платки, фаты, шелк, набранные ими отчасти в Индии, отчасти в Персии. В столице они познакомили русских с индийскою материею камкою. В 1651 году русские гости просили царя дозволить им отправлять свои товары в Индию и устроить, при посредстве персидского правительства, свободное сообщение России с Индией через Персию. Алексей Михайлович дозволил гостю Шорину отправить двух гостиных приказчиков Родиона и Ивана Никитиных с русскими товарами и снабдил их грамотами к персидскому шаху и великому монголу. Но и это торговое посольство не достигло своей цели, отчасти снова от неблагоприятного расположения Персии, отчасти же в самом

деле от беспорядков в Индии, возникших по смерти великого монгола между его сыновьями, оспаривавшими друг у друга наследство. В 1663 году прибыли в Москву индийские армяне с грузом товаров и поднесли Алексею Михайловичу в дар разные украшения: корону, перстни, запону, нашивки, материи, ладан, благовония и фрукты. Царь взял у них не все, но часть, и по средней оценке выдал им настоящую цену в 10472 руб. соболями, сукнами и другими товарами, но не деньгами. Армяне были недовольны таким приемом, потому что обыкновенно царская щедрость награждала подносителей даров вдвое против настоящей цены самых даров. Армяне заключили с правительством договор доставлять в аптекарский приказ лекарства, особенно чепучинный корень (*Radix chinae*), но правительство не согласилось, чтоб привоз этих товаров был освобожден от пошлин. В 1669 году царь, не оставляя мысли о постоянной торговле с Индией, задумал отправить туда русский караван. Предприятие это было столь ново, что надлежало предварительно отправить кого-нибудь для исследования пути, а потому Алексей Михайлович послал в Бухарию, Хиву и Балк посланником Бориса Пазухина для изведания пути в Индию. Пазухин возвратился в 1673 году. Он доносил, что центром, куда нужно будет послать караван, должен быть Джанабад, индийская столица. Путь к нему идет от Астрахани морем, до Караганского пристанища, оттуда в течение трех недель до Хивы, из Хивы в течение трех недель до Балка, от Балка на Парван, оттуда на Чарикур, Кабул, Пэшаур, Атток, Ротас, Лагор, Султанпур и Джанабад, что выходило от Астрахани пути четыре месяца с половиною верблюжьим ходом. Спрошенные по поводу этого донесения индийцы, случившиеся в то время в Москве, советовали держать другой путь из Караганского пристанища в Юргендж, Бухару, а оттуда в Балк, из Балка в Кабул. По собранным сведениям, в 1675 году отправлен через Бухарию, по указанию индийцев, караван под начальством посла астраханца Мамет-Исупа Касимова с разными товарами, состоящими преимущественно в мехах, предназначенных для подарков властителю индийскому Эвреинзебу. Пропущенные дружелюбно бухарским и балкинским властителями, русские достигли Кабула в 1676 году. Вассал Эвреинзеба Мекремет-Хан, управлявший Кабулом, донес о прибытии гостей своему властителю, но тот принял новость вовсе не так, как ожидали. Он не захотел быть в сношениях с Россией, отговариваясь тем, что прежде не было таких сношений и что магометанская вера препятствует дружить-



ся с христианами. Мекремет-Хан не позволил русским продавать товары; опечатал как подарки царские, так и товары купцов, привезенные для продажи, взял товары эти по той цене, по какой ему было угодно, и еще с вычетом пошлин, да при этом таможенные чиновники заметили, что у них и холопы не носят таких дурных соболей, какие русский царь присылает в подарок их государю. Впрочем, индийский шах выдал им в виде подарка две тысячи рупий, подтверждая, чтобы русские немедленно удалились из его владений. С этих пор, как видно, индийцы перестали пользоваться в России таким гостеприимством, как прежде, ибо в 1684 году один индеец жаловался на притеснения его единоземцам, которые делали астраханские воеводы, а в 1688 году, по просьбе гостей, право индийцев торговать в России ограничено одною Астраханью. Неудачи в устройении торговых сношений с Индией не удержали русское правительство еще раз в 1695 году попытаться послать в Индию купца Семена Маленького с товарищами, с наказом продать там русские товары и купить для царской казны индийских произведений. Эта новая экспедиция была удачнее. Русские купцы беспрепятственно достигли Индии и получили от наместника индийского шаха грамоту на безостановочный пропуск. На возвратном пути морем из Сурата они были ограблены морскими разбойниками.

Покорение Восточной Сибири повело Россию к торговым сношениям с отдаленным Китаем. Они возникли не ранее половины XVII века. Первый гонец в Китай был Ярыжкин. В 1654 году было посольство в Китай Федора Байкова, сибирского козака Малинина и бухарца Бабурель-Бабаева с товарами. Байков воротился в Тобольск в 1658 году. После него ездил тарский сын боярский Иван Перфильев, а в 1675 году Николай Спафарий. Таким образом возникли торговые сношения с Китаем. Начало их Языков относит к Спафарию, но Кильбургер, писавший в 1674 году, приписывает их Байкову. Главный пункт этой торговли был в Тобольске. Год от году она принимала большие размеры. Китайские купцы привозили туда пестрые ткани, одноцветную китайку, разные драгоценные камни, фарфор, чай, бодьян, хину, ревень, бобровую струю, шелк, который оказался лучше и крепче персидского и шамахинского. Право купцов приезжать в Россию ограничивалось Тобольском. Отсюда купленные и выменянные товары развозились по России; часть их направлялась в Москву, другая в Архангельск для передачи иностранцам. В 1689 году боярин Федор Алексеевич Головин был послом в Китае, заключил

с китайским правительством мирный договор, по которому установлено правильное и постоянное сношение с Китаем. С тех пор русские начали ездить в Китайскую Империю с русскими товарами и променивали их на китайские. Вскоре для предотвращения контрабандной торговли правительство стеснило свободные поездки в Китай и приказало не иначе пускать русских торговцев в Китай, как с грамотою, выданною из Сибирского Приказа; следовательно, купец, желавший из Сибири отправиться в Китай, должен был прежде обратиться в Москву и выхлопотать себе грамоту, что составляло для него источник многих издержек, проволочек и затруднений. Купец, получивший наконец грамоту, должен был ехать непременно через Иркутск и Нерчинск, и возвращаться тем же путем, чтоб платить пошлины с вывозимых и привозимых товаров. Правительство хотело, чтоб китайская торговля сосредоточивалась в его руках и производилась через его посредство. В 1694 году определено ежегодно посылать в Китай купцов от правительства для торговли с китайцами. В 1695 году отправлены в Китай священные принадлежности для основания русской церкви, учреждаемой для русских купцов, пребывающих в Китае. В 1696 году купец Спиридон Лангусов получил от казны поручение везти в Китай меха и променивать на золото и разные ткани. Торговым пунктом китайской торговли избран Нерчинск, туда прибывали и отбывали караваны с русскими и китайскими товарами.

Вообще русская власть в отношении торговли с иностранцами, с одной стороны, нуждаясь сама в произведениях заграничных и сознавая, что русский народ стоит на слишком низкой степени промышленного развития для того, чтоб производить то, что привозили ему иностранцы, давало им в России большие торговые права, иногда не безопасные для будущего, как, например, привилегии англичан; с другой же стороны, она оказывала недоверие к иностранцам, боясь, чтоб не употребили во зло покровительства и гостеприимства, оказываемого им в России. Иностранцы заслуживали и то, и другое. Они наполняли казну царей и дома знатных особ предметами изысканной жизни, привозили им одежды, украшения, лакомства, но они постоянно, на каждом шагу не скрывали самого очевидного презрения к русскому народу, смотрели на Россию, как на страну дикую и необразованную и потому-то особенно им полезную. Пребывание в России иностранцев не оказывало ни малейшего благодетельного влияния ни на улучшение нравов, ни на просвещение, ни на благосостоя-

ние народа; иностранцы всеми способами старались отклонить Россию стать в уровень с западными странами, чтоб самим не терять выгод, которые они получали от русского государства. С своей стороны, власть, сохраняя неприкосновенность православного учения и древнего гражданского порядка, установившегося в России, отстраняла всякое нравственное сближение русских с иностранцами. Вообще, торговые иностранцы в России пользовались большою благосклонностью правительства до половины XVII века, чем после того до Петра. Об англичанах и говорить нечего; но и торговцы других народов — голландцы, шведы, персы, греки — все имели какие-нибудь льготы или привилегии, показывавшие, что власть дорожит сношениями с иноземными державами. Между прочим, все иностранцы пользовались особым от русских судопроизводством, ибо их не предавали пыткам; но в половине XVII века, в 1661 году, персияне, тезики (азиатские турки) и греки (об иноземцах других наций неизвестно) подвергались торговой казни за продажу табаку. Кроме льгот, предоставляемых торговцам известных наций по договорам с правительствами вообще, нередко цари давали в знак особых милостей лицам и обществам из европейских торговцев льготные привилегии. Царь Иоанн Васильевич даровал дерптским купцам право беспошлинной торговли в Новгороде, Пскове и Иван-городе, с оговором, что если они повезут свои товары в Москву, Казань, Астрахань или другие города России, то должны платить пошлины наравне с русскими. Царь Борис в 1599 году дал жалованные грамоты немцам Игнатию Поперзаку и Андрею Витину, позволил им торговать в Новгороде, Пскове, Иван-городе беспошлинно, даровал право ездить обратно из России в Литву, Ливонию и Германию. Как внутри государства в вышеупомянутых городах, так и при отъезде за границу и приезде в Россию они освобождались от пошлин. Михаил Феодорович дал подобные же грамоты немцам, Буку и Ивану Юрьеву; они могли торговать всякими товарами беспошлинно, но с условием не возить вместо своих чужих товаров и не давать русским людям торговых комиссий. Были заграничные торговые дома, долго торговавшие в России и приобретшие особенное расположение правительства. Таков был в XVII веке гамбургский торговый дом Марселисов. По данным им жалованным грамотам они и их приказчики не освобождались от платежа пошлин, не могли торговать враздробь, а непременно оптом, но зато могли иметь свои дворы в Архангельске, Холмогорах, Коле, Вологде, Ярославле, Москве (но не в других

городах), и разъезжать по всей России с товарами; воеводы не смели судить их и придирались к ним; в случае какого-нибудь иска на них, они отвечали в Посольском приказе. В XVII веке пользовалась особым расположением царей торговая фамилия Келдерманов, живших в Москве. Они оказывали услуги царям в продолжение целого столетия. Андрей Келдерман при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче трижды был посылаем в Англию, сын его Томас — в Голландию, к императору Леопольду и к венецианскому дожу. Царь доверял ему в Архангельске надсмотр за продажей шелка и препоручал покупки разных товаров для царского обихода; в 1671 году наименовал его почетным именем поверенного Московского Государства и чести достойного, а в 1685 году этот титул внесен в его жалованную грамоту. Многие брали жалованные грамоты от приказов, подкупив дьяков и приказных людей, — в том веке это было легко; посулы и поминки могли тронуть сердца блюстителей администрации и хранителей царской прибыли; таким путем иноземцы получали грамоты на разные льготы; иногда на торговлю с пошлинами, а иногда даже и без пошлин. Нередко иностранцы, получив такие грамоты, передавали их другим, и последние спокойно торговали под именем тех, кому даны грамоты, называя себя то их братьями, то племянниками, то приказчиками: ибо всякая такая жалованная грамота распростиралась не только на одно лицо, но и на тех, которые состояли с ним в одном торговом капитале и даже на тех, которые у них служили. Таким образом, жалованная грамота, данная одному лицу, давала права, в ней означаемые, целой компании, произвольно составленной. Были и такие иностранцы, которые не задавали себе труда брать жалованных грамот из приказа, а торговали себе, как хотели. Россия была широка, мало населена, — поймать трудно; а в случае и поймаются — посулы и поминки выручат. Вообще же побуждение брать жалованные грамоты зависело не от одних торговых причин; если жалованная грамота не давала торговцу беспошлинной торговли, то освобождала его от местных судов, а передавал всякий суд с ним Посольскому приказу; это уже было немаловажно. Все вообще иноземцы и состояли в ведении Посольского приказа; но когда случалось какое-нибудь дело, какая-нибудь жалоба иностранца на русского, — дело производилось в том приказе, в котором ведом был ответчик. Такой приказ требовал к своему суду иностранцев, и тут-то начиналось судебное *волоки́тельство*, и происходила для них в *торгах беспромыслица*, особенно тогда,

когда ответчик сам служил в приказе, а это случалось часто: подьячий, например, наберет у иностранца в долг и не платит, а иностранец должен тягаться с ним в том же приказе, где сидит сам подьячий, а с ним его приятели, которые не только не думают удовлетворить иноземца, но еще и сами хотят поживиться на его счет. При Михаиле Федоровиче, в 1628 году, одним только англичанам вообще дана была грамота на право быть судимыми единственно в Посольском приказе; другие иноземные торговцы подвергались суду тех приказов, где был ответчик. Исключались из этой категории те, которые имели особые жалованные грамоты. По Уложению, все иноземцы, живущие в России, должны судиться тем же судом, как и подданные Московского государства. В 1653 году дана была грамота голландцам и вообще всем торговым иноземцам на право быть судимыми в одном Посольском приказе; но после того возникали челобитные от иноземцев: они жаловались, что их по-прежнему тягают в другие приказы. Поэтому в 1664 году подтверждено было распоряжение 1653 года.

Между иноземцами и русскими господствовала неприязнь, переходившая часто в явные ссоры. Так в Архангельске, когда иноземные корабли приставали к берегу и к ним подходили русские досчаники и барки, всегда почти между гостями и домашними происходила драка; нередко доходило и до смертоубийства; это, впрочем, не мешало врагам торговать между собою тайком и вместе обманывать правительство. Более недружелюбны были отношения иностранцев к начальствовавшим лицам; последние жаловались, что иноземцы бывают дерзки и не дают осматривать своих товаров. В особенности же споры происходили по поводу выбора товаров для царской казны, ибо иностранцам не позволялось продавать своих товаров прежде, чем не сделают выборки для казны. Тогда иноземцы, вопреки требованиям начальства продавать в казну самые лучшие товары, скрывали их, чтобы тайком продавать в частные руки, а чиновникам показывали на выбор товары похуже и назначали высокую цену: иноземные торговцы вообще находили, что им невыгодно и неприятно было иметь дело с казною, а еще более с чиновниками, которые всегда готовы были к ним придрататься. Но в особенности не терпели иноземных торговцев русские оптовые торговцы-*гости* и богатые *купчины*. Они не могли не скорбеть, видя, как иностранные торговцы отнимают у них хлеб, занимаясь тем, чем бы по всем правам, как они думали, следовало заниматься русским: скупают русские товары у мелких торговцев, тогда

как этот скуп должен бы исключительно принадлежать гостям, торгуют в розницу, и притом или вовсе не платя пошлин, или платя их меньше, чем русские, да вдобавок не подвергаясь различным повинностям, которые отбывали русские торговые и промышленные люди. При Михаиле Фсодоровиче, на Земском Собрании 1642 года, гости и торговые люди в своей сказке жалуются, что немцы, кизиль-башцы (персияне) и всякие иноземцы торгуют всякими товарами, как в столице, так и по всем городам и через то *в городах всякие люди обнищали*. В 1646 году русские гости подавали челобитную, в которой излагали все обстоятельства, вредные для казны и торговли, проистекающие от прав, которыми пользовались в России иностранные торговцы. Постигавшие англичан обвинения в умышленном повышении и понижении цен на товары для своекорыстных видов касались тогда в большей или меньшей степени вообще торговцев всех иностранных наций. Гости хотели захватить в свои руки торговлю. Когда иностранцы, говорили они, приходили единственно в порты, а не торговали в России, русские товары были дороже, а иностранные дешевле; теперь вышло наоборот: русские продаются за бесценок, а иностранные дорожают, и притом иностранцы привозят к нам что похуже. Такой протест гостей, лиц близких к правительству и часто служивших ему в торговых и финансовых операциях, мало-помалу расположил правительство в их пользу и против иностранцев. По торговому уставу 1653 г. иностранцы, торговавшие в России, обложены были вышею пошлиною, чем русские торговцы; именно, вместо десяти денег — двумя алтынами с рубля, кроме, однако, Архангельска, да сверх того, по четыре деньги с рубля за товары, которые они повезут из России к порту. Но еще более ограничены были льготы иностранных торговцев, торговавших по России по Торговому уставу 1667 года. Они были обложены по гривне с рубля (20 денег), следовательно, двойною в сравнении с русскими купцами, так называемую *проездею* пошлиною, как за товары, которые они ввезут внутрь государства, так и за те, которые будут вывозить из России за границу; независимо от того они должны были платить двухалтынную пошлину с рубля, наложенную на них уставом 1653 года. Сверх того, они обязаны были, приехав в какой-нибудь город, продавать свои товары непременно местным купцам, и не иначе, как оптом, равно должны были покупать и выменивать русские товары не иначе, как у местных торговцев, а отнюдь не у приезжих; если бы открылось, что иноземец продал свой

товар иногородцу или купил русский товар у иногородца, приехавшего в город, то такой товар, как у того, так и у другого, отбирался на государя. Им запрещалось в России торговать между собою, за исключением московских купцов иностранного происхождения, которые могли приезжать с товарами и за товарами во все ярмарки и в порубежные города. Иностранцы не могли торговать в розницу ни под какими условиями. Наконец, стесняя более и более иноземцев в торговле, устав 1667 года постановил брать с них пошлины даже и за те товары, которые они привезли из-за границы и уже оплатили, но которые, не быв проданы в России, увозятся за границу снова. Вообще весь этот устав клонится к тому, чтоб вытеснить иностранцев из торговли внутри России, ограничить их торговые операции портами и поставить в такое отношение, чтоб выгода в торговле оставалась на стороне гостей, которым таким образом представится возможность и свобода захватить в свои руки оптовую торговлю России. Хотя это слишком ограничило иностранных торговцев, но не уничтожило их стремления к преобладанию в русской торговле. Иностранцы были стеснены во внутренней торговле России, но не отстранены от нее. В России жили иностранные торговцы, которые были полезны царю, исполняли его поручения, которых нельзя было возложить на гостей, и потому получали особые права торговать внутри России и с иностранцами в Архангельске. При посольствах от европейских государей приезжали торговые люди с товаром, которым дозволялось торговать на Посольском дворе. Царь Алексей Михайлович уступал гостям, потому что они умели показать ему, как их интересы совпадают с интересами казны, но дорожил торговыми сношениями с Европою и не отступал от своих приказаний таможенным начальникам: обходиться с иноземцами вежливо и *привет к ним держать, чтоб их не отогнать*. Москвитяне, — замечает английский посланник, — охотно терпели всех европейцев в своей стране, лишь бы они были протестанты; только католики и жидаы подвергались изгнанию.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Открытие беломорского пути произвело важное изменение в путях и пунктах русской торговли. До того времени главным местом сношений с Европою была Нарва или Иван-город (Ругодив) на Балтийском море, но после основания английской компании этот порт начал упадать

и упал более и более по мере того, как развивалась беломорская торговля. Главным приморским торговым городом сделались Холмогоры. Здесь было первое складочное место привозных товаров. Кроме того, что преимущество положения края, прибрежного к судоходной реке и близкого к морю, благоприятствовало процветанию этого города, вся окрестность его изобиловала многими статьями тогдашнего вывоза: мехами, льном, пенькою. Охотники привозили в Холмогоры в большом количестве звериные шкуры, из Лампожни доставляли оленье кожи и зубы моржей, с Северного моря — соль и ворвань. Англичане избрали этот незначительный до того времени городок пристанью, построили наскоро несколько красивых домов по английскому образцу и завели прядильную фабрику, покупая для нее материалы в России, посредством своих агентов. Торговля в Холмогорах была преимущественно оптовая и меновая; хотя англичане и занимались розничною торговлею в России, но в других городах. Металл принимался в Холмогорах как товар, а не как номинальное выражение ценности. Если русский продавал англичанину свои товары и получал за них звонкую монету, то взвешивал ее и принимал по сравнению веса и стоимости с своими деньгами, тем более, что в XVI веке и русская монета имела значение товара, которого стоимость каждый определял весом и достоинством, так же как и всякую другую вещь.

Когда Холмогоры были главным торговым пунктом беломорской торговли, далее к устью Двины стоял одиноко Архангельский монастырь; близ него был построен английский гостинный двор, а при нем четыре дома. Там была первая, вступательная пристань; там купеческие суда разгружались и оттуда товары на досчаниках шли до Холмогор, а иногда прямо до Вологды. В 1584 году вокруг монастыря и стоявших около него строений построен город, то есть стена, и назван Архангельск. Вскоре в этот новопостроенный город перешла холмогорская торговля. Неудивительно, что он сделался главным местом истока и притока торговли в России. Многие купцы из торговых городов Москвы, Ярославля, Вологды, Устюга, Костромы, Яренска, Сольвычегодска построили там себе дома, некоторые перешли туда на постоянное жительство, оставаясь безвыездно в продолжение двадцати и тридцати лет, тогда как их агенты (покрученики) закупали по России товары и доставляли к порту. Другие если не жили сами, то завели там дворы, ежегодно посещая Архангельск в тор-



говое время. Между тем, туда же стекались промышленники и с других сторон, как, например, с *Мурманского* моря с рыбою и салом.

В половине XVII века в Архангельск приходило ежегодно от тридцати до сорока купеческих иностранных (английских, голландских, гамбургских, бременских) кораблей. Обыкновенное время торговли был исход лета, и это время называлось ярмаркою. Было ли прежде положительно определено время начала и окончания этой ярмарки — неизвестно; но в 1663 году иноземцы жаловались, что время для ярмарки в Архангельске очень коротко. Тогда по их просьбе установлен был трехмесячный срок, именно: месяцы июнь, июль и август, и притом с тем, чтоб после указного срока не было торговли в Архангельске. Но в 1664 году русские торговцы разных городов били челом, что иноземные корабли приходят в Архангельск поздно, к 15 августа, а русские торговцы, рано являясь в Архангельск, терпят убытки от простоя, поэтому разрешено продолжать архангельскую ярмарку и после 1 сентября до прихода последних кораблей. В 1667 году время ярмарки опять ограничено первым числом сентября, под тем предлогом, что многие суда, уплывая поздно из Архангельска к Вологде, бывают застигнуты льдом и оттого портятся товары. Это сделано собственно в видах сбережения царских товаров. То же подтверждено в 1674 году. Но в самом деле, несмотря на запрещения, торг всегда оканчивался не ранее конца сентября. Иностранные купцы, приготавливаясь к отплытию в Архангельск, делали в мае и июне закупы товарам, назначенным в Россию, и потом уже отправлялись в Архангельск, не ранее как в половине июля. Зная это, и московские купцы выезжали из Москвы в Архангельск на почтовых во второй половине июля и никак не могли прибыть на место ранее двух недель. Самый деятельный торг происходил в августе, но расплата и расчеты продолжались до конца октября, и это было более всего причиною продолжительности ярмарки. Иностранцы рассчитывали, что они делают оборот своего капитала в торговле с Россией в течение пяти месяцев, именно: в мае и июне закупают товары, в июле и августе привозят в Архангельск, а в конце сентября возвращают капитал с процентами. При Феодоре Алексеевиче, в 1679 году, разрешено продолжать архангельскую ярмарку на бессрочное время, и всем, которые не успеют продать и променять своих товаров во время ярмарки, позволялось сложить их в амбары и лавки и торговать по произволу.

Каждогодно, вместе с открытием торжища, правительство назначало для него торговое начальство. Главным лицом был гость, определенный для сбора пошлин и управления торговыми делами; когда ярмарка оканчивалась, то и он уезжал в Москву с собранною казною и таможенными книгами для отдачи думному дьяку Новгородской Чети. Когда начали посылать таких начальствовавших лиц — неизвестно, но обычай этот был наблюдаем уже в царствование Михаила Феодоровича. Под начальством гостя было двое таможенных голов и выборные целовальники. Таможенные головы выбирались из торговых людей московской гостинной сотни, а из целовальников двое были из гостинной сотни, двое из суконной, и сверх того еще несколько — *сколько пригоже* — из местных жителей. Но в 1658 году замечено, что целовальники последнего сорта выбраны были из пахотных людей, ничего не смысливших в торговле, а потому постановлено вперед выбирать шесть целовальников из торговых людей городов: Ярославля, Вологды, Устюга, Костромы, Яренска и Сольвычегодска. Вскоре это число целовальников было удвоено. В 1667 году постановлено, чтоб перед открытием ярмарки гость выезжал в Архангельск с одним таможенным головою и шестью целовальниками, по два человека из городов: Каргополя, Устюга и Сольвычегодска, а другой таможенный голова или товарищ гостя должен был ехать в Вологду также с шестью целовальниками, по два человека из городов: Ярославля, Костромы и Вологды, и находиться там во все время нагрузки и сплава в Архангельск купеческих судов с товарами, а по окончании сплава ехать в Архангельск; там все таможенное начальство должно находиться вместе в продолжение всей ярмарки. Сверх того, им придавались подьячие для ведения торговых дел и записки пошлин.

В Архангельске устроена была корабельная пристань и при ней таможенный двор. Еще в 1635 году устье Двины с обеих сторон было ограждено стрелецкими караулами, которые останавливали плывущие суда. В 1667 году всякий иностранный корабль на самых устьях Двины встречал шанцы, где был построен двор. Командир плывущего корабля должен был объявить находящемуся в этом дворе приказному человеку название корабля, имя хозяина, имена торговцев, прибывших или посылающих свои товары в Россию на этом корабле, и подать роспись самым товарам. Приказный человек делал с этой росписи выписку (копию) и отдавал шкиперу, а самый подлинник оставлял у себя; корабль следовал к Архангельску и, ставши на якорь,

предъявлял копию, данную приказным человеком, гостю, который записывал ее в книги, а потом делал поверку, и если бы оказалось что-нибудь лишнее против выписи, то отбирал это лишнее на государя. В 1689 году начальствовавший Архангельском и корабельною гаванью стрелецкий полковник должен был расспросить прибывающих через вожей или же таможенных целовальников: нет ли в той стране, откуда они приходят, морового поветрия, и только после такого расспроса допускать новоприбывший корабль к Архангельску. При этом следовало каждому кораблю напоминать, чтоб не бросали песку и камней, служивших балластом, в Двину и не засаривали ее устья.

Как только корабль станет на якорь, таможенное начальство делало осмотр: нет ли на корабле пушек, огнестрельного снаряда и военных людей. Если бы отыскилось подобное, то таможенные начальники обязаны сделать допрос: для чего корабли привели с собою военных людей и привезли военные снаряды.

Иностранцы легко могли отговариваться тем, что это делается для предохранения во время плавания, но тогда корабль должен был стоять за устьем, а не подходить к городу. У иностранцев, с несколькими кораблями, приходящими из одной и той же страны, был один корабль конвойный, вооруженный, и этот корабль должен был не входить в устье, а стоять в море; но в 1685 году, по просьбе голландцев, гамбургцев и торговцев других наций, позволено было входить в устье и конвойным кораблям. Потом таможенники пересматривали все товары в тюках, сундуках, кипах, считали их и делали *примерный вес*; при этом не обходилось без споров, часто жарких с обеих сторон. Таким образом, в 1667 году голландцы и гамбургцы жаловались на таможенного начальника гостя Шорина, что он ставит неправильный вес, берет за модель для веса (примечывает) самые большие тюки, заключает по их весу о весе других, гораздо меньших, и притом кладет в вес веревки, самые коробки и тюки. Гости имели наказ весить по согласию с иноземными торговцами, но, однако, применяясь, чтоб государевой казне было *прибыльнее*, и так, чтоб можно было взять поболее весовых пошлин.

Сообразно весу и счету производима была вместе с целовальниками оценка. Иноземцы должны были объявлять цену своим товарам по совести, и если бы оказалось, что они сказали не действительную цену, то их товары отбирались в казну. При этом товары разделялись на весчие (весомые) и невесчие (невесомые). Тогда спрашивали иноземных тор-

говцев: желают ли они оставаться и торговать в Архангельске или ехать далее, и, сообразно их ответу, облагали их пошлинами. Вопрос о желании ехать внутрь государства относился к тем, которые на это имели право по жалованным грамотам.

Торговля с русскими происходила двумя способами: или на самых кораблях без разгрузки иностранных товаров, или же после разгрузки в гостиных дворах. Русские могли подвозить на судах свои товары в гавань, входить на иностранные корабли и там производить меновую и покупную торговлю. При таком торге должны были присутствовать таможенные головы, а если торг был не на слишком большие суммы, то целовальники. Таможенные чиновники ходили на иноземные корабли в сопровождении вооруженных служилых людей — сотников с стрельцами — для оберегания русских торговцев и для решения споров, которые беспрестанно возникали между русскими и иностранными торговцами; в случае же важных ссор, таможенное начальство обращалось к воеводе.

Когда иностранный корабль хотел разгружаться, то об этом объявляли гостю, начальнику таможни, который составлял роспись товарам, записывал каждый товар в книги особою статьею, именно, какой товар, сколько его и кому принадлежит. В 1667 году гостю с товарищами приказано было смотреть, чтобы на иностранных товарах, получающих право разгрузки, были наложены клейма, с обозначением, в каких городах эти товары делались и у каких фабрикантов. Это постановлено было в предупреждение продажи дурных товаров и их подделки. Для выгрузки иностранных товаров, равно как и для нагрузки русских на иностранные корабли употреблялись *дрягили*, работники, определенные для такого занятия от правительства. Они получали царское жалованье, за которое обязаны были носить царские товары, и сверх того от всякого подъема с частных лиц брали по две деньги. Они также стояли у весов и взвешивали товар по требованиям. Впоследствии они брали с торговцев заработную плату по взаимному договору, а в 1680 году было постановлено быть дрягилям без жалованья, а у иноземцев брать то, что дадут, без уговора. Выгруженные товары ставились на общем гостинном дворе; но англичане и голландцы имели привилегии держать собственные дворы и амбары. В 1649 году как на общем гостинном дворе, так и на английском и голландском, поставлены были целовальники, бравшие пошлины с торгова, а с ними стояли на караулах стрельцы и дети боярские,

которые должны были смотреть, чтоб никто не вносил и не выносил товаров беспошлинно. Эти караульные отнюдь не должны были мешаться в таможенные сборы. Сверх того, два целовальника стояли у ворот гостиного двора и также наблюдали, чтоб никто не вносил и не вывозил товаров, не записав в таможенные книги. До 1658 года караульных на гостином дворе назначали воеводы, но оказалось, что воеводы посылали их туда для *кормленья*, что они брали с русских и иноземных купцов поминки и пропускали контрабанду, а если целовальнику и удавалось захватить кого-нибудь с *тайными* товарами, то караульные не допускали вести его в таможду, а требовали, чтобы прежде сделан был доклад воеводе, который умышленно протягивал дело, пока торговцы, давшие взятки, успевали прятать свои товары и таким образом избавляться от преследования. Поэтому в 1658 году велено было стрелецким головам и сотникам отводить пойманных с контрабандою прямо к таможенному голове, а не к воеводам.

Вообще торговля как на кораблях, так и в гостиных дворах была оптовая: иностранцам запрещено было торговать в розницу, сукна можно было продавать только кипами и поставами, шелковые материи — косяками, весчие товары пудами, а питья бочками. Поэтому такая торговля легко сохраняла свой меновой характер. С менового торгова брались пошлины так же, как и с товаров, продаваемых на деньги; менявшиеся товарами должны были объявлять цену своих товаров, и если таможенные начальники замечали хитрость, то могли ценить товары сами, и притом *большею*, а не *меньшею* ценою. При всякой торговой сделке иностранец обязан был записывать свой торг в книги и прикладывать свою руку. В 1667 году, по предложению иностранца Марселиса, постановлено, чтоб для каждого из торговавших в России народов — именно, голландцев, англичан, гамбургцев, бременцев — был в архангельской таможе особый подъячий, и у него особые книги, где бы записывалось количество привозимого товара и получаемые пошлины. При записках в книги покупок, продаж и мен очень часто происходили недоумения и споры: так в 1665 году голландские купцы жаловались, что гости не допускают их записывать в книги своих торгов под тем предлогом, будто бы продавцы объявили слишком дешевую цену продаваемым товарам. Такая же жалоба последовала от голландцев и гамбургцев в 1685 году. Они жаловались, что гость и товарищ его с менового торгова берут пошлины выше той цены, которая выставлена в выписях, данных русским

купцам на их товары в тех городах, откуда они их привозили. Но такая жалоба оказалась несправедливою, и правительство приказывало ценить товары так, как они продавались в Архангельске, принимая во внимание издержки провоза от того места, откуда их привезли в Архангельск. При отплытии иностранного корабля за границу хозяин его или начальник должен был явиться в таможенную, и гость или товарищи его давали ему свидетельство (выпись) за таможенною печатью, с которым иностранцы свободно могли пройти через устье в море. Вместе с тем, таможенное начальство должно было сообщать об отходе кораблей воеводе и дьяку; городское начальство обязано было наблюдать за отплывающими, чтобы за ними не оставалось пошлин, казенных и частных долгов.

Русские купцы, привозившие в Архангельск свои товары на судах, должны были прежде всего подать в таможенную выпись, данную им при нагрузке их суден в Вологде, и никто не смел выносить на берег ничего прежде предъявления этой выписи. Таможенное начальство записывало выпись в книгу и выдавало *память* на выгрузку, а между тем, целовальники отправлялись на судно и проверяли: действительно ли товары в том количестве и в том виде, как записаны в выписи, и если б оказалось что-нибудь лишнее, то конфисковалось. Впрочем, для весовых товаров допускался привесок. После мены или покупки товаров и платежа пошлин русский купец должен был записать в книгу свой торг вместе с иностранцем, приложить руку и взять от таможенного начальства выпись за таможенною печатью для представления в том месте, куда его товар последует.

Покупаемые русскими купцами в Архангельске иностранные товары нагружались в досчаники, которые иногда принадлежали самим хозяевам товаров, а иногда другим лицам, занимавшимся судовым промыслом, преимущественно жителям Вологды, куда отправлялись товары. До уничтожения привилегий английской компании ходили досчаники, принадлежавшие этой компании; в начале их было не более трех, но в 1646 году число их возросло до сорока. Хозяин товара являлся к гостю и подавал роспись товарам, которые он хочет везти из Архангельска; в росписи означено было его имя и имя владельца судна, на которое нагружали товар. Таможенное начальство записывало роспись в книги, подписывало самый оригинал, прикладывало к нему печать, потом производило осмотр, и если все оказывалось верно, то позволяло нагружать судно, а если

бы случилось, что товару более, чем сколько написано в росписи, то конфисковало лишнее. Так как часто случалось, что на одно судно складывались товары разных купцов, то хозяин судна обязан был составить и принести гостю оптовую роспись всему товару, какой у него на судне. Таможенное начальство подписывало ее, прикладывало печать, сверяло с частными росписями товаров, принесенными прежде каждым из купцов, и если роспись, представленная хозяином судна, не противоречила росписям, принесенным хозяевами товаров, то судно могло отправляться. Непроданные русские товары, отправляемые назад, не подлежали пошлинам, но их следовало заявить в таможене и записать в *остальные*. Впрочем, купец мог складывать непроданные товары в Архангельске до будущей ярмарки, но не иначе, как взявши на них выписи из таможни.

Кроме Архангельска, торговая пристань на севере существовала в Коле, где поэтому был и таможенный двор. Жители Колы променивали англичанам и датчанам рыбу на сукна и металлы и возили выменянное по морю в Двину до Холмогор, а впоследствии до Архангельска, с целью променять эти иностранные товары на хлеб. В Кеми ежегодно в день св. Петра собирався торг с лопарями. Привозили туда англичане, норвежцы, датчане свои товары и променивали лопарям на ворвань, меха и рыбу. В этом торге, как кажется, датчане имели перевес. Туда присылался таможенный русский чиновник для собрания пошлин. В Варзужской волости близ Архангельска производилась торговля рыбою и таможенные головы посылали туда целовальников для наблюдения над правильным ходом торговли и для взятия десятой пошлины. Некоторые иноземные корабли ходили в устье Печоры и приставали в Пустозерске для торговли, но это запрещалось строго, и пустозерский воевода в 1664 году получил приказание не давать иноземным кораблям пристанища. Другие плавали по берегам моря и приставали к селам, вели контрабандную торговлю салом, рыбою и кожами, а чтоб избегнуть преследования, подкупали волостных целовальников и брали от них выписи, в которых было написано, что с них взята пошлина, но сколько и за что именно — не означено; с такою фальшивою выписью иностранцы являлись в Архангельск и, в случае придирки к ним со стороны таможенного начальства, отделялись тем, что показывали выпись. В 1667 году было снова подтверждено отнюдь не допускать иноземных кораблей к какому бы то ни было береговому поселению, исключая Архангельска и Колы. Впрочем, недалеко от са-

мой корабельной пристани в Архангельске происходила контрабандная торговля. Иностранные корабли не становились в гавани, а избирали себе место между островами в Двинском устье; ночью русские на паузках (род лодок) подплывали к ним с товарами; иностранцы нагружали ими свои корабли, а русским передавали свои товары. В 1646 году, в предупреждение таких злоупотреблений, правительство хотело устроить на островах каменные башни и протянуть через рукава устья железные цепи; но посадские, которых, как местных жителей, спрашивали об удобстве исполнения проекта, уверяли, что вовсе не знают удобных для этого мест; в самом же деле они боялись прекращения контрабанды, которою занимались. В 1649 году строго постановлено, чтоб иноземные корабли отнюдь не становились вне корабельной гавани. В 1658 году состоялся проект устроить плавучие надолбы, которые были бы замкнуты железными цепями, и ставить у надолб сильный караул из стрельцов, которые денно и ночью должны там стоять, пока продолжается ярмарка, а когда ярмарка окончится, тогда бревна, разомкнув, складывать на берегу. Такими же надолбами предназначались оградить самую гавань, чтоб не допускать русские суда подплывать к иноземным. Этот проект, вероятно, в некоторой степени исполнен, как видно из Торгового устава 1667 года, где говорится о шанцах и караулах. Сверх этих контрабандных выходов иноземцы ставились с русскими купцами, нанимали их себе приказчиками и, избегая таможенной бдительности, отправляли свои товары в Холмогоры, где продавали беспошлинно, показывая вид, как будто бы товары были уже куплены русскими в Архангельске; в Холмогорах же таможенное начальство состояло из нескольких местных целовальников, которых назначали из Архангельска и с которыми легко было сладить. В самом Архангельске на гостиных дворах происходила тайная беспошлинная торговля: целовальники и дети боярские, стоявшие на карауле, легко поддавались влиянию взяток, которые им давали купцы, и пропускали их товары, неоплаченные пошлиною. Большие злоупотребления делались иноземцами, торговавшими внутри России, в отвозе ими товаров из Архангельска в Москву, особенно в первой половине XVII века. Иноземцы отговаривались в Архангельске, что будут платить пошлины в Москве при продаже, брали с собой больше товаров, чем сколько записывали в росписях, и на дороге торговали беспошлинно. Иные покупали товары у приезжих иноземцев и сказывались их комиссионерами, уверяя, будто бы они везут това-



ры не от себя, а от них. Отпущенные из Архангельска, они сбывали эти товары не в Москве, куда дана им проезжая грамота, а где-нибудь в другом месте. В 1658 году по поводу открывшихся злоупотреблений такого рода велено пересматривать в подробности товары, которые иноземцы повезут в Москву, тогда как прежде того их записывали только оптовыми числами. Приезжающие в Архангельск иноземцы получали предуведомления, что за контрабандную торговлю у них отнимут на государя товары, и сверх того при многочисленном стечении народа назовут позорным именем воров.

При Михаиле Феодоровиче воеводы имели некоторое влияние на торговые дела в Архангельске, но при Алексее Михайловиче они были переданы совершенно в распоряжение гостя и его товарищей — таможенного начальства. Воеводы не вмешивались в торговые дела. Их отношения ограничивались только тем, что без их ведома не должен был становиться на якорь и отходить иноземный корабль. Но иногда административная власть имела более влияния на торговые дела в Архангельске. Таким образом, в 1689 году стрелецкий полковник Ружинский, быв начальником корабельной гавани, свидетельствовал приходявшие корабли, ведал поплавную и морскую заставы, расставлял у амбаров, чуланов и лавок на гостином дворе караульных и даже целовальников, смотрел за правильным производством торговли, чтоб меняли и продавали оптом, а не в розницу, чтоб на гостиных дворах не сидели с огнем, чтоб русские ночью не вели с иноземцами контрабандной торговли, и чтоб иноземцы не плавали по сторонам и не покупали тайком русских товаров, а оказавшихся виновными представлял воеводе в съезжую избу. Ему предоставлено было разбирательство дел между торговцами, суд по долговым обязательствам и взимание судебных пошлин.

Доход, доставляемый таможеню казне, до 1689 года не превышал суммы 72 000 рублей, ибо в перечневых росписях этого года говорится, что до такой суммы сбор не доходил в течение двадцати лет слишком со времени установления Новоторгового устава. В следующие затем годы сумма эта увеличивалась почти до 75 000 рублей (74 936), но потом стала упадать, из чего можно заключить, что сумму 70 000 р. можно признать среднюю цифру дохода казны с архангельской таможни. Сбор был русскими деньгами, золотыми и ефимками. Большая часть сбора употреблялась на месте для царских покупок и на издер-

жки для содержания таможи, и вообще гость привозил в Москву небольшую часть сбора в звонкой монете.

Кораблеплавание в Архангельске развило особый свойственный краю промысел корабельных вожей; это были русские лоцманы, хорошо знавшие местность, как на море, так особенно на Двине. Они нанимались водить суда из моря по Двине до Архангельска, а равно и выводить, и брали за то хорошие деньги. В некоторых случаях они дополняли собою полицию, ибо следили за контрабандными поступками и доносили о них. Составляя как бы особый, замкнутый в себе самый цех, вожи долго пользовались монополиею, причиняли иноземцам большие притеснения, вымогали большую плату, выдумывали разные прицепки и придирки, и всячески отстраняли других архангелогородцев от участия в кораблеводстве, стараясь, чтоб этот промысел оставался исключительно за их артелью. Но в 1671 году правительство позволило всем без исключения определяться в лоцманы и договариваться с иноземцами. В 1685 году подтверждено, чтоб этот промысел отнюдь не стеснялся откупам и подрядами, но чтоб каждый, кто хотел, мог наниматься у иноземцев. Вожи были в ведомстве таможенного начальства.

Морская торговля на Северном океане совершалась исключительно на иностранных кораблях: русские если и отправлялись за границу этим путем, что, впрочем, случалось очень редко, то на отходящих чужеземных судах. Проект построения русского купеческого флота явился, как кажется, не ранее 1666 года, по предложению служившего в России иноземца Густава фон-Кемпена. Но он остался проектом.

На восток от Двины, на одном из островов Мезеня — Лампоженском, по-прежнему производился торг в селении Лампожне, с самоедами, югрою и другими северо-восточными иноземцами. После прибытия англичан, как видно, в Лампожне было две ярмарки в год; на них съезжались купцы из Холмогор и других городов с сукнами, оловянною и медною посудой и проч. и привозили оттуда кожи, меха и рыбий зуб. Путь от Холмогор до Лампожни производился на оленях.

Из Архангельского порта водяной торговый путь шел по Двине до Устья Великого, а оттуда Сухоною и Вологдою до города Вологды. Этот путь заключал в себе тысячу сто верст и проходил мимо торговых городов: Холмогор, Устюга, Сольвычегодска и Тотьмы. Из этих городов Тотьма при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче сделалась

местом значительной продажи заграничных товаров и обмена сибирских. Плавание от Архангельска до Вологды совершалось в досчаниках, насадах и более мелких судах, смотря по грузу. Досчаник имел до десяти сажен и более. Обыкновенные русские насады, плававшие по Двине и Сухоне, были длинные и широкие плоскодонные суда, сверху покрытые. Они шли над водою не выше четырех футов; для легкости при постройке в них вовсе не клали железа: все было сделано из одного дерева. При попутном ветре употреблялись паруса, но в противном случае плавание было очень затруднительно, особенно когда плыли против течения, тогда гребная работа оказывалась недостаточною; к носу судна привязывали длинные канаты, иногда их привязывали к бревнам; люди, идя по берегу, тянули судно вверх по реке. Это составляло промысел рабочих людей, которые поэтому толпами собирались на берегах и нанимались у судовладельцев. Иногда нужно было до трехсот человек, чтобы тянуть большое нагруженное судно. Лошадей не употребляли. Во время плавания судов нередко случались несчастия от неловкости и непредусмотрительности. Во время путешествия Карлейля англичане были свидетелями, как две барки столкнулись вместе и при этом утонуло семь человек.

Вологда после Архангельска была важнейшим местом северного края. Англичане, по открытии Беломорского пути, угадали важность этого города и хотели сделать его средоточием торговли. Отсюда был удобный путь в Холмогоры водою. Вологда в XVI веке сделалась складочным местом английских товаров, и до построения Архангельска самым главным, ибо товары, нагружаясь в устье Двины с кораблей на суда, шли прямо в Вологду, и весь путь по Двине и Сухоне был исключительно в руках англичан. Англичане обратили особенное внимание на русский лен, как на главный продукт вывоза; а как страна около Вологды особенно производила лен, то это тем более утвердило их в намерении основать в Вологде главный торговый пункт, ибо лен до того времени стекался в Новгород, где англичане должны были выдерживать конкуренцию с торговцами других городов, между тем как в Вологде они были исключительно господами этой торговли. Вслед за льном большая часть и других товаров шла в Вологду; равномерно и ввозимые товары, на которые выменивались русские, можно было всего удобнее найти в этом городе. Таким образом, быстро процветающая Вологда подрывала старый Новгород. В XVI веке в Вологде были деревянные строения, и город

не отличался ни красотою, ни многолюдством; но в половине XVII века англичане находили его большим и многолюдным. Он был обилён каменными домами, и самые вологодцы приобрели себе славу каменщиков и кирпичников.

После построения Архангельска Вологда сделалась перевозочным путем между Москвою и внутренностью России с одной стороны и Архангельском и Европою с другой. В продолжение зимы товары на санных подводах стекались в Вологду со всей России. Это было самое деятельное время года для Вологды. Товары приходили преимущественно из Москвы; но также из Ярославля и Костромы. Эти товары лежали в Вологде в складке до полоёй воды; с наступлением навигации начиналась их нагрузка в досчаники и насады и отправка до Архангельска. Обыкновенная плата за провоз с пуда была 15 коп. Равным образом, в Вологду приезжали иностранцы и делали большой закуп для отправки в Архангельск. Весною приезжал в Вологду один из товарищей гостя начальника таможни в Архангельске, обыкновенно один из членов московской суконной сотни, а с ним целовальники от торговых городов. Они наблюдали за нагрузкою товаров. Товары в бочках, кипах, ящиках и т. п. нагружались на суда, а таможенный начальник подписывал роспись товарам, отправляемым с судном, по которой судно могло разгружаться у Архангельска.

На время ярмарки в Архангельске Вологда теряла свой торговый характер, но приобретала его снова, когда досчаники и насады прибывали с грузом *заморских* товаров. До половины XVII века таможня в Вологде устраивалась только временно на лето. Пользуясь этим, иностранцы приезжали зимою в Вологду и накупали там русских товаров, которые с намерением были оставляемы в городе. Иностранцы покупали их и отправляли по льду и, таким образом, избегали платежа пошлин. Но правительство, узнав о таком злоупотреблении, оставляло целовальников постоянно на зиму. Тогда зимний провоз контрабандных товаров до Архангельска стал опасен, а провозить их, оплачивая пошлинами, не представляло выгоды, ибо за провоз зимним путем платили по 25 к. с пуда и более. Зимний путь остался господствующим для товаров, отправляемых из Вологды в Москву и обратно. Некоторые же, поспешая, отправляли товары и осенью, если успевали рано воротиться из Архангельска; но колесный путь сопряжен был с большими затруднениями по причине дурных дорог. Ранее других товаров отправлялись царские товары, купленные в Архан-

гельске для царского обихода, и они ранее всех доходили до Москвы, ибо их возили на ямских и земских подводах, что составляло повинность жителей.

Торговый путь из Вологды в Москву лежал на Ярославль, Ростов, Переяславль. По этой дороге устроено было четырнадцать ямов. Каждый ям отстоял от другого на тридцать и на сорок верст. О скорости зимнего пути на этой дороге можно судить по тому, что Дженкинсон выехал из Вологды 1 декабря, а прибыл в Москву 6 того же месяца. Карлейль говорит, что между Вологдою и Москвою в его время было только три перемены лошадей: в Ярославле, Переяславле и Троицке, и английское посольство ехало от Вологды до Москвы семнадцать дней. Впрочем, торговцы везли свои товары на ямах только по особым привилегиям; обыкновенно товары отправлялись обозами, только царские товары, как выше сказано, поспевали на переменных подводах. Однако, самые обозы ехали не мешкотно: они делали от пятидесяти до семидесяти верст в одну упряжку. Летний путь по этой дороге был очень затруднителен, по причине лесов, болот и дурных дорог. Поэтому существовал другой путь, по которому представлялось более возможности совершить летнее путешествие по воде. Герберштейн говорит, что ехали сухопутьем из Москвы в Ростов, а оттуда водою, то есть, Которостью, Волгою и Костромою, переходили семь верст волоком и входили в какую-то небольшую реку (вероятно Лежу) и таким образом доходили до Вологды и Сухоны. Независимо от Москвы, многие товары из Архангельска отправлялись в Ярославль, а оттуда сплавлялись в Нижний, а равно из Нижнего стекались в Ярославль и из Ярославля отправлялись в Вологду. Так сбывались иностранцам разные произведения восточного края — кожи, овчины, икра, рыба, известь.

Москва была средоточием торговой деятельности для всей России. Значение ее возвышалось тем, что правительство само занималось торговыми операциями, и сам царь, как выразился один англичанин, был первый купец в России. Царская казна получала лучшие узорочные товары, металлические вещи и всякие драгоценности; все, что европейцы привозили лучшего в Россию, шло в царскую казну. Лучшие русские меха и, сверх того, разные продукты севера, например, моржовая кость и проч. были достоянием казны. Цари жаловали из своих сокровищниц товарами и продавали их иноземцам и русским. В Москве жили знатные и богатые, следовательно, большая часть привозных товаров сбывалась в столице. Из Москвы отправляемы были

в провинции на службу начальники и служилые люди и делали себе закупы. В Москве жили богатейшие оптовые торговцы — гости и гостинные люди, и потому значительнейшая часть вывозных товаров собиралась здесь для следования к Архангельскому порту. Сильная правительственная централизация, соединявшая всю Россию, отразилась и на торговле: торговля всей России управлялась Москвою; Москва давала ей вес, меру, монету, направление. Московские гости и торговые люди были ближе к правительству, чем торговцы других городов, и потому переход в московские списки торговых людей из других городов был почетен и совершался не иначе, как по милости правительства. Все эти обстоятельства условливали торговый характер русской столицы. Торговля Москвы не теряла своей деятельности круглый год, но вообще оживлялась зимой, после привоза свежих заграничных товаров из Архангельска. Иностранные торговцы-греки, персы, армяне, шведы, поляки, англичане посещали столицу. Немцы составляли значительную часть в народонаселении. Впрочем, в числе знатных торговцев в 1674 году было не более десяти немецких семейств. Так как русская торговля была большею частью меновая, то это было, по замечанию одного иностранного купца, в числе причин, что в Москве в царствование Алексея Михайловича можно было купить произведения Италии, Франции, Германии, Турции, Персии почти за ту же цену, как в их отечестве, и это побуждало чужеземцев, посещавших русскую старую столицу, называть ее счастливейшим местом в мире.

Вся столица наполнена была признаками торговли, и ее особенность, поражавшая иностранцев, состояла в том, что для каждого рода товаров в Москве были особые ряды и рынки. Средоточием московской торговли в XVII веке был Китай-город, обнесенный красною стеною; внутри этой стены вовсе не было домов — находились одни ряды лавок. В тысяча шестьсот семидесятых годах они были по большей части каменные; одни принадлежали казне и отдавались в оброчное содержание, а другие составляли собственность частных лиц. Там было три гостинные двора: Старый, Новый и Персидский. Новый двор был большое четырехугольное каменное здание, двухэтажное, в верхнем и нижнем ярусах помещались лавки со сводами. Он построен Алексеем Михайловичем в 1662 году. В середине здания находился большой двор в сто восемьдесят квадратных футов, где посередине висели большие городские весы. Этот внутренний двор обыкновенно был вроде биржи, ибо торговые люди

приходили сюда для сделок. Зимой он был загроможден саями с товарами до такой степени, что невозможно было просунуться. Лавки принадлежали казне и отдавались в оброчное содержание от 18 до 25 руб. в год. Некоторые же лавки были с царскими товарами и открывались для торговли в известные времена. Старый гостинный двор был не так наряден, как Новый, и лавки от казны отдавались дешевле, например, от 6 до 12 р. в год. В этом дворе продавались большею частью оптом мелкие товары. Третий гостинный двор назывался Персидский, и назначен был исключительно для персидских товаров. Там было двести своеобразных лавок, где сидели персияне, армяне и русские. Прежде продажа персидских товаров на Персидском дворе была делом казны, и для этого сидели в лавках гости и их приказчики, которым доверялась казенная продажа, но потом торговля разрешена каждому русскому. Над самой Неглинной находился Шведский гостинный двор. На Сретенской улице в XVI веке были два гостиные двора: Литовский и Армянский. Греки торговали на особом Греческом дворе, а у св. Максима Исповедника (на Варварке), до уничтожения привилегии английской компании, был знаменитый Английский двор — средоточие европейской торговли для России в свое время. Сверх того, Посольский двор, где останавливались иноземные посольства, приезжавшие к царю, был также местом торговли: в свите посланников обыкновенно прибывали купцы с товарами и вели с русскими торговлю на Посольском дворе. На гостиных дворах торговали только оптом и вообще большими партиями; все приезжие обязаны были складывать свои товары единственно в гостиных дворах, нанимая там лавки и амбары.

Розничная продажа товаров происходила в *рядах*, и этих рядов было много в Москве, потому что каждому товару назначен был свой ряд и свое место. Близ рынка, называемого *Вшивым*, был лоскутный ряд или ветошный. Но это название не шло к нему, потому что там можно было покупать очень ценные вещи. Неподалеку от Кремля был Охотный ряд, где продавались съестные припасы и живые животные. Были ряды: горшечный, пряничный, птичий, харчевой, калачный, крашенинный, суконный, сапожный, шапочный, свечной, коробейный, соляной, медовый, восчаный, домерный, где продавались бубны, домры и барабаны, сурожский, где, между прочим, продавались шелковые материи, житный и мучной ряды. Последние в первой половине XVII века находились в той части города, которая

называлась Царьгород; здесь же преимущественно жили хлебники и калачники с своими мастерскими; здесь же были мясные скамьи, где продавалось мясо; около них был рынок, куда пригонялся скот, назначенный для убоя; тут же стояли царские кружечные дворы с питьем. В Китай-городе был *свежий рыбный ряд*. Наконец, все ремесленники, серебряники, медники, скорняки, продавцы румян и даже кнутов и тростей имели свои особые ряды в Москве. Улица от Персидского двора до Москвы-реки шла мимо овощного ряда, где торговали всякого рода овощами летом в лавках, а зимою в погребках; она упиралась в Рыбный рынок, находившийся на берегу Москвы-реки против Козьего болота. Зимой здесь лежала горами замороженная рыба, привезенная на санях из Новгорода, Ярославля, Астрахани и других мест. Летом в этом месте вонь была до того нестерпима, что иностранец не мог пройти мимо, не зажимая себе носа, но русские, по замечанию иноземцев, не чувствовали этого вовсе. Впрочем, не только здесь, но и в Китай-городе, средоточии московской торговой деятельности, была грязь и нестерпимая вонь. Перед Кремлем, на Красной площади, находился главный рынок, где можно было закупать всякие домашние потребности. Этот рынок постоянно был наполнен и торгующими и праздношатающимися. Близ полукруга, устроенного для торжественных церемоний во время праздника Входа Иисуса Христа в Иерусалим, было особое место, где женщины продавали свои изделия домашней работы. Около самого Кремля было расставлено множество *шалашей, рундуков, скамей, веков*, где мелочные торговцы торговали всякой всячиной; то же встречалось и по другим улицам и переулкам; но при Феодоре Алексеевиче было приказано их снести, потому что они загораживали дорогу проезжим и подрывали торговлю в рядах. Близ главного рынка был ряд винных погребов: в конце XVII века иностранцы насчитывали их до двухсот: в одних продавались иноземные вина, в других меды и проч. Некоторые лавки и торговые помещения принадлежали частным лицам, другие — казне и отдавались в оброк из Большого прихода торговым людям с грамотою, в которой прописывались правила, как пользоваться ими.

Базары в Москве происходили обыкновенно по средам и пятницам. Летом они отправлялись на большом рынке, близ церкви Василия Блаженного, а зимою на льду. Во время торгового сходбища там была чрезвычайная давка, и надобно было, идя по базару, держать руки в карманах. В Москве, кроме рынков Главного и Рыбного, было несколько



других рынков или торжков, преимущественно над рскою у пристаней, где останавливались суда. Таким образом, существовало несколько хлебных и сенных торжков. У Язуз был древесный рынок, на котором продавались лес, дрова и готовые срубленные избы: этот последний промысел распространился в Москве от непрерывных пожаров. На Ивановской площади происходил торг людьми; русские продавали пленников своим и чужим и совершали купчие крепости, которые писались площадными подьячими. Важное место в московской торговле занимает близ города конская площадка, где продавались пригонные лошади, особенно татарские, которых из Астрахани в Москву пригоняли ежегодно до 36 000.

Если мы к этому прибавим, что по всей Москве были рассеяны мелкие лавки, то легко себе представить торговый характер старой столицы, который не покидал ее даже и в праздники, ибо, несмотря на благочестие русских, они даже и в праздничные дни не переставали торговать; но зато каждый день, и в праздники, и в будни, после обеда, лавки запирались, а перед лавочками лавочники лежали на улице: вся Москва спала мертвым сном после каждого обеда.

Из Москвы шло шесть торговых путей: один вологодский, о котором мы говорили; за ним следуют: новгородский, поволжский, сибирский, смоленский и украинский. Новгородский путь лежал через Тверь, Торжок, Вышний-Волочок и Валдай на расстоянии 435 верст.

Несмотря на то, что открытие беломорского пути подрывало значение Новгорода, он долго еще оставался более или менее значительным торговым городом. При начале двинской торговли англичане нашли Новгород большим и многолюдным городом, не менее Москвы. Он имел свою монету и это право оставалось у него еще долго: после возвращения от шведов, при Михаиле Феодоровиче, в Новгороде был устроен денежный двор. Когда англичане привозили и увозили товары через Вологду, русские купцы торговали с немцами и шведами и возили товары через Новгород в Нарву и Ниен (С. Петербург). Во второй половине XVI века в Новгороде было четыре гостиных двора: 1) на Торговой стороне, 2) на Софийской, 3) на Псковской, 4) на Тверской. Двор на Торговой стороне был исключительно предоставлен немцам, и, обнесенный острогами, представлял вид твердыни. Сверх того в XVII веке в Новгороде был особый двор для чухнов и латышей, приезжающих из Орешка, Яма, Копорья. Тяжелые товары складывались в гостиных дворах за городом, а легкие в тех,

которые были устроены в городе. Гостиные дворы находились в заведовании голов, которые смотрели за порядком, начальствовали над дворниками и производили суд между становившимися на гостиных дворах как русскими, так и иноземцами. Сельские произведения — съестные припасы, сено, овес, кожи, уголь, соль, хлеб в зерне, лес и проч. привозились на судах, а потому в Новгороде существовали главные пристани: у Ильинской улицы, у Ивановской улицы, под рыбным рядом и под Псковским двором. На этих пристанях могли вести торговлю не разгружаясь. В гостиных дворах торговля производилась оптовая, и пошлины, означаемые в грамотах, касались объемистых партий, например, тысячей и сотен мехов, кадей, лукн, пудов и тому подобное; равномерно сукна и материи продавались большими штуками, поставами и косяками. В гостинном дворе в Новгороде, как и в Москве, приезжим предоставлялась торговля исключительно; поэтому существование нескольких гостиных дворов показывает, что Новгород был складочным местом торговли произведений края и что с разных сторон торговцы привозили для сбыта скупленные ими в своих городах русские товары и скупали в Новгороде для своих городов иностранные. Местные купцы возили свои оптовые товары к себе в дворы, где у них были построены амбары и лавки. Подобно как в Москве, и в Новгороде были также *ряды*, где находились в связи между собою лавки, предназначенные для продажи какого-нибудь одного товара, как, например, были ряды: *саадашный*, где продавалось все, что касалось до вооружения, ряд *сидельный*, где можно было купить все, что относилось до верховой езды, *серебряный*, *иконный*, *суконный*, в котором продавались сукна и материи, и где были лавки богатейших гостей; ряд *книжный*, где сидели попы и дьяконы. Сверх того, по всему посаду встречались лавки с мелочным товаром, и самый мост на Волхове в XVI веке был застроен лавками и жилищами при них. Было в Новгороде несколько торговых площадей, где торговали лесом, сеном, лошадьми; разного рода промышленники, например, квасники, рукавичники, железники, скорняки, сапожники, холщевники торговали своими произведениями при своих мастерских. Из иностранных торговцев многие часто посещали Новгород; другие жили там постоянно: то были немцы, шведы, литвины. Права их в XVII веке, между прочим, были ограничены тем, что они не могли входить в каменный город, и торговали только в земляном. В 1632 году хотя позволено было им ходить и в каменный, но для домашних дел, а не для торговли. Нов-

городцы также посещали заграничные края для торговых целей. Борис Федорович дозволил всем новгородским людям ездить в немецкие и литовские города. В XVII веке бывали частые поездки торговцев из Новгорода за границу, и не только сами новгородцы, но осташковцы, ярославцы, москвичи, отправляя товары за границу, должны были везти их через Новгород и возвращаться через него назад. Нередко из Москвы нанимали извозчиков большими обозами через Новгород вплоть до Нарвы, с платою по 16 коп. с пуда. Эти обозы состояли из множества саней, запряженных каждая в одну лошадь; на каждые сани взваливали по три берковца московского веса, а если товар был очень тяжел, то по три берковца нарвского.

Война Ливонская и лишение Балтийского моря не могли оставаться без вредных последствий для торгового значения Новгорода, которое и без того страдало от английской конкуренции. Наружное спокойствие под правлением Бориса, покровительствовавшего мирной торговле, было вскоре нарушено смутами эпохи самозванцев. Новгород подпал под чужую власть. После восприсоединения его к России правительство хотело оживить торговое значение не только Новгорода, но и целого края, прилежащего к нему, поэтому дозволено всем приезжающим из внутренних областей России и иностранцам торговать в Новгороде во всякое время невозбранно, а иноземцам позволено даже ездить с товарами по новгородским пригородам, в Псков и по псковским пригородам. В XVII веке, особенно, когда шведы завели здесь главную контору, Новгород сделался центром металлической торговли, которая в нем была тогда значительнее, чем в XVI-м: свинец, медь, железо, получаемые из-за границы, шли через Новгород. Важным предметом вывоза, между прочим, был хлеб, так что русская хлебная торговля преимущественно направлялась в эту сторону. При Феодоре Алексеевиче новгородцы привозили в Москву иностранные товары; это показывает, что торговля Новгорода тогда поднялась, ибо вместо немцев, привозивших в Москву иностранные питья, начали их привозить новгородцы. Конец XVII века, поднимая старый балтийский торговый путь, как бы приготовлял реформу Петра Великого, которая убила Архангельск и перенесла к берегам Балтийского моря средоточие торговли и администрации.

Пути сообщения Новгорода с заграничными краями шли, первый на сто шестьдесят пять верст до Нарвы, другой до Ниена. В XVII веке в зимнее время брали до Нарвы от двух с половиною до трех копеек с пуда, в летнее — от

четыре до шести копеек; до Ниена, зимою от трех до трех с половиною копеек, летом от четырех до пяти копеек. Кроме сухопутной дороги из Новгорода в Нарву, был туда же путь водяной по Луге и Мшаге, впадающей в Шелонь, которая вливается в Ильмень. Пространство между Лугой и Мшагой в семь верст переезжали волоком. Третий путь шел на Псков, а оттуда в Ригу двести верст через Нейгаузен, Говен, Венден и Нейшлот в Литву. Тогда как англичане дали русской торговле преобладающее направление к Белому морю, Псков образовался отдельным пунктом торгового сношения России с Ливониею и через нее с Германиею. В царствование Иоанна IV военные обстоятельства Ливонии на продолжительное время задерживали торговую деятельность этого города. После того Смутные времена России отражались неблагоприятно и на нем, как на других западных городах России. Когда спокойствие восстановилось, Псков опять сделался важным местом закупа русских товаров и отправки их в Германию; товары эти были: лен — главное произведение Псковского края, — пенька, кожи, сало и красная юфть, которую выделявали в самом Пскове. Эти товары составляли исключительный предмет вывозной торговли в Пскове и обозначались общим именем русских товаров. Они отправлялись в Ригу, Ревель и Дерпт; немцы были главными их закупщиками, но при Михаиле Феодоровиче и англичане успели проникнуть во Псков; пользуясь своими правами, они делали там значительный закуп льна, вероятно, для отправки в Архангельск. Таким образом, в 1619 году один английский гость получил право покупать сам и через своих агентов лен в Пскове, и воеводы обязаны были давать ему двор в городе. Гостиный двор для приезда иноземных купцов был не в самом городе, но под городом. Туда привозили на оптовую продажу разные материи, сукна, металлические изделия, жемчуг. При Михаиле Феодоровиче казна брала с купцов лучшие вещи вместо пошлин, а также покупала их.

Военные обстоятельства при Алексее Михайловиче снова ослабили торговлю Пскова. Но более всего препятствовала надлежащему развитию торговли и благосостояния этого города домашняя, закоренелая вражда богатых с бедными, которая составляла отличительную черту Пскова. Эта вражда существовала в былые времена республики, как неотъемлемое качество всех республик, до сих пор известных в истории. После падения свободы Пскова великий князь московский перевел туда на жительство москвичей, и эти москвичи сделались людьми сильными; природные

псковитяне остались *маломочными* и небогатыми. Последние ненавидели первых уже не столько как высшее сословие, но как пришельцев, поселенных между ними с тем, чтоб унижить их древнее отечество. Псковская летопись упоминает о вражде богатых с бедными под 1544 годом: То же встречаем мы, более чем через сто двадцать лет, в Пскове. Правительство, замечая упадок торговли в Пскове и беспорядки, возмущавшие спокойствие города, приказало собраться в земской избе выборным людям и сделать постановления. По этому предмету постановления составлены были так, что вообще клонились к выгодам богатых и к ущербу бедных, потому что выборные были из *первых* или *лучших*, как они назывались. *Маломочные*, то есть небогатые посадские люди, будучи не в состоянии долго выдерживать застоя товаров, отдавали их за дешевую цену иноземцам, тем более, что, нуждаясь в деньгах, брали от иноземцев деньги вперед и подряжались поставлять в срок товары, а за то, что брали вперед деньги, делали значительные уступки. Некоторые же нанимались у иноземцев комиссионерами, брали от них деньги и ездили делать для них закупы, а через то подрывали русских оптовых торговцев. Поэтому, в 1665 году выборные люди в земской избе постановили, чтоб маломочные торговцы не забирали вперед от иноземцев денег, не подряжались поставкою товаров, не принимали у них комиссий и вообще не сносились бы непосредственно с иностранными купцами, чтоб, таким образом, внешняя торговля была исключительно в руках оптовых торговцев. Но чтоб, в то же время, не лишить и бедных тех средств, которые они имели при свободном торговом обращении с иностранными закупщиками, постановили, что маломочные могут быть комиссионерами у богатых псковитян, а отнюдь не у иностранцев. Для этого лучшие люди расписали во всем посаде и в псковских пригородах (Торопце, Великих Луках, Острове), сохранявших еще древнюю зависимость от главного города, маломочных по *свойству и знакомству*, обозначив их промыслы и занятия и давали им ссуды из земской избы. На эти ссуды маломочные могли покупать товары, исключительно русские, и в декабре и в мае доставлять их в земскую избу, где *сидят лучшие люди, у кого они будут в записке*. Для меновой торговли с иностранцами учредили в Пскове две беспошлинные ярмарки: одну в январе, с 9-го числа, другую в мае, также с 9-го числа, на две недели, но за указанными неделями предоставлен еще льготный месяц. Эти ярмарки должны были отправляться в гостиных дворах: в

двух из этих дворов продавались иноземные товары, а в третьем, устроенном в городе, русские: лен, пенька и коженые произведения. Приезжие в Псков русские купцы могли торговать с иноземцами только в это время и то от лица псковских купцов, именно, взявши от какого-нибудь местного купца записку; притом обязаны были продавать товары не иначе, как по цене, установленной в земской избе, а отнюдь не произвольно. При продаже иноземцам русских товаров две трети уплаты могли приниматься иноземными товарами, а одна треть непременно чистыми деньгами, ефимками, которые торговцы обязаны были принести в устроенный в Пскове денежный двор и получать за них русские деньги: за один фунт ефимков семь рублей. Этою денежною променом казна заменяла для себя выгоды, какие могла бы получать от пошлинного сбора с товаров во время ярмарки. В другое время года не позволялось торговать этими товарами с иноземцами. Ярмарка, как кажется, относилась исключительно к так называемым пяти большим товарам: салу, юфти, козам, льну и пеньке, ибо в одном современном акте говорится: *оприч того все товары, как у кого что будет, продавать иноземцем бессрочно*. Торговые иноземцы во всякое время года могли свободно приезжать в Псков, привозить и складывать свои товары в гостиных дворах, приготавливаясь к меновому торгу на ярмарочный срок. Земское правление города Пскова и пригородов сосредоточилось в руках богатых, из которых ежегодно пять или шесть должны были выбираться для заседания в земской избе и составлять правительственный совет. Посылая к царю челобитную об утверждении нового порядка, богатым нужно было собрать более или менее значительную сумму на посулы и поминки дьякам в приказах; они не затруднялись взвалить такие издержки, простиравшиеся до 400 рублей, на шею беднякам и разложили их на средних и меньших людей, не устаивая их впоследствии даже отчетом, куда истрачены эти деньги. Напрасно бедные, пользуясь своим гражданским правом, сами собирались в земской избе и составляли облегчительные для себя постановления: после их собрания, в той же земской избе, собирались снова богатые и переделывали все по-своему. Способы, каким образом богатые торговцы утесняли бедных, изложены в любопытной челобитной последних, поданной в 1666 году. Между прочим, богатые выбирали свою братию в таможенные головы, в целовальники и в разные должности, сопряженные с наблюдением казенного интереса; эти выборные обкрадывали казну, делились с товарища-

ми, которые их выбирали, а потом, без согласия с середними и меньшими, богатые выбирали из последних в целовальники вместо своих и взваливали на них весь недобор. Если же злоупотребления открывались и делался повальный обыск, то бедные должны были давать такие сказки, какие угодно было богатым, которые принуждали их к этому батогами. Так описывают свое состояние бедные в челобитной; но вообще надобно заметить, что в известиях, сообщаемых как тою, так и другою стороною, нельзя искать беспристрастной истины. Несомненно только то, что управление богатых не послужило ни к развитию торговли, ни к благосостоянию жителей. На другой же год воевода доносил, что *пожары великие учинились, хлеб и соль вздорожали, богатые наживались, бедные нищали*; и потому правительство приказало этот *новый суд отставить*, а ведать псковитян всяких чинов людей судом и расправою воеводам. К этой скорой перемене немало послужило и то, что едва только купцы захватили в руки правление края, как начали своевольно давать за границу проезжие грамоты, арестовать дворян, и наконец, что всего важнее, писать неправильно титул великого государя. Вражда маломочных с лучшими не прекратилась: одни другим старались вредить всеми способами. Богатые доносили, что маломочные тайно возили за границу товары; в том же обвиняли богатых их соперники: действительно, стрельцы поймали пятьдесят восемь саней с товарами, отправленных мимо таможи в Ливонию псковским купцом Поганкиным. При таком общественном состоянии Псков не мог быть цветущим торговым городом, и торговля его более не возвышалась.

Из городов, лежавших на север от Москвы, выказываются перед другими: Орешек, Белоозеро, Тихвин, Устюжна, Каргополь, Ярославль, Весьегонск. Орешек по своему положению был торговым пунктом сношений с шведами в XVI веке: там были лавки с сукнами, шелковыми тканями и разными иностранными товарами. Так как железо, будучи всегда главным ввозным шведским товаром, переходило через Орешек, то в нем развился промысел кузнечества. По уступке его шведам, он в XVII веке под именем Нотебурга был пристанью для торгового плаванья по Ладожскому озеру. Белоозеро вело значительную оптовую торговлю солью, рыбой, хлебом. В городе существовал обширный гостинный двор; главный торговый предмет составляла рыба, добываемая из озера. В XVI веке Белоозеро было перевалочным пунктом торгового сообщения Вологды с Нарвою и тем самым беломорской торговли с балтийскою. В Кирилло-Бело-

зерском монастыре были большие ярмарки, три раза в год: на Успеньев день, на Введение и на память св. Кирилла белозерского. Туда съезжалось множество торговцев, и так как разом с ними приезжали кабацкие целовальники с питьем, то поэтому торжища отличались таким пьянством, что часто случались смертоубийства. Игумен просил перевести торг на Словенский Волок, в имение монастыря. Ярмарки отправлялись здесь в те же сроки, как и на прежнем месте. Туда съезжались торговые посадские люди и крестьяне уездов Белозерского, Вологодского, Каргопольского, Новгородского, с разными товарами, а в том числе и хлебом. На срок ярмарки из Белозерска приезжало таможенное начальство. Другая славная ярмарка в XVII веке была близ Александровской пустыни: туда приезжали, между прочим, шведские купцы. Тихвинцы занимались иностранною торговлею, возили русские товары водяным путем по Сяси, Ладожскому озеру до Орешка и вывозили их в Швецию, а товары иноземные доставляли через Устюжну до Дмитрова в Москву. В XVII веке в Тихвине зимою собиралась чрезвычайная ярмарка. Устюжна-Железнопольская в XVI веке была торговым городом, ибо туда съезжались за покупкою железа и судовых принадлежностей. Весьегонск славился своею ярмаркою: она была возвышена Иоанном Грозным, который в 1563 году, из угождения Симонову монастырю, владевшему Весьегонском, запретил всякие торги во всем околоте. Ярмарка открывалась на заговенье Петровки. Рыба, соль, хлеб и вообще сельские произведения находили себе сбыт на этой ярмарке. Туда съезжалось множество поселян из соседних краев, приплывали по Мологе купцы из Ярославля, Углича, Казани, Рязани, бывали купцы из Москвы, Твери, Великого Новгорода. Весь пошлинный сбор на этой ярмарке принадлежал Симонову монастырю, который платил в царскую казну 38 рублей в год. Старинный скуп соли в Каргополе и на Онеге не только не упал, но еще более развился в XVI и XVII веках. Жители Турчасова, Мехренги, Порога привозили соль с моря и складывали ее в Турчасове, а каргопольцы скупали и переправляли в свой город. Каргополь был главным местом закупа северной соли. Белозерцы и вологодцы, а иногда торговцы из других городов приезжали туда для покупки соли и развоза по России. Соляная торговля развила в местных жителях трудолюбие и судовой промысел. Каргопольцы, турчасовцы и крестьяне других поселений записывались в козаки, которые составляли особый цех, обязанный приготовить соль к вывозу. Каргопольцы имели



готовые судна для перевозки соли, и в XVI веке город получил ту привилегию, что приезжавшие для покупки соли торговцы непременно должны были нанимать суда у одних каргопольцев. Кроме соли, каргопольцы торговали в большом количестве ворванью и рыбою, добывая эти товары из Колы. Словом, Каргополь был важнейшим местом вывоза в Россию произведений Северного моря. Неудивительно, что эта промышленность привлекла в Каргополь ввозную торговлю. Из таможенной грамоты 1598 года видно, что в Каргополе и Турчасове было два гостиних двора, на которых продавались иноземные сукна и русские меха. Сверх того часто и летом на судах, и зимою на санях прибывали к городу русские торговцы с товарами.

Водяное сообщение Москвы с Астраханью, а через этот город с Персиею и Востоком было: Москвою-рекою до Коломны, из Коломны Окою до Нижнего и от Нижнего Волгою до Астрахани. Плавание от Москвы до Нижнего требовало около одиннадцати суток при благополучных обстоятельствах. По пути лежали города: Коломна, Рязань, Касимов, Муром. Из города Шуи, Гороховца и других, соседних реке Тезе, городов и сел купцы плавали по этой реке и достигали Оки. Вообще окский путь в XVII веке был не совсем безопасен, по причине разбоев, господствовавших и на Оке, как на Волге. Другая дорога лежала сухопутьем на Ярославль, а из Ярославля на судах Волгою. Города Ярославль, Кострома, Кинешма, Юрьевец-Повольский, лежавшие на этом судоходном пути, имели торговое значение; тамошние торговцы сплавляли свои товары по Волге и привозили покупные в свои города. В Ярославле особенно занимались судовым промыслом.

Нижний Новгород с половины XVI века начал возрастать в торговом отношении. Уже англичане нашли выгодным возить туда свои товары. В XVII веке он сделался складочным местом для торговли всего востока России; товары стекались туда со всех сторон: и европейские из Архангельска через Ярославль и Москву, и азиатские из Астрахани, и сибирские из Казани, и русские, предназначенные для отправки на Восток. Беспреданно прибывали туда частные досчаники сверху и снизу по Волге и по Оке, а зимою длинные ряды обозов тащились во все стороны. У одного богатого нижегородского купца в XVII веке в Нижнем развилась хлебная торговля. По мере населения плодородного края, лежавшего на юг от Нижнего, город сделался местом сбыта и закупа хлеба для отправки его в столицу и северные провинции. В особенности при отплытии судоход-

ного каравана в Астрахань в Нижнем было огромное стечение торгового народа, так что все носило вид ярмарки. Конечно, он обязан своим торговым значением счастливому положению посередине продольного волжского пути, при соединении двух судоходных рек России. Правительство учредило там главную таможену, где брали проезжие пошлины за все города, следующие за ним по течению Волги.

Недалеко от Нижнего торговцев привлекала Макарьевская ярмарка, собиравшаяся ежегодно в июле месяце под монастырем святого Макария Желтоводского. Царь Михаил Федорович подарил все пошлинные доходы этому монастырю *на свечи и ладан, и церковное строенье, и братии на пропитание*. Цари Алексей, Федор, Иоанн и Петр подтверждали это монастырское право, которое, таким образом, не отменялось весь XVII век. Купцы съезжались туда как с верховых, так и с низовых городов (Свияжска, Чебоксар, Казани, Алатыря, Симбирска, Саранска). Доставка и отправка товаров совершалась более водяным путем, реже сухопутьем; но независимо от таких путей развозка товаров главным образом направлялась в одну сторону на Москву, а в другую на Казань. Таким образом, эта ярмарка сделалась посредницею торгового сообщения Европейской России с Сибирью — значение, остающееся за нею (нижегородскою) до сих пор. Всякий купец, отправляясь на Макарьевскую ярмарку, должен был в том городе, откуда выезжал, взять проезжую грамоту, и вез свои товары беспрепятственно до места назначения, без всякого осмотра и задержек, а прибыв на место, показывал свою проезжую грамоту, по которой производилась проверка, и если бы что-нибудь оказалось лишнее, то подвергалось конфискации. В 1662 году царь Алексей Михайлович дал право купцам, пребывающим на ярмарке, быть свободными от всяких позывов, исков, ответов и тяжб. Всякое разбирательство возникшего между торговцами торгового или долгового дела принадлежало архимандриту Желтоводского монастыря с братиею, исключая дел о воровстве и разбоях. Несмотря на такие права, процветание ярмарки задерживалось от беспрерывного несоблюдения царских привилегий. Воеводы, приказные и таможенники по дорогам придирались к купцам, требовали осмотра, вымогали пошлины, брали поминки и взятки; а в самое время ярмарки воеводы, по изветам ябедников, посылали за купцами приставов с наказными памятьми, требуя их к суду, или рассыльщиков под предлогом искать беглых: эти рассыльщики нападали на купцов среди их торговой деятельности, придирались к ним, отры-

вали от занятий и не отходили, пока не удовлетворялись поминками, а между тем, жили, ели на счет монастыря, очень негодовавшего на таких гостей, которые вообще нахальными поступками доводили купцов до того, что те боялись ездить на Макарьевскую ярмарку. По жалобе архимандрита, правительство в 1692 году снова подтвердило старые привилегии ярмарки, но они все-таки плохо исполнялись.

Ярмарка в Макарьеве развила судовой промысел. Купцы, закупая товар, нанимали у судопромышленников струги и заключали с ними условия везти товар к месту. Плавание от Нижнего до Астрахани продолжалось около месяца. Пристани, имевшие торговое значение на этом пути, были: Василь, Чебоксары, Кокшажск, Свияжск, Казань. Из этих городов Казань в XVII веке сделалась складочным местом астраханской соли и рыбы, и вообще астраханских товаров, назначаемых для северо-востока, а равно товаров, пришедших из Вятской и Пермской сторон. В Казани производилась казенная постройка судов, как для нужд правительства, так и для торговцев. Тетюши были последним городом населенной страны. За ними, до самой Астрахани, берега Волги представляли пустыню. В первой половине XVII века на этом длинном пространстве были только Самара, Саратов и Черный Яр, позже построен Симбирск. В Самаре образовался перевозочный пункт яицкой рыбной промышленности, которая возникла в 1639 году трудами гостя Гурьева, а потом сделалась достоянием казны, и год от году принимала большие размеры. Торговцы через Самару ездили на Яйк покупать рыбу и икру, и привозили в Самару, где с них брали десятую пошлину. Таких промышленников в конце XVII века стало чрезвычайное множество, и это сообщило Самаре торговую физиономию. Несмотря на запустение, в каком находилось Поволжье, где, кроме упомянутых городов, путешествовавшие при Михаиле Федоровиче голштинцы не встречали никаких селений, торговля с Астраханью постоянно оживляла пустынную Волгу. Так как плавание по Волге сопряжено было с опасностями, то суда шли вместе друг с другом в сопровождении отряда стрельцов, плывших на передовом судне. Это конвойное судно снабжалось орудиями. Такой поезд назывался караваном. Судовые караваны ходили по Волге между Нижним и Астраханью дважды в год; один рейс назывался весенним, другой осенним караваном. Верховые товары приходили в Астрахань летом (напр., в июле), а низовые и персидские товары приходили в Нижний осенью,

и, по наступлении зимы, развозились из Нижнего на санях. Каждый год назначался начальник каравана, командовавший стрельцами и детьми боярскими; в караване бывали послы персидские в Москву, московские в Персию и служилые люди, отправлявшиеся в Астрахань и низовые волжские города. С ними-то обыкновенно плыли с товарами купцы разных городов: москвичи, ярославцы, кинешемцы, костромитяне, юрьевцы, нижегородцы, арзамасцы, казанцы. Уже при Иоанне Васильевиче Грозном караваны, плававшие между Нижним и Астраханью, состояли из пятисот больших судов, из которых одни построены были в Нижнем, а другие приплывали с товарами из разных сторон в Нижний и ожидали там начальника каравана. Когда все было готово, караван выступал с обилием запасов лесных и военных и с каменными пушками. Судна приводились в движение гребцами, а при попутном ветре распускались паруса. Приход каравана в Астрахань возвещался двукратною пальбою из пушек, и весь берег внезапно оживлялся. Одни из прибывших торговцев выгружались на берег, другие оставались в судах и ожидали к себе покупателей.

Кроме караванов, по Волге поодиночке ходили суда казенные и частные. Иногда частные торговцы составляли товарищества и отправляли свои суда, связав их вместе, так что большое судно тянуло за собой маленькие. Плавание по Волге вверх было затруднительно, ибо гребцы могли управлять судами только при попутном ветре (низовом), с трудом управляли ими в безветрие, но когда подымался верховой ветер, тогда гребцы и рабочие выходили на берег и тянули суда *лямкою*, проплывая в день не более четырнадцати верст. Нередко суда наскикивали на мели, которыми Волга и в то время была обильна.

Торговые русские суда, плававшие по Волге, были плоскодонные, различались по длине, ширине и фигуре, и сообразно этому носили разные названия. Большое судно длиною до десяти сажен и более называлось *досчаник*, меньше досчаника были насады и кладные струги. Струги были *досчатые*, *полубленные* и *не полубленные*; *струги с набоями*; они были мерою от шести до восьми сажен в длину; меньше их были *кладные* лодки, а еще менее — *неводник*; менее *неводника* — *плавная лодка*, *однодеревка* и *ботник*. При больших судах, т. е. досчаниках, стругах и насадах были маленькие лодки, называемые *завозни*, *подвозки*, *паузки*. Название струга самое употребительное, и часто принималось для означения судна вообще.

В 1634 году на Волге большой струг или насад вмещал от 300 до 500 ластов, и когда был нагружен, то опускался на двенадцать футов в воду. В конце XVII века насады поднимали до тысячи ластов. Для струга в семь сажен длиною считалось достаточным двенадцать человек гребцов. Когда голштинское посольство по торговым делам отправлялось в Персию, то, с помощью русских плотников, сделало себе судно, приспособленное к плаванию по Волге. Это судно было построено из досок, имело 120 футов в длину, с тремя мачтами и плоским дном; в глубину оно входило до семи футов; для него приготовлены были двадцать четыре весла; на судне устроены каюты, а под палубою подвал для кухни и кладовой. Это судно было вооружено каменными пушками, снабжено свинцом, порохом и оружием против разбойников. К судну была привязана шлюпка. Оно было построено вообще по образцу тогдашних русских судов, но отличалось тем, что имело три мачты и превосходило русские суда отделкою, так что, когда голштинцы выплыли на нем на Каспийское море, то персияне говорили, что *Кюльзюм* (Каспийское море) еще не видывал такого судна.

Торговое плавание по Волге чрезвычайно затруднялось разбоями волжских козаков, живших в неизведанных еще закоулках лесистого и скалистого правого побережья Волги. Не только большие суда погибали со всем грузом и экипажем добычею их зверства, но случалось, что разбойники разбивали самые караваны, прославляя свои подвиги в песнях:

«Мы рукой махнем — караван возьмем!».

Таким образом, при Михаиле Феодоровиче козаки напали на русский караван у Черного Яра и истребили его. Они воспользовались тем, что суда плыли по Волге растянувшись, и напали на задние; передние же, где были стрельцы, охранявшие караван, не могли скоро поспеть к задним на помощь против течения воды. Это событие послужило поводом к построению Черного Яра. Были на Волге места, особенно прославленные разбоями, и торговцы всегда радовались, коль скоро удавалось проплыть их благополучно. Таково было устье Уссы в Жегулевских горах, где при Михаиле Феодоровиче козаки ограбили большое купеческое судно, плывшее с грузом в Нижний; таковы были: Козачья гора в 115 верстах ниже Самары, устье Камышинки, где голштинцы встретили ряд деревянных крестов, поставленных в память падших в битве с козаками.

Трудности плавания по Волге, особенно вверх, были поводом сухопутных путешествий из Астрахани в Москву и середину России. Эти путешествия предпринимались в то время, когда татары гоняли в Москву лошадей для продажи, что носило название *ордо-базарной* станицы. Тогда за татарскими табунами ехал обоз купцов разных наций: русских, армян, персиян, бухарцев и индийцев.

Город Астрахань вскоре после присоединения к России найден посещавшими его англичанами незначительным в торговом отношении. Русские привозили туда кожи, овчины, сбрую, посуду, хлеб, дрова в небольшом количестве, единственно для нужд служилых людей, которые поддерживали русскую власть в отдаленном городе и составляли единственное русское народонаселение города. Персидские товары, именно: шелковые и бумажные ткани, краски, шелк, доставлялись татарами и были худого достоинства. Купцы, торговавшие этими товарами, были бедны. Однако, с этого уже времени Астрахань начинает приобретать свое высокое торговое значение, которое постепенно увеличивается. В Смутную эпоху оно было нарушено Заруцким, разграбившим и разорившим город. Но после успокоения России Астрахань возвысилась снова. В 1670 году ее богатства были расхищены Стенькою Разиным. Хотя Астрахань после того и поправилась, но уже к концу XVII века начала упадать всеобщая уверенность в возможности направить через Россию торговлю всего Востока, — уверенность, которая поддерживала торговое значение Астрахани. Если бы такое предположение осуществилось, Астрахань была бы важнейшим торговым пунктом целого мира. Но не так решила история.

Соседство с Востоком дало Астрахани самое разнообразное народонаселение. Оно состояло из смеси русских с азиатскими пришельцами: персияне, бухарцы, хивинцы, армяне, азиатские турки, греки, индийцы со всеми отливками своих народностей не только посещали город, но владели в нем домами и вели постоянную торговлю. Это разнообразие особенно увеличивалось в то время года, когда Астрахань наполнялась иноземными и русскими торговцами, прибывавшими туда для временной торговли и раскладывавшими свои товары то в гостиных дворах, то в насадах и бусах на пристани. В Астрахани было несколько гостиных дворов, как кажется, особых для каждого народа, например: гилянский, теизцкий, бухарский, русский и татарский — не гостинный двор, но базар, у Мочаговских ворот. Тогда как другим иностранцам позволялось

обзаводиться даже домами, татары могли торговать не в самом городе, а только за оградой его на базаре: на этом татарском базаре были татарские лавки с разными товарами; важный торг был овцами, которых пригоняли из ногайских степей, и раскупали в Астрахани, вероятно, для вытопки сала. Не одни только татары подвергались ограничениям. При Михаиле Феодоровиче, в 1625 году, тезики — подданные турецкого султана из Азиатской Турции — были отстранены от астраханской торговли, вероятно, вследствие неприязненных отношений дворов.

Местная розничная торговля в Астрахани велась в рядах, лавках, полках, шалашах. Мелкою торговлею занимались не только посадские, но и стрельцы, и вообще служилые люди. Торговые помещения давались от казны на оброк. В 1623 году доход этот простирался до 341 руб. 32 алтын 4 деньги.

Важность астраханской торговли должна рассматриваться в двояком отношении: по передаче в Россию восточных произведений и по снабжению России местными произведениями астраханского края. Торговое сообщение Астрахани с Персией, Хивой и Бухарией совершалось, как мы уже сказали, по Каспийскому морю и сухопутьем.

Для торговли по Каспийскому морю правительство держало так называемые *бусы*, приспособленные к морскому плаванию суда. Судовой промысел составлял в Астрахани достояние власти: существовало большое казенное заведение, называемое деловой двор, который был управляем начальником, назначенным из детей боярских, и целовальниками. Бусы ходили постоянно дважды в год между Астраханью и Караганским пристанищем для торговли с Хивой и Бухарою. Один поезд совершался весною, другой осенью. Отправляя бусу, воевода поручал управление ее какому-нибудь сыну боярскому или служилому человеку, давал ему стрельцов, пушкарей и несколько пушек с военными запасами. В 1687 году на такой бусе была одна пушка, пуд пороха, полпуда дробы, сорок ядер, двадцать стрельцов, пушкарь, плотник и пять человек юртовских татар. В 1661 году на такой бусе было две пушки, одна нарядная пищаль да медный тюфяк. Начальник бусы обязан был пересматривать проезжие грамоты своих торговых пассажиров и поверять их товары; а если бы оказалось что-нибудь сверх того, что написано в проезжей грамоте, или же при купце нашелся такой *покручник* или работник, который не записан в грамоте, то начальник отводил незаписанных людей и отправлял незаписанный товар к воеводе.

Поверка товаров не производилась посредством подробного пересмотра и взвешивания их: начальник бусы осматривал только целость таможенных печатей, которыми должны быть опечатаны нагруженные товары. Во время плавания начальник обязан был охранять бусу и отражать разбойничьи нападения, если бы они случились. По прибытии в Караганское пристанище он выбирал двух или трех иноземцев и отправлял в Хиву и Бухарию извещать народ, что пришла русская буса и туземные купцы должны поспешать на торг. Эти посланцы носили местное название *хабарщи-ков*. Тогда к берегу съезжались купцы и начинался торг. Командир бусы должен был наблюдать, чтоб иноземцы не делали русским оскорблений. Как долго продолжался торг — неизвестно; но судя по тому, что буса отплывала из Астрахани в октябре, а поспевала назад к зиме, должно думать, что он продолжался около месяца. При окончании торжища командир бусы извещал, что кто из иноземцев захочет ехать с ними тотчас, тот может нагружаться; равномерно, кто захочет, может приезжать в Астрахань сухопутьем, или, наконец, ехать на будущий год с весенним поездом русской бусы, и в таком случае должен поспешать явиться на берег, чтоб не опоздать. По возвращении домой командир, не приставая к городу, посылал на лодке известить воеводу, что буса возвратилась; являлись таможенники, осматривали, описывали товары и облагали их пошлинами. Тогда уже буса могла пристать и разгружаться.

Сношения с Персией производились также на казенных бусах, которые приставали в Баку и Дербенте; оттуда купцы ездили в Шамаху, где происходил торг персиян с русскими. На этих бусах ездили в Персию русские купцы разных городов и приезжали в Астрахань персияне. Этим путем ездили бусы с царскими товарами. Доверенные торговцы, которые везли эти товары, прибывали в Шамаху; там оставалось несколько целовальников, другие ездили во внутренность Персии, скупали товары и свозили в Шамаху; отсюда их везли к пристани, нагружали и доставляли до Астрахани. Воеводы обязаны были посылать навстречу паузки для принятия товаров. Сверх того в Астрахань приходили персидские бусы, по наружному виду отличные от русских. Это были суда небольшие, высоко стоящие над водою, фигуною похожие — по замечанию европейского путешественника — на ванны, со множеством бревен и перекладин, утвержденных между собою клинами, открытые, без насосов, так что воду выливали мехами, с одним пару-



сом, как и русские, но лучше русских судов умевшие лавировать в море. Как только такая буса приближалась к Астрахани, воевода посылал к ней таможенного голову, или нарочного целовальника, подъячего и стрелецкого сотника с стрельцами для выгрузки. Таможенники прежде всего требовали от управлявшего бусою, обыкновенно называемого шаховым гонцом, сведения — есть ли у него шахова грамота, сколько у него людей, купцов, с какими товарами? После допроса происходила перепись всех людей и товаров. Тогда лучшие из товаров — узорочные, т. е. драгоценные камни, золотые и серебряные цепи, складни, запоны, перстни — отбирались в пользу царя, а купцам выдавали деньги. В случае отыскания заповедных товаров, например, табаку, их отбирали в съезжую избу. По окончании обыска и переписи буса подплывала ближе, но никто не смел выходить на берег, пока роспись не представится воеводе и от него не последует разрешения. Во время пребывания в городе иноземные купцы были под строжайшим наблюдением; послы с своею свитою подвергались также строгому надзору: имущество их перерывали, чтоб отыскать какие-нибудь заповедные товары; пятьдесят человек стрельцов стояли постоянно на карауле; послы жили на Посольском дворе и не смели сноситься с единоземцами; тем не менее, однако, с ними обращались очень почтительно.

Плавание по Каспийскому морю подвергало купцов различным опасностям: во-первых, нередко бусы были разбиваемы бурями, господствующими на этом море; во-вторых, по морю крейсировали морские разбойники, которые нападали на суда, грабили и умерщвляли людей. Следствием таких приключений были неоднократно разорения купеческих семейств и вообще то, что торговля на Каспийском море не достигала высокой степени, но постоянно оставалась в одном и том же положении. Для охранения купцов царь Алексей построил первый русский корабль «Орел», но Стенька Разин истребил его. После того переводчик посольского приказа Виниус подал проект соорудить галеры или каторги (вооруженные суда) для перевоза грузов и вместе для защиты от разбойников.

Туземные произведения, вывозимые в Россию из Астраханского края, были соль и рыба (отчасти вино), но об этом войдем в подробности при исчислении статей торговли вообще.

Сибирская торговля возникла вскоре по открытии Сибири и достигла важного значения, ибо предметы вывоза из

Сибири состояли преимущественно в мехах, которые были важнейшим произведением России. Вскоре по завоевании Сибири многие смельчаки отправились в неведомые пустыни для звериных промыслов; потом страсть отыскивать *новые земли* и принуждать инородцев платить ясак сделалась господствующею между служилыми людьми: это привлекало в Сибирь русских. Само правительство старалось о заселении новоприобретенного края, строило города, поселяло пахотных людей для земледелия и населяло Сибирь ссыльными. Русское население, отодвинутое от прежнего отечества на большое расстояние, нуждалось в подвозе пищи, одежды, предметах домашнего быта, а потому товары, удовлетворявшие этой потребности, были первыми статьями ввоза в Сибирь из России. В конце XVI века и в начале XVII русские купцы возили в Сибирь хлеб, также русский холст, готовые однорядки, юфти, кожи, оружие и военные снаряды, столь необходимые в этой стране против зверей и людей, и прочие товары, большею частью простого достоинства русского изделия. Купцы, которые вели торговлю с Сибирью, были из Москвы — большей частью знатные гости, посылавшие в Сибирь своих покручеников и приказчиков, родом из Казани и так называемых поморских городов: Устюга Великого, Вятки, Перми, Тотьмы и Сольвычегодска; эти агенты, скупая хлеб в России, отправляли его в Сибирь водою, потому-то в этих последних, так называемых поморских городах образовался склад хлеба, назначенного для Сибири. Торг был больше меновой, как с инородцами, так и с русскими поселенцами; первые не знали толку в монете, а последние нуждались более в произведениях Европейской России, чем в деньгах; деньги, прибывая в Сибирь, скоплялись там без ходу; таким образом, когда при Алексее Михайловиче выпущены были медные деньги, то купцы, ездившие за мехами, скупали на них дешевою ценою меха, а сами выменивали у сибиряков серебряные деньги и не привозили в Сибирь русских товаров; от этого в Сибири сделалась страшная дороговизна на всякие русские товары — сукна, холсты, кожи, и правительство приказало у купцов, привозящих в Сибирь деньги, отбирать на государя деньги и купленные на них меха. Простота жизни в Сибири долго исключала потребности изысканного быта, удовлетворяемого в России заграничными товарами. В 1609 году в Пермской земле во всех городах не оказалось иноземных сукон, камок, тафты; торговые люди не привозили этих товаров в Сибирь. Впоследствии, однако, во второй половине XVII века, большая развитость

жизни привлекала в Сибирь и иностранные товары, доставляемые из Архангельска.

Торговый путь, как равно и служилый, из Москвы в Сибирь был водяной, до самого Соликамска, то есть Москвою-рекою, Окою, Волгою и Камою. Из Соликамска везли товары волоком до Верхотурья, которое считалось первым сибирским городом. Там была учреждена таможня: едущие с товарами должны были оплачивать их пошлинами и брать проезжие грамоты. Кроме Верхотурья поставлены были еще две заставы — Собская и Обдорская для сбора пошлин; но купцы, чтоб избежать платежа пошлин и, главное, придинок и задержек от чиновников, самовольно проложили себе другой путь через Кунгур и Уфу на Китайский острог. Воеводы посылали стрельцов для преследования их. Только в 1680 году учреждена была в Китайском остроге постоянная таможенная застава.

В Верхотурье служилые люди, ехавшие в Сибирь на службу, делали закупы разных потребностей в большом количестве, не надеясь их найти в Сибири, или желая купить дешевле, и это побуждало купцов привозить туда значительное количество разных запасов. Тут же, и еще в Верхотурском уезде в Ляминской волости, производился торг с вогуличами; русские выменивали у них меха, лосинные и оленьи кожи, хмель, рыбу, и потому в последнем месте учреждена была таможня для пошлинного сбора. Другое торговое место в том же уезде была слобода Ирбить, где еще в первой половине XVII века образовалась ярмарка, существующая и в наше время. В 1649 году туда стекалось множество промышленников и торговцев. К концу XVII века Ирбитская ярмарка стала главным местом закупа хлеба и вообще всех товаров, идущих в Сибирь. Туда приходили товары бухарские и китайские и раскупались для вывоза в Россию. Ярмарка эта происходила в январе, после Богоявления. По отдаленности места там вкрались злоупотребления относительно пошлинных сборов, так что торговля велась часто совсем беспошлинно; постоянной таможни не было, а верхотурские воеводы, обязанные посылать туда людей для сбора, не исполняли этого точно. Правительство в 1687 году обратило на это внимание, тем более, что ирбитский торг тогда почти совершенно подорвал торговлю в Верхотурье; оно приказало постоянно посылать туда целовальников для пошлинного сбора. Это подтверждено в 1689 году. В 1694 году правительство, наблюдая свои выгоды, постановило, чтоб торговцы в Ирбитской слободе во время ярмарки торговали не иначе, как в государевых амбарах и

лавках, а не в собственных, и велело все частные лавки, какие были построены в слободе, описать и запечатать вперед до государева указа.

Из Верхотурья путешественники садились на казенные досчаники, складывали свои товары, платили за это в казну и плыли водою мимо Туринска и Тюмени до Тобольска. Тобольск был в XVII веке важнейшим торговым городом Сибирского края. Хлеб, назначенный для Сибири, стекался в этот город, купался там и развозился повсюду. Тобольск имел обширный гостинный двор. Туда приезжали бухарцы, которым дана была привилегия такого рода, что никто, кроме них, не мог торговать бухарскими товарами, но зато они не могли, как мы уже заметили, покупать дорогих мехов, да и самые меха низшего достоинства позволено было им покупать только в малом числе и не иначе как для собственного употребления. Бухарские товары из Тобольска развозились русскими купцами по Сибири и на Ирбитскую ярмарку; а между тем со всей Сибири стекалась в Тобольск меховая торговля. Сверх того калмыки пригоняли в Тобольск значительные партии своих лошадей.

Промышленники и торговцы пускались внутрь Сибири на царских досчаниках, устроенных собственно с целью провоза служилых людей и казенных снарядов. Эти досчаники делались обыкновенно в восемь сажен длиною и снабжались огромным парусом. Они плыли мимо Сургута, Нарыма и Кетского острога до Маковского острога; тут товары укладывались на сухопутные подводы и везлись до Енисейска; другие же разгружались в городах, мимо которых плыли и к которым приставали. В Сибири, где только был город, там образовывалась и торговля, ибо огромное расстояние между жилыми местами не позволяло торговле сосредоточиваться в известных местах преимущественно. Таким образом Туринск, Тюмень, Сургут, Нарым, Кетск были посещаемы купцами, которые привозили туда русские товары и продавали местным торговцам. В Енисейске в 1647 году был значительный наплыв торговцев, существовали гостинный двор и таможенная изба.

Промышленники и купцы плыли из Енисейска по Верхней Тунгузке и по впадающему в нее Илимугу. На реке Илимуге в ближайшем расстоянии от реки Муки, принадлежащей к ленскому бассейну, был Илимский острог, близ которого происходил значительный торг. Это место известно было под именем *Ленского волока*: там было зимовье, гостинный двор, амбары, таможня, казенные постоялые дворы для приезжающих торговцев и гарнизон служилых лю-

дей для их охранения. Сюда приезжали туземцы для промена мехов на русские изделия и русские поселенцы Сибири для покупки припасов. В числе товаров был лес для постройки и топлива. Плавание по Тунгузке и Илим у Енисейска до Ленского волока продолжалось шестьдесят один день. Путь считался по рекам, впадающим в Тунгузку и Илим, а этих рек было чрезвычайное множество. Плавание замедлялось по причине порогов, ибо надобно было выходить на берег и проводить через пороги досчаники; при этом груз выносили и несли на себе, а суда взводили через скалы канатами. Сухопутный путь по Ленскому волоку до реки Муки продолжался один только день для пешехода с ношею. Но этот путь затруднялся горами. Торговцы имели приметою какой-то колодезь; до этого колодца нанимали вьючных лошадей, платя по гривне с пуда, а у колодца стояли извозчики с телегами, которых нанимали до Муки, платя летом по пяти алтын, а осенью по полтине с пуда. Таким образом они достигали реки Муки, где весною ходили суда, а летом плоты, и отправлялись по реке Муке в реку Куту, куда впадает Мука, а Кutoю входили в Лену; зимою же торговцы нанимали на Ленском волоке извозчиков и ехали вплоть до Муки по льду в течение двух дней. По берегам рек Муки и Куты в 1651 году были уже русские поселения, исключительно занимавшиеся судопромышленностью. В половине XVII века промышленники плавали по рекам Чичую, Олекме, Окме и другим и променивали тунгузам разные вещи на меха, и потому на Лене рано развился судовой промысел, ибо в 1639 году были суда: досчаники, шитики, каюки, струги, набойни, разной величины и вместимости. В половине XVII века русские торговали в Якутске; в Жиганском зимовье и Молодах с 1645 года жили торговые люди и учреждена была таможня с целовальниками. С 1660 года некоторые привозили товары в Охотск временно для промена, а другие оставались там на жительство. В это время там уже развивался судовой промысел: продавали суда разной величины — шитики, каюки зырянские, струги, набойницы и мелкие лодки. Русские промышленники и торговые люди были товарищами служилых людей в их изумительных подвигах открытия новых земель, и вместе с ними выдерживали героическую борьбу с ужасною стужей, недостатками и дикими народами. Эти промышленники составляли партии, выбирали себе *ватага*, строили струг или досчаник, наполняли его хлебными запасами пудов до трехсот и более, и отправлялись в неведомые страны. Так торговец Григорий Вижевцов с

пятью своими покручениками по Олекме открыл путь в Тунгир. В 1635 г. такая партия была истреблена тунгузами на устье Вилюя. В 1650 году такая же ватага промышленников достигла устья Лены на восьми кочах, соединилась с партией служилых людей, — они поплыли по морю до Яны, миновали ее устье, дошли до Святого Носа и до Хромой Губы; 29 августа хотели сойти на твердую землю, но, охваченные южным ветром, унесены на досчаниках в открытое море и носились в нем пять дней, пока северный ветер не принес их к берегу; таким образом они достигли устья Индигирки, а потом устья Колымы. В этом путешествии промышленники составляли как бы запасную экспедицию для служилых и снабжали их запасами, однако товарищеское отношение не мешало им брать с служилых огромные цены на съестные припасы. В эти негостеприимные края завлекала их также охота добывать моржовую кость.

В конце XVII века Нерчинск сделался важным торговым пунктом для возникшей торговли с Китаем. В 1697 году постановили, чтоб все уезжающие в Китай и приезжающие из Китая непременно являлись в Нерчинск для платежа пошлин, а потом Нерчинск сделался складочным местом китайской торговли, и в 1699 г. был построен в Нерчинске гостинный двор.

Торговля в Сибири была до крайности стеснена, во-первых, самим правительством, во-вторых, чиновниками. Страсть к мехам у правительства была столь велика, что кроме ясака и поминочной рухляди (т. е. той, которую инородцы приносили в дары воеводам, а последние должны были отдавать в казну) правительство выменивало меха на разные русские товары и тем подрывало операции купцов. Никакой торговец не смел приступить к покупке мехов, прежде чем соберут царский ясак; это делали из боязни, чтоб в руки торговцев не попадали отличные меха; когда же соберут ясак, тогда позволялось купцам торговать мехами, но не иначе как на гостиных дворах: положительно было запрещено купцам ездить по юртам и покупать меха; они могли делать эти покупки на гостиных дворах у приезжавших в город инородцев. Естественно, что купец в таком случае должен был платить дороже. Впоследствии даже постановлено (в 1674 году), что если в ясаке окажется какая-нибудь недоимка, то отбирать у туземцев лучшие меха в пользу царя; а как всегда в ясачных мехах могла оказаться недоимка, то и всегда можно было придрататься; и здесь-то открывались случаи воеводам делать разные прижимки

с целью взять взятку. За торговые поездки в юрты отбирали в казну товары, а за такую поездку, совершенную в другой раз, наказывали кнутом. Только в отдаленных землях Сибири, например, в Якутске, дозволялось торговцам покупать меха и в юртах, но непременно после сбора царского ясака и притом с тем, чтоб они возвращались в Якутск и отдавали в казну десятого зверя самого лучшего. Несмотря на трудность путешествия, промышленники подвергались разным стеснительным пошлинам и, сверх того, исполняли отяготительную повинность — быть выбранными в целовальники к ясачному сбору и к разным статьям казенного интереса. В Якутске воеводы и дьяки — в других местах России вообще отстраненные, хотя на бумаге, от торгового управления могли бить батогами и кнутом голов и целовальников. Всего обременительнее для торговцев было то, что они находились в безусловном распоряжении воевод, дьяков и подьячих, которых поступки нигде не были столь произвольны, как в Сибири. Торговцы в городах обложены были взятками в пользу властей: так в Енисейске приказчики торговцев гостиной сотни, отправляемые в Сибирь для скупа мехов, должны были давать воеводам и подьячим сорок рублей с тысячи соболей и по четыре рубля с сотни всяких других мехов; в городе Кетске брали с тысячи тридцать рублей, а с сотни три рубля. В 1646 году эти злоупотребления вынудили жалобы торговцев, и правительство, снисходя к их жалобам, запретило воеводам, дьякам, подьячим и вообще служилым людям мешаться в торговые дела, исключая тобольского воеводу, дававшего тогда купцам проезжие памяти, а равно запретило им торговать самим. Но это мало помогло. В Сибири воеводы переменялись часто, и в наказе каждому из них при вступлении в должность прописывалось, чтоб он не поступал как его предшественник; но едва проходил год, как возникали жалобы, что новый воевода идет по следам прежнего. Притеснения, делаемые воеводами и подьячими торговцам в Сибири, были так велики, что в 1609 году, избегая притеснений воевод, грабивших у купцов хлеб, никто не возил в Сибирь хлеба и от того там произошла ужасная дороговизна. По закону, каждый торговец, приезжая в Сибирь, обязан был платить годовой оброк за право промыслов и торговли в Сибири как за свою особу, так и за всех своих приказчиков и покручеников, которые с ним прибывали. Этот оброк платили в Верхотурье, как ближайшем к России сибирском городе, и после платежа торговец брал отпись (квитанцию) в платеже, но на такие отписи другие воеводы не обращали

внимания и вымогали от него чуть не в каждом городе такие же годовые оброки. Сверх того воеводы обязаны были давать проезжим купцам сено и брали с них *сенное* (в Верхотурье по 6 алт. 4 ден. с воза), но в самом деле никакого сена не давали.

Кроме изложенных торговых путей, были еще два: на Смоленск в Литву и на юг к пределам Малороссии. Оба эти направления не могли способствовать цветущему состоянию торговли. Торговля Москвы с Польшею и Литвою в XVI и XVII веках нарушалась непрерывными войнами и постоянною враждою двух правительств. Положение торгующих купцов было не безопасно, когда были примеры, что правительства, возобновив между собою едва потухающую вражду, задерживали купцов и конфисковали их имущества. Так было при Василии Иоанновиче в 1508 году. В промежутки, когда военных действий между Литвою и Москвою не было, жители порубежных земель беспрестанно делали друг на друга разбойничьи наезды, грабежи и разорения. Такое сочетание обстоятельств, конечно, не благоприятствовало развитию торговли. Купцы, приезжавшие из Польши и Литвы, не пользовались в Москве ни благосклонным приемом правительства, ни расположением народа, особенно католики и жида, которых не терпели москвитяне. Так в 1673 году царь Алексей Михайлович, узнавши, что в Москве находятся с товарами литовские купцы из Могилева и Шклова, приказал их выслатъ из Москвы в порубежные города, где единственно и предоставлялось им торговать. Только в 1678 г. постановлено, что торговцы польские подданные могут приезжать в Москву, а русские в столицы Речи Посполитой: Варшаву, Краков и Вильно, но ограничиваясь единственно столицами, непременно с проезжими памятьми и с платою пошлин по уставам обоих государств, равномерно постановили, чтоб торговое плавание по Двине открыто было для русских. На таких же условиях утвердил торговые сношения так называемый вечный мир, заключенный после долгой войны в 1686 году.

В Северной области в половине XVII века началось некоторого рода торговое движение. Средоточием его был Путивль. Туда, как выше было замечено, приезжали с своими товарами греки и молдаване. В Торговом уставе 1667 года Путивль означен между значительными торговыми городами наряду со Псковом и Новгородом, куда русские купцы привозили свои товары и где находили заморские. В Брянском уезде в конце XVII века славилась Свинская ярмарка. О ней упоминается под 1681 годом. В объяснении



гостей и торговых людей, данном по поводу указа о выборе в таможенные чиновники, говорится, что из разных торговых городов *посадские лучшие люди отъезжают к городу Архангельску и на Макарьевскую, и на Свинскую, и на иные ярмарки для торговых своих промыслов и в дома свои не приезжают многое время*. Из этого видно, что Свинская ярмарка, поставленная в числе первоклассных торжищ, была значительна и привлекала к себе многих торговцев. В числе привозимых с этой ярмарки в Москву товаров значатся сафьяны и хозы, носившие тогда название свинских. В 1683 году весовые пошлины, собираемые на этой ярмарке, пожалованы Киевопечерскому монастырю в вознаграждение потерянных в Подолии старинных имений. Торговля с Малороссиею не могла быть в цветущем состоянии по причине смутного состояния этой страны. После поражения поляков гетманом Хмельницким в 1648 году великороссийские купцы нахлынули в Малороссию и очень выгодно покупали и выменивали разные драгоценности, приобретенные козаками на полях Корсунских и Пилявецких. После присоединения Малороссии к России царь Алексей Михайлович, лаская новых подданных, даровал Киеву жалованную грамоту, по которой киевским торговым людям предоставлялась вольная и беспошлинная торговля по всей России. Но эти права не могли иметь важных результатов для торговли.

По мере населения украинских городов Великой России и обработки плодородных земель, возникали там торговые сношения. Плодородие почвы Рязанского, Тамбовского, Воронежского края в половине XVII века начало привлекать туда скупщиков хлеба. В Воронеже в 1640 году были оброчные торговые лавки и ряды, подобно как в Москве, особые для разных предметов, например, мясной ряд, рыбный ряд. В последних годах XVII века города Лебедянь, Елец, Козлов, Воронеж, Коротояк, Острогожск начинали быть рынками местных произведений, но вообще в слабой степени, ибо край не был еще достаточно населен, пути были затруднительны, а чиновники притеснениями отгоняли торговцев. В 1695 году донские козаки, приезжавшие туда по случаю неурожая на Дону покупать хлеб, жаловались, что с них берут страшные пошлины и *за тяжкими взятками купить хлеба невозможно*. Города Белгород и Валуйки были пунктами торговых сношений с ногайскими татарами, жившими на берегах реки Донца. Они приезжали туда для покупки хлебных и вообще съестных запасов, но должны были, для предостережения, останавли-

ливаться не иначе, как за чертою, и являться в небольшом числе.

Вообще торговые поездки в древней России совершались летом преимущественно водою, зимою на санях. Торговцы везли свои товары по широким рекам на судах большого размера, а для малых рек употребляли суда, приспособленные к руслу этих рек, и потому товары при переходе из малых рек в большие и обратно перекладывались в суда, соразмерные предстоящему водяному пути. Обыкновенно при впадении одних рек в другие жили судопромышленники, снабжавшие торговцев судами; у иных же торговцев были в таких местах собственные дворы и там стояли в запасе суда. Так, например, монастыри, занимавшиеся в старину обширною торговлею, имели в таких местах свои подворья. Необходимость в судах развила и разнообразила исстари судовой промысел; для всякого русла были свои суда, и потому в старых памятниках мы встречаем множество названий разного рода судов и лодок, которые отчасти сохранились и теперь, отчасти утратились. Самое большое судно на всех больших реках называлось досчаник, за ним следовали насады, суда полубленные, набои, суда прикольные, суда поводцовые, набаб, байдак, барка, шестерик, струг, матица, оханка, каюк, морянка, водовик, карбас, коломенка, учан. Из них струг сначала означал лодку. Казенный струг при Михаиле Феодоровиче помещал от пяти до шести человек. Впоследствии этим названием обозначали вообще среднего размера судно. Некоторые суда назывались по месту и происхождению своего употребления: тихвинка, белозерка, ржевка, устюжка. Маленькие лодки при больших назывались паузки, завозни и подвозки. Отличительная черта русских судов того времени была та, что они строились совершенно без железа, вместо железных гвоздей употреблялись деревянные и доски были соединены лыками из древесной коры. На судне была поставлена мачта, к ней привязан широкий парус. Плавание по рекам, особенно малым, сопряжено было с затруднениями и опасностями: когда дул противный ветер, приходилось по три дня и по неделе стоять на месте, и оттого происходила *беспромыслица*, как выражались на промышленном языке. Случалось, что торговец, решившись отправиться по речному пути осенью, застигнут был заморозками и зимовал с своим стругом на реке. Случались иногда потопления. Для этого правительство предписывало воеводам, в случае потопления купеческих судов, изыскивать меры к отысканию товаров и, по нахождении, отдавать их хозяевам, с платою в

государеву казну десятого процента, что называлось деся-  
тая выть. Кроме борьбы с природою, которую побеждать  
русские умели более железным терпением, чем искусством,  
торговцы терпели часто от мытчиков, которые собирали с  
плывущих судов пошлины, известные под названием мыт.  
Эти мытчики брали от казны ее доход на откуп и позволя-  
ли себе всяческий произвол. Плаватели, кроме определен-  
ного мыта, не отделялись от них без того, чтоб не  
заплатить еще взятку, а иначе продержат их мытчики са-  
мостоятельно недели две или три.

Так как в старину в России каналов не существовало,  
то в тех местах, где нельзя было из одной реки в другую  
близкую достигнуть водяным путем, плаватели выгружа-  
лись из судов и перевозили товары волоком до другой реки.  
На волоках находились извозчики, которые подражались  
везти товары в телегах и *посмычных двойных или одина-*  
*ких*, судя по клаже, иногда же товары возили на *вьюках*,  
то есть, вьючных лошадях. Пока совершался подряд с из-  
возчиками, товары складывались в устроенные места, назы-  
ваемые *пристанища*. В XVII веке при выкладке товаров из  
реки на волок торговцы обязаны были платить хозяевам  
земель, где были пристанища, не с веса, но с клади или с  
судна. В Казани платили на пристанище с соляной клади  
по рублю, с рыбной по полуполтине.

Правительство не заботилось об улучшении летних до-  
рог и потому то же, что писали о русских летних дорогах  
путешественники XVI века, повторялось и в конце XVII  
века. Мосты были редки, а те, которые существовали, по  
выражению иностранцев в XVI веке, не держались, а пла-  
вали. Обыкновенно употреблялись вместо мостов перевозки  
на судах и илотах, которые содержались от правительства  
с платою в казну. По Торговому уставу 1653 года постанов-  
лено на больших реках орать за перевозки весною и осенью:  
с товарной телеги десять денег, но с торговых людей того  
же уезда, где находился перевоз, только шесть денег, с про-  
езжей телеги четыре деньги, с верхового три деньги, с пе-  
шего две деньги, а в межень летом с товарной телеги шесть  
денег, с торговцев того же уезда три деньги, с верхового две  
деньги, с пешего одну деньгу; на малых реках во всякое  
время с торговой телеги две деньги, с проезжей и верхового  
одну деньгу, а с пешего полденьги. В больших городах для  
перевозов воеводы назначали команды. Так в Астрахани  
перевоз был под заведованием назначенного сына боярского  
с двумя целовальниками и десятью стрельцами, которые  
обязаны были перевозить всякого, кто имеет проезжие гра-

моты. Там, где были мосты, собиралась мостовщина. В частных имениях владельцы устанавливали перевозы и собирали за них деньги, а равно и мостовщину, но это не всегда позволялось. Вообще правительство хотело оградить путешественников от притеснений частных владельцев. По Уложению запрещено замышлять владельцам всякого рода сборы в имениях, кроме тех, которые с давних лет утверждены жалованными грамотами, и притом владельцы обязаны были починивать мосты и дороги в своих владениях. Запрещалось, между прочим, строить мельницы и класть гати на реках, где был струговой ход.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Зимние дороги России славились своими удобствами. Но мы думаем, что это удобство удваивалось в глазах современника от сравнения с крайним неудобством летних путей: и в настоящее время зимние дороги у нас не совсем удобны по причине ухабов. Зима собирала со всех сторон извозчиков к подрядам. Извозчики эти были крестьяне, преимущественно дворцовые и монастырские. Они нанимались по записям в *довоз*, то есть обязывались доставлять товары по назначению. Иные возили свои товары на ямах, но под этим именем, вероятно, надобно разуместь частные ямы, то есть то, что теперь называется сдаточные. Ямщики везли в одну упряжку по пятидесяти тогдашних (семисотсаженных) верст в одну лошадь.

Торговыми пунктами были посады; это слово означало в старину то, что теперь город. Слово же город означало каменное, земляное или деревянное укрепление, где жили воеводы и служилые и приказные люди, и где находились административные и казенные здания. Торговые заведения хотя и были иногда в тогдашних городах, но гораздо чаще в посадах. Торговыми заведениями в посадах были: гостинные дворы, ряды и дворы посадских, где часто были их собственные лавки и амбары.

Гостиные дворы были назначены для приезжих купцов и уездных (сельских) людей с товарами. Торг в них производился оптом. Во всяком посаде, где был торг, должен был находиться и гостинный двор. Открывая торг, правительство учреждало таможенную и из таможенных доходов строило гостинные избы для приезжих торговцев и брало с них плату: *избное и полавочное*. Величина гостиных дворов была различна, смотря по важности города в торговле, но вообще гостинные дворы имели общие черты: это были обширные

дворы, обнесенные заборами, с кровлями и с воротами под навесом, с висячими замками; на дворе ставилась важня, то есть весы с принадлежностями; по середине двора устраивалась таможенная изба и стоялые избы для приезжих торговцев, которые делались различной величины, например, в три или четыре сажени шириною и длиною, и строились на омшаниках или погребях, также, вероятно, для хранения товаров; при избах были сени, а в сенях чуланы. Для лошадей устраивались конские сараи. Собственно гостинный дом, помещение товаров, было длинное здание, вроде внутренней галереи, часто двухэтажной, с отделениями, которые назывались амбары и лавки. В новгородских гостинных дворах было три разряда таких отделений: 1) амбары — общие отделения, которые находились в заведовании дворников гостинного двора: там могли помещаться несколько купцов с своими товарами; 2) затворные лавки: там помещалось два или три купца по взаимному соглашению между собою, — эти отделения отличались от амбаров тем, что запирались; 3) отдельные лавки, где помещался исключительно один торговец с своим товаром. Товары, помещенные в амбарах, хранились в коробах, которые прикреплялись к шестам; по величине своей коробки разделялись на большие, средние и малые, и носили название по товарам, которые в них заключались; таким образом были коробки: меховые, шелковые, румяненные, шапочные, красивые, женские (то есть, с товарами, относящимися к женскому убранству), суконные, и т. п. Кроме коробов, товары складывались на *носильцы*. Некоторые же товары обходились без коробов и прямо вешались на шесты или спицы. Таким образом были, например, сапожные шесты и седельные спицы. Громоздкие товары, как-то: соль, рыба, хлебное зерно, шерсть, складывались в особых пристроенных амбарах, если их хозяева не нанимали затворных лавок. Дворники гостинного двора заведовали порядком, собирали плату за помещения и отвечали за целостность товаров в амбарах; но в отдельных и затворных лавках купцы сами хранили свои товары и получали от дворников замки.

Дворники собирали с приезжих торговцев за избу избное, за амбары амбарное, или амбарщину, за лавки лавачное. В Новгороде в XVII веке амбарщину собирали с коробов, от семи денег до двух алтын за короб, смотря по величине короба и по ценности товаров, а за громоздкие товары по уговору, за лавку по десяти денег. За лавки затворные и отдельные брали от алтына до четырех с половиною алтын, смотря по ценности и объему товаров.

Купцы, державшие свои товары в амбарах, могли на ночь складывать их в затворной лавке с особою платою. Такие поборы в разных городах были различны: например, в Белозерском гостинном дворе в XVI веке брали амбарщины по четыре деньги на неделю.

Очень часто гостиные дворы, как и таможни, были на откупках у торговых людей, а иногда откупщики брали на откуп какую-нибудь одну ветвь доходов, например, поворотную пошлину.

Лавки разделялись на настоящие или *полные лавки и полулавки*. Лавкою считалось такое помещение, которое простиралось мерою до двух сажен, а полулавка была вдвое меньше. Впрочем, были лавки и большей и меньшей величины. В таком случае полавочное собиралось по расчету, по мере уклонения от нормальной двухсаженной лавки. За полулавку платилась половина.

Никто из приезжих торговцев, не владевших в посаде собственными дворами, не имел права становиться с товарами и торговать в посаде где бы то ни было, исключая гостинного двора. Несоблюдение этого правила наказывалось штрафом. Впрочем, тем, которые привозили свои товары на судах и на санях или на возах, позволялось продавать их оптом, не выкладывая из саней и не выгружая из судов, но притом платя дворникам гостинного двора пошлину под названием *поворотной*, которая взимается была вообще с отъезжающих из города за товарами. Это дозволение торговать не раскладываясь подчинялось различным правилам в разных местах. Так, например, в Каргополе позволялось торговать с саней и с возов и в розницу, но с тем, чтоб ценность продаваемого не превышала двух рублей, и всякий торговец, если не хотел торговать в самом городе, мог складывать свой товар в частных домах, только заплатив за то дворникам гостинного двора *тепловое*. По указу 1681 года дозволялось закупать оптом хлеб у приезжих с саней и с возов; сверх того, многие оптовые торговцы, не принадлежавшие к посаду, а также и монастыри, имели на посадах свои дворы и пользовались особыми правами складывать в них свои товары и торговать ими. Впрочем, несмотря на свои права, они нередко подвергались притеснениям от воевод, которые, желая придраться, чтобы сорвать что-нибудь, принуждали их раскладываться непременно на гостиных дворах. Нередко приезжие по необходимости должны были нарушать правила и не везти своих товаров на гостиные дворы, потому что эти дворы находились в неисправном состоянии.

Главная местная торговля производилась в рядах. В обозрении Москвы и других важнейших торговых городов показаны были главнейшие черты этих торговых заведений. Почти везде наблюдалось то же разграничение предметов торговли и каждый из них имел свой ряд в посаде. Но до 1667 г., то есть до Новоторгового устава, это не наблюдалось строго, ибо каждый торговец имел право свободно торговать у себя на дворе и строил лавку или амбар. Торговые помещения, как в рядах, так и дворах, были: амбары, погреба, лавки, прилавки, полки, шалаши, беки, столы, скамьи, рундуки. Прилавок был не то, что полулавка в гостином дворе: так, например, в Переяславле-Рязанском в XVII веке брали за лавку оброк одиннадцать алтын две деньги, а за прилавок только десять денег. Стулья и скамьи стояли для мелких торговцев между лавками и прилавками; на скамьях, между прочим, продавали мясо. В шалашах продавались разные мелкие, большею частью изготовленные съестные припасы, например, пироги, печенка, вареное мясо и проч., для удовлетворения голода простолюдинов, собирающихся на торгах. Все эти мелкие торговые помещения были на торгах или базарах. Со всех них, как и с лавок, собирался оброк посредством целовальников, которые вели счет полученным деньгам и записывали приход в оброчные книги. Но иногда, вместо выборных целовальников, этот оброк собирали служилые люди, например, стрелецкие головы, а целовальники были при том только свидетелями; так делалось в Астрахани в XVII веке. Этот оброк составлял казенный интерес и относился в съезжую избу. Так как всякий сам, имея на посаде двор и принадлежа к сословию торговцев, мог держать лавки и амбары в своем дворе, то должен был платить пошлины таможенникам, когда отвозил к себе купленный на торгу товар, но дворники гостиного двора не имели права брать с него что бы то ни было. Кроме того, многие в XVI веке продавали свои товары, нося по городу и по дворам. Торговый устав 1667 года, стараясь вообще подвести торговлю под определенные и точные правила, запретил торговать мимо *извычайных* рядов и лавок: *и тем бы ряды не оскужали и лавочные люди в убожестве не были б.* Однако, это строго не соблюдалось, ибо при Феодоре Алексеевиче в 1676 году правительство подтверждало, чтоб мелкие торговцы не торговали в шалашах и на скамьях, рундуках и веках, на Красной площади в Москве, и вообще, чтоб не было нигде торговли, кроме рядов. В 1681 году опять подтверждалось, *чтоб всяких чинов люди не в указанных местах не тор-*

*говали и от того его великого государя казне напрасной истре и недоборов не было.*

Кроме гостиных дворов, частных дворов, подворьев и лавок, внутренняя торговля происходила на ярмарках и рынках, которые носили в старину название торгов и торжков. Большое расстояние между торговыми городами и неудобство частого сообщения обуславливали необходимость размножения годовых торжищ, куда бы могли съезжаться торговцы в определенное время. Эти торжища открывались с разрешения правительства, и власть, наблюдая свои доходы, ограничивала слишком большое размножение торгов, стараясь соединить торжища в некоторых городах и важнейших селах. Так, например, в 1539 году в Новоторжском уезде запрещена торговля в селениях, исключая посада Нового Торга и села Медни. Так же точно для поддержки Весъегонской ярмарки запрещено торговать во всем околке около Весъегонска. Торги были годовые, еженедельные и каждодневные. Достоинно замечания, что большую часть торги открывались в монастырских имениях, отчасти потому, что жители церковного ведомства были зажиточнее и не так стеснены, как жители других ведомств, а во-вторых, потому, что монастыри нередко испрашивали ярмарочные доходы в свою пользу на церковное строение, свечи и ладан, и для собственной пользы старались привлекать к себе торговцев. Вообще с лицами духовного звания было удобнее и легче иметь дело. Так лучшие русские ярмарки, и в том числе Макарьевская, возникли в монастырских имениях и под монастырским наблюдением и управлением. Вообще торжища в древней России происходили по поводу престольных праздников и, следовательно, соединялись с религиозным значением. Чем святее место, тем более приезжало туда людей и для благочестия, и для мирских выгод, а равно и для мирского веселья, потому что с открытием торжища являлись и кабаки. Подобная ярмарка, хотя и не столь важная, как другие, встречается в день Рождества Христова в имении Евфимиевского монастыря, селе Коврове (нынешнем городе Владимирской губернии). В 1641 г. она была отдана от казны на откуп, а потом передана в распоряжение монастыря. В вотчине Николаевского монастыря, в уезде Бежецко-Верхском, был торжок, отданный монастырю; в городе Торжке на посаде торг был в распоряжении Борисоглебского монастыря.

При открытии еженедельного торга или рынка правительство брало во внимание челобитную жителей и положение места, особенно степень его отдаленности от другого



торга. Иногда расстояние пятнадцати верст от рынка признавалось достаточным для заведения нового. Для торгога назначался какой-нибудь недельный день. Так, например, в селе Грязлевицах Вологодского уезда, принадлежавшем Корнилиеву монастырю, был торг по понедельникам. В селе Борисоглебском, принадлежавшем Троицкому монастырю, был торг по пятницам. В одной из вотчин Ярославского Спасского монастыря был торг по субботам. В больших городах были каждодневные рынки. В небольших селах отправлялись торжки, где продавались съестные припасы и потребности крестьянского быта, обыкновенно по воскресеньям: эта торговля подчинялась одним общим правилам о сборе пошлин. В конце XVII века, именно в 1682 году, правительство воспретило торговать по воскресеньям и установило: когда случится время торгога в воскресенье, отлагать его на другой день. Случалось, что цари уступали доходы с торгов и частным лицам, как, например, при Федоре Иоанновиче торги в селах Чаронде и Короткове уступлены боярину Димитрию Годунову. Монастырские начальства и частные лица, получавшие права сбора торговых доходов, нередко отдавали их на откуп своим крестьянам, как это мы видим, например, в волостях Троицко-Сергиева монастыря. Гостиный двор, важня, ряды и вся операция веса и сбора была в распоряжении владельцев торгога, так что не допускались даже работники или извозчики не из крестьян того ведомства, которому принадлежит торг. Так в XVII веке в Торжке, где торг на посаде, как выше сказано, был отдан Борисоглебскому монастырю, не позволялось подряжаться в извоз и быть у весов никому, кроме крестьян этого монастыря. Там, где надзор за торгогами и торговые сборы были в распоряжении казны, назначались или выбирались таможенные чиновники и получали уставную грамоту, которая определяла как сбор пошлин, так равно и порядок торгога. Но часто казенные доходы с торгога отдавались на откуп.

По свидетельству иностранцев, русские от больших до малых чрезвычайно любили торговлю. Европейцы, бывавшие в России послами, удивлялись, что в России все важные лица без изъятия и сами посланники, отправляемые к иностранным дворам, занимаются торговлею. Русские сановники, говорит Мейерберг, продают, покупают и меняют, не замечая, что унижают этим свое достоинство. Но многое, что было для европейцев унижением, не имело тогда того же значения для русских. Таким образом, и русские монастыри не только не считали предосудительным участ-

водить в торговых оборотах, но значительная часть внутренней торговли России в XVI веке была в их руках, как это доказывают ярмарки. Многие из монастырей пользовались правами беспошлинной торговли до известной степени. В особенности торговля солью находилась в распоряжении монастырей. Троицкий монастырь в XVI веке получил от Иоанна IV привилегию торговать беспошлинно солью и разными товарами. При Михаиле Феодоровиче этот монастырь ежегодно посылал за солью в Астрахань. Судно имело право, сверх беспошлинной пропорции, брать неопределенное количество соли для торговли, но с платою пошлин. Соловецкий монастырь, владевший соляными промыслами, имел право продавать беспошлинно до 130 000 пудов соли. Свяжский-Богородицкий монастырь мог ежегодно нагружать 20 000 пудов соли в Астрахани на собственное судно и продавать ее или менять на товары, нужные для монастырского обихода. При Михаиле Феодоровиче количество это увеличено на 30 000; соль эта продавалась или променивалась в Казани, Нижнем, Москве, и взамен монастырь получал за нее хлеб, масло, мед, сукна, меха, овчины, лошадей, скот беспошлинно. Такие же привилегии на известные количества имели монастыри: Кирилловский, Архангельский, Каргопольский, Симонов, Спасо-Прилуцкий. Многие имели право вести беспошлинную оптовую торговлю известным количеством хлеба, рыбы, масла, скота и покупать фабричные произведения на монастырский обиход; если же покупали на продажу в количестве, превышавшем дозволенное для беспошлинной торговли, то платили обычные пошлины. Но иногда количество груза для беспошлинной торговли не ограничивалось, например, для Иверского монастыря на Валдае-озере при Алексее Михайловиче. Монастырского торговлю занимались старцы, которым поручаемо было это занятие, купчины, то есть комиссионеры, и монастырские слуги. Во многих городах и в разных пунктах торговой деятельности, например, на волоках, монастыри имели свои подворья, которые в торговом отношении пользовались разными льготами, например, свободой от сбора повинностей, лежавших вообще на дворах. Подобные подворья бывали иногда очень обширны, как, например, монастырский двор в Вологде имел шестьдесят сажень в длину и восемь поперек, и эта обширность свидетельствовала о большом размере торговли. Монахи XVI и XVII веков занимались повсюду торговлею хлебом, скотом и другими произведениями монастырских имений. В некоторых монастырях зани-

мались разными ремеслами и продавали свои произведения, как, например, в Ферапонтовском монастыре близ Каргополя корельчатые ложки с костями, бывшие в употреблении на Руси. С 1667 г., когда сделаны большие преобразования в торговле, запрещено было монахам и монахиням торговать, кроме произведений своего рукоделья, и то с разрешения игумена и игуменьи. Но это не относилось к праву торговли произведениями монастырских имений. При Алексее Михайловиче правительство уклонялось от дарования прав беспошлинной торговли монастырям, как это видно из ответа Тихвинскому монастырю, просившему о беспошлинной покупке железа в Швеции: правительство дозволило покупать железо, но с платежом пошлин по Торговому уставу. Феодор Алексеевич в 1677 году уничтожил тарханные грамоты, даваемые монастырям на беспошлинную торговлю, но между тем все еще были незначительные исключения, например, Вяжицкому Николаевскому монастырю в 1679 году дано право на беспошлинную покупку для монастыря на 420 рублей, а продать он мог только на 100 рублей.

Собственно торговые люди, то есть исключительно торговое сословие, были: гости, сотни — гостиная, суконная и черные в Москве и посадские люди в городах. Сословие гостей, очень древнее, пользовалось еще в X веке важными правами, как это видно из Игорева Договора. В XV веке гости и гостиная сотня составляли одно сословие, как видно из акта под 1433 годом, где между первоклассными торговыми людьми поставлены *гости и суконники*. Впоследствии почетнейшие — лучшие, по старинному выражению — люди гостиной сотни получали жалованные грамоты, которые давались не сословию, но лицу. Они образовали уже как бы несколько отличное от других членов гостиной сотни сословие. В их жалованных грамотах дозволялось им ездить в пограничные государства, находящиеся в мирных отношениях с Россией, и торговать разными товарами, исключая заповедных; гость и его дети, братья, племянники, жившие с ним не в разделе, освобождались от суда и расправы воевод и дьяков и судились в определенном Приказе, — при Алексее Михайловиче в Приказе Большой Казны, — имели право не целовать креста сами, если это им нужно было по судебному делу, но посылали вместо себя своих людей; могли держать для дома *безъявочно и безвыимочно* всякое питье, освобождались от всяких поборов во время пути по рекам и дорогам от мыт, перевозов, головщины и тому подобного, — от лежащих на торговых

посадских людях обязанностей мостить мосты, давать суда и запасы, ставить подводы на ямах для казенной надобности, от выбора в службу в гостиной сотне; имели право топить бани и держать во всякое время в доме огонь; могли покупать вотчины; двory их освобождались от тягла, дачи подмоги на земский двор, от постоев и всяких тяглых повинностей. Торговые люди гостиной сотни пользовались в царствование Грозного, Феодора, Бориса и Шуйского почти такими же правами. Михаил Феодорович подтвердил эти права в награду за терпение и верность, оказанную в Смутное время. Но права торговцев гостиной сотни отличались от прав гостей тем, что последние могли свободно ездить за границу и покупать вотчины, а на гостино-сотенных торговых людей эти права не простирались; сверх того, члены гостиной сотни по обязанности и по очереди были выбираемы в должности, а гости освобождались от выбора товарищами, но назначались по особому царскому распоряжению. Впрочем, что касается до покупки вотчин, то в 1666 году и гостям запрещено покупать вотчины без особых подписных челобитных, то есть без особого разрешения, последовавшего на их челобитную. То же подтверждено и в 1679 году.

Имели ли подобные права, и если имели, то в какой степени, члены суконной сотни, об этом нет ясных сведений, кроме того, что и они, как члены гостиной сотни, могли держать питье безвыимочно и безъявочно. Как торговцы гостиной, так и суконной сотни могли покупать на свой обиход беспошлинно съестных припасов на 60 рублей, *по человеку смотря.*

Нравственное различие между этими отделами высшего русского купечества — гостями, торговцами гостиной и суконной сотни, состояло в чести, которою отличалось каждое сословие по выбору своих членов в более или менее важные должности и по величине суммы, следующей за бесчестье, нанесенное торговцу, которая была различна не только для сотен, но и для подразделений каждой сотни: ибо вся сотня, как и всякое сословие в России, разделялась на *лучших, средних и меньших* членов. Они различались по службе тем, что гостям поручаемы были самые высшие торговые и финансовые должности, а торговые люди гостиной сотни были у них товарищами: суконники выбирались в должности, меньшие в сравнении с теми, в которые выбирались торговцы гостиные, например, гости назначались таможенными головами, гостинники у них старшими, а суконники меньшими целовальниками; или же торговец гос-

тиной сотни выбирался головою, а суконники у него товарищами. Сверх того, гостей посылали головами в самые важнейшие торговые города, а гостинники выбирались во второстепенные. Бывали случаи, что гости были возводимы в сан думных дьяков и, вероятно, из этого при Алексее Михайловиче в 1659 году возник между гостями и дьяками спор о первенстве: этот спор продолжался десять лет и окончился, однако, тем, что дьяки признаны выше гостей.

Гости, а иногда и торговцы гостиной сотни, смотря по важности поручений, надзирали над пристанями, над рыбными и соляными промыслами; им поручали покупать для царской казны товары и запасы и производить от казны торговые операции. Государь поручал им заключать подряды с иноземцами. Лица высшего купечества были призываемы царем на совет; они подавали разные финансовые проекты, как, например, при царе Алексее Михайловиче гость Веневитинов подал проект брать с мордвы деньгами, вместо запасов. За подобные-то услуги они получали особенные жалованные грамоты. Случалось, что иноземцы были возводимы в сан гостей за услуги русскому царю; например, в 1660 году братья Бернарды, голландцы, пожалованы титулом гостей. Право за возвышение перед глазами правительства представлял размер капитала, на который торговцы совершали свои обороты. Таким образом, гости торговали суммою от 20 000 до 100 000, что составляло в тот век большие деньги.

Как гости, так и торговцы гостиной и суконной сотни, имели своих голов и старшин. Сотни составляли корпорации, обязанные повинностями, относящимися до городского порядка, а главное, до выборов в должности. Поэтому сотни выбирали из своих членов служилых на очередь и, когда приходила надобность, стоявший на очереди обязан был принимать должность, в которую предназначался.

Число членов в сословиях высшего купечества вообще не было значительно. При Феодоре Иоанновиче число торговцев гостиной сотни в Москве было 350, суконной 250, но в Смутное время сотни пришли в упадок, так что надобно было наполнять их. В 1649 году гостей было 13 человек, гостиной сотни 158, суконной 116. Несколько позже, по известию Кошихина, число гостей простиралось до 30, а людей гостиной и суконной сотни около 200 человек в каждой. Впрочем, корпорации их заключали гораздо более лиц, которые пользовались вообще правами сословия. В приведенных числах означаются только хозяева, а привилегии и права, данные хозяину, простирались не только на его род-

ственников, живших с ним не в разделе, но и на приказчиков.

Гостиная и суконная сотни были пополняемы из черных сотен и посадских людей, из лучших между ними, т. е. таких, которых торговые занятия по своему размеру представляли выше их собратий. Для этого нужно было согласие сотен. Когда правительство повелевало пополнить сотню, члены ее сами выбирали новых членов из черных сотен, слобод и посадов. Часто по этому поводу происходили споры, потому что черные сотни и посады старались удержать у себя в общине тех, которые побогаче, чтоб повинность, которая прежде падала на последних, не падала теперь исключительно на остальных: повинности не уменьшались от уменьшения членов общины. Нам неизвестны примеры перехода из суконной сотни в гостиную, но часто, как в ту, так и другую, брали из одних и тех же низших, торговых сословий. В 1647 году постановлено, чтоб те, которые взяты из городов в московские сотни, служили выборную службу в тех городах, где находились прежде, и, как видно, в то время не было взято новичков для московских сотен из Архангельска, Астрахани и Казани, потому что в эти города на службу посылались обыкновенно природные москвичи. Такой переход почитался честью, но не всегда подобная честь была приятна тем, которым оказывалась. Таким образом, в 1654 году гороховцы, назначенные в гостиную сотню, били челом, чтоб их не брали, отговариваясь недавним разорением от пожара, и при этом заплатили взятку воеводе и дьяку. Торговые люди, переходя в высшие сотни, должны были жить в Москве, продать свои тяглые дворы на прежних местах и оставить прежние промыслы, с которыми свыклись, или же, в противном случае, платить двойное тягло, в Москве и городах. Притом же они знали, что по переходе в Москву их выберут в должности и оторвут от обычных торговых и промышленных занятий.

Вообще высшие купеческие сословия не пользовались расположением низших; гости были в особенности нетерпимы и торговцами и народом. В случае какого-нибудь смещения гостям первым сломят головы, замечает во второй половине XVII века голландец. Назначаемые в разные должности по посадам, они утесняли местных торговцев. Рассеявшись по всем пределам государства, их приказчики делали везде закупы и, пользуясь льготами, предоставленными хозяевам, подрывали второстепенных купцов. Приближенные к царю гости умели сочетать интересы казны с собственными выгодами, и подавали проекты монополий,

которые были стеснительны для низших торговцев и обременительны для народа, а полезны только для собственного кармана гостей. При Алексее Михайловиче в особенности высшее московское купечество возвышалось в своем значении. Новоторговый устав 1667 года был преимущественно его делом. Он показывает стремление высшего купечества умножать свои выгоды, обогащая царскую казну.

Низшие слои торгового класса в Москве были черные сотни и слободы, в городах посадские и слободские люди. По смыслу закона, они имели равные права. Вместе с торговцами сюда входили ремесленники и промышленники; впрочем, в самых посадах нередко последние составляли отдельные корпорации. Так в Переяславле-Залесском были оброчники, между которыми числились разные ремесленники: сапожники, купцы, хлебники; они получали от царя Иоанна Васильевича несудимые грамоты и, составляя часть посадской общины, в то же время были отдельными обществами.

Посадские и слобожане носили вообще название людей, с прибавлением эпитета: посадские или черных сотен, или такой-то слободы, для отличия от сельских, носивших название крестьян.

Число московских черных сотен при Михаиле Феодоровиче простиралось до десяти; в указе о хлебном и калачном весе для взвески хлебов и калачей велено было из каждой сотни выбрать по одному целовальнику, и вследствие этого приходилось выбрать десять целовальников. Кроме сотен, были еще полусотни, что видно, между прочим, из того же указа; *черных сотен устюжские полусотни*. В числе полусотен была мясничная, которой название указывает на ее занятия. Названия других сотен давались по местности, где они жили в частях города, например, дмитровская, сретенская, покровская, ордынская; а некоторые носили название других городов, например: новгородская, устюжская полусотня. Это указывает на то, что они первоначально переведены из этих городов.

Каждая сотня составляла одну целую общину, так что самое место, где она была поселена, соединялось с понятием о ее повинностях. Сделка, заключенная одним из членов сотни, часто падала на целую общину. Так, многие члены черных сотен закладывали свои места нетяглым или беломестцам, т. е., не принадлежавшим к общине, и кредиторы взыскивали свой долг с целой сотни. По этому поводу при царе Михаиле Феодоровиче запрещено продавать или закладывать тяглые места, принадлежавшие не лицам,

но общинам. То же подтверждалось в 1649 году. Обязанности черных сотен были те же, как и в других городах, с тою разницею, что Москвою правительство занималось более, чем другими городами, а потому на черных сотнях лежали более сложные повинности в отношении городского благоустройства, как-то: мощение улиц, содержание разного рода лиц, которым отводились квартиры и которых в Москве было всегда больше, чем в других городах. Они давали ежегодно сто сорок пять целовальников и семьдесят пять ярыжек на земский двор, обязаны были содержать их, а также и извозчиков, стоявших на земском дворе с лошадьми на случай пожара, и платить им жалованье. Сверх того, черносотенные люди были выбираемы в разные должности и исправляли различные казенные поручения. Кроме черных сотен и полусотен, около Москвы были слободы, из которых некоторые составляли собственно служилые общины, как, например, стрелецкая, пушкарская, но иные были населены торговцами и промышленниками и составляли общины с таким же управлением и повинностями, как и сотни. Такова была, между прочим, слобода Кадашевская, состоявшая из двух тысяч дворов, где жители занимались деланием холста, имели свои лавки и промышленные заведения.

Черные сотни и слободы разделялись на десятки и имели выборных начальников — сотских и десятских. Во второй половине XVII века упоминается об административном месте, называемом сотенною палатою, где сидели выборные советники, называемые старостами.

Посады, населенные торговцами и промышленниками, составляли общины — мир. Земля под посадами и около них, принадлежавшая посаду по праву, была достоянием целой общины, и никак не лиц. Основная связь, соединявшая общину, состояла, как и в черных сотнях, в тягле, т.е. плате с места и с промыслов. Раскладка такой платы зависела от общины, и все поборы налагались миром. Всякий, какого бы он звания ни был, поселившись на тяглом месте, обязан был нести тягло, и самые духовные лица не освобождались от него. От поселения на тяглой земле зависело участие в делах и повинностях общины. Вообще, поборы были с мест, так что правительству в отношении финансов нужно было знать только места на посаде; посад обязан был платить и за пустые места, как и за жилые, коль скоро они значились в писцовых или дозорных книгах. В 1649 году запрещалось посадским продавать и закладывать свои дворы, погребя,



варницы и вообще всякие промышленные и торговые заведения, под опасением кнута.

Повинности, которым подвергались посады, были те, от которых освобождались гости. Некоторые из посадских, в знак особой милости, пользовались иногда какими-нибудь особыми привилегиями, например, в Пскове. Иным посадским правительством давало право держать *безвыимочно* питье в разные торжественные случаи, например, во время свадеб и крестин, но с явкою таможенному голове и с платежом определенной за то суммы. В других местах, например, в Угличе, такое право давалось на большие праздники. Вообще же такие права жаловались только лучшим и средним посадским людям, а не худшим или молодчим.

Связь общины не ограничивалась одним тяглом и повинностями, но имела и нравственное значение. Община посадских считала себя вправе заступаться за своего члена, как бы за целую общину, и всякая обида, нанесенная посадскому, касалась всего мира. Челобитная подавалась от лица всей общины миром. Равномерно, в случае дурного поведения члена, община делала распоряжение о высылке его из посада, хотя при Алексее Михайловиче, как видно, посады уже не самовольно изгоняли своих членов, а должны были подавать о том челобитные. По мере большего или меньшего объема независимости в выборном порядке, была сильнее или слабее нравственная связь посадской общины.

Посады разделялись на сотни и десятки. Это деление обществ торговых людей было старинным обычаем. В Новгороде в старину торговец должен был быть записан непременно в сотню, как крестьянин — смерд — в погост: «кто купец, поидет в свое сто, а смерд поидет в свой погост». Выборные лица, наблюдавшие за порядком в посадах, назывались сотские, пятидесятские и десятские; обязанность их была смотреть за благочинием и предупреждением преступлений. Число их было неравно, смотря по величине и населенности посадов, или по более и менее спокойному состоянию края. Таким образом, если увеличивалось число уголовных преступлений, то увеличивалось число выборных полицейских чиновников посада. При Иване Васильевиче Грозном посады имели свои выборные управления и свой суд, не зависимый от воевод и приказных людей, и таким образом составляли муниципальные корпорации, но в XVII веке этот порядок начал изменяться. Хотя на земском соборе 1642 года торговые люди осмелились припомнить, что при прежних государях посадские торговые люди управлялись и судились сами собою и припи-

сывали этому прежнее цветущее состояние посадов, но уже не домогались явно восстановления прежнего порядка.

Впрочем, по наружности эта выборная власть существовала еще и в XVII веке и сосредоточивалась в земской избе. Там заседали земский староста, ларечный целовальник — блюститель общинной казны, и земские целовальники. Они составляли правление посада, заведовали сбором податей, собирали мир или посадское собрание и хранили казну. Эти земские старосты, а вместе с ними и целовальники, выбирались на один год, с 1 сентября по 1 сентября, и по окончании службы сдавали дела и деньги другим, после них выбранным. Обыкновенно в посаде был один только земский староста, но в Новгороде по числу концов города было их пять и они назывались пятиконечскими старостами, а при каждом были выборные целовальники. Сверх того, в Новгороде были еще уличские старосты, собиравшие дани и распределявшие повинности по дворам. Все челобитные, равно как и все приговоры писались и составлялись от имени этих выборных правителей и от лица всей общины, выбравшей их. Но кроме земских старост, были еще в некоторых посадах излюбленные судьи, которых круг юридической деятельности был обширнее, ибо они имели право уголовного следствия и суда вместе с губными старостами, так что составляли совет у губных старост. Объем их власти и судебного действия был в разных городах различен; например, в одном они разбирали и уголовные дела, но в других судебная их деятельность касалась только разбирательства ссор между посадскими об имуществе и оскорблениях, а уголовные дела не подлежали их суждению. В городах, где являются излюбленные судьи, не видно земских старост, но остается одна полицейская власть сотских, пятидесятских и десятских. Эти излюбленные судьи собирали вместе с тем и доходы казны. Для сбора торговых доходов выбирались таможенные головы и целовальники, составлявшие таможенное управление; иногда же этих таможенников в посады правительство назначало само. Вообще права посадских в отношении их управы и суда чрезвычайно сбивчивы, представляют в разных местах различные оттенки и изменения, и эта сбивчивость заметнее в XVII веке, когда цари утверждали грамоты своих предшественников, часто противоречащие одна другой. Например, царь Иоанн Васильевич дал Устюжне-Железнопольской грамоту, по которой суд предоставлялся волостелю и при нем выборным от посада лицам, а в другой своей грамоте, писанной уже после отмены суда волостелей, отдал суд в

посаде излюбленным судьям, которые в уголовных делах находились как бы свидетелями при губных старостах. Михаил Феодорович утвердил обе эти грамоты. Впрочем, несмотря ни на грамоты, ни на внешнее подобие свободного выбора управления, торговые посадские люди на деле оставались во власти воевод, а их земские старосты и целовальники были не более как сборщики податей и зависели от произвола воевод и приказных.

Издавна посадские люди составляли отдельное сословие; издавна считалось необходимым поддерживать общинное единство, и потому никто не должен был жить в посаде, не будучи записан в тягло, которое несли торговые люди. В 1555 году в Новгороде священники жаловались, что уличные старосты брали с них двойные дани за то, что они поселены на тяглой земле, и правительство, по такой просьбе, повелело их перевести на белые (нетяглые) места, но не сочло несправедливым, что старосты повышали на них дань, потому что посадки имели право повышать и понижать раскладку поборов по своему усмотрению. После Смутного времени эта замкнутость посадской общины начала нарушаться. Многие посадские выходили самовольно из посада и закладывались в крестьяне или холопы, а между тем община должна была отбывать тягло за их пустые места; равномерно многие, не принадлежавшие к посадскому сословию, селились на посадских местах и занимались торговлею и промыслами. К таким лицам принадлежали служилые люди, стрельцы, козаки, пушкарки, крестьяне патриаршие, властелинские, монастырские, люди и крестьяне помещиков и вотчинников, подьячие, священнические и церковнослужительские дети, пономари и вообще люди не тяглые, известные под общим именем гулящих. Они заводили в посадах лавки, погреба, амбары и торговли, не отбывая никакого тягла, ни повинностей. Другие жили в посаде под видом приказчиков посадских людей, делились с своими мнимыми хозяевами, а в самом деле торговали от себя. Пользуясь этим, многие посадские записывались в служилые для вида и продолжали торговать на прежнем месте, убегая повинностей общины под тем предлогом, что они более не посадские, а служилые. Таким образом вся тягость повинностей лежала исключительно на остальных, записанных в тягло, а из них также многие начинали идти по следам товарищей: выписывались из тягла в служилые или же разбегались с своих мест. Это неоднократно возбуждало ропот; правительство же теряло свои доходы и потому при Алексее Михайловиче принялось за уничтожение та-

ких злоупотреблений. Сначала в Пскове, потом в Новгороде сделано распоряжение, чтобы все, живущие на посадских тяглых местах, несли тягло, давали поборы, были избираемы в службу, чтобы таким образом занятие торговлей и промыслами соединялось непременно с исполнением посадских повинностей. В 1649 году это распространилось на все посады. Все, которые в посадах устроили торговые и промышленные заведения, должны были записаться в тягло, не исключая и крепостных людей, коль скоро они приобрели в посадах дворы; если же у них не было дворов, а одни лавки, погреба и проч., то они должны были в течение трех месяцев продать их посадским людям, под опасением бесплатного лишения, в случае непродажи в урочное время. Вместе с тем постановлено, что всякий, кто будет жить в посаде, хотя бы и временно, должен записаться в тягло. В эту категорию входили и лица, происходившие из духовного звания, дьячки и пономари. Постановлено, чтоб все, бежавшие из посадов, были возвращены на прежние места, не взирая ни на какие их сделки во время побега. Дети и племянники тяглых посадских вперед не смели оставлять посада, и никто из посадских не мог определяться в службу, если только он не был по крайней мере третьим из сыновей посадского человека. Для большей замкнутости посадского сословия постановлено, чтоб непосадский человек был обращаем в тягло, если женится на дочери посадского с условием жить в доме отца ее, или же на беглой посадской девке или, наконец, на вдове, которая, по смерти мужа, сообразно старым обычаям, составляла тягло. Посадским запрещено торговать в селах, как это прежде делалось; запрещено также нетяглым покупать лавки, амбары и брать их в залог. Впрочем, и после того строгость этих правил нарушалась; например, в Шуе в 1654 году крестьянин продал свою постройку, поставленную на посадской земле. Само правительство в 1649 году сделало исключение в пользу служилых стрельцов, пушкарей, козаков, затинщиков, кузнецов, воротников, предоставляя им право торговать в посадах, не записываясь в тягло. В Новгороде это право ограничивалось, однако, суммою ста рублей; сумма выше этой подвергала записке в тягло. Пользуясь исключениями, предоставляемыми служилым, не только служилые, но и другие, например, монастырские и владельческие крестьяне продолжали торговать в посадах.

Пригородные села около посадов назывались слободами. Именем слободы в старой Руси означалось такое поселение,

где жители занимались каким-нибудь ремеслом или промыслом и вообще каким-нибудь одним занятием. Таким образом мы встречаем слободы рыболовные, слободы бобровников и так далее. Эти названия означают, что жители были исключительно преданы ловле рыбы или зверей. Слободы около посадов населены были разного рода промышленниками и торговцами; по закону, они должны были быть приписаны к посаду и составлять с ним одно тягло. Но во многих местах около посадов, на посадских землях, слободы заведены были боярами и вообще частными владельцами и населены их людьми, которые занимались торговлею, не участвуя в тягле. Поэтому в 1648 году по просьбе тяглых посадских людей разных городов все такие слободы велено отобрать и приписать к посадам в тягла.

В 1667 году подтверждено, чтобы всякий занимающийся торговлею или ремеслом, был непременно записан в чин, хотя бы даже он торговал только временно, например, на один год, и повсеместно приказано не допускать торговли без объявки и записки. Правительство ставило преграду к повсеместному занятию торговлею, потому что оно наносило ущерб земледелию, которое русские нередко покидали, предпочитая торговые промыслы. Так, например, в Сибири, куда правительство, поощряя земледелие, выселяло пашенных крестьян, эти крестьяне разбегались и занимались торговлею по разным городам; правительство в 1621 году приказало их собирать и посадить вновь на пашню. Эта черта указывает на врожденную старинную склонность великорусского народа к торговле.

Посадские разделялись на лучших, средних и меньших или молодчих. В основание такого различия принимались их капиталы и промыслы. При раскладке посадских людей в соху (административное деление жителей вообще по сбору податей) полагали меньшее число дворов лучших посадских людей в одной единице, чем число дворов средних и меньших людей; наоборот, полагали большее число дворов бедных посадских, дабы на каждого приходилось платить менее и чтоб таким образом богатый платил более, чем бедняк. Но это не всегда соблюдалось с должною справедливостью и часто случалось, что богатые в посаде утесняли бедных, как мы видели тому пример при обозрении Пскова.

Дух общинности, исконная и отличительная черта великорусского народа в старину, скреплявший торговцев в их посадах, сотнях, слободах, соединял их торговые предприятия и способствовал образованию компаний и товариществ

или складчин. Несколько купцов складывали вместе свои капиталы, а к ним присоединялись другие, победнее, каждый с своею частью, и предоставляли смышленным товарищам торговые обороты. Часто к ним приставали стрельцы, козаки и разные служилые люди, а иногда и воеводы, но тайком, потому что воеводам запрещалось торговать каким бы то ни было образом, а между прочим и участвовать в торговых складчинах. Такие складчины предпринимали торговые операции в отдаленных странах. Подобная компания была ограблена в Хиве в 1646 году. Торговля в Сибири также производилась складчинами. Мелкие торговцы и промышленные крестьяне уездов Шуйского, Суздальского и других, прилежащих Клязьме и ее бассейну, составляли пешеходные компании, что называлось «в ходьбу ходить», и они сами назывались *ходебщики*. Они отправлялись в украинные города; предмет их торговли были *иконы*, что называлось не *продавать*, но *менять* иконы.

Зажиточные торговцы, как, например, гости, держали у себя покручеников и приказчиков, которых посылали в разные стороны. Они торговали от имени своего хозяина и каждый, кто имел с ними дело, имел его как бы с самим хозяином. Впрочем, Торговый устав 1653 года освобождал хозяев от ответственности за братьев, племянников и приказчиков, если они окажутся виновными в нарушении торговых сделок без ведома хозяев. Приказчики и покрученики находились у хозяина в такой патриархальной зависимости, как его домочадцы. У хозяина, который вел торговлю лавочную, они сидели в лавках, а по вечерам являлись к нему для счетов. Нередко хозяин проводил в беседе с ними целые часы, посвящал один вечер одному приказчику или покрученику, другой иному и т. д. Эти молодые люди, служа у хозяев, научались от них торговой оборотливости и в свою очередь со временем делались купцами. Если хозяин находил особенную исправность и прилежание в своем покрученике, то отличал его какой-нибудь почестью, например, сажал с собою обедать, или подавал от себя кушанье, или дарил ему платье с своего плеча, соблюдая те же обычаи, какие бывали при дворе у царя с вельможами. За дурное поведение, леность и нерасторопность он бранил его, а смотря по вине и бивал, или налагал на него пеню. Если же никакими мерами нельзя было привести покрученика на путь истины, то хозяин ссыла́л его со двора; добрый хозяин должен был прибегнуть к этой последней мере без запальчивости, ласково, с сожалением, последний раз покормивши своего покрученика, и приписы-

вать его неисправность врожденной глупости, потому что если кого и *удар не имеет*, то это было явным признаком крайней непонятливости. Молодые купцы научались от родителей и старых родственников из их примера, их словесных наставлений и, наконец, из их записок, ибо в XVI и XVII веке было в обычае составлять торговые книги или памятные записки о торговле, как это показывает одна целевшая торговая книга. Она, как будто, написана опытным торговцем с целью служить руководством для молодых. Впрочем, не думаем, чтоб подобные мемуары были в старину в большом употреблении, при всеобщей малограмотности тогдашнего общества, когда самые богатые торговцы, как, например, гости, не знали грамоты: так при Алексее Михайловиче в получении жалованной грамоты вместо безграмотного гостя Афанасия Федотова подписался духовный его отец.

Малообразованность русского купечества не мешала ему изумлять иностранцев природною сметливостью и оборотливостью. Московский купец, торгуя с англичанином, делал в год несколько оборотов с одним и тем же капиталом. Он брал у англичанина оптом товары — сукна и материи — в долг, с уговором выплатить деньги в течение года или полугода, и сбывал тотчас же на деньги мелким торговцам, которые продавали купленное в розницу. Получив деньги, купец тотчас же покупал на них товар, который скоро променивал на другой, другой на третий и при каждой мене получал малые проценты, но выигрывал быстротою оборота, так что нередко мог купленное у англичанина за два рубля сукно продавать за полтора. Немцы особенно изумлялись этой непонятной для них быстроте и изворотливости. Случалось, что русский, променявши немцу юфть, пеньку, поташ на сукна и материи, через несколько времени выменянный у немца товар продаст ему же по такой дешевой цене, что хоть сейчас можно отвезти в Амстердам. Без сомнения, этому способствовал меновой характер торговли; русский приобретал свой товар у производителей по очень дешевой цене и мог отдавать немцу хотя с барышом для себя, но чрезвычайно сходно для последнего. Зато цены на товар в России до крайности изменялись иногда в течение нескольких дней, особенно на предметы повседневного удобства жизни. Недостаток путей сообщения ставил такой порядок дел неперменным условием, ибо коль скоро подвоз произведений увеличивался — ценность его упала, коль скоро подвоз приостанавливался, она поднималась. От этого купцы считали всего выгоднее приезжать на торги с това-

ром как можно ранее, пока не успеют навезти такого же товара, и этим часто выигрывали.

Владельцы земель продавали купцам свои произведения обыкновенно заранее и обязывались к сроку доставить на торг; для этого заключались торговые записи. В обеспечение верности доставки на срок, а равно верности приема, с обеих сторон, а иногда с одной, полагалась двойная недоимка; такая запись, в случае несоблюдения условия, могла быть купчим актом. Таким же порядком и купец накапливал оптом товару из первых рук и перепродавал его иностранцам. Годовые условия обыкновенно писались с сентября по сентябрь.

Замечательною чертою русской старой торговли было то, что продажа была чаще всего оптовая. В старых актах, где говорится о пошлинах, всегда упоминаются большею частью оптовые единицы. Домовитый и расчетливый хозяин всегда старался покупать для себя запасы оптом на долгое время, потому что при этом выигрывал четверть с рубля. Рано вставши, он сам ходил на рынок присматриваться, нет ли *навозу*, и как купец норовил поспеть с своим товаром, когда подобного товару было меньше, так, напротив, покупатель старался явиться к торгу, когда навезут побольше товару. Товар, который не портится, закупался на год и больше, как, например, лес и дрова, доски, лубья и прочес. Съестные припасы покупались пудами и бочками, ибо мясо и рыба употреблялись большею частью соленые; а зимою и свежее не портилось. Рукодельные товары, закупаемые в лавках, приобретались также большими пропорциями. Зажиточный хозяин покупал сукна и материи поставами и косяками, материалы для женских работ литрами, и потому дом его был полон всякой всячины на долгое время: это считалось знаком расчетливости и ума. При этом замечали, что покупаемые в розницу товары хуже, и при такой продаже больше обмана. Накупив товара, домохозяин считал долгом пригласить купца к себе на *почестку*, угостить хлебом-солью, а напоследок еще и подарить. *В этом убытка нет, говорили старички, дружба-де вперед познать: всегда мимо тебя товару доброго не продаст и лишнего не возьмет и худого не даст.* К числу старинных обычаев принадлежит обычай давать в *пополнок* (на придачу) какую-нибудь незначительность. Поэтому, розничная продажа была преимущественно для небогатых и простолюдинов.

Иностранцы описывают русских купцов большими плутами. Обычай запрашивать и торговаться был искони ха-



рактикой русского торговца. Если вещь стоила рубль, купец непременно запросит за нее десять рублей, смотря по лицу, которое у него покупает. От этого многие, желая купить большую пропорцию товара, приходили в лавки не иначе, как в сопровождении знатоков, на которых они, впрочем, не всегда могли положиться, потому что эти знатоки бывали в стачке с купцами, и взявши с покупателя за то, чтоб сторговать для него дешево и хорошо, возьмут то же с купца, чтоб помочь ему обмануть покупателя. Божиться в торговле было нипочем, хотя божбам русских купцов никто не верил ни из их соотечественников, ни из иностранцев, и даже замечали, что чем более русский купец божится, тем скорее обманывает. Иногда торговец, расхваливая свой товар, ссылаясь на покупателей, называл их по именам, подтверждал слова свои божбою, а на самом деле обманывал. Подделка и обмен вещей были в обычае: часто русский наделял иностранца подкрашенными мехами; а иногда покупатель придет в лавку и начнет торговать вещь, купец спрашивает за нее большую цену, покупатель дает мнее; купец как будто не слышит и уходит прочь, потом начинает мало-помалу сдаваться и уступает желанию покупателя; но в самом деле он ловко успеет обменять вещь, так что покупатель сам этого не замечает и берет не то, что торговал прежде. Подобные поступки не казались русскому предосудительными; он оправдывал себя пословицею: «на то щука в море, чтоб карась не дремал!» — пословицею, которая, как видно, была до того в употреблении, что даже иностранцы затверживали ее.

Замечательно, что еще в XVI веке в России охотнее покупали у иностранцев, чем у своих; но русские купцы умели сами прикидываться иностранцами, к удивлению посещавших Россию чужеземцев. Такая сметливость и изворотливость торгового человека была причиною, что правительство доверяло купцам политические шпионства: например, в 1650 году велено было в Пскове набрать торговых знающих людей и послать в Ригу, Ревель и шведские владения, чтоб выведать о политических делах Швеции.

Не должно приписывать плутоватость русского торговца какой-нибудь народной порче. Нет, это было необходимое условие той степени образованности, на которой еще стояла Россия, и обстоятельств, сопровождавших развитие торговли. Торговля, как и всякая другая ветвь человеческой общественной образованности, проходит различные положения. В первобытные времена она была соединена с разбоем и набегами; на низкой степени цивилизованного

общества она неразлучна с коварством и обманом, и чем выше общество становится на пути нравственного и умственного образования, тем более и торговые отношения принимают характер честности. Но иностранцы, изображающие совершенно справедливо русских купцов в столь грязном виде, не были, однако, и сами вполне изъяты от того же взгляда на дело торговли. Герберштейн сознается, что русские, обманывая иностранцев, в свою очередь покупают у них за тринадцать червонцев вещи, которые стоят не более одного или двух. Иностранцы смотрели на Россию, как на страну выгодную для них, преимущественно по ее невежеству, потому что русских можно было легко обманывать; русские купцы не доверяли им и платили им тою же монетою. Притом, русская торговля встречала бесчисленные препятствия и затруднения, заставлявшие купца быть всегда в страхе и смотреть на свой промысел, как на войну, ибо он везде видел покушения на свое достояние и выгоды. Русские торговцы, как и вообще русские люди, оставались вне связи с образованным человечеством, а это сообщало им характер самоотдельности, неведения и враждебности ко всему остальному. Если иноземцы старались держать русского купца в невежестве, то и власть не желала, чтоб русские сближались с европейцами и ездили в чужие края. Торговых лиц отпускали с товарами за границу не иначе, как с крепкою порукою и с особым дозволением, которое получить было нелегко. Если бы торговец вздумал поехать самовольно за границу, то у него отбиралось все имущество, родственников его подвергали пыткам, допрашивая, с какой целью он уехал, а после пыток отправляли в ссылку. Впрочем, Уложение сделало исключение в пользу жителей порубежных городов; отъезд за границу был смягчен для них. Иностранцы, которые бы могли заводить в России какие-нибудь промышленные заведения и знакомить Россию с техникою товаров, покупаемых русскими купцами у иностранцев, не поощрялись от правительства достойным образом, да притом и правительство не могло им доверять, потому что к услугам его всегда готовы были явиться шарлатаны, авантюристы, с единственною целью обмануть невежество и доверие.

Таким образом, купцы русские постоянно были во мраке относительно большей части того, чем торговали, страшились обмана, не доверяли, были обманываемы и в свою очередь обманывали.

Совместничество власти чрезвычайно останавливало деятельность торгового класса. Царская казна имела в своих

руках не только значительные ветви торговли, но и вообще вела торговлю всеми предметами: она покупала через своих агентов воск, поташ, пеньку и проч., отправляла в Архангельск и променивала на заграничные товары и тем подрывала купцов, торговавших теми же товарами. Никакой купец не в силах был состязаться с таким богатым и всемогущим соперником на торговом поприще. Купец, явившись на ярмарку в Архангельск, не смел торговать, прежде чем не окончится торговля царская. Этого мало. Обычай выбирать из купленных или выменянных у иностранцев товаров лучшие виды для царской казны не только лишал торговца хороших сортов товаров, но и отнимал у него время простым и ожиданиями. Наконец и то, что оставалось на долю купца, было обложено множеством пошлин и стеснено казенными монополиями.

Множество случаев, когда купца могла постигнуть конфискация всего его имущества, внушали ему вечную боязнь; русские купцы боялись обращаться явно с большими капиталами и сохраняли их втайне, дабы сберечь копейку про черный день, когда постигнет их опала или невзгода и отнимут у них все явное имущество. Этому обычаю прятать деньги также немало способствовало тогдашнее понятие века, поставлявшее все народное богатство исключительно в звонкой монете: власть старалась сосредоточить в своем владении как можно больше золота и серебра; торговцы, собирая деньги, подражали в этом власти. Торговец был всегда под надзором власти, как ребенок, не мог составлять никаких соображений, не зная, что с ним будет завтра; так, например, он не мог заключить никакого договора с иностранцем, ибо не знал, утвердит ли или не утвердит его власть. Не обеспеченный законом, он был постоянно под произволом воевод, таможенных и приказных людей, которые при удобном случае не забывали пользоваться на счет купца лихоимством. Русский купец, говорит один англичанин, раскладывая свои товары, боязливо осматривался на все стороны: не идет ли к нему царский чиновник, чтоб взять у него что получше, и притом даром. Собиратели пошлин непременно постараются сорвать с торговца что-нибудь лишнее. На заставах, мостах, перевозах и проч., кроме установленных поборов, его не пропустят без взятки. Посадские общины в XVII веке были угнетены воеводами, которые вмешивались в общинное управление. Воеводы и приказные люди, под разными предлогами сохранения порядка, хватали торговцев, сажали в тюрьму, вымогали взятки, разгоняли торги, брали насильно товары, били тор-

товцев батогами; сталкивались с ябедниками, которые подавали челобитные на зажиточных торговцев; воеводы и подьячие, несмотря на явную лживость иска, заводили дело с тем, чтоб обирать купцов. Правда, правительство не лишало посадов права жаловаться на этих судей и правителей; нам остались жалобы целых посадов на воевод, — жалобы, в которых посадские грозили разбрестись розно. Правительство действительно старалось ограничить своеволие воевод и приказных над торговым классом. В 1620 году им запрещено не только участвовать в торговле, но даже покупать что-нибудь у посадских, исключая съестного. Но эти ограничения ничего не значили, ибо воеводы и приказные, обладая административною и судейскою властью, всегда могли найти незаконные средства к поживе. Торговый устав 1667 года, для избежания проволочек, приказал ведать всех торговцев в одном Приказе, которого обязанность была охранять их от *воеводских налогов*; но, во-первых, воеводы и приказные все-таки имели возможность чинить свои *налоги*, а во-вторых, в Приказе, который должен был охранять их, сидели такие же подьячие. Сосредоточенность судебных дел в Москве подвергала посадских невыносимым стеснениям: они должны были ездить в Москву с места своего жительства, иногда за тысячу верст, оставлять свои промыслы, проживаться в Москве, утучняя подьячих плодами своей изворотливости прежних лет. Жалобы посадов на свое начальство поступали в руки подьячих Приказа, которые тянули дело по несколько лет; воевода, на которого жаловались посадские, сменялся, а вместо него был присылаем другой и поступал так же, как и прежний. Но не только воеводы и подьячие утесняли торговцев, случалось, что соседний помещик или вотчинник наезжал на посад и делал в нем разные бесчинства. Посадские жаловались, дело длилось; с них брали взятки и, наконец, из Приказа присылали воеводе грамоту, которая предписывала ему охранять посадских людей; а этот воевода первый готов был делать с ними всякие своевольства. Купец терпел и от своего же брата, коль скоро он был выбран в таможенники и делался некоторым образом чиновным человеком; таможенники, *по свойству* и дружбе, пропускали без пошлин своих, а с чужих брали лишнее, чтоб наверстать недобор.

Если ко всему этому прибавить трудность и опасность перевозки торговых грузов и приключения, каким торговец подвергался в дороге от разбойников, которыми так изобиловала наша матушка Русь и на водяных, и на сухих пу-

тях, то мы легко поймем, почему русский купец должен был сделаться плутом, и почему, несмотря на склонность к торговле и на способность и изворотливость, русский купец был беден.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Русский вес в основании своем не сложен. Высшая единица, бывшая повсеместно в употреблении, называлась берковец и заключала десять пудов; каждый пуд имел сорок *гривен* или *гривенок больших*, т. е. фунтов; гривна делилась на две *гривенки малые* или *скаловые*; гривенка скаловая имела сорок восемь золотников. *Золотник* имел двадцать пять *почек*, а при взвешивании денег считались *пирог*и, которых было в почке четыре. Кроме обыкновенного фунта, были еще *литра* и *ансырь*: литра — фунт греческий, заключала семьдесят два золотника; на нее весили преимущественно шелк и пряденое золото и серебро; *ансырь*, вес бухарский, заключал сто двадцать восемь золотников, но уже в конце XVI века он сравнялся с русским фунтом или большою гривною, и скоро вышел из употребления. *Безмен* — весомая единица, бывшая в большом употреблении в XVI веке, и вес на безмен назывался *безменным*. Он заключал два фунта с половиною или пять гривенок, несколько подходил к нынешнему килограмму и, в свою очередь, разделялся на *полубезмены*. Но впоследствии единица безменного веса постепенно увеличивалась до десяти, пятнадцати и до двадцати фунтов, и, наконец, сделалась совершенно неопределенною, так что самое название осталось только за орудием веса. Сто фунтов или больших гривенок, или два пуда с половиною составляли единицу веса, называемую *контарь*, — название, которое соединялось, как и безмен, с орудием веса. Десять пудов составляли *батман*, вес татарский, перешедший к русским, как видно, из Казани, ибо носил название *казанского*. Он в свою очередь разделялся на *полубатманы*, заключающие пять пудов. Кроме берковца, воск весился на *четверть восковую*, заключающую двенадцать пудов. Самая большая единица веса была *ласт*, заимствованный с Запада, но этот вес, кажется, не был постоянным и определенным. В начале XVI века в ласте было 180 пудов, но потом только 90, в Пскове ласт соли весил от 12 до 14 берковцев, следовательно, от 120 до 140 пудов, а в Торговой книге ласт полагается в 12 бочек, а каждая бочка в шесть пудов, что составляет в ласте 72 пуда.

Вообще, однако, употребительнейшими весовыми единицами были берковцы, пуды, гривны и гривенки. Весовые единицы делились еще на *половины* и *четверти* или *че-ти*, напр., *полпуда*, *полугривенка*, *четы гривенки*, а чети в свою очередь на *пол-чети* ( $1/8$ ), *пол-чети* на *пол-пол-чети* ( $1/16$ ), эти же на *пол-пол-пол-чети* ( $1/32$ ). Было также деление третное, напр., гривенка на *пол-трети гривнеки* ( $1/6$ ), *пол-пол-трети* ( $1/12$ ), *пол-пол-пол-трети* ( $1/24$ ). При счете веса иногда единица ставилась с прибавлением, а иногда с вычетом дробей, напр., вместо того, чтоб сказать: две гривенки и пол-гривенки, говорили: *три гривенки без полугривенки*.

Вес новгородский и псковский были отличны от московского до конца XVII века. Новгородский был менее московского на восемь фунтов и семьдесят два золотника в берковце, а псковский на десять фунтов и тридцать два золотника, или иначе: новгородский фунт равняется 93 золотникам, 92 долям, а псковский 92 золотникам и  $764/5$  долям московского.

Орудия веса были *пудовые весы*, *безмены*, *контари*, *терези* и *скалы*. Пудовые весы делались с пудовыми, полупудовыми, четыпудовыми и гривенными гирями. Терези были большие весы для громоздких товаров, на них употребляли кладовые гири пудов по пяти и по шести. Безмены были издавна в употреблении, как и теперь: их делали в Костроме, ибо в XVI веке упоминается о костромских безменах. Контари употреблялись на таможнях, а также на соляных и рыбных промыслах<sup>1</sup>. Скалы были небольшие весы для взвеса мелких товаров; в том числе на них весили золото, серебро и разные драгоценности. Самый мелочный вес называется *скаловый*.

У иностранцев берковец назывался шиффунт. Русский фунт или гривна расходился с английским на одну унцию, так что в русской гривне было 12, а в английском фунте 13 унций. В отношении голландского веса русский пуд был менее голландского на 7 фунтов 18 золотников  $546/10$  доли. В сравнении с гамбургским весом, русский пуд заклю-

---

<sup>1</sup> Собр. Г. Гр., IV. 193. — Теперь на соляных промыслах контарями называются большие весы, состоящие из рычага и присоединенной к нему доски, на которую ввозят телегу с грузом. По-видимому, такую же форму они имели и прежде, потому что правительство, запрещая частным лицам держать весы, делало исключение для контарей на соляных и рыбных промыслах не для торговли, но для сметы веса при найме с извозчиками. Происхождение этого названия — итальянское, и теперь в южной Италии существует оптовая единица *santaro*.

чал гамбургских 33 фунта с четью. В Нарве русский пуд весил  $343/4$  нарвских, а в Любеке 35 фунтов любских. В Двинском порте при торговле с иноземцами употреблялся немецкий *пудок* (лисфунт), который равнялся полпуду русского веса.

Меры сыпучих тел были *оковы* или *бочки*, *четверти*, *осьмины* и *четверики*. Бочка или кадь называлась *оковою*, потому что была окована. Окова имела четыре четверти, каждая четверть две осьмины, осьмина четыре четверика или меры. Сверх того употреблялись четвертные и третные деления каждой единицы, напр., *пол-четверти*, *пол-пол-четверти*, *пол-осьмины*, *пол-четверика*, *пол-пол-четверика*, *пол-пол-пол-четверика*, или *пол-трети*, *пол-пол-трети четверика*, равномерно и с вычитанием дробей, напр., *четверик без пол-пол-трети четверика*. Четверть московская муки в 1620 и в 1660 годах весила пять пудов, а ржи зерном  $61/4$  пуд, но в 1681 году это отношение было уже изменено, ибо названо *прежним* весом. В XVI веке четверть равнялась трем бушелям лондонской меры, следовательно, в сравнении с нынешнею мерою старая четверть имела около четырех четвериков с гарнцем. Но хлебные чети не везде были равны. Кроме московской, существовали чети новгородская, псковская, печорская. Чтоб составить две новгородских чети, нужно было три чети московских, следовательно, новгородская весила восемь с половиною пудов; псковская была несколько более новгородской, а печорская на незначительный объем более псковской. В XVI веке зерно мерили *пузами*. Подлинно неизвестен объем этой меры, но это была определенная, а не глазомерная единица, ибо существовали пузы, клейменные таможенными печатями, чтоб сохранить узаконенную их пропорцию. В северных странах мерили *коробьями*, которые имели три *зобня*. Но в конце XVI века эта мера заменена четвертною.

Линейные русские меры были *аршин*, *локоть* и *сажень*. Аршином преимущественно мерили иностранные, а локтем туземные произведения. Аршин заключал четыре *пяди*; каждая пядь делилась на четыре *четверти*; но впоследствии пядь начали называть четвертью, а четверть *вершком*. Эти единицы делились тоже на половинные, четвертные и, вероятно, третные дроби, например *пол-пяди* или *полторы пяди*. Из иностранных мер того времени русский аршин ближе всего подходил к фландрийскому элю, но был длиннее на палец. Локоть равнялся половине английского ярда. Торговая книга определяет локоть 10

вершков, и два аршина составляли три локтя. Локотью измеряли, между прочим, иконы, отчего попадаете название *икона локотница*. Косовая сажень заключала три аршина.

Жидкости измерялись бочками, котлами, ведрами, джбанами, корчагами, братинами, ендовами, галенками (галлонами), кружками, чарками, ковшами. Вместимость большей части этих мер неизвестна, да и вряд ли она была определена, но зависела от различной величины сосуда. Так, напр., котел мог быть в три ведра, в два ведра, в полуведро и в двадцать ведер. Более определенную из этих единиц было ведро, потому что на него продавались казенные питья, и поэтому ведро было самая обычная единица в торговле. В воловине XVII века ведро было в восемь вершков и разделялось на полуведро, четь ведра, кружки и чарки.

Чаще всего у русских употреблялись произвольные глазомерные единицы, как-то: локны, кади, рогозины, пузы, узолки, круги и т. п. Поэтому, когда англичане начали торговлю с Россией, то нашли такое разнообразие в весе и мерах, что первое их требование было установить однообразный вес и меры. Правительство еще до пришествия англичан обращало на это внимание. В 1550 году учреждены печатные медные меры для сыпучих тел; они посылались в посады и уезды, где старосты, сотские и целовальники обязаны были, собравшись с земскими людьми, сделать по таким моделям деревянные меры, которые клеймили *пятном* (клеймом) и отдавали *померщикам*, лицам, определенным для меры во время продажи. Продавцы и покупатели хлеба и других сыпучих тел обязаны были являться к померщикам и продавать по установленной мере; в случае же нарушения правил торговцы подвергались штрафу в первый раз двух рублей, во второй — четырех, а в третий тюремному заключению. Эти меры были *осьмины*. В 1555 году были повсюду государственные (казенные) весы и при них весчий сторож и весцы, — лица, определенные для взвеса товаров. При Иоанне Васильевиче запрещено иметь кому-нибудь весы, хотя бы даже и не для продажи, но все должны были ходить к городским весам и весить на них товары с платежом весового *пудовщикам*. Обвес и обман считался издавна преступлением; старинная пословица говорит: в цене купец волен, а в весе неволен. Однако, народ всегда уклонялся от единообразия установленных весов и мер и продолжал продавать по старине на круги, рогожи, локна, пузы, возы и пр. Правительство несколько раз подтверждало однообразие веса и мер. В 1598 году было запрещено продавать сыпучие



тела возами и вообще неопределенными единицами, а равно весовые товары на кади, пузы и пр.; первые следовало продавать в пятенные (клейменные) меры, а вторые на пуды, с платою в первом случае *примерного*, во втором *весчего*. В Москве опять были слиты медные осьмины и разосланы во все города для сделания по их образцу деревянных осьмин. Нарушение строгости узаконенных правил мер и веса заставляло правительство еще несколько раз восстанавливать такие же распоряжения. В 1624 году опять установили медные осьмины, полуосьмины и четверики в гребло, и приказали по их образцу сделать деревянные с железным греблом, причем также установлена высокая *заповедь* или пеня за нарушение правил. В 1645 году являются установленные печатные аршины. В 1653 году, по изданному тогда Торговому уставу, во всей России учреждены медные меры в кружало с железными обручами, печатные сажени в три аршина, железные аршины и весы против фунтов. По Новоторговому уставу 1667 года подтверждено, чтоб везде в рядах были казенные весы, дабы при продаже и покупке можно было на них взвешивать. Иноземцам запрещено держать у себя весы, но русским дозволялось иметь в домах весы, не заключавшие более десяти пудов и безмены в три пуда, а на соляных и рыбных промыслах позволялось иметь контари для сметы при найме извозчиков, но не для продажи. В 1681 году подтверждено, чтоб, согласно Торговому уставу, нигде не держали весов, кроме узаконенных мест. Нормальные пудовые весы с полупудовыми и четь-пудовыми гирями, весчие контари, терези находились под надзором таможенного головы, которого обязанность была вообще наблюдать за правильностью развески на гостином дворе и в рядах, а для весовой операции приставлены были дрягили, бравшие за то плату. Тогда же для измерения сукон и материи учреждены были железные печатные аршины, которые на гостиных дворах давались приезжим торговцам с платою по гривне с чело века за аршин, а при окончании торгового года торговец обязан был отдавать его назад в таможную. В рядах должны были находиться такие же аршины. Хлебные меры в Москве в рядах и на торгах были за орленою печатью.

В XVI и XVII веке монетный счет заключал *рубли, полтины, гривны, гроши, копейки, деньги, полуденьги и пулы*. Под именем рубля разумелось числительное количество монет; подобно фунту стерлингов в Англии. Главная ходячая монета была деньга (от татарского слова *дини* серебро), монета мелкая, имевшая два вида; *большая*

и малая, новгородка и московка, деньга копейная или копейка и деньга мечевая или собственно *деньга*. В XIV веке был только один род денег, которых нормальное количество в рубле было сто; два рубля, т. е. двести таких мелких монет, называемых деньгами, весили гривенку. Но в Москве начали удаляться от этой нормы. При Донском деньги весили от 24 до 17 долей, при Василии Дмитриевиче от 22 до 15 долей, при Василии Темном вес их начал значительно уменьшаться и низошел до 12 и 11 долей, а при Иоанне III до 9 долей, так что московская деньга, расходясь с новгородскою, которая оставалась с большим весом, стала половинною: новгородская весила 18, а московская только 9 долей. Впрочем, не должно думать, что такое положение было установлено правительством: так как производство денег было делом мастеров, то, поэтому, господствовал произвол, и в одно и то же время делались деньги и с большим и с меньшим весом. Несомненно только, что, колеблясь три государствования: Донского, Василия Дмитриевича и Темного, вес их постепенно понижался, пока образовались две различные монеты. При Василии Иоанновиче велено было делать 250 денег на гривенку, так что из гривенки следовало делать новгородками два рубля с половиною и с одною гривною или десятью новгородками, что дает  $1746/76$  на новгородку и  $8857/70$  долей на московку. Но это правило подвергалось произволу; мастера старались выделывать из гривенки серебра более положенного, а плуты разрезывали монеты пополам и каждую половину давали за цельную, так что вскоре число денег в рубле дошло до пятисот. Во время правления Елены это злоупотребление наказывалось чрезвычайно строго: преступникам лили в рот расплавленное олово или отсекали руки. Правительница постановила делать из гривенки серебра без примеси триста денег или три рубля. Новые деньги имели изображение всадника с копьем, поражающего змия, отчего и начали называться копейками. С этих пор в Москве было две деньги: копейная, большая, равная новгородской, и малая или мечевая — с изображением всадника на коне с мечем или бичом в руке. Первая имела  $1527/75$ , а последняя  $754/75$  долей. Рубль заключал 16 золотников серебра (следовательно, равнялся 3 р. 20 к. по нынешнему счету). Но количество серебра в рубле постепенно уменьшалось вместе с объемом денег. Так, при Иоанне Васильевиче делали из гривенки уже  $31/10$  или  $61/5$  из фунта. При Феодоре Иоанновиче число 3 оставалось нормальным, но при Михаиле Феодоровиче из фунта

чеканили 877/100 или в каждом рубле 10 золотников 90750/877 долей (по нынешнему счету 2 р. 183/4 к.), при Алексее Михайловиче из фунта — 921/100 или в рубле 10 золот. 40600/931 долей (по нынешнему счету 2 р. 8 к.). При Федоре Алексеевиче эта такса поддерживалась, но во время двугршнства из фунта чеканили 101/4 руб.: или на рубль 9 золотников 355/41 долей (по нынешнему счету 1 р. 871/2 к.); в 1697 году — 103/4 или в рубле 8 золотников 8913/43 долей (по нынешнему счету 1 р. 783/4 к.); в 1698 году — 13 р. 16 к., или в рубле 7 золотников 2756/1366 долей (по нынешнему счету 1 р. 451/2 к.); в 1699 году — 14 р. 18 к., или в рубле 6 золотников 73668/709 долей (по нынешнему счету 1 р. 35 к.); в 1703 году — 15 р. или в рубле 6 золотников 386/15 долей (по нынешнему счету 1 р. 27 коп.), а 16 августа 1711 года прекратился выпуск мелких денег и возникли настоящие серебряные рубли из фунта 14 р. 40 коп. При уменьшении количества серебра естественно уменьшился размер денег, но число монет в рубле оставалось то же. Притом, так как прежние деньги всегда были ценнее последующих, то в народе постоянно существовало понятие о старых и новых деньгах, и за старые деньги давали новые с *наддачею*.

После Елены копеечный или стопенежный счет уступил в обычаях двухстопенежному счету. По крайней мере во всех старинных актах XVI и XVII веков до половины царствования Алексея Михайловича почти не упоминается о копейках и когда говорится *рубли*, то большею частью принимаются его деления на двести денег и десять гривен, полагая в каждой гривне по 20 денег. Но как новгородская денга была больше московской малой и подходила к копейке, то в народном языке различались две деньги: новгородка и москoвка. Нормальное отношение их было таково, что новгородскую составляли две московских. Привыкши измерять количество рубля двумястами денег, русские самые новгородские деньги клали по 200 денег на рубль, почему возникло два рубля, рубль новгородский и рубль московский. Нормальное деление рубля было таково: рубль разделялся на полтины, гривны и алтыны; полтина означала половину рубля, гривна заключала двадцать денег, а алтын шесть денег (от татарского слова *алти* — шесть). Но как рубль новгородский был вдвое более рубля московского, то три деньги новгородские равнялись алтыну московскому, и алтын новгородский равен был двум московским. Но такое отношение не оставалось неизменным. Из Уставной грамоты 1587 года на отдачу в откуп пошлин говорится: и

на тех заповеди полтина новгородская без гривны, а в московское число рубль и два алтына четыре деньги. Если мы допустим, что слово *без гривны* следует принимать в московском значении, переводя на новгородский счет, то выйдет, что 80 денег новгородских равнялись 216-ти, а не 160, как бы следовало; если ж мы допустим, что *без гривны* значит *без десяти новгородских денег*, тогда этому последнему количеству будет равняться 40 денег новгородских, ибо в таком случае мы должны будем принимать полтину в 50, а не в 100 денег и в первом случае получим, что сто денег новгородских равнялись двумстам семидесяти московским, а в последнем, что они равнялись 540. Вероятнее принять первое.

При Василии Иоанновиче, по известию Герберштейна, были еще деньги тверские и псковские. Тверские были равны московским, а псковских было два рода: большая и малая; первая имела от 14 до 19 долей, вторая, полушка,  $31/2$  доли: проба новгородок была  $811/6$ , псковской  $831/6$ , московской  $881/2$ , копейки Ивана Васильевича  $921/2$ .

Кроме вышеозначенных денег, были еще *полуденьги*. Две полуденьги составляли деньгу. В наших грамотах часто упоминаются полуденьги; иначе они назывались полушками; кажется, эта микроскопическая монета заимствована из Пскова, где, как выше упомянуто, были московские деньги в  $31/2$  доли. В конце XVII века полушки вышли из употребления.

Первый опыт к выпуску серебряной монеты высшего размера сделан был Алексеем Михайловичем в 1654 году. Издавна в царскую казну собирали иностранную монету, преимущественно немецкие рейхсталеры, и перечекаивали на мелкую русскую монету. Но царь Алексей Михайлович приказал каждый рейхсталер перечекаивать в рубль без всякой добавки металла и выпускать за рублевую монету, хотя рейхсталер в обращении не стоил и половины русского рубля. Вместе с тем начали чеканить четверти рублевые и выпускать их по 5 алтын 2 деньги. Вскоре правительство, вместо перечеканенных рублевиков, начало к самым рейхсталерам прикладывать *признаки*, то есть штемпели без перечеканки, и выпускало их по 21 алтыну с 2 деньгами. Должно думать, и рублевики ходили не полный рубль, то есть не 33 алтына 2 деньги, заключавшиеся в русском рубле, но также 21 алтын 2 деньги, потому что четверти рублевые, выпущенные вместе с рублевыми, составляли действительно четверть суммы в 21 алтын 2 деньги, принятой для рейхсталеров с *признаками*. Если же на

этих рублевиках начеканено *рубль*, то, при тогдашней неопределенности монетного содержания, можно было понимать рубль и в большем и в меньшем размере.

Медные монеты в старину назывались пулы. По свидетельству Герберштейна, при Василии Ивановиче шестьдесят пул шло на одну московскую деньгу. Очень трудно уследить видоизменения отношений этой монеты к серебру и определить ее ценность. В половине XVI века один англичанин говорил, что в одной серебряной монете заключалось 18 пул. Гвагнини полагает в московской деньге сорок пул. Но в 1586 году в Новгороде в деньге считалось приблизительно сто пул, как это видно из грамоты о сборе поворотной пошлыны, где определяется со ста стерлядей пошлыны три деньга, а с одной стерляди по три пула. Петрей говорит, что в одной серебряной деньге заключалось сто двадцать пул. Вероятно, при высоких количествах следует принимать деньгу новгородскую, а при меньших московскую. Ценность пулы естественно должна была изменяться при тех изменениях, каким подвергались серебряные монеты, притом собственный размер ее был чрезвычайно неодинаков, как это можно видеть из приводимого г. Чертковым известия, что пулы существовали в 9 и в 79 долей. Петрей говорит о пуле, как о монете в его время, в начале XVII века уже вышедшей из употребления, и прибавляет, что она пригодна была только для платы беднякам, которые работали четверть часа. В XVII веке нет помина об этой монете.

Но Алексей Михайлович возобновил в другом виде мелкую монету. Видя, что финансы государства пришли в расстройство от продолжительной войны с Польшею, царь, желая скопить как можно более серебра, приказал всеми мерами собирать в казну ходячие серебряные деньги и выпустить вместо них медные копейки, денежки, грошевики и полтинники. Мейерберг говорит, что царь, накупив на 160 серебряных копеек меди, выпустил из них денег сто рублей и с теми издержками, какие нужны были для содержания одного воина, содержал их шестьдесят. Чтoб привлечь к себе все серебро, велено было собирать недоимки прошлых лет, а равно десятую и пятую деньгу, собираемую с торговых людей на содержание войска, непременно серебряными деньгами, а ратным людям давать жалованье медью. Хотя правительство строго приказывало, чтоб никто не смел возвышать ценность товаров и чтоб везде медные деньги принимались за ту же цену, по какой прежде ходили серебряные, но так как и тогда понимали, что серебро

дороже меди, то поэтому на медные деньги стали скупать серебряные и прятать их и тем подняли цену серебра; между тем товары начали возвышаться в цене, и служилые люди, получая жалованье медными деньгами, начали покупать по возвышенным ценам необходимые средства для содержания, а легкость производства медной монеты искушала многих на такое художество. Во-первых, гости и целовальники из торговых людей, которым поручен был надзор за работою медных денег на денежных дворах, привозили туда купленную на собственное иждивение медь и работали деньги для себя, а потом их выпускали; во-вторых, денежные мастера, служившие на денежном дворе, также серебряники, оловянщики, работали по ночам в погребах своих медные деньги и также распускали их в народ. От этого количество медных денег до чрезвычайности увеличилось. В одной Москве выпущено было поддельной монеты на 620 000 рублей. Между тем в Сибири не позволено было вводить медных денег; но купцы, отправляясь туда с запасом медных, выменивали на них серебряные, и таким образом собирали серебро в свои руки. Правительство никак не в силах было собрать прежнего серебра в ходячей монете, ибо все старались припрятывать его подальше или перелить на вещи. Ценность серебра таким образом увеличивалась, искусственная же ценность меди упала. Медные деньги выпущены были в 1658 году. С сентября 1658 по 1 число марта 1659 года на рубль серебряных денег было прибавки только восемь денег, с 1 марта по 1 июля 2 алтына 4 деньги, с 1 июля по 1 сентября 3 алтына 2 деньги, с 1 сентября по 1 декабря 5 алтын, с 1 декабря по 1 марта 1660 года 10 алтын, с 1 марта по 1 июня 20 алтын, с 1 июня по 1 сентября 23 алтына 2 деньги, с 1 сентября по 1 декабря 26 алтын 4 деньги, с 1 декабря по 1 марта 1661 года за 1 рубль серебряных денег давали медных 2 рубля, с 1 марта по 1 июня 2 р. 8 алтын 2 деньги, с 1 июня по 1 сентября 2 рубля с половиною, с 1 сентября по 1 декабря 3 р., с 1 декабря по 1 марта 1662 года 4 р., с 1 марта по 1 июня 6 р., с 1 июня по 1 сентября 8 р., с 1 сентября по 1 марта 1663 года 9 р., с 1 марта 1663 года по 1 апреля 10 р., с 1 апреля по 1 мая 12 р., с 1 мая по 15 июня 15 р. За сто копеек серебряных давали 1500 медных. Такой кризис произвел всеобщий ропот и наконец возмущение. Народное негодование преследовало царского тестя Милославского и царицына родственника Матюшкина. Толпа народа, взволнованная крикунами, бросилась в село Измайловское, требуя от царя расправы, но стрельцы

укротили мятежников. Жестокие казни и ссылки постигли, по словам современника, до 15000 народа. Тогда царь увидел необходимость уничтожить медные деньги и снова ввести серебряные. Приказано упразднить производство медных денег, выдавать служилым жалованье снова серебром, в рядах торговать на серебро и платить серебряными деньгами всякие долги, хотя бы занятые и на медные деньги. Все медные деньги дозволено сносить в Приказ в течение срока в Москве двухнедельного, а в городах месячного для выдачи за них по две серебряных деньги за рубль, а равно позволено всем перелить в посуду и на всякие другие вещи медные деньги, но отнюдь не держать их в домах, под страхом наказания. После того снова начали ходить одни серебряные деньги и копейки и серебряные алтынники, но полушек уже не было. Так было до Петра, когда начали бить серебряные рубли.

Правительство приписало неудачу своей операции (несколько раз отчасти возобновленной и в XVIII веке) только одним подделкам, но иностранцы замечали, что само правительство слишком горячо начало собирать золото и серебро и раздавать за них медь. Таким образом, народ в свою очередь собирал драгоценные металлы.

Русские золотые монеты почти не употреблялись в торговом обороте. Цари чеканили их только в важных случаях, например, чтобы раздать их в награду особам, оказавшим услуги престолу и отечеству. Есть много случаев, когда цари раздавали военачальникам золотые монеты, но, быть может, это были монеты иностранные. Немного таких случаев, где положительно известно, что монеты эти были действительно русские. Так в 1469 году Иван Васильевич послал князю Василию Ухтомскому две золотые деньги. Существует золотая монета Ивана Васильевича, чеканенная по образцу венгерских червонцев и, вероятно, венгерскими мастерами.

При Феодоре Иоанновиче были русские золотые монеты с изображением св. Георгия. При Владиславе были русские копейки, весившие от  $91/2$  до  $111/2$  долей золота. Русские золотые монеты известны были под названием золотых московок. При Михаиле Феодоровиче и Алексее Михайловиче чеканили в России иностранные червонцы, как это видно из экземпляра, хранящегося в венском кабинете. Русская золотая монета изображала один рубль или сто копеек.

Русские деньги по наружному виду показывают, что форма их заимствована от татар. Они были неправильной фигуры, более овальные и столь малы, что легко могли

затеряться. Купцы при расчете имели привычку набирать их в рот до пятидесяти штук и, таким образом, иногда обсчитывали покупателей. В старину изображения на них были произвольные: цветы, четвероногие, птицы, деревья и проч., но в XVI веке они принимают однообразный вид. Копейка, как выше сказано, имела изображение всадника на коне, поражающего копьем змия; на другой стороне надпись: царь и великий князь (такой-то). Новгородская деньга, равная, по закону, в ценности копейке, имела изображение князя, сидящего на престоле; перед ним кланяющийся до земли человек; на другой стороне также царское имя. Московская малая деньга, московка, имела изображение скачущего всадника с поднятым мечем или бичом. Тверская имела с обеих сторон надписи. Серебряные рублевики, перечеканенные Алексеем Михайловичем из рейхсталеров, носили изображение двуглавого орла, с надписью вокруг головы: *лета* (такого-то), а под ногами *рубль*, на обороте изображение всадника на коне, а кругом вычеканенный царский титул; серебряные четвертины или полуполтины носили изображение человека на коне с надписью вокруг: *полуполтина*, а на обороте царское имя; на серебряных алтынниках, попадающихся от конца XVII века, был двуглавый орел, на обороте слово *алтынник*, а сверху год. На медных полтинниках было такое изображение, как и на серебряных рублевиках, только под двуглавым орлом вместо слова *рубль* выбито было слово *полтинник*; на медных алтынниках грошовиках было такое же изображение всадника на коне с надписью вокруг: *алтынник*, а на грошовиках *четыре деньги*. Медные копейки и деньги носили такие же изображения, как и серебряные. Золотые деньги имели те же изображения.

В XVI веке каждый золотых и серебряных дел мастер мог чеканить монету. Правительство требовало от них, чтоб эта монета имела определенный вес и чистоту. Жители приносили к мастерам слитки серебра и получали от них выделанную монету. Великие князья иногда давали позволение мастерам чеканить монету с их именем, как, например, Иван Васильевич позволил Аристотелю Болонскому чеканить монету с собственным именем и с изображением всадника, а под ним цветка. В торговых оборотах на монету смотрели, как на товар и взвешивали ее на скаловые вески. Естественно, что от права всякому производить монету возникали большие злоупотребления и обманы, как этому мы видим примеры при Василии Ивановиче и при правительнице Елене. При царе Иване



Васильевиче денежные мастера были уже под более строгим надзором правительства. Еще в малолетство этого государя в Новгороде был денежный двор, где по царскому указу назначенный московский гость с товарищами ведал денежных мастеров. В Торговой книге, писанной в последних годах царствования Иоанна Васильевича, говорится, что иностранные рейхсталеры *плавят на государевом дворе денежном* и как притом идет речь о доставке покупного серебра в Москву, то из этого видно, что и в Москве в то время монетное производство было в руках правительства. Но в XVI веке оно не было еще совершенно изъято от участия частных лиц. Петрей говорит, что монету делали в Новгороде, Пскове, Москве и Твери, и что были знатнейшие граждане и купцы, облеченные дозволением чеканить монету, только с именем царя и с определенным изображением. При Михаиле Феодоровиче монету чеканили в тех же четырех городах и для того в этих городах были заведены денежные дворы. Денежные мастера, работавшие на дворах, получали царское жалованье. Для предупреждения злоупотреблений на денежных дворах были двое голов: один из детей боярских, другой из гостей или торговых людей и, сверх того, несколько целовальников, выбранных из посадских людей и приведенных к крестному целованию.

По поводу распространившегося в 1637 году делания фальшивой монеты и привоза ее из-за границы правительство издало строгие меры в таможах и преследовало жестоко тех, которые имели у себя денежные формы (маточники). Все старые деньги велено было собрать и перечеканить на денежном дворе. Таким образом в это время русская монета была исключительно произведением казны. При Алексее Михайловиче денежные дворы были в Москве, Новгороде и Пскове; на денежном дворе начальствовали дворянин и дьяк, а при них для приема и оценки серебра находились верные (выборные и приведенные к крестному целованию) головы и целовальники. Во время выпуска медных денег в тех же городах учреждены были *денежные дворы медного дела*, но по прекращении выпуска уничтожены и по-прежнему восстановлены денежные дворы серебряного дела. К концу XVII века денежные дворы в городах не существовали: оставался один денежный двор в Москве.

Русская страна, не знавшая у себя ни золота, ни серебра, естественно должна была заботиться о привлечении драгоценных металлов из-за границы, и в том числе иностранной монеты: русские перчеканивали ее на свою мо-

нету. Поэтому правительство постоянно хлопотало, чтоб через торговлю и платеж пошлин переходило как можно более иностранного золота и серебра в Россию. Еще при Иване Васильевиче Грозном правительство имело об этом сильное попечение. При преемниках его оно держалось того же направления, обращало иностранную монету в свою собственность и выпускало русские деньги. Но при царе Алексее Михайловиче стремление собирать в казну иностранные деньги доходило до страсти.

Звонкая иностранная монета, ходившая в России, была золотая и серебряная и принималась на вес, как и всякий другой товар. Иностранные золотые монеты, ходившие в России в XVI и XVII столетиях, были:

Червонцы или дукаты угорские (233/4 карата), голландские (237/12 карата), польские (231/2 карата), флорентинские (в 72 грана), рейнские, корабленики или английские шифснобли (shiffs nobles или roses nobles), имевшие на одной стороне изображение корабля с мечем и щитом, а на другой розы (в 13656/79 гранов три), португальские, самые большие по объему (в португальскую унцию). Русские измеряли их вес своими деньгами; в конце XVI века угорские весили 10 денег с полуденьгою, корабленики 3 алтына 3 деньги, а португальские 17 алтын и 3 деньги.

Ценность иностранных золотых монет в сравнении с русскими была подвержена изменениям. Она возвышалась перед важными торжественными случаями, как, напр., перед царскою свадьбою или крестинами царевичей, когда бояре и представители общин приносили царю подарки, состоявшие из червонцев, положенных в дорогих кубках или на блюдах; равномерно червонцы дорожали каждый год перед Пасхою, ибо русские, приходя христосоваться к боярам и вообще знатым лицам, приносили им в подарок разные драгоценности и в том числе червонцы. Притом, так как червонцы принимались на вес и по качеству золота, то ценность их зависела и от этих обстоятельств. Чем золото было краснее, тем считалось лучше и дороже, чем бледнее, тем хуже и дешевле; наконец изменение ценности русского рубля изменяло и отношения к нему иностранных монет. Угорские и голландские червонцы были в одинаковой цене между собою. В конце XVI века иностранцы определяли ценность их от 50 до 60 денег (вероятно, новгородских), в Торговой книге дукат угорский оценен в 17 алтын 3 деньги. В начале XVII века ценность дукатов была от 18 до 21 алтына, а иногда, по мере большего требования, достигала

и одного рубля. В половине XVII века червонец стоил рубль. В последних годах царствования Алексея Михайловича и при Феодоре Алексеевиче они колебались между рублем и рублем двадцатью пятью копейками. Но вообще в это время нормальная ценность его была рубль, ибо так велено было брать его от иностранцев за пошлины в казну. Если мы переведем тогдашнюю ценность на нынешний вес металла, то найдем, что ценность червонца колебалась между 1 руб. 80 коп. и 2 руб. 50 коп. русской настоящей монеты. Рейнские червонцы были равноценны дукатам, но как впоследствии начали их чеканить из 72 долей чистого золота, дополняя остальное количество серебром, то они упали в цене. Польские червонцы в XVI веке были меньше рубля: их было 2916/1000 в одном русском рубле, но в начале XVII века 200 рублей оценено в 660 флоринов польских, следовательно 215/60 составляли рубль. Португальские червонцы с крестом составляли относительную редкость. Каждый весил десять дукатов; в конце XVI века он принимался за пять рублей с четвертью; корабленики — за один рубль десять денег.

Из иностранных серебряных монет ходили в России английские шиллинги, голландские гульденy, немецкие рейхсталеры и разные талеры, вообще называемые у нас ефимками (Joachims Thaler). Номинальная цена шиллингу была два алтына, и рубль ходил 16 шиллингов 8 пенсов, но в самом деле русский рубль по его изменчивости принимали за 13 и даже за 12 шиллингов; голландские гульденy в XVII веке ходили от шести алтын четырех денег до восьми алтын. Рейхсталеры, называемые у нас ефимками, составляли особую заботу правительства, старавшегося наполнять ими казну. Ценность их на русские деньги была различна, но вообще вращалась около полтины. При Иване Васильевиче талеры ходили 13 алтын 15/9 деньги, в Торговой книге им назначена цена от 12 алт. с деньгою до 14 алт. 5 денег, смотря по качеству, ибо замечено было, что прежние талеры были доброкачественнее, а потому и ценились дороже. Маржерет говорит, что в его время русские покупали ефимки за 12 алтын или 36 больших денег (72 московки) а при перечекировке получали 42 большие деньги (84 московки) или 14 алтын.

При Михаиле Федоровиче рейхсталер ценился в половину. Русские выделяли свой рубль из двух рейхсталеров и при этом получали выгоду, ибо тогдашний рубль был менее двух рейхсталеров двумя лотами веса серебра. При Алексее Михайловиче велено брать у приезжих иностран-

ных торговцев талеры по 13 алт. 2 деньги и по 14 алтын, а правительство сначала, как выше сказано, перечекивало их, впоследствии выставляло на них только московский герб и год и пускало в оборот по 21 алтыну с двумя деньгами. При этом казна выигрывала на каждом талере от 7 алтын двух денег до 8 алтын. По выпуске медных денег, когда серебро поднялось в цене, возвысилась ценность талеров. Мейерберг говорит, что 64 серебряных копейки составляли рейхсталер, что при переводе на более обычный тогдашний счет составляло 20 алтын 4 деньги. По Торговому уставу 1667 г. приказано было брать у приезжих иностранцев в пошлину рейхсталер по полтине (по 14 талеров в фунте). При этом велено было брать любские талеры, а избегать *крестовых* (с изображением креста), в которые тогда подмешивали меди. В 1674 году рейхсталер ходил от 55 до 58 копеек. Итальянские талеры принимались дешевле, потому что были легче; шведские, носившие простонародное название *плешивцев*, при переделке в деньги обходились в 12 алтын без новгородки, то есть без двух денег. От этого торговцы советовали их брать в вес четвертью меньше, потому что в них серебро было нечисто.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Описав пути торговли и законы, которым она была подчинена, изложив состояние торгового класса в Русском Государстве в XVI и XVII веках, исчислив меры, веса и деньги, употреблявшиеся в тогдашней русской торговле, мы теперь приступим к исчислению ее предметов:

### 1. Предметы царства ископаемого

*Соль.* Русская земля производила в различных местах значительный запас соли, хотя производство ее далеко не обнимало всей возможности добывания даже и по тогдашним силам. Соль добывалась на Северном море, в Вычегде, в Пермской земле — Соликамске, Чердыне, в Тотье, Сольгаличе, Киржаче, Мангазии, Старой Русе, на Холуе в Ряполовском Стародубе, на Волге в различных местах и особенно около Астрахани. На всем протяжении западного берега Онежской Губы занимались вываркою морской соли. Соловецкий монастырь имел варницы, между прочим в Керецкой волости, и добывал соль посредством наемных солепромышленников, которых в половине XVII века было у него до 700 человек, постоянно живших и получавших от

монастыря денежное жалованье и готовое содержание. Добывая ежегодно до 100 000 пудов соли, монастырь отправлял ее в Вологду и Устюг, для промена на разные запасы и хлеб, которого не было в северных приморских странах. Монастырь пользовался правом беспошлинной торговли солью, но вообще платил в казну 530 р. за все угодья и промыслы, какие только принадлежали ему. Ко времени подвоза монастырской соли в Вологду купцы, торговавшие ею, прибывали в этот город. В 1668 году продажа монастырской соли в Вологде подчинилась правилам: выбирались нарочные целовальники из посадских людей и назначалось двое отставных дворян: они обязаны были наблюдать за продажей соли, записывать деньги, взятые за нее, по статьям и по числам, и уведомлять Разряд о количестве проданной соли. На Онеге Каргополь был, как уже замечено, важным пунктом соляной северной торговли. Немаловажная часть соли сбывалась в Холмогорах, ибо соседние жители берегов Ваги привозили туда хлеб, масло, простые сукна и прочие товары, которые променивали поморцам на соль. Каргопольцы, усть-мехренжане и порожане ездили за солью к солеварням, а равно, и сами солепромышленники привозили соляные грузы и складывали в Турчасове и Каргополе. Соль доставлялась в эти места по Онеге с большим затруднением по причине порогов; поэтому на порогах были всегда готовы козаки и тяглецы; первые исключительно занимались выгрузкою и нагрузкою соли, последние были из местных жителей; их промысел был — тянуть суда через пороги и вообще вверх по реке. Коль скоро судно, нагруженное солью, достигало порогов, таможенники, постоянно долженствовавшие находиться на этом месте, посылали козаков и тяглецов, первых для перегрузки, вторых для перетяжки и провоза судов. Привозимая на место соль складывалась в амбарах у местных купцов или в особо устроенных сараях на гостином дворе. При выгрузке соли козаки должны были складывать ее в стопы, а при продаже приезжим купцам набивать в рогожи, и брали за то по полуденьге от рогозины или меха. Козаки были в заведовании таможенников, которые должны были всегда иметь их шестьдесят человек наготове, и никто, кроме козаков, не смел заниматься этим промыслом. Соль из Каргополя шла преимущественно в Белоозеро, а оттуда развозилась по всей России. В Пермской земле были значительные солеварни у Строгановых. Вываренная на них соль складывалась в сапцы: в каждом сапце было шесть пудов; она отправлялась в Нижний на продажу. На месте

она стоила за пуд 11/2 коп. или 3 деньги, но в Москве 6 алтын 2 деньги. Соль тотемская вываривалась в незначительном количестве и отправлялась также в Нижний. Она была достоинством лучше морской и пермской и белизною не уступала люнебургской, которая тогда славилась в Европе. Соль, добываемая в Сольгаличе, служила только для удовлетворения потребности соседнего народонаселения. Недалеко от Новгорода, близ Старой Русы, добывалась соль натуральная из озера, и в конце XVI века почиталась лучшею в России. В XV веке еще не было добывания этой соли и Великий Новгород получал соль из-за границы, а в XVII веке соль старорусская продовольствовала северо-западный край России. Соляные промыслы на озере принадлежали посадским людям, хотя и находились в дворцовых и черных селах, и посадские очень ими дорожили, ибо в 1617 году просили не раздавать в поместья волостей, лежавших близ озера, чтоб им самим не лишиться у частных владельцев права добывать соль. При соляной операции назначались целовальники, выборные из посадских, находившиеся под надзором воеводы и обязанные наблюдать за операциею. Старорусская соль сбывалась в Новгороде, Пскове, Смоленске, Вязьме, Ржеве, Дорогобуже. Соляные промыслы в Старой Русе, и, как кажется, повсюду, в XVI веке были обложены податью, так называемую сотною солью. Эта пошлина состояла из трех денег на сотню (вероятно, пудов). В 1646 году была положена высокая пошлина на соль, каждый солеторговец обязан был платить по 2 гривны с пуда. Но вскоре вспыхнувшее неудовольствие народа заставило уничтожить эту подать.

Самые важнейшие соляные промыслы в России, бесспорно, были волженские. Около Нижнего существовало добывание соли, впрочем незначительное. Пониже Симбирска русские выламывали соль, сушили на солнце и складывали в кучи наподобие курганов, потом клали в суда и отправляли в Нижний. Между Симбирском и Самарой в половине XVII века заведено было усолье, бывшее на откуп от казны, потом в 1660 году оно пожаловано монастырю Саввы Сторожевского, а в 1674 году поступило в заведение казенного воеводы. Оно не имело важного значения, тем более, что его разорили козаки. Самое обильное добывание соли было около Астрахани из соленых озер. Эта соль находилась исключительно в ведении казны, а промышленникам предоставлено было являться на озера и нагребать соль, с платою за то в казну. При Михаиле Федоровиче за право нагребать соль в астраханских озерах

платили по 1 деньге с пуда. При Алексее Михайловиче, во время всеобщего повышения пошлины на соль, астраханское соледобывание обложено было только половинным количеством этой пошлины. Впоследствии плата за соль оставалась та же, как и при Михаиле Федоровиче: по 1 деньге за пуд, но сверх того за право нагребать соль платили по 1 алтыну с сотни пудов. Во все продолжение XVII века в астраханских соленых озерах наблюдали такой порядок: соляные торговцы, отправляясь в Астрахань за солью, должны были брать из Приказа подписные челобитные, т. е. подавать челобитные, на которых дьяки подписывали позволение. Эти подписные челобитные служили торговцам вместо свидетельства. На соляные озера посылаемы были дети боярские и целовальники (при Михаиле Федоровиче один сын боярский с двумя целовальниками). Они обязаны были надзирать за правильностью промысла, между прочим, чтоб торговцы не продавали никому нагребенной соли; при них складывали соль в паузки, завозни и струги, а они измеряли эти небольшие суда в длину и ширину и отсылали в Караузик, где была общая соляная пристань. Там находились ларечный целовальник с двумя целовальниками, а при Алексее Михайловиче и отряд стрельцов. Они обязаны были надзирать за пересыпкою соли из мелких судов в большие. Эта пересыпка производилась через заорленные (клейменные) кади в двадцать пудов каждая, а как предполагалось, что вес соли впоследствии от высушки убавится, то насыпали с *наддачею*. Здесь промышленники платили пошлину. Астраханская соль отправлялась на казенных судах в Нижний и там оплачивалась пошлиною, исключая той, которую нагребали монастыри, имевшие привилегию на беспошлинную торговлю известным количеством соли. Провоз до Нижнего Новгорода предполагал увес (уменьшение веса) от высушки соли; при обложении пошлинами, а равно и при продаже происходили споры и недоумения, поэтому в 1667 году велено в Нижнем Новгороде на тысячу пудов набранной в астраханских озерах соли и записанной в таком числе в проезжих грамотах считать сто пудов увесу. Таким образом, Нижний Новгород был главным складочным местом соли в государстве: отсюда она развозилась во все стороны и продавалась на ярмарках и торгах, на гостиных дворах, в амбарах и в лавках.

В XVI веке соль продавалась мехами, рогозинами и лубьями. Рогозина заключала в себе десять пудов, а три луба составляли рогозину, но были рогозины и в шесть пу-

дов; а в XVII веке правительство приказывало продавать соль на пуды, взвешивая ее; в Новгороде соль привозилась на оптовую продажу бочками, весом от трех до девяти пудов в бочке. Соль составляла предмет торговли на всех рынках и назначалась преимущественно для внутреннего потребления. Потребность ее в больших количествах поддерживалась обычаем употреблять рыбу и даже мясо солеными. В XVI веке русская соль не вывозилась за границу. Англичане не признали ее в числе товаров, годных к вывозу, и нашли в ней дурные качества, но в XVII веке голландский купец Кильбургер не находил ее дурною; из этого можно заключить, что в течение столетия русские соляные промыслы не остались без улучшения. Соль отправлялась, как мы выше сказали, в Швецию и в Литву. В половине XVII века соль значится и между товарами, которые в Вологде покупали англичане. Впрочем, отвоз соли за границу не мог быть значителен, ибо правительство не только не поощряло его, но часто и воспрещало. Так при царе Михаиле Феодоровиче в Пскове запрещено было под смертною казнью вывозить соль за рубеж. Притом для иностранцев соль русская годилась, как видно, только в крайности, так что немцы, жившие в Москве, не могли к ней привыкнуть и выписывали себе соль из Германии. Цена на соль в половине XVII века и в середине России была за пуд около шести алтын и двух гривен (при сравнении с деньгами настоящего времени около сорока копеек). Цена эта не всегда и не везде была одинакова, ибо на строгановских солеварнях сапец соли в шесть пудов стоил иногда две гривны, а иногда цена, возвышаясь, достигала четырех гривен. В Новгороде в начале XVII века был в употреблении род соли, называемой крупкою; цена соли была тогда в Новгороде от 21/2 до 41/4 рублей за берковец.

*Металлы.* Россия почти не обрабатывала своих металлов. При Иоанне III находка печерских рудников была, кажется, столь же бесплодна, как многочисленные попытки правительства к отысканию руды в XVI и в XVII веках. Только железо выделялось *в горнах и домницах* в Орешке, в земле Карельской, Каргополе, Тихвине, Новгороде, Устюжне, прозванной Железнопольскою и около Коширы. Это не были правильные заводы, а только крестьянские опыты. Феодор Иванович даровал англичанам право завести железные заводы на Вычегде. Русское железо не считалось хорошим по качеству. Из него выделялись сошники, гвозди и разные принадлежности крестьянского быта. Уклад тихвинский был дешевле новгородского и продавался по



4 рубля за 1000 вершков, а уклад новгородский 10 рублей за 1000 вершков. Уклад корельский стоил за пуд от 20 до 23 алтын. При Михаиле Феодоровиче немцы, по приглашению царя присланные саксонским герцогом, открыли железную руду близ Тулы и начали ее обработку. В семи верстах от Тулы поставлен был горн, где вытягивалось прутовое железо. Потом этот завод отдан иностранцам Петру Марселису и Тильману Акеме или Акману, с условиями пользоваться им безоборочно двадцать лет, а потом платить с каждой плавильной печи по сто рублей и в продолжение как льготных лет, так и последних доставлять в казну железо оружейное по 20 алтын, досчатое по 26 алтын 4 деньги, прутовое по 13 алтын 2 деньги, ядерное по 10 алтын за пуд, а проволоочное с убавкою против ходячей цены. В 1656 году существовали в том же краю еще два завода: один на реке Угоде, а другой в Поротовском уезде на реке Протве. В 1664 году у Марселиса заводы были отняты, а поротовский и угодский отданы Акеме (Акману) с племянниками и им дана на содержание волость. Царь подтвердил им те же привилегии, какие даны были заводчикам отцом его, с уговором доставлять 11 250 пудов прутового и 3750 пудов связного железа в казну по установленной цене 16 алтын 4 деньги за пуд. Вскоре Марселису возвращен был завод, и в 1668 году он доставлял в казну 20 000 пудов прутового и связного, 5000 кованых досок, 6000 ядер, 20 пушек и разной мелочи по условленным с казною ценам. Эти заведения имели право, сверх доставки в казну, продавать железо в частные руки и за границу, но непременно за звонкую монету, которую были обязаны доставлять в казну и орать за нее русскую монету по установленной цене. Завод Марселиса имел три печи и десять молотов с двойными горнами; завод протвинский — две печи и четыре молота; состояние угодского завода неизвестно. Сверх того, в 52 верстах от Москвы был казенный павловский завод, но он шел плохо. В самой Москве за Неглинной был монетный завод, существовавший еще прежде: там лили пушки и колокола. Лучший завод был протвинский. На этом заводе выделялось полосовое железо трех сортов, пушки, державшие опыты в Голландии, двери, ставни, якоря в 22 четв. длины и столько же ширины, солеварные црены, сабельные клинки, ядра, ручные мукомольные мельницы, топоры, бердыши, лопаты, засовы, тележные принадлежности, гвозди и проч. В 1668 году железо с заводов продавалось в казну от 8 алтын до 1 р. 15 алт. за пуд. Самое ценное железо было листовое кровельное по 1 р. 15

алт. за пуд. Кованые дверные доски продавались по 30 алт. за пуд, железо в ядрах, пушках и плитах по 8 алт. за пуд. Топоры, бердыши, шпаги, пики, полупики продавались поштучно; ствол мушкетный, шпага, сабля продавались по 20 алтын, полупика 4 деньги, топор и бердыш 5 алт., ручная мельница 5 руб., гвозди и всякая мелочь 23 алт. 2 деньги за пуд, связанное железо 16 алт. 4 деньги за пуд, сохи по 2 гривны за пару. В 1674 году в общей продаже железо полосовое продавалось у Марселиса от 5 до 51/2 гривен или от 16 алт. 4 деньги до 19 алт. 2 деньги; у Акмана от 6 до 61/2 гривен или от 20 алт. до 22 алт. 2 деньги, листовое у Марселиса по рублю, у Акмана по 1 р. 3 алт. 2 деньги, двойное по 1 р. 6 алт. 4 деньги, литые вещи по полтине.

Несмотря на эти домашние заведения, Россия не обходилась без иностранного железа. В 1671 году привезено в Россию 1657 пудов, в 1672 — 123901 пуд., в 1673 — 672 пуда. Железо, привозимое в Россию, доставлялось преимущественно из Швеции через Новгород. Привоз железа подвергался общему характеру русского привоза: именно, один раз привозили значительное количество товаров, а в другие годы несравненно менее, и от того случался недостаток в стране. Так при Алексее Михайловиче Тихвинский монастырь, нуждаясь в железе для связок в каменной постройке, просил особого дозволения послать в Швецию свои товары для промена на железо. Видно, что поблизости нельзя было купить железа. В России издавна работали всякие железные изделия. Так в Муроме делали клепаны, которые украшались серебряными резными черенками и носили название муромских; в Бежецком-Верху — а может быть, и в других местах — работали косы и серпы. В Ярославле делались разные стальные вещи и в том числе всякие замки, сходные по фигуре с персидскими. В Астрахани занимались деланием булатных сабель и панцирей; особенно этим искусством отличались черкесы, там жившие. Царь Алексей Михайлович приказал их потребовать в Москву. Но тем не менее Россия получала из-за границы от шведов, голландцев, англичан, частью из Персии разные железные и стальные вещи, и в том числе оружие: последнее было особенною заботою правительства, желавшего, чтобы в России было побольше оружия. В 1633 году торговцы голландские условились доставлять в Россию сабельные полосы, ядра и порох. Напротив, правительство запрещало продавать оружие и всякие металлические вещи татарам и прочим инородцам. Здесь действовали две причины: предотвращение бунтов и желание сохранить в государстве

поболее оружия. Нельзя не заметить, что такая продажа оружия была очень выгодна, потому что, несмотря на запрещение правительства, русские вели с инородцами тайную торговлю оружием.

Из привозных в Россию стальных изделий расходились в торговле ножи, ножницы, замки, булавки и иголки. Ножи привозились в Архангельск *стырские*, с желтыми черенками, *чацкие* (датские) с черными черенками, *свицкие* (шведские) разносторонние: одна сторона *сандалягая*, другая белая, и *угорские*; ножи считались в оптовой продаже парами, десятками пар, сотнями пар. Они были разной величины. Шилья отличались *халыпские*, продавались в оптовой продаже тысячами и были трех сортов. Иголок и булавок привозили в Россию довольно большое количество: в 1671 году привезено 623 000 иголок и 154 000 булавок, в 1672 году пять тонн и 1 ящик, в 1673 году 639 000 больших игл, 545 000 иголок и 120 000 булавок.

В XVI веке привозимое в Россию железо продавалось *четвертинами*, которые заключали в себе *полицы*. В Торговой книге четвертина иностранного железа означена в 300 полиц. В конце XVI века сто пар ножей угорских и посольских стоили от 6 рублей до 21/2, свицких 2 рубля, чацких 40 алтын, а стырских 20 алтын; четвертина, заключавшая 300 полиц, ценилась от 21/2 до 6 рублей, из чего видно, что цены на этот предмет были очень неровны. Железной проволоки пуд стоил от 1 до 3 р.; четвертина белого железа или жести 5 рублей; дюжина круглых замков 1 рубль. В половине XVII века за пуд железа заплачено 1 р. 10 алт. В 1674 году шведское железо ценилось от 43/4 до 6 руб. за берковец. Две цепи людских стоили 16 алт. 4 деньги, два замка — 4 алт., большой замок 21/2 алт., тысяча гвоздей от 1 руб. 3 алт. до 2 руб.; большой котел 1 рубль 19 алтын 2 деньги; топор 3 алт. 2 деньги или гривна, а в Сибири топор продавался за 1 рубль и дороже; коса стоила 5 алт., серп 1 алт. За подковку лошадей за четыре ноги с подковами в XVII в. брали 4 алтына. Оружие в XVII веке можно было купить: мушкет от 11/2 руб. до 2 руб., самопал за 3/4 руб., спис за 24 алт., алебарду за 2 р., протазан за 4 руб., сайдак за 11/2 руб.; панцирь можно было купить за 20 алт.; самопалы, карабины и булатные сабли шведского железа ценились от 5 до 7 руб., но булатные сабли персидские ценились очень дорого, по 40 и по 50 руб., а хонжар персидский можно было купить около 25 р.

Прочие металлы все без исключения доставлялись в Россию из чужих краев. Медь доставляли нам англичане, датчане, шведы и голландцы. Она была красная и желтая

и привозилась в полицах, т. е. пластинах и изделиях. В торговле различали разные виды меди: однопечатную, троепечатную, трубчатую, козарскую, тазовую в сосудах и колокольную. В конце XVI и начале XVII века тазовая ценилась за берковец от 14 до 30 р., трубчатая и троепечатная от 14 до 24 р., однопечатная от 131/2 до 201/2 р., медная проволока от 14 до 30 р. за берковец, колокольная медь от 2 р. до 21/2 за пуд или от 20 до 25 руб. за берковец; медные тазы в конце XVI века 21/2 р. за пуд, кровельная медь от 41/2 до 6 р. за пуд; медный подсвечник стоил 8 алт., медный рукомоийник полтину, медная лохань тоже, медное паникадило 1 р. В начале XVII века гривна меди ценилась в 2 алт. 4 деньги, или 6 р. 12 алт. 2 деньги за пуд; в половине XVII в. медная ендова с носком стоила полтора рубля, братина с узорами полтину; в 1674 году пуд тазовой меди от 5 до 7 руб., котлы от 41/2 до 6 руб., колокольной меди от 41/2 до 5 руб., проволоки 5 руб., кровельной меди от 41/2 до 6 руб., в 1675 году 8 пудов меди стоили 38 руб. и 13 алтын.

Олово привозили в Россию датчане и англичане. Оно было брусчатое (брусами), лычное (полосовое), рогожное (свертками). Оловянные изделия, привозимые к нам, были: блюда, тарелки, чашки, стаканы, кружки, вообще столовая посуда, которая в старину была во всеобщем употреблении между зажиточным классом. Ценность олова в конце XVI века была: за пуд брусчатого от 40 алт. до 60 алт., лычного от 11/2 до 3 р., рогожного от 1 р. 13 алт. 2 деньги до 2 р.; в начале XVII века гривенка олова в изделии стоила 2 алтына 2 деньги. Английское олово привозилось прутьями и продавалось во второй половине XVII века от 51/4 до 6 р. за пуд, и от 51/4 до 71/2 р. Олово привозилось в бочонках и ящиках. Таким образом в 1671 году привезено 57 бочонков блюд и тарелок 18 ящиков, да 117 дюжин стаканов. Свинец привозился к нам *свиньями*, в десяти свиньях было веса 82 пуда с четвертью. Царь Алексей Михайлович позволил всякому свободно покупать свинец, только записывая в таможене, и привозить в Москву, для отдачи в казну, откуда купцу выдавались деньги. Пуд свинца стоил в XVI веке 10 алт. 1/2 деньги; в 1649 году в Новгороде продавался от 20 до 30 алт. за пуд, в 1674 году в Москве от 7 до 12 р. за берковец.

Золото и серебро привозились в Россию в монете, слитках и изделиях. О привозе золота и серебра в монетах мы уже имели случай говорить. В конце XVI века на одном корабле привезено 16200 талеров. В 1671 г. привезено

27 839 червонцев, 50 000 рейхсталеров; в 1672 г. 111 320 червонцев, 56 629 рейхсталеров; в 1673 г. 15 682 червонца и 12 000 рейхсталеров. При покупке золота и серебра в слитках купец поставлял обязанностью не иначе покупать его, как рассекая прут металла, дабы увидеть середину. Плата за металл в слитках и изделиях рассчитывалась всегда по отношению к ценности монеты. Слитки покупались ценою ниже монеты, потому что рассчитывали на переделку их в монету и принимали во внимание угар, а изделия покупались выше монетной цены осьмою долею при простой работе; более изысканная работа ценилась дороже, по договору. Был обычай весить золото на русскую монету; считалось, что золотник золота весил 1 алтын с полуденьгою. Естественно, когда деньги были меньше весом, то их должно было идти более. Предки наши любили украшать свои поставцы (буфеты) золотою и серебряною посудой, а себя разными золотыми и серебряными украшениями, которые частью делаемы были русскими мастерами, а еще более получались из-за границы. То были: золоченые серебряные кубки, братины, стопы, ковши, солонки, чарки, стаканы, кружки, золотые кольца, перстни, серьги, пуговицы, бляхи и проч.

Золотник золота в конце XVI века ценился в слитках в 13 алт. 2 деньги. Но если золото было краснее — что считалось за достоинство, — то платили дороже; за бледное платили дешевле. Непонятна такая дешевизна золота. В 1585 году гривенка серебра оценена в 5 р., следовательно, фунт в 10 руб. (32 руб. на наши деньги). При Михаиле Феодоровиче фунт позолоченного серебра оценен в 91/2 руб.; а во второй половине XVII века в 10 руб. Золото в изделиях ценилось чрезвычайно различно, тем больше, что золотые вещи были украшаемы драгоценными камнями; так золотая чаша с тремя яхонтами и двумя изумрудами стоила 444 руб. 13 алт. 2 деньги, образ в 87 золотников с двумя изумрудами и четырьмя яхонтами 273 р. В начале XVII века чарка золотая в 41 золотник оценена в 28 р., а 20 гривенок и 5 золотников разной серебряной посуды оценены в 60 р. 10 алт. 21/2 деньги. В XVII веке серебряный стакан стоил 3 р. и 3 р. 16 алт. 4 деньги, серебряная чарка золоченая 3 р., серебряная ложка 16 алтын. По известию Кильбургера, в 1671 году привезено в Архангельск для ввоза в Россию пять пудов серебряной посуды, в 1672 году 3 серебряных кружки, 22 фунта серебряной посуды, 6 печатей с камнями, 9 перстней, 34 серьги; в 1673 г. 4 дюжины серебряных стаканов, две с половиною дюжины

серебряных чарок, 84 перстня, 7 золотых колец и одна серебряная курильница. Привоз, видно, был не равный, а разный и вообще незначительный, но в то время русские получали эти товары от греков и от армян из Персии.

Ежегодно в Россию ввозилось значительное количество золота и серебра для вышивания: пряденого, волоченого и цевочного золота и серебра, бити, канители, трунцала, проволоки и фольги или блесток. Обычай вышивать одежды распространил торговлю этим предметом, тем более, что русские не умели сами готовить металлов для вышиванья. Золото и серебро для вышиванья продавалось на литры и катушками или цевками. В цевке *цевочного* золота было обыкновенно 6 золотников, и каждый золотник заключал 10 нитей. Самое дорогое золото было нюрнбергское, за ним венецианское, миланское, гамбургское; серебро известно амстердамское. Кроме настоящего золота и серебра, было золото и серебро низшего сорта: полузолотье и полусеребрье, и, наконец, ниже этого сорта было поддельное золото и серебро или мишура. О количестве привоза этого товара приблизительно можно судить по некоторым отрывочным известиям. Так в конце XVI века на одном корабле привезено 200 литр пряденого золота. В 1672 году привезено из-за границы 3131 клубков венецианской и голландской золотой проволоки и только 19 серебряной, два ящика золотой и серебряной бити и 70 фунтов галуна; в 1673 году до 3000 клубочков золота и серебра, два ящика и сверх того еще два пуда золотой бахромы. Поддельного золота и серебра в 1672 году привезено 111 180 клубочков, заключавших в себе 6 пудов 25 фунт., и 206 коробов канители, да кроме того много поддельной серебряной фольги, которою небогатые щеголи украшали свои одежды. В половине XVI века фунт золотой проволоки ценился от 7 до 8 руб. В 1585 г. цевка с четвертью пряденого золота стоила 18 алтын две деньги. По Торговой книге в конце XVI века литра цевочного золота стоила от 4 с полтиной до 6 руб. Литра пряденого золота вообще стоила 5 руб., мужское канительное ожерелье 20 руб.

Сверх покупаемых разных металлических изделий, предметом торговли служили произведения русских золотых и серебряных дел мастеров, медников и оловянников. Золото и серебро в изделиях обращалось на предметы религиозные: на распятия, ризы, иконы, оклады евангелий и пр., но также работали кубки *скляничною*, *пуповою* и *резною* работою, золотые цепи с кольцами разного вида: *репьеватые*, *кумафаренные*, *ребристые*, *витые*, *воблые*,

гнутые. Медники и оловянники приготавливали тазы, котлы, подсвечники с большою затейливостью; золотошвей продавали разные вышитые вещи, например, *золотые шапки* и проч.

Кроме этих металлов, в Россию ввозили другие металлы и минералы: киноварь, которую употребляли для печатей и продавали за фунт от 9 алт. до 2 р., а за золотник в половине XVII века по 1 деньге, сурьму, ртуть, сулему, квасцы, купорос, буру, ярь, и между прочим значительное количество белил, бывших тогда в большом употреблении у русских женщин.

*Драгоценные камни.* Обычай украшать драгоценными камнями золотые сосуды и наряды привлекал в Россию драгоценные камни; они составляли предмет покупок значительных лиц и богачей. Они доставлялись отчасти из Европы через Архангельск, но более от греков и персиян. Употребительные у русских камни были: яхонты синие и красные, лалы, изумруды, вареники, бирюзы, бечеты, баканы, ящиры, достоканы (топазы), винисы. Яхонт был самый дорогой камень. Красный яхонт продавался до 10 р. за золотник, синий 4 р., лал до 10 р., лаловые серьги стоили от 50 до 60 р., изумруды от 4 до 10 р.

*Строительный камень и кирпич.* Постройка каменных церквей, а впоследствии и каменных домов, развивала у русских торговлю известью, камнем и кирпичом. Во многих городах преимущественно занимались каменным и кирпичным промыслом. К ним принадлежат: Вологда, Псков, Белоозеро, Переяслав, где занимались деланием извести. Эти места были исходными пунктами торговли камнем и кирпичом, которою занимались гости в большом размере. По Волге ходили суда, нагруженные кирпичом, известью и бутовым камнем. Кремни составляли также немаловажную ветвь этого рода торговли, ибо в 1648 году один купец отправил 37000 кремней с одним транспортом. Камень измерялся паузками, кремни сотнями, а известь бочками. Иностранцы покупали у русских алебастр, и Алексей Михайлович, узнавши, что во ста верстах от Холмогор находится алебастровая гора, хотел захватить в свои руки этот промысел для отправки за границу. О ценности каменных материалов можно судить по следующим известиям. В Москве в XVII веке кирпич продавался от 2 р. 10 алт. до 2 р. с полтиною за тысячу, а в городах дешевле и дороже, судя по мере близости к заводам; на заводах от 1 р. 10 алт. до 2 р. Известь в Москве продавалась от 4 алт. до 6 алт. 4 деньги за бочку.

*Слюда.* В старину вместо стекла употребляли слюду для оконниц и фонарей. По известию англичанина в XVI веке она пропускала более света, чем тогдашнее стекло и при том в фонарях не подвергалась воспламенению. Главное добывание слюды было в Керецкой волости Соловецкого монастыря, который обязан был давать в пользу царя десятину. Работа при добыжке слюды производилась бобылями. В 1667 году царь Алексей Михайлович приказал искать слюду в казенных селениях и хотел этот промысел, как многие другие, сделать уделом правительства. В XVII веке находили слюду около Енисейска. Слюда продавалась пудами, фунтами и четьми. Первоначальная торговля ею была совершенно меновая, ибо север нуждался в хлебе и получал его за слюду. 350 чётей ржи в Керецкой волости отдать за полторы чети слюды казалось дешево. По виду и качеству своему она разделялась на белую и красноватую. Последнего рода слюда ценилась гораздо дешевле белой. При Алексее Михайловиче большая часть слюды больше аршина в длину принадлежала казне, ибо и с частных промыслов брали царскую десятину лучшими кусками, а обрезки оставляли людям. Пуд слюды продавался в Москве от 15 до 150 р., смотря по качеству и по величине кусков. Слюдный фонарь в Москве стоил два алтына с деньгами.

## 2. Предметы царства растительного

*Земледельческие и огородные произрастания.* Россия в XVI и XVII веках не заключала в себе такого хлебного богатства, как впоследствии, потому что плодороднейшие края настоящего нашего отечества не составляли еще его достояния; наши значительные пространства земли были бесплодны. Северная Россия вообще не представляла условий плодородия. В Сибири хлебопашество хотя и возникло в XVII веке, но не могло удовлетворять потребностям страны. Плодороднейшие части Московии были: на северо-восток от Москвы Ярославская область, на юг все побережье Оки, земля Рязанская и земля Нижегородская. Берега Оки давали от 20 до 30 зерен. На север были плодородными берега Северной Двины, которая весенним разливом так увлажняла землю, что, несмотря на суровость климата, произрастания родились без особых усилий человека. В XVII веке, по мере заселения пространства на юге от Оки, между Окою, Волгою и Доном развивалось земледелие, и, эта страна сделалась местом хлебного закупа.



Более распространенные роды хлебных произрастаний в России были: рожь, овес и гречиха. Пшеница производилась в малом количестве, как это можно видеть из того, что при Феодоре Иоанновиче для английского посольства, ехавшего в Москву, приказано было устроить на всю дорогу запас пшеничной муки, как такого предмета, который не везде можно было достать, тогда как другого рода муку велено было забирать на дороге. В одной ружной грамоте царь жалует монастырю в ругу разного рода хлеб, а пшеницы дает только на просфоры. Сатирический русский поэт XVII века недаром выразился, что русская земля *орет все рожью*.

Хлебная торговля происходила везде, где только были торги; крестьяне привозили туда свои хлебные произведения. Но главный сбыт хлеба был: 1) на вино; купцы скупали хлеб у производителей и подряжались откупщикам и кабацким головам, а равным образом доставляли на винокурни хлеб и сами владельцы пахотных земель; некоторые же занимались сами винокурением и поставляли в казну готовое вино; 2) в Москву, где купцы скупали его значительными партиями; 3) в бесплодные страны севера и в Сибирь; 4) за границу. В XVII веке в Москве хлебные торговцы составляли товарищества, и, по мере действий таких товариществ, цены на хлеб то возвышались, то упали. Весною на стругах, зимою на санях привозили в Москву хлеб разного рода; зорко сторожили его закупщики, кулачки и вязчики, которые *где купят, вяжут и вязкою многую цену на все прибавляют*. Они покупали у приезжих хлеб оптом и ссыпали в свои амбары и лавки, а иногда, чтоб не допустить товарищей купить в Москве дешево, заранее выезжали из города и покупали у приезжих хлеб на дороге до въезда в столицу. Другие посылали своих агентов в хлебородные уезды: Темниковский, Краснослободский, Шацкий, Рязанский, Мосальский, Калужский и другие, и покупали на месте дешево, а привезя в Москву, продавали по высокой цене. Эти-то скупщики доставляли хлеб на винокурение. В 1660 году правительство собрало московских гостей, торговцев гостиной сотни, суконной и черных сотен. После многих толков и рассуждений определено ограничить покупку хлеба так, чтоб утреннее время до шестого часа в Москве определить исключительно на покупку хлеба бедным людям, по малым количествам, а потом уже допускать скупщиков, которые покупали хлеб для перепродажи. В этом же году правительство приказало всенародно объявить жителям уездов Калужского, Воро-

тынского, Мосальского, Медынского, Перемышльского, чтоб они непременно возили хлеб в города, и особенно в Москву, и не продавали его на местах скупщикам. Но закупки хлеба в Москве не прекращались, как это видно из постановления в 1681 году, по которому закупщикам и подрядчикам запрещено покупать большие партии хлеба и отдавать их в казенные подряды, а равно не перекупать хлеба за городом, с целью вздорожить его.

Хлебная торговля была обложена пошлиною, называвшегося померною, прежде с разных мер, а с 1653 года с ценности: по 10 денег с рубля, на основании общепринятой тогда таможенной системы пошлин. В Москве хлебная торговля была в заведовании померной избы, где находился голова, ларечный целовальник и выборные целовальники. Они обязаны были ходить по хлебным торжкам и на хлебные пристани и осматривать каждый пришедший с хлебным грузом струг, допрашивать: какой хлеб, сколько мерою, по какой цене, и собирать померную пошлину. Другие целовальники собирали пошлины с мелкой продажи. Вообще целовальники померной избы обязаны были наблюдать за правильностью мер, чтоб везде были казенные четверики и чтоб закупщики не отступали от установленных правил. Собирая пошлины, они записывали в книги: сколько с кого их взято, чей хлеб, откуда привезен, и вели таким образом статистику хлебной торговли.

В сибирской торговле хлеб занимал важнейшее место; купцы приобретали сибирские меха, променивая на них русские товары и хлеб в особенности. В Верхотурье, Соликамске, Чердыне — везде был большой закуп хлеба, как казенного, поставляемого для служилых, отправляемых в Сибирь на службу, так и частною, скупаемою промышленниками. Главный торговый пункт был Верхотурье, а потом Ирбит. Правительство приказывало, чтоб покупаемый в Ирбите хлеб непременно был отправляем в Сибирь, а отнюдь не в русские города. В Сибири средоточием хлебной торговли был Тобольск. Правительство заботилось о том, чтобы в Сибири не поднималась цена хлеба, а потому в наказе, данном в 1664 году тобольскому воеводе, приказывается не допускать служилых людей до покупки большого количества хлеба, свыше пяти или шести четвертей. Купцы возили хлеб в северные области для промена его на рыбу и ворвань. Сбыт за границу происходил через Архангельск и Нарву, и также в Польшу и Малороссию западным сухим путем. Но вообще торговля хлебом не могла принять большого размера от разных причин. Европейцы в те времена

еще не нуждались в хлебе до такой степени, как впоследствии. Правда, Россия и тогда уже могла продавать большее или меньшее количество избытка, но за границу отправлялся преимущественно только хлеб, купленный казною, которою частные люди были ограничены в вывозе. Вообще же, по старинным понятиям, вывозить в большом количестве хлеб за границу считалось опасным и вредным. Таким образом, торговцы, жалуясь в своей челобитной на англичан и прочих иноземцев, выражаются, что они оголодали русскую землю, вывозя за границу хлеб. Мы часто встречаем запрещение вывозить хлеб за границу. Так при Михаиле Федоровиче в 1622 году запрещено вывозить за границу хлеб, мясо, рыбу, мед, воск и благородные металлы. В 1649 году запрещено вывозить хлеб в Швецию. В 1661 году запрещено на бусах, отправляемых на Караганское пристанище для торговли с Хивою и Бухарию, возить на продажу хлеб и металлы. В особенности правительство воспрещало отпуск хлеба в Литву, когда с этим государством происходили неприязненные столкновения.

Хлеб продавался зерном, мукою, толокном и печеными хлебами. Продажа зерном была в большом ходу, потому что, по старому обычаю, многие имели у себя ручные мукомольные мельницы и приготавливали муку для домашнего употребления. Но во многих местах, как в Москве, так и в городах, были водяные и ветряные мукомольные мельницы; некоторые водяные мельницы принадлежали казне и отдавались в оброк. Мельники покупали зерно у приезжих землевладельцев, превращали его в муку и были сами продавцами своего произведения на рынках и торжках. Мука содержалась в рогожевых мехах или в кулях: в куле вмещалось двенадцать четей с осьминою муки, а зерна до тринадцати четей. Мука пшеничная была трех сортов: *расхожая*, *толченая* и *крупчатая*. Первая была достоинством вдвое ниже второй, вторая вдвое ниже третьей. Мука ржаная была *несеяная* или *решетная* и *ситная*; последняя высшего достоинства и высшей цены. Обыкновенно *хлебами* назывались хлеба ржаные, пшеничные назывались *колачами*. Ячмень сеялся мало в сравнении с другими хлебными произрастаниями и употреблялся на солод для пива. Крупа была гречневая и овсяная, пшено не было в большом употреблении. Хлебное зерно продавали бочками и полубочками, из них известны бочка *селедовка* и бочка *смоленская*, составлявшая половину первой; овес в XVI веке продавался *мехами* и *полумехами*; мех имел четыре *зобни*. В Новгородской земле хлебное зерно измерялось ко-

робами, во многих других местах и на севере *пузами*. Но узаконенные меры были: чети, осьмины, полуосьмины и прочие деления осьмины, как выше объяснено.

Урожай и неурожай хлеба определял его дешевизну или дороговизну. По случаю неурожая ценность хлеба возвышалась иногда в десять раз более обыкновенной. В XVI веке стоившее три деньги в неурожайный год стоило тридцать денег. Относительная дешевизна или дороговизна хлеба зависела также от большего или меньшего удаления от хлебных полей, напр., в Сибири и северных странах хлеб был постоянно дороже, чем в середине России. Большой или меньший закуп хлеба имел влияние на повышение цен. Наконец, военные обстоятельства изменяли ценность хлеба в высокой степени, потому что правительство должно было кормить все свое войско, собирая таким образом значительное количество хлеба от жителей. При Иоанне III бочка овса стоила 10 денег, десять печеных хлебов 10 денег. При Василии Ивановиче рожь ценилась от 4 до 6 денег за четверть, в Вологде до 14 денег. В Новгороде короб ржи ценился в 10 денег, короб овса от 5 до 10 денег. В 1589 году средняя ценность сена означена по четверти рубля за копну вообще, воз соломы стоил две деньги. В Москве пшеница, по известию Флетчера, иногда была столь дешева, что продавалась по 2 алтына за четверть, но в неурожайные годы она доходила до 13 алтын. По Торговой книге бочка (заключавшая в себе четыре четверти) пшеницы продавалась в Москве 13 алт. 2 д. (около 1 р. 27, на нынешние деньги), гречневых круп 6 алт. 4 д.; провоз до Мурманского (Северного) моря обходился в 10 алтын, а составитель Торговой книги, исчислив московскую цену, им назначенную, и провоз в 10 алтын с бочки, почему-то говорит, что бочка пшеницы обойдется самому купцу в 33 алт., а бочка гречневых круп в 22 алтына. В начале XVII века цены на хлеб в Новгороде были: овес по 5 алт., рожь по 10 алт., пшеница 25 алт., мука пшеничная 1 р. за четь. В Москве, во время осады Тушинским вором, цена на рожь поднялась до 2 р., пшеницы и круп до 3 р., сена воз стоил до 4 р. Когда положение столицы стало свободнее, то Шуйский, желая успокоить жителей провинций на счет распространившихся слухов об ужасной дороговизне в столице, писал, что четь ржи стоит полтину, четь овса 4 гривны, воз сена 20 алтын; следовательно, эти цены в то время были довольно обыкновенными. В 1614 году в Белозерске четверть овса продавалась по 8 1/3 алтын. В Пермской земле в 1615 году четь ржи стоила 11/2 р., круп и толокна 2 р.; в Чердыне круп,

толокно и рожь круглым числом ценились около 21/2 р. за четверть. В Шуе четь муки ржаной стоила полтину, пять четей сухарей полтора рубля. Цена ржаной муки в Москве при Михаиле Феодоровиче была от 6 алт. 4 д. до 31 алт. 4 д. за четь, пшеничной от 10 алт. до 40 алт. за четь; но обычная цена была первой от 8 до 16 за четь, пшеничная же мука была очень разноценна, судя по качеству; таким образом, расхожая была в 12 алт. 3 д., а лучшая 13 алт. 3 д. за осьмину. В середине России, напр., в Калуге, средняя цена ржаной муки и овса была 12 алт. На севере России рожь ценилась от 7 алтын до 1 р. за четверть. В западной Сибири средняя ценность ржаного хлеба и овса была 1 р. за четверть, а круп и толокна до 11/2 р.; в Енисейске пуд ржаной муки стоил полтину, на Лене пуд ржи стоил полтора рубля. При Алексее Михайловиче, в первой половине его царствования, средняя цена ржаной муки в Москве была 18 алт. за четверть (около 1 р. 10 к. по нынешнему счету), пшеничной от 30 алт. до 1 р. 6 алт. 4 д. (около 1 р. 86 к. и 2 р. 50 к. на наши деньги), гречневых круп до 22 алтын 4 д., гороху четь от 5 алт. до 32 алтын; в Вологде, в те же времена, ржаная мука стоила 11 алт. 2 д., гречневая крупа 18 алт. 4 д., овсяная крупа 21 алт., пшеница от 26 алт. до 1 р., просо 1 р. 10 алт., толокно 13 алт. за четь, а пшено 53 алт. 2 д. за пуд. В 1674 году рожь ценилась за четверть 60 и 70 тогдашних копеек (от 20 до 23 алт. 2 д.), солод 45 коп. (15 алт.), овес 32 к. (10 алт. 2 д.), гречневая крупа 1 р. 20 к. (1 р. 6 алт. 2 д.), пшено 1 р. 60 к. (1 р. 20 алт.), белой муки пуд 1 р. В Пскове и Новгороде во второй половине XVII века средняя цена ржи, овса, ячменя вообще была от 10 до 22 алт. В Суздале и Владимире четверть ржаной муки стоила около полрубли или 16 алтын 3 д.; в Арзамасском уезде, в конце царствования Алексея Михайловича, рожь продавалась от 16 алт. 2 д. до 20 алт. за четь, пшеница 16 алт. 4 д. за четь, но дурная пшеница продавалась даже по 6 алтын, ржаные сухари по 10 алт. за четь, а овес от 5 до 10 алт., смотря по качеству: пять алтын платили за самый дурной овес. В Олонце в 1658 г. четверть ржи стоила 40 алтын с полугривною. В западной Сибири и в Пермской области цена ржи была от 1 р. до 2 р. 11 алт. за четь, гречневых круп и толокна до 11/2 рублей за четверть. В 1689 году четверть ржи оценена в 4 гр., что составляет 13 алт. 2 д., овес в полуполтину, а четверть пшеницы в 20 алт. Ценность хлебных произведений в оптовой продаже была дешевле, чем при продаже четвериками.

Печеный хлеб для продажи приготавливали хлебники и калачники, и часто сами были продавцами своих изделий. Впрочем, в городах существовали хлебные и калачные прасолы, которые сами не пекли хлебов, но покупали у хлебников и калачников и продавали. В Москве хлебники и калачники составляли особые корпорации, обязанные наблюдать установленные от правительства правила. Для этого издавна производилась хлебная *известка*, посредством выборных целовальников из торговых людей, которые, соображая ценность муки, устанавливали: сколько следует из четверти муки выпекать хлебов. Такие известки производились не ежегодно, но возобновлялись в неопределенные сроки; всегда бралась большая или меньшая ценность муки, какая по соображениям могла оказаться на будущее время, и по этим предполагаемым ценам определялось, сколько из четверти следует печь хлебов и калачей. Хлеба и калачи были алтынные, грошечные, двухденежные и денежные. Число выпекаемых из четверти хлебов и калачей разных цен было различно, смотря по ценности муки; чем мука дороже, тем больше из четверти выпекалось алтынных, грошевых, двухденежных и денежных калачей, и наоборот, при дешевизне муки хлебов и калачей было меньше, но зато они были объемистее. Хлебники покупали муку несезонную, и для того в своих заведениях имели *мукохлевы*. Хлеба были ситные и решетные, калачи тертые и коврижчатые. Кроме хлебов, продавались пироги: это были большие пшеничные хлеба и стоили до трех алтын. Перед Пасхою продавались куличи. В 1651 году кулич стоил 3 алтына 2 деньги. Повсеместное употребление пива, браги и кваса развило у русских издавна промысел солодовничества. В Москве солодовники составляли особое сословие, и жили на известных отведенных местах. В Твери занимались солодовничеством многие посадские семейства и вывозили солод на продажу. В разных местах этот промысел занимал рабочие руки и составлял предмет торговли.

В старину продажа померная на четверти, осьмины и четверики касалась не только одних хлебных произрастаний, но относилась также к овощам и плодам. Лук, клюква, брусника, сухие грибы, репа, орехи, яблоки, груши и проч. продавались четями. Впрочем, для них существовали и другие меры: яблоки высших сортов, так называемые наливные, сохранявшиеся в Москве в погребах, продавались счетом, огурцы *тысячами*, малина и вишня *кузовами*, чеснок *плетеницами*, соленья *кадями* и *чанами*. В половине XVII века в Москве четверик луку стоил 3 алт. 2 деньги, в

Вологде четверть луку 21 алт. 2 деньги. В Москве свежих огурцов тысяча стоила 91/2 алтын, кадь соленых огурцов 10 алт., чан соленой капусты 20 алт., ведро рыжиков 9 алт., кузов малины 11 алт. Арбузы и дыни составляли лакомство знатных, привозились из Астрахани или воспитывались в парниках, и вообще были немногочисленны в торговле. В 1674 году в Москве дыня продавалась от 1 до 4 алт.

Хмель составлял предмет повсеместной внутренней торговли. Его разводили повсюду, между прочим в Пермской землс у солвинских и у иренских татар и вогуличей; хмель променивался ими на русский хлеб. В Москве продажа хмеля производилась в особом ряду. На всех торжках это был обыкновенный товар. Хмель продавался по 12 рублей за берковец. Продавался также и кипами; это были огромные кучи; цена их зависела от веса. Дрожжи в Москве продавались так, что за 2 алт. 2 деньги можно было закупить дрожжей для выпечения хлебов из целой четверти муки.

Торговля сеном производилась на сенных площадках, и самая продажа носила название *трушенья сенного*. Сенное *трушенья* отдавалось на откуп, а иногда на волю посадским людям. Таким образом, в Муроме сенное *трушенья* было шестнадцать лет на откупу, а в 1640 году пожаловано посаду безоброчно. Сено продавалось *копнами*, *возами* и *остромками*; два острамка составляли воз. В конце XV века воз сена ценился в 2 алт.; в 1582 году копна сена стоила полполтины. В 1652 году острамок сена стоил от 5 до 6 алт.

*Казенное вино.* В XVI веке, до Феодора Иоанновича, продажа вина ограничивалась ярмарками и торжками, где ставились временные кабаки. Но вообще правительство преследовало порок пьянства и не хотело его распространения в народе. Борис ввел казенную продажу вина с целью доставить казне новый источник доходов. В первые годы правительство получало от 800 до 3000 рублей. С тех пор казенное вино, пиво и мед составляли собственность государя. Продажа напитков совершалась в кабаках, а с 1653 года на кружечных дворах. Борис хотя первый ввел казенные кабаки, но вскоре должен был уступить народному нерасположению к этой мере и, вступив на престол, уничтожил кабаки в Новгороде, желая преклонить к себе народ, ибо *от тех кабаков были всяким торговым посадским людям нужда, и убытки, и теснота, и оскудение*. Воеводы жаловались Михаилу Феодоровичу, что пьянство в кабаках производило разорение народа, и за такие замеча-

ния получали выговор, с подтверждением увеличивать кабацкие сборы и унимать от пьянства служилых людей.

Продажа вина совершалась двумя способами: через верных кабацких голов и целовальников, выбранных из торговых людей и приведенных к присяге, и через отдачу на откуп. Впоследствии, при Алексее Михайловиче, откупы были уничтожены. В Москве царское вино хранилось в царских подвалах и продавалось с отдаточного двора. Производство вина было казенное и подрядное. Около Москвы в XVII веке было много казенных винокурен, но количество производимого ими вина далеко не было достаточным. Кабачные головы и откупщики (где продажа была на откупе) гнали сами вино, покупая нужные запасы: первые на казенные, вторые на собственные деньги. Поэтому кружечные дворы представляли большие фабричные заведения: это были обширные дворы, обнесенные со всех сторон забором и стеною, наподобие укреплений. В дворе находились избы, где собирались *питухи*, — ледники, подвалы, поварня, где делалось пиво и мед, винокурня с кладовою и торговые бани. Кружечные дворы заводимы были в больших городах и селах. В 1677 году постановлено, чтобы кружечные дворы существовали только в тех поселениях, где не менее 500 душ, и притом непременно на вере, а не на откупе. Из кружечных дворов головы и целовальники посылали целовальников с вином на ярмарки и торжки, где были заводимы временные кабаки.

Кроме производства вина на казенных винокурнях и кружечных дворах, владельцы имений держали у себя винокурни и уговаривались с верными головами или откупщиками доставлять на кружечные дворы известное количество ведер. В случае неустойки, они подвергались пени против подрядной цены вдвое, почему, вступая в подряд, непременно должны были представить поручительство. Подобные подрядчики или уговорщики, как они назывались, выставляли вино и на московский отдаточный двор, но сверх того казною покупаемо было вино в Малороссии и Ливонии и привозилось в Москву для продажи.

Казенное вино продавалось ведрами, полуведрами, четьми ведра, братинами, кружками и чарками. Вино продавалось дороже последними тремя мерами, чем ведрами, полуведрами и четьми. Братины составляли восьмую часть ведра, а кружка составляла двенадцатую часть кабацкого ведра. По качеству вино в XVII веке разделялось на простое, вино с махом, двойное и тройное. Вино с махом заключало  $\frac{2}{3}$  простого и  $\frac{1}{3}$  двойного.



Ценность вина была различна, смотря по урожаю или неурожаю хлеба и вообще по цене его, и потому в одних местах России вино било дешевле, в других дороже. В 1607 году в Новгороде вино на публичной продаже имения было продано за 10 алтын ведро. При Михаиле Феодоровиче, в 1619 году, в Шуе цена вина была четыре рубля с полтиною за шесть ведер, а в 1625 году в Москве ведро вина продавалось по два рубля. По известию Кошихина, при Алексее Михайловиче подрядчики ставили на отдаточный московский двор вино от 8 до 10 алт. за ведро, а в 1660 году подрядчики ставили на кружечные дворы вино от 16 до 23 алт. за ведро, а казна продавала от 4 до 8 р. В 1663 г., по уничтожении медных денег, вино везде продавалось ведрами, полуведами, четвертями по 1 р., кружками по 1 р. 16 алт., а чарками ведро по 2 р. Позже братина вина в продаже стоила от 5 до 9 алтын, следовательно, за ведро от 1 р. 7 алт. до 2 р. 7 алт. 2 деньги. В 1681 году постановлено, чтобы на московском отдаточном дворе и везде в Москве вино продавалось ведрами, полуведами, четвертями, по полтине за ведро, а при продаже кружками и чарками по 20 алт. за ведро, а в городах различно, судя по тому, как дорог хлеб, но принято правилом, чтобы непременно цена продаваемого от казны вина была вдвое выше той, по которой сама казна покупает вино, а при продаже кружками и чарками прибавлялась, сверх этой двойной ценности, одна гривна. Так в северных городах: Устюге, Холмогорах, Коле назначено продавать вино по 20 алт. за ведро, в распивной же продаже кружками и чарками по 23 алт. 2 деньги; в Восточной России, напр., Кай-городке, ведрами по 1 р. 3 д. за ведро, а кружками и чарками дороже этой суммы одною гривною. В начале XVII века в Новгороде ведро простого пива оценено в 4 алтына. При Алексее Михайловиче бочка пива стоила 2 р., и эта цена приносила казне большие выгоды, ибо солоду четверть стоила 45 коп., а берковец хмеля от 11 до 12 руб.

Казенная продажа вина оказывала тем вреднейшее влияние на нравственность и благосостояние жителей, что она предназначалась почти для одного только простонародья.

Бояре, дворяне, помещики, вотчинники, гости, торговцы гостиной и суконной сотен и многие знатные посадские люди имели право — одни всегдашнее, другие временное — готовить вино, пиво и мед для домашнего обихода. Это право уничтожено отчасти в 1682 году на том основании, что правительство сбавило цену на казенное вино кружечных дворов и ограничило ее двойным ко-

личеством той суммы, по какой оно приобреталось казною; однако, помещикам и вотчинникам предоставлялось еще право готовить в своих домашних поварнях горячие напитки. В то же время постановлено покупать вино не иначе, как на чистые деньги, а не в долг, по памятям, за поручительством, и под заклады, как это делалось прежде.

Всякое тайное производство вина и горячих напитков называлось корчемством и преследовалось строго законом. Относительно покупки иностранного хлебного вина и разных привозных водок еще в 1649 году сделаны были запрещения, но, впрочем, при Алексее Михайловиче в Москве можно было покупать иностранные водки на аптекарском дворе штофами. Штоф тминной водки в 1674 году стоил 16 коп. или 5 алт. 2 д.

*Лен, пенька и холст.* Лен и пенька были важными произведениями в древней русской заграничной торговле, и англичане почитали их главным предметом отвоза. Лен разводился преимущественно около Вологды, в стране, прилегающей этому городу, что, как мы уже заметили, подало англичанам понятие о важности этого города в торговом отношении, а также в Новгородской и Псковской областях. Коноплю преимущественно разводили в Смоленской области около Дорогобужа, Вязьмы и Трубчевска. Иностранцы замечали, что производство льна и пеньки, равно и торговля этими произведениями не могли в России достигнуть той степени развития, как бы можно было надеяться, по причине налогов и стеснений, какими были отягощены и торговцы, и поселяне, не обеспеченные в своем имуществе. При Алексее Михайловиче близ Москвы разводили значительное количество льна и пеньки в селе Измайловском. Русский лен был двух родов: большой и малый; первый ценился выше второго в алтын на берковец; он был длиннее последнего, чище и без костриц; его шло на берковец 22 тюка, а последнего 27 и 28 тюков. В Новгороде был род льна, называемый сланец. В Новгороде лен и пенька продавались связками. В 1613 году в Новгороде сто тридцать связок льна и пеньки укладывались на двух возах и ценились в 20 р.

Русские в половине XVI века не умели делать канатов, почему англичане завели прядильную канатную фабрику, допуская на нее и русских рабочих. Основателем ее был Ричард Грей; и в 1558 году приготовили на ней 70 000 пудов. В конце XVI века русские уже отправляли за границу чесаный лен, трепаную коноплю и канаты. При Алексее Михайловиче в семи верстах от Москвы построено заведе-

ние для обработки льна и пеньки. Оно находилось под заведованием царицы и приносило царской казне большие выгоды. Царь содержал работников с ничтожными издержками и, получая большое количество пеньки и льна, променивал на дорогие иностранные сукна и материи. В дворцовых селах Смоленского края с крестьян собирался оброк пенькою, что составляло в 1667 году 881 берковец.

В XVI веке русские выделяли холст очень дурно, и знатные выписывали для себя заграничный, а во второй половине XVII века из Архангельска отправлено за границу русского холста, называемого *ватманом*, 168 500 аршин. Около Москвы дворцовая слобода Кадашевка вся населена была *хамовниками* (ткачами), вырабатывавшими полотно, и царица Наталья Кирилловна носила исключительно русское кадашевское полотно: это подвигало вообще знатных особ употреблять отечественные полотняные изделия вместо выписных. В Ярославском уезде, в селах Брейтове и Черкасове, жили *хамовники* и *деловцы* и ткали убрusy, полотенца, скатерти: им заказывали за деньги работать и цари. В Вологде приготавливали холщовые цветные палатки, такие же пологи, продаваемые в Москве. В Валдайском и Каргопольском уездах, на Двине и Ваге также занимались приготoвлением холста. Несмотря на то, русские не переставали выписывать иностранные полотна из Голландии, и притом совсем не умели делать парусины, так что, когда для новопостроенного при Алексее Михайловиче корабля «Орла» нужно было на паруса парусины, то выписано из Голландии 5000 аршин. Каждогодно в Архангельск привозили несколько сот кусков холста, сшитые рубашки, постельные наволоки, салфетки, одеяла и проч.

Вывоз льна и пеньки за границу происходил у нас двумя путями: через Архангельск и Нарву, и направлялся во Фландрию, Голландию и Испанию. В XVI веке этот товар направлялся в Балтийское море, но уже в конце XVI века туда отправлялось незначительное количество, а главный сбыт его был в Холмогорах. В конце XVII века этот товар отправлялся снова преимущественно в Балтийское море; замечали, что количество вывозимой пеньки увеличивалось с каждым годом. В половине XVI века берковец конопли в Новгороде стоил 11/2 руб., в Холмогорах 2 руб., льна в Новгороде 3 р., в Холмогорах 4 р. В 1557 г. англичане получали лен, платя от 20 до 28 шиллингов за центнер. Фунт белевых ниток стоил от 3 до 4 денег. В конце XVI века лен продавался в Холмогорах 27 алт. 3 д. за пуд пли 8 р. с четвертью за берковец, а конопли трепаной пуд

11 алт. или берковец 3 р. 10 алт. Во Фландрии пуд русского льна ценился по 1 руб., конопли пуд по полтине; в Голландии пуд льна — 40 алт., конопли 13 алт. 2 д.; в Испании пуд льна — 2 р., конопли по 1 р. Как много вывозилось того и другого, видно из того, что в Торговой книге советуют договариваться с иностранцами на большие количества, напр., на 100 и на 1000 берковцев. В Новгородской земле лен продавался *кирбями*, в Олонецкой земле *куделями*, каждая кудель стоила в 1658 году 30 алт. В 1674 г. берковец льна стоил в Нарве 7 р. Русское полотно продавалось на *холсты*; холсты размерялись на аршины и локти. Холсты, т. е. куски полотна, были разномерны: напр., были куски в двенадцать арш. и в 10 аршин, в двенадцать локтей и в 10 локтей. Русский холст был не шире трех четвертей аршина. В начале XVII века холст лощеный в 12 аршин продан за 12 алт., холст в 10 локтей за 9 алтын. Холст, называемый людской, т. е. тот, который покупался господами для их слуг, в XVII веке продавался за аршин по одному алтыну и дешевле, напр., 5 алт. 2 д. за 10 локтей; крашенина (крашеный холст) по 2 алтына. В Сибири, в Енисейске, аршин холста стоил 3 алт. с гривною. Холст ватман, отправляемый, как выше сказано, за границу, стоил от 5 до 6 к. или до 2 алт. за аршин. Рубаха, годная для простонародия, стоила от 8 до 10 алтын, а портки 3 алт., рубаха женская высшего разряда — 1 р., рубаха мужская, вышитая золотом по воротнику — 2 р., портки с тачками, как носили зажиточные люди, 12 алтын; простыня белая в начале XVII века стоила 2 алт. 2 д., вологодский полог на большую кровать стоил в Москве от 1 р. 20 к. до 1 р. 50 к.

О ценности в России привозных полотен можем судить из некоторых отрывочных известий. Так, в конце XVI века на одном корабле привезли 23 амстердамских полотенца в 2 р. и 155 в 1 р. Полотна продавались поставами. Они были различного цвета. Поставец амстердамского полотна дымчатого цвета стоил от 40 алт. до 1 р. 10 алт.; сахарного цвета полотна были дороже. Немецкие нитки продавались мотками на фунты: фунт стоил 3 алт. 2 деньги. Во второй половине XVII века гамбургское полотно продавалось от 6 до 9 р. за кусок, английское от 1 р. 50 к. до 1 р. 90 к., арш. от 5 1/2 до 9 р. Куски были различны: иногда в 22 аршина и более. Между полотняными материями был в употреблении *отласец посконный*, употребляемый на переплет церковных книг в XVI веке.

*Льняное семя и масло* скупались купцами в Новгороде, Костроме, Ярославле, Вологде и сбывались за границу че-

рез Архангельск. В конце XVI века бочка-селедовка масла стоила в Москве 2 р. 25 алтын, а в Архангельске продавалась по 6 р. 10 алтын. В половине XVII века четь льняного семени стоила от 18 алт. до 26 алт.; пуд семянного масла стоил 1 р. 10 д., а ведро 27 алт. В конце царствования Алексея Михайловича ежегодно отпускалось его в Архангельск до 600 ластов, ценою по 24 р. за ласт.

*Бумага писчая* хотя делалась еще при царе Иоанне Васильевиче, но дурно, а потому русские постоянно получали ее из-за границы. В Торговой книге ценность бумаги означена 4 гривны за стопу. В половине XVII века стопа бумаги стоила 22 алтына, в мелкой продаже дестями она продавалась от 7 до 8 денег за десть. При Алексее Михайловиче было в России две бумажные фабрики, одна на реке Пахре, другая на Яузе. Обе производили дурную бумагу, а потому правительство не могло обойтись без ввозной бумаги. Цари поручали покупать бумагу для производства дел в приказах гостям в Архангельске, и в 1645 году куплено было 860 стоп; в 1664 году куплено 300 стоп; в 1671 году привезено 28454 стопы обыкновенного формата, в 1672 — 3079, в 1673 — 643 стопы. В последние годы царствования Алексея Михайловича белая бумага хорошего достоинства стоила от 1 р. 10 к. до 1 р. 40 к. за стопу, низшего — от 70 к. до 1 р. 20 к., амстердамская — от 1 р. 30 к. до 1 р. 50 к. за стопу; французская почтовая была в той же цене. Русская бумага, несмотря на то, что была ниже иностранной, продавалась по той же цене: от 1 р. до 1 р. 50 к. Игральные карты были предметом торговли: в 1674 году они стоили от 23 до 36 к. за дюжину.

Хлопчатая бумага привозилась к нам кипами и мешками, отчасти из Европы через Архангельск, отчасти с Востока через Астрахань. В 1585 году гривенка хлопчатой бумаги стоила 2 алтына. В половине XVII века фунт хлопчатой бумаги стоил 4 алтына. В 1674 году пуд ее стоил от 21/2 до 5 рублей. Из бумажных материй, привозимых в Россию, известны: бязь, бумазея, киндяк бумажный, камка бумажная, кумач, китайка, миткаль, разные узорчатые одеяла и скатерти. Они получались преимущественно с Востока, но в XVII веке начали ввозить к нам бумажные материи и европейцы. В XVI веке аршин бязи стоил 1 алтын. В XVII веке кумач продавался по 40 алт. за кусок, бумазея около алтына за аршин, узорчатые скатерти и бумажные материи от 3 до 31/4 алт. за аршин; за 27 аршин китайки можно было заплатить около десяти алтын.

*Поташ, смола, смольчуг* составляли постоянно предмет вывоза в большом количестве, но торговля этими произведениями была чрезвычайно стеснена участием власти. Эти статьи в России легко было добывать по причине большого количества лесов. Цари имели казенные заводы, на которых производились работы под надзором выборных целовальников; сверх того, многие частные лица содержали заводы, называемые на тогдашнем языке будными станами. Некоторые принадлежали боярам и ближним людям, другие гостям и торговцам. Со всех заводов собиралась в пользу царя десятая бочка. Множество таких заводов рассеяно было по землям Новгородской и Двинской. В украинских городах развели поташные заводы в таком изобилии, что правительство сочло это вредным, как по причине истребления лесов, так и потому, что на эти заводы определялись бродяги, и будные станы сделались притонами бесчинства. В царствование Алексея Михайловича лучший поташный завод принадлежал Морозову и находился в Сибири, а второй после него был казенный завод. Поташ покупаем был голландцами и фламандцами. В Московии покупали его бочками и продавали в Архангельск на вес. Бочки, в которых содержался поташ и зола, носили особое название зольных бочек и заключали каждая пол-ласта. Кроме собственно поташу, выделявали еще низкий сорт его, называемый вайдаш, в который русские для плутовства подмешивали и простой золы. Поташ продавался пудами, хотя и в бочках, а вайдаш просто бочками.

Смола покупалась иностранцами преимущественно для корабельных потребностей. Смола в 1647 году сделалась исключительным достоянием царской казны. Ее покупали головы и целовальники у жителей, а казна перепродавала иностранцам. С 1659 по 1664 год вывозная торговля смолою отдана на откуп англичанину Гебдону, так что все производители должны были сбывать ее непременно этому откупщику.

Царь Алексей Михайлович взял в свои руки торговлю поташем и смольчугом; вместе с пенькою, юфтью, соболями и говяжьим салом, они были в числе указных шести товаров, которые запрещалось частным торговцам сбывать прямо иностранцам, но следовало доставлять в казну, в Приказ большого прихода, через выборных людей, скупавших их повсюду; казна же продавала их иностранцам. Эти товары сбывались в Архангельск на царских подводах. Таким образом, казна была фактором между русскими промышленниками и иностранными купцами. В 1664 году эта

монополия была уничтожена; позволено всем и каждому торговать с иностранцами, а вместо того повышена пошлина гривною с рубля.

В XVI веке поташ покупался у смолян, производивших этот материал, по 12 р. за ласт. Бочка русского поташа стоила в Голландии от 4 до 8 рейхсталеров. Бочка смолы стоила 1 р. 10 алт. 4 деньги; смола была двух сортов: черная и бурая; первая была выше достоинством и выше ценою. Бочка вару в 7 пудов стоила 21/2 р., деготь 5 р. за берковец. В половине XVII века бочка смолы в Москве стоила 1 р., в Архангельске продавали ластом от 18 до 20 р. за ласт, как дегтя, так и смолы; тогда производством ее занимались преимущественно на берегах Онеги и Ваги.

В половине XVII века заведены были в России мыльные заводы, куда находил сбыт поташ. Лучшим русским мылом считалось костромское — крепкое и серое цветом. Мыло продавалось досечками. Досечка простого мыла в 21/2 локтя стоила 50 к., а костромское 2 р. 70 к. Из привозного мыла в Торговой книге упоминается мыло холяпское и испанское: оно продавалось брусками и на вес. Холяпского тысяча брусков стоила от 16 до 25 р., а испанское от 21/2 до 4 алтын за фунт.

*Производство стекла* в России началось при Михаиле Федоровиче и развилось при Алексее Михайловиче. Существовало два завода, измайловский и духанинский. Стекло обрабатывалось довольно сносно, но не могло удовлетворять всем потребностям. В половине XVII века каждый год в Россию привозилось от 80000 до 90000 листов стекла из Ливонии и Малороссии, а из Европы привозили зеркала, зеркальцы и зеркальные стекла в большом количестве, в особенности мелкого размера, потому что такие были в ходу, и всякий жених считал обязанностью подарить своей невесте зеркальце. В конце XVI века дюжина зеркалец стоила 40 алтын. Привозили также стеклянные стаканы, чарки, разные скляницы, очки и прочие изделия. Зеленая скляница в XVII веке ценилась в 2 алт., венецийская скляница в гривну. Хрустальные вещи были очень дороги; хрустальная белильница при Алексее Михайловиче стоила 2 р. Янтарь в конце XVI века стоил фунт от 10 алт. до 4 рублей.

*Лесной товар:* бревна, кряжи, брусья, дрова, лубья, тес, доски, верей, жолобы, лыки, уголь, мох, лапти, рогожи и разные деревянные изделия, ложки, осяди, блюда, солонки, чашки, лучины и также срубы или готовые избы служили предметом торговли на торгах, в особенности в

городах, прилегавших к судоходным рекам. В таких городах образовывались лесные пристани или лесные рынки. В столицу привозили чрезвычайное множество леса и дров, а также деревянные хоромы, нужные для жителей по причине беспрестанных пожаров. Вместе с тем привозилось много мха, нужного для законопаченья этих складных домов. Лесная порубка производилась преимущественно на Двине, на Клязьме, по Волге, около Вязьмы, Калуги, Козельска и других мест, прилегавших к Окскому бассейну. Вывоз леса за границу происходил через Двинский порт из ближайших придвинских лесов, а также из Смоленской области по Западной Двине. Иностранцы покупали у русских старые хвойные деревья на мачты.

В половине XVI века англичане покупали в Тотъме бревна от 15 до 16 сажень в длину и в пол-аршина в узком конце отруба. При Алексее Михайловиче на реке Юге нашли превосходные мачты и тогда составила из иностранцев компания для вывоза леса за границу; она взяла у казны на откуп торговлю лесом и в 1670 году нагрестила 4 корабля. Эта компания получала огромные барыши, ибо дерево обходилось за всеми издержками от 25 до 30 коп., а она продавала его от 4 до 5 рублей.

*Мастерства:* плотничное, столярное, судостроительное и мелких деревянных изделий были издавна распространены в России. Были места, которые славились какими-нибудь изделиями; так, напр., в Козьмодемьянске работали ящики и сундуки; в Калуге делали красивые ложки и разные деревянные вещи, нужные для домашнего обихода; в Каргополе красные корельчатые ложки; в Холмогорах делались сундуки, обитые красною юфтью или тюленью кожей, известные в Москве под именем холмогорских: в них привозили в Москву товары и потом продавали для домашнего обихода очень дешево. В Вязьме работали сани, известные по всей России под именем вяземских.

Бревна, брусья и тесницы продавались, смотря по их величине. В Новгороде в XVII веке большое бревно в длину от 8 до 9 саж., а в отрубе от 8 до 9 вершков стоило от 8 до 10 алтын. Бревна меньшей величины продавались дешевле, напр., 7 сажень в длину за 5 алт., в 3 сажени — пол-алтына, причем, разумеется, бралась во внимание толщина. Тес в Новгороде продавался сотнями, и сотня стоила от 1 р. до 2 р., смотря по величине досок от 2 до 6 сажень. В Москве семисаженный брус стоил 15 алт., брус в 5 сажень 8 алт. 2 деньги, четырех и трехсаженный брус от 5 до 6 алтын, бревна еловые в три сажени четыре деньги с по-



ловиною за бревно. Тридцать тесниц сосновых стоили 2 р., сорок тесниц в три сажени каждая длиною 1 р. 16 алт. 4 д. На Олонце сто бревен стоили 6 р. О ценности дров в Москве в XVII веке можно судить по тому, что дров на восемь денег достаточно было для того, чтоб напечь хлеба из четверти муки. В XVI веке (1582 г.) сажень дров ценилась от 3 до 4 алтын, или около 40 коп. серебром на нынешние деньги. В Галиче сажень дров продавалась по 10 и 14 к. В Верхотурье сажень дров ценилась от 20 алтын до 11/2 р., тысяча веников 2 р., пуд лыка 10 алт., досчаник, приготовленный для плавания, от 40 до 50 р. Из деревянных изделий красные ложки работы Кирилловского и Ферапонтского монастырей с костью в Вологде проданы десяток за 4 алтына, а без костей — 60 окрашенных стоили 8 алтын. В Москве десять ложек стоили от 5 денег до 2 алтын. Они покупались и сотнями. Сотня ложек ценилась 20 алтын. Стол дубовый с ящиком стоил 9 алт. 2 деньги, сани и телега в XVI веке около 1/4 р., а в половине XVII века сани стоили около пяти алтын с половиною; за десять саней заплачено один рубль пятнадцать алтын; дуга 2 деньги, короб лубяной для укладки товаров в XVI веке 4 алтына, а короб для седла в XVII веке 8 денег, дубовый сундук, окованный железом, с замком, 6 р. 8 алт. 2 д. В Сибири из деревянных изделий в повсеместной продаже были лыжи, продаваемые около 3 р. Рогожи преимущественно делались в Валдайском уезде, и, кроме большого внутреннего употребления, отправлялись за границу. Они разделялись в торговле на большие, малые и двойные или циновки; последние были особенностью России: они делались из липовой коры очень плотно. Рогожи продавались сотнями и тысячами по разным ценам: малые от 1/4 до 2 р., большие от 2 1/4 до 3 руб., цена же циновок простиралась до 4, 5 и 6 р. за сотню. В половине XVI века ежегодно вывозили их в Двинский порт до 400 000, в Нарву более 2000. Тысяча рогож продавалась тогда от 12 до 18 р. Три рогожных мешка, в которых возили муку, стоили 6 денег, по 2 деньги за мешок, в Москве.

*Вина, бакалейные и москотильные товары.* Иностранцы привозили в Россию вина, сахар, пряности, лакомства. Вина продавались бочками, которые были *беременные* и *полубеременные*, также *галенками*. Но с 1614 года запрещено иностранцам продавать привозные вина галенками, а позволено единственно бочками и *куфами*. Это постановлено в предупреждение розничной продажи, которую, однако, и потом иностранцы позволяли себе в подрыв

местным торговцам в Архангельске. Продолжение тайной розничной винной продажи принудило правительство в 1667 году издать новые строжайшие правила и назначить в наказание двойную пошлину за противозаконную розничную продажу вина, а русских, покупающих таким образом, постановило подвергать пени (заповеди): за первый раз 1/2 р., за второй 1 р., а за третий два рубля.

В половине XVII века вообще вкус к винам в России распространился так, что иностранцы привозили вин гораздо более, чем прежде, и потому правительство, страшась, чтоб распространение вина не подрывало казенной продажи хлебного вина, повысило пошлины на иностранное вино.

В XVII веке иноземные вина были преимущественно французские и испанские, продавались бочками, кувалами, пипами и оксофтами. Их привозили голландцы, англичане, немцы и шведы: последние покупали французское вино и доставляли в Россию. Распоряжение, чтоб иностранцы продавали привозные вина единственно оптом, сосредоточивало эту торговлю в руках гостей и вообще первоклассных купцов. Купленные у иностранцев вина содержались в погребах в бочках и продавались галенками и кружками; галенкою называлась посуда из луженой меди, довольно неприятная по своей физиономии. В Москве погреба были вместе и тавернами, потому что покупателю всегда предлагали пробовать покупаемое вино из скляниц, и под этим предлогом продавали его чарками и рюмками. Погреба были частные и казенные. Каждогодно царь, отправляя гостя с целовальниками в Архангельск для закупки товаров, приказывал в числе их покупать значительные пропорции вин, которые служили не только для царского стола и нужд двора, но и для публичной продажи. Все частные погреба были обложены оброком. В Москве, при Алексее Михайловиче, за погреб платили до 9 р. годового оброка.

Употребительные у русских в XVI и XVII столетиях виды вин были: мускатель, аликанте, канарское, романей, бастерт или бастр, испанское, ренское, малвазия, кинарея, белое и красное французское церковное, разные привозные водки, уксусы романейский, ренский с травкою и без травки и разносол, питье, воспрещаемое в розничной продаже вместе с другими винами и водками. В конце XVI века платили за бочку аликанте и мускателя 12 р., канарского — 10 р., ренского красного и испанского — 6 р., жунского — 2 р. В начале XVII века в Новгороде ведро романей продано за 25 алт., ведро ренского — 30 алт., аликанте — 1 р., разносолу 13 алт. 2 д. При Алексее Михай-

ловице цены на вина были гораздо значительнее: за пипу испанского платили от 50 до 80 р., белого французского — от 20 до 30 р., красного — от 10 до 18 р. Вина высшего достоинства подвергались большой пошлине; аликанте, бастр, малвазия и мускатель облагались пошлинами в 60 ефимков за бочку, романея по 40 ефимков, ренское 20 ефимков, а церковное вино подвергалось только шести ефимкам с бочки; с водок брали по 6 ефимков с погребца. Сверх того иноземцы, которые пожелали бы сами везти на оптовую продажу во внутренность государства свое вино, платили еще пятиалтынную с рубля пошлину.

Торговля с англичанами развивала в русской жизни употребление сахара и сахарных лакомств. Под именем сахара у русских разумелся не один собственно сахар, но вообще всякие лакомства, конфеты и пряности, приготовленные в сахаре, так, напр., говорилось: сахар на гвоздике, сахар на корице, сахар на миндальных ядрах и проч. Собственно сахар у нас разделялся на головной, коробчатый, сахар на спицах, горшечный или мелис и леденец. Головной сахар был белый и желтый. В конце XVI века фунт белого продавался от 1 гривны до 1/4 р., желтого от 8 д. до гривны, коробчатого — от полугривны или 1 алт. 4 д. до гривны или 3 алт. 2 д., сахар на спицах стоил от 3 до 5 алтын, леденец от 10 до 20 алтын. По другому известию, в конце XVI века головного сахару привезено было однажды 42 пуда по 4 р. пуд, и 12 пудов коробчатого также по 4 р. пуд. Переводя тогдашние деньги на настоящие по весу и принимая рубль XVI века за 3 р. 20 к. XIX века, мы найдем, что пуд сахару стоил тогда на наши деньги 12 р. 80 к., а фунт продавался от 32 коп. до 3/4 р. и до 80 коп., но худшего сахару фунт доходил и до 16 коп. В 1674 году пуд горшечного сахару или мелиса стоил от 4 до 6 р. (на наши деньги от 8 р. 32 к. до 12 с полтиною), серого леденцу от 6 до 10 р. (от 121/2 до 211/2 на наши деньги). Сахар привозился в Россию в бочках, ящиках, коробках в небольшом количестве, потому что он составлял только принадлежность лакомств. В 1673 г. ввезено леденца 42 бочки, горшечного сахара — 2 бочки, конфетного — 2 бочки и 6 ящичков леденца. Вообще ежегодно можно положить количество привозимого в Россию сахара от 50 до 60 бочек, но каждого рода привоз был то более, то менее в тот или другой годы; напр., один год привозили более горшечного сахара, другой год более леденца. Приготовленных в сахаре плодов и пряностей привозили более, чем чистого сахара, напр., в 1671 году привезено было 943 бочки винных ягод,

367 бочек и 200 коробов изюму, 98 бочек вареного имбирю, 70 бочек конфет; в 1672 году — 677 бочонков винных ягод, 481 тонну изюму и 1 бочку коринки; в 1673 — 834 тонны и 1608 коробов вареного имбирю и 35 бочек вареных лимонов. В числе подобных лакомств были сахар на имбире и арбузы, вареные в сахаре; первого в XVI веке фунт стоил от 10 до 20 алт., а последних — фунт от 3 до 10 алт. В XVII веке пуд цукатов стоил от 31/6 до 6 рублей.

Русские чрезвычайно любили всякие пряности, особенно перец, шафран и корицу; вообще пряности составляли необходимую принадлежность хорошего стола. Из привозимых в Архангельск пряностей упоминаются: перец, шафран, мускатный цвет, корица, кардамон, гвоздика; они продавались мешочками, ящиками, бочонками, кипами и связками. Перцу привезено было в 1671 году 162 связки, в 1672 — 121 связка, в 1673 — 5 бочонков, 116 кип и 50 связок; шафрана в 1671 — 4 бочки, 3 ящ., 2 пуда, в 1672 — 4 мешочка, 1 ящ., 3 ф., в 1673 — 1 ящ., 11 ф.; кардамона в 1671 — 3 боч., 2 мешка, в 1672 — 6 тонн, 1 связка, 5 н. и 5 ф.; гвоздики в 1671 — 11 бочек, в 1672 — 6 бочек 3 п., в 1673 — 9 боч. 4 п.; корицы в 1672 — 2 пучка, 3 ящ., в 1673 — 6 пуч., 2 связки и один мешок. Мускатный орех и цвет привозились в небольшом количестве. Деревянное масло привозилось в значительном количестве; в 1671 привезено 666 бочек, в 1672 — 135, в 1673 — 801.

Перец был черный и дикий; первый ценился выше — в 5 р. за пуд, а дикий — в 1 р. за пуд. В розничной продаже в XVI веке перец продавался за фунт от 20 денег до 12 алт., но средняя его цена была от 6 до 8 алтын. В первой половине XVII века фунт перцу стоил 6 алтын. Шафран в XVI веке продавался за фунт от 2 до 3 р., в половине XVII века — от 1 р. 8 алт. и 1 р. 25 алт. до 2 р. 10 алтын. Гвоздика и корица в половине XVI века продавались фунт по 1 р., в конце XVI века по 20 алтын, в половине XVII века по 26 алт. 4 д.; в 1674 г. пуд от 25 до 70 рублей. Кардамон в XVI веке фунт стоил полтину, в 1674 году пуд стоил от 18 до 25 р. Имбирю фунт стоил в половине XVI века от 5 до 8 алтын, в конце XVI века от 4 до 6 алтын 4 д., а в половине XVII века от 2 алт. 8 д. до 5 алт. 2 д. Пуд изюму в конце XVI века продавался от 13 алт. 2 д. до 1 р. средняя же цена была ему 23 алт. 2 д. за пуд, а в половине XVII века, от 11/3 р. до 2 р. Черносливу пуд стоил в XVI веке от 11 грошей до 1/2 р. Винные ягоды продавались в XVII веке от 11/2 до 21/4 р. за пуд. Пуд сарацинского пшена в XVII веке стоил 2 р. 19 алт. 4 д., рису от 80 коп. до 1 р. 60 к. Орехи были в торговле:

скатные, зеленые, белые, синие; зеленые ценились в XVI веке 2 р. за пуд, а синие — от 2 алт. до гривны за фунт, орехи белые — от 1 алт. до 1 алт. 4 л. за фунт; в XVII веке орехи вообще продавались от 16 до 30 р. за пуд. Грецкие орехи продавались счетом. В конце XVI века тысяча грецких орехов стоила 11 алтын. Лимоны покупались поштучно; в конце XVI века платили 2 д. за штуку. Чернильные орешки в XVI веке продавались от 6 до 8 талеров за пуд, т. е. от 2 р. 5 алт. 3 д. или от 2 р. 18 алт. 1 д. до 2 р. 29 алт. 2 д. или до 3 р. 12 алтын. В XVII столетии пуд чернильных орешков продавался от 3 до 6 рублей. Ценность деревянного масла в первой половине XVII века была от 3 алт. 1 д. до 4 алт. 2 д. за фунт, во второй половине — за фунт от 2 алт. 2 д. до 12 алт. 3 д., или от 2 до 5 р. за пуд. Ладан привозился в Россию в значительном количестве: так в 1671 г. привезено было 401 бочка и 13 ящиков ладану. Русские любили самый лучший ладан. В XVI веке ладан продавался около 7 р. 5 алт. 5 д. или около 8 р. 13 алт. 2 д.; в конце XVI века пуд белого ладана продавался от 2 до 9 р., желтого — от 1 р. 21 алт. 4 д. до 7 рублей. В первой половине XVII века ладан продавался и по 10 д. и по 5 алт. за фунт, следовательно пуд от 1 руб. 18 алт. до 6 рублей. В конце царствования Алексея Михайловича белый ладан продавался от 6 до 10 р., а серый от 3 до 6 р. за пуд. Кроме европейцев, к нам привозили ладан с Востока; так в 1694 году армяне привезли 951/2 пудов ладану. Ладан худшего достоинства назывался тимьян: пуд его стоил от 20 алт. до 1 р. В России обрабатывали его тимьянные мастера. В 1623 году в Пскове такая работа происходила в тимьянной избе перед таможенными головами и целовальниками, с платою пошлины по 7 алт. с пуда. Они обязаны были класть две доли ладанной муки и одну долю воску.

При царе Алексее Михайловиче в числе разных привозных трав явился и чай: его привозили из Китая вместе с бадьяном. Он продавался фунтами в бумаге, на которой были написаны китайские буквы. Иностранцы говорили о нем как о редкости. Русские начинали употреблять его в питье с сахаром и приписывали ему целительную силу против желудочного расстройства, а также считали предохранительным средством против пьянства и пили его на похмелье. Сибирские купцы привозили хину: ее продавали в Москве от 10 алт. до 13 алт. 2 деньги.

Солодковый корень и ревень составляли предметы вывозной торговли. Солодковый корень собирался по берегам Волги и продавался в Москве кусками, очищенными от коры. В конце XVI века он стоил от 1 — до 3 алт. за фунт, а во второй половине XVII века за пуд до 2 р. 13 алт. 2 д.

Торговля ревенем была собственностью казны. Ревень получался из Бухарии и переходил в Европу через Россию. Главное место его склада было в Тобольске, куда привозили его бухарцы и татары, а также и русские, ездившие за ним в Бухарию. В 1657 году под смертной казнью запрещалось торговать ревенем. Привозившие в Тобольск ревень должны были отдавать его начальству, которое препровождало его в казну. При Феодоре Алексеевиче позволялось купцам, записавшись в Тобольске, везти самим ревень в Москву на продажу в казну, но отнюдь не торговать им на дороге, так, чтобы количество, доставляемое в Москву, было именно то, которое значилось в проsezей грамоте, выданной в Тобольске. В конце XVII века ревень отыскивали и в Сибири. В 1696 году приказано искать это растение вокруг Нерчинска, а год перед тем торговля ревенем в Тобольске, Томске, Таре и повсюду в Сибири, как в городах, так и в степях, где ревень мог быть найден, отдана на откуп гамбургскому торговцу Попне на пять лет, с тем, чтоб он не продавал его беспошлинно за границу и не посылал для закупки его по Сибири немцев.

Несмотря, однако, на строгие меры, тайная торговля ревенем была сильно распространена в России. В торговле отличали два рода корня ревеня: копытчатый и черенковый. Первый, высшего достоинства, различали по доброте, круглоте, плотности и черно-красному цвету; фунт ревеня в XVI веке стоил от 2 до 10 алтын.

В XVII веке довольно важна сделалась торговля мареною. Многие торговцы оставляли другие предметы, чтоб обратить деятельность на марену. Марена произрастала около Терка на протяжении шестидесяти верст. Жители Терка и гребенские козаки собирали ее и продавали персидским купцам. Каждогодно из Персии приходило по шести и осьми бус, которые нагружались единственно мареною. Потребность ее увеличилась от того, что в Персии в то время распространено было тканье окрашенных материй. Марена продавалась мехами; каждый мех заключал полтора пуда. Персидские купцы платили за пуд от 17 до 20 алт., а в Персии продавали от 11/2 р. до двух рублей. Однажды, когда воровские козаки преградили путь персидским купцам до Терка, цена на марену в Персии возросла до 7 р. за пуд. Правительство долго не знало об этом промысле, пока один кадашовец, желая отличиться, не подал проекта взять его промысел в казну. Царь Алексей Михайлович приказал объявить жителям Терка, чтоб они не продавали марены в Персию, а доставляли ее в казну, которая будет

платить им с прибавкою. В 1650 году велено было соорудить в Терке амбары для складки марены и выбрать поля для обработки марены наймом от казны.

Из произведений России, вывозимых за границу, остается упомянуть о листовничной губке и капе. Первая добывалась на севере и отпускалась за границу; в половине XVII века отпуск ее приблизительно доходил до 60 пудов. Купцы различали ее доброту по мере мягкости, легкости, ломкости, белизны и сладости на вкус. Древесная губка считалась хуже, ибо она была жестка. Капом назывался застывший березовый сок, который в твердом состоянии можно было употреблять на токарные работы. Из него делали ложки и чарки для питья. Он был очень дорог. Ложка из капа стоила от 40 до 60 коп., чарка до 5 рублей.

Табак — зелье, строго запрещенное — был, однако, в повсеместном употреблении, ибо русские его любили. В половине XVII века фунт табаку стоил 40 алтын.

### 3. Предметы царства животного

Многочисленные реки России издавна были богаты рыбою. Обычай свято сохранять посты, установленные церковью, развил у нас повсеместно рыбные промыслы и рыбную торговлю. Не было реки или озерца, где бы не занимались рыболовством; не было базара, где бы рыба не была самым обыкновенным товаром. Но места, где производились рыбные ловли и куда поэтому склонялась рыбная торговля, были берега Северного моря, русла рек: Двины, Ваги, Пинеги, Мезени, Волхова; озера: Ладожское, Белое, Ильмень, Селигер, Переяславское, Галицкое; русла Шексны, Оки, Дона и Волги на всем ее протяжении, а в особенности в низовьях около Астрахани. Обыкновенные, составлявшие ценные предметы оптовой торговли, роды рыб были: семга, треска, лососина, сиги, лодога, снетки и красная рыба, под которую разумелись: осетр, стерлядь, белорыбца, белуга, севрюга (по старинному шеврига). Ловля семги производилась у Колы, на лапонской границе, в Двине выше Архангельска, в Мезене, Пинеге, Емце и вообще по морю, но главный промысел был в Коле, где ежегодно налавливали ее до 200 ластов. Треска и палтус ловились на Ледовитом море. Сиги, лососи, лодоги, сырты были рыбы Ладожского озера и его протоков, например, реки Волховца. Снетки ловились в Белом озере и также в северных реках. Сельди — в Белом море, в разных реках и озерах: в Селигере, в Валдайском, в Галицком, но лучшими сель-

дями считались переяславские. Ловля красной рыбы производилась преимущественно в Волге; но красная рыба попадалась также в Оке, в Белом озере и в Шексне, где стерляди отличались вкусом. В Волге ловилась рыба, обращавшая на себя внимание по своей оригинальности, под названием чиберика; у нее нос был длинный, как у утки, на обоих боках спины черные и белые пятна, брюхо белое; она была очень вкусна. Кроме этих пород, во всех русских реках ловились и продавались для местного продовольствия: щуки, пескари, окуни, карпы, лещи, судаки, караси, голец и проч. Места, удобные для рыбной ловли, назывались *тонями*, с придачею названия рыб, которых преимущественно ловили в этих тонях. Так, например, были тони сиговые, снетейные. В Заонежье рыбные ловли означались *мердами*, на Волге *связками* и *частиками*. Частик составлял сто сажень: в частике было две связки с четвертью, следовательно, в связке было около 45 сажень. В Астрахани места, где ловили красную рыбу и приготавливали ее соленьем, назывались *учуги*. Ловля рыбы совершалась неводами, баграми, крюками, которые у рыболовов назывались *гарвами*, *переметными керешками*, *тагасами* и проч.; рыболовы во время ловли плавали на карбасах, челнах и саках, а иногда строили *езы* или заборы для загона туда рыбы. По временам года рыбная ловля называлась вешняя, осенняя и подледная. Хотя рыболовством занимались повсюду, но во многих местах рыболовы составляли слободы, т. е. корпорации или цехи, с правами, сопряженными с этим занятием. Такие рыболовные слободы существовали, например, на Галицком озере, на Переяславском, где жили царские рыболовы, на Волге близ Романова, на Белом озере, на Дону, и во многих других местах. Они носили название *рыбных ловцов*. Вместе с тем занимались рыбным промыслом другого рода работники, и назывались *неводчики*. В некоторых местах, например, на Переяславском озере, рыбные ловцы обязаны были доставлять натурою сельдей в определенное время, и такое хозяйственное для царя значение Переяславского озера сохранялось неизменно в продолжение веков. На Белом озере рыбный промысел отправлялся также записанными в особый список и составлявшими корпорацию ловцами; они были обязаны ловить рыбу для царской казны. В городе был построен рыбный двор, где находился приказчик, а с ним целовальники, выбранные из белозерских посадских: они выбирались жителями для надзора, кладки, отправки рыбы, для строения садков, где хранилась пойманная живая рыба до



отправки. Сверх того, жители были обязаны доставлять гребцов. Живая рыба отправлялась в прорезных судах до Ярославля, под надзором выборных целовальников и доходила до Москвы, где шла во всеобщую продажу от казны. Рыбные ловцы не смели никому продавать царской рыбы на сторону. Но кроме рыбных ловцов, составлявших сословие, обязанное ловить рыбу для царской казны, на белозерские ловли допускались и другие оброчники или закупщики-крестьяне и бобыли разных ведомств, платя пошлыны с лодок, с челнов, с саков, с керешек, а впоследствии, в половине XVII века, с ценности рыбы. В других местах рыбные ловцы хотя составляли сословие, но, вместо доставки рыбы натурою, платили оброк по оброчным грамотам и продавали улов свой свободно. Таким правилам, между прочим, подчинены были ильменские и галицкие рыболовы. Тверские и городенские рыбные ловли отдавались на оброк. На Ладожском озере хотя ладожские рыболовы и ловили для царя известное количество рыб, например, при Феодоре Иоанновиче 640 сигов, 640 лодог и 640 сыртей, иной год более, другой менее, смотря по приказанию, но тем не менее промышленникам предоставлялось свободно заниматься рыбною ловлею, с платою оброка или побережной пошлыны. От этих пошлын освобождались только монастыри, имевшие тарханные грамоты. На реке Волховце, на Птиновском острове (и вероятно, на всем Ладожском озере) за ловлю сигов бралась, кроме побережной пошлыны, за отвоз в Ладогу наловленной рыбы *ладощина*, а за набивку рыб в бочку *бочечное*. В Вотской и Обонежской пятинах рыбные ловли отдавались в оброк рыболовам и для сбора законных пошлын посылались сытники. На Северном море, Двине и вообще на северных реках рыбные ловли были свободны, и, по-видимому, не считались царскою собственностью, как в других местах, но в пользу царя собиралась десятая рыба со всех, кроме монастырских людей и крестьян, когда монастыри пользовались тарханскими грамотами, освобождавшими их от этих повинностей. Выборные целовальники ездили по рыболовням и собирали рыбу натурою, а потом привозили к воеводам. Так в 1663 году значится 61 пуд десятой рыбы, доставленной двинскому воеводе. На Волге, как, например, в Казани, Самаре, Саратове и Царицыне, царские ловли отдавались с оброка. Астраханские рыбные промыслы, самые важнейшие в России, составляли исключительное достояние царской казны и производство их совершалось различным способом: или верные головы и целовальники держали их на вере и про-

изводили промышленные работы хозяйственным образом, или они отдавались на откуп, или на оброк. Те же места, которые оставались без производства работы, назывались порожжими. Рыбная ловля в Астрахани обходилась вообще дороже, чем в других местах Волги, потому что наем работников стоил дороже, поэтому производство работ от казны и содержание рыболовных заведений на вере почиталось не вполне выгодным делом и правительство считало гораздо удобнее отдавать учуги на откуп, а собственно рыбные ловли (связками и неводами) на оброк. В половине XVII века высокая откупная плата за учуги произвела то, что множество учугов оставались порожжими; поэтому правительство приказывало отдавать их дешево, лишь бы они не оставались пустыми. Некоторые же учуги отдавались в оброк, например, в 1652 году патриарху, с платою 427 р. 24 алт. 1 д. в год. Работы на учугах производились наемными людьми, прибывавшими для этого промысла ежегодно из верховых провинций, а на патриарших учугах патриаршими людьми, нарочно для того посылаемыми под надзором патриарших приказных или детей боярских. Откупщики учужинные и рыболовы-оброчники были сами продавцами рыбы, и правительство приказывало, чтоб рыбные ловцы продавали одну только свежую рыбу, а отнюдь не соленую, чтоб не подрывать учужников. Поэтому продажа свежей рыбы с астраханских ловель была под надзором нарочно назначенных для того детей боярских.

Владельцы частных рыбных ловель также производили работы или посредством своих людей и крестьян их, или отдавали их на оброк. Рыбные ловли Соловецкого монастыря в XVII веке были все отданы на откуп. Оброчная плата за частные ловли зависела нередко от положения их и от соседства, так что иногда никто не хотел брать в оброк рыбных ловель по причине беспокойного соседства. Ловли, производимые посредством крестьян, назывались в Новгородской земле вежами, как это видно из одной грамоты, где ловля *вежами* противопоставляется ловле *с оброка*. Вообще частные рыбные промыслы не могли иметь большого значения по причине совместничества казенных. Достаточно для подтверждения этого указать на некоторые случаи. В Казани при Михаиле Феодоровиче; в 1624 году, были различные рыбные ловли: царские, митрополичьи, монастырские, — все они отдавались на оброк. Было замечено, что царский рыбный доход начал уменьшаться оттого, что оброчные ловцы, вместо того, чтоб брать в оброчное содержание царские рыбные ловли, находили для себя вы-

годнее снимать ловли митрополичьи и монастырские, да кроме того отправлялись в Самару и Саратов, где тогда уже развивалось рыболовство. Правительство запретило им брать в оброк владычные и монастырские ловли, равно уходить в низовья, но приказывало непременно брать в оброк царские рыбные ловли. На Волге и Шексне в 1626 году запрещено было продавать красную свежую рыбу, а при Феодоре Алексеевиче митрополичьи рыбные ловли на Ильмене, отдаваемые оброчникам, которые, в свою очередь, раздавали их захребетникам, велено отобрать в казну и платить митрополиту ту сумму, какую давали оброчники.

Торговля рыбою в Московском Государстве была царская и частная. Рыба, доставляемая с астраханских царских рыболовных заведений, состоявших на вере, отправлялась на судах в Москву и лучшая из нее доставлялась к царскому столу, а остальная шла на продажу. Астрахань — важнейшее место добывания рыбы — была вместе с тем важным рыбным рынком. Торговля производилась как свежей, так и соленою рыбою. Свежая продавалась в городе на *исадах*, как выше сказано, самими ловцами, снимавшими воды на оброк. Так как у них скупали рыбу прасолы, которые потом значительно набавляли цену на рыбу, то правительство, стараясь остановить их самовольство, установило, чтобы прасолы являлись на торг не иначе, как после 3-го часа дня, и притом дозволяло им брать барышей не более пяти алтын с рубля. Каждый год приплывали в Астрахань весною и осенью суда и привозили хлебные запасы, а вывозили рыбу и икру; купцы приезжали за рыбою из разных верховых мест, особенно из Казани, Нижнего и Ярославля.

При наборе рыбы на учугах покупатели обращались к начальству и просили дать им сына боярского или целовальника для бесспорной укладки рыбы и платежа пошлины. При нагрузке измеряли рыб казенною мерою. В Астрахани и вообще на Волге под словом *рыба* разумелась известная единица рыбной меры. Так, например, чтоб составить рыбу, нужно было то или другое количество рыбного товара. Рыба разделялась на *полурыбники*. Два полурыбника составляли рыбу; пять *шевриг*, три *теши* и три *косяка* в Астрахани принимались за рыбу. В гребном судне укладывалось от 3000 до 5500 рыб, но обыкновенно судно измеряли в длину и поперек и делали гадательные заключения о вращении в нем рыбного товара. Купцы, возившие из Астрахани рыбу вверх по Волге, оплачивали ее пошлиною в Нижнем, и при этом, как и по поводу соляных

грузов, происходили недоумения: глазомерные расчеты величины судна, без знания геометрии, оказывались ошибочными; при том счет рыб в Нижнем был не тот, что в Астрахани, так что в Нижнем считали на рыбу не пять, но три шевриги и принимали каждую тешу и косяк за целую рыбу в измерительном смысле этого слова.

Рыба в продаже была свежая, просольная и сушеная. Свежая — летом доставлялась к месту продажи в прорезных судах, а зимою мерзлая; просольная продавалась бочками. Белуга и осетрина продавались штуками, что называлось *длинною рыбою*, тешами, косяками и спинками, также рассекались по звеньям и клались в бочки. Осетринные и белужьи *пупки* продавались лукнами. Соленые сиги, семга, лососина, лодога продавались всегда бочками, но вместе с тем и на вес пудами, а мелкие рыбы: снетки, вандыши, хохолки — осьминами, как и грибы. Сушеная рыба была прутовая, вяленая и ветреная. Икра в торговле различалась по цвету, по приготовлению и по месту добывания. По цвету встречается различие между черною и темно-серою; оба рода добывались в Астрахани и вообще на Волге; первый род добывался из осетров и стерлядей, а второй из белуг и назывался также армянскою икрою: зерна ее были величиною с перец. Ловля белуг предпринималась преимущественно для икры, так что при большом изобилии, добывши икру, выбрасывали прочь самое туловище белуги. Была еще икра желтая, добываемая из щук; она составляла пищу для простого народа. По способу приготовления икра разделялась на зернистую или *немятую* и *паюсную*, которая продавалась *стулами*. Главное место добывания икры была Астрахань, где она солилась и часто высушивалась на солнце. Посолив икру, ее клали в корыта, чтоб вытекли жирные соки, потом укладывали в бочки и давили крепко, пока она не превращалась в твердую массу. Мятая или паюсная икра составляла достояние казны. В половине XVII века никто не смел ею торговать, исключая откупщиков, которые снимали казенные икряные учуги. Немятая икра была свободный товар и ценилась ниже паюсной. В Москву привозили ее зимою на санях, и хозяева, купив ее, держали в погребах на льду. По месту приготовления у нас икра была: астраханская учужная, казанская, яицкая. Коллинс говорит, что в его время была в продаже икра, которую делали из белуг, добываемых в Оби. В XVI веке икра продавалась *корсоками* и *лукнами*. Но обыкновенная продажа икры была *пошевами*. Пошев заключал в себе

шесть пудов или немного более. Но икра, как и рыба, продавалась и бочками, а также и на вес пудами.

Торговля рыбой подвергалась бесчисленным мелким поборам, принадлежавшим собственно этой ветви торговли, как-то: с рыбной кладки, с рыбного боя, с рыбной выборки, с рыбной разделки, с мытья, со складки, с бочки. Но в 1654 году эти поборы заменены обычной рублевою пошлиною.

Рыбный товар был предметом вывоза за границу, но трудно определить, в какой степени. Роды рыб, отправляемых за границу, были: семга, палтус и треска — вообще рыбы вод северного бассейна. Жители Кольской области, занимаясь ловлею трески и палтуса, променивали их англичанам и датчанам на сукно, медь и олово. Соленая семга в изобилии отправлялась за границу и продавалась в Голландии, Фландрии и Франции. Икра отправлялась с царских волжских учугов в Архангельск. Алексей Михайлович отдал всю торговлю паюсною икрою иностранцу Ферпорте-ну на десять лет, с условием платить за пуд по три рейхсталера, что приносило царю до 40 000 рейхсталеров. Большое количество русской икры шло в Англию, Нидерланды, Францию и особенно Италию, где она считалась лакомством, под именем *caviato*. В числе вывозных статей рыбного товара был клей, называемый карлук. Он добывался из белуг около Астрахани и принадлежал казне. В 1637 году отпущено было в Нарву 1450 пудов этого товара. Ежегодная добыча его простиралась до 300 пудов. В Москве он продавался от казны.

В половине XVI века (1563 года) лучшая свежая осетрина продавалась по 30 алтын за штуку, стерлядь по 4 алтына, лосось по 3 алт. 2 д., белорыбица 5 алтын; но во время подвоза в приволжских городах, как, например в Ярославле, где число привозной рыбы простиралось до 3000 штук одних осетров, можно было купить целого осетра за 7 алтын. Соленая осетрина продавалась по полтине за штуку, белорыбица по 21/2 алт., бочковая рыба: лососина, лодожина, сиговина продавалась за бочку по 1 руб. 22 алтына, бочка соленой щуки по 40 алтын, семга — за пуд 3 алт. 2 д., паюсная икра — 13 алт. 2 д. за пуд. В конце XVI века соленая кольская семга в Холмогорах продавалась по 2 алтына за штуку; в бочке вмещалось до двадцати штук, а иногда целая бочка достигала цены 4 руб. Бочка переяславских сельдей, в которую входило слишком до двухсот штук, стоила 11 алтын 4 деньги. Треска продавалась сухая и соленая. Первая отправлялась более в Балтийское море, последняя в Северное. Сто штук сухой

трески составляли четыре пуда, и пуд продавался по 13 алт. 2 д., а соленая на Северном море стоила 23 алт. 2 д. В XVII веке пуд трески в Москве стоил 26 алт. 2 д. В Астрахани в 1623 году севрюга по таксе стоила: с икрою 7 денег, без икры 5 денег; осетр и белуга мерою *в пять шевриг* продавались: икряные по 5 алт. 1 ден., а яловые по 4 алт. 1 ден. Но позже, в 1628 году, сто рыб осетровых оценено в 70 рублей, что выходит по 23 алтына за штуку. Вообще в Астрахани можно было у ловцов получать рыбу очень дешево, напр., за 200 стерлядей по 15 грошей или десять алтын, а за 12 больших карпов четыре деньги. В Москве в половине XVII века двадцать белуг стоили 18 р., а 20 осетров 8 р. Семга в половине XVII века продавалась по полтине, а иногда цена ее возвышалась и до 70 и до 80 коп.; соленая при отвозе за границу продавалась по 12 коп. или 4 алтына. Пошев икры в 6 пудов с небольшим ценился в XVII веке около 13 руб., следовательно, пуд немного более 2-х рублей. Фунт икры в Москве продавался 2 алт., десяток пучков вязиги — 1 алт. 3 деньги с полу-денежью. Пуд клею в XVI веке — от 2 до 5 рублей. О цене щук, лещей, окуней и проч. можно заключить приблизительно из того, что в 1652 году в Валдае 200 окуней и 27 щук стоили 1 р. 26 алт. 4 д., а 50 щук, 16 окуней и 17 лещей 1 р. 11 алт. 4 д.

Жемчуг был важным предметом ввоза, потому что составлял самое обычное украшение русских нарядов. Жемчуг разделялся на бурмитский и зерновой. В торговле смотрели, чтоб жемчуг был окатен (кругл), сходчив и водою чист. Ценность его была различна, смотря по величине и чистоте. Жемчуг бурмитский продавался на жемчужины. Жемчужина, весившая две серебряных деньги, продавалась рубля за два, весившая 4 д. — за 4 р., а весившая алтын — рублей по 8. Зерновой жемчуг продавался на золотники и цена золотнику была различна, смотря по тому, сколько зерен войдет в золотник: чем меньше, тем дороже и наоборот. Золотник жемчуга из 20 зерен стоил 1 р. 6 алт. 4 д., из 25 зерен — 1 р. 3 алт. 2 д., золотник в 30 зерен — 1 р., золотник из 50 зерен — полтину, а из шестидесяти зерен — 13 алт. 2 д. Цвет жемчуга всегда принимался во внимание: чем белее, тем он был дороже; желтого жемчугу никто не хотел покупать. Жемчужное ожерелье, какое носили мужчины в XVII веке, можно было купить за 61/2 руб., а женские, судя по достоинству, были иногда очень дороги, напр., в 200 рублей. О степени привоза можно приблизительно судить из известия, относящегося к концу XVI

века, где сказано, что на корабле привезено жемчугу 1203 золотника по 2 руб. с полтиной, а 476 золотн. по 1 руб. 26 алт. По свидетельству Кильбургера в 1672 году привезено в Россию 2000 штук крупного и 9 фунтов мелкого, в 1613 году — 26 фунтов 22 золотника, 21 ящик, 2 дюжины, 19 ниток и 420 штук крупного. Сверх привозного жемчуга, у нас был свой, добываемый в Двине, но он уступал привозному.

*Моржовая кость*, называемая в русской торговле *рыбьим зубом*, добывалась на Северном море, напр., около Мезеня; летом промышленники для моржового промысла плавали на Новую Землю, на Вайгач, но обильнейшее добывание моржовой кости было в Сибири, на Восточном Океане, по берегам Мотыкля, Анадыра и на Северном Океане у устья Колымы. В этих странах в половине XVII века найдено такое огромное количество костей, что ими можно было нагружать суда. Она сбывалась преимущественно в Царьград, Крым, Персию и Бухарию, где ее употребляли на оправу ножей и кинжалов; отчасти она шла и в Европу; сверх того, некоторые употребляли внутрь порошок из моржовой кости, приписывая ему целительную силу. До половины XVII века промышленники обязаны были платить десятую кость в пользу царя, но царь Алексей Михайлович обратил всю торговлю моржовою костью в казенную монополию. В 1649 году в Архангельске и Холмогорах велено объявить, чтоб все везли кости в таможенную, а таможенники будут выдавать им деньги по оценке; на всех торгах велено отбирать *рыбий зуб* и отсылать в казну. Чем крупнее кость, тем считалось ценнее. Иногда пуд выходил из трех костей, иногда из четырех, иногда из восьми и более. Мельче кость, именно от 8 до 6 костей в пуде, считалась гораздо малоценнее. В половине XVII века в Сибири моржовая кость ценилась среднею ценою по 1 р. за фунт. Кроме моржей, ловили еще морских волков, из зубов которых делались ножи.

*Пушные товары* в глазах иностранцев казались самым важнейшим источником богатства России. Но это богатство не было неисчерпаемо. В начале XVI века вся Россия была наполнена бесчисленным множеством зверей, но в половине XVII века в Европейской России промыслы пушных зверей упали, а в конце XVII века чувствовался недостаток мехов уже в самой Сибири. Впрочем, XVI и XVII века были временем высшего значения меховой торговли. До перехода русских за Уральские горы Россия получала меха из лесов, которыми покрыты были ее европейские владения.

Лесистые берега Оки доставляли белок, куниц, горностаев. В Смоленской области непроходимые леса изобиловали лосями, вепрями, рысями, куницами и бобрами. Во многих местах на реках и озерах жили так называемые бобровники, которые, как и рыболовы, составляли особую корпорацию звероловов, обязанных доставлять ко двору меха. Такие бобровники жили, между прочим, в Дмитровском уезде. Но важнейшие и богатейшие места звериных промыслов были берега Ваги, Двины и Печоры. На Устюге ловились черные лисицы, а на Ваге лисицы черные и лисицы пепельного цвета. Берега Печоры обильны были соболями, куницами, бобрами, волками и белками. Открытие Сибири развернуло для России неслыханные сокровища пушного богатства на пространстве от Уральских гор до Восточного Океана. С тех пор вся деятельность мехового промысла перешла в Сибирь.

Торговля мехами разделялась между правительством и купцами или, лучше сказать, главное ядро ее было в руках власти, а купцам доставались избытки. Власть приобретала меха следующими способами: 1) от инородных подданных, плативших мехами дань, называемую *ясаком*; эта дань или доставлялась самими инородцами начальствующим лицам того уезда, где они жили, или же служилые люди посылаемы были в юрты (жилища инородцев) и приносили *ясак* воеводам, которые поручали выборным торговым людям оценивать меха и потом отправлять в Москву. 2) Кроме *ясака*, воеводы получали от инородцев при платеже *ясаков поминки* мехами. Воеводы, как и служилые люди, законно могли принять их, но не смели оставлять у себя; тем менее продавать, а должны были препровождать в казну, откуда им выдавали деньги. 3) Торговцы, покупая меха в Сибири, обязаны были давать в казну десятого зверя и притом самого лучшего; сверх того начальство могло у промышленников и торговцев во всякое время отобрать в казну меха, коль скоро они окажутся высшего достоинства. Кроме употребления мехов на царское жалованье казна вела ими значительный торг. Торговля эта поручалась гостям и целовальникам из торговцев. При Феодоре Иоанновиче купцы от казны посылались для скупа мехов и получали награды за удачные приобретения. В Москве были казенные лавки, где продавались меха. Казенные меха отправлялись в Северный порт, а также променивались грекам, армянам, персиянам, бухарцам на восточные товары. Впоследствии, когда возникли торговые сношения с Китаем, меха сибирские сделались важным предметом вывоза в Китай.



Вообще очень часто казенные меха имели значение ходячей монеты и выдавались в тех случаях, когда нужно было выдавать деньги. Таким образом, посольству, отправленному в Константинополь, вместо необходимой суммы для раздачи милостыни разным церквям и монастырям, правительство дало меха. Стараясь привлечь в Россию серебро, правительство давало поручения гостям и целовальникам в Архангельске променивать меха на ефимки.

Частная торговля мехами была чрезвычайно стеснена совместничеством власти, как мы уже имели случай объяснить. Русские купцы во многих местах не смели торговать в юртах, а в отдаленной Сибири хотя это и было дозволено, но не иначе, как после сбора ясака и притом с условием отдавать в казну лучших зверей. Во многих местах русским промышленникам было вовсе запрещено самим заниматься звероловством, а предоставлялось это занятие одним инородцам, платившим ясак; это касалось до татар, остяков, вогуличей, чувашей. При Алексее Михайловиче купцы не имели права продавать меха высокого достоинства свыше 20 р. за пару и 300 р. за сотню по московской цене. Запрещалось в Сибири частным торговцам отпускать меха в другие государства, особенно в Бухарию, откуда купцы приезжали для закупки мягкой рухляди. В Европейской России запрещалось продавать меха грекам, армянам, персиянам, потому что казна принимала на себя наделение мехами торговцев этих народов. Что касается до торговли в Архангельске, то купец, отправляющий за границу меха, был стеснен тем, что не смел продавать своих товаров, прежде чем не продадутся казенные; притом казенные были лучшие и могли продаваться дешевле, чем частные, поэтому купец всегда рисковал понести убытки. Иногда правительство устанавливало запрещения торговать какими-нибудь из мехов, напр., в 1675 году запрещено было торговать голубыми и черными песцами и повсюду велено было у проезжих торговцев отбирать этого рода меха и выдавать за них деньги. Так в числе указных шести товаров (вместе с пенькою, смольчугом, юфтью, поташом, салом) при Алексее Михайловиче были соболи.

Частные торговцы приобретали меха посредством мены с инородцами в Сибири и в Северной России, мены, дозволенной на гостиных дворах, а в отдаленной Сибири и в юртах, и посредством покупки от казны. Они сбывали меха внутри России и вывозили в Архангельск и Нарву. Нередко меха привозили в Архангельск не из Москвы, где было главное средоточие меховой торговли, но прямо из Сибири

по Двине. Гости и торговцы, стесняемые коммерческим со-  
вместничеством власти, умели изворачиваться в свою поль-  
зу. Так торговцы в Сибири давали воеводам взятки, и  
воеводы оставляли в их руках лучшие меха, а в казну от-  
сылали меха худшего достоинства, уверяя, что лучше до-  
стоинством доставленных в казну не было; в самой Москве  
гости, быв призваны для оценки казенных мехов, оценива-  
ли казенные меха дороже, чем они стоили, а между тем  
сами торговали мехами и скупали в Сибири меха посредст-  
вом своих агентов, успевавших подкупать воевод и приоб-  
ретать для своих хозяев лучшие меха. Таким образом, у  
казны были меха похуже, чем у гостей, а казна должна  
была продавать их дороже, чем гости. Эти злоупотребле-  
ния, однако, послужили еще к большему стеснению мехо-  
вой торговли. В 1697 году совершенно запрещено частным  
торговцам покупать в Сибири меха соболей и черных ли-  
сиц, а предоставлялось купцам, желающим вести этого ро-  
да торг, и внутри и вывозя за границу, не иначе, как купив  
меха в казне.

Из пушных зверей первое место занимали соболи и ли-  
сицы. Соболей продавали парами и сороками. Сверх целых  
мехов продавали отдельно соболя лапки, брюшки, душки,  
соболя опушки. Хвосты продавали поштучно, а лапки,  
брюшки, душки сшивались в меха и продавались парами и  
сороками. Лучшие соболи продавались всегда отдельно от  
брюшек. Соболи держались в мешках из синей холстины,  
которые сверху и снизу открывались, и чем теснее был ме-  
шок, тем считалось лучше для мехов. Соболи сортирова-  
лись на три рода: добрые, средние и плохие. Низший сорт  
соболей назывался недособоли. В конце XVI века в Холмо-  
горах соболи, которые обходились в Перми по 10 р. за сор-  
ок, продавались по 25 р. В XVII веке мы встречаем разные  
цены соболей, смотря по достоинству. В 1608 году пара  
соболей в Новгороде продавалась за 21¼ р. В 1647 году в  
Енисее, следовательно, на месте добывания, 11 сороков со-  
болей оценены в 951 р. 16 алт. 4 деньги, следовательно, по  
86 р. 13 алт. за сорок, а 11 сороков соболевых пупков 44 р.  
23 алт. 2 деньги, следовательно, по 4 руб. 2 алт. 10/11 д.  
При Михаиле Феодоровиче средняя цена соболей означена  
в 50 р. за сорок, т. е. соболи в эту цену расходились более  
других сортов. Но отличные соболи ценились до 200 р. за  
сорок; таким образом, десять сороков соболей, посланных в  
дар визирю в 1643 году, оценены в 2000 р. При Алексее  
Михайловиче обращались казенные соболи, достоинством  
от 30 до 300 рублей за сорок; при раздаче дворянам жало-

ваньи соболями давали особам первой статьи в 50 р., второй — в 40, третьей в 30 р. за сорок, или парами: людям первой статьи — по 10 р., второй — по 7 р., третьей — по 5 р., а *достальным* — по 3 р. за пару. В конце царствования Алексея Михайловича соболя меха были от 10 до 1000 р. за сорок, но соболя в 1000 р. за сорок были чрезвычайная редкость и даже соболя выше 400 р. за сорок не составляли обыкновенного товара. По средней ценности можно положить, что соболя шуба в XVII веке стоила от 40 до 50 р. Соболя хвосты ценились от 3 алт. 2 д. до 10 алт. за штуку, или от 6 р. до 18 р. за сорок. Хвосты ценою выше составляли уже редкость. Иностранцы, покупая у русских соболей сороками, считали их циммерами; циммер составлял 20 пар.

При сборе ясаков слово *соболь*, как в рыбной торговле слово рыба, имело вообще значение меха, так что, например, три бобра зачислены были за восемь соболей; шкуры других зверей измерялись также единицею названия *соболь*: говорилось, что столько-то шкур такого-то зверя составляют соболя.

Лисицы были семи родов: черные, черно-бурые, черно-черевые, бурые, сиводушчатые, белые и красные. Черные лисицы доставались в Восточной Сибири; были известны лисицы *уфимские*, *устюжские*, простые *русские*. Лисьи меха были в большом употреблении, особенно на мужские шапки. На шубы зажиточные люди употребляли соболей. Большое употребление лисьих мехов было причиною, что цены на эти меха поднимались до чрезвычайности, так что в конце XVII века иностранцы находили выгодным ввозить в Россию французских лисиц. Лисицы в Сибири ценились: бурая и красная по полтине, сиводушчатая — по 26 алтын за штуку, а черная — от 10 до 50 р. В XVI веке за мех черно-бурой лисицы платили от 30 до 40 червонцев. В начале XVII века пара лисиц в Новгороде куплена за 80 алт., а при Алексее Михайловиче мех черной лисицы стоил в Москве до 60 р., лапчатый мех, сшитый из черных лисиц, стоил от 20 до 36 р. Белые лисицы ценились от 25 до 30 коп. за штуку. Простые лисицы продавались сотнями, и сотня в XVI веке стоила 2 р. Горлатные лисьи шапки, которые были в большом употреблении, стоили от 1 р. до 10 р.

Куницы в XVI веке ловились по берегам Оки, но впоследствии они там уже составляли редкость и этот зверь добывался на северо-востоке и востоке России. Лучшими куницами считались башкирские. В XVI веке замечали, од-

нако, что русские куницы уступали шведским. В XVII веке в торговле они разделялись на лесных и каменных. Каменных вообще было мало. Куньи меха продавались сороками и всегда почти в целостном состоянии, а не так, как соболи, т. е. с лапками, брюшками, душками вместе; только куньи хвосты продавались отдельно. В XVI веке куницы продавались по 13 р. 2 гр. или по 40 еф. за сорок; они служили предметом отправки за границу. Автор Торговой книги советует подряжаться на сто сороков. Вообще куница ценилась втрое ниже соболя, соразмерно относительному их достоинству. Англичане обратили внимание на меха этого рода, потому что они были дешевле и, следовательно, доступнее большинству покупателей. В XVI веке русские куницы в изобилии отправлялись из Фландрии в Испанию, где стоили 40 червонцев за сорок. В начале XVII века в Новгороде куница стоила около 6 алтын. Кунья шуба без покрывки стоила около 12 рублей. Куницы употреблялись на рукавицы.

Бобры в старину были повсеместным зверем, как это доказывают частные случаи, где упоминается о бобровниках и о бобровых гонах. В XV и XVI веке в земле Рязанской и около Воронежа производилась значительная ловля бобров. Но умножение народонаселения истребило этих пугливых зверей и ограничивало место их ловли преимущественно Сибирью. Впрочем, русские бобры были ниже достоинством, чем сибирские. Количество бобров, столь обильное, уменьшилось скорее других зверей. В 1635 году правительство заботилось уже о сохранении бобров и строго запрещало ловить бобров и выдр капканами. В конце XVII века меха бобров уже к нам ввозили и променивали на бобровую шерсть. Бобры разделялись на настоящие и кошлоки, а по цвету были черные, черно-карие, карие, рыжие. Лучшими считались черные. Бобры продавались десятками и юфтями. В выписи об отправленных через нижегородскую таможню в 1648 году товарах сказано: четыре юфти бобров. В Торговой книге XVI века обычная цена черному бобру означена 2 р., причем автор советует подряжаться доставлять заграничным торговцам до 5000 бобров разом. Судя по степени взимания пошлин, в 1586 году в Новгороде бобер и был ценнее соболя, ибо за 30 бобров брали ту же пошлину, как за 40 соболей. При Феодоре Иоанновиче 5 бобров, подаренных царице, стоили 8 рублей.

В конце царствования Алексея Михайловича ценность бобров за десяток в оптовой продаже была от 8 до 30 рублей. Бобры употреблялись преимущественно на женские

шапки и ожерелья, но нигде не видно, чтоб бобровые меха служили для шуб. Пуд бобровой струи в XVI веке стоил 3 рубля. В 1674 году фунт сибирской бобровой струи стоил 41/2, а украинской — 11/2 рубля. Фунт бобровой шерсти в то же время в Архангельске стоил около 3 рублей. Русские вычесывали бобровую шерсть не только из новых бобровых мехов, но и из поношенных и продавали иностранцам; она отправлялась во Францию, где из нее делались шляпы. При этом русские позволяли себе подмешивать в бобровую шерсть несколько кошачьей; это побудило французское правительство запретить покупку русской бобровой шерсти, а между тем и голландцы начали заниматься выческою бобровой шерсти.

Белки были самым употребительным мехом. Их добывали повсюду; но добываемые в средней России были худшего достоинства — рыжие и короткошерстные. Таковы были белки кляземские. Лучше их считались белки устюжские, вологодские, шувайские, еще лучше мезенские, казанские и вятские, но самые лучшие сибирские, которые вообще мало доходили до Москвы с тех пор, как китайцы стали скупать их и вывозить в свою землю. В начале XVI века белки продавались пучками; в каждом пучке было по десяти мехов. Беличьи меха различались по достоинству; лучшие были с красным отливом (прокрасные), а худшие — молочного цвета. Белки последнего сорта продавались от 1 до 2 денег за штуку. Вообще же белки в Московском Государстве продавались тысячами. Беличьи брюшки отрезывались от спинок, сшивались и продавались отдельно мехами. В XVI веке в Холмогорах белки служили предметом вывоза и стоили за тысячу 40 ефимков, шевней тысяча — 10 ефимков. Автор Торговой книги советует подряжаться с иностранцами и на 100 000 штук. В начале XVII века в Новгороде мех беличий хребтовый стоил около 2 р., а черевий — около 40 алтын. Во Фландрии тысяча русских белок стоила от 25 р. до 40 рублей. При Алексее Михайловиче тысяча белок стоила от 23 до 30 рублей. Хребтовая беличья шуба, покрытая красным сукном, стоила около 8 рублей, а крытая бархателю 5 рублей, непокрытая до 3 р. 20 алт. 4 д.; шуба из беличьих черев — двумя рублями ниже хребтовой.

Из других пушных зверей в торговле были употребительны меха горностаев, песцов, медведей, лосей, рысей, росомех, зайцев, выхухолей. Лучшие горностаи были сибирские, но они сделались редкостью в Москве, ибо китайцы во множестве вывозили их из Сибири. Горностаи

ценились по своей белизне. В начале XVI века можно было купить горностаю по 3 или 4 деньги за штуку. В половине XVI века 14 горностаев стоили 8 алтын 2 д.; в конце XVI века горностаи продавались сотнями по 3 р. за сотню, а во Фландрии сотня русских горностаев стоила 5 рублей. Они вывозились за границу и шли более всего в Испанию. Автор Торговой книги советует подражаться с иноземными купцами на пятьсот штук. Нагольная горностаевая шуба стоила 17 рублей. Песцы были белые, черные и голубые. Черные в конце XVI века продавались по 5 алтын за штуку, белые стоили, кажется, вдвое. В меновой торговле вообще они продавались десятками. Автор Торговой книги советует подражаться с иностранцами на 500 штук. В XVII веке они очень вздорожали. Медведи были черные, белые и бурые. В конце XVI века медвежья шкура бурых и черных стоила 20 алтын, шкура молодых медвежат 10 алтын. Их вывозили, вероятно, не в большом количестве, ибо в Торговой книге советуют подражаться только на 40 или 50. Шкура белого медведя в XVII веке стоила в Москве от 21/2 до 3 рублей! Медведи употреблялись на шубы, на полости и на рукавицы. Барсуки употреблялись не в большом количестве на обивки сундуков и на хомуты. Волки в конце XVI века продавались у Двинского порта, и автор Торговой книги советует подражаться с иноземцами на 5000. Цена волка была 3 ефимка — от 1 р. 3 алт. 2 д. до 1 р. 11 алт. 1 д.; во Фландрии русский волк стоил 8 ефимков. При Алексее Михайловиче русские волки продавались по 80 к. или 23 алт. 2 деньги, сибирские от 90 к. или 30 алт. до 1 р., а черные сибирские, отличавшиеся мягкостью и длиннотою шерсти, до 4 р. Росوماхи служили предметом вывоза и отправлялись более всего к англичанам, которые сбывали их в Австрию. Автор Торговой книги советует подражаться на 8000. У Двинского порта росوماха стоила 1 р. 13 алт. 2 деньги, а в Англии продавалась от 3 до 4 р. В начале XVII века росوماши рукавицы стоили 4 алтына; в то же время цена росوماхи была от 90 коп. до 1 р. с полтиною и более. Кошки черные в XVI веке в Холмогорах продавались по 2 алт. за штуку и отправлялись к фландрийцам, которые сбывали их во Францию и Италию; во Фландрии русская кошка стоила 4 руб. за сорок. Автор Торговой книги советует сговариваться на сто тысяч. При Алексее Михайловиче черная кошка продавалась от 30 до 36 к. или от 10 до 12 алтын за штуку. Лучшие зайцы ловились в степях, прилегающих к Крыму и назывались русаками. Они были светло-серого цвета. В конце XVI века зайцы продавались по

полтине за десяток. Автор Торговой книги советует подряжаться с иностранцами на тысячу мехов. В XVII веке заячий мех на шубу стоил от 1 р. до 1 р. 3 алт. 2 д. Выхухоль продавалась от гроша до алтына за штуку. В крымских степях ловились кабарги, из которых добывался мускус. Кабарги продавались от 1 — до 1 р. с полтиною и до 4 р. за штуку, ибо были редки. Фунт мускуса стоил в Москве в XVII веке от 12 до 15 р., а кабаргинской струи 8 рублей. Кильбургер упоминает об одном степном звере, называемом перёвозчик; он был величиною с крысу, цвета пестрого, желтого, черного и белого; он шивался в меха. Сайгачьи шкуры и рога были предметом торговли; из рогов делались набалдашники для тростей и разные токарные вещи.

Несмотря на богатство России зверями, в XVII веке русские получали меха из-за границы. В Россию привозились, кроме французских лисиц, как было сказано выше, еще выдры и ильки. По известию Кильбургера, в 1673 г. ввезено французских лисиц через Архангельск 330, а через Нарву 180 штук, ильков до 40 сороков: ильки все шли по Волге в Персию.

При Феодоре Иоанновиче вывозилось из России мехов на 500 000 рублей, а о вывозе мехов при Алексее Михайловиче можно приблизительно судить по известиям, сообщаемым Кильбургером. Так в одно лето отпущено из Архангельска соболей 579 сороков, собольих хвостов 18742 штуки, собольих опушек 598, собольих кончиков 15 550, лисиц 15 970 штук разных сортов, куниц 300 сороков, зверей, называемых иностранцами *minken* (?), 281 сороков, горностаев 288 сороков, кошек 180 795 штук.

*Лошади* составляли важную ветвь внутренней торговли. Народ русский, находясь в таком положении, что должен был всегда ожидать войны, необходимо дорожил лошадьми; притом самое обрабатывание полей производилось лошадьми. Главный пункт конской торговли была Москва, ибо туда каждогодно раз, а иногда и несколько раз, татары из Астрахани пригоняли большие партии татарских лошадей для продажи. Отправка конского базара или ордобазарной станицы в Москву происходила в Астрахани. Воеводы призывали в приказную избу нагайских мурз и спрашивали их, сколько они могут в предстоящее лето отправить в Москву лошадей; после того табунные головы составляли росписи, в которых означали, сколько будет отправлено лошадей и с кем именно. Для охранения конопродавцев воеводы отряжали до двухсот человек стрельцов, под глав-

ным предводительством сотников; вместе с ними выбирались распорядители всей компании — *станичники* из детей боярских, а при них толмач. Наконец, с стрельцами отряжалось до 150 человек конных вооруженных татар. С станичниками был станичный вождь, знавший приметы степи, по которой им приходилось следовать. При выступлении из Астрахани лошади не подвергались оплате пошилинами. Но зато татары не смели продавать лошадей на пути до Москвы. Вместе с этою ордобазарною станицею отправлялись в Москву купцы с разными товарами, а по заключенному Феодором Алексеевичем с калмыцкими тайшами договору к татарам присоединялись и калмыки с своими лошадьми. На урочище Коровьи Луки станичники делали смотр людям, лошадям, и всех, кто оказывался лишним против списка, составленного в Астрахани, записывали особо, ибо эти лишние люди не получали царского жалованья по прибытии в Москву. Один экземпляр составленной таким образом станичниками росписи отсылался обратно в Астрахань, другой они везли с собою в Москву. В то же время станичники отмечали аргамаков и вообще лучших лошадей, которые, по их соображениям, могли оказаться пригодны для царской конюшни. После этого смотра станица следовала до Царицына, где воевода давал им еще придаточный отряд стрельцов. Путь их лежал на Тамбов и Шацк, но иногда они шли по берегу Волги через Саратов. Во время пути станичники не позволяли ни татарам, ни торговцам, ни стрельцам отлучаться из каравана, назначали караулы на станах, когда приходилось становиться на отдых или на ночлег, наблюдали за согласием между членами каравана, и в случае нападения на караван калмыков должны были биться против них вместе с охранявшими караван стрельцами и вооруженными татарами. Достигнув таким образом первого украинного города Рязанской провинции или жилых мест, они снова производили смотр всему каравану, посылали нескольких стрельцов по окрестным селам с предостережением, чтоб жители берегли свои поля, а по возвращении рассыльных отпускали назад конвойные отряды стрельцов и татар и ехали вплоть до Москвы с торговцами и только девятью стрельцами. Достигнув столицы, станичники посылали в казенный дворец известить о своем прибытии.

Торг происходил в конце города на конской площади. Сначала воеводы выбирали лошадей для царской конюшни, пятнали их и отсылали, а деньги за этих лошадей выдавались уже после. Таких выбранных для царских конюшен



лошадей бывало от 5000 до 8000. После того позволялся свободный торг всем. Во время торга брали пятенные деньги и деньги за записку в книгу каждой проданной лошади. Эти деньги составляли доход конюшенного приказа. По окончании торга татарам и калмыкам делали угощение: устраивали стол на царском дворе и, по окончании стола, дарили на платье. Возвращаясь домой, они получали суда и проводников до Казани безденежно. Количество пригоняемых в Москву татарских лошадей ежегодно простиралось до 50000 и более, но в конце XVII века станицы перестали было приходить, и правительство дозналось, что татары нашли для себя выгоднее сбывать лошадей в Крым и Азов. Тогда запрещено было татарам под смертной казнью продавать лошадей мимо власти. Страшась подрыва своих интересов, власть запрещала русским покупку лошадей в Астрахани у татар. До 1625 года астраханские воеводы и приказные люди покупали у татар лошадей и отправляли в свои имения в Россию, а за ними и торговые люди, приезжавшие в Астрахань, покупали у татар лошадей и гоняли их в Россию, но в 1625 запрещена такая торговля. Равно и татарам воспрещалось гонять куда бы то ни было лошадей для продажи, кроме Москвы. При царе Алексее Михайловиче это правило наблюдалось во всей силе. Власть не хотела, чтоб частные люди владели отличными лошадьми, достойными быть в царской конюшне. На этом основании в 1665 году в поволжских городах у торговцев отбирали на царя лошадей, когда почитали их достойными царской конюшни, платя хозяевам от 1 до 2 рублей. Поэтому, так как пригон татарских лошадей в Москву происходил только в известные сроки и как притом только в Москве совершался большой торг нагайскими лошадьми, то цены на этих лошадей очень поднимались: после отхода станицы барышники, скупая татарских лошадей от 5 до 15 р. за лошадь, покормив их с месяц, продавали за большие деньги. В Сибири торг лошадьми производился свободнее; ибо калмыкам позволялось пригонять лошадей в Тобольск и другие города и продавать беспрепятственно.

Впрочем, кроме лошадей, покупаемых от татар и калмыков, русские покупали их еще и от персиян, турков и дагестанцев. Наконец, из Европы доставляли упряжных лошадей, но уже к концу XVII века этот пригон прекратился. Русские имели и свои конские заводы. Еще Иоанн Васильевич считал необходимым улучшить породы домашних лошадей. Торговля русскими лошадьми происходила повсеместно поодиночке на конских площадках, которые

были почти в каждом торговом городе и на сельских торгах. Торговля лошадьми подлежала издавна пошине, известной под именем пятенной и сопровождалась стеснительными административными и юридическими обрядами. По Судебнику, при покупке лошадей должно находиться пять или шесть свидетелей. Продавец лошади давал покупателю купчую или конскую запись, где обозначались лета и шерсть лошади; в этой купчей продавец обязывался очищать покупателя от всяких убытков, могущих возникнуть от нечистой продажи и, в таком случае, платить проторы, какие покупатель заявит в своей сказке. Продавец должен был представить за себя поручителя, который бы мог платить за него, в случае его несостоятельности. Брали пошлин с рубля по 3 деньги, да сверх того с записки, с лет, с шерсти, *по чем уложено*. Не заплативший пошлин и продавший лошадь мимо этих форм, равно как и купивший, подвергались пени по рублю с человека. Эти пошлины доставляли царской казне до 10 000 руб. в год дохода. Такая процедура установлена как для увеличения доходов власти, так равно и для предупреждения конокрадства. Сбор пошлин на конских площадках отдавался иногда на откуп.

Увеличение ценности лошадей указывает нам сличение оценки лошадей по поводу иска о покражах, составленной при царе Иоанне Васильевиче, и оценки, составленной по тому же поводу при Михаиле Феодоровиче. При Иоанне Васильевиче положено взыскивать за коня (нагайского) 5 руб., за нагайскую кобылу — 3 р., за жеребенка конского (подростка) — 2 р., за мерина — 2 р., за кобылу (русскую) — 11/2 р.; при Михаиле Феодоровиче за коня 8 р., за нагайскую кобылу — 6 р., за жеребенка конского — 3 р., за мерина — 4 р., за кобылу — 3 р., за жеребенка — 11/2 рубля. Но в народной торговле они были дороже, ибо в Белозерске в 1614 году мерин оценен в 10 р., а в 1619 году в Шуге мерин ценился от 41/2 до 6 р., кобыла от 3 до 31/2 р. При Алексее Михайловиче средственные татарские лошади ценились от 5 до 15 р.; в Сибири мерин стоил от 3 до 6 р.; в Устюге — от 1 до 10 р. В Новгородской земле хороший мерин ценился от 4 до 5 р. В Черном Яру лошадь можно было купить от 1 р. до 2 р. Лошади боярские, аргамаки, ценились значительно дороже. В начале XVII века грузинский аргамак оценен в 65 р., другие два от 30 до 40 р. боярский мерин от 12 до 16 р.; лошади же людей боярских от 2 до 10 р.; старые и больные продавались от 20 до 40 алтын. Кобылы были дешевле. В Новгороде в начале XVII века ценность лошади колебалась между 11/2 и 3 р.

*Скот и живность.* Изобилие даров природы, сравнительная многолюдность и недостаток сбыта производили при благоприятных обстоятельствах дешевизну, удивлявшую иностранцев. Корова составляла *стяг*, и эта мера была сравнительною единицею для предметов живности. Говядина продавалась *стягами*, *стяг* делился на *полоти* и заключал в себе иногда десять, иногда пять *полотей*, ибо *полоти* были не равны. В торговом быту *стяг* равнялся десяти баранам, двадцати гусям и зайцам, тридцати пороссятам, уткам и тетеревам, тридцати сырам, тридцати курам и тысяче яиц. *Окорок* обыкновенно равнялся половине *полоти* и разделялся на *части*. Коровье масло продавалось весом, *горшками и берестенями*, сало свиное *короваями*, молоко *ведрами и кувшинами*. Средняя цена *стягу* в XVI и XVII веке приводится около 2 р., но иногда спускалась до 1 р. В 1555 году в Новгороде яловица ценилась в 2 руб. При царе Феодоре Иоанновиче оценка для иска о покражах составлена была так: корова и бык 1 р., коза 6 алт. 4 д., свинья и овца 1 гривна. В 1573 году *полоть* мяса в Новгородской земле оценена в 5 новгородских денег. В 1582 г. ценились: баран живой гривна, *полоть* свиного мяса гривна, гусь живой и битый 2 алт. 2 д., порося живое и битое 1 алт., 40 яиц 2 д., гривенка масла коровьего 1 деньга. При Феодоре Иоанновиче в Москве часть говядины стоила 4 д., баранья туша без кожи — 2 алт., курица — 2 д., гусь — 2 гроша, утка — 4 л., ведро молока 6 д. Мясо говяжье соленое, равно и соленое масло коровье составляли предметы вывоза. В конце XVI века соленое говяжье мясо продавалось по 2 р. 10 алт. 2 д. за бочку в 8 пудов, пуд коровьего масла, покупаемый иностранцами для суконных красок — 20 алт., а безмен продавался среднюю цену по одному алтыну и по 8 денег. Составитель Торговой книги советует подряжаться первого на сто бочек, а последнего на тысячу пудов. Ценность говяжьего мяса в Голландии доходила до 7 ефим., или от 21/2 р. до 3 р. 5 алт., а масла пуд продавался во Фландрии по рублю, в Испании по 2 р.; свиное мясо, соленное по-русски без копоти, оказывалось иностранцам негодным для покупки, и потому русские выучились его коптить, и составитель Торговой книги советует подряжаться с иностранцами на сто *полотей*. Пуд его обходился купцу 26 алт. 4 деньги; коровье масло соленое привозилось на продажу бочками. В Новгороде в 1613 г. бочка масла в 6 пудов с половиною стоила 12 р., и вообще в то время средняя цена пуду масла была 21/2 р. При Михаиле Федоровиче оценка по поводу исков о покражах поставлена

так: за корову и быка 2 р., за козу 10 алт., за овцу и свинью 2 гривны, следовательно, вдвое против оценки при царе Феодоре. В первой половине XVII века мы находим цены: ягненок — 10 к., курица — 7 денег, небольшой, но жирный бык — 1 р., баран и овца — 3 алт. 2 д., а в Ладого овца от 12 до 18 к. В Шуче, 1619 г., корова стоила 3 р., бык — 2 р., овца — 2 гривны, полоть ветчины — 13 алт. 2 д., гусь — 2 алт. с деньгою. В 1633 по дороге из Москвы яловица стоила от 11/2 до 2 р., баран от 5 алтын до 2 гривен, курица — от 4 до 6 д. В первых десяти годах царствования Алексея Михайловича пуд коровьего масла продавался от 30 алтын до 1 р. 10 алт., а гривенками в розницу по алтыну за гривенку, яиц десяток 3 д., а сотня до 2 алт. 4 д., в Вологде 400 яиц — 11 алт. 2 деньги; за 120 красных яиц — 5 алт. 2 д., за триста 10 алтын; ведро сметаны (в Вологде) 11 алт. 4 д., кувшин молока (в Москве) — 8 денег, пуд свиного мяса — 1 алт. В конце царствования Алексея Михайловича в Москве пуд говядины стоил 9 алтын 2 д. (на наши теперешние деньги 57 коп.) овца (около Новгорода) — от 4 алт. до 4 алт. 5 д. и (ближе к Москве) от 10 алт. (60 коп. сер. наших) до 12 алтын, поросенок — от 1 алтына четырех денег до двух алтын (от 8 до 12 коп.), гусь — от 3 алтын (18 коп. наших) до трех алтын двух денег, утка — 1 алтын 4 д. (10 коп. сер. наших), курица — 1 алтын (наших 6 коп.), пара цыплят и голубей 4 деньги, заяц от 1 алт. до 1 алт. двух денег, тетерев от 2 алт. четырех денег до трех алтын (18 коп. наших), рябчик 2 деньги; пуд копченого мяса и сала 13 алт. (наших около 80 коп. сер.), коровьего масла пуд 1 р., а фунт от 5 алт. 2 д. до 6 алт. (наших 36 коп.) десяток яиц 4 деньги (наших 4 коп.), индейка от 5 алт. до 5 алт. 4 д. Эти припасы были всегда дешевле зимою, чем летом, по удобству подвоза. Правительство строго приказывало наблюдать, чтоб не торговали больною скотиною.

*Сало* было одним из главных предметов вывозной торговли. Русское сало, отпускаемое за границу (не включая свиного), было ворвань (китовое, моржовое и тюлень) и говяжье. Китоловничество производилось на Северном и Белом море. Каждогодно перед заморозками китоловы отправлялись к морю и оставляли там суда свои до весны. Эти суда редко принадлежали одному лицу, но почти всегда нескольким, составлявшим артель или компанию. Таким образом, пять или шесть судов принадлежали такой компании. При появлении весны, но прежде чем лед начнет таять, китоловы приходили к своим судам и тянули их в

открытое море по льду. Такой флот состоял обыкновенно из семнадцати судов; суда эти были большие и широкие, и служили им домами во время китоловного похода. В это весеннее время происходила самая деятельная китовая ловля, ибо тогда киты выходили из глубины моря и ложились на льдинах против солнца. Иногда их было до 4000 и до 5000 на одной льдине. Китоловные судна плавали отрядами, подавая друг другу сигналы, чтоб не потерять между собою связь, и как только одному отряду удавалось завидеть китов, он тотчас подавал сигнал другим; все спешили к указанному месту и нападали на китов с баграми; иногда китам удавалось схватить багор, разломать льдину, обдавать своих врагов водою и подвергать их опасностям. После бойни китов китоловы тянули их, обдирали шкуру, извлекали сало, а тела покидали, и уходили с добычею на берег, где немедленно принимались варить добытое сало. Сбыт ворвани производился в Холмогорах и на Двине. Сверх того ворвань привозилась на продажу в Каргополь. Отсюда она, вероятно, шла в Нарву, ибо часть северной ворвани сбывалась и в балтийские порты. Сало китовое отпускалось за границу в бочках и шло во Фландрию и Испанию, где употреблялось на мыло и на разные технические работы. Правительство облагало этот промысел десятым процентом, как и рыбный. В XVII веке, однако, китоловный промысел был очень стеснен тем, что правительство, признав его своею собственностью, отдавало на откуп, и предоставляло единственно откупщикам, а не другим, покупать ворвань у китоловов. Откупщики давали им какую угодно цену и тем принуждали покидать промысел. Эта откупная система вовсе не была полезна власти, потому что прежде казна получала с китоловного промысла от 4000 до 5000 р., а откуп мог давать ей едва только 200 рублей.

Говяжье сало вывозилось за границу в большом количестве, ибо русские не употребляли телятины и, откармливая подростков-телков, убивали их на сало. Купцы скупали его в провинциях: Казанской, Нижегородской, Московской, Ярославской, Тверской, в Городецке, Угличе, Смоленске, в украинских городах, и отправляли в Архангельск, пользуясь водяными путями. В торговле различалось белое и желтое сало; первое было дороже последнего; как то, так и другое было *черешенок* (вареное) и *сырое*. Первое было предпочтительнее другого.

Вообще салотопные промыслы и отпуски сала за границу были производимы в большем размере в XVI веке, чем после того. В половине XVI века вывозилось за границу до

100000 пудов сала, а в конце этого столетия только до 30000. В Торговой книге, составленной около того же времени, автор не советует подражаться на количество, превышающее 1000 пудов. В XVII веке этот упадок был значительнее. Причиной тому стеснение торговли от власти, дошедшее до того, что говяжье сало сделалось исключительно монополиею казны, в числе указных шести товаров, и никто не мог продавать его иноземцам, а должен был представлять в казну. Но уменьшению вывоза способствовало и плутовство русских при продаже сала иностранцам. Уже в половине XVI века англичане заметили, что русские мешали в продаваемое сало часть черного и пригнилого, а в ворвань подливали воды. То же самое говорили о русском сале иностранцы в XVI веке, прибавляя, что русские делали нарочно для сала толстые бочки, чтоб прибавить весу. Сверх того, уменьшению вывоза способствовало распространение сальных свеч в России в XVII веке. Прежде знатные употребляли восковые свечи, а бедные довольствовались лучинами. Говяжье сало отправлялось в Европу на делание свеч. Оно продавалось *бочками и коробьями*, но также и на вес, берковцами и пудами.

При Иоанне Васильевиче пуд сала в Москве стоил 91/2 алтын. В 1557 году англичане за центнер говяжьего сала платили 17 шиллингов, а за тонну ворвани 9 ф. стерл. Вскоре, по поводу требования за границу, цена сала поднялась. Сало говяжье обходилось купцам в покупке: белое по 22 алтына (на наши деньги около 2 р. сер.), а желтое по 19 алтын 5 д. за пуд; сами купцы поставляли сало иностранцам по 40 алтын, лучшее же и по 2 р. Ценность его за границую простиралась: во Фландрии до 1 р., в Испании до 2 р. Ворвань продавалась в бочках от 1 р. 26 алт. до 2 р. 5 алт. за бочку, в Голландии — до 3 р. 32 алт., а во Фландрии — до 4 р. за бочку.

В половине XVII века в Вологде берковец сала стоил от 71/2 до 10 руб. В Москве пуд сала стоил около 7 алтын. Ворвань, привозимая на продажу иноземцам в Архангельск, продавалась от 1 до 11/2 р. за бочку и покупалась преимущественно бременцами, до 600 бочек в год. Свечи продавались сотнями, полсотнями и десятками. В 1652 году сотня сальных свеч стоила от 7 до 10 алтын.

*Конский волос, свиная щетина и гусиный пух* закупались купцами в разных городах и селах и отправлялись за границу. В конце XVI века конский волос продавался по 1 алтыну за фунт. Пух был серый и белый: серый стоил 3 р., а белый 6 р. за пуд. Во второй половине XVII века

пуд лучшего белого пуха стоил 8 руб., а серого 4 руб. Свиная щетина при Алексее Михайловиче возилась за границу в количестве от 5000 до 6000 пудов, приблизительно по цене от 4 до 41/2 р. за пуд.

Кожи, составлявшие предмет и внутренней и вывозной торговли, были яловичные, оленьи, лошадиные, лосиные, буйволовы, козлиные и овечьи. Местом закупа оленьих кож была Лампожня, где, как мы уже говорили, скупались они у самоедов и откуда отправлялись в Холмогоры. Прочие роды кож выделялись в разных краях России. В Холмогорах занимались кожевничеством, и Кандалакский монастырь ежегодно отправлял туда оленьи и конские кожи для обработки. Кожевенное производство наиболее процветало в областях: Казанской, Нижегородской, Костромской, Ярославской, в Бежецком Верху, Новгородской и Псковской. Выделкою лошадиных и соленых буйволовых кож занимались в Ростове, Вологде, Новгороде, Муроме, Перми; другими же кожами преимущественно в Казани. Лошадиные кожи делались широкими, а яловичные были узки и приготавливались из маленьких телков. Яловичные кожи окрашивались черным цветом, и чем цвет кожи был чернее, тем она считалась выше достоинством. Красная юфть выделывалась в областях: Казанской, Новгородской, Псковской, в Москве, Костроме и Ярославле. Лучшею юфтью считалась казанская и вообще восточных провинций, за нею по достоинству следовала новгородская, а псковская была хуже. При царе Алексее Михайловиче, как уже сказано, красная юфть была в числе указных шести товаров. Красная юфть продавалась в оптовой торговле кипами: 5000 кип заключали в себе 225 000 пар юфти. Весом кипа была от 1 до 11/2 пуда. Лосиные кожи доставлялись из северных провинций, к югу от Двинского устья и из Сибири, были в употреблении в России, особенно на нижнюю одежду военных, и служили предметом вывоза. В 1634 году правительство дало одному немцу привилегию на выделку лосиных кож, запрещая в течение десяти лет русским выделывать лосиные кожи в расстоянии пятидесяти верст от завода. Овчины были простые и нагайские; последние получались, между прочим, и из персидских владений. Скупая их в сыром состоянии, купцы доставляли их в города, где занимались их выделкою. Между прочим, в Вологде занимались этим промыслом. В оптовой торговле овчины продавались портищами. Сафьяны вывозились в Россию из Персии и Турции. Турецкие считались по достоинству выше персидских. По цвету они были зеленые, красные, синие, черные;

зеленые и красные считались лучшими и продавались дороже. Сафьяны в оптовой торговле продавались *сафьянами* и *бунтами*.

Содержатели кожевенных заводов или сами скупали кожи в деревнях, или закупали сырые от купцов, а обделанные кожи сбывали купцам, которые продавали их частью в больших городах, а частью отвозили большими партиями в Архангельск. В Тотьме и Вологде в зимнее время был значительный склад кожевенного товара, который с весною отправлялся к Двинскому порту. Запрос на русские кожи из-за границы был так велик, что Московское государство не в силах было удовлетворять его собственными произведениями, и купцы закупали значительные запасы кож в Ливонии и Малороссии, обыкновенно зимою. Эти сырые кожи они сбывали по кожевенным заведениям. Но, в свою очередь, выделанные в Великой России кожи находили себе сбыт в Малороссии.

В XVI веке англичане обратили внимание на лошадиные кожи преимущественно перед другими кожевенными произведениями и наблюдали, чтоб при скупке их они были целы и сухи. При Иоанне IV в Холмогоры вывозилось их до 100 000 кож, а в конце XVI века количество вывоза упало до 30 000. В половине XVII века вывоз русских кож увеличивался год от году. Около 1674 года вывозилось в год до 75 000 кип юфти; буйволовых соленых и козлиных вывозилось в Архангельск до 4500 штук, тюленьих около 30 000.

Русские издавна славились искусством выделять кожевенные произведения. Между прочим, бичи нигде не делались так хорошо, как в России.

Ценность кож по Торговой книге в конце XVI века означена таким образом: сырые яловичные кожи продавались по 2 р. 10 алт. 1 д.; во Фландрии цена их колебалась между 3 и 4 р.; в Испании доходила до 7 р.; телячьи белые, покупаемые на опушки платьев вместо горностаев, продавались по 2 алт. 3 д.; кожа дубленая в Вологде стоила от 20 алтын до 23 алт. 2 денег; красная юфть стоила от 40 алтын до 2 р., желтая юфть продавалась по 4 алт. 2 д.; лосиные кожи — по 27 алт. 3 д.; во Фландрии они доходили до 2 р., а в Испании — до 3 и до 4 р. Замша продавалась по 1 р. 10 алт. 4 д. Оленьи кожи — от 10 алт. до 1/2 р. За выделку кож платили в XVI веке по 5 алт. за кожу.

В XVII столетии соленые кожи стоили до 70 р. за сотню, буйволовы до 50 р., козлиные до 36 р., одна тюленья стоила 5 алтын. Кожаные рукавицы продавались от 3 алт.



2 денег до 4 алт. за пару и служили предметом вывоза за границу. В 1673 г. в Нарву отправлено было их до 4300 пар; они продавались в оптовой продаже от 5 до 8 р. за сотню. В Сибири русские кожаные рукавицы продавались дорогою ценою. Сафьян голубой, желтый и красный стоил за пару от 26 до 30 алтын, а турецкий зеленый — от 1 рубля 10 алт. до 1 рубля 13 алтын, белый турецкий — до 4 р. В 1678 году бунт сафьяна стоил от 31/2 до 4 р. Сапоги яловичные стоили 8 алтын, тимовые — 4 гривны; сафьянные — от 10 алт. до 14 алт., бахилы детские — 6 алтын; сапоги красные телячьи — от 18 алт. до 22 алт., а за четверо дано 1 р. 20 алт. Тулуп овчинный стоил от 25 алт. до 1 р., бурка из войлока — 12 алт., а самый войлок — 8 алтын. Седло простое с войлоком среднюю ценою от полтины до 20 алт. и более. Сафьянное седло с войлоком — около сорока алтын и более, смотря по отделке и украшению. Простая узда стоила около двух гривен; но узды, украшенные серебром и бархатом, разумеется, ценились по степени украшения. Вожжи в Москве стоили по 2 деньги за каждую; три хомута с личными шлеями стоили 22 алт. 4 д. Патронташ стоил от 24 до 80 к., кушак верблюжьей шерсти — от 25 до 36 к., кожаный кошелек кошачьей кожи — от 4 до 12 к., кожаный стул — 11 алтын, тюфяк красной кожи — от 20 алтын до 11/2 р.

*Воск и мед.* С незапамятных времен Россия производила в изобилии воск и мед: эти произведения служили предметом торговли. В XVI и XVII столетиях пчеловодством занимались преимущественно в землях Казанской, Нижегородской, Муромской, Северской, Смоленской, около Дорогобужа и Вязьмы. В Рязанской земле издавна существовал пчелиный промысел. В Казанской и Нижегородской землях им занимались инородцы: черемисы, чуваш и особенно мордва, доставлявшая самый лучший сорт меда. Находившиеся в ведомстве Верхотурья татары и остяки сыльвинские и иренские занимались пчеловодством и платили подати медом и воском. Пчелы водились в лесах и содержались в бортах; но под именем борти разумелось не только вместилище пчел, но и целое заведение. Люди, занимавшиеся пчеловодством, назывались бортники. В нынешней Нижегородской губернии целые села не занимались ничем другим, кроме пчел, и носили название бортников. Часто бортники составляли особую корпорацию, как рыболовы и бобровники; так, в великокняжеских дворцовых селах были бортники, обязанные доставлять мед и воск для обихода двора.

В XVII веке цари старались о поддержании пчелиного промысла в своих имениях.

Торговлею воском и медом занимались сами производители; они и крестьяне разных ведомств привозили в города мед и воск большими массами. Так, напр., жители с. Костры привозили в Москву на продажу большое количество, так что однажды для патриарха куплено у них 72 пуда, а в другой раз 113 пудов. Но также и купцы скупали в разных местах мед и воск от производителей, привозили на продажу в большие города и отправляли за границу. Так, в Верхотурском уезде русские купцы дешево покупали мед и воск у татар и остяков. Торговля этими произведениями образовала между крестьянами класс медовых подвозников, которые подражались везти мед и воск по назначению; мед патокою продавался бочками. В Новгороде в 1613 г. бочка меду-патоки весила 10 пудов и ценилась до 14 р. Воск продавался кругами, мед в кадьях; в XVI веке кадь заключала от 7 до 8 пудов, а в XVII веке около 4 п. или от 3 п. 8 гривенок до 3 пуд. 12 фунт. 34 золотн. В древности воск продавался на капи. Но в XVI и XVII столетиях при оптовой продаже мед и воск взвешивался на важнях и продавался на берковцы, пуды, безмены и восчаные четверти, ибо пошлины взымались с веса. Продажа воска и меда издавна подвергалась высоким пошлинам и подчинялась строгим правилам. В Новгороде, между прочим, сообразно очень древнему установлению, воск мог продаваться единственно у св. Ивана на Опоках.

Эти товары были у нас старинными статьями вывоза. В удельные времена воск вывозили в Ригу; в XV веке ливонцы покупали его у русских и снабжали им целую Европу. По открытии Беломорского пути воск был одним из главнейших предметов покупки для англичан. В царствование Грозного они ежегодно вывозили из России более 50 000 пудов воска; но при Феодоре Иоанновиче число пудов вывозимого ими воска упало до 10 000. Иногда правительство налагало временные запрещения на выпуск воска за границу, или устанавливало особые правила для торговли им. Так, при Иоанне Грозном в 1555 г. последовало запрещение вывозить воск, а при Феодоре Иоанновиче было позволено не иначе отдавать его иностранцам, как в промен на серу. Правительство, как кажется, старалось сдерживать слишком большой вывоз воска, дабы он не вздорожал во внутренности государства: повсеместное употребление восковых свеч в церквах при богослужении и в зажиточных домах требовало заботиться об оставлении в России значи-

тельного количества его. В XVII веке ежегодно вывозили за границу до 35 000 пудов воска.

В начале XV века в Новгородской земле берковец меда стоил 1 р. В половине XVI в. ценность воска и меда была: первого по 10 алтын, второго по полтине за пуд. В 1557 г. англичанин ценил русский мед в 4 ф. ст. за центнер. К исходу XVI века пуд воска стоил 41/2 р., а безмен продавался до 10 алтын, но позже цена его упала до 2 р. 10 алт. 2 д. за пуд, а наконец, до 11/2 р. и 20 денег за пуд, так что составитель Торговой книги называет такую ценность *за посмех* дешевою. Безмен меда продавался до 6 алт. 4 ден., средняя же цена его была 3 алт. 2 ден., а пуд 3 р. 6 алт. 4 деньги, но позже она упала до 1 р. 20 алт. Во Фландрии русский воск продавался по 3 р., а в Испании по 6 р. за пуд. На количество вывоза его за границу в последней половине XVI в. приблизительно указывает составитель Торговой книги, советуя договариваться с иностранцами на сто берковцев воску. При Михаиле Федоровиче пуд воска стоил 3 р. 4 алт. 1 ден., а пять пудов меда оценены в 11/4 р. В половине XVII века в Москве пуд воска стоил 3 руб. 25 алт., а пуд меда от 22 алт. до 28 алт., пуд патоки 26 алт. 4 ден., а в других городах, например, в Вологде, 25 алт., в Холмогорах 28 алт. 2 ден.; за фунт восковых свечей в Вологде заплачено 4 алт., а в Москве 4 алт. 2 деньги. За соскание свеч свечной мастер (свечник) брал задельной платы 9 алт. с 30 гривенок или 15 фунтов.

#### 4. Шерстяные и шелковые материи

Русские не умели делать сукон и материй, и потому должны были получать их из-за границы, платя за них туземными произведениями. Впрочем, в русских селах делались простые сукна, составлявшие предмет потребления для низшего, преимущественно сельского класса; это были сукна сермяжные, однорядочные. По достоинству они различались на лучшие, средние и худшие и составляли предмет торговли на сельских торгах. Сермяжное сукно было белос и серое: из последнего делались верхние одежды или епанчи; в половине XVII века серая суконная епанча стоила 13 алт. 2 д.; зипун сермяжный стоил 20 алтын. Впрочем, в половине XVII века русские занимались и окраскою своих домашних произведений; так, тогда уже в селе Тейкове (нынешней Владимирской губернии) крестьяне занимались красильными работами. Кроме сукон, русские делали шерстяные полсти и войлоки. Этим занимались пре-

имущественно в Калуге и вообще на берегах Оки. Войлоки употреблялись на седла, на бурки и находили себе сбыт за границу. В 1584 г. полсть оценена в 6 алт. В исходе XVI в. полсть шириною в 2 аршина без 3 вершков и длиною до  $33\frac{1}{4}$  арш. продавалась по 1 р. Войлочную бурку можно было купить за 12 алт.

Уже Борис намеревался ввести в Россию фабричное суконное производство и поручал немцу Бекману достать в Любеке суконных мастеров. В XVII веке московский купец иностранного происхождения, фон-Шведен, завел суконную фабрику, но получил убыток; между тем иностранцы замечали у нас, что около Каспийского моря водятся довольно тонкорунные овцы и полагали, что из шерсти русских овец можно делать даже такое сукно, какое в те времена выделялось в Гамбурге. До открытия Беломорского пути сукна и материи доходили к нам через Ригу, Ревель и Польшу. Во время господства англичан над русской торговлею, предки наши получали сукна и материи через их руки и цари жаловали обыкновенно английскими сукнами. Эта торговля приносила англичанам большие выгоды: сорок процентов на сто не были необыкновенным барышом.

Торговцы Любека и Гамбурга также привозили в Россию мануфактурные изделия Европы, а во второй половине XVII века их доставляли русским преимущественно голландцы. Кроме европейцев, русским доставались восточные ткани из Турции, Персии, Индии через руки персиян, и наконец от китайцев, когда возникли с ними торговые сношения. Старые акты указывают на древний быт наш и сохраняют множество наименований сукон и материй, из которых многие объяснить трудно; русские давали им собственные названия и употребляли иноземные, но не уступали другим народам в обыкновении коверкать чужестранные названия. Обыкновенные названия сукон, бывшие у нас в XVI и XVII веках, следующие: брюкиш (брюгское, bruggich), полубрюкиш, облякиш, аглинское, полуаглинское, лундыш (лондонское), ипское (ипрское), настрафиль, новоееское, рословское (рослагенское), свицкое (шведское) новоговское, колтырь, костриш, трекурское, голландское, анбурское (гамбургское), шебединское, мехельнское, влосское (итальянское), гунгилинен, лимбарское (лимбургское) брабантское, шарлат и скорлат (французские сукна), муравское (моравское), четцкое (богемское), мышенское, лятчина или детчина (употребляемые на одежды: *летники*), еренга, гловское, инбарское, жеганское, ут-

рофим (утрехтское); иные сорта назывались по цвету, напр. багрец, кармазин и пр. Сукна в торговле продавались *кипами, половинками, поставами, портищами, аршинами, локтями* и просто *сукнами*. Кипа разделялась на половинки. Кипы были разные и заключали в себе различное число половинок; так, в конце XVI века в кипе рословского сукна было 25, а в кипе новоеесского 57 половинок. Половинка заключала от 20 до 25 аршин. Пред концом царствования Иоанна Грозного половинка сукна, данная в золотую палату под образа, стоила 2 р., а в другом месте говорится, что сукно продавалось по гривне аршин, и 23 аршина стоили 2 р. В Торговой же книге сказано, что в кипе было 25 половинок, а из половинки выходило 25 аршин. Постав был оптовая единица, равнозначительная нынешнему слову штука или кусок. Едва ли существовало определенное правило относительно содержания аршинов в поставках, и когда говорилось, что такое-то сукно заключает столько-то аршин, то под этим разумелся постав. Так, в Торговой книге сказано, что мера сукну настрафилю от 32 до 40 аршин, а вслед затем прибавлено, что в Ругодиве (Нарве) постав покупают за 40 ефимков; из других же известий мы узнаем, что настрафиль продавался за аршин 1/2 рубля, что довольно приблизительно совпадает с ценностью ефимков в отношении рублей, определяемую тою же Торговою книгою. Поставы были в 40, 30 и, наконец, 20 аршин, и таким образом часто означают то же, что и половинка. При Алексее Михайловиче кусок привозного сукна имел от 22 до 24 аршин. Но вообще оптовые единицы суконных товаров не могли означать определенных и постоянных мер, потому что сукна привозились в Россию из разных мест и оптовые количества соотношались с теми мерами, которые были в употреблении в тех городах, где делались сукна; а в тот век, как известно, в Европе господствовало еще большее разнообразие, чем теперь. Портище, как кажется, означало кусок сукна около четырех аршин, ибо мы находим указания на подобное содержание этой единицы. Портище сукна давалось, как приблизительная мера на одежду человека, ибо четыре аршина считалось достаточным для взрослого; но так как одно сукно было шире, другое уже, то, поэтому, английского сукна на одежду давалось 4 аршина, а гамбургского пять. Подобное значение имело неопределенное название *сукно*, когда давалась кому-нибудь на одежду пропорция сукна: так в 1585 году в числе подарков, розданных духовным лицам и причту, пономарю дано сукно рословское, стоящее полти-

ну, а в другом месте говорится, что аршин рословского сукна стоил гривну, следовательно, сукно, данное на одежду, заключало пять аршин, именно столько, сколько приблизительно могло быть потребно на одежду. Мы уже выше, при исчислении мер, говорили об отношениях аршина и локтя между собою. Русские мерили сукна аршинами и переводили на них иностранные меры. Торговая книга учит, что в 52 локтях самой употребительной тогда меры надобно считать 43 аршина. Ширина сукон была различна, но вообще вращалась около двух аршин с частями третьего. Таким образом мехельнское сукно имело два аршина три четверти ширины, английское — два аршина шесть вершков, настрафиль — два аршина с четвертью, лятчина — два аршина с двумя вершками. Поставы и половинки окаймлялись покроями различной ширины, которые продавались особо и употреблялись на делание шатров.

Употребительнейших цветов сукна были: червчатые, синие, темно-синие, вишневые, лазоревые, желтые, лимонные, имбирные, светло-зеленые, темно-зеленые, аспидные, голубые, мурамленные. В некоторых видах сукон одни из цветов были дороже, другие дешевле, так, например, в новоевском голубой, синий и лазоревый цвета были дороже, а в настрафиле лазоревый, голубой и зеленый дешевле; в лунском — светло-зеленый дороже, в брюкише — светло-зеленый и ценинный дешевле. Червчатый цвет и вообще красные отливы были в большом употреблении. После них в моде были голубые цвета; так в XVI веке из разных цветов делаемых в Англии каразей, называемых русскими еренгою, доставлялись преимущественно голубые. Черные цвета почти не употреблялись.

Лунское, английское, багрень, скорлат были дорогими сортами, настрафиль — средний сорт, сколько заметно, бывший в большом употреблении; рословское, еренга, гамбургское, муравское, лимбургское были дешевые сорта. Когда, например, царь жаловал сукнами, то особам первой статьи давались лунское и английское, а второй и третьей статей — настрафиль и гамбургское. Лунское сукно в XVI веке ценилось от 16 р. до 30 р. за постав, смотря по относительной доброте его. При Михаиле Феодоровиче аршин темно-зеленого лунского стоил 11/2 р. В XVI в. постав английского червчатого стоил 15 р., но низшего достоинства, или, как говорилось тогда, средней земли, можно было постав купить за 6 р. При Феодоре Иоанновиче 62 поставы английского сукна оценены в 500 р. При Михаиле Феодоровиче аршин английского вишневого сукна оценен в

31 алтын 4 д., а темно-лимонного в 34 алтына 2 деньги. В конце XVI века можно было приобрести однорядку красного дунского сукна за 13 р. 21 алтын 4 деньги. В XVII веке однорядка английского темно-синего сукна оценена в 5 р. Аршин скорлата в XVI веке стоил 3 р.; в половине XVII века аршин кармазина 1 р. 10 алтын. Мехельнское высшего сорта обходилось купцу за аршин от 2 р. до 1 р. 21 алт., а низшего — от 1 р. 11 алт. с деньгою до 1 р. 3 алт. с деньгою. Настрафиль в XVI веке стоил полтину за аршин; на корабле, привезшем в Россию разные товары, постав настрафиля оценен в 13 р. В начале XVII века аршин кострыша сизого с искрой оценен в полуполтину, гунгилен — 30 алтын, стамед вишневый — 12 алт., шебединское зеленое и вишневое — по гривне за аршин. Рословское в конце XVI века продавалось по 1 р. 20 алтын за половинку в 25 аршин, следовательно, по 1220/25 денег за аршин, и по 1 р. за половинку или по 8 денег за аршин: первое называлось двоепечатное, второе — однопечатное. Аршин новоесского приходился около двух алтын; колтырь, утрофим продавались за постав от 13 р. 13 алтын 2 денег до 10 р. 31 алт. 4 деньги. Каразеи или еренги были двух родов: английские и шотландские. Первые по-русски назывались большою, а последние малою еренгою. Первые стоили за постав от 4 р. 12 алт. 4 д. до 5 р. 11 алтын 2 денег, а вторые от 5 р. 15 алт. 5 денег до 6 р. 22 алт. 3 денег. Муравское от 5 р. 28 алтын до 7 р. 4 алт. за постав. Лимбургское было самое дешевое: от 2 р. 30 алт. 4 денег до 3 р. 18 алт. 4 денег. Вообще в конце XVI и в начале XVII века одеться порядочно, но не богато, в суконное платье стоило около 2 руб. Аршин порядочного красного сукна можно было купить от четырех гривен или 13 алтын 2 деньги до 1 рубля. В половине XVII века шелковые и бумажные ткани вытеснили из употребления сукна, и английские сукна падали в цене; но купцы жаловались, что англичане возвысили цену сукнам до того, что сукно, стоявшее прежде 4 гривны и полтину за аршин, доходило до 40 алтын. Сверх того замечено, что англичане, вместо хороших сукон, которые находили себе сбыт и в других европейских землях, удовлетворяли Россию худшими сортами, которые в мочке сбегали от 6 вершков до полуаршина в портище, тогда как в сукнах, которые они привозили прежде, сбегало в портище не более одного вершка или двух.

В 1671 году привезено было кармазинного сукна 22 кипы, 587 половинок, полукармазинного 8 кип, 248 половинок; в 1672 г. кармазинного — 47 половинок; в 1673 г.

кармазинного — 77 и полукармазинного — 12; в 1671 году английского — 81 кипа, 64 половинки, голландского — 9 кип, 22 половинки, гамбургского — 41 кипа и 267 половинок; в 1672 г. английского и голландского 9 половинок и 3 связки, голландского — 13 половинок, гамбургского — 294 половинки и 19 связок; в 1673 году на тридцати кораблях 13 гамбургского, 6 голландского и 1 английского, на четырнадцать кораблей 21 половинка голландского, 13 гамбургского и 18 из сорта, называемого *vierlothen*. Кроме сукон привозили камлоты, трип, саржу, шерстяную камку и ковры. В XVI веке большой ковер на белой земле длиною 5 аршин и шириною 3 аршина стоил 10 р.

*Шелковые материи*, употреблявшиеся в старину, были: бархат, камка, атлас, обьяри, тафта, мухояр, дороги, зендень, зуфь, байберек, киндяк, безин, грогрэн. Но более других были употребительными: бархат, атлас, камка, обьярь и тафта. Они, как мы уже говорили, привозились из Европы и также с Востока и носили названия по местам своей обработки. Современный вкус любил материи вышитые и вытканые золотом и серебром, а потому бархат, атлас, камка и обьярь очень часто были *золотные*. Фон материи назывался *землею*, а золотое или серебряное тканье или же цветы по фону назывались *травами*. Цены их были чрезвычайно различны, смотря по работе и по количеству золота.

Бархаты были венецицкие, бурские, бурматные, литовские. Бурский (из города Bourge) бархат был часто золотой, или же земля его была одноцветная, а по ней травы вытканы шелком других цветов, например, на червце (на красном поле) шелк зелен с золотом. Малиновая земля была в большем употреблении у русских. Цена бурского бархата в XVI веке была от 40 алтын до 2 рублей. Венецицкий гладкий бархат одноцветный продавался в конце XVI века по 1 руб. за аршин. Между привезенными в Россию товарами в конце XVI века бархат оценен в 11/2 рубля за аршин. При Алексее Михайловиче европейский бархат ценился от 21/4 до 31/4 р. за аршин. Литовский косматый бархат был из низших сортов и ценился в начале XVII века около 6 алтын за аршин. Самый низший сорт бархата назывался бархатель — род нынешнего плиса. Но самый высокий сорт бархата был турецкий; он обыкновенно был малинового цвета с золотыми, серебряными или разноцветными шелковыми узорами.

Камка в торговле различалась: бурская, венецицкая, — мисюрская (очень старинный сорт, употребительный еще в



XV веке), куфтер (очень толстая, плотная материя), соломянка кармазинная, есская, итальянская, амстердамская, — адамашка двоеличная, кизильбашская, индийская, китайская. Эта шелковая материя была самая употребительная в старину и отличалась вообще плотностью и толщиной; чем камка толще, тем была ценнее. Почти всегда камка была узорчатая: на иной был узор большой, на другой малый; чем больше узор, тем ценнее считалась материя. Земля или фон материи делалась цветов: красного, зеленого, желтого, рудожелтого, белого, лазоревого, вишневого, двоеличного, но чаще всего русские выбирали красный цвет, а узоры по ней были или золотые, или серебряные, или шелковые других цветов, отличных от цвета земли, или шелковые вместе с золотом и серебром. Узоры изображали листья, деревья, травы, реки, горы и т. п. По величине и расположению узоров камка разделялась на травчатую и мелкотравчатую. Камка была гораздо уже сукна, например: кармазинная в аршин без четверти или без двух вершков, соломянка аршин с двумя вершками или полутора вершков, индийская вдвое менее английского сукна. Камка была несколько уже бархату, ибо когда бархату нужно было на одежду 12 аршин, качки 13 аршин. На перину в два аршина без двух вершков длиною и в один аршин с четвертью шириною шло камки (червчатого кармазина) 6 аршин, и ширина ее равнялась ширине тогдашнего тверского и троицкого холста. Для женской одежды потребно было камки девять аршин: вероятно, почти столько же достаточно было и для мужской, потому что мужская одежда в то время также делалась до пят. Вообще средним выводом камка была в полтора раза дороже сукна и немного не вдвое дешевле бархата, так что когда аршин бархата стоил 1 р., аршин камки соразмерного достоинства стоил от 18 до 19 алтын. Венецкая камка ценилась в XVI веке от 19 до 20 алтын за аршин; куфтерь была разных родов и продавалась от 40 алт. до 11/2 р., а в XVII веке в Москве камка-куфтерь продавалась по рублю (вероятно, пониже сорт); адамашка продавалась от 20 алт. до 1/2 р., соломянка — от 10 до 13 алтын, кармазинная — от 40 алт. до 1 руб. Но эти цены означены для оптовой продажи; в розницу камка продавалась дороже. Камка бурская, часто вытканная золотом, ценилась выше других сортов. Индийская камка при Михаиле Федоровиче ценилась в 20 алтын за аршин. При Алексее Михайловиче амстердамская камка ценилась от 11 алт. 4 л. до 18 алт. 2 д., итальянская от 25 алт. до 30 алт.

Объярь была золотная, серебряная и шелковая. Первая составляла самые богатые наряды царей и вельмож. Объярь была цветов: желтого, белого, рудожелтого, зеленого, малинового. Ширина ее была различна. Золотная и серебряная объярь делалась часто с узорами и так, что по золотной земле выделялись серебряные узоры, а на серебряной золотые. Веницейская объярь была без золота с разноцветными травами по белой земле. Аршин золотной и серебряной объяри с узорами ценился в XVII веке от 10 до 111/2 р. и вообще принималось, что ценность аршина объяри приближалась к цене фунта серебра. В конце царствования Алексея Михайловича объярь (вероятно, шелковая) продавалась от 1 р. до 6 алт. 4 денег до 2 р. за аршин. Шелковая объярь, употребляемая женщинами на их телогреи и летники, ценилась наравне с тафтой высшего достоинства; например, в описании приданого княгини Лыковой объярь зеленая и алая тафта оценены были в 4 р. Не дороже считалась объярь, вышитая *вошью*.

Атлас был немного ниже бархата в цене, но очень часто ткался с золотом и серебром и потому цены на него были разнообразны. В XVI веке аршин атласа стоил 40 алтын, в XVII веке мы встречаем известие, что аршин атласа стоил 21/3 и 4 алтына 2 деньги. Когда давали атлас в награду за службу, он стоил 40 р., а иногда сто рублей. В XVII веке цветной атлас привозился из Голландии и Италии, и первый известен был под названием амстердамского, последний болонского; первый был в одной цене с амстердамскою, а второй с итальянскою камкою. Атласы турецкие делались малиновые с золотыми узорами. Высокого достоинства была материя *алтабас*, получаемый тоже из Турции — золотой с серебряными травами, но был и алтабас простой разных цветов; в XVII веке аршин зеленого атласа стоил 30 алтын.

Тафта в торговле различалась: шамская, бурская, веницейская, немецкая, такайская, лукская, китайка. Ширина этой материи была различна: шамская и бурская девяти вершков, веницейская полтора аршина. Иногда была тафта шириною равна сукну; так при Михаиле Федоровиче давалось на платье сукна и тафты равное количество, четыре аршина, а напротив камки восемь аршин. От ширины ее и от достоинств зависела разная цена: шамская стоила от 8 до 10 алтын, лучшею считалась червчатая и стоила до 12 алт., бурская от 3 до 5 алтын, веницейская широкая от 19 до 21 алтына, немецкая от 3 до 5 алтын. При Михаиле Федоровиче аршин широкой тафты продавался от 22 до

28 алтын. При Алексее Михайловиче лукская тафта продавалась от 20 до 26 алт. 4 денег, волнистая от 21 алтына до 30 алтын. При Феодоре Алексеевиче аршин узкой тафты можно было купить за 5 алтын. Худшие сорта тафты были китайка и клеенка: первая продавалась от 2 до 3 алтын за аршин, а вторая от 8 до 12 денег.

Доро́ги — материя старинная восточного произведения, ибо между прочим славились дороги шлянские и дороги канаваты. Эта материя отличалась тем, что делалась с полосами, например: зелеными, белыми и вишневыми, или, напр., с белыми, багровыми и червчатыми. Мухояр был как шелковый, так и бумажный, и употреблялся преимущественно на покрывку шуб и верхних одежд. Зуфь, называемая костоманская, принадлежала к более простым шелковым материям, ибо три рубля можно было заплатить за такое количество зуфи, за какое камки следовало заплатить 5 р. Между шелковыми произведениями в торговле были в большом употреблении кушаки: из них турецкие были самого высшего достоинства; белый атласный турецкий кушак длиною в 5 аршин и 5 вершков, поперек 6 вершков, стоил 4 руб., червчатый с золотом стоил от 1 р. до 2 р., поясок шелковый простой стоил 3 алтына 2 деньги. Из Персии вывозили в Россию персидские шелковые платки, продаваемые в оптовой торговле топами. Материи продавались в оптовой продаже косяками. Косяк заключал в себе разное число аршин, например, иногда 81, иногда 37, иногда 25 и так далее. Косяки делились еще на полукосяки и кондики. Кондик, по-видимому, равнялся полукосяку, ибо с двух кондиков брали ту же пошлину, как и с одного косяка.

Шелк был исключительным достоянием казны, которая выменивала его у персиян; пуд обходился казне 30 р., а перепродавался 45 рублей. Эта торговля впоследствии была разрешена подданным, и в 1674 году можно было доставать шелк и у частных лиц, как и в казне. Партия ахдасского шелку стоила 36 р., черный мохнатый шелк был дешевле: сученый шелк привозился не из Персии, но из Европы. Десять золотников бурского шелку в XVI веке стоили 10 алтын. В конце царствования Алексея Михайловича золотник сученого черного шелку стоил 5 денег, а красного один алтын две деньги.

Количество привозимых в Россию в год шелковых изделий было неравномерно, как это видно из известий о привозе и вывозе, сообщаемых за три года — 1671, 1672 и 1673. В 1671 году было привезено объями серебряной 32 ку-

ска, шелковой — 84, атласа — 342 куска, брикс-атласа 34 куска, бархата — 28 кусков, камки — 204 штук, тафты — 441 штука; в 1672 — объяри золотной и серебряной — 14 куск., шелковой — 43, атласа — 192 куска, камки — 259, тафты — 53; в 1673 — золотной и серебряной объяри более 10 кусков, шелковой — 162 куска, атласа — 212, бархата — 20 куск., камки — 378, тафты — 977. Вообще и здесь, как в других местах, Кильбургеровы известия неясны, отрывочны и могут только приблизительно служить для суждения о ввозе, пока не отыщутся другие известия.

## СТАРИННЫЕ ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ НА РУСИ<sup>1</sup>

(Автору передовой статьи «Нового Времени», № 1519).

В нашем возражении на мое замечание, в том же № 1519 помещенное о старинных русских соборах, вы находите, что я смягчил свой суровый приговор над земскими соборами и видите это смягчение в том, что я допускаю сходные черты со средневековыми начатками национальных представительных собраний западной Европы. На это я считаю уместным сказать вам следующее: во-первых, я не хотел произносить никаких суровых приговоров над нашими земскими соборами и вообще держусь того правила, что надлежит в исторических взглядах на события прошедших времен избегать приговоров, являющихся следствием заданных себе заранее вопросов: хорошо это или дурно? что лучше: то или другое? и т. д. Этого избегать, я думаю, следует потому, что иначе мы невольно попадем в ошибки, как только начнем прилагать к явлениям прошедших времен наши воззрения, когда последние составились под влиянием более поздних жизненных явлений. Произносить суровый или снисходительный приговор над земскими соборами значило бы, что мы уже себе заранее составили понятие: что в них было хорошего или дурного, а это бы не обошлось без впадения в ошибки. Во-вторых, я и прежде не отрицал, что в наших земских соборах найдутся черты, сходные с начатками национального представительства в западной Европе в средние века; я только не касался этой стороны, так как не находил нужным ее касаться. Говоря о несходстве земских соборов с западными представительными учреждениями, я имел в виду уже те времена, когда последние совсем

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в газете «Новое время», 1880, № 1525.

организовались, а не те, когда, можно сказать, их элементы находились еще в хаотическом состоянии. Ведь вы сами признали уже, что сравнивать земские соборы с подобными учреждениями в западной Европе должно только не иначе, как разумея существование в полной организации последних в тот период, когда существовали и действовали наши земские соборы. Я в этом согласился с вами и указал на несходство духа, в каком проявились английский парламент и польский сейм в XVII веке с духом наших земских соборов. Надобно же быть последовательным, не забегать ни вперед, ни назад, а держаться избранной раз почвы.

Вы думаете отыскать противоречие в том, что я назвал польский сейм собранием больших и маленьких государей, но вместе с тем сказал, что он был собранием представителей полноправных обывателей государства и заметил, что в этом последнем качестве польский сейм подходит к современным представительным собраниям. Вы замечаете, что польские сеймы не подходят к демократическому строю нынешних европейских представителей. Но вы, передавая мои слова, прибавили выражение к демократическому строю, а у меня этого отнюдь не было. Как не встретите двух человеческих личностей словно две капли воды сходных одна с другою, так не найдете в истории двух общественных явлений тождественных одно с другим. Многое с первого взгляда покажется одним и тем же, а когда присмотритесь внимательнее, то увидите своеобразности, дающие каждому явлению свою собственную физиономию. Насколько Польша и поляки отличны от других стран и народов, настолько отличается их история. Что в Польше происходили события, каких не бывало в других странах — против этого разве можно спорить? Равно нельзя спорить и против того, что польские сеймовые порядки (но до известной степени и при известных условиях), содействовали гибели польского государства. Но ведь кроме этих черт, исключительно еще немало таких, которые гораздо более общи как полякам, так и другим народам. К таким принадлежит сходство польских сеймов с представительными национальными собраниями других народов в том отношении, что те и другие состояли из представителей всех полноправных обывателей государств; так же черта, что эти полноправные обыватели были у себя государиками, составляет своеобразную черту польской нации. Почему, как вы замечаете, польские сеймы кажутся вам похожими на древние, русские, княжеские съезды — я не понимаю, мне, по крайней мере, не представлялись они никогда сход-

ными между собою и теперь такими не представляются, тем более, что те и другие явления принадлежат разным векам и различным народам. О подобиях и отличиях между княжескими съездами в древней Руси с одной стороны и сходбищами польской шляхты с другой можно бы толковать много, но такие параллели едва ли к чему приведут, кроме праздного словоизвержения.

Гораздо ближе к нашему делу подходит ваше замечание, что я подвергаю сомнению общесословность наших земских соборов, объясняя, что на них участвовали из тяглых людей преимущественно только посадские (по нынешнему мещане), торговые и промысловые лица. Вы говорите, что торговые люди подавали мнение особо, а за ними сотские, старостишки, черных сотен сироты государевы и ссылаетесь на авторитет Беляева, который доказывает на основании исторических документов, что сиротами на Руси назывались крестьяне-землепашцы, те самые, которые назывались и черными людьми. Действительно сиротами-царскими назывались сельские землепашцы, но к ним же, сиротам, принадлежали и посадские люди, занимавшиеся торговлею и промыслами. «Сироты государевы» был собственно термин, употребляемый в челобитных неслужилым сословием, в отличие от служилого сословия, носившего название «холопей государевых»: такими титуловали себя все служилые люди, начиная от бояр и кончая стрельцами и пушкарями. Если Беляев где-то указал, что сельские землепашцы именовали себя сиротами царскими, то смело могу сказать, что тот же Беляев, как знаток русской старины, нигде не сказал, чтоб торговые и промысловые лица, посадские людишки не именовали себя также «сиротами». Права участия селян-землепашцев в земских соборах (по крайней мере тех селян, которые не находились в зависимости от частных владельцев), отвергать нельзя; но оно, как я выразился, остается проблематическим: в документах, касающихся большей части наших земских соборов, прямо, ясно и положительно не говорится об их участии и о призыве их на собор со всего государства. На втором земском соборе в 1566 году из неслужилого сословия значатся только: гости, купцы и смолянне. Кроме гостей, принадлежавших столице, значится по именам торговых людей московских сорок, а смолян — двадцать два: и они от себя подают такой голос: «Мы люди не служилые, службы не знаем, ведает Бог да государь, не стоим токмо за свои животы». (Собр. госуд. Грам., т. I, стр. 554). Из других городов и выборных неслужилого сословия нет. О поселянах не упоминается. На

соборе 1598 года, избравшем царем Бориса Годунова, представителей от неслужилых из городов, кроме Москвы, было только три: двое из новгородских пятин и один из Ржева. Это подало Беляеву повод сделать заключение, что собор 1598 года собственно не был земским собором, а представлял собою собрание преимущественно духовенства и служилых людей с частью жителей Москвы, а следовательно Борис был избран на царство почти исключительно духовенством и служилыми людьми, а не голосом и не волею всей русской земли. (Речь Беляева, стр. 261). В 1616 году в грамоте о призыве из Перми выборных на земский собор указывается: «прислать посадских людей лучших и средних трех человек», а о поселянах не говорится (А. Арх. Экс., т. III, стр. 111), а в указе, изданном по поводу всемирного приговора выборных людей, съехавшихся в тот год в Москву, говорится глухо, что великий государь советовался, кроме служилых «и с московскими и всех городов с гостями и с выборными торговыми людьми» (ibid., стр. 114). Здесь упоминаются выборные торговые люди, а о выборных крестьянах нет и намека. В грамоте о соборе, бывшем в 1618 году, также неясно говорится, что царь советовался и говорил на соборе между прочим «и всяких чинов людям». Не указывается, кто были эти всяких чинов люди, но нет также указаний, да и вывода нельзя сделать, чтоб это были поселяне (Собр. госуд. грам. и дог., т. III, стр. 169). Также в 1619 г. о посылке во все города Московского государства писцов для составления писцовых книг сказано, что «учинил великий государь собор с думными и со всеми людьми московского государства» (ibid., стр. 209), а в грамоте о присылке из всех чинов людей «добрых и разумных» для сообщения «о теснотах и недостатках», поименованы сословия, из которых надлежало выбирать по два человека; то были: духовные, дворяне, дети боярские, гости и посадские люди; о крестьянах же обывателях сел — нет помина. (Собр. госуд. грам. и дог. т. III, стр. 210). В соборном акте 1621 года (ibid. стр. 280) видно, что на соборе принимали участие, кроме служилых людей разных наименований, из неслужилых: «гости и торговые и всяких чинов люди». (Собр. гос. гр. и дог. III, стр. 230). Какие это всяких чинов люди — не поясняется, но затем подаются голоса, кроме служилых лиц, из неслужилого сословия только «гости и торговые люди» (ibid. стр. 231). В акте, свидетельствующем о соборе 1632 года, говорится, что царь держал совет, кроме служилых «и с гостями и со всяких чинов людьми», (А. арх. эксп. III, стр. 313), но ясного ука-



зания на то, кто именно разумелся между этими всяких чинов людьми — нет. В акте о соборе 1634 года (Собр. гос. гр. и дог. т. III, стр. 347) указывается, что на нем говорили, кроме духовных и служилых, «гости и торговые всякие люди», а о поселянах нет ни слова. В 1637 году находится упоминание о соборе, на котором приговорено было «и со всякими чинами людьми» (А. арх. эксп., стр. 419). На соборе 1642 года, собранном по поводу азовского вопроса, выборными из городов являются все только служилые: дворяне и дети боярские, а из неслужилого сословия мы видим только москвичей, какими были гости, гостиной и суконной сотни и черных сотен и слобод сотские старостишки и тяглые людишки. Все это были москвичи, занимавшиеся торговлею и промыслами (Собр. гос. гр. и дог. т. III, стр. 384, 394 и 396). Что это именно москвичи и притом, как городские обыватели, бывшие торгашами и промышленниками, — разверните самый документ — увидите многие названия сотен, полусотен и слобод, сохранившиеся до сих пор в Москве. В наиважнейшем соборе, созванном в 1648 году по поводу составления уложения, кроме служилых лиц, из неслужилых было выборных: из гостей три человека, из гостиной и суконной сотни по два человека, а из черных сотен и из слобод и из городов и посадов по человеку добрых и смышленных людей (Полн. Собр. Зак. Рос. Имп. т. I, стр. 2). На это место следует обратить внимание, дабы видеть, что под черными сотнями и слободами разумелись исключительно московские, так как в отличие от них всех прочих бывших на соборе говорится о присылке из городов с посадов выборных людей, а выражение «из городов» в противоположность выражению «из Москвы» в старом деловом языке означало: «из областей» в противоположность выражению: «из столицы».

На соборе, бывшем в 1653 году по поводу присоединения к Московскому государству Малой России, кроме служилых всяких наименований, были также: «гости торговые и всяких чинов люди» («Полн. Собр. Зак.» т. I, стр. 293-301), и притом, как кажется, только из Москвы из сотен и слобод ее. О выборных неслужилых людях из городов — не говорится.

О соборах, бывших в царствование Феодора Алексеевича, нам известно, что первый из них, созванный по поводу уничтожения местничества, состоял только из служилых лиц, так как и самый предмет, для которого этот собор созывался, касался исключительно одного служилого сословия, — другой же собор (о котором мы не знаем: отправлял

ли он свою деятельность или она прервана была болезнью и потом скорою кончиною царя), должен был состоять из торговых людей. Ни в том, ни в другом соборе не было места для землепашцев-поселян. Об участии собора в избрании на царство Петра мы так мало имеем подробных сведений, что не знаем: из кого именно этот собор состоял.

Г. Сергиевич, которого ученый авторитет вы, кажется, так же высоко уважаете, как и я, в своей статье о «Земских соборах», напечатанной в «Сборнике Государственных Знаний», так поясняет вопрос об участии селян в земских соборах. «Период возникновения соборов совпадает у нас с периодом прикрепления крестьян. Зависимые крестьяне, конечно, не могли призываться к участию в соборах. Если мы встречаем указания на участие уездных людей, то эти свидетельства, по всей вероятности, относятся только к тому незначительному числу крестьян, которое оставалось еще свободным. Да и в этом ограниченном смысле уездные люди присутствовали только на самом полном избирательном соборе 1613 года. Но это исключение крестьян пополнилось до некоторой степени представительством посадских, которые в большинстве случаев были те же крестьяне, так как резкого отличия между городскими и уездными жителями в это время еще не было и посадские, кроме торговли, занимались также земледелием; они могли, следовательно, представлять интересы и всего крестьянства» («Сб. Госуд. Зн.» т. II, стр. 14). Этот верный вывод ученого профессора объясняет нам, почему мы не видим поселян в числе членов земских соборов. Их могло и не быть: по юридическим понятиям, господствовавшим в Московской Руси, вызов поселян не представлялся необходимостью, так как поселян свободных заменяли посадские, а об участии в соборах несвободных поселян, зависевших от частных владельцев, — и речи не могло быть. Исключение составлял собор, избравший Михаила Федоровича, но то было время, не похожее на другие времена; тогда, как известно, согласие всех членов, бывших в Москве на соборе, сочтено было еще недостаточным; посылали еще по городам отбирать мнения всех людей Московского государства: дело было чересчур важное, вековое; надобно было избирать царя наследственного, возвышать, значит, один род над всеми русскими родами. Понятно, что собор по поводу такого дела не шел в одну статью с другими соборами ни прежде, ни после него созывавшимися на Руси. Далее относительно замены на соборах одною Москвою других городов или областей, г. Сергиевич говорит: «источники говорят о выборных

от всех чинов и городов, но вместе с тем мы имеем примеры соборов, на которых были представлены далеко не все местности государства. Вводя всюду единообразные московские порядки, правительство естественно склонно было думать, что люди одного и того же чина стоят в одинаких условиях, где бы ни жили, а потому с его точки зрения, посадские известного города легко могли представлять интересы посадских людей вообще и в крайнем случае собор мог состояться, если б на нем были только посадские города Москвы» (ibid. стр. 16). Справедливость этих слов уважаемого профессора вполне подтверждается фактическими данными, какие нам представляют некоторые соборы: мы видим только московских жителей, а выборных из областей или нет вовсе, или их чрезвычайно малое число в сравнении с москвичами.

Конечно, из наших земских соборов могло бы возникнуть много важного и благотельного, но только при таком стечении обстоятельств, какого не было в нашей истории и при устранении такого, какое было. Задавать себе такие гадательные вопросы и предположения я, однако, считаю не делом историка. Мало ли что вышло бы, если б не делалось на свете так, как делалось, а делалось бы иначе! Нам следует ограничиться уяснением себе того, что действительно было, не вдаваясь в то, что могло быть. Из наших же земских соборов осталось для грядущих поколений так мало последствий в нашем общественном развитии, что их почти не видно.

## О ЗНАЧЕНИИ КРИТИЧЕСКИХ ТРУДОВ КОНСТАНТИНА АКСАКОВА ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ<sup>1</sup>

Русской литературе суждено неоднократно ощущать преждевременную потерю талантов и деятелей мысли и слова. Рано оставили свое поприще корифеи русского слова: Пушкин, Гоголь. Много надежд унесли с собой в могилу Лермонтов, Веневитинов и Кольцов. Прошедший год не стало Константина Аксакова, одного из полезнейших деятелей по русской истории и языкознанию. Я полагаю, не будет неуместным почтить его свежую могилу, посвятив несколько минут на воспоминание о нем, чтоб показать степень участия, которое он оказал в науке русской истории.

Константин Аксаков не оставил после себя ни исторических повествований, ни больших исследований, ни даже трудолюбивой обработки источников; он по русской истории писал мало, но в немногих его статьях, рассеянных в периодических изданиях, сохранились животворные мысли, светлые взгляды, которые не напрасно высказаны для науки, и будут служить путеводными нитями для дальнейших исследований над важнейшими сторонами нашего прошедшего. Этот писатель принадлежал к той оригинальной школе, которая у нас получила название славянофилов и в свое время подвергалась ожесточенным преследованиям и насмешкам. Вопросы, поставленные ею, вообще были такого рода, что касались непосредственно русской истории и могли уясниться только через основательное знание прошедшего и уразумение его смысла. Ее периодический орган — «Русская Беседа», при самом появлении своем в свете, заявил о необходимости русского воззрения в деле науки.

---

<sup>1</sup> Представляет собой речь, подготовленную для произнесения в Петербургском университете 8 февраля 1861. Опубликована в ж. «Русское слово», кн. 2, 1861 г., и отдельной брошюрой, 1861 г., СПб.

Мысль эта сделалась предметом толков и возражений; из них большая часть не отличалась ясным сознанием того, о чем идет речь, да и самая сущность этой мысли была тако-ва, что могла вполне уясниться только тогда, когда бы облекалась в дело; ибо только тогда могло выказаться требуемое русское воззрение в деле науки, когда бы явились самобытные произведения, где бы оно невольно отразилось. Мысль славянофилов была и здравая, и справедливая, но она не подлежала толкованиям ни рго, ни contra прежде приложения ее к делу. Аксаков был писатель, успевший до некоторой степени приложить ее к науке русской истории.

Раболепное поклонение европейским теориям, взглядам и образцам составляло сущность нашей образованности. Не смели ни думать, ни писать иначе, как нам указывали на западе. Русская история подверглась той же участи. Мы по части нашей древней истории шли по дороге, проложенной в ней немцами, приняли созданные ими предвзятые теории, не смея их подвергнуть собственному анализу, подводили наше прошедшее под законы, извлеченные из исследований над жизнью западных народов и мало обращали внимания на своеобразность нашей народной жизни. Мы заключились в сфере государственности, считая массы народных поколений, пережившие столетия, не более как материалом для выражения государственных начал. Занятие русской историей скорее обращалось на вопросы частные, археологические, специальные, а оставляло в тени те, которые прямо относились к жизни, вели к уразумению прошедшего в его жизненном значении и отношении к потомству. Такой взгляд был естественен после того, как так называемая петровская реформа отрывала государственную сторону национального нашего быта от народной, привлекла к первой, в противоречие с последнею, образованность, поставила стену между классами народа, и одну большую половину с старою жизнью его отбросила за пределы развития и истории, другую же повела к подражанию иноземщине. Несправедливо, однако, некоторые выражаются, что эта реформа и последующее ее продолжение лишили нас народности; напротив, они произвели у нас две народности: одна была старая, другая новая, — народность Евгения Онегина. Онегин с его легким образованием, в котором он не сознает другой необходимости, кроме побуждения *казаться* образованным для других, со всеми продуктами воспитания — пустотою, тщеславием, отсутствием нравственных убеждений и модною жестокостью, под которою тя-

готится его природный здравый ум и природное доброе сердце, есть олицетворение русской жизни образованного круга, выражение нравственных последствий влияния спасительной реформы и занятия на прокат иностранного просвещения. В личности Онегина совмещается половина русской народности, отрезанная от другой; черты этого типа — черты нашего общества, нашего умственного прогресса, нашей науки. За этой половиной русской народности, народностью Е. Онегина, существует другая — народность подавленной заброшенной массы, народность старой Руси, где переплелись между собою обломки старого удельно-вещного мира с сокрушившею его московскою стихиею, где пронизательный взор наблюдателя отыщет еще не вполне стертые противоречия произвола личности новгородской слободы с безличностью эпохи Иоанна Грозного, где многовековая допетровская история напечатлелась в народном быте, нравах и народном характере — от языческих славянских празднеств до дьяков Алексея Михайловича и стрельцов двуглавства. Старая народность наша не так счастлива, как новая: наша литература не представила еще такого типа, в котором бы она отразилась с такою же точностью, с такою осязательностью, как новая в Онегине.

Несправедливо было бы сказать, чтоб между двумя русскими народностями не было связи; как во всем есть переходное состояние, так и между этими двумя русскими народностями есть свои сближения, есть свое среднее: старая наша народность часто хочет освоиться с новою, как равно и под щегольским фракком Е. Онегина не задушены вшедшие в плоть и кровь предковские привычки.

Известно, до чего доживаете наконец Евгений Онегин. Убийственная тоска, доходящая почти до сумасшествия, снedaет его; еще юный, здоровый, полный сил, неудовлетворимой жажды деятельности, без сознания путей, куда можно обратить эту деятельность, Онегин завидует тульскому заседателю, страдающему параличом. Почти до такого же состояния дошла и русская мысль, и с нею русская наука. И хотела было она обратиться к покинутой, отвергнутой, презренной старой народности, когда западные учителя позволили ей уважать то, что сделалось достоянием черни; да не давалась ей эта народность, как отвергнутая Татьяна Онегину, когда, презревши деревенскую девушку, он начал на нее глядеть иными глазами, коль скоро другие стали уважать в ней знатную барыню.

А между тем иного исхода не представлялось. Попытки продолжались. Константин Аксаков шел по этому пути.

Сначала, под влиянием Гегелевой теории необходимости явлений, он смотрел на одну только сторону жизненного исторического русского вопроса и находил реформу Петра новым законным образом русской истории и необходимым переходом от исключительной национальности к общечеловечности, от osobности к развитию единичности или личности. В этом взгляде, в 1846 году высказанном в Ломоносове, сочинении замечательном по зрелой картине развития литературного языка, Аксаков еще не сказал ничего отличного от общего уровня заказных понятий об этом вопросе. Скоро после того любовь к народу, которую он получил из детства, неудовлетворимость философского систематикую, повели его к более живому воззрению. Он обращается к народу, к той части русской народности, которой было суждено прозябать под анафемой иноземного просвещения, взиравшего с надменностью на сумрак ее жизни из своего заимствованного света. Аксаков является защитником русского народа. В тех критических статьях, помещенных в Московском Сборнике, он нападает на кн. Одоевского, у которого в одной повести крестьянка, учившаяся в Петербурге, выразилась, что в селе у нее не знают, какой рукой перекреститься, и потом эта крестьянка распространяет благочестие в своем селе. «Никакая в свете Настя, — восклицает Аксаков, — никакой в свете образованный и воспитанный человек не может стать наряду с народом и осмелиться наставлять его в этом чувстве — его, силою воли прогнавшего столько врагов иноплеменных. Можно ли так легко судить о народе, так легко воспитывать его посредством какой-нибудь Насти, такого отвлеченного и легкого лица, так не знать глубины и убеждений и многого, многого в народе, что для Насти темный лес и где бы тысячу раз она потерялась и пала бы, почувствовав и поняв свое бессилие, если б к счастью могла сколько-нибудь понять его... К счастью, Настя и ей подобные не понимают и не могут приблизиться даже к глубокой стороне народа; это для них непроницаемая тайна, запечатое сокровище». Таким образом, здесь Аксаков заявляет смелую мысль, что просвещение из онегинской народности не может дать нравственного воспитания старой русской народности, и последняя сама в себе носит гораздо более истинно нравственных и благородных начал.

Еще резче и применительнее ко взгляду на историю он высказывает то же чувство любви к старой народности и негодование против оскорблений ее, нападая на некоторые выражения одного писателя, пользуясь этими выражениями

впрочем только для того, чтобы высказать свой взгляд. Восхваляя Петра Великого, этот писатель выразился о стрельцах, что они соединяли в своем зверском братам лице все ужасы и все пороки. Аксаков находит, что борода не имеет в себе ничего зверского. Аксаков нападает на автора за приращение пищаля названия благородного оружия, в противоположность дреколью, оружию крестьянскому, и напоминает 1612 год, когда дреколью подымается за правое дело, а пищаль служила делу ложному; негодует за то, что этот писатель назвал курные крестьянские избы дымными логовищами, указывает, что это зависит от бедности и нельзя класть упрек на народ за его бедность, и наконец, по поводу общепринятой мысли, что Петр по необходимости, должен был заимствовать просвещение с запада, Аксаков говорит: «Если Петр должен был искать начал, то он должен был искать их у себя, в самом народе. Без зерна не вырастишь дерева; без зерна можно сделать только искусственное раскрашенное дерево, с натюканными глиняными плодами и бумажными цветами. Но в русском народе есть начала; Петр Великий приносил начала чуждые, но народные начала сохранились и до сих пор в простом русском народе».

Мы упоминаем об этих мимолетных выражениях именно потому, что они показывают, куда обратились чувство и мысль писателя. С тех пор он стал твердо на избранном пути. Он обратился к простому народу, стал искать в нем начал, чтоб вносить их и в жизнь, и в науку.

Не наше дело разбирать, что Аксаков и вообще славянофилы внесли в общий ход умственного нашего образования. Мы остановимся только на том, что с таким направлением сделал Аксаков для русской истории.

Мы не думаем, что Аксаков взял что-нибудь для науки непосредственно от народа, так, чтобы ему оставалось быть только передатчиком народного взгляда. Но это отречение от онегинской народности, это стремление оторваться от раболепного подражания западным теориям, это наконец желание найти что-то лучшее, свежее, обновляющее в старой народности, увлекая его наравне с другими славянофилами отчасти в идеализм, дало однако простор самобытной мысли, отвязало ее от раболепной покорности авторитетам.

С таким побуждением написана была напечатанная в Московском Сборнике 1852 г. статья «О древнем быте у Славян и у Русских в особенности». Аксаков открывает нам глаза, что мы в науке русской истории находимся в рабской зависимости от взгляда немцев на нашу историю, что не-



мцы, не принадлежа к народу и не имея с ним жизненной связи, принялись толковать его жизнь; русские привыкли смотреть на историю, изображать ее так, что в ней русского ничего не видно, но при знакомстве с большим количеством памятников возникло сознание недостаточности того, вошедшего в привычку от западных учителей, политического взгляда, с которым историк думает, что задача истории будет выполнена, если он изобразит нам одних князей да войны, да дипломатические переговоры и законы; пробудилась потребность обратиться к народному быту, общественным, внутренним причинам народной жизни. Это желание высказалось у Соловьева, а между тем тот же историк сделался последователем немца Эверса, провозгласив в науке учение о родовом быте, и увлек за собою других молодых ученых, и таким образом составила еще одна отысканная немцами произвольная теория, на которой созидают всю науку истории, не обращая внимания, что теория эта не оправдывается действительно существующими в народной жизни стихиями. Главною целью его ученого оружия — мнения, высказанные Соловьевым, Кавелиным и отчасти Афанасьевым и Калачовым. Критик указывает неточность двух первых, недостаточность их собственного ясного представления о предмете и открывает у них противоречия и голословности. Действительно, Соловьев в одном месте смешивает род с семьею, говоря «семья или род»; в другом говорит, что предки наши не знали семьи, а знали один только род; признает родоначальника верховным правителем рода, не знающим над собою высшей власти, и вместе с тем говорит, что каждый младший, будучи недоволен решением старшего, имел возможность восстать против этого решения. Кавелин, признавая законы необходимости, общие для всех народов в известные периоды их развития, на основании некоторых двусмысленных выражений в древних памятниках, в сущности родового быта отыскивает смысл нашей истории до самого Петра Великого. Нясность сознания о значении предмета выказывается из важного противоречия у обоих: Соловьев говорит, что при родовом быте семья не имела собственности, а Кавелин, напротив, говорит, что собственность принадлежала семье. Аксаков признает вместе с Кавелиным существование положений, через которые переходят все народы в своем развитии, и таким образом допускает, что родовой быт действительно был первою общественною ступенью, через которую проходили все народы, и в том числе славянские; но каждый народ выражал свою жизнь в известных положениях сообразно

своей натуре, обусловливаемой и предыдущей и настоящей его судьбою, и местностью и обстоятельствами. «Одни, — говорит Аксаков, — прошли через него не останавливаясь, другие остановились более или менее, утвердили за собою этот быт, формулировали, определили его явственно, с большими или меньшими подробностями, особенностями и оттенками». Мысль здравая: и несмотря на свою простоту, очевидности и давноизвестности, не всегда ценимая учеными, когда они охотно прибегают к аналогиям, за неимением или неясностью прямых указаний, и думают достигать своей цели, коль скоро выводы, добытые аналогией, кажутся им не противоречащими общим человеческим законам, и следовательно, по их мнению, неизбежными. Аксаков признает, что родовой быт конечно коснулся и славян, однако не считает этого племени в числе тех, которые развили в своей жизни родовой быт и формулировали его для дальнейшей своей истории. Когда нужно теорию общечеловеческих законов прилагать к истории какого-либо народа, то не следует упускать из вида, что эти законы могут выражаться многообразными способами, и какими способами они приложились к народной жизни в тот или другой век — этого не покажут никакие аналогии; это может открыть только изучение актов и наблюдение над ними в подробностях.

Главным образом вся эта произвольная теория родового быта основана на двух местах памятников, понятых произвольно. На основании предвзятого их толкования начали подводить под созданную теорию места из других источников и объяснить их значение родового быта. Эти коренные места — 1) из суда Любуши, 2) из приписываемой Нестору летописи. Аксаков очевидно доказал, что в этих именно местах является совершенно противное. Дело в том, что перед суд Любуши являются два брата, спорящие о наследстве после отца. Вопрос в том, разделить ли им, или владеть сообща. Любуша предлагает это дело на обсуждение сейму, напоминает, что, по закону векожизненных богов, братьям следует или пребывать вместе, или разделиться. Сейм решает, что им следует владеть отцовским имением сообща. Одни из братьев высказывает свое неудовольствие таким решением. На этом-то месте основывали, что у древних славян существовал родовой быт. Но во-первых, вопрос завязывается только между двумя братьями, следовательно вращается в круге семейного, а не родового быта, (как его понимали в виде разветвления и вместе совокупности семей), во-вторых, по вопросу о том: владеть ли братьям со-

обща или разделиться, слова Любуши относят к закону векожизненных богов и тот и другой способ разрешения; в третьих, недовольство одного из братьев Кленовичей показывает, что в понятиях у славян не было не только родового, но и обязательного семейного единства, поглощающего свободу личного права. Все, что можно вывести из этого места, есть то, что в древности существовал обычай — по смерти отцов — детям и владеть сообща, и делиться; что по этому предмету возникали споры, которые решались вовсе не родовым, а гражданским вечевым порядком. Другое место в пользу родового быта — в нашей летописи, столь же мало подтверждает спорную теорию. Это место: «Поляном живущим особо и владеющим роды своими, иже и до сее братье бяху Поляне и живяху кождо с своим родом и на своих местах, владеюще кождо родом своим». Аксаков указывает, что выражение «живущим особо» относится прямо к последующему выражению: «иже и до сее братье бяху Поляне» и, сопоставляя его с подобным выражением другого места, где говорится: «Поляном же живущим особе, якоже рекохом, суще от рода словенска и нарекошася Поляне», указывает, что в первом месте, как и во втором, то значение, что Поляне и прежде были Поляне, особо от других племен. Что касается до слова «род», то Аксаков справедливо признает здесь это слово в значении семьи и указывает на значение его в смысле семьи в малорусском языке до сих пор. Но по нашему мнению, выражению «и на своих местах владеюще кождо родом своим», Аксаков слишком затейливо дает тот смысл, что каждый жил вместе с своим родом, к которому принадлежал. Здесь смысл гораздо проще: каждый владел или управлял семьей своею; разумея под *каждым* отца семейства, что совершенно совпадает с народными понятиями. Очень остроумно и метко указывает критик на выражение, которого как будто не замечали приверженцы родового быта у того же летописца, и по поводу того же предмета: именно о Кие, Щеке и Хореве, трех братьях начальниках Полян, говорится, что они жили отдельно и держали род свой. Коль скоро братья жили отдельно и у каждого был свой род, то здесь, во-первых, очевидно, что летописец киевский употреблял слово «род» именно в смысле семьи, что и теперь это слово означает по-южнорусски; а во-вторых, что их способ помещения отдельно семьями, указывает на отсутствие такого родового быта, который произвольно создают его поборники. Аксаков очень кстати припомнил, что слово «двоюродный», даваемое сыну дяди, явно указывает, что род означал в древно-

сти семью, и показывает напротив неразвитость родовых понятий.

Подтверждением его мысли, опровергающей родовую теорию служит также и «Русская правда», где право мести ограничивается, после отца, только сыновьями, братьями и племянниками, а если б не было таких близких родственников, то и мстить было некому: это никак ни сходится с развитым родовым бытом; равным образом статьи о наследстве после боярина и смерда имеют в виду только близких семейных, а не отдаленных. Да и вообще в нашем памятнике древних юридических понятий нет ничего, указывающего на существование родового быта. Слово род, по мнению Аксакова, у нас имело два значения — семьи и происхождения или предков и потомков по восходящей и нисходящей линии. Не рассмотревши вполне значения этого слова, приверженцы родового быта вслед за Эверсом, создали себе произвольное понятие, начертили картину родового быта и строят на нем всю русскую историю.

Опровергая родовую теорию, Аксаков отыскивает другое основание нашего древнего быта — общинное или вечевое. Древние свидетельства о славянах Прокопия и Маврикия, насильственно подогнанные под теорию родового быта, получают свое прямое значение. Во всей древней русской истории, от призвания первых князей до падения вечевого порядка, видно это устройство. Его очевидность подтверждается множеством примеров, несмотря на скудность наших летописей, упускающих из виду внутреннюю сторону истории и занятых более внешними событиями. Аксаков указывает на важное значение земли в собирательном смысле союза городов и сел, связанных народною одноплеменно-стью, и представляет в пример раннего о том понятия дела Ольги с древлянами, где древляне действуют всею деревенскою землею. Таким образом, Аксаков в своей статье не только рассеивает произвольно созданную теорию, грозившую обнять и заковать все последующие события русской теории и тем самым осветить ее фальшивым, ей не свойственным блеском, но и наводит дальнейших исследователей на истинный путь. Мы не станем излагать здесь всех примеров существовавшего издревле общинно-вечевого начала, приводимых Аксаковым: эти примеры большею частью известны в настоящее время всякому, занимающемуся русской историей; они очень выпукло стоят в ряду исторических событий, а между тем прежние исследователи и повествователи оставляли их более или менее в тени, как незамечательные и второстепенные частности. Подробное

рассмотрение их, приложение к течению истории и окончательные выводы могут быть достоянием целостного изложения истории, но Аксакову бесспорно принадлежит честь поставки на первый план этой стороны древней нашей жизни. Справедливо кончает он свою статью такими многозначительными словами: «Русская земля была изначально наименее патриархальная, наиболее семейная и наиболее общественная (именно общинная) земля».

Но так как никакая теория, как бы она произвольна ни была, не обходится без части истины, так и в поднятом учении о родовом быте остается своя доля исторической правды. Сам Аксаков должен был сознаться, что если где можно, хотя отчасти, найти родовое устройство, так это в роде рюриковых, призванном, нетуземном. Чтоб чем-нибудь согласить с своим взглядом это обстоятельство, очень благоприятствующее Соловьеву и Кавелину, Аксаков приписывает его чужеземному влиянию, и присоединяет к этому другое подобное явление — местничество, которое занято было у дружины и тоже занесено извне, а земля или народ не принимали в обоих явлениях никакого участия. Здесь мнение Аксакова почти столько же натянуто и произвольно, как и система его противников. Во-первых, если князья были чужеземцы, то их призвали славяне, и призвали трех, а не одного князя, и с тех пор свободно образовалось понятие о праве рюрикова рода на владение: и так следовательно, у славян было уже готовое понятие о превосходстве родов. Во-вторых, мы видим, что фамилия Рюриковичей скоро ослаблялась, приняла туземную народность, и все-таки удерживала свое родовое значение. Что касается до местничества, то напрасно говорит Аксаков, что в народе не было о нем идеи. Вот хоть бы например взять Горе-Злосчастие, где на пиру есть места и большие, и средние, и меньшие, и пришедшего гостя сажаят *по отчеству*, а когда замечают, что он тоскует, то говорят ему: «или место тебе не по отчине твоей?». Между посадскими и крестьянами мы видим разделение на «лучших, средних и меньших». Самый обычай называть по отчеству указывает на уважение к роду, к происхождению. Дело в том, что такого родового быта, какой себе вообразили было — с родоначальниками, с строгим разветвлением и самозаклученностью, с деспотической властью патриархов, у нас не было; но издавна существовало уважение к происхождению, которое поддерживалось или ослаблялось состоянием, счастьем и умением удержаться в значении членов рода. Самый княжеский род лучше всего

показывает, до чего доходили эти понятия. Мы видим сознание прав княжеского рода; из этого рода лица должны быть правителями в русских землях, но, с другой стороны, не видим личной зависимости младших от старших, ни общей собственности между князьями. Каждый князь сам по себе свободный человек. Притом, очевидно, их единство связывается не внутренним сознанием родовой чести, а положением в отношении страны. Русская земля составляет федерацию земель. Еще в IX веке, как показывает нам летопись, необходимость отбоя норманнов вынудила нескольких народцев, обитавших на русском материке, соединиться; чтоб удержать эту связь, возникшую вследствие чужеплеменного натиска, народы нашли способ призвать к себе особый род, такой род, который был бы непричастен местным интересам. Это понятие, самое простое и естественное, у нас беспрестанно выражалось формою третейского суда. Призванный род послужил звеном соединения земель. У народов не было ни малейшего понятия о централизованном государстве. Они понимали только союз земель. Следовательно, ничего не могло быть естественнее Ярославу, у которого было несколько сыновей, расселить их по землям. Связь между правителями земель должна была оставаться, по мере того как оставалась связь самых земель между собою. Понятно, что черниговский князь чувствовал родовое единство с смоленским или рязанским, когда и черниговская земля признавала с землею смоленскою или рязанскою свое союзное единство. Но было ли то же в народе? Сознавали ли также фамилии не княжеские свои родовые связи, в далеких разветвлениях? На это можно отвечать с вероятностью: сознавали, насколько обстоятельства этому благоприятствовали. Понятие о чести происхождения есть общечеловеческое понятие, так же, как и понятие о превосходстве одних перед другими по обстоятельствам. И то и другое может принимать разные формы. Идея местничества в своем обширном значении есть не что иное, как право одного пользоваться честью выше другого. Этому общечеловеческому понятию способствуют личные достоинства, богатство и происхождение. Умный человек, богатый человек уважались; уважался и сын умного и богатого человека, и ему давалось место по отчеству, и прежде чем он сам заслуживал личное уважение, ему открыт был путь по происхождению. Но как могло соединяться с этим общечеловеческим, естественным признанием прав на уважение — разветвление родства, это зависело от обстоятельств. Скучность нашего языка в родовых названиях,

указанная Аксаковым, древние памятники, ограничивающие родство тесным кругом семьи, показывают, что в древности связь подобных семей терялась; но православие, внесши к нам с одной стороны готовые степени родства, с другой византийские понятия о благородстве, необходимо расширяло семейные связи и развивало у нас аристократические начатки. Общечеловеческое уважение к происхождению получило здесь свою санкцию. Мы видим, что в Новгороде, земле, в которой никак нельзя отрицать существование самых широких демократических начал, происхождение пользовалось уважением. Сыновья посадников носили как бы сословное прозвище детей посадничьих; память заслуг или знатности предков служила честью детям и потомкам. Это существовало в логической параллели с противным обычаем — за преступления отцов брать на поток и разграбление их семейства. В московской земле те же начала получили более прочное приложение; когда там образовался монархический уклад и стал подавлять вечевой, тогда около великих князей сгруппировались фамилии и стали *тянуть* к ним службою; служба великому князю сделалась признаком отличия заслуг. Тогда к понятию о службе государю примкнули старые понятия о чести происхождения, и конечно стали определеннее, прочнее, осязательнее, легальнее, как вообще все общественные понятия стали тогда выражаться в учреждениях и обозначаться более резкими чертами. Но собственно они носили более семейный, чем родовой характер: человек гордился происхождением по отцу, мог поставять себе в честь и заслугу дела предков, но все-таки по отношению прямого происхождения родителей; нигде мы не видим чести родовой в определенном смысле слова, т.е. когда бы говорилось не о прямом происхождении, а о принадлежности к группе, связанной родовым союзом. Так возникло местничество: эта форма выражала тогдашнюю степень развития старинных понятий о благородстве происхождения в приложении к службе царю.

В своем разборе VI тома истории Соловьева (Русск. Бес. 1856, VI) Аксаков дополняет свои прежние доказательства против родового быта новыми указаниями на обстоятельства, в которых Соловьев видел продолжение родового быта. Последний находил присутствие родового быта в том, что русский боярин прибавлял к своему имени имя отца, деда и прадеда. Аксаков справедливо заметил, что именно этот способ фамильных прозвищ указывает на господство семейного, а не родового начала, и что если б существовало по-

следнее, то боярин прибавлял бы к своему имени прозвище рода, а не прямых предков. Аксаков с своим своенародным взглядом подметил верно, что и теперь у простонародья называются прозвищами отцов и дедов, и таким образом в одном и том же непосредственном поколении прозвища изменялись. Точно так же и в старину не было фамильных родовых прозвищ, были семейные; имя деда удерживалось для внуков и уступало другому прозвищу, имени нового деда, через поколение. «Так Романовы, — говорит он, — прежде во время Иоанна назывались Захарьевыми, по имени деда, а потом через поколение назвались Романовыми, по имени Романа, внука Захария, и в свою очередь деда именитого Феодора (Филарета) Никитича.

Вообще эта рецензия Аксакова изобильна своеобразными взглядами на многие стороны и вопросы русской истории. Здесь, в коротком очерке, Аксаков излагает свою систему русской истории. Со многим надобно нам согласиться, другое кажется неверным. По мнению его, во времена удельные вся Россия была единая, и не представляла не только отдельных государств, но даже и федеративного союза. Княжеские деления владений, постройки государственных перегородок совершались без участия земли или народа. Народ управлялся по себе, своим вечевым порядком и вмешивался в княжескую борьбу только в крайних случаях, когда или удалял князя, который вредил его материальному благосостоянию, или вооружался за любимого князя по особенному сочувствию к его личности. Князья окружала дружина. Дружина была стихиею, чуждою народу. С татарского завоевания, князья, присмотревшись в орде на государственную цельность власти в лице хана, стали стремиться к установлению государственного порядка каждый в своем княжестве, хотели усилить свое могущество на счет своих соседей. Но Москва подняла знамя всей Руси — уже не знамя Москвы, но Руси и в земском и в государственном значении. Здесь, в первый раз создаваемое издавна единство земли сочетается с стремлением к единству государства. Таким образом, возвышение Москвы представляется делом вполне общенародным, общерусским; и потому-то невозможно было бороться князьям против московской власти, ибо это значило бороться против всего русского народа. Когда, таким образом, сформировалось русское государство, дружина окружила престол. Дружина прежде ограничивала князя; князь обязан был с нею советоваться. Но дружина была всегда чужда народу, и теперь стала вредна как для царя, так и для народа — и вот Иван IV



сокрушает дружину, а народ молча присутствует при ее сокрушении.

В этом взгляде на историю, начатую от призвания варягов и доведенную до Ивана Грозного, есть доля правды, но сильно закрытая туманом идеализма. Чутье Аксакова ощущает раздвоение власти и народа с начала русской истории, но, по нашему разумению, попадает не туда, где оно в самом деле находится. Главная ошибка его та, что он передал первоначальному единству русской земли более, чем сколько его было на самом деле. При элементах единства были элементы самобытности земель, а их-то не хочет знать Аксаков. Между тем, допустив их (а их не допустить нельзя, когда после стольких веков соединения, этнографические особенности отличают до сих пор местности и населения прежних земель), мы поймем, что удельные дележи и междоусобия, если иногда и происходили из родовых отношений и представляются чуждыми народным побуждениям, то, с другой стороны, очень часто сходятся с ними воедино, и народ был вовсе не так чужд княжеских притязаний; но часто самые эти притязания были только наружным явлением народных побуждений, так что князья были орудиями партий, проводивших то или другое дело народа или его части. Таким образом, хотя справедливо, что за пределами княжеских отношений была другая жизнь, земская, нам мало известная, но эта жизнь не отделялась китайскою стеною от князей и их дружин, как воображал Аксаков. Точно так же хотя и справедливо, что дружина, как толпа, окружавшая князей, составляла нечто отличное от массы народа, но вовсе не до такой степени ей чуждое. Дружина эта набиралась из того же народа и входила туда же. Аксаков идеализировал действительность и провел точные разделительные черты там, где их не было, как и вообще во всем в русской жизни господствовала неопределенность, недостаточность разграничения. Еще менее точно то, что высказано им о значении Москвы. Степень сознания единства русской земли в явлении московского государства не уничтожила однако сознания самобытности земель, и русские земли вовсе не так легко и добровольно отдавались под власть московскую. Да и не так добродушно, народолюбиво, московские государи совершали подчинение земель. Довольно будет указать на Новгород. Опора в татарских ханах, владыках русского мира, покровительство со стороны митрополита, первопрестольника русской церкви, и более всего ловкая, коварная политика, умевшая пользоваться обстоятельствами и вооружать

одних против других, пособляли московским князьям более, чем народное желание государственного единства. Душегубства Ивановы нельзя объяснить борьбою с какою-то дружиною: какую же дружину перетопил он в Новгороде? Какую дружину травил медведями на Москве-реке? Да не скорее ли он является врагом земщины, покровителем дружины в опричнине? Аксаков, кажется, не замечает, что всякая попытка найти в Иване какую-нибудь олицетворенную идею всеобщей потребности времени напрасна после того превосходного уразумения характера этого замечательного исторического лица, какое показал сам Аксаков в своей характеристике его:

«Иоанн IV был природа художественная, художественная в жизни. Образы являлись ему и увлекали его своею внешнею красотою! Он художественно понимал добро, красоту его, понимал красоту доблести, и наконец самые ужасы влекли его к себе своею страшною картинностью. Одно чувство художественности, не утвержденное на строгом и суровом нравственном чувстве, есть одна из величайших опасностей душе человека. С одной стороны оно не допускает человека испытать ни одного чувства правдиво, ибо человек, наслаждаясь красотою чувства, им испытываемого, или дела, им совершаемого, не относится к ним цельно и непосредственно: он любит ими, он любит красоту, а не самое дело. Вот отчего и в истории, и в частной жизни встречаем мы такие явления, что человек, например, плачет умиленными слезами, слыша рассказ о кротости и великодушии, а сам в то же время мучит и терзает ближнего: и он не обманывает, эти слезы не притворны; но он тронут как художник, с художественной стороны, а одно это еще ничего не значит, на действительность это не имеет влияния. Человек довольствуется здесь одним благоуханием добра, а добро само по себе, вещь для него слишком грубая, тяжелая и черствая. Это человек безнравственный на деле, но понимающий художественную сторону добра и приходящий от нее в умиление. Дело самое добра ему не нужно и не под силу: он чувствует только, как оно изяшно-хорошо, и довольствуется этим. Такое состояние почти безнадежно; ибо тот, кто не понимает его и не чувствует, может понять, почувствовать и преобразиться нравственно. Тот же, кто чувствует добро, но только художественно, или наслаждается его благоуханием, а дело самое откидывает, тот едва ли может исправиться. Здесь мы имеем в виду не художественное чувство вообще, а одно художественное чувство, отвлеченное, без нравственных оснований, что встречается

в жизни чаще, чем, может быть, думают. Тогда и дело самое добра, если захотят его совершить, является лишь как картина без своей истины и существенности.

Но есть другая сторона художественного чувства, в свою очередь губящая человека. Художественное чувство может отыскать красоту и в самом диком, и в самом низком явлении. Например, что может быть возмутительнее для нравственного чувства, как образ кромешника, терзавшего несчастные жертвы Иоанновой жестокости? А вспомним стихотворение Пушкина «Кромешник»: поэт представляет его не в том свете, но как бы с художественным сочувствием.

В Иоанне была художественная природа, не основанная на нравственном чувстве. Она влекла его от образа к образу, от картины к картине, и эти картины любил он осуществлять себе в жизни. То представлялась ему площадь, полная присланных от всей земле представителей — и царь, стоящий торжественно под осенением крестным на лобном месте и говорящий речь народу. То представлялось ему торжественное собрание духовенства — и опять царь посередине, предлагающий вопросы. То являлись ему, тоже с художественной стороны, площадь, уставленная орудиями пытки, страшное проявление царского гнева, гром, губящий народы... и вот ужасы казней московских, ужасы Новагорода. То являлся перед ним монастырь, черные одежды, пост, молитва, покаяние, труды и земные поклоны — картины царского смирения и, увлеченный ею, он обращал и себя, и опричников в отшельников, а дворец свой в обитель. Как трудно тому, кто любит картину покаяния, покаяться в самом деле!»

Этим мастерским очерком Иванова характера, составленным с таким глубоким психологическим взглядом на человеческую натуру, Аксаков подписал приговор всем возможным попыткам отыскать у Ивана какие-либо определенные идеи, какие-нибудь преднамеренные, неизбежные цели; Иван понял как нельзя более, и первая честь этого принадлежит Аксакову. Иван — художественная натура, каких действительно на свете много, и которые бывают почти всегда очень неглупые люди. При наших условиях общества, родившись в кругу обыкновенных смертных, они поступают в один из многочисленных разрядов обширной массы пустых людей. Они плачут в театре от трагической сцены, с ужасом содрогаются при виде человеческого страдания, но редко способны облегчать человеческое страдание и легко могут сделаться сами причиною его;

они умиляются благочестием над плащаницею в великую субботу и готовы кошунствовать над религиею на фоминой неделе; они высокопарно проповедают об общем благе, о народном воспитании, о равенстве и свободе, но не сделают в пользу всего этого шагу, который бы стоил какого-нибудь сознательного пожертвования с их стороны, потому что и не в силах действительно почувствовать и сознать того, о чем говорят; они идеально влюбляются и проводят бессонные ночи в томительных грезах о своих красавицах, но обыкновенно бывают самыми дурными мужьями и отцами; они всего более кажутся способными увлекаться изящным и любить искусство: ахают в картинных галереях, приходят в неистовый восторг от музыки, с жаром превозносят красоты произведений поэзии, но в самом деле никогда не могут вполне постигать сущности искусства, лежащей в его явлениях. Когда эти люди не одарены властью, они безвредны настолько, насколько пустота может быть безвредною, но коль скоро судьба поставит их на какую-нибудь степень влияния на других — горе последним!

Таков был и Иван Грозный, сколько можно видеть из современных памятников. Народ не был отягощен и пользовался правом самоуправления. Художественные натуры, имея власть, не могут быть строги и тяжелы, правда, они очень любят созидать теории, предначертывать планы и устраивать порядки, но зато они довольно ленивы для того, чтоб долгое время действовать по одному плану. Привычка созидать образы и тешить себя ими развивает умственную и телесную лень; притом, у художественных натур недостает практического рассудка, когда придется работать по мелочам. У них воображение заменяет все, и рассудок, и ум, и волю, и чувство. Созданные образы носятся перед ними; они тешатся ими; они понимают смысл их, насколько этот смысл выражается в образах; но отвлекаемая от образа мысль делается для них чуждою. Они не знают цены истине и не могут любить ее, хотя всегда готовы ее прославлять и восхищаться ею. Они всегда лгут, но никогда намеренно не обманывают, лгут без задних целей, единственно потому, что беспрестанное созидание образов приучает их ко лжи. Они не способны никого и ничего любить, хотя и кажутся проникнутыми любовью. Они не эгоисты в точном значении этого слова: они не соразмеряют своих действий так, чтобы все клонилось к их пользе, да и о пользе своей собственно они редко заботятся, — они все преданы своим образам, живут исключительно для них одних. Они легко могут незлонамеренно ввести в заблуждение других и по-

казаться совсем не тем, чем есть на самом деле, потому что они неглупы, красно и с чувством говорят, готовы даже на дело, пока образ их увлекает; и потому другие могут принять в них за действительность то, что в самом деле только призрачно. Вообще такие натуры всего более обманчивы. Так точно и Иван Грозный мог быть загадкою для историков и был до тех пор, пока Константин Аксаков не указал нам его существа в настоящем свете. Подобным уразумением личностей, которым суждено было поставить свой произвол законом над массами, может объясниться многое в истории и получить совсем другой характер: окажется, что мы привыкли считать необходимым результатом предыдущих явлений то, что возникло только, как плод настроения какой-нибудь личности.

Таким образом, верный взгляд на характер Ивана Васильевича едва ли допустит видеть в земском соборе исторически-необходимое сочетание местных веч во единое вече всей русской земли. Если б это было так, то, без сомнения, такой земский собор образовался бы ранее. По нашему мнению, это явление таково, что оно могло также и не быть, но могло случиться, как действительно и случилось. Единственно, что в этом явлении может не принадлежать Ивану, это то, что сложило в его художественной голове такой образ. Кажется, что его вызвала не какая-нибудь законная потребность в истории народа, а аналогия с духовными соборами; тогда же такой собор был созван и составлял явление, обычное исстари. Сколько известно, до самой смутной эпохи, явление земского собора оставалось более какою-то церемониею, по образцу, как он вышел из воображения художника-государя. Только после потрясения русского мира, когда необходимость дала этому образу действительное значение народной потребности, земский собор стал чем-то действующим, получил сущность, но и то не надолго. Земский собор был такое явление, без которого русский народ оставался бы неизменно тем же, чем был, и потому нельзя ставить его на одну доску с вечами: Новгород и Псков перестали быть тем, чем были прежде, когда сняли их вечевые колокола!

В своем разборе Константин Аксаков коснулся вообще современного положения литературы русской истории, и, отдавая полную дань уважения таланту и трудам г. Соловьева, в то же время признает его сочинение исследованием, а не историею, что в настоящее время не пришла еще пора для истории. Аксаков и здесь последовал своему обычному идеализму. Определив историю непосредствен-

ным представлением событий (народа, человечества) в их естественном ходе, в их действительной современности и последовательности, представлением, освещенным в то же время мыслью, движущей эти события, он не допускает уже в историю исследований и думает, что они должны составлять предмет предварительных работ. В идеальном смысле будет так, но не значит ли это, что нам приходится ожидать отчетливых и законченных исследований по бесчисленным вопросам, входящим в историю, и воздерживаться от стройного изложения науки? Так строго судить едва ли возможно. Желая вполне такой истории, какой хочет Аксаков, не лишними однако будут в исторической литературе и последовательные изложения событий, которые хотя бы и не удовлетворяли такому высокому идеалу, но совмещали бы в себе все, на чем останавливалась наука в своем беспредельном движении? Присутствие исследований в истории Соловьева нельзя вменять ему в недостаток, как равно и то, что он назвал свое сочинение историей, но действительно можно пожалеть, что это достойное уважения и в высокой степени полезное сочинение талантливого и ученого профессора страдает почти повсеместно чрезвычайно тяжелым изложением, и это важный его недостаток. Аксаков в разборе VII тома той же истории, указывает на непоследовательность частей, на несоразмерность их в описании. Он не одобряет сырых выписок, приводимых из актов, без критики их самих, с слабым систематическим подведением их к мысли, обвиняет г. Соловьева в упущении некоторых важных предметов, как, например, прикрепления крестьян к земле, и вообще в недостатке систематического изложения. Замечания эти на сочинение, которое при всей тяжеловатости своего изложения, долго будет и должно иметь читателей, конечно не останутся без пользы для развития понятий, чего именно следует требовать от истории, но не совсем справедливы: например Соловьев *упоминает* о прикреплении крестьян.

В этом разборе критик выставил на вид одну важную черту русской истории. Г. Соловьев сделал такой приговор русскому умственному движению: «При отсутствии просвещения младенчеству мысль старинных наших грамотеев обращалась не к духу, а к плоти, ко внешнему более доступному, входившему в ежедневный обиход человеческой жизни». Далее г. Соловьев выставляет на первом плане разные споры о вопросах, относящихся до внешних условий религиозности. Аксаков из этого видит, что Соловьев произносит приговор на старую Русь, и в противно-

сти общеукоренному у нас мнению, будто религиозность у нас не подымалась выше обрядной, наружной стороны, указывает на ереси, касавшиеся самых существенных вопросов христианства, как например Башкина и Косого, и ранние ереси: жидовствующую и ересь стригольников. Обвинение на Соловьева в этом случае не совсем справедливо, ибо Соловьев не упустил из виду этих явлений, на которые указывает Аксаков и за что последний его хочет укорить. Но тем не менее критик здесь обращает внимание на то, что, действительно, хотя и было предметом научного исследования, однако всегда как нечто исключительное. Аксаков считает эти явления результатами общества. Действительно, в настоящее время исторические явления такого рода нуждаются в большем внимании, нежели каким до сих пор они пользовались.

В заключение своего разбора Аксаков наводит читателей на любимую свою идею — двойственность земли и государства в древнем русском мире и приводит несколько замечательных мест, доказывающих, что в русском воззрении существовало понятие о такой двойственности. Так, например, бояре отвечают польскому послу Гарабурде, предложившему съезд для постановления вечного мира: «Это дело великое для всего христианства; государю нашему надобно советоваться об нем со всею землею, сперва с митрополитом и со всем освященным собором, а потом с боярами и со всеми думными людьми, со всеми воеводами и со всею землею. На такой совет съезжаться надобно будет из дальних мест». На новые требования о том же предмете послы так отвечали: «не мало времени нужно для совещания со всею землею». Аксаков еще приводит несколько примеров, из которых заключает, что русские давали важное значение земле. Между прочим, когда один из австрийского посольства объявил думному дьяку Щелкалову, что Максимилиан хочет добывать польского королевства, Щелкалов отвечал: «государь наш хочет, чтоб Максимилиан был на королевстве польском, да ведь сам знаешь, на государство силою как сесть? Надобно, чтоб большие люди, да и всю землю захотели и выбрали на королевство, а только землю не захотят, и того государства трудно достигать». Указания эти очень важны, хотя ни Аксаков и никто другой принадлежащий к одной с ним школе не разъяснили степени той важности, какую имела в русских общественных понятиях эта идея земли в отличие от государства, в московский период русской истории. Заслуга его здесь однако та, что он *поставил* вопрос, заставил обратить вни-

мание на то, что прежде проскользало, как незначительная черта; но он бросает на него такой свет, который едва ли истекает из истины. На ссылку русских, что такое великое дело, как вечный мир, может состояться только по совету всей земли, поляки отвечали: «у вас в обычае ведется, что сдумает государь да бояре, на том и станет, а земле до того и дела нет». Аксаков по этому поводу рассуждает. «Понятно, что поляки, вдавшись в государственные аристократические формы и подавив шляхтою простой народ, не понимали уже славянского значения земли и не понимали великой нравственной силы свободного общественного мнения, силы всенародного совета, имевшего лишь нравственное, совещательное значение». Здесь только доля правды, именно то, что в Польше одна только шляхта пользовалась политическими правами, а простой народ был подавлен, в России же было более уравнивания между высшими и низшими слоями общества, но шляхта и составляла в Польше свободный народ, и все понятие о земле переносилось на шляхту. Поляки не могли не понять слова Земля; они понимали и сознавали его полнее чем русские. У поляков это слово употреблялось всегда, мы встречаем выражения — *podolska ziemia*, *mazowiecka ziemia* и т. д. в смысле народа, составляющего население края, и в смысле его представителей, возвышающих голос за свой край. Но поляки так возразили русским послам потому, что участие земли в делах России было в глазах поляков до того слабым, что казалось, будто его вовсе нет. Как могло стать, чтоб поляки не поняли великой нравственной силы свободного общественного мнения и силы всенародного совета, а следовательно важности земского собора, имеющего лишь нравственное, совещательное значение, когда в это время у поляков право высказывать общественное мнение было безгранично свободно, и поляки имели сейм, тот же земский собор, с нравственным значением, да не только совещательным, но и законодательным? Справедливо, что круг тех, которые могли участвовать в русском земском соборе, был шире, чем у поляков, ибо на земских соборах были и черные люди, но что они там делали — вот в чем вопрос! Прежде чем восхищаться величиим, правотою и широтою земских соборов, надлежало бы рассмотреть их состав и степень участия в общем механизме исторической жизни. Нам кажется, что понятие о земле, господствовавшее некогда в удельно-вечевой период русской истории, в эпоху московскую, вмещало в себе слабые стихии народной самодеятельности. Артистические капризы Ивана Васильевича



Грозного, устроившие земские соборы, несколько воскресили почти угасшие искры старины, и они было начали сверкать в новых сферах политической и общественной жизни, но не имели настолько внутренней силы, чтоб возгореться по-прежнему ярким пламенем. Не признавая за земскими соборами той первостатейной важности, какую хочет им придать Аксаков, важность того, что составляет сущность земли, остается неизменною: эта сущность — народ с его нравами, преданиями, накопившимися в течение веков, понятиями, выработанными прошлою и современною жизнью, верованиями, надеждами, тревогами, прошедшим и настоящим горем, трудом, добродетелями, пороками. Вот эта-то земля (или лучше сказать соединение земель русских), должна войти в историю русскую.

Аксаков оканчивает разбор VII тома следующими словами: «Теперь, когда вышло уже семь томов истории России, можно сказать вообще о ней мнение, т.е. о всем написанном. В истории России автор не заметил одного русского народа. Русского народа не заметил и Карамзин; но в то время этого далеко нельзя было так и требовать, как в наше время; к тому же Карамзин назвал свою историю историею государства российского. История России, предмет настоящего нашего разбора, может совершенно справедливо быть названа тоже историею российского государства, не более: земли, народа читатель не найдет в ней. С другой стороны, так как рядом с государством существует земля, то сама история государства, как государства, не может быть удовлетворительна, как скоро она не замечает земли, народа». Приговор этот над историей Соловьева замечателен тем, что возбудил впоследствии много толков. Одни стали находить, что в истории Соловьева упущен народ, осталось одно государство; другие стали защищать почтенного историка и уверять, что иного способа писать историю и нельзя придумать! По нашему крайнему разумению, было бы несправедливо сказать с Аксаковым, что Соловьев вовсе не заметил русского народа. Нет, он везде его замечает, он хочет проследить его быт и жизнь. Но г. Соловьев во всей истории своей стоит на государственной точке зрения, и народная жизнь является у него не главным предметом, а как был дополнением к государственной. Очевидно, там, где в самой сущности народная жизнь расходится с государственною, из такого взгляда прольется на многое иной свет, чем тогда, когда стать на точку зрения обратную. Но государственная точка также нужна для науки, как и народная, которой справедливо добиваются Ак-

саков и другие. Наука развивается. Каждый деятель должен вносить в нее то, что может, сообразно своему времени и положению.

Труды Аксакова останутся навсегда знаменательными для науки русской истории. Он опроверг теорию родового быта, на которой хотели построить русскую историю, он обратил внимание на другое древнее начало в русской истории — общинное, вечевое, которое прежде наукою оставлено было в тени; он возвестил плодотворную мысль удалиться от рабского подражания западным теориям, обратиться к разработке народной жизни, и вместо чуждых наносных взглядов поискать своих, народных. Он превосходно отгадал характер Ивана Грозного и тем открыл путь к простому и ясному уразумению его эпохи, наконец, он нашел двойственность земли и государства в русской истории — идею великую, плод того русского воззрения, над которым глумились и издевались, и без которого неосуществима плодотворность научной деятельности в сфере русской истории, ибо никакие события не понятны, если мы не знаем воззрения, образовавшегося у того народа, который творил эти события и участвовал в них. При всех заслугах, оказанных им русской истории, ему мешал тот идеализм, который составляет черту последователей школы, к которой он принадлежал. Сознывая, каким явление должно было быть, они мало обращали внимания на то, что это явление не было на самом деле таким. Это-то и повлекло Аксакова к заключениям, подобным суждениям о земских соборах, о праве кормления и проч. Не трудно явления произвольно возводить к идеям, но труднее, зато полезнее для науки отыскивать и указать, как на самом деле выражались явления, и какой смысл они имели в действительной жизни, а не в отвлечении. Не менее мешал Аксакову, как и вообще славянофилам, московский патриотизм, насильственное осветление периода московского государства, вызванное противным легкомысленным порицанием всего, что составляло сущность этого периода. Пример подобного мы видим в том же разборе VII тома Соловьева, о котором сейчас была речь. Аксаков приводит слова русских шведам, что Бог сотворил человека самовластным и дал ему волю сухим и водяным путем, где ни захочет, ехать и проч. Аксаков видит в этом русское воззрение, находит, что здесь показывается сознание полной свободы сношений торговых и всяких. Но Аксакову, как знатоку русской старины, без сомнения известно, с каким трудом в XVII веке можно было торговым людям ездить за границу, а установ-

ление чрезвычайно сложных таможенных сборов не говорит много в пользу свободы торговых и всяких сношений. Также не верно сказано Аксаковым, что каждый имеет право исповедовать свою веру. «Просветитель» Иосифа Волоцкого говорит совсем другое, а казни над еретиками и вольнодумцами указывают, что написанное в «Просветителе» не относится исключительно к личности Иосифа. Укажем на запрещение католикам строить церкви, вспомним недопущение жидов в государство. Все это не черты веротерпимости. Для историка не должно существовать в прошедшем *хорошо* или *худо*, по современным понятиям. Ничто так не вредит уразумению исторической истины, как то, когда историк, исследуя или описывая прошедшее, увлекается сочувствием к тому, что происходит вокруг него, или с намерением думает, что прошедшее наведет читателя на что-нибудь современное. Объективность взгляда — первое условие к достижению исторической истины. Историк не должен быть преднамеренным указателем современных общественных вопросов. Одна истина, безотносительная, не подкупная никакими побуждениями, отыскиваемая без всякой другой цели, кроме ее созерцания, должна занимать его: и если ему скажут то, что говорит чернь поэту в известном стихотворении Пушкина: *«давай нам смелые уроки, а мы послушаем тебя»*, он не должен внимать этому соблазнительному голосу. Чем менее он будет желать своими трудами принести пользу современному обществу, тем более ручательства, что он принесет ее. Истина всегда принесет свою пользу; напротив ложь, из какого бы доброго побуждения, по-видимому, она не истекла, ничего не может принести, кроме вреда, и для человеческого знания, и для жизни.

# ЛЕКЦИИ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ

## Часть I

### НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Некоторые непредвиденные обстоятельства надолго задержали издание «Лекций», предполагавшихся быть выпущенными еще в прошлом году. Полное издание «Источников удельно-вечевого уклада», в силу такого же рода обстоятельств, откладывается на неопределенное время.

Собственно «Летописи» отпечатаны давно и лежали в типографии без всякой пользы; я их решил теперь выпустить, основываясь на том, что они, составляя собою вполне законченное целое, не могут не представлять большого интереса для многих, не имеющих возможности познакомиться с составом наших летописей, по причине отсутствия в нашей исторической литературе подобного рода сочинения. Знакомые с условиями хода исторической науки не будут удивляться тому, что Н.И. Костомаров нашел теперь в этих «Летописях» много пробелов, которые необходимо было бы пополнить новыми источниками и сведениями, сделавшимися ему известными уже *после* отпечатания «лекций», которые, следовательно, являются точно в таком виде, в каком были читаны с кафедры в 1860 году. Замеченные же пробелы будут пополнены во втором издании, если ему суждено будет явиться в свет.

Гг., имеющие билеты и не получившие 6 и 7 листов, могут обращаться в книжный магазин Д.Е. Кожанчикова.

Там же могут быть приобретаемы и отдельные листы, начиная с 3-го, по 5 к. сер.

*П. Гайдебуров*

## ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ

(вступительная)

*Мм. Гг.*

Считаю долгом принести искреннюю благодарность почтенному сословию здешнего университета, удостоившему меня избранием по кафедре русской истории и в то же время начальству, благосклонно утвердившему такой выбор. Время покажет — окажусь ли я достойным такой высокой чести. Быть может, нет. В таком случае я оставляю эту кафедру, на которую теперь вступаю, с уверенностью, что этому причиной недостаток моих способностей и сил, а не желание оправдать лестное ко мне внимание.

Приступая к чтению русской истории, я знаю, что буду иметь честь излагать ее перед слушателями, которые вступили в университет с достаточным запасом приобретенного в учебных заведениях систематического знания внешних событий, а потому я не считаю нужным утомлять их последовательным повествованием по общепринятому порядку. Такое чтение не разнилось бы в сущности ни в чем от учебного преподавания, кроме подробностей в частях предмета; но, по большей части, такие подробности всегда могут быть легко приобретены из общедоступных сочинений. Цель университетского преподавания — не умножение сокровищ памяти, не знание новых фактов, а осмысление того, что уже приобретено заранее. Будет сообразнее с этой целью, если, при изложении отечественной истории, преподаватель станет иметь в виду не столько полноту своего курса, сколько — или разрешение вопросов, до сих пор остающихся спорным либо нетронутыми, или разъяснение таких сторон всей исторической жизни, которые почему-нибудь оставались у исследователей на втором плане, или же по своему свойству и применению к современным требованиям особенно заслуживают полнейшей

обработки. С одной стороны преподаватель, сосредоточив свои силы на некоторых сторонах науки, будет в состоянии содействовать своими трудами дальнейшему движению науки, вместо того, чтоб повторять решенные другими результаты; с другой — слушатели познакомятся с приемами такого труда и это доставит облегчение тем из них, которые, в свою очередь, пожелают посвятить свои способности делу науки. Такой прием изложения может — или ограничиваться известными избранными эпохами, или обнимать хронологическое течение всей истории, но с избранных сторон. Я избираю последнее.

Все это, мм. гг., я считаю нужным предварительно вам высказать, дабы впоследствии не укоряли меня, когда, быть может, в моем чтении окажутся упущения некоторых сторон науки и на счет их усиленное внимание к другим.

Было время, когда сумма внешних явлений, образующих то, что называется государственной или политической жизнью, составляло все, чего можно было требовать от науки. Так и следовало: внешность прежде всего обнимается, скорее усваивается. Таким образом История Государства Российского Карамзина была созданием самым удовлетворительным в свое время. Заслуга почтенного историографа тем важнее, что он внес в свое сочинение зрелую критику. С своим великим талантом, Карамзин уже не ограничивался односторонностью внешности и в своем сочинении оставил зачатки и указания нового изложения для будущих деятелей науки. Когда все безмолвно поклонялось его авторитету, назад тому лет тридцать явился смелый человек, выступивший на учено-литературное поле больше с отвагою мысли, чем с ученым авторитетом; то был Полевой с его Историй Русского Народа. Названием, данным своему сочинению, он заявлял требование, что история русского государства недостаточна, необходима еще история народа. При быстро подвижной работе нашей мысли, многим едва известно по имени это сочинение. Я не имею целью, в настоящее время, делать его оценки; скажу только, что, при многих достоинствах, полемический тон мешал автору взглянуть на предмет своего изложения беспристрастно и спокойно; подражание западным теориям побуждало его прилагать, нередко не к стати, к отечественным событиям несвойственные взгляды, а более всего недостаток источников воспрепятствовал осуществиться на деле названию, избранному автором. Одно только название более всего оставалось много знаменательным для нас от этого творения талантливого писателя. С тех пор, в течение последних

тридцати или, точнес, двадцати пяти лет, наша ученая историческая литература значительно обогатилась. Правительство оказало деятельное содействие в собрании и обнародовании древних актов и памятников; археографическая комиссия, московское общество истории и древностей, киевская археографическая комиссия, одесское общество истории и древностей, археологическое общество и, наконец, частные лица издали в свет богатые запасы старинных письменных памятников; публичная библиотека обогатилась редкими сокровищами и расширила свой дружелюбный доступ труженикам и любителям наука; наши почтенные ученые, один за другим, представили плоды своих добросовестных работ над разными вопросами и сторонами отечественной истории; сознана важность языкознания для изучения жизни народа; собраны этнографические данные, — вместе со всем этим уяснилась необходимость истории народа и теперь только наступает пора, когда возможно приступить к ней, хотя бы только для того, чтобы проложить первую тропинку для следующих деятелей, которым будет суждено изменить ее в торную дорогу.

Теперь, мм. гг., я считаю нужным представить вам в кратких словах сущность того понятия, которое я составляю себе об истории народа вообще. Не стану теперь распространяться в подробностях, предоставляя проверку и подтверждение моего взгляда самому ходу изложения науки.

Едва ли нужно доказывать, что всякое политическое общество, с его движениями и изменениями, относится к народу, как явление к его сущности, как внешность к внутреннему содержанию, так что определительность, какую мы даем кругу, в который заключены политические явления, зависит от степени нашего понятия, какое мы составили себе о народе. Так, приступая к истории политического общества, под именем русской истории, мы вправе спросить себя: какого политического общества история предстоит нашему изучению? Той ли державы, которая существует теперь под именем русской империи? Но, если мы станем рассматривать все признаки, составляющие это понятие, то найдем, что все они сгруппировались между собой и составили то явление, которое мы называем, в настоящее время, русской державой, только с Петра Великого; и многие, обращая исключительное внимание на один вид государственной жизни, справедливо, с своей точки зрения, говорят, что для них только с этого времени история представляет живой и непосредственный интерес. В прежние времена существовало другое государственное те-

ло, до того отличное от настоящего, что многие из его важнейших признаков составляют для нас предмет археологических исследований. Еще несходнее наше государство с удельно-вечевой Русью, а языческий период мелькает нам из глубокой дали, совершенно чуждым нашему политическому свету, мерцанием. Что же соединяет все эти периоды, которые, не смотря на их отличие друг от друга, никто однако не исключил еще из науки русской истории?

Не земля, потому что коль скоро мы будем иметь в виду историю всего того, что случилось на земле, где теперь живем, или той, которой обитатели вступили в политическое единство с государством нашим, то придется говорить, как об отечественном элементе, и о быте Пантикапеи; она, однако, не имеет к нам более близкого отношения, как вообще история греческих колоний, и, касательно Пантикапеи, нужно было бы пуститься в изучение греческой истории. Нам бы пришлось излагать историю готов, некогда властвовавших над нашей страной, и предаться изучению древне-германского мира, — а это отвлекло бы нас от прямой нашей цели. Очевидно, то, что образует единство между различными видами государственной или политической жизни — есть народ, ибо только на основании сознания тождества нашего народа, как в отдаленные, так и близкие к нам времена, можем мы называть отечественными обитателями таких, которые более имеют между собою несходства, чем подобия. На основании тождества народ, в различных государствах, в одно и то же время существующих, или существовавших, без всяких признаков политической связи, история этих государств может составить одну историю. Такое явление встречается и в нашей истории, когда в XIV веке образуются два русских государства, — московское и литовское. Наконец, к одной и той же истории с известным государством может принадлежать и часть другого государства, коль скоро в этой части народ составляет единое тело с тем, который живет в первом из государств. Так, к единой истории свободной Греции будет всегда принадлежать судьба Фессалии и островов Архипелага, остающихся под властью Турции. Это приложимо и к русской истории. Червонная Русь в XIV веке выступила из политической связи с остальной Россией, но судьба ее до тех пор будет принадлежать к русской истории, пока народ червонно-русский не потеряет русского языка и начал русской жизни. Таким образом, излагая только историю государственной жизни, если мы хотим быть основательными, то невольно будем в своем изложении подчинять принцип государственности идеи народности, ибо только народность дает связь странам, не имею-



щим между собой никакого политического связующего признака. Доказывать, что внешние явления политической жизни не могут у нас составить истории народа, кажется, нет необходимости, ибо это само по себе слишком ясно.

Но история народа не достигается также так называемой внутренней историей, последовательным изображением законодательства, учреждений и быта, отлично от внешних событий, ибо явления общественной и домашней жизни все еще внешность: за ней кроется потребность уразумения народного духа, как причины, и, вместе, содержания этой внешности. Знать о существовании какого-нибудь учреждения в известную эпоху еще недостаточно, и такое знание, взятое само по себе как факт, может повести к ошибкам, если мы не знаем, как народ в свое время понимал то или другое учреждение, в какой степени оказал участие в его появлении и какое действие произвело оно на его жизнь. Народный обычай, черты домашнего быта, обряд народного увеселения, — все это еще внешность, не жизнь народная, а только ее выражение. Жизнь народная заключается в движении его духовно-нравственного бытия: в его понятиях, верованиях, чувствованиях, надеждах, страданиях. Нельзя судить о благосостоянии экономического быта народа, не зная, как народ понимал или понимает довольство или недостаток. Нельзя судить о важности бедствий народных, не зная, в какой степени они в свое время производили влияние на чувство народа. Нельзя произносить приговоров над доблестями или пороками человеческими, не зная в какой степени оправдывало или обвиняло их народное убеждение. Исследование развития народной духовной жизни — вот в чем состоит история народа. Тут основа и объяснение всякого политического события, тут проверка и суд всякого учреждения и закона.

Сказанное теперь мною не новость; но часто случалось, что, при сознании необходимости поставить на первый план духовную самостоятельность народа — историк терялся во внешних явлениях и упускал ее из вида. Я далек от того, чтоб придавать слишком малое значение уразумению внешности; напротив, только это основательное знание и может повести к уразумению народной жизни; без критики и без внимательного рассмотрения внешних подробностей невозможно приступить к внутреннему содержанию, иначе мы будем принимать мечты за существенные выводы из явлений. Поэтому не только нельзя обвинить направления, обращенного исключительно ко внешности, но следует сознаться, что в настоящее время история народа не может быть удовлетворительно составлена прежде, чем не будет

достаточно критически обработана во всех подробностях история внешних явлений. Вот почему я считаю такое сочинение, как прекрасные исследования г. Погодина, сочинением первой важности. Если бы таким способом разработана была вся русская история, мы были бы значительно облегчены в нашем предприятии. Но пока этого нет; я и не воображаю, чтоб предприятие это увенчалось успехом; я буду доволен и тем, если оно возбудит в вас, мм. гг., сочувствие и найдется из вас другой, более меня даровитый, который воспользуется предложенной вам мыслью.

При чтении истории русского народа я ничуть не буду оставлять ни внешней былевой, ни бытовой истории; напротив, как сказал уже, только в данных той и другой я буду искать своей цели. Мы будем обращать внимание на такие явления, которые откроют нам нравственное бытие народа и его духовную деятельность. Мы не станем следовать за утомительным рядом княжеских усобиц и войн с иноземцами, но выберем из них только то, что укажет нам степень народного участия в них, народный взгляд на них и влияние их на жизнь народную. Мы не остановимся даже на каком-нибудь громком государственном событии более того, сколько требовать этого будет уразумение воздействия его на народный быт и воспитание. Мы не станем преклоняться перед биографией лиц, выходящих из массы; для нас они будут важны единственно потому, что они принесли с собой из массы и что сообщили массе их дарования. Нам не будет важен никакой закон, никакое учреждение сами по себе, а только приложение их к народному быту; нас не займет никакой литературный памятник, если мы не будем видеть в нем ни выражения народной мысли, ни той силы, которая пробуждает эту мысль; в таком случае для нас гораздо важнее народная песня, даже полная анахронизмов в изложении внешнего события. Если мое чтение примет образ непрерывного повествования, то преимущественно в тех эпохах, когда проявляется народная самостоятельность. Что для историка, имеющего на первом плане государственную жизнь, составляет не важные черты — у нас будет предметом первой важности; так, например, повествования наших летописцев о неурожаях, наводнениях, пожарах и разных бедствиях, заставивших народ страдать, о затмениях и кометах, пугавших его воображение, для нашего способа изложения будут гораздо важнее много другого.

Не отклоняясь от идеи народной жизни, мы должны будем обратить особенное внимание на состав русского народа, проследить историческую этнографию, разветвление народностей, их взаимные столкновения, противодействия,

возникновения и увядания. Только такое изучение может дать нам понятие о том — как сложился наш народ, и открыть те элементы, которые его создали. Едва ли в мире есть держава, которая составлена из одной народности и едва ли есть народ, в котором бы нельзя было открыть настоящего или прошлого существования составных частей. В последнее время на Россию указывали, как явление в политическом мире противоположное тому, какое представляют Австрия и Турция, столь ярко вызывающие разнохарактерность народностей в своем составе. Мне кажется, Россия, по составности своего народа, не отстает от других. Назад тому лет двадцать обращали внимание на один только славянский элемент, даже собственно на одну господствующую политически великорусскую народность; казалось, что историк, и даже историк народа, должен иметь в виду эту господствующую народность, а другие, не оказывавшие политической самобытной жизни, или потерявшие ее, не удостоивались от историков независимого рассмотрения. Народности финские, литовские, сибирские, татарские остались без внимания, даже богатые и важные, в свое время, исследования о них наших незабвенных путешественников XVIII века Палласа, Лепехина, Гмелина мало сообщили нашей истории. В последнее время труды наших академиков, русского географического общества и многих скромных сотрудников губернских ведомостей значительно расширили круг сведений, относящихся к этнографии инородцев. Однако, ни отношения их к нашей народности, ни место, какое они должны занимать в истории, не указано. Замечательно, что две народности, более всего сблизившиеся с нами, карельская и мордовская, исследованы меньше прочих. Но между тем взгляните на этнографическую карту Кеппена, припомните при этом положение этих народов в древних наших летописях и проследите в памяти ход, какой избрал в своем растяжении славянский элемент, и вы придете к заключению, что так называемые инородцы не оставались без сильного влияния на образование сильного народного склада и что в наших жилах течет их крови, может быть, столько же, сколько и славянской. При том же, многие из этих народов существуют до сих пор, и в наш век пора бы сознательно сказать, что несправедливо пророчить им бесследное уничтожение. Если мы говорим: история русского народа, то принимаем это слово в собирательном смысле, как массу народов, связанных единством одной цивилизации и составляющих политическое тело.

Жизнь народная, под влиянием внешних явлений, испытывала важные изменения и, вследствие их, являлась в своеобразных укладах, определяемых суммой согласных признаков. Главных укладов я нахожу два: *удельно-вечевой и единодержавный*.

Признаки первого: раздробление целого без совершенного его уничтожения, самобытная жизнь частей без нарушения взаимного сходства, перевес обычая над постановлением, побуждения над законом, произвола над учреждением, личной свободы над сословностью, чувства над долгом, родственности над государственностью, слабость власти, неопределительность форм, народоправление в образе частных веч, движение и брожение. Во втором укладе части сплавиваются, формы определяются, личность улегаются в сословные разграничения, обычай преобразуется в постановление, закон стремится дать направление и суть побуждениям, родственность и народоправление покоряются государственному началу.

В этих двух укладах жизнь нашего народа. Нельзя и думать определить точных между ними хронологических границ уже и потому, что основа их — жизнь неуловимая, своенравная, не улегающаяся ни в какие систематические рамки. Только приблизительно можем мы определить время первого уклада от древнейших веков до XVI века, когда начала противоположного уклада преобладают, хотя старая жизнь пробилась и после, а элементы новой являлись ощутительно и во времена седой старины. Так, например, в X и XI веках Владимир и Ярослав показывают некоторые признаки единовластия, а в XVI и XVII веке, когда единовластие делается торжествующим, не раз порядок удельный как будто хочет возобновиться: так в завещании Иоанна IV сыновьям его назначаются уделы. Некоторые враждебные отношения козачества к властям в XVII веке имеют также характер древней вечевой волиницы, противодействующей единодержавному порядку, административной формальности и сословному неравенству. XIV и XV века могут называться временем переходным от одного уклада к другому; тогда господствоваю столько же новых, как и старых начал — федеративных и единодержавных, так что, смотря с одной или другой точки зрения, можно их относить и к тому и к другому укладу.

В течение своего господства над русской жизнью, каждый из этих укладов может представлять несколько видов, означающих известный строй государственного и народного быта, действующих на народные понятия и зависящих от их направления. Обращаясь в глубину древности, мы найдем, что русский народ представляется разделенным на племена; меж-

ду ними, насколько указывают нам это скудные источники, нет внешних признаков связи, но непременно должна существовать внутренняя, хотя бы в зародыше. Достаточно указать на общее сознание единоплеменности и дунайского происхождения. В половине IX века появляются признаки внешнего соединения, сначала на севере; призываются князья, связь распространяется и, к концу X века, захватывает всех русских славян и некоторые финские народы. Сначала, как мы сказали уже, проглядывают вместе с ней и начала единой державности, но потом удельность берет верх и обозначается ясно. Под именем удельности я не разумею только родовой связи княжеского рода, но признаю гораздо шире значение этого слова. Удельность есть такой строй, когда самобытные части, не смешиваясь химически воедино и не прекращая своего отдельного существования, все вместе образуют одно государственное тело. Связь их может более или менее выражаться внешними признаками, поддерживаться теми или другими институциями, но принцип удельности остается один и тот же. Единство княжеского рода было главной видимой институцией нашей удельности, но это не есть неременное условие ее существования; институция могла замениться, с развитием народа, другой, третьей, а удельность все-таки не прекращалась бы. Наша удельность с институцией княжеского рода была естественный переход от того неопределенного положения, в котором, как мы уже сказали, лежали зародыши, как удельности, так и единой державности. Естественно, что, отделяясь от последней, удельность тем более должна была сохранить подобия с единой державностью, чем ближе находилась к времени своего выхода из неясного, смешанного состояния, и напротив, чем далее, тем единой державные признаки становились бледнее и должны были совершенно исчезнуть. С половины XII века удельный принцип совершенно берет верх; вместо произвольных княжеств выступает самобытность земель по природному делению: на севере расцветает Новгород, готовый дать новый толчок русскому удельному миру. Вдруг — нахлынули монголы. Это плачевное событие остановило механизм русской жизни. Удельность, не достигши полноты своей, так сказать, застывает в своем течении, замерзают ее горячие силы, двигавшие ее вперед. Когда я воображаю Русь после нашествия завоевателей, то мне приходит на память сказка, в которой волшебная флейта заставляет присутствующих делать такие самые движения, с какими их застала, лишив их способности переменить на другие или остановиться вовсе. Так наша Русь, парализованная нашествием и порабощением, с своим удельным укладом, продолжала

около века бессознательные движения на прежний лад, не имея ни сил переменить этого лада, ни освободиться от тяжкого кошмара. Наконец, в XIV веке начинается на востоке, под нравственным влиянием Сарая, а на западе, по поводу пробуждения Литвы, прогрессивное шествие нового уклада — единодержавного. Долго он шел нетвердым шагом, пока не подоспели на помощь новые элементы: на востоке византийский, на западе польский или, лучше сказать, при посредстве его, западный.

Начинается история единодержавного уклада в России — на востоке в форме Московского царства, на западе в форме Великого Княжества Литовского, скоро соединенного с Польшей. Как на востоке, так и на западе единодержавный уклад, по течению времени, разбивается на две половины. Начало XVIII века служит приблизительной между ними взаимной гранью. Явления, составляющие существенные признаки первой половины на востоке: сосредоточение народного могущества в особе царя, святость самодержавной власти, как истекающей от Бога; развитие законной формы, перевес власти над общиной, торжество государственного начала над народным, стремление к расширению пределов русской земли, замкнутость домашнего быта, зачатки сближения с Западной Европой и усвоение европейской промышленности и государственной защиты. Противодействующая этому укладу сила является в козачестве. В Западной Руси эта половина обозначается постепенным соединением народности русской с польской; аристократическое начало играет ту роль, как самодержавие на востоке и находит себе противодействие в козачестве. И здесь, и там козачество является выражением пережившей свое господство удельности, как будто силящейся помолодеть и найти другой строй для своего обновленного бытия. В начале XVIII века сменяет первую половину уклада — другая, где развивается то, к чему первое служило подготовкой. Восточная Россия с сильно развитым самодержавием и государственным слитием частей, с стремлением к расширению пределов, выступает на чреду европейских держав и усваивает европейские начала промышленности и государственного охранения. Козачество, как единый противодействующий остаток древней удельности, падает, оставляя на западе России видимое торжество Польши, но в самом деле надорвавши ее силы до того, что через несколько времени западная Русь дополняет собою совершившееся окончательно единодержавие.

Предстоящий курс я посвящаю изложению удельного уклада русской жизни. Я почитаю нужным прежде всего сделать обзор источников русской истории удельного укла-

да, указать их состав, определить их достоверность, их значение в умственной деятельности народа, потом перейти к древним литературным памятникам и наконец, к правительственным и юридическим актам, не касаясь их, однако, с тех сторон, которые составляют предметы особых наук — истории русской литературы и истории русского законодательства. От отечественных источников я перейду к иностранным, представлю обзор восточных, византийских, польских, немецких, ливонских, скандинавских и западных. Окончив обзор источников, я представлю очерк доисторического существования славян в Европе, отделение русских из восточных славян и судьбу их до начала державы в IX веке. Приступив к описанию русской державы, я постараюсь, сколько позволят мне мои силы и станет умения, обратить внимание на исследование важного и еще нерешенного вопроса о происхождении Руси с новой точки зрения. Вслед затем я обращу ваше внимание на соотношение раздробления России на княжения, с единственным этнографическим наделом народа. Мы представим с одной стороны, что соединяло народ русский в жизни и разделяло его во все время удельного уклада. Потом сделаем обзор проявления народного нравственного развития, народных понятий, взгляда на себя и на мир, народных страданий, народных верований и убеждений, народного воспитания, народных пороков, — словом народной жизни во всех землях и будем останавливаться на таких важных событиях, в которых проявилась народная самостоятельность. Таким образом мы начнем с Киева и южной Руси, перейдем к землям кривичей и великому Новгороду, потом к Суздальской земле, наконец к Москве и встретимся там с господством единодержавного уклада. Потом мы сделаем обзор жизни, быта и отношения к нам всех так называемых инородцев. Мы начнем наше историко-этнографическое путешествие с запада литовским племенем, потом перейдем к финскому северному, потом к финскому восточному, далее к турецкому и монгольскому и, наконец, к народам прикавказским. Обзор судьбы сибирских инородцев, кавказских горцев и закавказских предоставляется единодержавному укладу, ибо эти народы поступили в одно тело с нами уже во время господства единовластия. Такого рода обозрений удельно-вечевого уклада русской истории будет предметом моих чтений в настоящем академическом году.

## ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ

### ОБОЗРЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ РУССКОЙ ИСТОРИИ УДЕЛЬНО-ВЕЧЕВОГО УКЛАДА

#### Летописи

Приступая к обозрению источников удельно-вечевого уклада, мы начнем с летописей. Сперва объясним и покажем общий их характер и значение; потом перейдем к изложению состава первой нашей летописи, называемой *Несторовою*, определим ее характер, покажем составные ее части, и значение ее, как источника для узнания жизни народной; потом перейдем к *Киевской летописи и ее продолжению* — *Волынской* или, правильнее, *Галицко-Волынской* летописи и т. д.

Летописи наши — это записки, писанные отчасти светскими людьми, отчасти духовными. Было мнение, что составление их принадлежит исключительно последним, но это несправедливо, ибо в некоторых летописях прямо заметно светское положение писателей. Летописей было чрезвычайно множество; большая часть их издана, но многие еще до сих пор находятся в рукописях, как, например, *Нижегородская*, *Вятская*, чрезвычайно важная, и *Тверская*, которой пользовался Соловьев. Летописи имеют тот общий характер, что все они исходят от одного начала, так что до XII века образуют одну общую летопись, и только с этих пор разветвляются на местные. В этом отношении они имеют большое сходство с историей русской жизни и русского быта: сначала в русской земле сохраняется единство, которое прекращается разделением ее в XII веке на многие княжества.

Не следует думать, что летописи и прежде были так написаны, какими дошли до нас: первоначальный вид их не дошел до нас, и мы имеем только позднейшие сборники, на которых видны следы первоначального состава. Важность и



достоинство летописей состоит, во-первых, в том, что они писались не для удовлетворения простого любопытства, но и для специальных практических целей: они имели официальный характер. Доказательством их официальности служат следующие примеры: в Никоновской летописи говорится: *«первые наши властодержцы без гнева повелевающе вся добрая и не добрая прилучившаяся... написовати»*; — это служит доказательством того, что князья действительно повелевали писать эти летописи. В другом месте той же самой летописи упоминается о том же: «прежначални отцы нам предаша, мы же не приминухом писати»<sup>1</sup>. В Волынской летописи говорится, что в 1289 году князь Василько Мстиславич приказал летописцу записать крамолу городу Берестья; следовательно, следы этого обыкновения мы видим еще в XIII веке. Далее, когда в XIV веке князь Василий Васильевич Темный судился с Юрием Шемякою перед ханом, то доказывал права свои по «отечеству и деденству», а Юрий *искаше престола летописцы и старыми списки*. Когда Иоанн III замышлял уничтожить свободу Новгорода (1471 г.), то взял с собой человека, знавшего летописную мудрость, чтобы показать новгородцам их старинные преступления против князей и убедить их в том, что достоинство князя существовало издревле.

Надо также принять во внимание споры наших городов между собой, в которых они должны были ссылаться на предшествовавшие события; следовательно, князья руководствовались свидетельством летописей, которые поддерживали их в спорах и недоумениях.

Что летописи наши имели юридическое значение, это, наконец, подтверждается еще тем, что в них найдены многие памятники нашего древнего юридического быта: договоры первых наших князей с греками, Русская Правда, разные другие договоры князей, духовные волынского князя Василька, а впоследствии даже ханские ярлыки. Все эти обстоятельства ясно показывают, что летописи велись под надзором князей и вообще под влиянием правительства.

Кроме этих общих летописей, были еще летописи церковные. При церквях и в монастырях были люди, записывавшие события, касающиеся церкви вообще, и в особенности той церкви или того монастыря, где велась эта летопись. В такие летописи вносили причины основания, а также имена основателей, жертвователей и возобновителей церкви, для вечного поминовения, так как монастыри и

---

<sup>1</sup> Это место тоже относится к началу XV столетия.

церкви обязывались молиться за них при жизни и по смерти. Иногда то, что записывалось в церковной летописи, имело вид долгового обязательства; так, в новгородской летописи под 1391 годом записано, что Софийская церковь дала Новгороду серебра при таком-то владыке. Может быть, это было и пожертвование, а не долговое обязательство, но во всяком случае записано оно было не из простого любопытства.

В этих монастырских и церковных летописях записывались разные естественные события, предзнаменования и также бедствия народные, имеющие, по народному верованию, связь с предзнаменованиями. Это делалось с той целью, чтобы благочестивые люди на будущее время могли остерегаться, замечая что-либо, и молитвами отклонять гнев Божий. Так, например, в летописи Нестора под 1071 годом, сказано: «в си времена приде волхв, прелщен бесом, пришед бо Киеву глаголаше сице, поведая людем, яко на пятое лето Днепру потещи вспять и землям преступати на ина места, яко стати Гречьски земли на Руской, на Гречьской, и прочим землям изменитися; его же невегласи послушаху, а вернии же насмеваются, глаголюще ему: бес тобою играет на пагубу тебе». Далее говорится о гибели этого кудесника в одну ночь от беса.

Церковные летописи также имели не один местный характер, что можно видеть из следующего места летописи: под 1542 годом записано, что игумен Тихвинского монастыря, приехав в монастырь на Лысой горе, вошел в келью келаря, рассматривал летопись и нашел, что она ведется исправно, только имена церковных владык записаны не все.

Можно себе представить, какое огромное число летописей было у нас, если в каждом монастыре велась своя отдельная летопись. Действительно, несколько таких монастырских записок до нас дошло целиком; например, 3-я новгородская летопись, приложение ко 2-й новгородской, 6496—7224, где отмечены только церковные события, перечень новгородских владык и проч.

Другое важное значение наших летописей то, что они были писаны большей частью современниками и очевидцами событий. Это можно заключить как по слогу и характеру рассказа, так и по тому, что в летописи вошли многие события, о которых никто не мог написать, кроме лиц, прямо участвовавших в них; наконец, это можно видеть особенно из тех мест, где летописец говорит о себе. Так например, под 1051 г. об основании Печерской Лавры и ее

дальнейшей истории ясно сказано, что эти события описаны современником; летописец говорит, что он пришел в Киево-Печерский монастырь к преподобному Феодосию: «к нему же и аз придох худый и недостойный раб, и прият мя лет ми сущю 17 от рожденья моего». Под 1064 годом летописец рассказывает о разных дурных предвещаниях и, между прочим, говорит, что он вместе с другими был в Киеве, когда вытащили из реки сетями урода: «его же позоровахом до вечера». Под 1090 г. летописец говорит, что приехал новый митрополит и прибавляет, что не знает — будет ли он такой, как прежний. Под 1093 годом, описывая погребение святого Феодосия, летописец говорит, что он был очевидцем этого события. Под 1096 годом, в рассказе о нашествии Полоцкого хана Боняка (прозванного русскими Шелудивым) на Печерский монастырь, читаем: «и придоша в монастырь Печерский, *нам* сущим по кельям, почивающим по заутрени... *нам* же бежащим за дом монастыря... *нам* нисходящим (со стены) с оружием». Ясно, что писавший был не только современник, но и очевидец, знающий все подробности события. Под 1097 годом летописец рассказывает, что князь Давид Игоревич послал его к ослепленному Васильку, называет самого себя Василем, и указывает, что он находился тогда во Владимире Волынском... Под 1106 г. читаем: «преставися Ян, старец добрый... от него же и аз многа словеса слышах, еже и вписях в летописаньи сем». Под 1114 годом летописец говорит, что он посещал Ладогу.

По Киевской летописи, промежуток времени от 1146 до 1157 года описан с такими подробностями, какие мог знать только очевидец. Под 1171 г. летописец говорит о себе, что он ездил в Вышгород за телом умершего князя Владимира Мстиславича. Под 1175 годом летописец, описывая смерть Андрея Боголюбского, взывает к душе убитого и просит ее молиться за живого князя, брата Андреева. Под 1180 годом суздальский летописец рассказывает, что он участвовал в войне, был в походах, что стража неприятельская перешла через реку, что *наши* сделали то и то. Под тем же годом далее: «сторожеве Романове перебродилися бяху через Оку и укрепишася с *нашими* сторожи, и Бог поможе *нашим* сторожем...» Слово *наши* показывает, что летописец был суздалец. Далее, под 1226 годом говорится, что он (т. е. летописец) стоял на стене города Галича в то время, когда к нему подступали враги и нападал король венгерский. Под 1230 годом летописец, говоря о событиях в южной Руси, рассказывает, что ему сообщили о них очевидцы. Под 1279

годом говорится о смерти Владимира Васильевича и прибавляется, что его сын жив еще. В 1421 году, по поводу наводнения в Новгороде, летописец говорит о причинах наводнения, сравнивает виденное им лично с тем, что записано в прежних сказаниях. Этих свидетельств достаточно для доказательства, что известия в наших летописях записывались современниками. Эти два качества наших летописей: официальное значение, какое они имели в древности, современность летописателей описываемым событиям, составляя важное достоинство их достоверности.

Летописи наши, как мы сказали, сначала составляют одно целое до начала XII века, именно, до 1110 года; с этих пор летописное повествование теряет свое единство и начинает разветвляться: образуются частные летописи, повествующие о событиях русских земель и присоединяются к главной, первоначальной летописи. Так, в виде продолжения последней, является *киевская* летопись, обнимающая события Южной Руси в XII веке, преимущественно Киева; она прерывается на 1200 году. С этого времени без начала, (по всему видно некогда существовавшего, но теперь утраченного) следует летопись, названная *волынскою*, но которая правильнее должна быть названа *галицко-волынскою*; она прерывается на 1305 году. С половины XII века от киевской летописи отделяется летопись *суздальская*, примыкающая к позднейшим московским. Ее вариант, доведенный до второго десятилетия XIII века, составляет летопись *перяславльская*. В XIV столетии возникла летопись *тверская*, которой отрывки сохранились в некоторых списках, перемешанных с частями суздальской. На севере образуется свой особый цикл летописей, посвященных почти исключительно делам Новгорода и Пскова. Смоленская земля имела свою особую летопись, которой обломки вошли в западнорусские летописи XIV и XV в. Эти последние, как и северные, составляют свой местный цикл и обнимают события со времени образования литовской державы. Существовали еще некоторые местные летописи, не дошедшие до нас в их первоначальном виде, но известия из них сохранились в поздних редакциях. Таковы летописи: вятская, нижегородская, Устюга Великого.

По мере того, как земля русская начинает подходить к единодержавному укладу, и летописи наши сводятся в огромные своды, в которых отдельные летописи опять соединяются вместе; таковы своды: Софийский, Воскресенский и Никоновский.

## ЛЕТОПИСЬ, ПРИПИСЫВАЕМАЯ НЕСТОРУ

Первоначальная летопись (до 1110 г.) известна под именем *несторовой*. Ее приписывали преподобному Нестору, монаху Киево-Печерского Монастыря, известному в житиях под именем Нестора, Чудотворца Печерского, и доказывали принадлежность ему летописи тем, что на некоторых списках было написано имя Нестора. — По свидетельству Татищева, Миллера, Карамзина и Перевощикова на некоторых списках написано имя Нестора, а именно: на Хлебниковском, на трех, известных Татищеву, на архивском; но все такие приписки и надписки сделаны переписчиками или владельцами списков уже в позднейшие времена, и они доказывают только то, что существовало предание, приписывавшее Нестору составление первоначальной летописи. Другое, приводимое доказательство — это послание Киево-Печерского монаха Поликарпа к Акиндину, помещенное в Патерике. Там говорится, что Нестор летописец написал жития преподобных святых Дамиана, Иеремии, Матфея и Исакия; и эти самые жития есть и в летописи; поэтому заключили, что летопись писал Нестор; сверх того, в некоторых списках при самом начале летописи находятся заглавие: *Повести временных лет черноризца Феодосиева монастыря Нестера*, а в воскресенском списке, при известии о погребении св. Феодосия, сочинитель дает о себе знать, что он Печерский инок и писал летопись (аз же грешный инок и летописание се в то время писах); в патерике же этот самый летописец, бывший при открытии мощей св. Феодосия, назван Нестором.

Точно, существовал Нестор, летописец печерский, и действительно участвовал в составлении нашей старой летописи; но вся ли летопись написана Нестором? Конечно нет, когда в ней же указываются другие составители. Под 1110 годом говорится: «игумен Сильвестр написах книги си»; а несколько ранее, именно, под 1098 г. говорит о себе лично другое лицо, какой-то Василий, живший не в Киеве, а во Владимире Волынском; следовательно, летопись писана разными лицами.

О Несторе мы знаем из свидетельства Поликарпова, что он списывал жития некоторых святых и эти жития вошли в летопись. В Печерском Патерике говорится о нем, как о летописателе Печерского монастыря, передававшем потомству рассказ об открытии мощей Феодосия. В монастырях издавна было в обычае вести летописные записи: без сомнения они велись и в Печерском монастыре, который рано

прославился перед другими обителями, и потому его записи могли иметь особенную важность. Вероятно, Нестор писал Печерскую летопись и эта монастырская летопись занесена была в нашу, как одна из составных частей ее; вероятно все, что в ней относится к Печерскому монастырю, взято из этой монастырской летописи, писанной, между прочим, и Нестором; но не все, заключающееся в ней, следует приписывать монаху или вообще Печерской обители, в особенности рассказы о древних событиях на Руси. Укажем на старинное произведение нашей литературы: «Чтение о житии и погублении блаженную страсотерпцю Бориса и Глеба». Оно известно нам по списку XIV века, но нет никакого сомнения, что составлено гораздо раньше, ибо в Публичной Библиотеке существует отрывок ее, писанный в XII веке. Это сочинение составлено Нестором, о чем говорится прямо: *Се же аз Нестер грешный о житии и о погублении и о чудесах святою и блаженою страсотерпцю сею опасне ведущих исписавы а другая сам сведы от многих мало вписах*. Оно представляет важные противоречия с тем, что сказывается об одних и тех же событиях в летописи. Так например, в житии говорится, что до Владимира святого ни одного апостола не было в России, — а в летописи помещена легенда об апостоле Андрее, который водрузил крест на горе в Киеве и доходил даже до Новгорода. В житии говорится, что Владимир дал Борису город Владимир на Волыни, а в летописи — Ростов. В житии говорится, что когда Владимир умер, то Святополк *прибыл* в Киев, а в летописи — что он *находился* в Киеве. Наконец, и в самом рассказе об убиении Бориса и Глеба, помещенном также и в летописи, есть места, взаимно противоречащие. Так, в летописи говорится, что убийцы только ранили Бориса, привезли его на телеге еще дышащим и Святополк приказал варягам добить его, а в житии, — что убийцы, ударив Бориса в сердце, умертвили сразу и привезли его к Святополку уже мертвым. В житии говорится, что когда убийцы пришли умертвить Глеба, то он не знал о злодейском намерении убить брата, а в летописи, — что он был об этом предуведомлен. Наконец, по житию Борис отправился на войну против каких-то неведомых врагов; а по летописи — против печенегов.

Все эти противоречия показывают, что если житие писано неоспоримо Нестором, то летопись никак нельзя приписывать ему же. Кроме того, в самой летописи встречаются такие противоречия, которые были бы невозможны, если бы писал ее один человек, а произошли, ко-

нечно, только тогда, когда существовали отдельные части, писанные разными лицами и уже после сложенные. Например, как мог один и тот же летописец составить сказание об Олеге и Владимире, когда при первом Переяславль является в числе городов русских, а в княжении второго подробно говорится об основании этого города. В летописи под 1059 сказано: «в сем же лете Изяслав, и Святослав, и Всеволод, и Всеслав, совокупившие вои бесчисленны, поидоша на коних и в лодьях бесчисленно множество на Торкы. Се слышавше Торци, убояшася, прибегоша и до сего дне и помроша бегаючи, Божьим гневом гонимы ови от зимы, друзия же гладом, ини же мором и судом Божьим»; а под 1080 годом опять говорится о Торках: «заратишася Торцы Переяславстии на Русь; Всеволод же посла сына своего Володимера; Володимер же шед победи Теркы». Ясно, что писавший под 1059 г. был не тот, кто писал о событиях под 1080 г. Эти несообразности не позволяют думать, что всю летопись писал один и тот же Нестор.

Еще важнее разница в тоне и характере рассказа летописи. Беспристрастие в рассказе о язычниках показывает, что многие места в летописи писаны мирянами, особенно в начале, потому что монах XII века никак не мог выразить сочувствие к язычнику Святославу в войне его с греками. Такой тон едва ли мог придать монах, сердцу которого православная Греция была ближе, чем языческая Русь. Кто же связал эти части? Ответ мы находим в самой летописи, где, под 1110 годом, встречаем следующую приписку: «Игумен Сильвестр святого Михаила написах книги си летописец, надеяся от Бога милости прияти, при князи Володимере, княжашю ему Кыеве, а мне в то время игуменящю у святого Михаила, в 6624 индикта 9 лета, а иже четет книги сия, то буди ми в молитвах». В другом месте, именно, при начале летописного повествования он тоже говорит о себе, указывая и на время, когда он жил. Он разбивает описываемое древнее время на периоды от одного князя до другого: «от смерти Святослава до смерти Ярополка лет 85, а от смерти Ярополка до смерти Святополка лет 60». Смерть Святополка последняя, известная ему эпоха; следовательно, писавший жил при Владимире Мономахе, Сильвестр и говорит о себе то же самое. Очевидно, что приведенная выше приписка под 1110 годом и последнее место, изъясняющее способ составления всей летописи, принадлежит одному и тому же лицу. Выше того он сказал о себе: «числа положим». Итак, кто полагал числа, то есть, кто разбивал повесть по годам, или, что все равно, составлял летопись,

тот игуменствовал при Владимире Мономахе; а под 1110 годом был игуменом тот же Сильвестр. Итак, Сильвестр есть составитель летописи, и летопись по справедливости должна называться Сильвестрова, а не Несторова. Но несходство в тоне, несообразность частей и, наконец, встречаемые противоречия показывают, что части летописи писаны разными лицами и Сильвестру могут принадлежать только ближайшие к его времени известия, и распределение по числам других с некоторыми дополнениями. Дело Сильвестра есть свод отдельных сказаний. Этот Сильвестр внес в свой труд Несторову летопись Киево-Печерского монастыря, относящуюся до дел этой обители и составляющую только незначительную часть всей летописи. Не все, что касается Киево-Печерского монастыря, писано Нестором. Это можно заключить из следующего обстоятельства: под 1051 годом летописец рассказывает о себе, говорит о прибытии своем в Киево-Печерский монастырь и о пострижении от Феодосия. Прежде это место приписывали Нестору, но в одном рукописном патерике XVI века говорится, что Нестор пришел не при Феодосии, а при его преемнике Стефане, и следовательно, известие, помещенное под приведенным годом, принадлежит не Нестору, а какому-то другому летописцу, писавшему прежде его.

Приступим теперь у анализу свода, сделанного Сильвестром.

Летопись наша начинается предисловием без годов, с следующим заглавием: «Се повести временных лет, откуда есть пошла руская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда руская земля стала есть». Это заглавие удобнее применяется не к целой летописи, но именно к одной только повести, составляющей предисловие к летописи. Собственно летопись начинается словами: «в лето 6360 индикта 15 наченшю Михаилу царствовати начася прозывати Руска земля»; ибо заглавие «се повести временных лет...» и проч. показывает, что повествователь не имел в виду рассказывать последовательно судьбу русской земли, а только решить вопрос, как она возникла. Здесь два раза употребляется выражение «руская земля» и оба раза в различных значениях, в обширном и тесном. В первом смысле под «рускою землею» надо разуметь всю сумму народов, соединенных под общим именем Руси («откуда есть пошла руская земля»), во втором же «руская земля» («кто в Киеве нача первее княжити и откуда руская земля стала есть») — это собственно земля киевская, за которой усвоилось это название.



Содержание повести составляют: происхождение славян и их расселение, отделение славян русских от других, предания о судьбе славянских народов, этнография русского материка и древняя история полян. Сказание о прибытии варягов может принадлежать к той же повести. Самая повесть эта носит характер составности в свою очередь. Ее начало о разделении земли детьми Ноя и о расселении народов взято из греческого хронографа Георгия Амартола. Вероятно, повествователь пользовался славяно-болгарским переводом Амартола. Там, где сведений у Георгия Амартола недостает, русский летописец дополняет собственными сведениями о народах северных, о чем у Амартола нет. Согласно Амартолу, рассказывает он о вавилонском столпотворении и прицепляет к нему собственное изложение о расселении славян, говорит о пути из Варяг в Греки и обратно. Затем следует легенда о св. Андрее, потом рассказывается история полян; рассказ прерывается исчислением народов в Руси, описанием судьбы славян дунайских и дулебов, потом опять повествователь принимается за исчисление славян в Руси, описывает их нравы, далее снова делает выписку от Георгия Амартола о нравах разных народов, в параллель к описанным прежде нравам славян, указывает при этом на половцев, заявляя тем, что сам живет и пишет не ранее второй половины XI века, когда половцы стали известны; далее переходит снова к истории полян.

Составные части этой повести: 1) отрывки из Георгия Амартола, 2) дополнение у ним русского повествователя, 3) легенда о св. Андрее, 4) исчисление народов в русском мире и 5) история полян. Эти части перепутаны. После смерти Кия, Щека и Хорева помещается описание народов, живущих со славянами на русском материке, потом следуют дела дунайских славян, но это кажется не на месте; после смерти трех братьев непосредственно следовало бы: «по смерти братья сея быша обидимы древляны»; допуская означенные выше вставки на том месте, где они ныне находятся, оказывается противоречие, а именно: 1) в описании славянских народов говорится: «живяху в мире поляне и древляне», а в другом месте, которое, как мы сказали, по своему тону может служить непосредственным продолжением истории полян, говорится о полянах: «быша обидимы древляны»; 2) вставка об инородцах, дающих дань Руси, неуместна; допуская ее там, где она стоит, выходит, что после смерти братьев до пришествия не только хозар, но и обров, эти народы платили дань Руси; 3) вставка о прише-

ствии народов на дунайских славян, также не на месте, тем более, что говорится: «Словеном же якоже рекохоме, живущим на Дунаи» и подается мысль, что следующие затем события совершились до прибытия славян с Дуная. Кажется, что у составителя этой повести было какое-то сказание о судьбе полян, которое у него, а может быть, у его переписчиков, впоследствии разорвалось и перебилось с другими частями; другой источник его был Георгий Амартол; из него-то, кроме выписок, заимствовано и известие об отношениях угров и обров к Ираклию; наконец составитель прибавил собственные сведения о народах.

Далее начинается летопись с числами, в которой нам особенно бросается в глаза то, что часто над одним рассказом встречается несколько годов, а иногда стоят одни годы без событий. Г. Сухомлинов это объясняет тем, что летописец имел под рукой пасхальные таблицы и вписывал туда, что помнил; а где не знал о событии, оставлял годы пустыми<sup>1</sup>. Действительно, быть может, пасхальные таблицы и служили Сильвестру для постановки годов и проверки времени, но тон повествования показывает, что летописец имел под рукой уже готовые рассказы без годов, разлагал их на годы, а там, где не знал, к какому году отнести событие, ставил при нем несколько годов. В других случаях шла речь о таких событиях, которые продолжались несколько лет, как например, крещение Болгарской земли, изгнание варягов и прочих; может быть, годы были даже выставлены другим летописцем. В некоторых местах рассказ доходит до драматичности, в других — едва упоминается о событии. Последние, вероятно, не находились в повествовании, которое летописец разбивал по годам, и включены им или по памяти, или из кратких письменных известий, оттого и они кратки и резко отличаются от других частей летописи, заключающих подробные повествования.

Основанием Сильвестрова свода служила повесть древних лет, быть может, начинавшаяся с изгнания варягов, а может быть, составлявшая одно целое с предисловием, не вошедшим в числовую часть. Кроме небольших вставок, внесенных в нее летописцем при разложении ее по годам, в нее внесены еще большие вставки, каковы, например: летопись Печерского монастыря, повесть об убиении Бориса и Глеба, повесть о крещении Владимира, договоры князей,

---

<sup>1</sup> См. сочинение его «О русской летописи, как памятнике литературном» Спб. 1856.

духовная Мономаха и проч. Таким образом, прежде чем составила летопись, ее части существовали отдельно, как особые сочинения: в этом убеждает нас общий характер наших летописных рассказов и в последующие времена. Наши позднейшие летописные своды составлялись также из особых сочинений, и те же самые части, которые внесены в летописи, существуют отдельно в сборниках как независимые одно от другого повествования; а, соединенные в летописи так случайно, и там различаются между собой складом своего первоначального вида. Точно то же и в первом, древнейшем летописном своде — Сильвестровском. Составные части его, соединенные разбивкой по годам, сохраняют свой отличный характер. Тон первоначальной повести старых времен дает себя знать повсюду между другими вставками, так что, несмотря на смещение, перестановку частей, изменения в слоге, совершавшиеся в течение веков, до сих пор можно проследить его, как иногда можно проследить воду одной реки, впавшей в другую. Места, принадлежащие этой повести, и текст ее выказываются наружу народным складом, простотой выражения и пластичностью рассказа. Эта первоначальная повесть составляет, по форме рассказа, переход от эпоса к истории, но по содержанию принадлежит более последней, потому что события описываются в ней с характером действительности. На ней лежит отпечаток одной руки; автор ее был христианин, но не духовное лицо; церковное красноречие вплетено в летопись там, где очевидны вставки в повесть. В тот век духовное лицо не могло бы удержаться от византийского образца красноречия, и действительно, оно везде прорывается, где только делается ощутительной иная рука — не та, которая писала первоначально повествование. Восстановить эту древнюю повесть было бы возможно до некоторой степени, но это было бы дело скорее художественное, чем ученое; и восстановителю пришлось бы руководствоваться скорее художественным тактом, чем учеными доводами.

Анализируя числовую летопись или Сильвестровский свод, мы найдем в нем следующие составные части:

1) Повесть древних лет, перебитую вставками. Для указания ее границ надобно следить за тоном рассказчика, сличив с дальнейшим повествованием. Она оканчивается за несколько лет до смерти Ярополка, может быть, 1043 годом, последним походом русских на Грецию, потому что впоследствии тон рассказа значительно изменяется, прежняя простота исчезает и становится ощутительным господство риторики.

2) Летопись, или повесть Печерская в своде является под 6559 годом. Ей предпослано, может быть, самим сочинителем, а может быть, и составителем свода выражение в качестве заглавия: «се до скажем что ради презвал Печерский монастырь». За этими словами начинается очевидный текст Печерской летописи «Боголюбивому князю Ярославу» и проч. Говорится об основании Печерской обители словами самого монастырского повествователя: «се же написах и положих, в кое лето почал быти монастырь и что ради зовети Печерский и о Феодосиеве житии потом скажем». Числовой летописец (сводчик) прерывает сказание монастырского повествователя и включает другие известия. Следующие по порядку в Печерской повести места являются в своде под 1074 годом о Феодосии и других святых, и прекращаются под тем же годом словами: «ему же слава аминь». Потом следуют события, взятые из других источников; а под 1091 годом опять возобновляется монастырское повествование, рассказывающее о перенесении мощей преподобного Феодосия и оканчивается словами: «моли за мя отче честный избавлену быти от сети неприязненны и от противного врага соблюди мя твоими молитвами». Под 1090 годом включено из той же повести известие о нападении Боняка на монастырь.

3) Рассказ о Кирилле и Мефодии и о просвещении славян. Таких рассказов было много в старину по-славянски, особенно в Паннонии. Житие, помещенное в нашей летописи, принадлежит к этому последнему циклу, но заключает в себе отличительные подробности.

4) Договоры Олега, Игоря и Святослава, как можно думать, переведены с греческого и внесены в переводе в свод целиком.

5) История обращения св. Владимира. Источники ее до некоторой степени указаны г. Сухомлиновым в его сочинении о русской летописи. Основанием этой истории служит житие св. Владимира. Подобное житие, напечатанное в «Христианском Чтении» за 1849 г., приписывается монаху Иакову. Летописное житие имеет с ним сходство, но также и различия и может считаться его вариантом. Сверх жития, в эту историю вошло поучение греческого философа Владимиру, где повествования о событиях священной истории заимствованы из св. Писания из Палеи. Есть сказания, не находящиеся в известных нам вариантах Палеи Дамаскина и, может быть, взяты из других. Кроме того, в ту же историю вошло исповедание веры, перевод с греческого подлин-

ника Михаила Синкела. Перевод находится также в Святославском сборнике 1073 года.

6) История Бориса и Глеба составляет сокращение пространного жития, сочиненного монахом Иаковом и известного по печатаному изданию в «Известиях 2 Отделения Академии Наук» 1852 и 1853 года.

7) Духовная Мономаха.

8) Благочестивые поучения, которые, очевидно, должны быть проповедями того же времени. Таково под 1067 годом по поводу половецкого нашествия от слов: «Нашлет бо Бог по гневу своему иноплемьники на землю» до слов: «да сего ради казни приемлем от Бога всяческия и нахоженья разныя по Божью повеленью приемлем казнь грех ради наших». Под 1078 г. после описания смерти Изяслава риторическое размышление, должно думать, есть проповедь, говоренная при его погребении. Под 1093 г., по поводу нашествия половцев, опять явно проповедь, начиная со слов: «се бо на ны Бог попусти...» до слов: «се бо аз согрешаю по вся дни».

9) Рассказ о кудеснике под 1071 годом, как не принадлежащий к истории Южнорусского края, есть очевидно особый эпизод, внесенный в свод.

10) Тоже надобно сказать о рассказе Поряты, говорящего о Югре; а прикрепленный к нему рассказ об Александре Македонском и о заключенных им в горы грешниках взят из Мефодия Натарского, которого славянские переводы существовали в старину.

11) Рассказ о Васильке.

12) Извлечение из византийских писателей; например, по поводу находки уroda в Ситомли, приводятся места о подобных необычных событиях при Антиохе в Иерусалиме, то же при Нероне, при Нифонте, при Маврикии, при Константине Иконоборце.

Летопись, как история народной жизни, вообще представляет много интересного и драгоценного, но особенного внимания заслуживают места, содержащие описание быта и нравов древнейших славян, еще до пришествия варягов, отношения славянских племен между собою, например, борьба полян с древлянами, интересная история Владимира и жизнь его после принятия христианства, геройские войны с греками и половцами, рассказ об ослеплении Василька и проч.

## ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ

### КИЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Непосредственным продолжением Сильвестровой летописи служит летопись *киевская*, сохранившаяся до 1200 года, на котором прерывается дошедшая до нас часть ее. То, что в ней сохранилось, может быть разделено на две части: в первой (до 1146 г.) летопись представляет неравномерный в объеме описания сборник разных событий: одни рассказы — пространнее, другие короче; вообще рассказ идет отрывочнее, чем в Сильвестровском своде; но во второй части (после 1146 г.) летопись принимает характер подробного рассказа и делается полнее и оживленнее; летописец говорит о себе под 1171 и 1172 г., при описании перенесения тела Владимира Мстиславича («поиходом с Володимиром из Вышегорода»). Соображая, кто бы мог быть этот говорящий о себе, можно открыть, что это был Симеон, игумен Андреевского монастыря в Киеве, ибо выше того говорится, что князь Глеб послал в Вышгород взять и привести в Киев тело умершего князя Владимира Андреевича, двух игуменов, Печерского Поликарпа и Андреевского Симеона. Через несколько строк после этого известия, говорится: «поидохом с Володимиром (мертвым)». Пишущий таким образом должен быть кто-нибудь из двух: либо игумен Печерский Поликарп, либо Андреевский Симеон; но ниже о Поликарпе говорится в третьем лице: *игумен же, рече Поликарп*; следовательно, говорящий о себе в слове *поидохом* должен быть товарищ его, игумен Симеон. Впрочем, нельзя предполагать, что вся эта летопись была сложена им одним и потому уже, что она обнимает время больше, чем включает обычное течение человеческой жизни, и также потому, что оказываются разные руки в ее составе, ибо при подробнейшем рассмотрении видно, как явно отличается первая часть от второй. Гранью между Сильвестровской и Киевской летописями следует принять

известие о походе Владимира Мономаха с князьями на половцев. Этот рассказ должен быть отдельным эпизодом от всей Киевской летописи по своему особенному стилю.

На самой границе ее с Сильвестровым сводом, под 1111 годом, рассказывается о походе на половцев; в начале этого описания говорится о сейме и о совете, который держали Владимир Мономах, Игорь, Святополк, Олег и другие князья в Долобьске, близ Киева. В Лаврентьевском списке то же событие помещено под 1103 годом. Обстоятельства похода там и здесь описаны так бедно, что не знаешь, к какому году правильнее следует их отнести. Видно, что описание этого похода есть эпизод, внесенный впоследствии в Киевскую летопись, составляя первоначально самобытно сочиненное сказание. Это доказывается и словом *аминь* на конце, которое в нашей древней литературе употреблялось при окончании сочинения. Под 1094 годом помещен анекдот о стеклянных глазах, выбрасываемых волнами Волхова, и о белках и оленях, падающих с облаков в Югре; по поводу этого последнего факта он приводит место из хронографа Малалы о серебряных крохах пшеницы и калачах, спадающих с неба<sup>1</sup>, и о египетском мифе Феоста, состоящем в аналогии со славянским мифом о Совароге и Дажьбоге. О дивах в Ладоге и Югре рассказ взят от лица, бывшего в Ладоге и слышавшего от ладожского посадника и ладожских жителей. Эти места должны были и составлять особый рассказ, случайно занесенный переписчиками в киевскую летопись, или же он впоследствии перешел туда из новгородских летописей, ибо приведен по случаю построения в Ладоге. Его склад особый; киевская летопись постоянно вращается в кругу событий, относящихся к Южной Руси, нигде не занимается делами Севера и известием о поправке Ладоги совсем не идет к ней, ибо она не говорит ни о внутреннем быте Новгорода, ни о его пригородах.

Итак, в Киевскую летопись входили места, не принадлежащие ей собственно. Анализируя ее, открывается, что она, как и Сильвестровский свод, разлагается на составные

---

<sup>1</sup> «В се же лето заложена бысть Ладога камением на приспе, Павлом посадником при князе Мстиславе. Пришедшу ми в Ладогу, поведоша ми Ладожане, яко сде есть, егда будет туча велика, и надять дети наши глазкы стеклянии, и малыи, и великыи, повертаны; а другие подле Волхов берут, ежа выполаскывает вода, от них же взяж боле ста; суть же различни. Сему же ми ся дивлящу, рекоша ми: се не дивно; и еще мужи старии ходили за Югру и за Самояд, яко видивши сами на полунощных странах, спаде туча, и в той тучи спаде веверица млада»... и проч. См. Полное собрание русских летописей, т. II, стр. 5.

части. В начале, после 1111 года, летопись состоит из кратких отрывков, не связанных между собой единством содержания и только с прибавлением слов: «того же лета», или «в том же лете»; под одними годами событий более, под другими менее; например, под 1119 г. два события упоминаются отрывисто: «Володимер взя Менеск у Глеба у Всеславича, самого приведе Киеву. Том же лете преставися Глеб в Киеве Всеславич, сентября 13». Напротив, под 1117 г. таких событий, таким же образом изложенных, семь сряду. Встречаются годы, под которыми рассказы довольно подробные, а потом, в виде добавлений, идет краткий перечень нескольких событий одного за другим, с прибавлением выражения «того же лета» или «в том же лете». Нельзя сказать, чтобы эти отрывочные места приводились всегда по их важности; так, под 1125 г. летописец не пишет ничего достойного воспоминания; например, что в этом году умерла вдова Святополка-Михаила (сына Ярослава Изяславича Туровского), которая ровно ничем не замечательна в истории. Но подобные события, не носящие признаков политической важности, означены не только годами, а иногда числами. Такие события обыкновенно: смерть князей, княгинь, духовных сановников. Ясно, что они занесены в летопись из синодиков, куда вносились для поминовения в монастырях и церквях; под иными событиями выставлены и самые дни и недели, когда они произошли. Так например, о смерти Всеволода Мстиславича говорится, что он скончался во Пскове в 1138 г. 11 февраля, в четверг на масляной неделе. Видно, что такой точностью событие могло быть записано только во Пскове; следовательно, или летописец получал свои известия из разных мест или, может быть, летопись, уже составленная по годам, ходила по рукам и к ее известиям прибавлялись новые. Также с мелочной, хронологической подробностью записаны естественные явления, считавшиеся предвозвестителями и, вероятно, записываемые при церквях священниками, а оттуда внесенные в летопись. Вообще, однако, подобные краткие и точные известия относятся к Киеву; даже и такие, которые говорят о событиях, совершившихся в других городах, могли быть записаны в Киеве; например, о постановлениях владык, которые не могли занять своего епархиального места без того, чтобы не принять прежде посвящения в Киеве. Те события, которые случились в Киеве, носят на себе характер большей подробности.

Под 1115 годом рассказывается о перенесении мощей Бориса и Глеба, причем летописец был не только очевид-



цем, но и участником. Из варианта, известного Татищеву, видно, что этот рассказ принадлежит Сильвестру — тому, который составил свод. Способ излагать события кратким упоминанием идет до 1135 г.; а с этого времени рассказ делается подробнее, особенно, когда говорится о междоусобицах Мономаховичей и Ольговичей, причем заметно, что рассказчик находился на стороне первых: «Ярополк с дружиною... устремишася боеви, мняще, яко не стояти Ольговичем противу *нашей* силе» (1136 г.).

С 1138 по 1140 г. снова идут короткие, отрывочные известия; с 1140 по 46 г. летопись была в других руках; рассказ делается подробнее, но перемешивается с короткими, отрывочными известиями; при княжении Всеволода помещается история полоцких князей и события с Мстиславом, уже умершим. По всему видно, что эта часть летописи есть сборник рассказов и отрывочных записок, значительно пострадавших; под 1145 годом, говоря о насильственной смерти Петрока, мужа лядского князя Владислава, припоминается о том, что этот Петрок взял лестью Володаря, мучил его и ограбил, и при этом замечается: *о нем же ба в задних летах писано*, тогда как прежде об этом не было ничего. С 1146 г. летопись принимает характер непрерывного повествования и явнó составляет другое сочинение против предыдущей части. Это сплошная повесть о военных событиях, относящихся к судьбе Игоря Ольговича и к борьбе Изяслава Мстиславича с дядею своим Юрием Суздальским. Только современник мог описывать эпоху с такими подробностями. Невозможно предполагать, чтобы составитель был монах; участие, принимаемое им в военных событиях, знакомит с военной жизнью, заставляет думать, что это был кто-нибудь из мирян; и действительно, под 1151 г., описывая битвы Изяслава Мстиславича с Юрием, рассказчик называет сторону, где находится князь Изяслав, *нашею*; даже он был участником политических событий, ибо говорит о князе: «и рече слово его же и переже слашахом», тогда как это слово было сказано князем к войску. О церковных событиях не упоминается, кроме дела митрополита Клима, но без всяких размышлений. Как здесь, так и в других местах летописец не приводит нравственных сентенций и мест из Священного Писания, как это делали духовные; драматическая форма очень развита: князьям влагаются в уста длинные речи; переходы войска, их вооружение и количество описаны чрезвычайно подробно.

Характер Киевской летописи изменяется с 1156 года, и она явно переходит в другие руки. Доказательством этого служит во 1) то, что с 1146 по 1156 г. почти нет ничего о

других княжествах, исключая *тех* случаев, когда в них происходят события, имеющие отношение к Киеву; если упоминается например, о Новгороде, то только по отношению к Киеву; так, говорится, что в Новгород прибыл Изяслав Мстиславич; но с 1156 года допускается подробное изложение событий в других княжествах, независимо от Киева, например, упоминается о делах в земле Кривской, о войне Рогвольда Минского с Ростиславом Глебовичем и о делах галицких, о которых у прежнего летописца говорится только по отношению к киевским событиям; теперь же рассказываются такие дела, как ссора Ярослава с Иоанном Берсадником — событие исключительно местное; под 1161 г. — о делах новгородских; под 1167 — о делах Черниговских; под 1168 г. о смерти Ростислава Мстиславича Смоленского с подробностями, которые могли быть записаны только в Смоленске; о делах церковных также говорится гораздо полнее; во 2) то, что под 1156 г. упоминается об архиепископе Нифонте, и при этом летописец говорит о себе, как о духовном лице, ибо прибавляет, что Нифонт ввел его в алтарь, и расточает похвалы Нифонту, тогда как прежде говорилось с участием о враге его Клименте. Это показывает, что здесь пишет не тот, который писал прежде; в 3-х), в Лаврентьевском списке, в котором помещено сокращение Киевской летописи, изложенной полнее в Ипатьевском списке, именно с 1157 года начинается разница; видно, что переписчик, сокращавший Киевскую летопись и внесший ее в Лаврентьевский список, имел под руками и пользовался только ее частью, которая доходила до 1157 года и не знал того, что находится в Ипатьевском списке с 1157 года; но с 1172 г. в Киевской летописи начинаются снова отрывки, которые находятся и в Лаврентьевском списке. Сказание о нашествии половцев и о победе над ними князя Глеба — в Лаврентьевском отнесено к 1169 г., а в Ипатьевском к 1172 г. Это обстоятельство позволяет предполагать, что сказание было писано другим, не тем, который писал о событиях, по Ипатьевскому списку, до 1172 года, ибо составителю Лаврентьевской летописи оно было известно, когда прежнее оставалось неизвестным; событие осады Вышгорода, князьями посланными Андреем, против Мстислава Ростиславича в Ипатьевском списке описано подробно, в Лаврентьевском кратко и не видно, чтобы последнее было сокращением первого; зато дальше, о смерти Святослава Юрьевича, одно и то же. Из этого видно что составители пользовались отрывками, из которых одни были, а другие не были в тех или других руках. Рассказ о

смерти Андрея Боголюбского составляет эпизод в киевской летописи; он не вяжется с остальным ходом, исключительно посвященным киевскому краю и, заключая в себе события Суздальской земли, представляет обращение, как впоследствии летописи смешивались, из одних мест заходили в другие. Рассказчик подробно распространяется о построении храма во Владимире; без сомнения этот рассказ писан в Суздальской земле.

С 1175 года Киевская летопись опять переходит в другие руки, ибо характер ее снова изменяется. Летописец наглядно и почти драматично повествует о походе на половцев, которым прибирает из Библии различные названия. Особенно замечательно здесь поэтическое описание похода Игоря Святославовича Северского и брата его Всеволода против половцев (1185 г.). Эта часть писана в Киеве, ибо летописец, описывая естественные явления, бывшие в галицкой земле, прибавляет, что в киевской тогда не видно ничего подобного. Летописец любит описывать характер князей и народа, вдается в разные подробности, рисует даже наружность князей и употребляет нравственные сентенции, чего не было прежде; например: «умре, отдав общий долг, его же несть убежати всякому роженому», или: «Бог возносящихся смиряет», или: «не любит Бог высоких мыслей». Половцев называет безбожниками, агарянами, сатанины или нечистые исчадия и проч. Придерживаясь преимущественно южнорусских событий, летописец касается событий и других княжеств, так, например, под 1180 г. говорится об участии рязанских князей, и летописца особенно занимает описание войн русских с инородцами и новгородцев с Чудью. Он преимущественно говорит о войнах русских с половцами, о которых оставил нам интересные известия: описывает их быт, нравы, наружность и приводит даже имена некоторых их князей. Особенность слога замечательна и в этой летописи. Так, употребляется два раза слово *полк* в смысле войска, а также встречается выражение «русальная неделя», чего прежде не было. Все это доказывает, что с 1175 г. Киевская летопись составляет произведение другого летописца.

В Ипатьевском списке Киевская летопись прерывается под 1202 г., построением ограды около монастыря Выдубского, причем летописец расточает похвалы Рюрику Мстиславичу — это род проповеди; но не должно думать, что она здесь и прекращается: в Лаврентьевском списке мы видим ее следы, но в сокращенном виде, хотя с этого места начинается собственно Суздальская летопись; так, помещенные

в нем рассказы: под 1204 г. о разорении Киева Ольговичами и половцами, под 1224 о походе князей против татар и битва при Калке, принадлежат Киевской летописи.

## ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Продолжение Ипатиевского списка под 1202 г. составляет летопись, обыкновенно называемую *волынскою*, но которую правильнее бы назвать *галицко-волынскою*, ибо она не только составлялась на Волыни, но также и в Галиче, и на первом плане в ней стоят дела галицкие. Она оканчивается 1305 г. и, следовательно, уже по одному этому не может считаться произведением одного лица. Начало ее не дошло до нас; может быть, внесенные в киевскую летопись места, подробно рассказывающие о галицких делах, принадлежат ей; и действительно, есть известия до 1202 г., напоминающие тон и склад галицко-волынской летописи более, нежели остальных мест киевской. Под 1145 г. упоминается о хитроумном взятии Володаря ляхами и при этом замечается, что в задних летах о том писано, тогда как об этом подробного известия нет; а у Длугоша оно ошибкою отнесено к Ярополку, вместо Володаря; но сверх того было в этой, пропавшей для нас части летописи, и то, что теперь не вошло ни в какие из наших списков. У Длугоша встречается несколько известий о галицких событиях, о чем скажем подробно при разборе Длугоша, как источника для русской истории. Но Длугош, сколько видно из хода известий о России, черпает их из русских летописей; поэтому и то, чего мы не находим теперь в известных нам списках, почерпнуто, вероятно, из них же, и может быть, преимущественно из галицко-волынской летописи, так, например, история Романа Мстиславича, его последний поход в Польшу и смерть — что также сохранилось у другого польского историка, Кадлубка.

Галицкая летопись занимается исключительно делами юго-западной Руси, Галича и Волыни; она совершенно отрешается от восточной Руси и вводит нас в свой особый местный мир. Гораздо чаще и подробнее излагаются дела венгерские и польские: мы видим, что Червонная Русь вошла в то время в западный мир и находилась с этими странами в постоянных связях.

Летопись писана современниками; подробности в таком виде, как в ней изложены, не могли быть записаны иначе, как самыми близкими к ним лицами; в описании, например, князей, упоминается о масти лошадей, на которых они

сидели верхом, очерчиваются иногда наружные приметы описываемых лиц, например, один называется лисицей, по красноте кожи его тела. Ни в каком случае нельзя полагать, чтобы составители ее были монахи, напротив, видны люди мирские, участники политических событий: под 1226 г. летописец упоминает о себе и о своем участии в защите Галича — он был сторонником князя Мстислава; под 1242 г. также следы очевидца, по тону рассказа. О церковных делах почти нет ничего, а все внимание обращено на мирские. Нередко встречаются характеристические замечания о лицах, но не в том смысле, как в прежних летописях, не бесстрастные, скромные сентенции на один склад, не односторонние суждения, но резкие и сильные отзывы участника событий. Склад летописи блещет поэзией, но не той поэзией простоты первобытного рассказа, как в первой повести, служившей основой Сильвестрову своду, а цветистой, удалой, раскидистой поэзией, напоминающей песнь о полку Игореве, например, «пришедшим орлом и многим воронам, яко облаку велику играющим же птицам, орлом же клекешущим и плавающим крылома своими и воспрометающимся на воздухе», или например, «щит их, яко зоря бе, шелом же их, яко солнцу восходящу». Замечательная особенность слога есть частое, почти беспреостанное употребление дательного самостоятельного (*Dativus absolutus*) и это уже показывает страсть к образности и поэтическую натуру писателя. Но тем не менее, галицкая летопись не отличается ясностью изложения; ее качество, можно сказать таково, что многие места, взятые отдельными периодами, представляют изящный образ; но с соединением их мало стройности; поэтому в ее составе, несмотря на поэтический колорит рассказа, есть какая-то тяжеловатость.

Летопись прекращается собственно на 1300 годе, ибо краткие известия, после приписанные, очевидно, присоединены впоследствии; во-первых, годом заходят назад, во-вторых являются слова позднейшего склада, как например, *Крижаки Пруские Киданск взяли и збурили, изогнали; лошаата; Люблин Ляхи отишукали от Руси.*

Летопись галицко-волинская была, как видно, сначала написана в виде повести без годов и неискусно разбита на годы уже после. Достоинно замечания, что почти нигде нет, обыкновенных у прежних летописцев, отрывочных замечаний: в то же лето или того года случилось то-то. Неоднократно случается, что в годах, в которых летописец не мог поместить из сплошного рассказа ничего, потому что по

своей хронологии не находил ничего к этому удобного, вставлено выражение: «в лето (такое-то) не бысть ничтоже» и при этом видна вставка очень ясно, ибо предшествовавшим этой вставки и последующим не прерывается грамматическая связь, например, «Данилови же, приехавшу в Володимер».

В лето 6722 быть тишина.

В лето 6723 Божиим повелением прислаша князи Литовски и проч.

Случается также, что в таких местах происходит грамматическая бессвязность, как, например, «и Данил воротися в Володимер, отиде от Белза.

В лето 6730. Не бысть ничто же.

В лето 6731. Данила и Василка Романовичю беаху Володимерьскыи пискупе».

Распределитель по числам представлял места повести или рассказа, изменял в вставлял свое: например, вслед за приведенными словами «Володимерьскыи пискупе» излагается история Володимерских епископов и основание епископии в Холме — тирада, не принадлежащая явно к рассказу, и в ней говорится: «созда (Даниил) град, именем Холм (создание же его иногда скажем)». Это под 1223 г., а о создании Холма говорится подробно под 1259 годом. Под этим же годом читаем: «Якоже древле писахом во Куремьсину рать»; здесь слово *древле* некстати, ибо эта Куремьсина рать была (по той же летописи) в том же году. Я полагаю, что эти места расставлены из рассказа числопоставщиком, ибо он сам намекает на это словами: «хронографу же нужна есть писати все и вся бывшая, овогда же писати в передняя, овогда же возстupati в задняя». Это понимать следует так, что тот, который составлял численную летопись, почел нужным переставлять из рассказа места. Эти-то переставки причиною, что, начиная о каком-нибудь событии, летописец вдруг прерывает его, говорит о другом, и потом возвращается к прежнему с словами: «мы же на прежнее возвратимся». Так, под 1282 г. начал он говорить о приходе татар, под предводительством Ногая и Телебуга, потом, не окончивши, рассказывает о войне с Болеславом, сказавши вышеприведенную фразу. Пред окончанием летописи, место о последних днях Владимира Васильковича, очевидно, есть особая повесть, вклеенная в летопись; оно отличается и характером повествования, и предметом, и даже языком. Нет сомнения, что оно написано современником и притом человеком, близким к этому князю, жившим в княжение Мстиславова.

Эти места принадлежат к действительной волынской летописи, которая здесь и прерывается, ибо после того следует под 1290 и 1291 годами уже не чисто волынские дела и потому, кажется, занесены в летопись из другого источника, нежели предыдущие события, тем более, что тогда о Льве Даниловиче говорится с большим расположением, чем прежде.

Мне кажется, что всматриваясь в переход тонов в слоге летописи и в характере рассказа, летопись раздваивается именно 1261 годом. Под 1260 г. перерыв: «послаша Льва и Шварня во нь из Володимира, река им: аще вы будете у мене вам ездете в станы к ним, ажели аз буду...» Вслед затем рассказ уже переходит во Владимир; в прежней половине летописи летописец рассказывает, имея как будто в виду на первом плане личность Данила и Галицкую Русь, а с этого времени рассказ вращается около Владимира Волынского и князей этого края, Василька и Владимира, его сына. Под 1264 г. говорится об убийстве Войшелгом Остафья и прибавляется: «о нем же переде псахом», а прежде нет о нем ничего; видно, что позднейший летописец не все вставил, и кое-что пропущено из тех материалов, которые могли служить ему.

Летопись галицко-волынская, кроме событий, относящихся до юго-западной Руси: Галицкой и Волынской земель, составляет лучший источник для истории Литвы, в самый первый период ее появления на политическом поприще, ибо описывает набеги литовцев на южную Русь с начала XIII века, потом события при Миндовге и Войшелге и после того, хотя вообще после Тройдена известия о литовских делах становятся отрывистее. Кроме того, эта летопись знакомит нас отчасти с ятвягами и составляет почти единственный источник о судьбе этого народа, вообще ускользнувшей из истории. О ятвях упоминается по поводу войн с ними Данила; есть несколько черт их быта и даже верований. Собственно, для русской народной жизни эта летопись хотя не представляет полного источника, но заключает в себе множество удачных и резких черт, которые, будучи сгруппированы между собой, могут навести на более или менее верные заключения; так, в первой половине является характер галичан, развитие высшего класса, который, впрочем, не был родовой аристократией; встречаются черты, поясняющие экономический быт страны, борения партий; в подробном описании последних дней Владимира Васильковича сохраняются заметные черты старой жизни.

## ГУСТИНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Так называемая *густинская* летопись, служащая в напечатанном ипатьевском списке прибавлением к нему, есть не что иное, как сокращение первоначального свода, но позднейшей редакции ипатьевского списка до 1300 года, с важнейшими дополнениями из польских писателей XV и XVI века; от 1300 до 1597 года сведения, заключающиеся в ней, во множестве почерпнуты из польских историков Длугоша, Кромера и Вагнини. Летопись эта не изъята от ошибок и анахронизмов и вообще был бы полезен труд ее восстановить по частям, отбросив то, что взято из источников более ранних: русских летописей и из польских писателей, и оставить приведенный в последовательный порядок рассказ, взятый из источников, которых мы не знаем; таким образом явилось бы, что именно взято и что принадлежит собственно этой летописи. Мы не можем останавливаться на таком труде, предоставляя его усердию и желанию тех, которые захотят внести в науку разборку этой ветви исторических источников.

В конце этой летописи приложено сказание об Унии, которое можно считать рассказом очевидца; хотя он и сделал несколько ошибок, как это открывается по сравнении его рассказа с официальными актами того времени, однако, тем не менее, как современник заслуживает внимания и им можно пользоваться для истории, но не иначе, как с большой критикой. То же можно сказать и в отношении начала козаков под 1516 годом.

В слогe своем и тоне густинская летопись носит характер сокращения из большого рассказа с прибавкой того, что знал составитель и что, так сказать, само просилось к вставкам в летописное повествование.

Пользуясь польскими источниками, составитель густинской летописи включил в нее и те сказания Длугоша, Кромера и Бельского, которые не находятся в наших летописях, и из которых некоторые, как кажется, отчасти занесены из русских летописей, теперь не существующих, или из тех мест, которые пропали, а отчасти переиначены и пересоставлены польскими историками. Таким образом под 1137 годом встречается история Ярополка Владимировича киевского о похищении его Петром, о битве под Галичем, о чем мы скажем подробно, разбирая сказания Длугоша и его компиляторов. Все эти польские сказания о русских делах густинский летописец взял не из Длугоша, древнейшего источника всех таких событий, а из второстепенных: из Кромера, Бельского и Вагнини.



Густинская летопись, рабски подражая упомянутым источникам, включает в себе и все нелепейшие известия, например, о женщине, родившей 52 детей, и т. п.

## БЕЛОРУССКИЕ ЛЕТОПИСИ

Как позднейшее произведение удельно-вечевого уклада, является свод литовских летописей, или, правильнее, белорусских, потому что собственно *Литовских* летописей никогда не существовало.

Обыкновенно считают открытыми две летописи белорусских; но при тщательном рассмотрении оказывается, что здесь нужно видеть свод, составленный из нескольких отрывков. Разберем все, что до сих пор было издано. Летописи эти были изданы по трем редакциям: одна из них, отысканная и объясненная Даниловичем (Жур. М.Н. Просв. XXVIII т.); другая, краткая редакция, изданная в «Ученых Записках II отд. Акад. Наук» Поповым с рукописи, принадлежащей гр. Уварову; третья — полнейшая, изданная Нарбутом польскими буквами с русских в подлиннике; рукопись под названием: «Pomniki do dziejów Litwy»; г. Бодянский видел в Познанской библиотеке литовскую летопись, написанную русскими буквами; она, по всему оказывается, полная редакция. Краткая редакция Попова вошла почти целиком в полную редакцию и составляет ее первый отдел. Она начинается со смерти Гедимины (1340 г.) исчислением его сыновей и доходит до смерти Сигизмунда Кейстутовича (1440 г.), согласно с обширной редакцией Нарбута, но потом расходится с ней и доходит до 1446 г. и собственно уже не есть летопись литовская, а смоленская, ибо известия ее относятся не к Литве, а к Смоленску; это указывает на существование, утратившейся для нас, смоленской летописи, часть которой вошла в белорусскую. Рассказ вращается около Смоленска; помещаются такие события, которые могли быть известны только живущему на месте в Смоленске, как, например, «преставия архимандрит Анофрей Спасский сентября 23 и проводивши с честью»; рассказывается о наводнении, залившем смоленский посад; обозначаются урочища города Смоленска, говорится о борьбе бояр с черным народом и вообще о событиях, которые могли быть известны в такой подробности только там находившемуся лицу. Летописец обращал более внимания на дела Москвы, чем Литвы, что показывает тяготение мысли летописца на Восток, а не на Запад.

Полнейшая редакция начинается не с Гедимина, а с баснословной истории о пришествии римской колонии на берега Балтийского моря и ведет повествование о судьбах языческой Литвы. Со времени смерти Гедимина она согласуется с краткой, но кое-что прибавляет и кое-что выпускает; такое повествование идет до смерти Сигизмунда Кейстутовича, где они расходятся. После того полная редакция продолжает отдельно существовать через весь XV век, прерываясь на 1507 г. на подробном описании разбития татар. В краткой редакции летописец говорит о себе, что он был еще молод во время смерти Скиргайлы, брата Ягайло, следовательно, он писал в первой половине XV века, (аз того не вемъ за пере бех тогды молод но неции мовять им бы тот Фомя дал князю Скиригайлу зелие отравное пити). Так как смерть Скиригайлы случилась в 1392 году, то летописец, будучи молод в то время, вероятно, писал в первой половине XV века до 1446 г., когда прерывается летопись.

Таким образом, краткая редакция составляет середину полнейшей (Нарбутовой), которая, следовательно, состоит из трех частей: во-первых, из летописи о древнейших временах Литвы; во-вторых, из летописи, писанной тем автором, который был молод во время смерти Скиригайлы, или из краткой редакции Попова, и в-третьих, из летописи, составленной дальнейшими ее продолжителями.

Третья редакция — Даниловича. В ней есть приписка, где говорится: «Исписан сии Литописец в лето 7028 Луна XVIII индикт IX окт. VI. На память Святого Апостола Фомы замышлением благоверного и христолубивого князя Симеона Ивановича Одинцевича, его милости на здравие и на щастие и на жизнь вечную на отпущение грехов. Боже милостивы их милости, дай его милости Княгини Екатерины их милости Чадом. Руходелеие много грешнаго раба Божиего Грыгорие Ивановича, Богу в честь и во славу во вики аминь. Преставшаго помени Господи Ерея Ивана». Эта редакция, или летопись Даниловича, начинается так же, где и краткая — Попова, т. е. со смерти Гедимина, и продолжается до принятия Ягайлом польской короны, совершенно согласно с летописью Нарбута, — но далее разница. Замечательно, что в летописи Даниловича нет многих мест, относящихся исключительно к Литве, но есть события, относящиеся к Смоленску и Руси, рассказанные полнее, и есть такие, которых нет ни в какой другой летописи. Притом рассказ вращается около Смоленска. Можно с большой вероятностью полагать, что эти места составля-

ют отрывки из существовавшей прежде смоленской летописи, которая была под рукою у составителя Даниловичевой. Поэтому летопись Даниловича склеена из двух частей: одна ее часть есть Белорусская летопись, написанная человеком, который был молод во время смерти Скиргайло, — а другая летопись смоленская. Язык обеих частей различен; в тех местах, которые относятся к Смоленску, язык сохранил древние формы. Как только рассказ доходит до воцарения Сигизмунда, в летописи помещается сказание о Витолде, которое есть не что иное, как эпизодический рассказ, писанный в качестве похвального слова этому князю и его деяниям; но содержит описание известных пригрозений к принятию короны, среди которых его смерть. Дальнейшие известия с 1446 года есть, очевидно, также часть смоленской летописи, прерванной рассказом о Витолде с некоторыми дополнениями против редакции Попова. Далее летопись удаляется от Литвы и обращается более к Москве. Вообще, не только в местах, относящихся к Смоленску, в редакции Даниловича более старинных форм, нежели в редакции Нарбута, в которой виден язык XV и XVI века, подчинившийся белорусскому влиянию даже в местах, переведенных, вероятно, из смоленской летописи.

Из этого обозрения видно, что летопись, изданная Нарбутом, есть полный свод; редакции же Попова и Даниловича с некоторыми недостатками. Анализируя свод белорусских летописей по этим трем редакциям, находим следующие главные части:

1) Древняя история Литвы, описывающая времена язычества. Известия, сообщаемые в этой части, находятся в польской летописи Стрыйковского и вошли в редакцию Даниловича. Данилович открыл все источники, которыми пользовался Стрыйковский и таким образом снял с него незаслуженное обвинение в умышленном искажении истории и выдумке фактов, со стороны Карамзина и некоторых его последователей. Он же доказал, что Стрыйковский пользовался хроникой епископа Христиана. Прусский летописец Семен Грунов (Gruнау) говорит о существовании в его время латинской хроники Христиана, первого епископа Прусского. Об этом же говорит и другой писатель Лука Давид, который прибавляет, что Христиан, повествуя о событиях русской истории, пользовался русскими летописями, сообщенными ему настоятелем полоцкой кафедры Ярославом. Так как одни и те же известия по отношению к Литве и Польше сохранились у Семена, Стрыйковского и у русских писателей, то очевидно, что здесь надо искать

начала погибшей хроники Ярослава, которая верно была бы полнее, чем летопись Нарбута, так как у Стрыйковского и прусских историков есть сказания, не вошедшие в хронику редакции Нарбута.

2) Летопись, писанная тем, который был молод во время смерти Скиргайло. Она должна, сколько можно судить, оканчиваться временем, когда Сигизмунд победил Свидригайла и сделался великим князем.

3) Смоленская летопись, существование которой подтверждают многие места из летописи Даниловича и Попова, например, о смерти Симеона, епископа смоленского, о голоде в Смоленске, о борьбе бояр с чернью, о которой упоминается в краткой редакции еще подробнее, чем у Даниловича.

4) Остальная часть свода белорусских летописей есть продолжение со времени вступления на престоле Сигизмунда Кейстутовича, где говорится о смерти Сигизмунда, убитого князем Чарторижским, до того места, где рассказ прерывается при известии о победе над татарами. Редакция Даниловича и Попова об этом деле упоминает как о варварском поступке, с участием к королю, а продолжатель Нарбутовой летописи говорит, что злодеяния Сигизмунда навлекли на него достойную смерть.

Стрыйковский говорит и о других летописях, которыми он пользовался и которые не дошли до нас; он даже назвал их по имени; например, летопись Заславских князей, которая, как доказал положительно профессор Данилович, есть не что иное, как летопись редакции Нарбута. Потом Стрыйковский говорит о другой летописи Ходкевича, полученной им от старца Ходкевича, и упоминает о третьей летописи какого-то белорусского дьячка, которого он называет безмозглым, — так бессвязно написана его летопись.

Из всего видно, что в Литве образовалась особая русская летописная письменность, в которую вошла и потерянная летопись города Смоленска.

## ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

### НОВГОРОДСКИЕ ЛЕТОПИСИ

Новгородские летописи в нашей летописной литературе составляют особый отдел, относящийся к событиям преимущественно Новгорода; впрочем, местами включены события и других русских земель, иногда по отношению к Новгороду, а иногда и безотносительно. В издании наших летописей, составленном Археографической Комиссией, помещены четыре новгородских летописи, называемых первой, второй, третьей и четвертой. Первая, по одному из взятых списков без начала с 1016 по 1444 год; вторая от 911 по 1587 год с прибавлениями; третья от 989 по 1716 год; четвертая с 1113 по 1496 год.

Неправильность их издания достаточно доказана г. Погодиным в V томе его исследований. Между прочим, один из главнейших недостатков есть тот, что издатель для первой летописи выбрал список не полный и откинул из летописи начало, находящееся в Толстовском списке ее и заключающее в себе несколько отличий от внесенных им при издании других летописей.

Обыкновенно думают, что начало первой новгородской летописи есть сокращение летописи, которая составила в Киеве и с прибавкой событий, относящихся к Новгороду. Известия в первой новгородской летописи до того кратки, что похожи более на оглавление, чем на сказание; во многих местах перед одним событием стоит несколько годов, так, в лето 6537, в лето 6538, — далее исчисляются годы один за другим до 6546 и после всего сказано: «заложил Ярослав город Киев и церковь святая София»; также перед известием о смерти полоцкого князя Всеслава поставлено сряду четыре года. Эта краткость и пустые года заставляют думать, что летописец был не современник и не списывал даже современных повестей, не делал также своих заметок и по памяти, а составлял свою летопись по скудным, раз-

розненным сведениям, в отрывках, и во многих местах не знал, чем наполнить, расставленные наперед, годы. Очень любопытно объяснить, как именно составила́сь эта летопись? Предложение г. Сухомлинова о пасхальных таблицах здесь ближе всего к истине. Включение по местам более подробных событий, относящихся к Новгороду, заставляет думать, что составитель жил в этом городе; упоминание о событиях после нескольких годов указывает, сверх того, что составитель имел сведения без годов и по своему расчету ставил их приблизительно; такие события, как например, преставления князей и проч., обозначены не только годами, но даже днями; освящение церквей, приход владык взяты, вероятно, из каких-нибудь церковных и монастырских записок: о некоторых летописец нашел точные указания, и потому поставил числа; о других событиях не нашел ни дней, ни годов, а потому поставил при них приблизительно несколько годов; так, перед поставлением Федора, архиепископа новгородского, поставлено три года. Точные сведения по числам о преставлении некоторых лиц летописец мог также заимствовать из синодиков или поминальных записок. Не только умершие в Новгороде были записываемы в новгородских синодиках, но могли быть случаи, когда в новгородские монастыри присылались записки для поминовения из других мест. По старинным понятиям поминовение для души считалось действительнее, когда совершалось в разных местах: чем более будет роздано за упокой души, чем больше усопшего будут помина́ть, тем для него лучше на том свете.

Известия о новорожденных князьях также могли быть присылаемы в монастырь для молитвы об их здравии, и оттуда почерпнуты летописцем. Самые известия о военных делах проходили через тот же источник; в летописи такого рода входили наиболее те известия, которые относятся к смерти кого-нибудь, например победа половцев над Всеволодом в 1078 году, убийство Глеба (за Волоком) в 1079 году, победа мордвы над Ярославом — все это несчастные события.

Когда в сражениях гибли люди, о них присылались братии поминальные записки, — что иногда принимали на себя князья. Счастливые события, как, например, победа Мстислава над Олегом, победа киевских князей над половцами (1103 и 1111 г.), могли быть сообщаемы в монастырь, как для поминовения убиенных, так равно и для воссылания благодарения Богу за одоление врагов; при этом в поминальных записках обозначалось, в каком именно сражении убиты были поименованные и о какой победе

следовало молиться; из этих-то записок летописец брал и вставлял свои известия; другим путем едва ли можно объяснить такую краткость событий и вместе, не редко, такую точность по годам и дням. Занятие Новгорода Всеславом и битва с ним Глеба могли быть заимствованы тоже из поминальных записок, ибо тогда были убиваемы люди; а прибавления «велика же бе беда в час той» и т. п. могли или находиться в виде приписки, сделанной современником на самом синодике, или же, по старой памяти и преданию, сделаны самим летописцем<sup>1</sup>; подобное восклицание является по 1129 г. по поводу затмения; быть может летописец, нашедши такую фразу в синодике по поводу битвы Всеслава, употребил из подражания под другим, более близким к нему событием.

Впрочем, внесенные в летопись военные события могли быть записываемы и по другому поводу, как, например: о походе Ярослава на ятвягов и о браке его с дочерью новгородского князя по возвращении из этого похода. Здесь могло быть в церкви записано о браке князя с целью молиться впоследствии о счастии новобрачных; о походе же на Ятвягов упомянуто при случае, и года над ним поставлено, а означено приблизительно двумя годами 1112 и 1113.

С 1117 г. летопись начинает, так сказать, полнеть, особенно в перечне событий, собственно относящихся к Новгороду; видимое обилие фактов указывает на близость самого летописца к описываемому времени. Пустых годов нет более; только смерть жены Мстислава записана без году. Однако известия еще не принимают повествовательной формы. Под 1125 и 1128 годами о голоде, по поводу неурожая, более подробный рассказ, но он также мог находиться в синодиках для поминовения умерших в это время. Монахи на память записали подробности этого события, чтобы отличить поминаемых от других.

Под 1132 годом является уже повествование иного покроя: о походе Всеволода в Русь к Переяславлю, и о смятении в Новгороде по возвращении князя. После этого уже последовательно записываются разные политические новгородские события; но в то же время продолжают и прежнего рода заметки, как, например, постройка церквей, преставление князей, венчание, назначение новых церковных сановников, — одним словом все, что могло быть извлечено из церковных записок и синодиков. Кроме

---

<sup>1</sup> Событие это ложно было остаться памятным для Новгорода уже потому, что на месте, где оно происходило, сооружен был монастырь.

синодиков в монастырях и соборах была необходимость записывать и церковные деяния, постройки церквей — для поминовения тех, которые жертвовали, а также для празднеств храмов; факты церковного управления, как приход того, или другого сановника отчасти тоже для поминовения, а отчасти для справок с стариною.

Повествование о политических новгородских событиях с 1137 г. делается еще пространнее, именно после изгнания Всеволода. Тут уже излагаются обстоятельно причины, по которым его прогнали, написанные в виде пунктов; вероятно, они были предложены новгородцами на вече и составляли приговор изгнанному князю. Так как это событие означено точно по дням, то, вероятно, оно записано современником. Принимая во внимание последнее обстоятельство, и, преимущественно, распространенную форму изложения, кажется достоверным, что именно с этого времени начинается собственно новгородская летопись. Тут летописец начинает прерванную историю, а все, что внесено в летопись прежде этого события, взято или из церковных заметок, или из особых записок, писанных не для того, чтобы придать памяти прошлые события, а для особых целей. Сам летописец мало распространил свой краткий первоначальный перечень тем, что, может быть, сам слышал от стариков.

Под 1144 г. летописец упоминает о себе, говоря, что в этом году св. Нифонт поставил его попом. Итак, летописец, писавший эту часть летописи, был священник. Г. Прозоровский, рассуждая, что под 1188 г. с подробностями и участием говорится о кончине какого-то попа при церкви св. Иакова, по имени Германа Вояты, который священствовал полпятдесят лет, приходит к заключению, что этот поп Герман был лицо, говорящее о себе под 1144 г., и что приемник его в деле летописания счел приличным распространиться о своем предшественнике<sup>1</sup>. Г. Погодин признает, что действительно священник, упоминающий о своем посвящении под 1144 г., есть одно и то же лицо с тем, о котором говорится под 1188 г., но думает, что этот священник, Герман Воята, был не сочинитель, а переписчик летописи, на том основании, что под 1144 годом он назвал Нифонта святым, каким Нифонт мог быть назван только по кончине своей, и что притом невозможно: чтобы летопись велась при церкви св. Иакова, где Герман был попом, а не при Софийском соборе. Но Нифонт умер в 1156 году, и священ-

---

<sup>1</sup> См. статью г. Д. Прозоровского: «Кто был первым писателем новгородской Летописи?» в Журн. Мин. Нар. Просв. Ч. XXXV.



ник, писавший свой рассказ, мог прибавить посвящение свое в иереи уже по кончине иерарха, и если Герман Воята, как допускает г. Погодин, мог быть переписчиком, то так же мог быть и сочинителем летописи.

Далее в складе летописи и выборе событий господствует тот же характер. Летописец наполняет свою летопись известиями о постановлениях духовных сановников, о представлении важных лиц, о построении церквей, вообще обращает внимание на церковные дела и тем обличает свое духовное звание. Из политических событий он упоминает только о таких, которые ярко выделяются из среды обыкновенных, как-то: призвание и изгнание князей, смуты в Новгороде, да кроме того говорит о разных бедствиях, морах, пожарах, войнах с иноплемениками. Изложение вообще скудно, только в перечне народных бедствий он позволяет себе входить в значительные подробности и описывать такие случаи более яркими красками. В 1161 году, по поводу описания неурожая, прибавлено восклицание: «о велика скорбь бяше в людех и нужда!» — восклицание, подобное тому, которое встречается в древних годах в разбитии Всеслава; это подтверждает, что прежние события заносились в летопись тем же летописцем, который писал о событиях половины XII века.

Одинаковый тон в летописи идет вплоть до 1202 г. и потому трудно уловить, когда оканчивается летописание священника, поставленного в 1144 году, и по всему, как кажется, начавшего писать еще в 1137 году, потому что тон летописи неизменно идет с 1202 года, так что преемник Германа Вояты искусно подражал предшественнику. До 1209 года характер рассказа все еще сбивается на старый лад; с 1209 года политические события рассказываются подробнее, приводятся речи князей, — чего нет в описании предыдущих времен, — и вообще видно сочувствие летописца к предмету рассказа. Поход Мстислава Удалого на суздальцев описан оживленно и с большими подробностями, так что можно предположить, что это отдельный эпизод, внесенный в летопись, тем более, что он находится и в Воскресенском списке, — но скорее можно думать, что в последний он занесен из новгородского списка, так как рассказан короче. Встречаются благочестивые размышления. Однако летописец все еще придерживается системы своего предшественника: он упоминает о построении церквей, о смерти важных лиц, о народных бедствиях и проч., но в этот период новгородского летописания являются, внесенными в него, и события других княжеств, как например,

злодеяние рязанского князя Глеба Святославовича над братьями (1218 г.), о галицких делах под 1219 годом, о нашествии татар и т. д.

В это время беспристрастный, сухой и холодный тон летописи изменяется; мало-помалу допускаются в летопись и благочестивые размышления, — и это идет *crescendo*; в первый раз находим рассуждения по поводу ссоры Святослава Всеволодовича с Твердиславом: сказав о их примирении, летописец замечает, что крест был возвеличен, а дьявол покорен. Потом он вдается в рассуждения по поводу преступления Глеба Рязанского, — и что, быть может, внесено в первую новгородскую летопись из какой-нибудь другой, вместе с самим рассказом о Глебе, так же, как и рассказ о нашествии татар, где тоже видно резонерство. По поводу изгнания архиепископа Арсения, летописец вдается в рассуждения и выказывает ясно, что он не беспристрастен. В 1230 году по поводу голода, явления частого в новгородском крае, упоминается о гневе Божиим и грехах людских, тогда как прежние летописцы ограничивались только описанием факта. Самое бедствие это описывается на этот раз такими красками, которые, очевидно, приданы предмету для того, чтобы возбудить жалость и ужас, тогда как при прежних описаниях не видно такого изложения. Под 1232 годом рассказывается о смерти архиепископа Антония; ему расточаются такие похвалы, которые заставляют предполагать, что писавший эти строки был уже не тот, кто писал о событиях под 1228 годом, где говорится об изгнании Арсения и о признании этого самого Антония: под 1228 годом летопись оказывает сочувствие к Арсению; сказавши о постановлении на его место Антония, автор прибавляет: «не добыти бы зла»; следовательно, постановление Антония представлено как бы неодобрительным. В 1238 году татарское нашествие описано короче, чем в других летописях, например в Воскресенской, и с прибавкой благочестивых размышлений. Такие же сентенции и размышления встречаются по поводу истечения мура из икон (1243 г.) или по поводу бедствия от наводнения (1251 г.). Также приводится пословица: *аще бы кто добро другу чинил, то добро бы было, а копая яму, сам в ню взвалить*. По поводу нашествия на Новгород татар летописец становится на сторону тех, которые не хотели платить дани и в этом случае отклоняется от обычного своего консервативного духа.

Под 1265 годом летописец касается дел литовских, которых впрочем хорошо не знает: он расточает похвалы Войшелгу, воображая его апостолом христианской веры и радуясь гибели тех, которых Войшелг извел за смерть

отца своего Миндовга. В 1268 году Раковорская битва дала летописцу предлог распространиться в благочестивых размышлениях и привести слова Священного Писания в подтверждение мысли, что несчастья посылаются людям от Бога за их грехи. Замечательно, что почти везде, если описание битвы сколько-нибудь подробно, исчисляется несколько собственных имен, что, кажется, объясняется тем, что эти имена записывались в синодики там же, где велась эта летопись или в таких местах, где их летописец мог видеть.

Относительно политических убеждений повествователя в летописи виден консервативный, монархический дух; заметно уважение к княжеской власти; впрочем, как новгородцы, летописцы любят свое отечество и сочувствуют особенно войнам с неверными.

С 1271 года тон летописи значительно изменяется; ясно, что здесь начинает писать не тот, который писал до этого года; начинается склад, близкий к тому, который был прежде, до описания ссоры с Твердиславом. Опять видим краткость известий и достаточное беспристрастие. Только под 1289 годом, по поводу пожара, летописец позволяет себе небольшое размышление в форме молитвы. Такой тон летописи продолжается до 1299 года; с этого же года опять являются признаки сочувствия к описываемым делам. Вообще характер летописи с этих пор состоит в перечне событий, одних подробнее других короче. В этот период встречаются хотя короткие, но любопытные и важные по содержанию отношения Новгорода у Швеции. С 1340 года события опять описываются подробнее и самых известий приводится больше. При описании битв, как и прежде, пересчитываются собственные имена, что, как выше замечено, взято из синодиков. В таком виде идет летопись до 1397 года; с этого же времени тон летописи переменяется и принимает характер, отличный от всех предыдущих, характер непрерывного повествования; потом опять видим сбор отрывочных известий, то кратких, то подробных. С 1422 года летопись становится еще отрывочнее, и сказания излагаются сжатее, так что количество отрывочных сведений в одних годах более, в других менее.

Вторая новгородская летопись не представляет важных вариантов от первой страницы до самого 1421 года, где находится подробный рассказ о землетрясении и наводнении, причем совокуплено благоговейное размышление. Это место особенно драгоценно потому, что там говорится о существовании в Новгороде старых летописей: «слышахом от

древних поведаяюще писание, паче же известно уведахом прочитающе старые летописци, о нашествии водном, еже бысть в Великом Новеграде в древняя лета» и проч. «Ныне же, убо, быша прежереченнаго нашима очима видехом великое нашествие водное, и еже от небес страшное явление, индиктиона 14 при архиепископе Семионе, в лет 6-е владычества его». Известие это подтверждает для нас существование древних летописцев новгородских, и верно, в старину их было много, когда говорится о них во множественном числе. Едва ли бы в этом случае разумелись списки одних и тех же: «и елико такова все то писанием число обретохом, и иная знамена некая бывающая, елико к наказанию нашему видехом в писании и сказанием мудрейших муж, любящих почитати древняя писания, слышахом от них; якоже Соломон глаголаше: се же есть мудр, еже весть древняя повести». Слова эти указывают не только на укоренившийся в Новгороде обычай писать летописи и вносить туда события, считающиеся достойными замечания; виден и вкус к чтению таких сочинений, и сознание добра, истекающего от такого чтения. От 1421 до 1470 г. заметки чрезвычайно кратки и, может быть, внесены впоследствии для связи. Под 1470 г. описано посещение Новгорода Иваном Васильевичем, и здесь же исчислены подарки, которые он получил во время своего посещения. Под 1485 г. описано преследование новгородских еретиков Геннадием.

По падении Новгорода летопись делается исключительно местной и знакомит читателя по большей части только с обстоятельствами, относящимися единственно до города; видно, что писали духовные лица. Под 1493 г. все сказание состоит единственно из рассказа о крестном походе, отправленном архиепископом Геннадием; это описание может служить образчиком тех записок, которые велись при церквах, соборах и монастырях и большей частью до нас не дошли. С большими подробностями описываются пожары, которые в Новгороде были очень часто, моровые поветрия, изгнания князей и небесные феномены.

Около 1553 г. летопись, видимо, переходит в другие руки, а с 1563 года делается короче, чем прежде, и ограничивается исключительно предметами церковного содержания. Под 1570 годом подробным образом исчисляется продовольствие, собранное на царя и его свиту, по случаю ужасного приезда Ивана Васильевича; вероятно, эта роспись попала сюда случайно и была приписана некстати. Под 1572 годом любопытное известие о том, что влады-

ка смотрел летопись в монастыре, на Лисьей горе — известие, доказывающее, что в разных монастырях велись летописи и записывались в них не только деяния монастырские, но и другие церковные, ибо владыка заметил, что в эту летопись не вписаны все владыки новгородские; между тем, казалось бы, не было, собственно, необходимости писать о владыках в летописи монастыря и гораздо было бы уместнее писать об этом в летописи соборной кафедральной.

При второй новгородской летописи, в полном собрании летописей, приложен перечень владык новгородских, — материал важный для церковной истории. Собственно, этот отрывок не принадлежит ни к какой летописи, а составляет самобытную летопись Софийского собора. Он может служить образчиком тех записок, которые, вероятно, велись повсеместно; о первых епископах известия очень кратки, потом о дальнейших известиях распространяются все более и более, так что о ранних не говорится ничего более, кроме того, что такой-то тогда-то был поставлен, столько-то лет был на епископии и тогда-то умер. О смерти некоторых означены дни, о других нет этого, из чего, кажется, можно заключить, что эти древнейшие известия почерпнуты впоследствии из синодиков, где случившееся записывалось как попало, не обращая внимания, как были записаны прежние; ибо если бы существовал порядок в записках об епископах, то, вероятно, последующие записыватели, имея перед собой образец предыдущих, записывали бы сообразно с обычаем, принятым последними. Со времени переименования епископов новгородских в архиепископы видно, что уже велись последовательные записи об них; почти везде с точностью означается день смерти и место погребения, и с 1230 года говорится постоянно, кто кем был поставлен в сан. С 1353 года встречается нередко означение событий, ознаменовавших владычество того или другого иерарха; особенно распространяется роспись об архиепископе Моисее и расточает ему похвалы. При Иване Худынском, под 1410 годом, упоминается о важном событии, вовсе не относящемся к церковным делам, именно об изменении монеты в Новгороде: «Новгородцы начаша торговати белками, лобци, и гроши Литвьскими, и артуги Немецкими» и проч. После покорения Новгорода эти росписи делаются подробнее, но ограничиваются одними церковными делами.

Третья новгородская летопись, начинающаяся в 911 г., есть дополнение первоначального свода, в сокращенном виде сообщая известия, записанные в последнем. Она сообща-

ет не только такие известия, которые касаются одного Новгорода, но и обстоятельства крещения, посвящение Иоанна, подробности о варягах, именно, что там, где они стояли при Ярославе, названа улица. Не видно однако, чтобы составитель пользовался при этом прежним сводом. С 1030 года говорится подробно о заложении церкви св. Софии в Новгороде и об иконе, будто бы написанной Эммануилом, греческим царем. С этих пор летопись ограничивается одним Новгородом и сохраняет свой особенный характер.

Эта драгоценная летопись дошла до нас уже в позднейших списках; нет ни одного ранее XVII века, и в том виде, в каком она находится теперь, она, очевидно, составлена уже позже, но из этого еще не следует, чтобы ее сущность и даже самый текст признавались позднейшими. Ее основа — история новгородских церквей или, вернее сказать, записки о построении церквей, веденные, как показывает этот драгоценный памятник, для всего Новгорода и отчасти для других городов новгородской волости. Впоследствии какой-то составитель, а может быть, и несколько составителей, включили туда в разные времена по произволу сказания из первой новгородской летописи, из росписи о новгородских записок и таким образом распространили эту летопись. В списке, с которого она была напечатана, находится следующее заглавие: «Книга, глаголемая Летописец новгородской вкратце, церквам божиим, в которое лето которая церковь во имя строена, и при котором епископе али архиепископе или митрополите, и в котором годе который епископ али архиепископ или Митрополит поставлены быша, и прилучай в котором годе какие были в Великом Новеграде и в пригородах: и то в сем Летописце чтый и обрящеши». Кажется, что древнее заглавие было только до слова «митрополите», а остальное прибавлено после. Доказательством этого служит то, что если сравнить третью летопись с предыдущими двумя, то окажется, что все политические события заимствованы из последних в тех эпохах, которые последними описываются, а относительно построения церквей есть сведения самобытные, именно, упоминается о построении некоторых церквей, о которых в других летописях не говорится, а о построении таких, о которых известия вошли и в другие летописи, сообщаются самобытные данные. О постановлении владык в этой летописи нет ничего нового против других источников. Кроме построения церквей существенной частью должны считаться также известия о написании икон и изменения в храмовом благочинии. Самая важная часть этой летописи —

вставка, заключающая в себе описание прихода в Новгород Ивана Васильевича и страшного побоища, произведенного им там в 1576 году.

Четвертая новгородская летопись есть не что иное, как позднейший уже свод прежних летописей. Известия в ней по большей части взяты из первой и второй летописи, но сверх того прибавлены события Суздальской, Тверской и Литовской земель. Составитель ее не имел, по-видимому, никакой определенной цели, записывая события, и не следил преимущественно ни за какой нитью; очень часто одно и то же событие повторяется несколько раз, некоторые годы совершенно выпущены. Раз составленная, эта летопись переходила, должно быть, из рук в руки, что заметно по различным спискам; так, до 1325 года все варианты сходятся между собой, а с этого года заметны две различные ветви списка, которые тянутся до 1406 года вместе; один список более занимается делами, непосредственно касающимися Новгорода, другой же более представляет характер общего русского хронографа. С 1406 года списки опять сходятся и идут вместе до 1447 года, где один оканчивается, а другой продолжается до 1515 года. Все остальное от 1447 по 1515 г. не находящееся в одном из списков, очевидно, есть приставка и отличается от предыдущих и по складу, и по тону; она состоит из чрезвычайно кратких замечаний. Главный характер летописи — отсутствие связи между событиями и запутанность хронологии. Известия большей частью кратки, но есть и пространные, смотря по тому, откуда случилось летописцу их почерпнуть. Сюда целиком занесены особые статьи, составлявшие отдельные рассказы или акты, например, известие о море во Пскове в 1352 году, выписанное целиком из первой псковской летописи, нашествие Дмитрия Московского на Тверь в 1375 году из Софийского Временника; подробная повесть о побоище с Мамаем в 1380 году, также сводная с других летописных сказаний об этом событии; о пленении и прохождении Тохтамыша царя и о Московском Фотии; слово о том, как бился Витовт с Орду, с царем Темиркутлуем в 1399 году; посольство Едигея к великому князю Василию, нигде не встречаемое при этой летописи; 1408 г. о Тферьском владыце; послание митрополита Фотия в Киев; слово о житии Дмитрия Донского и преставлении Михаила Александровича Тверского, занесенное из так называемой тверской летописи.

## ПСКОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Псковских летописей издано две: первая начинается древнейшими временами, 859 годом, и продолжается по одному списку до 1609 года, по другому до 1650. Исчисление событий сначала, относящихся до X, XI и XII века, есть не что иное, как перечень известий, подробно записанных в первоначальном, Сильвестровском своде и первой новгородской летописи. До 1236 года в летописи нет ничего, что бы заявляло самобытное, не относящееся к другому краю, достояние псковской истории, кроме смерти Всеволода Мстиславича. Под 1236 годом первое самобытное известие, не записанное, сколько мне известно, в новгородских летописях, именно о разбитии немцев у Изборска; но очень может быть, что и оно выписано, ибо последующие известия в 1230 — 1240 г. заимствованы из новгородской летописи. Подробнее рассказ о прибытии в Псков Александра, в главных выражениях также сходный с новгородским. Таким образом, отрывочные рассказы, без признаков самобытного сочинения, идут до смерти Александра Ярославича в 1264 году. Вся эта часть летописи приставлена уже после и события из других летописей обозначены здесь не для сообщения их, а для означения только годов, чтобы годовому течению дать отличительные признаки; некоторые же из этих известий могли быть распространены даже и позже, при чтении других (новгородских) летописей. Собственно летопись начинается с Довмонта, а может быть, даже и позже. Нельзя заключить, чтоб до того времени у псковитян не существовало летописи, напротив, более вероятно, что она была исстари; но видно, что составитель не имел в руках ничего прежде Довмонта, многое из этого имел без годов и потому, для проверки, сделал связь событий по годам. Замечательно, что в одном из списков XVI в. говорится после 1241 года: *от числа русской земли и до смерти князя александра и до убийтия князя литовского миндовга*. Эта приписка заставляет предполагать, что позднейший составитель, именно до этой эпохи приписал собственно к псковской летописи начало по числам. Сказание о Довмонте под 1265 годом есть первое подробное и самобытное сказание псковское; с тех пор идет уже непрерывно перечень псковских событий по годам и составляет действительно псковскую летопись.

События, вошедшие в летопись и относящиеся исключительно к Пскову, следующие: 1) постройки в Пскове, как церковные, так и городские; 2) народные бедствия как-то: неурожаи, пожары, наводнения, морозы, моровые поветрия, часто опустошавшие страну; 3) война с немцами и Литвою;



4) внутренние события в XIV и особенно в XV веке, иногда с юридическим характером; 5) церковные дела Пскова.

Летопись Пскова строго местная. События, случившиеся в других землях, приводятся только по отношению к Пскову и были записываемы современниками. Писавший упоминает о себе под 1352 г. по поводу моровой болезни: «Се же ми о сем написавшу от многа мало, еже худый мой ум, в худости же и память принесе; аще кому се не потребно будет да сущим по нас оставим, да не до конца забвено будет». Очевидно, что здесь летописатель говорит о событиях, которые сам помнил. Летопись после того перешла в иные руки уже в 1390 году, как видно из известия о другом море в Пскове, по поводу которого летописец присовокупил, что такого прежде не бывало (якоже не бывал таков), но мор в 1352 году описан такими красками, что если б тот же, кто его описал, известил и о том море, который посещал страну в 1390 году, то не выразился бы так о последнем, а либо описал бы его еще резче, чем описал прежний, или не сказал бы, что такого моря никогда не было во Пскове. Под 1470 г., по поводу ссоры с новгородским владыкой, летописец говорит «се написахом елика слышавше и видевшe» и сверх того намекает на существование издревле летописи: «аще се кому и не на потребу будет, но елико их любезно почитают древняя Летописца». События описаны везде с мельчайшей точностью времени и места — так писать могли только современники. Они записаны не в смысле непрерывного рассказа, а отрывочными известиями с обычной фразой *того же лета*. В XIV и начале XV в. они вообще отрывистее и короче, чем далее, в течение XV и начале XVI в. Рассказ начинает быть подробнее с 1457 года. Повествование о падении Пскова составляет отдельную повесть. В одном из ненапечатанных списков, хранящихся в Румянцовском музее, подобная повесть изложена гораздо пространнее, чем в печатанных; она заключает целиком современную переписку, относящуюся к этому событию и вообще имеет характер скорее юридического дела, чем повествования. Продолжение псковской летописи, после уничтожения самобытности Пскова, сохраняет прежний местный характер. Характер рассказа псковской летописи указывает, что это были официальные записки, которые велись по обычаю при главном центре управления, вероятно, при св. Троице, и даже служили иногда для решения юридических вопросов. Писательство в Пскове было значительно развито, ибо неоднократно псковитяне ссылаются на грамоты князей и разные письменные акты. Видно, летопи-

си были также видом этих официальных бумаг и служили для справок; оттого-то в них так усердно записывались всякие постройки, не только церковные, но и гражданские. Летописей было в одно и то же время много; это указывает и теперь существование второй псковской летописи, которая есть вариант первой с значительными отменами, а самая разница в списках первой летописи и, наконец, значительная подробность событий XV в. перед прежним. Это последнее обстоятельство я объясняю тем, что от времени XV и начала XVI в. остались полнее современные записи, чем от предшествовавших. Пожары, разорения, впоследствии переселения из Пскова жителей — все вместе уничтожало древнюю письменность. Псковские летописи могут считаться в числе лучших указаний для истории народа, потому что, сосредоточиваясь на местности, вводят нас в подробности внутреннего быта и движений народной жизни. Верно еще и то, что летописцы ставят себя на такую точку зрения, которая делает их взгляд не их личным, но целой массы — это видно повсеместно; даже самые события выбираются и излагаются так, как излагались бы, если б побуждением к этому было впечатление, произведенное на массу и требование общее записать их, преимущественно то, что относится к массе целого народа.

Вторая псковская летопись, изданная со списка XVI в., есть не что иное, как вариант первой и не имеет особого характера, но заключает в себе много любопытных частей в XV в., не вошедших в первую псковскую, а это подтверждает убеждение, что в Пскове велись подробные записки. Кто составлял вторую летопись, тот хотя пользовался многими источниками, попавшимися в руки составителя первой, но также попадал на такие, которые не служили для первого. Очевидно, что составитель первой и второй летописи было не одно и то же лицо; это особенно видно в первой части второй летописи, где одно короче, другое подробнее, чем в первой части первой псковской летописи.

## ВЯТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Как ветвь северных летописей, является в нашей исторической литературе *вятский* летописец, до сих пор не изданный. Он известен мне по одной рукописи Публичной Библиотеки № 103 Толст. 123, заключающей в себе в беспорядке разные летописные и хронологические отрывки. В числе помещенных в этой рукописи (XVIII в.) отрывков есть повесть о начале Вятки без заглавия и о судьбе этого города до

XVI века. Она начинается в лето 6682: «отделишася от пределы великаго Новгорода жители новгородцы самоволцы дружиною с своею и шедше плаваху в судех на низ по Волге реке дошедше реки Камы и пребыша ту неколико время и поставиша по Каме реке градец мал в обитании себе и слышаху о Вятке реке иже по ней живущих Чуди вотяков, обладавших многими землями и угодьи, построиша окопы и валы земляные круг жилищ своих бояшася находу Руси к поселению потребны и угодны». Это начало достаточно показывает, что список этой летописи испорчен. Далее рассказывается, что новгородцы, оставляя толпу своих на р. Мереке в новопостроенном городке, пошли по Каме, перешли в нагорную сторону и достигли р. Чепца; поплыв по ней вниз и пленя вотяцкие жилища, окруженные земляными валами, новгородцы по р. Чепцу вошли в р. Вятку и, проплывши верст пять, увидели по правой стороне, на высокой горе, окруженной высоким валом и глубоким рвом, Болванский городок, который, по замечанию летописца, называется теперь Никола Цыно на р. Никуличинке.

Желая его взять и сознавая трудность этого предприятия, новгородцы призвали на помощь стратотерпцев Бориса и Глеба и согласились между собой ни пить, ни есть, пока не возьмут этого болванского чудского городка. Тогда был день св. Бориса и Глеба, и оттого-то они призвали именно этих святых. Святые помогли им: городок был взят, множество чуди и вотяков побито; оставшиеся в живых разбежались по лесам, и новгородцы построили в городе церковь во имя св. Бориса и Глеба, (которые таким образом, стали их патронами) и называли город Никулицын. Итак, это было другое поселение новгородцев.

Те, которые основались было на Каме, узнавши, что их братия так удачно делает завоевания, отправились по р. Вятке и тоже стали молиться Борису и Глебу, зная что они помогли их землякам при взятии чудского города; святые и этим помогли. Новгородцы пошли далее и напали на черемисский город Каршаров. Борис и Глеб, помогая им, устроили так, что черемисам показалось, будто на их город нападает многочисленное войско; тогда одни из них пустились врассыпную из города, а другие отворили ворота и без боя сдались победителям. Завоевавши Каршаров, новгородцы разослали по Вятке и по впадающим в нее рекам партии, — проведать: нельзя ли где-нибудь еще что-нибудь отнять. Каршаров же они переименовали в Котельнич.

В то же время и те, которые поселились в чудском Болванском городке, также послали партии с той же целью:

одни пришли сверху, другие — снизу реки Вятки и, встретившись, стали искать места, где бы можно было построить еще город. При устье реки Хлыновицы, на высокой горе, им показалось удобным местоположение, и они основали там город Хлынов, нынешнюю Вятку. Предание, записанное в летописи, говорит, что река Хлыновица названа так новгородцами потому, что на этом месте они слышали крик диких птиц: хлы, хлы!

Основание Хлынова не обошлось без чудес. Когда новгородцы начали строить город, то увидели дерево, чудотворное, приготовленное, сложенное и приплывшее к месту построения города. Описавши это построение, летописец упоминает о сооружении церкви Воздвижения Честного Креста и прибавляет: «и тако новгородцы начаша общежительствовати, самовластвующе правами и обладаели своими жители, и нравы свои отеческие, и законы и обычаи новгородские имеаху, на лета много до обладания великих Князей Росийских, и прозавшася вятчане, реки ради Вятки».

В кратком описании, следующем затем, не изображается ни общественное устройство, ни внутренние преобразования, которые там происходили. Поэтому от нас ускользают подробности быта единственного русского города, который управлялся без князей; мы не знаем ни прав, какие существовали у жителей Вятки, ни властей, которые были установлены, ни экономического быта; летопись сообщает только, что Хлынов состоял из *города* или *Кремля*, опоясанного глубоким рвом с севера, запада и юга; с востока же он защищался крутым берегом и рекой Вяткой, а вместо городской стены были жилища, плотно поставленные друг к другу задними стенами. Место было высокое, удобное для защиты от нападений неприятеля. Там стоял колодезь, называемый *Земским*, близ него была Земская изба и винокурня; кругом располагались дремучие леса и непроходимые болота.

Между тем количество народонаселения возрастало, как естественным путем рождения, так и прибытием новых пришельцев. Подле города образовался *посад*, и тогда была построена деревянная стена или *острог* с башнями и воротами.

Население Вятского края беспрестанно увеличивалось новыми пришельцами, которые приходили, по замечанию летописца, из Устюга и Новгорода, не довольные тамошним ходом дел, а также и из других стран: возникали села за селами и погосты новгородские: это название удержалось за переселенцами; таким образом был построен Волковский погост близ Богоявления и Воскресения, а близ них возник-

ли поселения, также явилась часовня у реки Просницы и поселение при ней. К сожалению, отношения между собой пригородов, погостов и сел, и степень их зависимости от главного города не показываются в повести. Кратко упоминается о том, что переселенцы терпели частые и долговременные нападения со стороны туземных народов — вотяков и черемисов, которые, конечно, неприязненно смотрели на новых обитателей древнего своего отечества, также от нагайцев, татар Казанской и Золотой Орды, появившихся с берегов Камы, с намерением истребить переселенцев. Поэтому все поселения были укреплены; неоднократно русские выдерживали осады, но никогда не были побеждены: их битвы с неверными навсегда оставались в народной памяти с героическим блеском. В воспоминании их вятчане устроили торжественные ходы и процессии: таким образом, в воспоминание битвы с вотяками и черемисами, было установлено ежегодно носить из Волковского погоста образ Великомученика Георгия в Вятку и встречать его торжественно со свечами; свечи эти символически изображали стрелы, которыми вооружены были нападавшие на них черемисы. Другой местно-чтимый образ был образ Николая Чудотворца, о котором в повести рассказывается история его явления в Яранском уезде. Черемисы препятствовали возникновению поселений; однажды русские принуждены были бежать от нападавших черемисов и в побеге своем оставили на горе образ Николая Чудотворца, который был с ними. Через много времени после того при Донском в 1373 г., за 75 лет до взятия Вятки, какой-то поселянин зачинал поселение близ той горы и выбрал себе место недалеко от источника. Однажды, отправившись в лес за деревом, он увидел в одном месте свет, окружавший образ Николая Чудотворца; поселянин взял его и поставил у себя в избе; около него начали селиться и другие: заводилось и умножалось новое поселение; тогда образ оказался целительным и чудотворным, и в избу поселянина, у которого он был, начали стекаться богомольцы. Наконец, весть об этом дошла до Хлынова, и тамошнее духовенство стало помышлять, как бы тот образ приобрести для Вятки. Но жители деревни, где он находился, ни за что не уступали, так что городские жители едва упростили их уладить дело так, что из Хлынова будут ежегодно совершать крестный ход в эту деревню и приносить туда образ. Таким образом установлено было ежегодное хождение к месту, где находился прежде образ — на так называемую Великую реку. Известие это показывает несколько свободные отношения

зависимых от Хлынова поселений, ибо Хлыновцы не могли без условия отнять образ у поселян.

По известию повествователя, новгородцы долго враждовали против вятчан, тем более, что этот край сделался приютом недовольных в Великом Новгороде. Новгород считал Вятку своей колонией и хотел зависимости, какую оказывали ему другие колонии. Поэтому, говорит летопись, новгородцы представили своим князьям, что вятчане беглецы и разбойники; князья вообще не любили Вятки, потому что там не хотели признавать княжеской власти. Новгородцы, подавая князьям отказные на вятчан, предавали их на произвол князей, а князья — говорит повесть — почитая вятчан самовольниками, не давали им согласиться и примириться с новгородцами. Тогда возникло предание, будто вятчане получили свое начало от любовников жен новгородцев, отправившихся из родины на семь лет по случаю войны, и детей, прижитых с ними незаконно — басня, показывающая знакомство с греческой историей, ибо напоминает основание Тарента. Повесть наша положительно отвергает это сказание и уверяет, что вятчане не беглецы, а отправились из Новгорода с согласия новгородцев. вятчане долго отстаивали себя и от злобы метрополии, и от князей: несколько раз князья посылали против них рати, но всегда безуспешно; Вятская сторона отлично была защищена природой: трудно было достигнуть до нее сквозь непроходимые леса и болота, а вятчанам известны были все пути в своем отечестве.

Долго таким образом вятчане защищались от своих и чужих. Наконец, при Василии Дмитриевиче в 1391 году, Тохтамыш послал туда царевича Бехтута, который успел взять город; множество жителей погибло, другие разбежались, некоторых взяли в плен. Но это было мгновенное бедствие; с своей стороны вятчане отплатили татарам покорением Сарая.

Известие о падении Вятки помещено в четвертой новгородской летописи.

## ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ

### СУЗДАЛЬСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Летопись суздальской земли дошла до нас не в ее первобытном виде, и существование ее можно признавать только из таких известий, которые исключительно относятся к этому краю и не могли быть замечены и внесены в летописное повествование никем другим, кроме тех, которые жили в этом крае. Кроме того, в нескольких местах летописцы говорят о себе и показывают, что они жили в суздальской стране и описывали ее историю. Последовательное повествование о судьбах суздальского края начинается с поставления Андрея Боголюбского, с 1157 года, когда ростовцы и суздальцы признали своим князя Андрея по приговору общего веча. Дальнейший ряд событий сохранился в списках, или сборниках: Лаврентьевском, Троицком, Софийском и Воскресенском; в этом последнем есть даже заглавие, как бы принадлежавшее этой летописи, когда она существовала самобытно, именно: «Наста княжение суздальское Андреем Юрьевичем Боголюбским а столь великое княжение Володимирское в лето 6665». Быть может, действительно с этого времени началась самобытная суздальская летопись, но, кажется, ей предшествовала другая, не в Суздале, а в Ростове, ибо Симон, епископ Владимирский, упоминает о ростовском летописце, указывая, что в нем можно найти имена владык, достигших этого звания из монахов Печерской обители. В Софийском Временнике есть известие о построении Юрием Долгоруким церкви в Суздале и Владимире, и это также должно быть взято из местной летописи.

Тем не менее явные следы существования непрерывной летописи суздальского края видны с 1157 года. Летопись эта велась в городе Владимире. Доказательства тому следующие: 1) из событий всей суздальской земли стоят на первом плане события, случившиеся во Владимире; 2) при

описании споров и несогласий, возникших между городами Владимиром, с одной, и Ростовом и Суздалем, с другой стороны, летописец не остается в полном беспристрастии, но принимает сторону Владимира. О времени своем и современных лицах летописцы говорят: 1) под 1185 годом по поводу поставления епископа Луки обращение к нему, еще живому; следовательно, летописец жил в конце XII века; 2) по поводу рассказа о смерти Боголюбского обращение к душе убитого князя с просьбой молиться за брата князя Всеволода. Всеволод умер в 1212 г., следовательно летописец писал до этого времени. В начале летопись состоит из отрывочных известий о построении церквей, кончине важных лиц, небесных знамениях, княжеских браках; потом мало-помалу входят политические события. Летописец пишет с явным пристрастием к княжескому дому, властвовавшему во Владимире с порицанием тех, которые с ним были в несогласии: расточаются укоры новгородцам по поводу ссоры их с Андреем; летописец принимает сторону Всеволода в его распрях с детьми Ростислава Юрьевича; в описании распрей Всеволода с рязанскими князьями уклоняется от беспристрастия других летописцев в подобных случаях и приписывает победы Всеволода св. Богородице. Замечательно, что в нем проглядывает стремление придать царственное достоинство владимирскому князю и в этом отношении видно сознание развития зародышей единой державы, и вообще стремление к установке новых государственных понятий. По поводу распрей ростовцев с владимирцами летописец, сознавая старейшинство по времени за Ростовом и Суздалем, говорит, что владимирцы заслужили себе первенство тем, что избрали сына Юрьева: «се бо Вололимирци прославлены Богом по всей земле за их правду Божии им помогающе». Тут признается, во-первых, справедливость первенства по рождению: сына по отце, а не старшего в роде и дается городу значение столичности, богоизбрания; победы великого князя приписываются Божью благословению, враги его — тем уже грешат перед Богом, что они враги князя. Церковное начало призывается на помощь начинающемуся единовластию, к которому должна повести наследственность по исходящей линии, по преемству сына после отца. Летописец любит приводить места из священного писания, распространяется о характеристике князей Всеволодова дома и расточает им похвалы за щедрость к монастырям и церквям; тон летописи не позволяет сомневаться, что она писана людьми духовного звания.



С 1208 года летопись переходит в другие руки; но приемник продолжает в прежнем духе, оказывает тоже расположение к княжескому дому, прежнее предпочтение городу Владимиру перед другими городами Руси, он, без сомнения, тоже духовное лицо, что видно и по участию к церковным интересам, и по взгляду, так сказать, церковному. У него более развита драматическая форма, чем у предшественника; текстов из св. писания он приводит, но за то собственно церковного влелеречия у него более: примером такого влелеречия может служить длинная похвала князю Константину Всеволодовичу под 1218 годом.

О войне Мстислава Удалого в Лаврентьевском списке нет ничего; в Воскресенском же и Троицком заимствовано из новгородских сказаний, а не из суздальских. Летописец под 1224 г. упоминает о своей личности по поводу посвящения в епископы Митрофана: «приключися и мене грешному ту быти». С этого времени суздальско-владимирская летопись сохранилась полнее в Воскресенском, чем в Лаврентьевском списке; так: в первом гораздо подробнее, чем во втором о войне с болгарами под 1229 годом; в том же подробнее, чем в Лаврентьевском об Авраамии, замученном болгарами. В описании событий XIII века видны явные следы, что летопись ведется год за годом и каждое событие записывается человеком, знавшим его близко по времени; так например, под 1231 годом, говоря о благодеяниях, оказанных Кириллом, епископом Богородичной церкви, летописец выражается: «еже есть до сего дне». Видно, что это сказание было до разорения города татарами, случившегося в 1237 году. О князе Васильке Ростовском говорится при этом случае как о живом: «в заступленье и покров и утверждение граду Ростову и христолюбцу князю Васильку и княгине его и сынови его Борису» — а в 1237 г. этого князя не стало. Татарское разорение описано подробно и современником, если не очевидцем владимирских бедствий, потому что, по известиям самого летописца, во Владимире перебили всех. Вероятно, это сказание написано в Ростове, который, как видно, уцелел более других городов, ибо летописец подробно описывает погребение князя Василька; что он был современник, видно из того, что он просит милости от Бога ради молитв блаженного епископа Кирилла, который еще в живых. О княжении Александра также пишет современник ибо говорит о себе: «самовидец есмь возрасту его». Следы суздальской летописи сохраняются, кроме Лаврентьевского, еще в списках: Воскресенском и Софийском через весь ряд событий XIII и XIV веков; они

проглядывают в сообщении таких известий, которые относятся к местным делам и слишком частны, чтоб быть замеченными, если в летопись ввелись в других местах. С XIV в. летопись переходит в Москву, но в какое именно время, нельзя определить с точностью, ибо известия о Москве, краткие и отрывочные, могли быть также занесены и в Суздальскую, и потому нельзя основывать перенесение летописи в Москву единственно на том, что упоминаются Московские дела; но мало-помалу интерес московский берет в повествовании преимущество.

Тверской летописец упоминает о Владимирском летописце и называет его Полихроном; он ссылается на него в описании дел, относящихся до первых тверских князей в первой половине XIV века.

## ПЕРЕЯСЛАВО-СУЗДАЛЬСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Так называемая переяславо-суздальская летопись, открытая при старом переводе хронографа Иоанна Малалы и изданная князем Оболенским в 1851 году, доходит только до 1214 года. Вначале составитель сокращал Сильвестров свод, но с некоторыми отменами, например, при описании обычаев у радимичей и вятичей, по поводу известий об *игрищах межи селы*, говорится о плясках и способе сближения молодых людей обоих полов; по поводу мести Ольги над древлянами говорится, что послы, пришедши от древлян, были пьяны, что их одели в «порты многоценны червены вси жемчюгом иссаждены» и что запрос голубей и воробьев сделан был под предлогом принести в жертву богам для успокоения Игоря; но позднейшие переписчики сильно испортили текст, что видно из того, что в 995 году при известии и битве силача с печенегами, печенеги названы татарами. Летописец носит заглавие «Летописец русских Царей», и это показывает влияние на нее позднейших рук. Название *Переяславской*, данное ей учеными, происходит от двух признаков: 1) в рассказе об убиении Андрея летописец обращается к душе убитого и просит ее молить Бога за «Князя нашего и Господина Ярослава», а не Всеволода, а князь Ярослав княжил в Переяславле после того; 2) после смерти Андрея, летопись, сходно с Лаврентьевским списком, говорит о распрях города Владимира с Ростовом и Суздалем, но в некоторых местах прибавляет имя Переяславцев, как *союзников* Владимирцев, там, где в Лаврентьевском списке идет речь только о последних. Доказательства довольно слабы; кажется, что этот летописец

есть не что иное, как вариант Суздальской летописи и если есть какое-нибудь отношение его к Переяславлю, то, может быть, то, что он, хотя по рукам, был переписан в Переяславле и там переписчик прибавил имя своих сограждан; что касается до перемены имени князя, то в так называемом Переяславском летописце есть еще и другие перемены имен, например, Вячеслава он называет Ярославом, а под 1204 г. дополняет пробелы в Лаврентьевском списке; с 1208 г. рассказываются многие из событий, не вошедшие в последний, другие рассказаны иначе, например, по Лаврентьевскому списку князь Всеволод, победивши рязанских князей, посадил в Пронске Олега Владимировича, а по переяславскому — Давида Муромского.

Переяславо-Суздальская летопись особенно важна потому, что в ней находим важное объяснение того, как князья, приобретая княжение по родовому праву, должны были получать согласие веча: «Ярослав же приехав в Переяславль месяца априля в 18 день съзвав вси Переяславци к св. Спасу и рече им: братия Переяславци, се отец мой иде к Богови, а вас удал мне. А мене оудал вам на руце, да рците ми братия аще хотите мя имети собе, якоже иместе отца моего и головы своя за мя сложити. Они же все тогда рекоша: вельми господине тако буде; ты наш господин, ты Всеволод. И целоваша к нему вси крест. И тако седе Ярослав в Переяславли на столе, идежи родися».

## ТВЕРСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

После вступления Твери на театр исторической деятельности в XIV веке явилась там отдельная летопись. В одном из сборников Погодина (№ 970) в списке русских летописей сохранились отрывки этой летописи и в одном месте свидетельство о ее существовании: «благочестия держателя православнаго и христолубиваго князя Бориса еже велел ми есть написати от слова часть премудраго Михаила и Боголюбиваго князя». Этот Михаил есть Михаил Александрович, сын Александра Михайловича. Трагическая судьба прежних князей не составляет предмет этой летописи; напротив, она оговаривает это: говоря о родословной князей тверских, летописец выражается: «Ярославу сын бе Всеволод, а Всеволоду сын бе Владимир, а Владимиру сын бе Юрий, а Юрию бе сын Всеволод, а Всеволоду сын бе Ярослав, а Ярославу сын бе Ярослав, а Ярославу сему сын бе Михаил, а Михаилу бе сын Александр, а Александру сын бе доблей, Михаил. На Александре жо, иже такоже

самодержец бе, владеяше землю русскую, якоже и отец его Михаил и вси правды его до зде пишушу оуставих ис прьваго летописца воображающе, якоже володимерский Полихрон степенем приведе, яве оуказует и прочестнейша сего в князех являет».

Место это очень важно для истории летописей, ибо видно, что во Владимире велась летопись и в XIII и в XIV в.; название *Полихрон* показывает, что тогда уже летописи начинали принимать значение цело-русских, обнимающих течение дел во всей русской земле. Но эта ссылка на Владимирского Полихрона показывает только, что летописец, задавший себе работу писать летопись князя Михаила Александровича, находил известия о тверских князьях обширнее и пространнее в Полихроне владимирском. Действительно так и было, судя по описаниям судеб тверских князей в других списках; но тем не менее существовала короткая летопись тверская о прежнем времени, и в той же самой рукописи сохраняются ее следы, перебиты выписками из других, в смешении с другими известиями. Очевидно, следы ее существования начинаются с известия о *заложении Спаса в Твери*. По тогдашним народным понятиям признаком самобытности этого края была первая главная соборная церковь; тогда же поставлен был епископ в Твери. Отсюда идут летописные известия в последовательной череде. Встречается в разных местах несколько пустых годов отдельно. Годы перепутаны, и Тверская летопись отстает двумя годами от первой Софийской. История Михаила Ярославича подробнее и разбита на годы; но слова и выражения те же, как и в сказании о судьбе этого князя, внесенном целиком в Софийскую летопись. Кажется, что в последней только распространено и украшено велеречиво короткое известие, так что то, что записано в тверской, и есть старшей редакции. О дальнейших делах известия вообще коротки, есть некоторые, не записанные в другие списки, например, о восстании в Твери при Александре Михайловиче, по поводу пришествия Шевкала. Здесь приводятся такие обстоятельства, которых нет нигде, именно о том, что избиение татар началось с того, что дьякон Дюдько вел поить кобылицу, которую отняли у него татары. Самое избиение татар описано наглядно, но потом разорение Твери коротко. После этого события, летопись в списке перебивается другими известиями, взятыми очевидно не из Тверской; но явные извлечения из последней следуют в некоторых местах. Так, например, с 6837 г. опять на несколько лет идет тверская летопись краткими извести-

ями со включением пустых годов; с 6845 опять прерывается и под 6871 г. описывается с подробностями приготовление к смерти князя Александра Михайловича, и страдальческая его кончина. В следующем затем описании событий при Михаиле Александровиче видно взятое из собственно тверской летописи по сочувствию к этому князю во время споров его с новгородцами и Московским князем; с 6884 г. в списке прекращается собственно тверская летопись; тверские дела перемешиваются с другими, но летопись тверская еще существует, ибо многие известия, касающиеся до Твери таковы, что могли быть записаны только тверитянином, например, подробности о прибытии митрополита из Царьграда под 6898 годом. Под 6097 описание, полное сочувствия, как Михаил Александрович встречал икону, привезенную с Востока, как постригался в чернецы, прощался с народом, назначил вместо себя сына. Пустые годы в этой летописи заставляют подозревать, что она составлена именно тогда, когда говорит и предисловие, и имеет связь с тою, к которой это предисловие служит вступлением.

После смерти Михаила Александровича следует предисловие и потом известие об Александре и Михаиле, о воспитании последнего. Затем следует глава — начало княжения Михаила Александровича о распрях его с Василием Кашинским, но потом следуют только похвалы ему, и вслед затем новое заглавие: «начало княжения Ивана Михайловича Тверского», так что эта часть есть непосредственное продолжение Тверской летописи после смерти Михаила Александровича. Описавши, как Василий Дмитриевич приглашал тверского князя воевать против Витольда и нанял татар, летописец замечает, что старцы в Твери вообще сопротивлялись приглашению татар и представляли ту опасность, что татар, и вообще чужих, не следует принимать в воины: «добро ли се будет дума юных наших бояр? Не сих ли ради и Киеву и Чернигову беды приключишася? И что когда имуще брань с собою и подышают что ловец навожаху на ся да пръвое бо наимуючи их серебро здаша из земля своя и иные смотриша народы руския и самым издолеша, да не будет пакости в нашей земли на прочие дни, да не како татарове свысмотрят наряда земля наша а всхотят сами приити». Тверитяне с этих пор, говорит летописец, отказывались помогать Москве против Литвы, и при этом обращается к какому-то боголюбивому отцу Варлааму. Потом летописец оскорбляется от лица всех тверичан, что московский князь не поставил имени тверского князя

Иваша в договоре, и распространяется об этом, защищая тверскую сторону и обращаясь к какой-то боголюбивой главе («о боголюбивая главо!»). Летопись тверская прерывается в списке вслед за этим, и далее от 6929 года, по вступлении князя Бориса Александровича, сына Александра Ивановича. Впоследствии в том же списке хотя есть известия, касающиеся до Бориса Александровича, но нет доказательств, чтобы они непременно взяты из особой тверской летописи; они могли составлять и часть общего летописного сказания.

## СОФИЙСКИЙ ВРЕМЕННОК

Софийский Временник есть свод предыдущих летописей с некоторыми добавлениями из таких первоначальных летописных рассказов, которые до нас не дошли и со вставками, составляющими эпизодические целые. Вначале в нем первоначальная Сильвестрова летопись, но с некоторыми отменами, очень важными не столько по содержанию, сколько по тому, что бросают свет на способ составления летописи. Сказание об убиении Бориса и Глеба хотя имеет ту же основу, как и в Лаврентьевском списке, но другим слогом рассказано с отменами от Лаврентьевского. В других местах, где идет непрерывное повествование, там он сходится с Лаврентьевским, но там, где короткие известия — отмены, вставки, переставки, добавки, и это подтверждает мысль, что эти короткие известия вставлены уже впоследствии, при разбивке повести на годы. Нередко то же происшествие отнесено к различным годам; например, под 6506—6508 в Лаврентьевском о преставлении Мальфредь и Рогнедь, а в 6509 о преставлении Изяслава Владимировича; в Софийском же о смерти первых двух княгинь нет ничего, эти же пустые годы заканчиваются смертью Изяслава, и вслед затем нет о преставлении Всеслава Изяславича, о котором упомянуто в Лаврентьевском после двух пустых годов: 6510 и 6511; далее — нет в Софийском после 6512, 6513, 6514 и 6515 о перенесении святых в церковь Богородицы, о чем упоминается в Лаврентьевской. Под 6525 г. в Лаврентьевской говорится: «Ярослав иде в Киев о погореша церква», а в Софийском под этим годом о приходе Печенегов, их разбитие и заложение великого града Киева и св. Софии, о поставлении златых врат, так что впоследствии этого под 6545 говорится о свершении города Киева и св. Софии, как бы окончании задуманного в 6525 году; между тем как в Лаврентьевском под 6545 годом говорится о заложении, а не свершении. В Лаврентьевском под 6535 г. о рождении Святос-

лава Ярославича, под 6536 о знамении на небесах, под 6537 сказано: «мирно бысть», — а в Софийском под 6535 о рождении Святослава и о знамении, определительно названном *зимем*, а прочие годы пусты. Эти отличия показывают, что число поставщиков было несколько и один другого поправлял: один находил, что такое-то известие следует поставить в этот год, другой в иной. Случаются события, записанные в Софийском и не записанные в Лаврентьевском, например под 6546 о походе Улеба на железные ворота, под 6546 о том, что Ярослав ходил на ятвягов, именно зимой, и не мог их взять, а в Лаврентьевском сказано только, что он ходил на ятвягов. В Софийский Временник входят многие события, относящиеся к Новгороду; некоторые из них есть в новгородских летописях, другие с ними не сходны, а некоторых вовсе нет, именно: под 6556 и 6557 годами о сгорении церкви Софийской с подробным положением ее местности; или например, о походе Остромира посадника на Чудь и вслед затем о походе на Чудь же князя Изяслава Ярославича, под 6562 г. и проч., о походе Изяслава на Сосолы и Чудь. Таким образом видим: 1) что числовая первоначальная летопись была пересоставлена, так что один составщик ставил отдельные известия туда, другой сюда, соблюдая сплошной рассказ; 2) что впоследствии внесены были известия новгородские, вероятно, из летописи, до нас не дошедшей. Софийский Временник здесь есть уже исторический свод, иначе составленного числового свода Сильвестрова (а может быть, и древнее Лаврентьевского) с новгородской летописью. Печерской летописи нет, исключая отрывки о кончине Феодосия; также нет проповеди под 1067 годом. Зато отдельный рассказ о перенесении мощей Бориса и Глеба (1072) подробнее и полнее, чем в Лаврентьевской. С 1076 года заметна более и более разница между Лаврентьевским и Софийским текстами: в последнем многих известий нет, в том числе всей истории битвы на Нежатиной ниве и благочестивых размышлений по поводу смерти Изяслава, которые мы признаем за проповедь, говоренную при его погребении; нет истории об убийении половецких князей в Переяславле; нет поучения Мономахова, но сохраняется история Василька. Я думаю, что сохранившиеся и не сохранившиеся в одном и другом списке сказания составляли отдельные рассказы сами по себе. Далее идут известия киевские в более сокращенном виде, чем в Лаврентьевском списке, с прибавкой новгородских, по большей части заимствованных из первой новгородской летописи, а потом и из суздальской. После татар Софийский Временник делается уже преимущественно новгородской летописью вместе с дру-

гой летописью, служившей продолжением суздальской, писанной, вероятно, в Ростове; он унизан, так сказать, несколькими эпизодическими пространными рассказами, например «о велице князе Александре», вариант того, который помещен также в воскресенской летописи, разбитый на годы, вероятно, после, рассказ об убиении Михаила Черниговского, повесть об убиении Михаила Тверского, рукописание Магнуса Свейского, грамота митрополита Киприяна, послание новгородского архиепископа Василия к тверскому владыке, побоище Мамаево, о житии и преставлении князя Дмитрия Ивановича, о взятии Тохтамышем Москвы, побоище Витолтова с Термикутлуком, описанное новгородской летописью. Новгородские известия по большей части суть видоизменения того, что заключается в летописях первой и четвертой; с 1371 года начинаются подробные известия о тверских делах, показывающие, что они взяты из такого летописного сказания, которого составитель находился в Твери; дела смоленские, несколько распространеннее, чем в четвертой новгородской летописи, должны быть взяты из смоленской летописи под 1386 г.; тоже должно заметить и о других известиях, касающихся частной жизни Смоленска, например, под 1387, 1395, 1400; из них некоторые вошли и в четвертую новгородскую летопись, но могли быть взяты в Соф. Вр. из последней. Есть также места, относящиеся исключительно к делам Великого Литовского Княжества, безотносительно к северной и восточной Руси, например, об острожском князе Дашке под 1418 г., вероятно, взятые или из Смоленской, или из какой-нибудь другой западнорусской летописи.

С 1472 года летопись занимается преимущественно делами Новгорода и Пскова; здесь вставлено подробное описание падения новгородской независимости, писанное, без сомнения, современником, но человеком, расположенным к московской стороне и, судя по тону и приему, духовным лицом. Думают, что это описание принадлежит митрополиту Филиппу. Потом, до падения Пскова, Временник занимается псковскими делами; взятие Пскова составляет отдельный эпизод<sup>1</sup>. Вслед за этим, летописное повествование сосредоточивается на делах государства вообще. Летопись, очевидно, ведется в Москве, ибо упоминаются подробные события, относящиеся исключительно к делам

---

<sup>1</sup> Пространнейший рассказ о том же событии есть в одном сборнике Румянцовского Музея; он составляет вариант находящегося в Софийском Временнике, но с большими подробностями и со включением подлинных переговоров между В. Князем Московским и Псковом.



столицы. Списки этого Временника чрезвычайно разнообразны, особенно с 1383 года, но с 1472 года разность увеличивается до того, что окончания его составляют особые летописные сочинения.

## ВТОРАЯ СОФИЙСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Вторая Софийская летопись есть, собственно, вариант первой Софийской, отменно с 1397 года и оканчивающийся 1552 г., именно временем, когда единодержавный уклад вполне торжествует над удельным. Она напечатана с разных списков, основанием которым служил принадлежавший Патриарху Никону. По богатству и подробности частей, составляющих эту летопись, она представляет превосходный источник для изучения течения русской жизни государственного строя и нравов конца удельного уклада XV века. Отличительный характер ее, это — множество вставленных в нее длинных повествований, отдельных статей, писем и актов, так что собственно это более исторический сборник, чем летопись. Действительно, нельзя предположить, чтобы существовал сочинитель этого Сборника, но это есть свод многих, разнообразных сочинений. В нем, поэтому, следует различать две части: 1) собственно летописную и 2) вставные сказания. Но и в собственно летописной является двойной характер: одни известия коротки, в виде записок, что когда сделано, что произошло; другие, напротив, носят характер непрерывных повестей и хотя, разбитые на годы, в форме составляют часть собственно летописи, но в сущности также должны быть почитаемы отдельно сочиненными сказаниями. Такова например история распрей Шемяки и братьев его с Василием Васильевичем, отличающаяся в рассказе большими подробностями и в некоторых местах драматического изложения. Из сказаний отдельных — несколько отрывков из житий святых и легенд, более или менее любопытных и важных для изучения народных верований и религиозных понятий века. Есть несколько современных актов, например, духовная митрополита Фотия, послание ростовского епископа Вассиана по поводу ополчения против татар. В летопись включено большое сказание о восьмом (Флорентинском) соборе с грамотой папы Евгения.

Из сказаний о политических делах, чрезвычайно важна историческая повесть о падении Новгорода, написанная очень подробно. Это самое пространное известие о падении удельности в Руси. Сказание это отлично от того, которое

помещено в первой Софийской летописи, но написано не с новгородской, а с московской точки зрения. Автор сам о себе дает знать, что он принадлежал к стороне великого князя, ибо, описывая шелонскую битву, говорит: «Наши же (Москвичи), ставши на побсище том» или «един у наших убиен быть». Сказание это разбито на годы, то есть, части его являются в разных годах, разделенные другими происшествиями: после шелонской битвы следует по списку под 1476 г. поездка Ивана Васильевича в Новгород и исчисление даров, подробно поименованных с известием, от кого что было дано, и суть великого князя в Новгороде. Под 1478 г. пространный рассказ о последней развязке новгородской истории. В этом рассказе автор, очевидно, пользовался подлинным делом.

В числе статей, помещенных в Софийской второй летописи, есть и путешествие Афанасия Тверского в Индию — драгоценный памятник и литературы, и нравов, и понятий, и предприимчивости в русском народе того времени.

## ВОСКРЕСЕНСКИЙ СБОРНИК

Изданная в V т. П. С. Р. Л. Воскресенская летопись и в прошлом столетии изданная Российской Академией Никонская, не есть отдельная летопись, но позднейшие XVI и XVII в. сборники прежних летописных частей, соединенных воедино. При разложении их окажется, что они составлены из разных самобытных местных летописей, как тех, которых следы естественнее видны, как в ранних сборниках, так равно и тех, которые до нас дошли. Разбирая, например, воскресную летопись, мы найдем в ней известия суздальские, киевские, новгородские, которых нет в Лаврентьевском, Ипатьевском списках и новгородских летописях, но которые стоят рядом с теми, которые там находятся, а потому мы вправе заключить, что они взяты или из других, до нас не дошедших, или из тех же, из которых взяты и известные нам события, но последние не полно сохранились в ранних списках. Так, в Воскресенской летописи, как мы уже сказали, видны явные следы Киевской летописи под 1200 годом, после того, как прерывается самый подробный ее список — Ипатьевский; там же встречаем мы события суздальско-vlадимирского края, гораздо распространеннее, чем в Лаврентьевском списке; наконец, то же можно сказать и о новгородских, ибо в Воскресенском находятся и новгородские дела в более простом виде, чем в новгородских летописях и притом, как показывает их тон, писанные в Новгороде.

## СОСТАВ НАШИХ ЛЕТОПИСЕЙ

Доискиваясь состава наших летописей, мы находим, что они перешли три редакции:

1) *Сказания и записки*. Это были первоначальные формы, совершенно не сходные и даже противоположные между собой. Записки были чрезвычайно краткие известия, имевшие практическое применение в церковном обиходе; это сведения о кончине лиц, с целью поминовения их в монастырях и церквях, о постройке церквей и поставлении владык с благочестивой целью — следить за движением промысла и гнева Божия. Сказания, напротив, подробные, связные повествования с оттенком поэзии, или притязанием на красноречие. Они — не сбор отрывочных, не связных известий, а рассказ, обращенный к лицу или к событию, заключающему в себе целостность, оживленный часто одной мыслью.

Сказания перешли у нас два периода: первый *своенородный*, второй, образовавшийся после принятия христианства, *под влиянием византийской образованности*. Сказания первого периода отличаются простотой выражения, сжатостью, иногда образностью и цветистостью, но непринужденной, без замашки щеголять ею. Во втором господствует риторика, амплификация и церковная философия. Драматическая форма выражения встречается и там и здесь; но в сказаниях старого склада герой говорит именно столько, сколько человек в самом деле в описываемом положении может сказать; а в сказаниях новейшего византийского склада говорит такие длинные речи, которые не свойственны ни его натуре, ни его положению. Примером в этом отношении может служить сказание об убиении Бориса и Глеба; в разных списках эти святые говорят более или менее длинные речи, в одном списке длиннее, в другом короче; по желанию вставлялось что угодно; целью было не изложить событие в действительности, а изложить его как можно красивее. Напротив в сказаниях старейшего склада; там идет дело о передаче события, а не о форме его передачи, и если употребляются фигурные выражения, то все-таки как средство к лучшей передаче содержания, а не составляют сами по себе цель. Одни и те же сказания являются приблизительно то к тому, то к другому складу, смотря по тому, через какие руки они проходили. Как формы сказания, так и формы записки сохранились до позднейших времен.

2) Из них-то под влиянием византийских примеров начали составлять *летописи*: именно, собирать сказания, разбивать их на годы и дополнять записками. Когда форма

эта усвоилась, тогда является третий способ передачи событий через соединение формы сказания с формой записок, или, так сказать, распространенная записка. Это собственно то, что может назваться летописным рассказом. Сочинитель под известным годом записывал то, что знал и очерчивал его такими частностями, какими считал нужным, смотря по своей личности, или по цели, с какой записывал. Так как жизнь русская потекла разными путями и выразилась в самобытности земель, то явились в каждой земле свои летописи, хотя сходные в главных основаниях, но различные по характеру и края, и лиц, писавших их; их писали и светские и духовные лица. На юге мы видим ясно участие светских лиц в составлении летописей; на севере, сколько можем судить, на них лежит печать церковности, но это не дает нам права заключить, чтоб и там не писали их светские люди, так точно, как на юге мы видим участие духовенства. Характер края открывается сам собой, когда мы сравним широкую повествовательность киевской летописи, образность галицко-волынской, сжатость и сухость новгородских, полноту и вместе краткость псковской, и ретику владимирской. Мы имеем указание, что летописи имели у нас официальное значение, но не в силах объяснить способа отношений власти к летописцам. Существовали ли летописи, исключительно предназначенные для записи событий по воле власти, или власть только доверяла им и относилась к ним на основании такого доверия? Кажется, скорее принять надобно последнее, потому что в форме летописей наших нет явных следов того однообразия изложения, которое последовало бы неминуемо, если бы летописцы были, выражаясь нашим способом говорить, *казенные*. Если где-либо летописность наша приближается к точной определенности, как мы могли бы ожидать от официального способа ведения летописей, то разве в Псковской летописи. Однако, исследуя дух нашего летописания, открывается, что летописи собственно церковные и монастырские отличались от таких, в которые вписывались политические события. Так, мы имеем третью новгородскую летопись, приложение ко второй новгородской — летописи чисто церковные, они отличны от остальных; сверх того, остались в рукописях несколько летописцев монастырских, например, летописец монастырей: Соловецкого, Усть-Сысольского, Волоколамского; занимаясь исключительно делами своего монастыря, они отличны от других.

3) Последняя редакция нашей летописной литературы состоит из *сборников*, или *списков*, уже прежде составлен-

ных предыдущим способом летописей, со включением разных отдельных сочинений. Это уже скорее сборники, чем летописи.

Хотя большая часть летописей издана, но до сих пор мы не имеем такого собрания летописей, какого бы желали. Археографическая Комиссия своим изданием летописей принесла большую пользу, но некоторые летописи она издавала только частями, а некоторые вовсе не издала, основываясь на том, что заключающиеся в них известия можно найти в других изданных летописях; а между тем издание различных вариантов могло бы значительно обогнать науку, давши большую возможность проверить ученые выводы и заключения.

## БЫТОВЫЕ ОЧЕРКИ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ XVIII ВЕКА<sup>1</sup>

### I

#### Московские торговки

В XVIII столетии, в Москве, встречается своеобразный тип женщин, промышляющих ручною разносною торговлею, тип, не исчезнувший совершенно и до настоящего времени. Эти женщины ходили со двора на двор, из дома в дом, в одном месте покупали вещи, в другом продавали. Те из этих торговок, что были попроще и победнее, ограничивались разною ветошью и мелочью и носили кличку ветошниц: у них в разносе были разные лоскуты мехов и тканей, старые юбки кандячные и байберсковые, холстинные рубашки и всякие безделушки, как серебряные пуговицы, стеклярус, хрустальные и оловянные стаканчики и тарелки и пр. Попадались по случаю в их руки и более ценные вещи. Другие, которые были поразбитнее и посметливее, находили возможность иметь кредит у купцов; у таких торговок можно было достать и жемчуг, и серьги с дорогими камнями и золотые перстни, и камки, и другие материи, и соболя меха. Предметом их торговли были также монеты русские и иностранные. Иногда торговки обменивались между собою продажными вещами и доверяли их одна другой для продажи. С раннего утра до ночи шатаясь по Москве, они были вхожи в дома и знатных и простых, и благородных и подлых, знали их и попы, и церковники, и купцы, и мастеровые, и барские слуги, составлявшие тогда чуть не треть народонаселения Москвы, и самые бары. Не брезговали ими важные господа, угощали их у себя чаем,

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в журнале «Исторический вестник», 1883, т. XI, кн. 1, т. XI, кн. 3, т. XXVI, кн. 10

оставляли ночевать, показывали им свои уборы, продавали или отдавали на продажу то, что считали у себя лишним, приобретали от них то, что им нравилось, и вели с ними интимные беседы. Вечно бродячие бабы не были скучны; с ними всегда было о чем поговорить. Они были большие сплетницы. В некоторых домах они сходились и дружили с господскою прислугою, от нее узнавали, как живут господа, кроме того, и сами присматривались в доме, куда их допускали, подмечали всякие признаки, по которым смекали, как где живется, где что делается, и обо всем этом сообщали в других домах. От них можно было услышать, что вон там-то муж не ладит с женою, там родители недовольны детьми или дети родителями, такой-то мужчина ухаживает за такою-то женщиною или девицею, там готовятся к свадьбе, там скоро нужно ожидать похорон, тот проигрывает в карты или проматывает свое имение на прихоти, тот скряжничает и копит деньги, тот собирается покупать имение, а тому угрожает опасность, которой он и не чает: о всех чужих делах у них был готовый запас сведений. И торговые дела были им знакомы: знали они, что в Москве подешевело, что подорожало, какой купец получил большие барыши, какой близок к тому, чтобы в трубу вылететь — все это как на ладони выложит вам шатающаяся по Москве торговка-вестовщица. Посещали эти вестовщицы московские монастыри и архиерейские подворья, узнавали, что вот там-то будут ставить в попы, постригать в монахи, посвящать в схимники, присутствовали сами при такого рода церемониях и чувствительно описывали их в своих рассказах, сообщали новости о явлениях чудотворных икон, о слезах, истекавших от иконы Богоматери, о случившихся при иконах и мощах исцелениях: все это с удовольствием слушалось там, где были ханжи, а их в тот век было гораздо больше, чем теперь в первопрестольной столице. Вместе с такими благочестивыми сведениями вестовщицы эти ловили и разносили по Москве скандальные анекдоты о сановных людях духовного чина, а русские люди всегда были падки, при всем своем усердии к церкви, слушать и вымышлять скандальные анекдоты о своем духовенстве. Московские барыни, замкнутые в узкий круг частного домашнего быта своего звания, не читали газет, в которых тогда не сообщалось ничего, что бы могло быть для них интересным, не читали и книг, потому что тогда не писали книг, приспособленных к чтению для таких госпож; в свиданиях с другими господами своего звания барыня из приличия должна была соблюдать осторожность, не смела всего

говорить, не могла всего услышать, чего бы ей хотелось. Барыне было скучно, сидя дома, и потому явление такой вестовщицы и сплетницы было большим развлечением. То, что мы теперь читаем в обзорах текущих событий, печатаемых в наших газетах, то самое передавалось тогдашнему московскому торговкою, и приход ее в дом имел такое значение, как в наше время доставка газеты. Такие точно стереотипные выражения, какими нас угощают газеты, вроде: мы слышали, нам сообщают, мы узнали наверное, были в обычае и у московских торговков, только они смелее относились о личностях, чем наши газеты, которые опасаются преследования за диффамацию. Торговки не имели привычки скрывать настоящее имя того, о ком передавалась сплетня; никто не преследовал их за сплетни, потому что и преследовать было невозможно: никто не мог доискаться, кто первый вымыслил сплетню; раз она пущена была в обращение, то скоро изменялась так, что иногда сам первый сочинитель ее не узнал бы своего произведения: сплетницы отличались способностью и охотою разукрашивать пойманную ими весть добавлениями собственного искусства. Притом надобно заметить и то, что обыкновенно лица, имевшие право принимать сплетню на свой счет и оскорбляться за нее, узнавали о ней тогда уже, когда она успеет облетать пол-Москвы и принять такой вид, что уже трудно решить — действительно ли она относится к этому лицу, а не к иному. Поэтому сплетни и вести, разносимые по дворам московскими торговками, так же бесследно исчезали, как и возникали. На счет их у русских всегда была наготове поговорка: собака брешет, ветер носит!

Но бывали сплетни, говоря о которых, нельзя было приложить такой поговорки. Это были те сплетни и вести, которые касались высоких особ царского дома и действий верховной власти. Тут бедная вестовщица могла попасть в такие тенета, из которых нельзя было выпутаться, и принять такую беду, что лучше бы ей на свет не родиться, чем терпеть ее. А этому статься было так легко! Вестовщица, по своим качествам, не отличалась сдержанностью на язык и осторожностью в выборе приятельских знакомств, а в охотниках закричать: «слово и дело» не было недостатка, даром что и тому самому, кто произнесет эти страшные слова, придется солоно. По таким словам начнется розыск, и тут с бедной вестовщицы будет струями литься кровь, члены будут выходить из своих суставов, вздуются волдыри от кнутов и раскаленного железа, станут ее мучить затем,



чтоб допытаться, откуда вышло предосудительное для чести высокой особы, а она этого сказать не в состоянии, и невозможно будет ей исход из страшного заточения. Есть у нас пример двух таких несчастных московских торговок: их скорбную, ужасающую историю мы намерены рассказать читателям.

В 1731 году, в числе многих торговок, ходивших по Москве, было две: одну звали Татьяною, другую Акулиною.

Татьяна была вдова сержанта Шлиссельбургского пехотного полка, Павла Посникова, убитого в сражении лет назад тому около тридцати. С тех пор, оставшись без мужа, она проживала в Москве и года за четыре или за пять перед 1731 годом поселилась в Сущевской слободе за Тверскими воротами, в приходе церкви Казанской Богоматери, в доме посадского человека Тимофея Дмитриева, стоявшем рядом с домом кригс-цейхмейстера Воейкова. Прежде когда-то занималась Татьяна скорняжным шитьем, а достигши старости, пропитывалась тем, что ходила по домам с разными вещами, продавала их и брала вещи для продажи, получая себе вознаграждение за труд.

Акулина была вдова дворового человека господ Телепневых, Василия Степанова, отпущенного на волю назад тому лет тридцать наследниками умерших господ своих. Потом Акулина вместе с мужем проживала в наймах у разных лиц лет тринадцать; тогда овдовела и с той поры жила у пасынка своего, портного Федора Смирнова, помещавшегося в избе, выстроенной на земле, принадлежавшей Садовой слободы посадскому человеку Ивану Васильеву, на Тверской улице, в приходе церкви Николы Чудотворца, что в Гнездниках. И Акулина, как Татьяна, получала пропитание тем, что ходила по дворам, но она торговала ветшою и известна была под именем Акулины ветошницы.

Много было сходного между собою в занятиях этих двух торговок. Обе они в одинаковой степени вестовщицы и сплетницы. Но как по своей наружности, так и по внутренним качествам характеров они представляли собою одна другой противоположность. Татьяна — женщина лет за пятьдесят, сангвинического темперамента, живая, быстрая, разбитная, словоохотливая, одна из тех, что как затараторит, так ей и удержу нет. Баба такая, что хоть куда проберется, со всяким пытается познакомиться, обо всем заводит разговор, чтобы побольше чего проведать; если ей где-нибудь не удастся и ее, как говорится, огреют, она не сердится, не скорбит, а спешит обратить все в шутку, на смех, если же ей что-нибудь расскажут, она тотчас пуска-

ется в восклицания, показывающие, как ее сказанное занимает. Ничего у нее долго не удержится в секрете, тотчас что услышит, другим переносит. Она вхожа к знатным господам, с ними любезна, вкрадчива, забавна, и за то ее господа любят и принимают. Акулина — баба лет за шестьдесят, сухоощавая, глядит как-то сумрачно, сподобья, не болтлива, более серьезна, не допытывается усиленно, когда хочет что-нибудь узнать, а начинает речь как бы вскользь, будто ее это мало занимает и для ней все равно, скажут ли или не скажут ей. А когда слышанное и узнанное она переносила другим, то делала это без увлечения, не так, как Татьяна, а рассказывала шепотом, с видом большого секрета; пусть-де думают, что она много кое-чего знает, да не всякому скажет, а открывает только тем, кому особенно доверяет. Татьяна любила хвастать, что бывает у больших господ, и ее везде ласкают; Акулина никогда с этим не выказывалась, а хоть и случалось ей бывать у господ, не рассказывала о том каждому. Акулина была скупа и большая постница: по средам и по пятницам круглый год не ела рыбы и не пила вина, а в великую четырехдесятницу все дни, исключая субботы и воскресенья, не ела ничего вареного. Она была набожна и простаивала длиннейшие монастырские богослужения, не позволяя себе ни прислониться к стене, ни облокотиться, ни даже переступить с ноги на ногу, хотя это не мешало ей иногда выражаться о духовных лицах очень язвительно, причем, однако, она каждый раз, как бы опомнившись, творила крестное знамение и произносила: «Боже, прости мое согрешение!» Татьяна хоть и ходила в церковь, но часто, встретивши там приятельницу, выходила с нею на паперть, и обе там смеялись, рассказывая дружка дружке что-нибудь вовсе не благочестивое. Обе торговки знали одна другую, познакомившись на площади у китай-городской стены, где собирався ветошный рынок.

Однажды, в рождественский пост 1731 года, Татьяна отправилась к Акулине; она узнала, что последняя приобрела серьги с изумрудами, и хотела купить у нее эти серьги, чтобы понести на продажу в господские дома. В это время, так сказать, злобою дня в Москве была ссылка князя Василия Владимировича Долгорукого. Его обвинили в произнесении хульных слов о государыне императрице, и в том же обвинили и жену его. Собственно, однако, он перед государынею Анною Ивановною был виноват тем, что был Долгорукий; Анна Ивановна ни за что не хотела простить роду Долгоруких ни намерения ограничить самодержавную власть российских монархов, ни плутовской попытки возве-

сти на престол одну из девиц Долгоруких на том странном основании, что она была невестою покойного императора Петра II. Князь Василий Владимирович Долгорукий, однако, не только не принимал участия в этой проделке своих родичей, но отнесся к ней с омерзением; тем не менее, когда между вельможами шла речь о том, кому передать упраздненный престол по прекращении мужеской линии дома Петра Первого, он предлагал избрать государыню не Анну Ивановну, тогда еще герцогиню курляндскую, а царицу Евдокию, отвергнутую первую жену Петра Первого. Этого знатного боярина, носившего важный чин фельдмаршала, московский народ любил и уважал до чрезвычайности. Князь Василий имел репутацию человека правдивого, не способного ни к какой лести, готового хоть государю в глаза высказать колкую правду. Он уже потерпел от царя Петра Первого во время страшного процесса над царевичем Алексеем Петровичем. Вся вина князя Василия Владимировича состояла в том, что он советовал царевичу идти в монастырь, прибавивши с своим обычным остроумием, что ведь клобук не гвоздем к голове прибит. Об этом объявил при допросах сам трусливый царевич, которого ничтожность понимал сам князь Василий Владимирович. Петр наказал князя Василия Владимировича лишением всех почестей и ссылкой в одно из отдаленных имений; если его не постигла тогда более суровая кара, он обязан был заступничеству князя Якова Федоровича Долгорукого, который выступил защитником чести своего рода перед грозным, но к нему всегда милостивым царем. Народ русский в деле между отцом-царем и сыном-царевичем был своим сочувствием не на стороне царя-отца, а соболезновал о судьбе царевича и всех с ним и за него пострадавших. Опала, постигшая в то время князя Василия Владимировича, понималась народом как терпение за правое дело и увеличивала к нему любовь и уважение. По ходатайству жены в эпоху устроенной Петром ее коронации, Петр облегчил участь князя Василия Долгорукого, а по смерти Петра возвращено ему было все прежнее величие. Народ любил князя Василия Владимировича еще и за то, что он был совсем русский человек, горячо предан был русской народности и ненавидел немцев до крайности, а немцев в те времена не терпел и народ. И эта ненависть князя Василия Владимировича Долгорукого к немцам чуть ли не была главнейшею причиною постигшей его опалы, так как с восшествием на престол Анны Ивановны наступило могущество немцев в России, и сам человек, подавший на князя Долгорукого до-

нос, был немец, состоявший на русской службе в генеральском чине, принц Гессен-Гомбургский. Императрица указала сослать князя Василия Владимировича в Иван-город. По обычаям того времени, знатных лиц, подвергавшихся царской опале, не сразу карали полною карою, какой считали их достойными; сперва назначали им кару сравнительно легкую, а по прошествии некоторого времени вдруг, без всякой новой причины, увеличивали. Так произошло и с князем Василием Долгоруким: к концу царствования Анны Ивановны он очутился в Соловках и притом в самом суровом заключении, а был освобожден уже императрицею Елисаветою.

Этого-то любимца московского народа готовились, в конце 1731 года, отправлять в ссылку. Выставлен был на московских улицах для всенародного сведения царский указ, где излагались вины князя Василия Долгорукого, навлекшие на него опалу и ссылку. Независимо от того, что московские жители, как мы уже говорили, очень любили князя Василия Владимировича, надобно присовокупить, что русский народ вообще не верил прямому смыслу того, что ему объявлялось от правительства, а склонен был подозревать иные причины, которых ему не хотят открывать и до которых он начинал докапываться собственным умом. Отсюда возникали выдумки и сплетни. В Москве только и думы было у всех, что о ссылке любимого князя, но говорили об этом только шепотом и оглядываясь по сторонам. Много было сочувствия к судьбе князя, но слишком мало смелости гласно заявлять его.

В это-то время пришла Татьяна к Акулине, и обе кумушки заговорили о том, что тогда всю Москву занимало. Акулина в виде глубокого секрета шепотом сказала Татьяне: «близко государыни живет иноземец — имени его вот не выговорю, мудреное какое-то, заморское — и государыня от него стала брюхата, хочет наследником учинить того ребенка, что дает ей Бог, и вот скоро народ погонят присягать. А князь Василий Долгорукий ей государыне за то выговаривал и оспаривал, и за то осерчавши, государыня велела его сослать в ссылку».

Татьяна не утерпела, чтоб не разболтать слышанного при первом случае. Была она вхожа в дом Воейковых, своих соседей. Жена Воейкова покупала у Татьяны вещи и давала ей на продажу свои. Когда Татьяна вошла к ним в дом, господа в то время пили чай. И Татьяне чаю поднесли. Татьяну так вот и подмывало поделиться с господами свежею новостью, и она передала им сплетню, слышанную от

Акулины. Воейков человек бывалый и смекавший дела, тревожно сказал ей: — черта ли ты врешь! — Затем, обратившись к жене, сказал: — не было бы кого в горнице за печью? — Татьяна в свою очередь заглянула за печку и увидела там спящего тринадцатилетнего мальчика, племянника Воейковых. Но тот не слышал ничего.

У Воейковых не постигла Татьяну опасность; она только получила там предостережение, но им не воспользовалась. Немного спустя, перед самым праздником Рождества Христова, встретила она на Тверской улице знакомого ей дворового человека Воейковых Артемьева. Остановившись и очутившись с ним наедине, Татьяна завела разговор о том и сем и между прочим сообщила и ему новость, слышанную от Акулины, но уже несколько в измененной и поясненной редакции: «ныне у нас делается присяга о учинении, по соизволению ее императорского величества, наследника на всероссийский престол, а бывший фельдмаршал князь Василий Долгоруков послан в ссылку за то, что государыня императрица брюхата, прижила с иноземцем графом Левольдою, и его, Левольду, наследником учинила, а князь Василий в том ей, государыне, оспорил».

Видно, что Татьяна перед тем еще с кем-то говорила об этом и узнала имя того иноземца, о котором сообщала ей Акулина, не умея выговаривать его иностранного прозвища. Кроме того, Акулина говорила Татьяне, что государыня хочет учинить наследником ребенка, который должен родиться от иноземца, теперь же Татьяна говорила, что государыня хочет учинить наследником этого самого иноземца.

Этот перековерканный московскою торговою граф Левольда был не кто иной, как Рейнгольд Левенвольде, сильный и влиятельный человек из иноземцев в описываемое время. Некогда взятый в плен офицер шведской армии на полтавском сражении, он вступил в русскую службу и, благодаря влиянию своего отца, который еще прежде служил царю Петру, когда сын его находился в службе у неприятеля Петрова, молодой Левенвольде быстро возвысился. Он был красив собою и чрезвычайно счастлив в любовных делах. При Екатерине I-й он был гофмейстером. Когда Анна Ивановна была еще курляндскою герцогинею, Левенвольде в России работал в ее пользу вместе с ее сторонниками с целью возвести ее на всероссийский престол. Когда, наконец, это исполнилось, Левенвольде был осыпан милостями новой государыни, наделен богатствами и получил важное место маршала двора, дававшее ему возможность распоряжаться всем дворцовым бюджетом. Он зажил роскошно и

пользовался беспредельным доверием императрицы. Известно было многим, что он одерживал блестящие победы над женскими сердцами, подозревали даже, что он был в связи с Екатериною I.

Догадывались, что императрица Анна Ивановна непременно должна иметь фаворита из иностранцев, которые брали такой верх над всем со дня ее воцарения, но кто был этот избранник — не могли отгадать. Бирона предварительно женили для того, чтоб все было шито-крыто. На Левенвольде, как на бедного Макара шишки, повалились народные сплетни.

Впрочем, как всегда почти бывает в подобных случаях, эти сплетни имели корень в действительно происходившем факте, хотя изуродованном в народной молве. По известиям Бирона в его записке, писанной после его ссылки в Сибирь, вскоре по вступлении Анны Ивановны на престол, Остерман и Левенвольде составили проект объявить заранее манифестом о приведении народа к присяге тому наследнику, которого захочет назначить после себя императрица. Когда, после многих рассуждений по этому поводу, пристал к их совету архиепископ новгородский, Анна подписала представленный ей проект. Рейнгольд фон-Левенвольде взялся доставить племяннице императрицы, Анне Леопольдовне, жениха, долженствовавшего произвести на свет необходимого наследника, а впоследствии, при его старании, его родной брат Карл-Густав нашел принца Антона-Ульриха Брауншвейгского. Хотя проект этот вначале держали в секрете, но, так как нет ничего тайного, что бы, по евангельскому слову, не могло стать явным, то весть об этом, как видно, проникла в народ, пошла разгуливать с произвольными изменениями и породила сплетню, повторявшуюся московскими торговками. Как ни нелепа сама по себе эта сплетня, но она не была, как говорится, высосана из пальца, существовала-таки немецкая странная хитромудрая выдумка заставить русский народ присягать в верности такому наследнику престола, которого не было на свете, но который должен откуда-то явиться. Народная фантазия окрасила ее по-своему.

Артемьев, дворовый человек господ Воейковых, в то время содержался под арестом при компанейской конторе за корчемство. Преступление этого рода было в ходу в оные времена. Многие предметы потребления составляли царские регалии и продавались от казны дороже, а между тем представлялась возможность приобрести их дешевле, нанося ущерб царской казне. Смелчаки соблазнялись этим и от-

важивались на рискованное предприятие, хотя им за то угрожало наказание батогами, а за неоднократное корчемство и ссылка в Сибирь. Артемьев попадался уже не в первый раз в корчемстве, и теперь попал в круг товарищей, из которых были такие ж, как и он, рецидивисты. Артемьева караульные капралы уже не раз отпускали из-под ареста на побывку во двор его господина и таким же образом отпустили его накануне праздника Рождества Христова, когда он, идя в двор Воейкова, встретился на Тверской улице с Татьяною. По возвращении к месту своего заключения, Артемьев на другой день праздника сидел на окне вместе с одним из товарищей заключения, посаженным под арест также за корчемство, артиллерийским столяром Федоровым. Оба глядели на улицу, где народ толпился вокруг прибитого царского указа. Указ был о ссылке князя Василия Владимировича Долгорукова. — За что это его ссылают? спрашивал Федоров. Артемьев сообщил ему сплетню, слышанную от Татьяны, но не сказал, откуда он узнал об этом.

Федоров проболтался об этом третьему товарищу, сидевшему в тюрьме за то же преступление, как и прочие, московскому посадскому человеку Басманной слободы Ивану Маслову.

5-го января 1732 года позвали Ивана Маслова в судейскую и прочли приговор, которым он присуждался за неоднократное корчемство к наказанию кнутом и ссылке на вечное житье в Охотск. Тогда Маслов объявил, что за сидевшими с ним колодниками есть великое государское дело по первому пункту.

В наше время может показаться странным, как человек, чтоб отклонить немедленно ожидающие его муки наказания, решается на такое дело, где ему угрожают горшие мучения, потому что почти всегда доносчик подвергался пытке после того, как обвиняемое лицо отвергало взводимое на него обвинение. Однако, в судебной практике XVIII-го века замечается обычное явление, что, присуждаемый к наказанию за какое-нибудь преступление, провозглашает против кого-нибудь страшное «слово и дело». Это, по нашему мнению, объясняется, во-первых, общим человеческим свойством устрашаться беды близкой, тогда как далекая не представляется ему в таком ужасном виде, хотя бы на самом деле она была ужаснее, подобно тому, как застигнутый на пожаре огнем готов стремглав кинуться в воду, не думая тогда о верной своей гибели; во-вторых, могла таких лиц соблазнять надежда, что в вознаграждение за открытие го-

сударственного преступления они получают облегчение или даже прощение кары за свое прежнее преступление.

Маслова препроводили в московскую тайную канцелярию. Он сообщил, что слышал от Федорова. Сделали допрос Федорову. Тот оговорил Артемьева и от страха показал еще на двух женщин крестьянского звания, сидевших с ним в тюрьме неизвестно за что.

Дали знать в главную тайную канцелярию, находившуюся в Петербурге. Начальствующий ею, Андрей Иванович Ушаков, потребовал присылки к нему всех прикосновенных к этому делу колодников. Они были доставлены 16-го февраля 1732 года.

В первый же день по доставке обвиняемых, Федорова подвергли пытке и дали ему двадцать ударов кнутом. На этот раз он объявил, что ни от Артемьева, ни от тех женщин, что сидели в тюрьме, которых он оговорил, не слышал ничего, а выдумал все сам и говорил спьяна.

Федоров, видно, был душа добрая, хоть и не крепкая. Ему совестно стало подвергать мукам других, и он сам решился лучше понести на себе наказание, которое, как за преступление неумышленное, совершенное в пьяном виде, должно было по закону быть мягче.

Но не так отнесся к делу неумолимый и пронизательный Андрей Иванович. Ему, вероятно, известна была ходившая о государыне сплетня и он не мог поверить, что Федоров выдумал ее спьяна. 26-го февраля он велел Федорова вести снова в застенок.

Федорову вlepили двадцать два удара и довели до такого изнеможения, что несчастный потребовал отца духовного, исповедался и после исповеди, по увещаниям священника, объявил при дежурном капрале и канцеляристе тайной канцелярии, что действительно Артемьев ему говорил, так как он показал сначала, но ему потом стало жалко Артемьева и он с него сговаривал. От женщин же, которых он оговорил, он не слышал ничего.

9-го марта привели в застенок Федорова и Артемьева. Федоров на этот раз в виду новых истязаний показал снова, что слышал непристойные речи от Артемьева. Артемьев отпирался. Подняли на дыбу Федорова, закатали двадцать ударов — Федоров подтверждал, что говорил ему непристойные речи Артемьев. Подняли на дыбу Артемьева, вlepили и ему двадцать ударов: Артемьев твердил, что не говорил ничего подобного.

20-го марта, по приказанию Андрея Ивановича Ушакова, Артемьева повели снова к пытке



— Я повторю, — сказал Артемьев, — не говорил я никогда Федорову непристойных речей.

Но ему вложили руки в хомут, подняли на дыбу, начали бить кнутом. Он до крайности был измучен уже предшествовавшею пыткой и теперь совершенно изнемог и закричал, что все говорил, как показывал Федоров, а не сознавался прежде оттого, что страшился жестокого наказания за свои затейливые вымышленные слова. Тут же он показал на Татьяну.

После шести ударов пытку прекратили. Артемьев сделался болен и просил священника. На другой день его исповедили и он, по увещанию священника Петропавловской церкви, при капрале и при канцеляристе из тайной канцелярии, яснее и отчетливее подтвердил, что слышал все от московской торговки Татьяны.

Андрей Иванович Ушаков послал в Москву приказание сыскать торговку Татьяну Николаеву вдову Посникову и допросить ее в московской тайной канцелярии.

В Москве нашли Татьяну и допрашивали. Она твердила, что не говорила никому никаких непристойных слов. Ее поставили в ремень и обнажили. Татьяна твердила одно и то же.

Получивши из Москвы такое известие, Андрей Иванович Ушаков послал туда приказание доставить Татьяну в Петербург в главную тайную канцелярию.

Ее доставили по назначению, и 17-го апреля сделан был Татьяне первый допрос с пристрастием у дыбы. Она все отпиралась. Ей дали очную ставку с Артемьевым. Татьяна не признавалась, чтоб говорила Артемьеву то, что он на нее показывал, но тут уже поколебалась, прибавила, что, может быть, она и говорила Артемьеву, да не то, что он на нее показывает. Затем она или спутавшись, или испугавшись угрожавших ей мук пытки, оговорила торговку Акулину и показала, что от нее слышала непристойные речи о государыне, о которых шло теперь дело.

На другой день, по поводу разноречий, бывших между показаниями Артемьева и Татьяны, обоих повели в застенки, подняли на дыбу и пытали под кнутом. Татьяна, после семи ударов, повторила сказанное об Акулине и впутала в дело Воейкова, рассказавши о том, как она передавала в его доме слышанное от Акулины. Впоследствии, однако, 1-го мая, под новою пыткой она изменила свое показание насчет Воейкова и таким образом избавила этого господина от привлечения в тайную канцелярию по этому делу.

Ушаков послал в Москву приказание сыскать Акулину, допросить ее и всех тех, на кого она покажет, а при этом подвергнуть их и пытке по одному разу, доставивши их розыскные речи в Петербург. 3-го мая в Москве Акулина была отыскана, подвергнута пытке двадцатью пятью ударами, и ни в чем не повинилась. Андрей Иванович Ушаков, получивши такое сведение, потребовал присылки самой Акулины в Петербург. Из Москвы сообщил ему секретарь Казаринов, что Акулина, после розыска и пытки, сделалась очень больна, исповедовалась и причастилась св. тайн, и нет возможности отправлять ее больную в Петербург, потому что она может умереть в дороге. Но Андрей Иванович Ушаков послал приказание привезти в Петербург Акулину, хотя бы и больную, немедленно под крепким караулом.

Лейб-гвардии московского батальона солдат Петр Мякин 8-го июня того же года привез в Петербург торговку Акулину, закованную в ножных железах, за крепким караулом, и сдал в тайную канцелярию.

Тогда в петербургской тайной канцелярии между двумя старухами началось состязание в терпении и продолжалось в течение трех летних месяцев. Их пытали обеих. Татьяну водили в застенки семь раз<sup>1</sup>, Акулину шесть раз<sup>2</sup>. Пытки давались им так, что когда одну встегивали на дыбу, другая стояла подле дыбы. Пытка для обеих была так жестока, что Татьяна два раза после пытки просила дать ей священника для напутствия к смерти. Акулине, которую жестоко истязали в Москве, в Петербурге отпускали меньшее число ударов, чем Татьяне, потому что Акулина была слабая дряхлая старуха. Обе твердили одно и то же, каждая свое: Татьяна под пытками показывала, что слышала от Акулины те непристойные слова о государыне, за распространение которых ее, Татьяну, привлекли к ответственности; Акулина стояла твердо на том, что никогда ничего такого не произносила. Дело запуталось и не могло никак разъясниться; не могли никак попытаться до открытия первоначального источника, откуда вышли оскорбительные сплетни о высокой особе ее величества. Оставить вопрос нерешенным и выпустить Акулину, за которой не было никаких

---

<sup>1</sup> 9-го июня дали 30 ударов, 20-го июня — 20 ударов, 27-го июля — 14 ударов, 29-го июля — 12 ударов, 17-го августа — 12 ударов, 31-го августа — 15 ударов.

<sup>2</sup> 27-го апреля, в Москве, дали 25 ударов, 22-го июня — 7 ударов, 10-го июля (неизвестно сколько дали ударов), 27-го июля — 15 ударов, 17-го августа — 9 ударов, 31-го августа — 15 ударов.

юридических улик, почитали невозможным: слишком большая важность придавалась тогда всему, что касалось чести царственной особы. 5-го сентября решили только участь Маслова, Федорова и Артемьева, и без того уличенных уже прежде в неоднократных корчемствах: всех их приговорили наказать кнутом и сослать в Сибирь. Маслова не спасло доношничество, которым он затевал выгородиться; вместо Охотска, куда прежде хотели его, по наказании кнутом, сослать, он попалал разом с Федоровым на работы в серебряных рудниках вечно, а Артемьева отправляли в Охотск. Обоих московских торговков, Татьяну и Акулину, задержали в походной канцелярии впредь до указа.

Пошли годы за годами. Обе несчастные сплетницы не получали свободы. 21-го февраля 1736 года тяжело больная Акулина попросила священника, исповедалась и причастилась св. тайн. Видно было, что страдания ее окончатся скоро. К ней привели в последний раз Татьяну на очную ставку. Татьяна по-прежнему утверждала, что слышала от Акулины непристойные слова о государыне императрице. Акулина по-прежнему стояла на том, что никогда их не говорила. Прошло еще немного дней, и 5-го марта умерла Акулина. Дело так и осталось неконченным, вопрос нерешенным. О Татьяне мы имеем известие, что в марте 1738 года она отправлена была в синод, но по какому поводу — неизвестно.

Размышляя об этом потрясающем событии из прошлой истории нашего народного быта, мы затрудняемся решить: более должно ли нам возмущаться бесчеловечным тиранством, господствовавшим над русским народом, или удивляться терпению, стойкости и необычной силе воли в личностях слабого пола из этого народа, притом из того класса, который тогда, как и долго впоследствии, носил наименование «подлого».

## II

### Царский родич

Великим страшилищем для русского народа в XVIII-м веке был вопрос об оскорблении чести царственных особ. В предыдущем рассказе мы показали, какие тенета расставлял этот вопрос для людей из так называемого подлого происхождения. Не избегали таких же страшных тенет и люди происхождения благородного и даже попадались в них чаще, чем простолюдины. Можно выставить многочисленный

мартиролог высших государственных лиц, внезапно сверженных с высоты своего величия, попадавших в когти тайной канцелярии, претерпевавших там мучительные пытки и кончавших жизнь в нищете в грустных сибирских пустынях, а не то — и под руками палачей. Но изображать судьбы этих исторических лиц не в наших целях, притом приключения многих из них довольно общеизвестны из истории. Бывали, однако, очень немногие исключительные случаи, когда иначе велось дело в таком вопросе. Эти случаи представлялись тогда, когда обвиняемое лицо находилось в родстве с царским домом. Мы собственно знаем один такой случай в царствование Петра Второго. Случаи такие стали немыслимы с тех пор, как члены царствующего рода стали вступать в супружество с лицами из царственных домов иностранных государств и между царскими подданными не могло быть уже законной родни. Последний брак русских царей с подданными был брак царя Петра с Евдокией Лопухиной, брак, имевший такие печальные последствия. Вся родня царицы Евдокии не только не пользовалась при царе Петре Первом почетом и влиянием, но подвергалась гонениям. Иначе относился этот царь к другому родственному дому, собственно, к родне своей матери, к Нарышкиным. Петр Первый горячо любил свою мать, во всю жизнь хранил о ней добрую память и постоянно был милостив и внимателен к ее роду. Дядя Петра, Лев Кириллович Нарышкин, был в большой чести, носил боярский сан, и в то время, когда царь, уезжая из России в первое свое путешествие по Европе, оставил управление государством совету из бояр, под председательством князя Ромодановского, носившего титул кесаря, Лев Нарышкин был первым лицом в этом боярском совете после председателя. Он скончался в 1705 году. Любовь к нему царя перешла и на его детей, из которых один сын, Александр Львович, заслуживал ее и своими отличными дарованиями. Петр всегда обращался с ним как с любимым родственником, а не как с подданным. Несмотря на то, что Александр Львович находился в дружеских отношениях с царевичем Алексеем Петровичем, во время страшного процесса над последним Александр Львович не был привлечен к допросам и не утратил царской милости. Впрочем, и другой Нарышкин, Семен Григорьевич, находившийся в гораздо отдаленнейшей кровной связи с царем и сильно компрометированный по делу царевича, хотя и был удален в дальнюю деревню свою, но не был лишен имущества, а это показывает исключительную внимательность царя Петра к

роду Нарышкиных, так как в процессе над сыном Петр Первый вообще показывал себя чрезвычайно жестоким и безжалостным и не обращал внимания на прежние заслуги и преданность к себе многих знатных и близких лиц. Александр Львович до смерти царя пребывал в его постоянной милости, и молва, проникавшая даже в иностранные газеты, делала его предполагаемым женихом царской дочери, царевны Анны, вышедшей потом за герцога голштинского. Александр Львович, никогда не игравший важной роли в ряду государственных деятелей в конце царствования царя Петра Первого, был начальником морской академии и считался в службе по флоту. Екатерина Первая, стараясь вообще, чтобы ее царствование было продолжением Петрова, и привлекая всех милостями и благорасположением, была милостива и внимательна ко всем Нарышкиным и даже возвратила из ссылки в деревню Семена Григорьевича и назначила при дворе гофмейстером. Положение Александра Львовича, как близкого царского свойственника, возгордило его. По смерти Екатерины он не сошелся с Меншиковым; Нарышкин не думал гнуть шеи перед могучим временщиком, а Меншиков, в свою очередь, не терпел Нарышкина. Преследуя Девьера и Толстого с компанией, Меншиков, пользуясь своим всемогуществом, именем несовершеннолетнего царя Петра Второго, находившегося у него в зависимости, удалил Александра Львовича от двора. Нарышкин уехал в свои подмосковные вотчины. Но Меншиков скоро пал. Его место заступили другие временщики, Долгорукие, которые подготавливали молодого царя к связи с своим родом через супружество царя с девицей из своего рода, подобно тому, как делал Меншиков для себя неудачно. Они перетаскивали молодого царя на жительство в Москву, где отвлекали царственного юношу от учения и серьезных занятий и забавляли охотой. У царя Петра Второго эта забава стала страстью. Нарышкин, надеясь на свою родственную близость к царскому дому, стал давать молодому царю наставления, побуждая отстать от забав и заниматься полезным делом. Это не понравилось царю, не понравилось и Долгоруким. Нарышкин, человек гордый и избалованный давнею милостью к себе царя Петра Первого, надулся и уехал в свое подмосковное село Чашниково. Молодой царь всю осень 1728 года провел в шатании по лесам и полям со сворами собак, в постоянном сообществе Долгоруких, сопровождаемый своими придворными, и в таком виде заезжал в дачу Чашникова, но владелец, Александр Львович, не считал нужным являться к нему и тем

менее объясняться на счет немилости, которую замечал к себе. После утомления от шатерной жизни в полях Петр возвращался в Москву, чтобы снова пускаться на охоту. И вот 10-го декабря 1728 г. на царский двор явился новгородец, подьячий Кузьма Шульгин, и объявил караульному офицеру, что имеет подать донос на Александра Львовича Нарышкина и, кроме того, желает объяснить на словах, но никому не откроет, кроме как лично государю.

Его допустили к царю и он подал донос в собственные руки его царского величества. В доносе излагалось следующее: живет он, Шульгин, на квартире у сторожа вотчинной коллегии, Семена Никитина Крылова, в Кисловской слободе. В прошедшем ноябре к его хозяину приезжала женщина из подмосковного села Филей, вотчины Александра Львовича Нарышкина, жена садовника иноземца, по имени Анна Иванова, ночевала две ночи и рассказывала, что когда государь был на охоте близ вотчины Нарышкина Чашникова, Александр Львович Нарышкин у себя дома поносил государя неподобными словами. Это она сказывала при свидетелях: стороже Семене Крылове, при жене его Ирине Акундиновой, при фельдшере гречанине Юрии Бресте и при жене последнего Авдотье Ивановой.

Царь передал донос для исследования Остерману и князю Алексею Григорьевичу Долгорукому, двум самым приближенным к царю особам.

Кузьму Шульгина посадили за караул, потом потребовали к допросу. Он объяснил дело так:

Когда садовница Анна Ивановна была в гостях у сторожа Семена Крылова и все гости сели за ужин, бывший в числе гостей бритовщик Юрий Исаев спросил ее: когда его величество был на охоте в Чашникове, отчего ваш барин Нарышкин не выехал к нему и не просил прощения? Садовница на это отвечала: «как ему прощения просить, когда он в то время неоднократно ругал государя и говорил: что мне к этому щенку ходить и прощения просить?» Садовница, говоря это, не была пьяна. Я хотел было немедленно донести об этом его величеству, но в то время скончалась великая княжна Наталья Алексеевна, и я напрасно три раза приходил во дворец, а 10-го декабря пришел уже в четвертый раз и велел через караульного офицера доложить о себе и подал прошение.

Позваны были свидетели, на которых указывал Шульгин, что слышали слова садовницы. Они подтвердили донос Шульгина.

Послали за садовницею, но Нарышкин сообщил, что она уже с неделю назад ушла неизвестно куда, и муж ее находится третий день в безвестной отлучке.

Но 13-го декабря, вечером, эта садовница была отыскана и на другой день подвергнута допросу. Она объявила вот что:

— Я живу в вотчине Нарышкина, в селе Филях. Назад тому недель восемь — подлинно когда не упомню — приходил Александр Львович, сказал: «что мне ему такому щенку кланяться? Я почитать его не хочу». При этом он ругал государя всячески. В другой день, Александр Львович Нарышкин с дворянином Козловым приехал из Кунцова в Филю и пошли они вместе по саду гулять. Козлов и стал говорить ему, что вот скоро император будет на охоте в Чашникове, и он бы, Нарышкин, поехал к нему. На это Нарышкин ответил ему прежними словами и прибавил: «Я думаю, и я таков же, как и он, и думал на царстве сидеть. Отец мой ведь государством правил. Дай вот мне только выйти из этой нужды, так я буду знать, что делать». При этом разговоре был брат Козлова, Василий, и двое пажей нарышкинских, я и муж мой садовник Илиас фон Поммарн. Я тогда же сообщала об этом девке Марье Савиной, живущей у Арбатских ворот, но она не донесла, потому что сс дело женское и случая к тому не представлялось.

Позвали и допросили дворян братьев Козловых и пажей нарышкинских, которых садовница выставляла свидетелями. Те заперлись во всем и не подтвердили доноса.

15-го декабря позвали самого Александра Львовича Нарышкина. Сначала он во всем заперся, а потом сознался, что точно ему кто-то говорил, чтоб он ехал к государю, когда государь был на охоте в Чашникове, но кто именно ему это говорил — он не помнит. Александр Львович просил дать ему четыре дня на размышление и на припоминание.

Ему дали шесть дней. 21-го декабря позвали его снова и он объявил, что вспомнил: говорил ему о том, чтоб ехать к государю Козлов, а на счет своего родителя Александр Львович не один раз, а неоднократно говаривал, что отец его некогда государством правил. Здесь, конечно, разумелось то время, когда царь Петр Первый, уезжая в чужие края, оставлял управление государством совету бояр, между которыми отец Александра Львовича, Лев Кириллович, занимал такое видное и почетное место. Это была правда и не заключала в себе ничего предосудительного. Во всем прочем, что взводили на Александра Львовича, Нарышкин заперался.

Тогда Остерман и князь Долгорукий приказали привести сидевшую под караулом садовницу, в присутствии Нарышкина прочитали ее донос, объявили ей «с пристращением», чтоб она говорила сущую правду, и предупредили, что если Нарышкин окончательно запрется, то ее станут пытать. «Я подтверждаю свой донос, — сказала садовница, — я сказала сущую правду и готова за нее пострадать».

Нарышкин, как видно, чувствовал, что в доносе заключается значительная доля правды, и ему как будто стало совестно подвергать пытке женщину, которая хотя и хотела причинить ему вред, но говорила справедливо. Он попросил дать ему еще три дня на размышление, чтоб иметь возможность припомнить все прошедшие обстоятельства. Ему дали желаемый срок.

24-го декабря его позвали снова. Тогда он решительно объявил, что ничего не может более вспомнить, и во всяком случае утверждает, что не произносил таких слов, за какие его обвинить хотели. Он знал и знает, что за произнесение таких слов придется голову потерять.

До сих пор это дело велось с исключительным льготным для обвиняемого характером. Ни прежде, ни после в подобных обстоятельствах не давалось отсрочек. Самое требование срока для размышлений и припоминаний набрасывало на обвиняемого сильное подозрение: если б он не чувствовал за собою ничего дурного, то ему тут нечего было ни размышлять, ни припоминать; достаточно было стоять твердо на одном — не говорил ничего такого, и только. Конечно, те, которые готовились быть его судьями, понимали это и не добивались от него немедленного сознания, не приступали к стеснительным мерам. В последний день перед праздником Рождества Христова Нарышкина отпустили и не пытали в его присутствии садовницы, как угрожали. На святках садовница тяжело заболела и казалась близкою к смерти, однако, спрошенная еще раз, не сговорила с Нарышкина своего обвинения. Садовница не умерла, а выздоравливала, и Остерман с князем Долгоруким представили императору, что дело о Нарышкине остановилось в таком положении, что приходится вести его розыском над прикосновенными к нему лицами, начиная с садовницы.

Государь, по силе действовавших в то время на него влияний, мог положить решение только в духе тех господ, которые были докладчиками по этому делу, потому что эти самые господа были его воспитателями и руководителями.



Задача состояла не в том, чтоб добраться до истины, а в том единственно, чтоб не допустить соблазна и не дать распространиться в народе слуху, что царский свойственник обругал царя. Положили, как говорится, замять, затереть это дело. Последовала такая всемилостивейшая резолюция: «Его императорское величество по природной своей к милосердию склонности и великодушию не указал оное дело розыском вести, и чтоб оное яко весьма мерзкое и ужасное не могло разгласиться и таким образом в народе рассеяно быть, того ради его величество указал, как его Александра Нарышкина, так и прочих всех, которые в том деле приличились, послать: его Александра Нарышкина в дальнюю его деревню и велеть ему там быть безвыходно, а прочих всех в другие дальние места и учинить тем, которые по их доводам правы явились для их пропитания определение с награждением». Указ этот был подписан 14-го января 1729 года.

Ясно видеть можно, что была уверенность в том, что донос был справедлив, и что Нарышкин действительно произносил оскорбительные слова против царской особы, но желание предупредить всякую молву об этом было так велико, что должны были потерпеть более не действительно виновные, а те, которые случайно слышали от Нарышкина оскорбительные слова или даже слышали о них от других лиц. Нарышкин, знатный барин, хотя и был удален от двора и столичного круга в глушь, но мог проживать в собственном гнезде, пользуясь многими удобствами, которые доставляли ему там богатства и знатность происхождения, тогда, как другие, люди не знатные и не богатые, осуждались на стеснения и лишения без всякой вины с их стороны.

27-го февраля 1729 года лейб-гвардии московского батальона каптенармус Степан Венгеров получил указ везти Александра Львовича Нарышкина с четырьмя при нем слугителями в Симбирский уезд, в принадлежавшее ему, Нарышкину, село Покровское, и там оставить на безвыездное житье. С Нарышкиным не велели поступать так, как обыкновенно поступали с сосланными господами. Не указывалось никакого стеснения и ограничения свободы. Обыкновенно к отправляемому в ссылку господину на пути во время переезда не дозволялось допускать посторонних лиц, равно запрещалось ему писать. Офицеру, посланному с Нарышкиным, приказывалось только наблюдать: кто из посторонних будет приезжать к нему, зачем и откуда, и доносить об этом. Нарышкин не торопился своим отъездом

из Москвы и отправился в назначенный ему путь только 6-го марта. Когда он отъехал десять верст от столицы, в селе Выхове встретил его родной брат Иван Львович, флота капитан, и с ним двое Нарышкиных, Григорьевичи Иван и Михайло, братья того Семена Григорьевича, который при царе Петре Первом был в ссылке по делу царевича Алексея Петровича, а теперь находился в большом приближении у царя. 7-го марта, проехавши двадцать верст от Москвы, увидал Александр Львович приехавшего проститься с ним отставного поручика Александра Раевского. 16-го марта, в деревне Кондыревой явился к нему отдать поклон местный помещик, а марта 18-го в селе Вознесенском приезжал к нему с тою же целью поручик Азовского драгунского полка Савин Раевский. За 550 верст от Москвы, в Керенском уезде, в селе Ушниках, догнал Венгерова курьер из Петербурга с приказанием Остермана объявить Нарышкину, что государь император разрешил не принуждать его ехать в Симбирскую свою деревню, а позволил остановиться и жить в Шацком своем имении в деревне Рождественке впредь до указа.

Когда, наконец, 25-го марта прибыл Нарышкин в Шацкий уезд, многие дворяне и офицеры из этого уезда, прослышав о водворении такого знатного барина в их среде, стали являться к нему с поклоном, но Александр Львович не принимал их и тотчас по своем прибытии в свое имение стал усердно заниматься хозяйственными делами. У него в усадьбе была многочисленная дворня — шестьдесят два человека, а с женским полом состоявшая из семидесяти четырех душ.

Таким образом, Александр Львович отделался сравнительно легко от грозившей ему беды. Он не только избежал от розыска, но в самой ссылке предоставили ему жить довольно свободно с надеждою на возвращение к себе царской милости, что скоро и случилось, хотя уже при другом царствовании. Не без основания полагали, что ему помогло ходатайство Семена Григорьевича Нарышкина, которого молодой царь любил и ценил, памятуя преданность его родителя. Тяжелее была судьба, постигшая других, прикосновенных к делу особ. Все те, которые оказывались свидетелями вины Александра Львовича или только имели несчастье услышать о ней от других, были в первых числах марта того же года отправлены в Сибирь. Дворяне Василий и Алексей Козловы принуждены были ехать в Сибирь на безвыездное житье «в дальние сибирские малые городки»; вольного фельдшера грека Юрия Бреста с

женою Авдотьей, вотчинного сторожа Семена Никитина с женою Ириною, отправили также в Сибирь на житье с определением им пристойного пропитания. Это делалось, как и выражено в протоколе, из предосторожности, «чтоб они, оставаясь на прежних местах жительства, не повторяли слышанного». Были тогда также по этому делу, без означения причин, сосланы в Сибирь: конюх швед Алексей Савин, служители Александра Львовича, Василий Беляев, Евфим Бехтеев, кучер Яков Гаврилов, садовник Иван Астамуков, дворовый человек Кузьма Тюрин и служитель московского вице-губернатора Вельяминова-Зернова Иван Тараканов. За что именно эти люди простого звания пошли тогда в Сибирь — неизвестно, но, вероятно, они почему-то возбуждали подозрение, что имеют возможность распространять в народе слухи о «поносных» словах против императорской особы, произнесенных Нарышкиным. Главную доносчицу и распространительницу вести о поносных словах садовницу Анну Иванову, вместе с ее мужем иноземцем Илиею фон Поммарн, велено сослать в Сибирь и там отдать их обоих в монастырь, впрочем, учинив им пристойное пропитание. О Кузьме Шульгине до нас не дошло сведений, что с ним случилось после поданного им доноса, но, вероятно, и его куда-нибудь упрятали, так как он был один из тех, которые слышали от Анны Ивановой рассказ о «поносных» словах наравне со сторожем Семеном, его женою и греком фельдшером, подвергшимся ссылке в Сибирь за такое слышание.

Царствование Петра Второго представляется вообще более мягким и кротким в сравнении с другими царствованиями в XVIII веке. И в самом настоящем деле не видим мы страшных пыток и притом о сосланных в Сибирь приложено было попечение, чтоб дать им пристойное пропитание. Тем не менее, однако, решение дела этого по своему принципу остается вопиюще неправдою.

### III

#### Черви

У древних последователей Зороастра существовало верование, что чародеи, служители злого начала, постоянно занятые тем, чтоб делать пакости добрым людям, разбрасывали в воздухе маленьких червячков, и те неосторожные люди, которые постоянными молитвами и соблюдением предписанных в законе благочестивых приемов не огражда-

ли себя от внезапного пагубного воздействия Агримана и его девоу, подвергались вхождению в них злой силы в виде этих червячков и через то жестоко страдали болезненными припадками. Подобное представление существовало и, быть может, продолжает существовать в нашей русской народной демонологии. Мы предоставим ученым решать: надобно ли здесь видеть остаток влияния древнего иранского верования, которое через ряд веков прошло к нашим предкам, или же оно принадлежит к разряду таких явлений, которые сами собою зарождаются на разных пунктах пространства земного шара, заселенного человеком, и основания которых следует искать в глубине человеческой природы. Черви, по народному понятию, представляются в отвратительном виде. Их ползание для не вникающего в суть явлений природы взгляда представляет большое подобие с гадами, в виде которых воображение представляет себе злую духовную силу. Заводящиеся иногда от язв, при неопрятности, червячки в человеческом теле — есть такое страшное болезненное явление, хуже которого народное воображение себе и представить не может. «Чтоб его черви источили!» говорит рассердившийся на кого-нибудь русский простолюдин. Об Ироде, оставшемся в предании типом тирана и мучителя, сохраняется всеобщая в народе уверенность, что он в наказание от Бога за свои злодеяния был живой изъеден червями. Неудивительно, что поражение человеческого тела червями считается воздействием силы духа тьмы, который вообще есть источник наших страданий. Люди злые, находящие для себя удовольствие делать дурное своим ближним, заводят сношения с этим злобным духом и его бестелесными слугами и направляют их на вред тем людям, которых сами не терпят. Отсюда — порча, в которую так упорно веровал и продолжает веровать наш народ. Разными способами воображает он себе эту порчу и, между прочим, черви играют немаловажную роль. В Малороссии существует верование в страшную силу «давання». Чаровница, решаясь совершить самое жестокое дело (не одна из них отворотится от такого средства, при всем желании причинить вред) поддает человеку в водке, в хлебе или в каком-нибудь другом кушанье или питье, и отравленный спустя некоторое время начинает кричать, метаться; показывается присутствие таких ужаснейших мук, что больной ни на минуту не может успокоиться, ни стоя, ни сидя, ни лежа, и после многих таким образом проведенных дней и ночей, доходит от страшных болей до потери рассудка и в безумном бешенстве кончает жизнь. Думают, что если

вскрыть тело таким образом умершего, то в животе у него найдут массы червячков, прогрызающих всю внутренность. Чаровница — думает народ — дает яички какого-то насекомого, которого личинки формируются внутри человека и точат его<sup>1</sup>. В Великороссии существовало и, может быть, существует до сих пор верование о наслании на человека порчи посредством бросания по воздуху губительных червячков, — прием, совершенно совпадающий с древним верованием последователей Зороастра и по смыслу своему относящийся исключительно к области демонологии без всякой возможности искать какого-нибудь основания в явлениях природы.

В конце шестидесятых годов XVIII-го столетия в северо-восточной России явилась эпидемия порчи людей посредством наслания на них червей. Преосвященный Иоанн, епископ великоустюжский и тотемский, сообщал в синод, что во многих местностях его епархии и в самом городе Устюге «от таковых порчей особливо женского пола в хороших купеческих домах весьма многие страждут». Признаком такой порчи было то, что испорченное лицо начинало кричать и называть то лицо, которое его испортило, отцом или матерью, смотря по тому, к мужескому или женскому полу оно принадлежало. Процедура порчи происходила везде таким способом: чародей или чародейка разбрасывали на ветер по воздуху червячков, полученных фантастическим способом от самого дьявола, являвшегося для этой цели в человеческом виде, и червячки эти входили в того, кто имел неосторожность выходить из дома, не оградив себя крестным знамением, и не произносил молитвы Иисусовой.

Сами чародеи и чародейки, когда им другие сообщали впервые таинственное знание сношений со злыми духами, совершали одинаковым образом гнуснейшее отречение от Бога и признавали над собою господство дьявола. Вот что

---

<sup>1</sup> Нелишним считаю привести здесь сообщенное мне одним почтенным лицом, бывшим некогда врачом, но оставившим эту профессию для иного рода деятельности и теперь занимающим одно из видных мест в нашей ученой литературе по истории и археологии. Во время своей врачебной практики случилось ему, по его словам, видеть одного малоросса простолюдина, который жаловался, что какая-то злая баба поддала ему даванья. Врач употреблял над ним разные средства, какие только указывала ему наука. Все было напрасно. Несчастный умер в страшных мучениях. Когда после того труп его подвергли вскрытию, то нашли стенки пищевого канала изъязвленными как бы личинками какого-то насекомого. Господин, сообщавший об этом, делал даже предположение, какого насекомого могли быть эти личинки.

рассказывал, неизвестно как попавшийся в руки правосудия в 1768 году, крестьянин Яренского уезда, Печерской волости, Егор Пыхтин, занимавшийся ловлением белок. В декабре 1766 года сошелся он с крестьянином Герасимом Романовым. Оба вместе подвыпили. Егор стал жаловаться, что ему как-то все не удается ловить белок, и просил Герасима сказать ему: не знает ли он такого средства, чтоб ловились белки? — «Знаю» — отвечал Герасим — «и научу тебя!» Вышли они на двор. Наступала зимняя ночь. Герасим сказал: «коли хочешь, чтоб у тебя всегда ловились белки, надобно не веровать в Бога, отречься от солнца и месяца и три раза проклясть Бога, солнце и месяц». Егору стало страшно от таких слов и он хотел уйти, но тут его кто-то невидимо толкнул и он стал как вкопанный. Герасим свистнул и на его свист появился дьявол. Он был в виде малорослого мужичонки, одет и обут по-крестьянски, очень толст и черномаз. Герасим приказывал Егору поклониться дьяволу в ноги и поцеловать его сзади. Егор исполнил это приказание. Тогда Герасим дал Егору двух червячков и велел в благодарность дьяволу повторить прежнее целование. — «Вот» — говорил Герасим Егору — «береги этих червячков, а как пойдет от них приплод, выпускай по сколько там на ветер и приговаривай: кто будет выходить из дома не крестясь и не молясь, и не прочитавши молитвы Иисусовой, или кто станет браниться скверно, в тех людей входите ртом». Егор понес этих червячков в пазухе и держал их так, пока не пришлось ему опять идти на свой промысел. Тут заметил он, что от данных ему двух червячков уже появилось четверо. Помня наставление Герасима, он пустил на ветер двух червячков, а спустя некоторое время пустил еще двух. Через две недели две девки — Афимья Прохорова и Марья Анисимова стали кричать и называть Егора Пыхтина своим отцом, из чего заключил последний, что пущенные им два червячка вошли в этих девок, а в кого вошли другие два червячка — он не мог узнать, потому что кроме этих двух девок никто более не кричал и не называл его отцом. Через немалое время после того, неизвестно — вследствие чего, он прослышал, что его хотят взять и отправить в яренскую воеводскую канцелярию; он стал прятаться и уходил ночевать в овчарный хлев. Там явился к нему уже знакомый дьявол. Егор опять совершил приличное целование сзади. Дьявол дал ему трех червячков: двух черных и одного серого. Но от отправки Егора в яренскую воеводскую канцелярию дьявол не избавил. Егору все-таки скоро после того пришлось

там очутиться и, взявши с собою червячков, он положил их в том покое, куда его посадили, за печь в печурку. На четвертый день явился близ окна этого покоя знакомый дьявол и приказал пустить на ветер червячков, выбросивши их на улицу. Егор исполнил приказание. Неизвестно, когда именно взят был Егор, но пробыл он под арестом в яренской воеводской канцелярии до лета 1768 года; тогда проводили его в архангелогородскую губернскую канцелярию, а 4-го августа того же года передали в консисторию на суд преосвященному Иоанну, епископу великоустюжскому и тотемскому. «Во все время своего содержания в яренской воеводской канцелярии» — сознавался Егор — «я в церковь за караулом для обращения в познание истинного Бога ходил к божественным пениям, стоя в трапезе, крестился и кланялся, только делал то для одного народного вида, а все в уме своем содержал, что я в Бога не верую и состою в упорственном дьяволослужении, иногда же в разуме помышлял, чтобы мне от того дьявольского служения и чародейства отстать, но тут на меня находил великий страх. В Петров пост, в 1767 году, я был и на исповеди у отца своего духовного, священника Петра Сидорова, но о своем отступничестве от Создателя и о чародействе утаил, и хотя правила к причастию вместе с другими прослушал, но не причащался, стоя в в трапезе (вероятно, в притворе), и в церковь не входил затем, что свое богомерзкое преступление имея в мысли, преступить не смел и одержим был великим смятением духа и боязнью». Учитель Егора, Герасим, умер того же года и месяца, когда познакомил Егора с дьяволом.

Бедный умом Егор отрекся от Бога и предался чародейству из-за того только, чтоб иметь возможность удобнее ловить белок. Но 4-го сентября 1768 г. из яренской воеводской канцелярии в ту же великоустюжскую консисторию доставлены были еще лица по обвинению в том же способе чародейства, прибегавшие к этому способу по иным побуждениям. То были две особы женского пола и одна — мужского. Первая была семнадцатилетняя девушка Авдотья Бажукова; от рождения своего она всего только один раз была на исповеди и ни разу не причащалась. Это обстоятельство достаточно показывает, как она далека была от православной церкви и, следовательно, как легко могла отважиться, без всякого волнения совести, на всякий разрыв с религией. В предшествовавший великий пост посетила она солдатскую женку Авдотью Пыстину и последняя сказала Авдотье Бажуковой: если она желает, чтоб ее все лю-

били, то можно ее в том наставить. Девка Авдотья заявила такое желание и тогда солдатская женка стала петь песню, упоминая в ней часто имя дьявола и приказывая повторять за собою слова песни. Вдруг явился дьявол в человеческом образе. Тогда солдатская женка сказала девке: «сними с себя крест и положи под ноги; отрекись от Господа Бога и христианской веры, прокляни отца, мать, солнце, месяц, землю и воду, поклонись дьяволу и поцелуй его сзади». Все это девка Авдотья исполнила. Тогда солдатская женка, вынувши откуда-то шесть живых червячков, дала их девке Авдотье и говорила: «пускай их на ветер, коли захочешь портить людей, а когда надобно будет еще новых червячков — дьявол принесет их тебе». В избе, где все это происходило, не было никого, кроме солдатской женки, девки Авдотьи и явившегося дьявола. На четвертый день после того девка Авдотья Бажукова у себя дома топила баню и там явился к ней дьявол и снова подтвердил, чтоб она пускала на ветер червячков и тем портила бы людей, а о том, что научилась чародейству, не сказывала бы никому. Девка Авдотья Бажукова чувствовала злобу к некоторым близким лицам и, пользуясь наставлением дьявола, пустила на ветер трех червячков с пожеланием, чтоб они вошли в девку Афирию Бажукову и в женок Марфу Пыстину и Лукерию Герасимову Богдановых. Ее желание исполнилось. Червячки вошли в означенных лиц, так как они стали кричать и называть Авдотью Бажукову своею матерью. На другой после того день Авдотья Бажукова пустила на ветер и других червячков, но вошли ли они в кого-нибудь — ей осталось неизвестным.

Другая особа женского пола, доставленная в великоустюжскую консисторию, была учительница Авдотьи Бажуковой, солдатская жена Авдотьи Андреевна Пыстина. Это была баба тридцати одного года от рождения и, так же, как прежняя, проводившая жизнь в отдалении от православной церкви: по ее сознанию, будучи в девках, она хоть и ходила в великий пост на исповедь, но причащалась до своего замужества только один раз и то во время болезни. Она не запиралась, что учила чародейству девку Авдотью, а сама научилась от крестьянина Захара Ивановича Мартюшова. Обучение это происходило в бане. Там явились к ним в человеческом виде два дьявола, вошедших в баню дверьми. Захар приказывал Авдотье снимать с себя крест, проклинать отца, мать, солнце, месяц, землю и воду, кланяться дьяволам в ноги и целовать их обоих сзади. Когда Авдотья все это исполнила, Захар дал ей для порчения людей чер-



вячков, «примером с тридцать, пестрых и белых; все были живы и с крыльями». После того баба пожелала испортить свою родную мать, Федосью Фаддееву, и пустила одного червячка; он долго летал по избе, а когда мать стала бранить детей своих, то насекомое вошло в нее ртом, и через четыре дня оказались признаки порчи: Федосья стала кричать и называть матерью дочь свою Авдотью. Затем, пустивши таких же червячков, Авдотья испортила еще нескольких лиц (девку Авдотью, Кирилову женку Катерину Иванову, слепую девку Акулину Фаддееву и крестьянского сына Тита Семенова Пыстина); все кричали и называли ее матерью. После такого обучения, совершившегося в бане, приходили к ней эти два дьявола в разное время и в разных местах; но всегда так, когда случалось ей быть одной, и приносили ей червячков штук по двадцати и по тридцати. Она пускала их на ветер, но входили ли они в кого-нибудь, она не может этого сказать, потому что никто не кричал, а узнала она только, что один такой червячок вошел в крестьянина Панкратия Пыстина, который через две недели после того умер, но от порчи ли постигла его смерть, или от иной причины, она не знает. Кроме червячков, пущенных на ветер, у ней спрятано было в ее квартире с науличной стороны в гнилом углу сорок червячков и закрыты мхом. «Хоть бы кто и нашел их — без меня они никому вреда причинить не могут», сказала она.

Разом с этими двумя женщинами доставлен был в ту же консисторию и наставник Авдотьи Пыстиной, Захар Иванович Мартюшов, молодой мужик, двадцати восьми лет от роду. Он не запирался в том, что учил чародейству Авдотью Пыстину таким способом, как она показывала, и объявил, что сам он научился этому чародейству от крестьянина Федора Бажукова, умершего назад тому семь лет. Во время его обучения происходили те же обряды, которые описаны были уже выше: снятие с себя и поругание креста, отречение от Бога, произнесение проклятия отцу, матери, солнцу, месяцу, земле и воде, появление дьявола, поклонение ему и целование. Дьявол дал ему для порчения людей до тридцати червячков; все они были черные с небольшими крыльями; первый, которого пустил он на ветер, вселился в девуку Акулину Фаддееву, потом пускал он других червячков и таким способом многих людей испортил (девку Авдотью Кирилову, женок Настасью Григорьеву и Федосью Поликарпову); все кричат и называют его отцом. Много раз после того принашивал ему дьявол червячков, и он пускал их на ветер, чтоб людей портить, а двадцать шесть червяч-

ков бросил в воду. Захар объяснил, что принятых от дьявола червячков он считает не действительными червями, а только мечтаниями дьявольскими, потому что тем, которые этому чародейству не обучались, видеть их невозможно.

Преосвященный Иоанн, по сношению с яренскою воеводскою канцеляриею, нашел нужным нарядить следователей для дознания: нет ли в Печерской волости, отстоявшей от Устюга более тысячи верст, подобных чародеев и испорченных ими лиц. Для этого назначены были от духовного ведомства из присутствующих в яренском духовном правлении священник Василий Матфиев, а от яренской воеводской канцелярии майор Комаров, воеводский товарищ. О преступниках же, находившихся под судом консистории, преосвященный без воли святейшего синода не принимал на себя смелости произнести приговора, хотя и сообщал, что все четыре чародея «по добровольному их раскаянию в совершенное очуствование приходят, в Господа Бога веруют и обратиться в христианскую веру желают, и от дьявольского служения вовсе отрицаются». Преосвященный просил святейший синод в таком великоважном деле снабдить его благорассудительною резолюциею.

В былые времена подобные преступления наказывались самым жестоким образом и не возбуждали никаких сомнений в лживости самых фактов, представляемых следствием и судом. Но теперь уже свет науки распространился настолько, что и духовные не ограничивались мистическими мировоззрениями в таких случаях, когда по поводу какого-нибудь чудесного факта возникал вопрос о вероятности его. В настоящем деле святейший синод нашел, что «прописанное в доношении великоустюжского епископа чародейство, по многому в допросах несходному разноречию и противоречию, крайне невероятно и на одном только вымышленном обмане основано; и в том им о признании самые истины никакого достодолжного увещания и испытания, как из доношения видно, не было». Поэтому святейший правительствующий синод приказали: «преосвященному устюжскому по пастырскому своему долгу показанных им людей увещевать и стараться привести в признание самой истины, а особливо крестьян Егора Пыхтина и Захара Мартюшова, также и солдатку Авдотью Пыстину, из коих сами яко бы чародейству обучали» (Мартюшов ее, Пыстину, а она означенную девку Бажукову), что они «не сами ли оный обман вымыслили, или от кого другого тому обучены. А что оные Пыхтим и Мартюшов показывают, что учителя их померли, то и то их показание, что подлинно ль они от

тех людей научены, по тому ж их разноречию — сумнительно, и если они в таковом обмане признаются или хотя не признаются, — о том представить святейшему синоду с мнением тех же людей, которые только оному чародейству учились, а сами других никого не учили, и истинное в том раскаяние принесут, к св. церкви по надлежащему принять, и поелику они при означенном яко бы чародействе от самого Господа Бога и от христианской веры отреклись, крест сняв с себя бросали, отца и мать, месяц, солнце, землю и воду проклинали, то за такое их тяжкое преступление послать их устюжской епархии в пристойные монастыри в монастырские черные труды на год, и велеть во время церковного славословия в церковь Божию ходить на молитву и во все четыре поста исповедываться, а до принятия св. таин (кроме смертного случая), как в ту в монастырях бытность, так и по свободе из оных, через пять лет не допускать, разве они, будучи под тою епитимиею в посте и молитвах, окажут плоды покаяния достойные: в таком случае оный преосвященный устюжский может по своему рассмотрению им ту епитимию и уменьшить. Почему и с прочими, если кои по оному делу в подобных тому богопротивных действиях окажутся, поступать».

Указ в этом смысле был выдан 26-го января 1769 г., а 3-го февраля преосвященный Иоанн прислал новый рапорт с новыми данными, касавшимися того же чародейства. Посланные следователи доставили из той же Печерской волости женку Федосью Мезенцову, уличенную в таком же преступлении по делу, производившемуся на месте. Эта женщина обучена была тем же, как прежние, приемам чародейства от умершего крестьянина Герасима, учившего Пыхтина. Происходило такое же явление дьявола, но только в виде не маленького мужичонки, а напротив, мужика большего ростом, безбородого, толстого и черного цветом, такие же поклонения, проклятия, обещания веровать в дьявола... Герасим дал Федосье в тряпице двадцать разносортных червячков наподобие мух, приказывая пускать их на ветер и входить в тех, которые станут без молитвы выходить из дома или будут браниться скверными словами. Федосья, принявши этих червячков, положила в маленький берестовый чумашик в лебяжий пух, держала у себя в пазухе и каждые сутки выпускала и кормила на доске крупами, вареными в молоке и коровьем масле, толокном и пряниками; одного из них положила в толокно и дала для испорчения нарочно женки Фекле Мезенцовой, отчего последняя стала кричать и называть Федосью матерью. Потом

Федосья в разные дни пустила на ветер пятнадцать червей, а оставшихся пять при учиненном ей допросе от воеводского товарища Комарова и от священника Матвеева принесла всех живых, объявляя, что «когда верующими в Бога людьми эти червячки будут увиданы, то дьявольская сила от них отступит и в руках христианских они живы не будут; а когда отпущенные на ветер для порчи от нее червячки в кого войдут, то у того всю внутренность и сердце чрезвычайно грызут и растут величиною большого роду в мыша, другие же в таракана, и от нетерпимого кричания тот человек ничего помнить уже не может». Мезенцова объявила, что у ней червячков более нет, и она бросила свое чародейство, чувствует свое претяжкое от Создателя отречение и желает обратиться и веровать, а от мерзостного служения дьяволу отрекается. Кроме Феклы Мезенцовой, объявилась также испорченною другая крестьянка, Степанида Шахтарова. По свидетельству многих спрошенных повальным обыском и по уверении следователей майора Комарова и священника Василия Матфиева, бывших очевидцами, испорченные бабы, после взятия их к допросу, неоднократно кричали и бились необычайно, волосы на себе рвали и за людьми бросались, «показывая неподобные виды, что все от них происходит будучи подлинно в беспамятстве». О том, что эти бабы были испорчены — не возникало сомнения. Следователи, принявши оставшихся пять червячков, положили их в склянку и закупорили воском, чтоб они не могли утратиться, и в таком виде доставили в Устюг. Но три из этих червячков неизвестно как и куда исчезли, осталось только два и те были свидетельствованы в консистории при депутате от устюжской провинциальной канцелярии, воеводском товарище коллежском асессоре Сибилевском. Они оказались изгиблыми, по наружному виду походили на ползающих «кубашек» (букашек): одна о двух белых крылышках, другая — без крыл; из них крылатая распалась на две половины; обе хранятся в них консистории.

На посланный из святейшего синода 26-го января указ преосвященный Иоанн от 17-го марта рапортом доносил, что, по указу синода, он делал им увещание, чтоб они открыли, не обман ли был с их стороны, но они все подтвердили прежнее свое показание, и никакого обмана не было. Показываемых ими червячков они сами считают бесовским мечтанием, и хотя являвшихся им в человеческом образе дьяволов признают за настоящих дьяволов, а не за людей, но никому кроме их они видимы быть не могут и голоса их слышать никому из посторонних невозможно. Сверх того,

и по произведенному следователями на месте в Печерской волости майором Комаровым и священником Василием Матфиевым следствию, по повальным обыскам открылось, что «показуемые оными чародеям лица все испорчены и никакого в том от них притворства ниже обману предвидимо не было, ибо де ими усмотрены крайние и тяжкие в них болезни, да и сами они, чародеи, единственно допросами заключали и, наконец, на довольное мое увещание утвердили то, что означенные испорченные люди чрезвычайно страдают от их чинимого дьявольским действием порчения без всякого притворства и обману». В заключение, преосвященный в своем рапорте сообщал, что как ему и его консистории, так «и здешним светским командам довольно известно, что не только в тамошних местах, но и в здешнем городе Устюге от таковых порчей особливо женска пола в хороших купеческих домах весьма многие страдают, каковых чародеев и прежде сего в яренской воеводской канцелярии много бывало; в том числе здешней епархии бывший поп Наум Семенов нашелся, за что с ними всеми тогда и поступлено было в яренской воеводской канцелярии по законам. В рассуждение таковых обстоятельств, объявленные все чародеи, яко опасные и злые людям вредители, по содержанию в книге Кормчей св. отец правил: Василия Великого 21-го главы 65 в законе Богом данном, 3-го в законе градском грани 39, 2-го и 21-го царя Леона и Константина 20 пунктов, соборного уложения 1-й главы 1-го пункта, военного артикула 1-ой главы 1-го и 19-го 162 артикулов, за толь важные их преступления ко пресечению такого злодейства, дабы, смотря на них, другие таких злодейственных дел чинить не отваживались, по мнению моему непременно следуют к отсылке к указному с ними поступлению в светскую команду». Относительно Пыхтина и Бажуковой, которых указом святейшего синода велено было отправить в монастыри на черные труды, преосвященный доносил, что «хотя они из консистории при указах и отосланы, точию архангелогородская губернская канцелярия об нем, Егоре Пыхтине, присланною в консисторию мою августа 4-го, прошлого 1768 года, промеморию требовала: если как он в том чародействе, так и прочие таковые окажутся виновными, то всех их, по окончании следствия, отослать за крепким караулом и с подлинным о них делом к светскому наказанию в здешнюю провинциальную канцелярию».

Мая 15-го, 1769 года, в святейшем правительствующем синоде состоялось такое решение по этому делу: «Содер-

жащихся в устюжской духовной консистории чародеев, крестьян Егора Пыхтина и прочих, для надлежащего с ними по указам поступка по объявленному архангелогородской губернской канцелярии требованию в устюжскую провинциальную канцелярию и с подлинным в той консистории произведенным об них делом за караулом немедленно отослать; ибо хотя о предписанном чародействе, что оно действительно ли, как те чародеи утверждают, по чародейству или по вымыслу их обманно чинимо было ими и сомнительно, но понеже порча и вред людям, как по следствию в самом деле оказалось, так и сами те чародеи в том виновными точно себя признали, почему о таком, яко вреднейшем от них происшедшем зле, последует рассмотрение — учинить уже в светском суде; когда же они по учинении в той канцелярии надлежащего рассмотрения, для принятия по объявленному их ныне обращению к церкви святой и положения на них церковной епитимии к оному преосвященному устюжскому присланы будут, тогда и учинить его преосвященству как о том прежде святейшим синодом об них определено и посланным его преосвященству указом велено». Вместе с тем положено сообщить правительствующему сенату об этом сведение с тем: «не соблаговолит ли оный правительствующий сенат к пресечению таковых вредных означенными чародеями чинимых действий, от коих не токмо в тамошних местах, откуда те чародеи взяты, но в самом городе Устюге (как о том в доношении преосвященного устюжского объявлено) весьма многое число людей страждут, о изыскании пристойных способов учинить надлежащее рассмотрение и куда надлежит подтверждение».

Не ранее, как октября 2-го того же года, преосвященный известил святейший синод, что все содержавшиеся по этому делу чародеи отосланы из консистории в великоустюжскую провинциальную канцелярию, а между тем еще 19-го августа того же года правительствующий сенат сообщил сведением в святейший правительствующий синод, что «как сие дело требует особливое примечания, то великоустюжской провинциальной канцелярии приказано преступников крестьян: Егора Пыхтина и Захара Мартюшова, також женок Федосью Мезенцову, Авдотью Пыстину и девуку Авдотью Бажукову со всем об них письменным производством и ополчиванием за надлежащим караулом немедленно прислать в правительствующий сенат в Санкт-Петербург, где в то время о их преступлении и надлежащее определение учинено будет, и о том в оную великоустюж-

скую провинциальную канцелярию, а для ведома и в архангелогородскую губернскую канцелярию указы посланы».

Дальнейшая судьба обвиненных и окончание производства этого дела известны нам из сенатского указа, сохранившегося в 137427 статье XIX тома Полного Собрания Законов.

Правительствующий сенат не так отнесся к этому делу, как провинциальные начальства и духовные власти. Сенат находился в столице, близко двора, уже знакомого с принципами французской философии, и притом под сильным влиянием императрицы, как известно, преданной всею душою этой философии и дорожившей дружескими сношениями с Вольтером и энциклопедистами. Кроме означенных выше чародеев Печерской волости, в Петербург отправлены были по тому же делу обвиненные крестьяне Устенской волости — Степан и Илья Игнатовы и женщина Анна Игнатова. Правительствующий сенат увидел «закоснелое в легкомыслии многих людей, а паче простого народа, о чародейственных порчах суеверие, соединенное с коварством и явными обманами тех, которые или по злобе, или для корысти своей оным пользуются». Кроме того, сенат увидал «с крайним своим неудовольствием не только незаконные с мнимыми чародеями поступки, но невежество и непростительную самых судей неосторожность в том, что с важностью принимая осязательную ложь и вещь совсем несбыточную за правду, следственно пустую мечту, за дело достойное судейского внимания, вступили без причины в следствие весьма непорядочное, из чего, сверх напрасного невинным людям истязания, не иное что произойти могло, как вящее простых людей в сем глупом суеверстве утверждение». Сенат указывал, как на истину очевидную каждому благоразумному человеку, что, не давая употребить в пищу вредных для здоровья человеческого веществ, невозможно причинить зло какими-то сверхъестественными средствами, в особенности тем, которые даже находятся в отсутствии. Как вещественные улики преступления, доставлены в сенат червячки, отысканные у чародеев майором Комаровым, но правительствующий сенат, рассмотрев их, нашел, что это были простые засушенные мухи, которых женка Федосья Мезенцова, чтоб с одной стороны удовлетворить требование майора Комарова, а с другой — избавить себя от большего истязания, наловила в избе той бабы, где содержалась под караулом, и ему представила, а он столько же суеверен и прост был, что распознать их с червяками не мог, но как такие представить в высшее правительство не устыдился.

В указе сенатском в таком виде представлялся понятий сенатом ход этого чародейного дела. «Несколько беспутных девок и женок, притворяясь быть испорченными, по злобе или в пьянстве, выкликали имена несчастных людей, называя мужчин батюшкою, а женщин матушкою. Соседи, услышавши это, стали приступать с угрозами к тем, на которых выкликали, домогаясь, чтобы они в тех порчах признались добровольно. Потом стали к ним привязываться сотские, и те уже не удовлетворялись угрозами, а стали их сечь и мучить, хотя в сем случае власти никакой не имели. Сии совсем невинные; но много притесненные люди, не стерпя побой, а притом опасаясь не только горшего себе жребия, но и самой пытки в городе, которою им сотские угрожали, принуждены были объявить себя чародеями и что они теми кликушами показанные на них порчи делали, надеясь по данному им обещанию избавить себя от отвоза в город и пытки. Но как со всем тем они туда представлены, да и там под плетью распрашиваны, то, убоясь от разноречия конечной гибели, прежние на себя напрасные показания подтвердить должны были. Вот все доказательства колдовства их, по которым присутственное место оных бедных людей в чародействе обличенными признало и яко действительных чародеев к жестокому наказанию осудило безвинно, в то же время когда ложь, коварство и злоба кликуш торжествовали над невинностью, — не только оставлены они без всякого истязания, которого однако, как сущие злодейки, они достойны, но тем же самым дана полная свобода и другим производить такие злодейства; ибо если б и подлинно показания их возможно было по законам почесть за дело примечания достойное, то однако ж и в этом случае надлежало бы яренской воеводской канцелярии начать следствие кликушами, а не теми, на кого они выкликали». Это последнее правило соблюдалось, или по закону должно было соблюдаться, еще сообразно смыслу указа Петра Великого о кликушах. Когда допускали правило, что, не вводя в человеческое тело посредством пищи или питья вредных веществ, нельзя испортить человеческого организма, то все обвинения в колдовстве и порче не могли иметь места, и всякое заявление о том, что такой-то или такая-то испортили другое лицо, должно было считаться прямою сознательною ложью. Отсюда логически вытекала необходимость, в случае подобных процессов, начинать с кликуш, признавая их заранее ведомыми обманщиками. Правительствующий сенат в настоящем случае не сделал более ничего, как возвратился к указу Петра Великого.



Приговор сенатский постигнул как кликуш, так и чиновных лиц, производивших следствие и своею поблажкою престо­народным суевериям раздувших это дело. «Сих-то ради причин» — говорится далее в том же сенатском указе — «воеводу асессора Дмитриева и товарища его секунд-майора Комарова и секретаря, ежели он надлежащего судьям представления не сделал, как людей, в отправлении должности своей столь неведущих и неосторожных, следовательно, к званию судейскому неспособных, отрешить, и впредь ни к каким делам не определять. Тех девок, которые выкликали помянутых крестьян, крестьянских женок и девку, за такое их коварное злодейство, как кликуш и обманщиц, в силу вышеупомянутых указов 1722 и 1737 годов, высечь плетью публично в их жилищах на мирском сходе. Да и впредь, буде где кликуши появились, на основании тех же законов, чинить оным наказание, и показаниям их не только не верить, но и не принимать. А сотских и старост, которыми они безвинно и своевольно сечены были, за таковую наглую их продерзость в тех же жилищах при собрании всех жителей наказать батожем без пощады и впредь в старосты и сотские их не выбирать.

Копии с этого указа были разосланы по всем губерниям для сведения и для руководства в случае появления подобных дел. Таким образом утверждено, еще при Петре принятое в законодательстве, правило во всяком кликушестве видеть обман и преступление и явившихся кликуш, сразу не производя следствий и дознаний, наказывать. Это было, конечно, сообразно с духом просвещенного века, когда прогрессивные правительства поставили себе одною из нравственных задач преследование суеверий, укоренившихся в верованиях народов, обреченных на продолжительное пребывание во мраке невежества. Но и здесь, как во всех почти человеческих делах, к правде примешивалась и неправда. Что между кликушами были обманщицы и притворщицы — в этом нельзя было сомневаться; но чтоб непременно всякое появление кликуши имело неизбежно такую причину — это утверждать было не совсем благоразумно. Значительная доля явлений кликуш могла происходить от нервных болезней, даже и в наше время недостаточно обследованных наукою, а тем менее столетием ранее нашего времени. Иногда такие болезненно-нервные припадки до того представляются странными и ничем не объяснимыми, что с ними надобно обращаться с большою осторожностью, и отказаться от аподиктических приговоров, прежде чем не соберется достаточно данных для

признания истины за таким или другим взглядом. Закон, заранее признававший обман и притворство за каждым явлением кликуши, мог попасть в крайность и подвергать мукам телесного наказания особ совсем невинных, вместо того чтоб о их недуге приложить медицинское старание.

#### IV

### ТАЙНОВИДЕЦ<sup>1</sup>

(Рассказ из русского быта XVIII столетия<sup>2</sup>)

В подмосковном селе-имении майора Дубровского, у ворот одного крестьянского двора, на скамье, сидело несколько деревенских баб. День был воскресный, ясный, летний. Время было между выходом народа из церкви от обедни и крестьянским обедом. По случаю воскресного дня бабы одеты были по-праздничному, т. е. их наряд отличался от будничного большею пестротой. Бабы, ради препровождения времени, лузгали подсолнечные семечки и болтали между собою о своих семейных делах. Одна из сидевших у ворот баб, лет за тридцать с виду, недурная собою, но сильно заезженная работою, как выражаются крестьяне, передавала товаркам рассказ о приключении, бывшем у нее в семье.

— Было то, — говорила она, — в тот год, как умер покойный государь Петр Алексеевич и у нас в церкви со-рокоуст правили; так в этот год, дело было уже осенью, недели за две, а может быть, и за три до Дмитриевой субботы. Хозяин мой молотил на гумне, сынишка наш старший, Максимка, где-то на дворе бегал, я же в избе качала маленькую Стешку в колыбельке, а меньшой наш сынишка Петрушка, трех годов по четвертому годочку, тут же около меня вертелся. Слышу я вдруг, около двери кто-то возится, как будто такой, что не умеет двери отворить; я крикнула: Кто там? — А из-за двери послышалось: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Я говорю: аминь! Тут

---

<sup>1</sup> Журн. «Ист. Вестник», 1886. т. XXVI, кн. 10, с. 5-20.

<sup>2</sup> Этот рассказ найден при разборе рукописей Н. И. Костомарова и обязательно сообщен редакции его вдовой, которой приносим нашу искреннюю благодарность за то, что она дает нам случай еще раз, совершенно неожиданно, украсить «Исторический Вестник» статьей и именем нашего незабвенного историка. Тема рассказа «Тайновидец», не вымышленна, а заимствована из подлинного дела Тайной Канцелярии, выписки из которого находятся при черновой рукописи Н. И. Ред.

дверь открывается, входит в избу человек, одет в черном, сказать бы, монах и не монах, не очень стар, не очень молод, на плечах у него большая котомка, а другая на груди поменьше — сумка; вошел, снял шапку, помолился Богу, глядя к образам, да прямо идет к Петрушке: поглядел его по головке, вынул из сумки медный крест с распятием, перекрестил им ребенка и говорит: «Возьми это, малец, молись перед ним утром и вечером, и ночью, не ленись, вставай и молись. Благослови тебя, Боже! Тут судьба твоя, знай!» Потом обернулся он ко мне и поглядел на меня жалостно, жалостно и говорит: «Тебе, молодушка, недолго маяться на этом свете! Но ты не скорби, слыша это. Житие сие на земле скорбь единая. Есть иное житие, получше здешнего. Как умрешь, так сама тогда увидишь, а теперь что тебе говорить об этом, хоть говори, хоть не говори, — все равно не поймешь! А потому не поймешь, что ни языком рассказать, ни мыслию смекнуть того, что с человеком станется после его смерти. И детки твои — вон тот мальчишка подросток, что там на дворе ходит, и эта, что в колыбели лежит, пойдут туда же еще прежде тебя: всех троих вас Господь приберет. Останется один вот этот малец; крест ему в житии дается большой: так Бог судил! Тяжело ему будет нести крест этот, да за то награда ему будет от Бога паче вас!» Гляжу я на него, а меня ажно страх берет! Что оно, думаю, такое? Слушаю его речь, а сама вся дрожу, как в лихорадке. Только, наконец, я перемогла себя и говорю: «Садитесь, почтенные, гости будете, я вот позову моего хозяина». А он мне в ответ: «Не надобно, я уже все сделал, за чем приходил. Прощайте». Да с этим словом шасть к дверям. Я кричу: «Да куда же вы, подождите, хозяин придет: от нас милостыню на церковь примите по нашему достатку». Он как будто не слышит — и за двери. Я бросилась за ним, отворила двери, а тут хозяин мой идет в избу, ворочается с гумна. Я спрашиваю: «Видал ты монаха, или что он такое, Бог его знает, входил сюда?» — «Никакого монаха и никого не видал, — отвечает мой Михайло. «Я, — говорит, — сейчас с гумна: коли б он был у нас в избе, то я бы с ним не мог разминуться». Оно и точно. Гумно-то у нас вон где за двором, против ворот. Туда надобно со двора через эти самые ворота идти. Чудно, право! Я рассказала мужу, что говорил этот прихожий неведомый человек и как Петрушке крест дал. Мой Михайло почесал себе затылок, вошел в избу, перекрестился и говорит: «Что-то чудотворное! Ей-ей, свят муж, видно, тебе являлся. Вишь ты, не весть куда и поделся! Так ты

говоришь, он сказал, что тебе недолго на свете жить?» — «Да, и мне, — говорю, — и Максимке, — и девочке нашей — всех скоро Господь приберет к себе. А Петруньке обещает жить подолее, только несчастливо!» — «Счастья-то нам куда ждать, — говорит тогда Михайло. — Не по нашему званию и состоянию счастье дается на свете. В трудах живи да в печалих. Ешь хлеб ржаной да еще иногда с мякиной, да слезами его смачивай! Одна всем дорога! Как померем, там уж не будет ни печали, ни труда. Лежи в сырой земле до страшного суда, ничто тебя не потревожит! Ну, только этот неведомый человек приходил по воле Божией!» — А Петрунька крестом играет, показывает его тятю! Малое дитя! Крест блестит, а ему весело и забавно. Любуется, не понимает, против чего оно есть. У креста медное ушко. Отец взял у меня снурочек да зацепил за ушко и надел Петруньке на шею. «Ну, носи крест, — говорит, — коли Богу угодно было послать его тебе». Вот уж тому четыре года будет о Дмитриеве с той поры, как это случилось. Петрунька все перед ним Богу молится. Не то что утром вставши и вечером спать ложась, — часто и ночью проснется, снимет с шеи крест, поставит перед собой и поклонны кладет. А намеренно говорит отцу: «Тятя, ты меня отдай учиться грамоте, я хочу читать уметь так, как дьячок в церкви читает». А в церковь уж как охоч ходить: как только заслышит звон, сейчас бежит. А вот перед сырною неделей, вставши ночью, все молился, молился, да, видно, уж изнемог и заснул, а проснувшись, говорит: «Я во сне видал своего ангела-хранителя, такой светлый, светлый, и показывает мне три гроба рядышком, как бы висят ни на чем не повешенные; в одном гробе Степанидка сестра лежит, в другом — брат Максимка, в третьем гробе — мама. И свечи перед ними стоят, перед каждым гробом по три свечи». Бог его знает, что оно такое есть. Только вот что чудно. Не дождались мы и светлого праздника, чтоб разговеться, а на страшной неделе в среду Степанидка померла. Недолго болела, а померла. Ну, что вы на это скажете? Мужик, что входил к нам в избу и не весть где делся, говорил, что нам троим помирать, а Петрунька во сне три гроба видал с нашими телами, и вот же Степанидка отошла к Богу.

— Да вы-то еще, слава Богу, все пока живы.

— Держит Бог по грехам! — сказала Ирина (так звали бабу-рассказчицу). — Во всем Божия воля. Не хотелось бы умирать, еще не стара, а как угодно Богу будет; что поделаешь: хоть не рад, да будь готов. После праздника наш Петрунька благим матом кричит: «Отдавай, тятя, учить-

ся». — «Да ты еще мал!» — говорит отец. — «Нет, — кричит Петрунька, — отдавайте, пока все живы, а то вы скоро помрете, а я дураком останусь». Мой Михайло поговорил с дьячком; мы и послали Петруньку к дьячку учиться. За целкового рубль на год сторговались. И что ж? Полгода еще не прошло, а Петрунька уж бойко читает. Да как любит читать! Не то что у дьячка с другими детьми, что у него учатся, читает, — еще и домой придет, книжку с собой принесет, да все читает. Иные ребята его возраста играть охочи, а он все читает, да так вот слеза у него на книжку и падает!

Так рассказывала Ирина Вичина, Михайлова жена, про своего Петруньку. Осенью, в начале сентября в семье их произошло несчастное приключение. Сынок Максимка погнал гусей на речку, да как-то упал в воду и утонул. Вытащили его из воды, дали знать земской полиции. Ярыжки признали, что малый утонул сам, не утоплен, и похоронили Максимку. Горько убивались за ним отец и мать. Ирина говорила: «Вот и другой поспел: как предрек чудный мужичонок, так и случилось! Взял Бог Степанидку, взял и Максимку. Теперь за мной черед остался!»

— Пусть во всем будет воля Господня, — сказал со вздохом Михайло.

Остались родители с одним Петрунькой. Он все продолжает учиться у дьяка. Часослов прошел и псалтирь читает, уже и над мертвым читает вместо дьячка, своего наставника. Достал Петрунька Новый Завет, принялся читать его преусердно, многого не поймет, толкует ему дьячок, сколько стает умения и знания. Очень полюбилась Петруньке книга эта. Приходит с нею домой и говорит родителям: «Вот книга, так книга! Это всем книгам книга! Самого Господа Иисуса Христа дела и речи тут выписаны. Здесь и про Максимку, и про Степанидку есть. Видите, вон к Господу Иисусу Христу привели детей; тут стоявшие около Господа не хотели их допускать к Нему, а Господь говорит, чтоб детей к Нему допустили, потому что детям положено царствие Божие. Так видите ли, Максимке и Степанидке хорошо теперь, они у Бога в Его царствии. И про себя я здесь нашел: «Иже, говорится, кто хочет по мне ити, да отвергнется себе и возьмет крест свой и по мне грядет!» А мне вот и послан крест. Тот мужичок, что приходил к нам и дал мне крест, — то мой ангел-хранитель в виде мужичка являлся. У нас у всех есть свой ангел-хранитель, оттого и канон ангелу-хранителю написан». И начнет Петрунька читать из Нового Завета, а сам плачет; и родители, слуша-

ючи сына, тоже себе заплачут: хоть и мало что понимают, зато чувствуют.

Прошел еще целый год. Петрунька научился совсем читать не только церковную печать, но и гражданскую, и пишет бойко. Не по летам смышлен. Читает священное писание, иное у дьячка, а то и у священника спросит, а иное сам толкует.

Но тут вдруг захворала Ирина. Проболела она с месяц и Богу душу отдала. Что за недуг ее положил во гроб, об этом никто не доискивался, потому что врача не было: деревенского простонародия врачи тогда не лечили. Остался Михайло Вичин вдовцом с одним сынишкою Петрунькою. Остался и Петрунька сиротою без матери. Обоим было тяжело, но не отец утешал сына, а сын отца. «Маму, — говорил он, — Бог к себе взял. Ей там у Бога будет хорошо, лучше, чем здесь».

— А ты с Богом разговаривал, что ли, что знаешь, что ей там хорошо? — спрашивал отец.

— А как же? — сказал Петрунька: — в Евангелии Божия речь. Блажени, говорится, нищие духом, блажени кроткие, блажени плачущие, а мама была бедная, кроткая, ничего никому дурного не делала, все терпела, только плакала.

Еще прошло несколько времени. Петруньке уже десять лет исполнилось. Тут отец его Михайло заболел. Бабы-ворожейки говорили, что живот себе надорвал непосильною работою. Промаялся Михайло месяца четыре и умер, оставив Петруньку круглым сиротою.

Помещик, обыкновенно проживавший в Москве, приехал временно в свое имение и, узнав, что крестьянин его Михайло Вичин умер, а сынишка его один остался, приказал взять его во двор. Когда ему донесли, что мальчик выучился хорошо грамоте, барин позвал его к себе, проэкзаменовал, погладил по головке и приказал быть при поваре на кухне.

Сирота живет под началом повара Аверкия. Он на побегушках, носит дрова, воду, печь затапливает, присматривается к изготовлению кушаньев, чтоб со временем самому стать поваром. Между тем, Петрунька почти каждую ночь встает и молится перед своим медным распятием; как только улучит свободное время, читает Новый Завет и всегда при этом плачет. Сначала дворня издевалась над ним, говорила, что он так зачитается и с ума спятит, но мало-помалу Петрунька сам стал оказывать влияние на тех, кто решался слушать его. Он не только вслух читал священное

писание, но и толковал прочитанное, и так утешительно для своих слушателей, что некоторые вслед за чтением и сами плакали. Он — блаженненький, — говорили про него. Между тем он вырастал; наступал ему уже шестнадцатый год. Он был очень красивый молодец: прекрасные, темнорусые выющиеся в кудри волосы, черные огненные глаза, правильные черты лица. Женская дворня стала с ним заигрывать, хоть и смеялась над ним. Но он от всяких игр отбивался и руками, и ногами. «Вам бы, — говорил он им, — все только бы игры да смехи, да забавы, а о том не помыслите, что после смерти будет! А ведь рано ли, поздно, а придет время, когда Бог потребует к себе!»

— Вишь ты, какой монах проявился! Молодехонек еще, зелен больно! — говорили, смеясь, девки. — К покаянию зовет! Будет еще время покаяться, а пока молоды, тут-то пожить и повеселиться надоть.

— Будет время! — говорил им Петрунька: — хорошо, коли будет время! Разве может знать кто-нибудь из нас, когда позовет его Господь! Не одних старых он зовет на тот свет; вы на то не уповайте, что еще молоды: и молодых берет к себе Господь. Придет час пришествия Его неведомо когда. Придет Он неожиданно. Вдруг придет, когда вы не ждете, не чаете и встречать его не готовы, как те девы, что ждали жениха, а масла в лампы не купили: пришел жених в полночи и заперся с теми мудрыми девами, у которых было масло и не погасли лампы, а те, что масло пошли покупать, приходят, стучатся, а им уже нет входа. И с вами того бы не случилось. Придет Господь, заберет к себе тех, у кого есть свет, а у вас светильники погасли, вы сидите во тьме, и двери не отворятся для вас.

Слушая такие речи, одни девки смеялись и острили насчет дев со светильниками, но другие вздыхали и после говорили: «Божественное говорит; таков ему Бог талант дал».

Был у помещика во дворе садовник, пришлый человек, родом курченин, но поступил к Дубровскому назад тому лет десять и все у него жил. Был он с виду степенный, почтенный мужик, грамотей и на виду зело благочестив. Помещик полюбил его и назначил быть старостою при церкви. Узнав, что Петрунька все читает Новый Завет, этот грамотей, по имени Акинфий, по прозвищу Сычов, сблизился с ним и стал его спрашивать:

— Ты, молодец, весь Новый Завет читаешь?

— Весь, — отвечал Петрунька.

— И Апокалипсис читал?

— Читал.

— И понимаешь все в Апокалипсисе?

— Нет, не понимаю.

— Ну, так ты многого, многого не знаешь и не смыслишь. Апокалипсис, сиречь откровение, зане там открыто грядущее: что вперед станется на этом свете, все там означено, самим Господом открыто любимейшему ученику Господню, Иоанну Богослову, на острове Патмосе. Оттого и зовется откровение. Только не всякий может уразуметь то, что там сказано, а только тот, кто станет того достоин. Написано: не мечите бисера перед свиньями, да не попрут его ногами. От этого и откровение это написано так, что его не уразумевает такой, что, как свинья, может его ногами потоптать, а только тот, кто достигнет такой чести молитвою и постом. Вот в главе XIII говорится: «Видех из моря зверя исходяща, имуща глав седмь и рогов десять и на розех его венец десять, а на главах его имена хулна». Как думаешь, молодец, что сие означает?

Петрунька отвечал: — Не знаю.

— Ну, а вот опять в XIV главе: «Паде, паде Вавилон град великий, зане от вина ярости любоддеяния своего напои вся языки». А в XVII главе: «Покажу ти суд любодейцы великие, сидящия на водах многих, с нею же любоддеяща цари земстии и оупишася живущии на земли от вина любоддеяния ее, и видех жену, сидящу на звери червленем, исполненем имен хулных, иже имеваше глав седмь и рогов десять. И жена бе облечена в порфиру и червленицу, и позлащена златом и каменем драгим и бисером, имущи чашу злату в руке своей, полную мерзости и скверн любоддеяния ее. И на челе ее написано имя: тайна Вавилон великий, мати любодейцам и мерзостем эемским». Ну, это что, как думаешь, молодец?

— Не знаю, — отвечал Петрунька.

— То-то не знаешь! А оно здесь против чего-то написано, против такого, что когда-то произойти должно. Не понимаешь?

— Не понимаю.

— Мало ж тебе открыл твой ангел-хранитель, что к тебе являлся. А тут от великие мудрости слово написано апостолом Христовым, который, по Божию промыслу и по данной ему от Бога благодати, провидел то, что будет через многие тысячи лет, да написал так, что простоумные люди по Божию писанию слухом услышат, а не уразумеют, и очима увидят, и не узрят, а дастся разуметь сии словеса только тем, кто сделается того достоин. Боли желаешь, я



тебе объясню, только с таким договором: никому о том, что от меня услышишь, не говорить, а то тут дело такое, что если проболтаешься, то и сам пропадешь и меня в пучину потянешь. Вот слушай: что про зверя, из моря исходяща, тут написано, так это царь Петр, что не так давно умер, что море паче всего любил и корабли для морского плаванья созидал: оттого-то он зверь, из моря исходящ. А семь рогов на голове у зверя, так это — семь царей, что перед Петром царствовали: первый был Иван Васильевич, что Грозным прозван, мучитель лют был, второй — Федор Иванович, сын его, третий — Борис Федорович Годунов, четвертый — Василий Иванович Шуйский, что расстригу Гришку уничтожил, пятый — Михайло Федорович Романов, шестой — Алексей Михайлович, седьмой — Федор Алексеевич. А десять венцов на головах зверя — то десять царей, что после Петра должны воцариться. После десятого уповательно антихрист будет, а затем придет Господь Иисус Христос судить живых и мертвых. А Вавилон град, любодейца, сидящая на водах, так это — Питербурх город, что на воде построен, а любодейца с чашею златою, исполненною мерзостей — это... это...» при этом Сычов стал говорить шепотом: — это, — смотри никому ни гугу, — это — государыня Анна Ивановна! А купцы земстии, что от силы пищи ее разбогатеша, как сказано в XVIII главе того же Апокалипсиса, — то показывает об откупщиках компанейцах, что она, государыня, указала отдать им на откуп кружалы и прочее, от чего они разбогатели.

Петрунька слушал со вниманием; рассказ возбуждал его любопытство, но он сам не знал, верить или не верить тому, что ему сообщали, и молчал в недоумении. Сычов прервал молчание и говорил:

— Я тебе, молодец, нагугорил такого, что и сам теперь в страхе; если б лихой человек это услышал да закричал: «слово и дело!..» А знаешь ли ты, что это за страсть такая — «слово и дело»? Это такое, что если на кого закричат «слово и дело», тотчас того схватят и повезут в Тайную, а в той Тайной творится над людьми такое, что от одного слуха о том волосы на голове поднимутся и по всему телу словно кошки скресть начнут!

Слышанное от Сычова гвоздем застряло в голове у Петруньки, и думает он: кабы ангел-хранитель снова явился хоть бы во сне, да сказал: правда ли тому, что наговорил мне человек этот об Апокалипсисе! Несколько суток он молился, чтоб ему Бог послал этого ангела-хранителя открыть — верить ли ему, или не верить слышанному

толкованию. Но время проходило: ангел-хранитель не являлся ни наяву, ни во сне. Петрунька поведал про свое желание Сычову.

Грамотей говорил: — Если б ты мог всю ночь провести в церкви один на молитве, то, может быть, там увидал бы ты ангела-хранителя.

— Будто?

— Да. Только это страшное дело. Люди говорят, легче на кладбище ночью пойдти, чем в церковь одному ночью. И точно. Дьявол яко лев рыщет, иский кого поглотити, наипаче творит пакости людям, когда они предаются молитве. Если б ты мог зайдти в ночное время один в церковь, дьявол не преминул бы отвращать тебя от молитвы страхами мечтательными, но аще бы ты превозмог дьявольское искушение, то узрел бы великое откровение. Был такой случай: некий муж восхоте в церкви всю ночь пребыти, молитву творя, — и великие страстоваша быша ему, обаче той вся превозможе и даже до рассвета помолился, тогда узре небеса отверзта и ангелы Божии, восходяще и сходяще с небеси...

— Ах, как мне...

— А ты б не побоялся?

— С Божией помощью чего бояться? Ведь ты говорил, что дьявольские устрашения — одни мечтания, а в храме Божьем — святыня! Она сильнее козней дьявольских. Я не страшусь; я верую в силу святости дома Господня, в нем же приносится бескровная жертва и в нем же хранится тело и кровь Господа нашего. Как бы только в церковь ночью зайти! Священнику разве сказать и его попросить, чтоб дозволил остаться на ночь в церкви?

— Не моги этого делать. Не позволит, да еще безумным почтет. А то еще хуже, разболтает смеха ради, а народ глупый тебя за колдуна сочтет. Да и поп ваш не чересчур умен!

— А не сделать ли так: будет скоро андреево стояние, вечером люди в церкви будут. Я пойду в церковь, а как люди после служения станут выходить, я останусь в церкви. Вы меня рано там запрете, а утром рано отопрете и выпустите.

— Эка! что выдумал! — сказал Сычов. — А как кто прежде меня там тебя завидит, да поймают тебя, и будут спрашивать: кто научил тебя, — ты на меня покажешь!

— Нет, дядюшка, не покажу, велик Бог, не покажу... Не скажу никому, что ты про это известен был.

— То-то не скажешь! Присягни на образе, что не скажешь никому, что я тебя на это научил; хоть бы тебя му-

кам предали, ты не покажешь, что я знал про то, что ты в церкви один ночью оставался.

— Изволь, дядюшка, присягну на этом кресте, что мне дал ангел-хранитель, являвшийся в человеческом виде.

Настал вечер среды пятой недели Великого поста. Зазвонили к стоянию. Петрунька ушел с господского двора в церковь. Когда продолжительное богослужение окончилось, он запрятался в притворе за столб и молился, показывая вид, будто не замечает, что народ уже расходится. Стало выходить западными дверьми за народом духовенство. Староста Сычов шел за клиром и видел прятавшегося Петрушку, но показывал вид, будто ничего не видит. Проводив духовенство, он запер западные двери и воротился в середину церкви, подошел к столцу, где обыкновенно продавались свечи, отпер ящик с церковною казною, вынул оттуда деньги и ушел в северную дверь, заперши ее за собою снаружи.

Поутру Сычов раньше всех отпер церковь и тотчас пошел в алтарь, чтоб дать время молодцу выйти из храма. Петрунька только что вышел в отпертую старостою северную дверь, как вдруг церковный сторож, вышедший из сторожки вслед за тем, как увидал идущего в церковь старосту, схватил его и потащил в сторожку, находившуюся отдельным строением близ церкви.

— Ты как это зашел в церковь раньше, чем церковь была отперта? Ты целую ночь оставался в церкви? — допрашивал Петруньку сторож.

Петрунька сознался.

Сторожи стало неловко. Он чувствовал, что окажется виновным: зачем не усмотрел его в тот час, как народ выходил из церкви по окончании стояния. Он стал допрашивать: зачем он тайком оставался всю ночь в церкви? Петрунька откровенно объявил, что ему хотелось молитвою упросить Господа Бога, чтоб ему явился ангел-хранитель, но не заикнулся о том, что его научил кто-нибудь сделать это. Сторож вылупил на него глаза и уже готов был счесть его безумным, как вдруг внутри церкви послышался переполох, и сторожа, вместе с пойманным, позвали туда.

Священник, диакон, дьячок и староста столпились около ящика, где хранилась церковная казна, и открыли, что она была ограблена. Сторож притащил Петруньку. Его тотчас обыскали и ничего не нашли. — «Он, верно, передал кому-то в окно», — сказал священник; дьякон и дьячок повторили то же. Сычов стоял поодаль и молчал, как будто воды в рот набрал. Петрунька поглядывал на него и заме-

тил в чертах его лица такое выражение, как будто хотел он ему сказать: — «Молчи, не проболтайся. Ты ведь на своем кресте поклялся, что не скажешь про меня. Я тебя, видишь, не трогаю, не трогай же и меня!»

Повели Петруньку во двор. Помещика в имении не было. Управлявший приказчик велел его везти в Сыскной Приказ. Священник с своей стороны донес по благочинию.

Привезли Петруньку в Сыскной Приказ, недавно учрежденный в Москве императрицею Анною Ивановною для уголовных дел. Подвергли его допросу.

— Зачем ты ночью забрался один в церковь?

— Хотел ангела-хранителя увидеть.

— Какого такого ангела-хранителя?

Петрунька рассказал, как ему в детстве явился мужик неизвестный и дал медный крест с распятием. Петрунька уверял, что то был его ангел-хранитель.

— Кто же научил тебя, что, забравшись в церковь ночью, ты увидишь там этого ангела?

Петрунька сказал, что слышал от покойного отца, и приписал ему слышанный от Сычова рассказ о человеке, пробывшем ночь в церкви и видевшем чудные видения.

— И ты увидел ангела-хранителя в церкви?

— Увидал. Он светлый такой; лицо его увидел, светлое, а остального телесного образа не видал.

— Что ж он тебе говорил?

— Он показал мне на серебряный гроб, висевший на воздухе, ни на чем не привешенный. Мне прежде было такое же видение только во сне; я видал три гроба: в одном была моя сестра, в другом — брат, в третьем — моя мать, и все трое после того померли.

— А в серебряном гробу кого ж ты видел лежащим?

— Гроб тот был закрыт. Я спросил ангела, что на него указал, а он ответил мне тихонько: «Там важная особа».

Судьи переглянулись между собою. — Он полоумный! — сказал один. — Нет, блажит! — отвечал другой и, обратясь к подсудимому, спрашивал:

— Отчего именно так случилось, что в ту самую ночь, когда ты в церкви с своим ангелом-хранителем свидание учредил, обворована была церковная казна?..

— Этого я не знаю.

— Это твое дело. Ты передавал краденые деньги кому-то в окно.

Петрунька говорил, что не знает, в каком месте хранилась церковная казна. Его посадили в тюрьму, подвергли допросу с пристрастием, потом через некоторое время опять

позвали и вздернули на дыбу. Дали ему десять ударов. Петрунька после пытки сказал, что накануне во сне являлся ему ангел-хранитель и сказал, что его будут пытать. Затем он твердил, что не знает места хранения церковной казны, не край и не передавал в окно денег, да и передать их невозможно, потому что окна очень высоко от пола, внутри лестницы нет, а на наружной стороне перед окнами сделана решетка очень мелкая и на далеком расстоянии от стекол, так что нет возможности просунуть руки для передачи денег.

Произведено было дознание на месте. Оказалось устройство окон именно такое, как сообщал Петрунька.

Тогда принялись за сторожа, держали его с месяц в кандалах, водили в застенки, но не пытали, потому что на него никто не изъявлял подозрения, и отпустили. Допрашивали священника, дьякона и дьячка, ничего от них не добились и также отпустили. Старосты Сычова даже не звали в Сыскной Приказ, потому что помещик майор Дубровский написал, что ручается за него, как за самого честного человека.

Продержав бедного Петруньку целый год в тюрьме, Сыскной Приказ признал его полоумным. Никаких улик к обвинению его в похищении церковной казны не было, и потому решили оставить его в подозрении и отдать его помещику, обязав его учредить над ним как над малоумным надзор. Если ж бы открылось, что Петр Вичин прикосновенен к этому делу, то представить его в Сыскной Приказ.

Помещик, получив сведение о таком приговоре, сказал: «На какой черт навалю я на себя эту обузу? Чего ради обяжусь я смотреть за этим полоумным? Дурак-то он дурак, а может быть, и с плутинкой. Украл ли он церковную казну, или кто другой ее украл, — черт их разберет! Я его во всяком случае держать у себя не хочу. Что-нибудь дурак набедакурит, а помещик отвечай за него: скажут, зачем не смотрел за ним. Лучше в пору воспользоваться дарованным шляхетству правом и сбросить с себя эту тягость. Пусть его сошлют в Сибирь на поселение.

Помещик имел право без суда и следствия сослать своего крепостного в Сибирь. Так случилось с Петрунькою. Его отвезли в Москву, а оттуда отправили в Сибирь.

Дубровский был прозорливее судей Сыского Приказа. Он заметил, что Вичин в своем показании говорил о виденном им в церкви серебряном гробе на воздухе, а ангел-хранитель сказал ему, что там лежит какая-то важная особа.

В Сыском Приказе не стали допрашиваться, что это за важная особа, считая все его видения бредом полоумного.

«А что, — думал майор, — как доведаются в Тайной, да станут подлинно доискиваться, о какой такой важной особе идет речь? Лучше уйти подальше от этого. Ну, их!»

И Дубровский не ошибся в своих опасениях. Сыскной Приказ обязан был по истечении года доставлять в Тайную Кантору ведомость о бывших уголовных делах. Когда в конце года послана была такая ведомость, Семен Андреевич Салтыков, начальствовавший Тайною Канторою, обратил внимание на дело крестьянина Петра Вичина, обвинявшегося в церковной татьбе, и сделал Сысному Приказу выговор за то, что Вичин остался не спрошенным, о какой именно важной особе он разумеение имел.

Петруша находился уже в Омске и в качестве чернорабочего переходил от одного обывателя к другому. Сперва жил он у крестьянина Горохова, потом у крестьянина Круглова. Его привезли в Москву и доставили в Тайную Кантору, где подвергли допросу.

— Объяви откровенно: какую важную особу в серебряном гробе назвали тебе подлинно, когда было тебе виденье в церкви ночью?

— Ангел-хранитель, — отвечал Петруша: — сказал только, что там лежит важная особа, а кто подлинно, того не сказал.

— Лжешь. Ты будто и не спросил у ангела, что это за особа! Не может быть того. А являлся тебе снова тот же ангел?

— Он точно являлся мне дважды в тонком сне — один раз, когда я жил у крестьянина Горохова, другой раз — у крестьянина Круглова. Оба раза говорил: «Повезут тебя в Москву, и будет тебе напрасное кровопролитие. Пытать тебя станут!»

— И твой ангел говорил правду, коли будешь упрямиться и не скажешь того, что у тебя спрашивают. Что ж ты думаешь, мы не понимаем, кого ты разумеешь, назвав «важная особа»? Это не иной кто, как великая государыня Анна Ивановна. Ведь так? Ну, и говори прямо!

— Ангел не назвал мне важной особы.

— Ну, а когда являлся тебе дважды ангел в Омске, не спрашивал ты его об этом и не сказал он тебе чего на счет ее императорского величества?

— Нет, не говорил.

— А больше тебе тот ангел не являлся?

— Прошлою ночью явился во сне, после того, как меня сюда привезли.

— И что ж он показал тебе?

— Сам, твое сиятельство, изволишь увидеть в свое время.

Семен Андреевич затопал ногами, закричал, грозил страшными муками.

Петруша произнес: — Поступай, твое сиятельство, как угодно по царским указам. Я за правду готов терпеть.

Его повели в застенок. На пути глазела толпа. Петруша закричал: — Народ Божий! Послушайте! За ее императорское величество стражду напрасно!

В застенке его подняли на дыбу, дали ему несколько ударов, потом сняли и спрашивали:

— Откровенно сознайся, что ты видел и слышал в последнюю ночь, когда являлся тебе во сне ангел-хранитель? Зачем ты кричал в народ, что за ее величество терпишь?

— Мне, — отвечал Петруша: — ангел-хранитель сказал подлинно, что меня в этот день станут пытать, а кричал я в народ затем, что вы меня допрашиваете, чаючи за мною худого против государыни, а я не знаю!

Его опять подняли на дыбу. Он закричал: — Спустите, все скажу, что велите!

Его спустили и сказали: — Тебе непременно твой ангел-хранитель, указав в церкви на серебряный гроб с важною особою, назвал эту особу. Он назвал великую государыню Анну Ивановну? Так или нет?

— Нет, — произнес ослабевшим голосом Петруша.

— Говори, а то закатаем, огнем будем жечь! Ведь так? Ты слышал тогда это от ангела-хранителя? Так? Сознавайся!

Петруша, изнемогший от мучений дыбы, машинально произнес: — Так! — В виду повторения страшных мук, перенесенных им, он готов был сказать все, чего от него домогались, лишь бы его опять не терзали.

Чтоб не дать ему в другой раз кричать перед толпою народа, ему положили в рот кляп и в таком виде вывели из застенка в тюрьму.

Семен Андреевич Салтыков, управляя Московскою Тайною Конторою, находился в зависимости от А. И. Ушакова, правителя Верховной Тайной Канцелярии, и, пославши ему экстракт из дела о Петре Вичине, испрашивал разрешения, как с ним поступать далее. Дело это показалось Андрею Ивановичу настолько важным, что он сделал по поводу этого доклад кабинету министров, состоявшему из графа Остермана и князя Алексея Черкасского. И там, в этой верховной сфере власти, дело это показалось делом первой важности. Решили: «Петра Вичина еще накрепко пытать и спрашивать: с какого умыслу о том злодействе он

показывает и кто с ним в том сообщники имеются, и к показанию о таком злодействе в каком числе совет у него с кем был, и другим кому именно о том злодействе он разглашал, и в каком намерении? И если со оных розысков он о вышесказанном истины не объявит, то его водить по спицам пристойное число, смотря по состоянию его, и спрашивать о вышеозначенном накрепко, и оные тому Вичину розыски чинить не скоро, дабы от скорых розысков не мог он умереть и при оных разыскивать; и при вождении по спицам присутствие иметь генералу и кавалеру обер-гофмаршалу (графу Семену Андреевичу Салтыкову). А когда Вичина будут водить в застенок и из застенка, то, чтоб он не мог злодейски кричать, класть ему в рот кляп. И о том, что он после покажет, донести в Тайную Канцелярию».

Получив такое предписание, Семен Андреевич Салтыков велел вести Вичина в застенок указанным порядком. Его подняли на дыбу. Он кричал, но ничего нового не сказал. Тогда, дав ему отдохнуть несколько дней, привели его снова в застенок, где приготовлено было ему иного рода угощение. Разостлана была на помост полсть и в нее вбиты острием кверху мелкие спицы. Пристав подвел его, приказал разуть и крикнул: «Шагай! Вперед! Погуляй-ка!.. Ну, что стал? Али не хочешь идти! Ну, так объяви, что у тебя спрашивают, и не пойдешь более».

Петруша не мог произнести ничего: во рту у него был кляп. Он только моргал и показывал движением головы, что не может ничего сказать. Руки у него были связаны назад.

Поняли его движение и вынули кляп.

— Богом Всемогущим клянусь! — говорил бедняк: — ничего больше сказать не имею. Все уже сказал!

— Нет не все! требуют, чтоб объявил искренно: с какого умыслу злодейство показываешь и кто к показанию о таком злодействе у тебя сообщники были? Все открой!

— Никакого злодейства я не умышлял ни против кого и сообщников у меня не было. Являлся мне ангел-хранитель многожды и показывал то, что я говорил, а ни на какое злодейство не подговаривал.

— Ну, шагай вперед! — закричал пристав. При этом Петруша получил удар по спине кнутом. Он ступил на спицы... Кровь потекла с подошв. Он попятился назад. Его снова подстегнули. Страшно вскрикивая, Петруша двигался; кровь струилась, и так водили его взад и вперед по полсти минут двадцать, наконец, остановили и спросили: «Скажешь теперь все?»



— Ничего более не скажу, не знаю ничего!

Тут прибежал Семен Андреевич. «Ну, что? Говорит что-нибудь новое?»

— Ничего не говорит, — был ответ.

— Так ведите его еще по спицам!

— Все скажу! — закричал Петруша.

— Ну, что тебе сказал ангел-хранитель про великую государыню?

— Являлся мне во сне ангел-хранитель и сказал: «Будешь ты на Москве пытан немерными пытками и станешь сказывать, что государыне Анне Ивановне на земле житья и бытья от Васильева вечера два года будет». А выговоря то, ангел стал невидим.

— А ты веришь, что так подлинно станется?

— Верю, что так станется, ибо то явление от Бога, потому что я часто по ночам молился, и от рождения своего жены не имел и не имею, потому мне и видения посылаются от Бога.

Но этим не удовольствовались. Стали, все-таки, допрашивать: кто был с ним соучастник. Петруша, измученный, обессиленный, не мог ни говорить, ни держаться на ногах; опустив голову, он только стонал от боли, которая теперь стала еще нестерпимее, так как спицы кололи его подошвы по израненным прежде местам. Он не открывал глаз, словно сонный. Так прошло еще несколько ужасных минут. Его подняли на руки и вынесли из застенка.

Послали об этом донесение Андрею Ивановичу Ушакову, а тот снесся опять с кабинетом министров и сообщил в Тайную Кантору такое решение: «Имея в виду, что Вичин во время вождения по спицам ничего не говорил и глазами не глядел, и из того видно, что его злодейственное, непристойное показание злобственно, а посему, когда Вичину от пыток и от вождения по спицам будет посвободнее, то разыскивать до тех мест, пока от него может открыться истина».

Когда, по этому решению, Петрушу опять повели в застенок, он в виду новых пыток объявил Семену Андреевичу, что никаких видений, ни ангелов-хранителей, ни гробов не видал он ни наяву, ни во сне, а все это выдумал в надежде, что этому поверят. Вичина не стали подвергать пыткам вновь, но сообщили о последнем показании его А. И. Ушакову, который опять доложил в кабинет министров, а потом сообщил в Московскую Тайную Кантору такое решение: «Кабинет министров приговорил на основании морского устава первой книги, первой главы, второго пункта и указа 30 января 1727 года: Вичина казнить смертию

отсечением головы, а к смертной казни вести его, положи ему в рот кляп».

Когда Петруше прочитали приговор, он выслушал его равнодушно и просил только похоронить его с крестом, подаренным ему ангелом-хранителем, являвшимся в виде мужаика.

Петруша умер, не выдав Сычова, виновника его гибели. Недаром он дал ему клятву на своем таинственном кресте. Но сам Сычов другим путем попал в беду и приведен был в Тайную. Он раздавал в Москве милостыню каким-то колодникам и сказал им что-то неосторожно. Они его и предали. У него нашли тетрадку, в которой были написаны такие предсказания: «В 1731 году, во всем мире велика молва будет и луна солнечная споновати будет; в 1733 году, Константинополь сринутися имать от неприятельских рук; в 1734 году, Иисуса Христа весь мир признает; в 1735 и 1736 году, четвертая часть света погибнет; в 1737 году, лжехристос имеет прийти на землю; в 1738 и 1739 году, Иисус Христос придет судити живым и мертвым».

В Тайной Конторе Сычова огнем жгли и пытали; повторили те же операции несколько раз. Сычов ничего не говорил и терпел мучения, закрывши глаза. 1 июля 1735 года, он, после жестоких мучений, умер в тюрьме.

## ОБ ОТНОШЕНИИ РУССКОЙ ИСТОРИИ К ГЕОГРАФИИ И ЭТНОГРАФИИ

(Лекция, читанная в Географическом Обществе  
10-го марта 1863 г.)

История, занимаясь народом, имеет целью изложить движение жизни народа; следовательно, предметом ее должны быть способы и приемы развития сил народной деятельности во всех сферах, в которых является жизненный процесс человеческих обществ. Этнография занимается изображением жизни народа, дошедшего до известной степени исторического развития, имея точкой отправления определенный момент настоящего. Таким образом, важность отношений между этими двумя ветвями человеческого знания частью определяется сама собою. Чтоб уразуметь и представить течение прошедшей жизни народа, необходимо понять и ясно себе представить этот народ в последнем его развитии, и наоборот — этнографическое изображение существующего образа народа не может иметь смысла, если мы не будем знать, что привело ее к этому образу, что сгруппировало признаки, составляющие сущность этого образа, от чего он сложился таким образом, а не иным.

Известно, как обыкновенны были некогда истории, страдавшие, так сказать, анекдотическим характером изложения. Историк скользил на поверхности прошедшей жизни, складывал в своем сочинении события, возбуждавшие любопытство и считавшиеся поэтому достопримечательными; события эти брались из мира политического, как прежде всего бросающегося в глаза своею широтою, и из частного быта людей, стоявших на челе управления и силы; недостаточность такого изложения была признана, — почувствовалась необходимость связи событий во взаимном соотношении и зависимости, тогда явились истории, где главное внимание обращалось на политическую сторону,

как на более крупную и удобную для связного изложения, но где старались показать, как один переворот производил другой, как явления порождали и обуславливали друг друга, следили за постепенным развитием и изменением государства; — образовалась доктрина: государство представлялось единым телом, как бы олицетворенным, и его модификации, его отношения к другим составляли предмет истории. Вот наука стала говорить с самодовольством. Но такой способ историографии оказался недостаточным. Царские дворы, правительственные приемы, законодательства, войны, дипломатические сношения не удовлетворяли желания знать прошедшую жизнь. Кроме политической сферы, оставалась еще нетронутой жизнь народных масс с их общественным и домашним бытом, с их привычками, обычаями, понятиями, воспитанием, сочувствиями, пороками и стремлениями. Без этой стороны изучение истории походило на описание верхних ветвей деревьев, не касаясь ствола и корней. И вот исторические сочинения стали наполняться описаниями внутреннего быта: прежде это были дополнения, обыкновенно короткие и поверхностные, потом они стали необходимостью и существенными частями науки. И стали думать, что цель достигается; но она не достигалась. Читатели часто хвалили подобные описания, но скучали за ними и ничего из них не выносили, и мало-помалу сознавались, что в них недостает чего-то важного, чувствовалась потребность чего-то более живого. В самом деле, нередко историк думал достигнуть своей цели, собирая из разных, противоречащих по духу, источников черты внутреннего быта, мало обращая внимания на тонкие различия места, времени, обстоятельств, на последовательное изменение и появление тех признаков, в которых виден характер прошедшей жизни. Упомянутые при одном каком-либо случае черты признавались постоянными признаками; то, что было достоинством характера отдельного лица, относили к характеру эпохи; относившееся к одной провинции переносили на целый край; или же признавали частным признаком местности общие черты быта, из одного века переводили в другой, не уловляя разницы веков. Часто при невозможности, по скудости источников, определенно дать бытовым чертам свое место в истории, не хотели ограничиться сознанием невозможности и думали удовлетворить требованию уразумения фактов подведением их под общие законы, хотя бы отношение фактов к законам и не вытекало непосредственно из природы первых. Но, главное, при большем анализе этих описаний угадали, что

историки изображали признаки жизни, а не самую жизнь, предметы и вещи людские, а не самих людей. Созрело новое требование науки. Дело не в относительной важности той или другой исторической предметной стороны, а в точке отправления, именно то, под каким углом зрения освещаются предметы у историка. Дипломатические сношения и договоры, войны, законодательства, придворные интриги, явления домашнего быта, анекдоты о современниках, литература, — все это материалы, которыми нужно уметь воспользоваться для построения исторической науки. Не должен принимать историк кирпичей за готовое здание; не должен называть наукою то, что еще служит только материалом науке. Не предметы должен иметь историк на первом плане, а живых людей, которым эти предметы принадлежали в свое время. В этом вся тайна современного исторического требования. Военные подробности, посольские переговоры, кодексы законов и распоряжений не могут быть главным предметом наблюдения и исследования историка, — это дело археолога; историк настолько ими должен пользоваться и считать своим достоянием, насколько они объясняют нравственную организацию людей, к которым относятся, совокупность людских понятий и взглядов, побуждения, руководившие людскими деяниями, предрассудки, их связывавшие, стремления, их уносившие, физиономии их обществ. На первом плане у историка должна быть деятельная сила души человеческой, а не то, что содеяно человеком.

Точно так же цель уразумения прошедшей жизни не достигается одним подробным изображением домашней утвари, одежды, пищи, образа жизни и экономии народной, всего, составлявшего часть того, что называлось внутреннею историею. Не то важно для историка, как кафтан в таком-то веке носили или как женщины повязывались, а то, что эти признаки внешней жизни открывают нам в мире внутреннем, духовном. Все человеческое не должно быть чуждо историка, но все для него важно более или менее, смотря по тому, насколько служит к уразумению психологии прошедшего. Вот почему случается нередко, что подробные и приведенные в настоящую систему описания прошедшего быта ничего не оставляют и не возбуждают в читателе, а приходится ему лучше обращаться к первоначальным источникам. Дело в том, что здесь археология хочет заменить историю, а история впадает в археологию, и, разумеется, неудачно. Археология должна оставаться сама по себе, а история сама по себе. Цель археологии — изу-

чение прошедшего человеческого быта и вещей, цель истории — изучение жизни и людей.

Поставивши задачею исторического знания жизнь человеческого общества, а следовательно, народа, историк тем самым становится в самое тесное отношение к этнографии, занимающейся состоянием народа в его настоящем положении. История изображает течение жизни народной; для этого, само собою, нужно историку знать тот образ, к которому довело ее это течение. С другой стороны, и этнограф не иначе может уразуметь состояние народа, как проследивши прежние пути, по которым народ дошел до своего состояния; все признаки современной жизни не иначе могут иметь смысл, как только тогда, когда они рассматриваются как продукт предыдущего развития народных сил. В способе занятий этнографией и в способе ее изложения усматриваются те же ошибки, как и в сфере исторической науки. Принимали материал для предмета за самый предмет. Этнографиею называли замечания или описания, касавшиеся того, какие обычаи господствуют в том или другом месте, какие формы домашнего быта сохраняются здесь и там, какие игры и забавы в употреблении у народа. Но забывалось, что главный предмет этнографии, или науки о народе, не вещи народные, а сам народ, не внешние явления его жизни, а самая жизнь. Притом же давалось этнографии значение очень тесное. В круг этой науки вводилось только то, что составляет особенности быта просто-народия; все, что принадлежало другим классам народа, считалось не входящим в эту науку. Пляска сельских девушек была предметом этнографии, но никто не осмелился бы внести в этнографию описание бала или маскарада. В этом отношении этнография представлялась в прямом противоречии с историею, когда последняя занималась исключительно верхними сферами. По нашему мнению, если этнография есть наука о народе, то круг ее следует распространить на целый народ, и таким образом — предметом этнографии должна быть жизнь всех классов народа, и высших, и низших. Как наука о жизни — она не может ограничиваться тем, что прежде всего бросается в глаза с первого раза, но тем менее одними обычаями и чертами быта низших классов. В этнографию должно входить влияние, какое имеют на процесс народной жизни законы и права, действующие в стране: сложение понятий и взглядов во всех классах народа, административные и юридические отправления, принятие и усвоение результатов современного воспитания и науки, политические понятия и тенденции,

соотношение внешних явлений и политических событий с народными взглядами. Этнограф должен быть современным историком, как историк своим трудом излагает старую этнографию.

При таком широком объеме, какой мы даем этнографии, как науке о народе, история, повторяем, должна идти рука об руку с этнографией. Обе науки должны быть изучаемы вместе и развиваться нераздельно одна от другой. Историк должен быть этнографом уже потому, что он историк, и наоборот — этнограф делается в некотором смысле историком, насколько он этнограф. Сбор материала, отделение его и обработка представляют в обеих науках строгую аналогию. Собрание этнографических данных то же, что собрание актов и летописей для историка; как там, так и здесь, в одном этом собрании еще нет науки; одна к ней дорога и там, и здесь. Тот еще не этнограф, кто заметил и описал какие-нибудь признаки существующего народного быта, как равно тот еще не историк, кто открыл и указал что-нибудь, что существовало или делалось в прошедшем. Для того, чтоб быть историком и этнографом, нужно, чтоб и тот и другой имели главным научным предметом своим духовную сторону народной жизни, чтоб открытия в сферах их наук подводимы были под уразумения народного духа.

Определивши вообще понятие об истории и этнографии и показавши на основании их сущности — в чем должно состоять их взаимное соотношение, обратимся теперь к русской истории и этнографии в частности, прилагая к ним составленные нами общие научные понятия.

Не станем в подробности излагать, какими путями шла наука русской истории и какие школы переходила; укажем прямо на те требования, в которых ее развитие остановилось в последнее время.

Вам известно, милостивые государи, что в настоящее время очередной, так сказать, вопрос, относящийся к русской истории, это — противоречие между государственною и народностью в истории. Дело вот в чем. Возникло сознание, что наша история занималась преимущественно государственною стороною прошедшей жизни русской, всем, что касается правительства, дипломатии, войн, законодательства, управления, что, при всей своей важности, составляет круг внешних явлений; а на дне истории есть еще другая сторона, это — жизнь народная, которая именно у нас проходила свое течение часто отлично от государственной и нередко с нею в разрез. Историки наши имели

в виду государство и его развитие, а не народ; последний оставался в глазах их как бы бездушною массою, материалом для государства, которое одно представлялось с жизнью и движением. Для полноты же исторической науки необходимо, чтоб и другая сторона народной жизни равным образом была представлена в научной ясности, тем более, что народ вовсе не есть механическая сила государства, а истинно живая стихия, содержание, а государство, наоборот, есть только форма, само по себе мертвый механизм, оживляемый только народными побуждениями, так что самодетелен ли народ, бездействен ли он, — во всяком случае, государственность не может быть иным чем, как результатом условий, заключающихся в народе, и даже там, где, народ, погруженный в мелкие, чуждые единичные интересы, представляет собою недвижимую, немыслящую, покорную массу, и там формы государственные со всеми своими разветвлениями и со всеми отклонениями от потребностей, лежащих в народе, все-таки получают корень в народе, если не в сознании и деятельности, то в отсутствии мысли и в бессилии его. Это учение о необходимости историку русскому иметь на первом плане народ, а не государство, развито отчасти школою славянофилов, и в последнее время в «Отечественных Записках» на первом плане в этом отношении стоит ряд критических статей по русской истории, писанных г. Бестужевым-Рюминым. Противники этого учения находили, что потребность знакомства с народною жизнью достаточно удовлетворяется обычными характеристиками внутреннего быта, где собиралось все, что не могло войти в рубрики внешних событий и являлось в форме статистико-топографического описания известных периодов времени, на которые делилась история. Подобные описания у нас приобрели более и более важность, и исследования по части разных ветвей внутреннего быта преимущественно занимали ученых наших знатоков старины. Но оказалось, что этого рода исторические занятия не удовлетворяли мысли, обращенной к истории, и оставались в сущности материалами для исторической науки, а не восходили сами на степень науки. В самом деле, недостаточно знать, что такой-то государь издал тот-то указ и в таком-то тексте, когда мы не знаем, как он принимался в умах народа и как действовал на изгибы его жизни? Не довольно нам знать способы обхождения мужа с женою у древних москвичей, когда мы не можем при том объяснить себе — откуда они происходили и как улегались в нравственных взглядах. Нам рассказывают, как русские обедали и ужинали, какую одежду



носили, какую упряжь употребляли в дороге, каким оружием воевали на войне, — нам этого недовольно. Всякое внешнее явление имеет основание в духовном нашем мире; нам хочется знать, почему у русских сложились такие, а не иные правила быта. Самое подробное и, допустим, самое верное изложение всех частных домашнего, юридического и общественного быта будет только бездушный труп, если в нем не будет ощутима та живая душа, которая давала в свое время всему этому физиономию и движение. Данные из мира прошедшего, не освещенные взглядом мыслителя, не доведенные до синтеза в своей совокупности, не доводящие нас самих до понимания внутреннего существа людей, которых жизнь служила признаками, не составляют истории, хотя бы и казались расположенными в строгой научной системе. Это археология, а не история. Для археологии достаточно верного сочетания признаков; для истории нет нужды рассматривать их самих по себе; они являются в истории только по необходимости, потому что духовная жизнь через них открывается. У нас самое археологическое сочетание признаков не всегда отличалось верностью; мы часто слишком мало обращали внимания на условия времени и места; нам казалось возможным существование в XIII веке того, о чем достоверно нам известно, как о существовавшем в XVII веке; мы готовы были в Смоленской Земле признавать то, что нам было известно как особенность Новгородской или Суздальской; наконец — явления исключительные, явления, относящиеся к характеру отдельных лиц, мы признавали за постоянные признаки общенародные и наоборот. Никто не решится сказать, чтобы сделанное нашими учеными для узнания старинной внутренней жизни пропало бесследно; но нельзя, однако, сказать, что все, ими сделанное, ставило нас в близкое знакомство с душою наших предков. Наши исследования, ученые наведения и сопоставления — все это только подготовка для того, что ожидает науку впереди. В настоящие минуты это сделалось общим сознанием. Антагонизм внутреннего и внешнего, политического и домашнего, теперь уже не имеет места относительно важности того и другого; для мыслящих друзей исторического знания все нераздельно служит одним материалом для воссоздания ценности народной жизни. Мы достаточно можем отличать археологию от истории, и если не в силах еще в наших работах всегда отделить их друг от друга, то, по крайней мере, не станем сознательно смешивать того, что принадлежит одному, с тем, что составляет сущность другого. Нам покажут так

называемую историю какого-нибудь царствования, где будут подробно изложены и обследованы дипломатические отношения, устройство войск, представлены будут царский двор, приемы судопроизводства, механизм управления, выставлены будут примеры злоупотреблений воевод и дьяков — и все это может быть только археологией, а не историей, если читатель не найдет в таком сочинении того угла зрения, под которым совершились события, тех побуждений и понятий, которые служили поводом к хорошим или дурным явлениям, тех чувствований, которые двигали сердца в свое время; если он не проникнется, так сказать, запахом прошедшего века до того, что может ощущать радость и печаль, довольство и негодование точно так, как ощущали это изображенные в истории люди. Та истинная история, где не историк с вами говорит за выведенные им лица и народные массы, а где последние сами за себя подают голос, где, притом, ваше чутье не ощущает фальшивых нот и ученой аффектации, где для вас понятно, что голос выставленных лиц не есть звук, искусственно и произвольно устроенный художником для своего автомата.

Для удовлетворения этих требований, возникших в современной науке русской истории, есть самый верный путь — сближение русской истории с этнографией, взаимное действие этих двух наук и нераздельное их развитие. Но для этого нужно, прежде всего, чтоб и этнография подверглась также изменениям, сообразным и подобным тем, каким подвергается история.

Выше уже было показано, как этнография должна вообще идти рука об руку с историею, жизнь настоящая и жизнь прошедшая должны взаимно объяснять самих себя. Требования сходные явились и в той и в другой науке. Что в истории значат археологические документы, летописи, войны, то в этнографии — этнографическое описание, сборники песен, сказок, пословиц; этнографические исследования, объясняющие какую-нибудь песню или обряд, равняются историческим объяснениям памятников; а исторические монографии внутреннего быта сообразны с этнографическими характеристиками современных бытовых особенностей. Но как в исторической науке цель не достигается и история становится только археологией с одним богатством признаков и даже с их критикой и сочетанием, и если это богатство не приводит к цельности образа народной жизни, так и этнографическое богатство служит материалом для науки, но не составляет еще, даже при научном построении, науки о народе. У нас есть хорошие сборники

песен и пословиц, областной словарь, разные более или менее подробные и верные описания и заметки, но в этнографии до науки мы дальше еще, чем в исторической сфере. Этнографические материалы не приведены еще в ясность и систему и существуют для нас более в отрывочном виде; серьезно взглянувши на дело, найдете множество пробелов, возбуждающих сотню вопросов, на которые нет ответов. Сравнительная сторона чрезвычайно слабо обработана. Обыкновенно у нас ограничивались тем, что извещали, что в таком-то крае есть то-то и другое, но редко говорили, чего в таком-то крае нет из того, что есть в соседнем, или — что в одном существует то самое, что в другом, только в измененном виде; как одни и те же предметы в одном крае понимаются иначе, чем в другом; подмеченное в Тульской губернии мы готовы были на веру признавать существующим и в Рязанской; а если убеждались путем опыта в одинаковом существовании чего-нибудь там и здесь, то не добивались: позднейшие ли это явления сходства или древние общие черты. Этнографы обращали внимание более на материальную, чем на духовную сторону, самые материальные признаки не ставили в соотношение с духовною и мало отыскивали зависимости человеческих фактов от человеческих понятий. Самые произведения умственной народной жизни издавались не более как материал, так — хотя издавались пословицы, но с многими и притом подробными сборниками нельзя дознаться: какие пословицы более употребительны или менее, с какими оттенками употребляются, в каких местах и при каких побуждениях явились на свет. Мы высокого мнения о наших народных песнях; но этнография не указала нам еще порознь их места в народной жизни, и многое из них и много в них остается только буквою, даже иероглифической, хотя мы в этом, быть может, не всегда сознаемся. Во время оно у нас о народных песнях господствовало хаотическое понятие: в наши так называемые песенники заносились песни народные с песнями сочиненными, без различия. При дальнейшем уяснении понятий об этом предмете стали резко отличать песни, созданные народом, от песен, составленных авторами, хотя бы даже и удачно в народном вкусе; но тут же в способах издания явились ряды ошибок, упущений и ложных взглядов одни за другими. Стали смотреть на них с изящной стороны, различать достойные печати по своему внутреннему содержанию и недостойные этой чести. Тут-то и был корень ошибок. Правда, песни народные сами в себе различны по достоинству и по важности, но совсем не на

тех основаниях, на которых мы с нашими понятиями, совершенно отличными от народных понятий, приступали к их оценке. Часто песни, действительно важные, особенно достойные внимания, были те, которые менее других нравились вкусу, удаленному от простоты и безыскусственности простонародного творчества. Часто песня, от которой мы отворачивались за ее бессмыслицу, тривиальность или прозаическую сухость, была в самом деле очень важна по ее распространенности, по ее удовлетворительности для этой черни, которая уже выбита из дедовской простоты деморализующею цивилизацией. Подобные песни обыкновенно выбрасывались, как сор, — это делалось несправедливо и неправильно: ибо эти песни выражают известную сторону народа. Каков народ, таков его вкус: отбрасывая его песни и лишая себя возможности знать его вкус, мы не можем узнать и духовную физиономию народа; не говорю уже о том непростительном грехе некоторых, дозволивших себе из некоторых вариантов брать, по усмотрению, места, включать то, что нравится, выбрасывать то, что не нравится, а потом думавших, в простоте сердца, что они издают произведения народного творчества. Сверх того, мы себе воображали, что важность песни достаточна потому только, что она народная, т. е. создана народом без известности автора, и поется в народе, — тем и ограничивались. Но тут самое главное определить — какое значение песня имеет в народе. Большое различие между малороссийскими думами, которые поют слепые бандурщики и кобзари, и малороссийскими песнями, которые поются всем народом. Степень распространения песни — важное обстоятельство, и всегда должно иметь его в виду. Между тем, у нас это бывало чаще всего упущено. Нужно знать, в каких местностях песня поется, и так ли поется в одном крае, как в другом; а отличия и изменения, вместе с другими признаками, будут служить для уразумения вообще местонародных отличий. Не менее важно проследить — насколько то возможно (по большей и меньшей распространенности в одном краю, чем в другом, одной и той же песни) — историю песен и дойти до места их происхождения. Нужно всегда иметь в виду, чего у нас нигде никогда не имелось: какими людьми, при каких условиях и обстоятельствах и, главное, с каким настроением духа песни поются. Не говоря о песнях обрядных, которые поются всегда при определенных случаях и в известные времена, песни, о которых вы, быть может, не усомнитесь сказать, что их поют когда вздумается, имеют свое время

и условия. При таких или иных сходных побуждениях поются сходные, но не те самые песни. Если вы займетесь сбором песен в народном кругу — подметите это, лишь только обратите внимание. Не только настроения души: веселость, досада, тоска разлуки и прочие сердечные движения, вырывающиеся из груди, — требуют сообразных песен. Неуловимы оттенки этих явлений в своем разветвлении. Самая материальная обстановка имеет на песни влияние; другие песни вырываются у поселян при работе в поле, чем в доме или риге, иные при ясной, другие при дождливой погоде. Большею частью у нас записывались песни так, что кто их пел, тот знал, что их будут записывать, и с тою целью их решался петь, чтоб их записывали, а не по внутреннему побуждению петь. Подобный способ собирания песен годится только как предварительная подготовка; для того, чтоб песни удобнее передать на бумаге, конечно, этот способ хорош, но им никак нельзя было ограничиваться; зная уже песню, следует следить за нею в натуральном, а не принужденном пении. Так как пение принадлежит человеку, и само по себе, без человека немислимо, то собиратели песен непременно должны прилагать и характеристику тех певцов, которые почему-либо обращают на себя внимание, особенно таких, которые передают песни, не составляющие чересчур общего достояния. В этом отношении первый пример показан Кулишом в «Записках о Южной Руси». Книга эта вообще во всех отношениях бесспорно самый лучший из до сих пор существующих у нас сборников и вообще этнографических сочинений. Песни наши вообще мало были анализированы: не показано отражения в них природы; не приведена в ясность народная символика образов природы, составляющая вообще сущность первобытной поэзии; не указаны типы лиц, созданных народной поэзией, не изложен в системе поэтический способ выражения, общий народу и любимый им по преимуществу; не указаны переходы от старых форм к новым; не представлено, как сохранились в песнях воспоминания и следы старой жизни с ее угасшими посреди нового быта признаками и, наконец, не соблюдались особенности наречий, на которых записывались песни. Областные наречия, материал первой важности для этнографии, обследованы у нас чрезвычайно дурно; если и касались их, то все ограничивалось мертвым перечислением признаков, а никто не думал показать, как эти признаки сами собою слагаются в цельности. Издан, между прочим, словарь областных наречий. В нем отыщете вы, что такое-то слово,

не употребительное в общерусском языке, записано в такой-то и такой-то губернии, но по этому одному вы не можете сами употребить этого слова в той связи, как его народ на месте употребляет. Для того, чтобы иметь основательное понятие о наречиях, нужно разуместь не только слова, но и дух их. Тут недостаточны не только словари, но даже записанные у народа пословицы, песни и сказки: все это носит на себе характер заранее навсегда приготовленной речи, и только при знании всего механизма живой речи может быть вполне постигнуто. Нужно изучить наречие на месте, написать на нем что-нибудь связанное, например: о сельском быте, о судьбах крестьянина, — тогда можно дать и другим понятие о том, что есть такое-то наречие и что способно оно выражать. До сих пор обработка только одного наречия русско-славянского мира, малороссийского, представляется в этом отношении более удовлетворительною. Но несмотря на то, что на нем писаны целые книги, — для этнографии многое остается не сделано. Оно растет в литературный язык, в котором господствует говор приднепровской середины южнорусского края в смеси с оттенками разных местностей, смотря по тому, откуда происходят сами авторы, да еще вдобавок авторы эти сочиняли (иногда удачно, иногда крайне неудачно) слова, не известные ни в какой местности, а между тем мало было представлено образчиков говоров и поднаречий разных местностей в их натуральном виде, так что мы, например, остаемся в неизвестности: в чем состоит различие поднаречий полесского, волынского, которые следовало бы изобразить, не только во взаимном отличии признаков порознь, но в их совокупности, проникнутой непременно своим духом. Белорусское наречие еще менее обследовано и разъяснено в оттенках своих местных особенностей. Недалеко от нас рассыпано оазисами наречие новгородское, угасающий остаток древних лет свободы и славы Великого Новгорода: что мы знаем о нем? Никому еще не пришлось познакомиться нас со строем его речи; этнография даже не определила, где сохранилось оно среди говорящих иным говором позднейших поселенцев. На юго-восток от Москвы наречие древней Рязанской земли опять наречие с оригинальными, самобытными признаками, наречие, состоящее в связи со многими, до сих пор еще выдающимися особенностями жизни. Когда-то в «Отечественных Записках» была попытка в повести изобразить говорящих на нем и даже не обратила на себя должного внимания. Прислушайтесь к наречию Дона: с первого взгляда покажется оно случайною

смесью малороссийского и великорусского; но познакомьтесь с ними покороче — увидите, что эта смесь имеет уже свои самостоятельные правила. При всех наших ученых этнографических претензиях у нас не проведены еще демаркационные линии между наречиями. Где, например, граница новгородского и московского, московского и суздальского, псковского с новгородским и белорусским? Их давно бы нужно было означить, тогда бы многое в отдаленном удельно-вечевом периоде нашей истории стало для нас яснее. Какими путями проходят границы малороссийского и великороссийского, малороссийского и белорусского, как заходят они одна в область другой, в каких видах является их соприкосновение? Здесь наши сведения чересчур общи. Знание наречий не ограничивается ими самими; вместе с наречиями соединяются и оттенки понятий, нравов и обычаев народа, на которых, без сомнения, улеглись следы прожитых веков и житейских переворотов. Постройки и содержание домов, своеобразные оттенки в одежде, пище, черты хозяйства связаны с наречиями. Вы можете в этом убедиться легко. Наречие не существует отдельно, без жизни; чем наречие оригинальнее, самобытнее по отношению к соседям, тем и жизнь говорящих им своеобразнее. Вот за эти-то своеобразности давно надо было бы приняться этнографии и приняться последовательным изучением и воспроизведением всей совокупности признаков жизни, от самых мельчайших до наиболее крупных.

Но изучением одного простонародного сельского класса не должна ограничиваться наука о народе. Это была бы непростительная односторонность, тем более, что не только в низшем, но и в среднем и высшем классах нашего народа находится много местных отличий, и наше общество еще далеко не достигло того однообразия, которое бы характеризовало его как общерусское общество. У нас помещики разных губерний разнообразны, как земля, которую они владеют: вы встретите различие и в экономии, и в правилах домашнего быта, и в нравах, и понятиях. Купечество и мещанство наше приближается более первых к простому народу; отчасти сохраняет некоторые общие с ним признаки по крайям, да сверх того, при отдельности быта этих классов, усваиваемого родом их занятий, у них есть часто с трудом уловимые особенности, по которым можно их отличать между собою не только по губерниям, но даже по уездам. Для этого нужно только сжиться с таким обществом в одном каком-нибудь уездном городке; купцы и мещане сами наведут вас на отменную физиономию соседей

своих в другом уездном городе от своей собственной. Наши губернские города показывают однообразие в наружности; но допустите хотя немного наблюдательности над подробностями частей, как представится целая система своеобразий. Так, в одном городе вы заметите множество садилов при домах, в другом отсутствие их; в одном на улицу выходят палисадники, в другом они во дворе; здесь вкус к такому роду деревьев, там к другому; здесь окна в домах раскрываются, там поднимаются; здесь вкус к широким, там к узким стеклам; в одном заметна любовь к фронтонам или колоннам, там к колоннам без фронтонов; тут крытые стеклянные галереи, там подъезды крытые, там открытые; здесь крыльца высокие, там нет их, и проч., и проч. Подобных признаков вы заметите чрезвычайное множество, когда только проедете на почтовых через один — другой — третий губернский город; но еще их более представится вашему наблюдению, когда вы войдете в дома, присмотритесь к образу жизни, — тут вы увидите своеобразие и в украшении домов, и в мебели, и приемах домашнего хозяйства; а когда сблизитесь с людьми потеснее, то и в нравах, и в понятиях. Имевшие дела в разных присутственных местах наверное скажут, что в каждом городе встречали их чиновники с различными приемами, хотя по одним и тем же делам. Я не считаю уместным входить в подробности и доказывать этого наглядными примерами; я не имею цели писать этнографической статьи, я желаю только обратить внимание наших слушателей на многие стороны, которые они сами легко могут поверить в своих воспоминаниях. Этнография же, претендовавшая на звание науки о народе, почти не касалась и даже средних классов; их касались только литература и сцена, но с ними этнография, как наука, мало может иметь общего, потому что, при самой высшей воспроизводительности, они не соблюдают ученой точности по отношению к местности.

Наконец, обратим внимание на то, что этнографические наши занятия разобщены с историею. Думая приносить пользу науке собиранием черт в разных местах России, мало обращали внимания на их историческое существование и прошедшие видоизменения, на их историческую связь с подобными чертами в других краях. Только по отношению связи народных верований к древней мифологии ученые более или менее становились на историческую стезю, но нередко отклоняясь от прямого историко-этнографического пути, по которому бы исследование выходило постепенно и неуклонно от существующего к существовавшему. Сovre-



менный русский человек не был подвергнут, по соотношению его к предкам, такому анализу, при котором черты его духовной жизни и материального быта могли быть разобраны в связи с прошедшим. Эту-то связь желательно установить.

Кто возьмется за эту работу и каким путем пойдет к цели?

Думаем, что взяться за это должно бы ближе всего Географическому Обществу, где существует этнографическое отделение, составленное из людей, специально занятых этнографиею. Им следует предоставить обсудить наше предположение, оценить, насколько справедливы и своевременны наши желания, и если найдут их достойными внимания, развить их в ближайшем применении к делу. Что же касается до пути; какой следует избрать, то нам кажется, что было бы полезно в этом отношении снарядить ученую экспедицию для путешествия по России, обращая особое внимание на края, представляющие наиболее данных для взаимного решения исторических и этнографических вопросов, которые заранее могли быть составлены в сфере соотношения истории с этнографиею и переданы членам такой экспедиции. Ведь снаряжались же экспедиции на Амур и в отдаленные страны Сибири: не должны же эти страны иметь преимущество перед странами, издревле заселенными славянским племенем и игравшими более деятельную роль в нашей истории, на том единственно основании, что общечеловеческая слабость скорее обращает внимание на далекое и редкое, чем на то, что слишком близко, воображая себе, что близкое само по себе уже известно, потому что оно близко. Ученая экспедиция, снаряженная с историко-этнографическими целями, по окончании своего путешествия издает свои наблюдения, где будут заключаться возможные разрешения вопросов, возникших по отношениям истории и этнографии между собою, и доставит тем для истории важнейший материал, фундаментальный источник, с которого историку следует отправляться. До сих пор мы начинали историю варягами и думали доходить (если не доходили) до царствования Александра Николаевича; теперь подумаем об обратной дороге; вместо того, чтоб погружаться в неизвестность и из мрака ее постепенно доходить до известного, пойдем от известного к неизвестному из света в сумрак и темноту. Узнавши наш народ, насколько это возможно в его современном развитии, начнем добираться — таков ли он был прежде, что с ним делалось, от чего и в какой мере

последовали с ним изменения, определившие на грядущие времена его положение; будем восходить по событиям от внешней к внутренней жизни все далее, пока торная дорога, мало-помалу суживаясь, не перейдет в тропинку и не потеряется наконец в зарослях прошедшего. Такой путь будет и потому для нас благонадежным путем, что близкие к нам эпохи изобилуют множеством памятников; здесь можно находить ответы нам на все важнейшие вопросы, которые будут возникать с нашим отправлением от настоящего времени. По мере того, как мы станем удаляться от современности, богатство наше естественно станет умаляться; но зная хорошо то прошедшее, которое к нам ближе, и понимая отличие его от нашего времени, мы запасаемся знанием и для отдаленнейшего времени; и многое, при относительной скудости, в сравнении с соседственно-ближайшею к нам эпохою, станет нам понятно и ясно от нашего знания того, что к нам ближе; всякое начало чего бы то ни было в народной жизни не будет уж с первого раза для нас чуждым, ибо мы будем знать его продолжение; тогда как то же самое представлялось бы нам гораздо темнее, если б мы, идя от старины к новизне, поступали не от известного к неизвестному, а наоборот; тогда, естественно, все новое было бы нам явлением непривычным, и, следовательно, не вполне понятным. Надеюсь, милостивые государи, что мне не станет никто возражать неприменяемостью такого способа к школьному преподаванию, ибо здесь идет речь не о преподавании, а о пути изучения народной жизни. Этот путь вытекает сам собою из сознаваемой нами потребности совместного действия истории и этнографии, совокупного изучения прошедшего и настоящего. Важнейшее преимущество этого пути состоит в том, что мы в самом исходе наших занятий не были бы вовсе бедны источниками, по крайней мере, на значительный период времени. Можно сказать, что, идя таким образом назад, мы бы шли по широкой, торной и гладкой дороге; она бы несколько суживалась, но все оставалась бы удобною до первых лет царствования Михаила Федоровича, — разумеется, если б все архивы старых дел были в нашем пользовании. Со Смутного времени дорога наша была бы значительно уже извилиста и кочковата: по такой дороге пришлось бы идти до начала XVI века, а далее надобно было бы пробираться по тропинке, которая чем дальше, тем неудобнее; она нередко пропадала бы совсем под нашими ногами, и мы должны были бы искать ее не иначе, как вооруженные светочем, добытым в этнографии при таком плане нашего

путешествия; зато с этим светочем, да еще с тою опытностью, какую мы приобрели бы через долгое измерение исторической дороги, мы не потерялись бы даже и там, где уже не станет под нами никакой тропинки, где придется идти по полю, усеянному колючим репейником, выросшим на грудах давно истлевших поколений и покрытому густым туманом. И там-то полезен будет нам запас этнографического света: с ним как-нибудь можно, хоть ощупью, идти; без него придется стать на месте и, за невозможностью видеть действительные образы, потешаться собственными мечтаниями.

Ограничиваемся этими немногими словами. От сочувствия мыслящего нашего современного общества, которому не чужды интересы науки, будет зависеть решение вопросов: осуществимы ли наши предположения, или это только *pià desideria*?

## ПО ПОВОДУ МЫСЛЕЙ СВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА О КНИГЕ «СЕЛЬСКОЕ ДУХОВЕНСТВО»

В развитии духа по началам христианства история представляет два противоположных направления: подчинение авторитету и свободное мышление Истины, возведенные Христом, имеют целью оживотворить наше существо духом любви и заложить на ее основаниях строй общественных связей. Истины Христовы вечны и всеобъемлющи; они равно спасительны и животворны на всяком месте и во всякое время. Но чтоб водворить их в отправления жизни и применить к ним временные и местные условия, необходимо было являться людям, просветленным сознанием добра и правды, показывающим миру путь своими словами и подвигами. Их наставления составляют авторитет в деле веры. С другой стороны, необходимо возвышающееся над нравственным рабством мышление тех, которые подчиняются такому авторитету: они должны признать его не иначе, как вследствие ясного сознания спасительности наставлений, преподанных учителями веры и толкователями откровения и с полным к ним сочувствием. Христос хочет живой, а не мертвой веры, любви, а не самоубийственной жертвы, послушных детей и учеников, а не бессмысленной покорности рабов; нравственная свобода есть первый шаг ко Христу: «идеже дух Господень, ту свобода», говорит великий последователь распятого Господа.

На авторитете великих учителей веры и деятелей Христовой любви образовалась св. Церковь, состоящая из поучающих и внимающих, указующих путь и идущих по этому пути. Это высокое значение Церкви достигается только согласием авторитета с нравственной свободой. История христианства представляет неправильные уклонения человека то к той, то к другой стороне, то стремление поставить авторитет выше сво-

боды; то предать его анализу свободной мысли. Римские первосвященники присвоили себе звание христовых наместников, видимых глав Церкви, власть вязать и решать, с притязанием на достоинство непогрешительности для своих приговоров. Духовенство требовало, чтоб светские подчинялись его толкованиям и наставлениям без участия собственного размышления. В иерархической лестнице церковной администрации меньший должен был находиться в строгой духовной зависимости от большего; всякое возвышение голоса против видимых злоупотреблений и безнравственности тех, которые именовались пастырями, вменялось в преступление против Церкви и самой веры. Следствием такого порабощения нравственной свободы мысли и чувства было противодействие во имя свободы, перешедшее в противную крайность. Явилось протестантство. Ратуя за потоптанную нравственную свободу, оно не могло удержаться на истинном пути и повело свободный анализ рассудка к уничтожению Церкви и к отрицанию всякой веры; совершилось движение обратное тому, какое принял папизм. Цель папизма была привести все к ложному, материальному единству; протестантство, напротив, распалось на многочисленные, враждебные одна другой, секты; папизм хотел право авторитета соединить в одном земном, подобострастном нам человеке; протестантство привело к тому, что каждый хотел сделать авторитетом собственное свое воззрение, образованное под влиянием личных страстей и обстоятельств частной жизни. Ни папизм, ни протестантство не достигают своих целей: папизм убивает авторитет, за который ратует, поставив учителей Церкви, признанных голосом веков, в зависимость от произвола одного человека; протестантство не может утвердить нравственной свободы Церкви, потому что ведет к уничтожению единства Церкви.

Наша православная Церковь подходит к идеалу Христовой Церкви. Она не захотела признать притязания западного иерарха, но не впала в анархию толкований по личным соображениям. Она признает основой всякого толкования вселенский собор, где правила и наставления, преподаваемые учителями веры, принимаются сознательно сонмом верующих. В разные времена возникали вопросы о применении Христовых и апостольских истин к современному состоянию общества христианского, и эти вопросы решались соборами. Истины откровения вечны; род человеческий изменяется по воле мироправительных судеб. Всегда могут возникать вопросы, которых разрешение должно последовать не иначе, как на вселенском соборе, а не

приговором какой бы то ни было власти. Не признав притязаний римского первосвященника, православная Церковь тем самым показала, что она не признает за церковными властями неограниченного авторитета, а следовательно не отвергает из среды своей тех, кто заявляет свое собственное суждение, готов будучи подчиниться приговору всей Церкви, то есть вселенского собора. На этом основании г. Новиков, в своем историческом сочинении о Гуссе и изображал великого славянского проповедника православным. Если б в мнении Гуссы и было что-нибудь не вполне согласное с учением православной Церкви, он не менее того всегда недалеко от права на звание православного, потому что не выставлял своих мнений безусловно справедливыми, а готов был подчиниться приговору вселенского собора, правильно организованного. Это основание восточной Церкви отразилось на ее истории: люди, действовавшие на церковном поприще, не были изъяты от слабостей и пороков, вкрадывались в церковное управление злоупотребления, даже великие; но Церковь никогда не давала им оправдания и до сих пор осталась свята и чиста в своих началах, а потому, если и теперь отыскиались бы какие-нибудь стороны, достойные порицания, они не падают на Церковь, ибо Церковь их не признает, и долг всякого верного сына Церкви замечать и обличать все, что требует исправления. Не может назваться врагом православия тот, кто указывает на нравственные недостатки духовных лиц и на злоупотребления в церковной администрации, если только его побуждения искренни и он желает исправления, на основаниях, согласных с коренными уставами Церкви.

Поэтому, крайне неправ автор «Мыслей светского человека» в своих нападках на сочинителя книги «Описание сельского духовенства». Благодаря письму М. П. Погодина, которого мы не имеем права подозревать в недостатке любви к Церкви и отечеству, разъясняется появление этой книги. Многие из рассказанного ее автором справедливо и может быть повторено сотнею голосов со всех концов России; если с другим, особенно с изложением способов к улучшению церковного быта, нельзя вполне согласиться, то несомненно автор не заслуживает обвинения в кощунстве над Церковью и восклицаний: «до чего мы дожили!» Ему ставили в вину то, что он обличает дурных архиереев; но во все века были и есть дурные пастыри, как были и есть достойные, и последние не могут принимать на себя тех упреков, которые постигают недостойных. Сказать, что есть архиереи, которые понимают свои обязанности не так,

как следует, не есть святотатственное поднятие руки на Церковь. Представлять злоупотребления церковного порядка, находить дурные стороны в нравах духовенства — все это не значит бросать позор в лицо своему отечеству, которое страдает здесь столько же, сколько и Церковь. Эти обвинения, выраженные почтенным автором «Мыслей», напоминают времена Гусса, которому также ставили в вину, что он осмелился укорять в безнравственности кардиналов и прелатов. Автор «Мыслей», ратуя за православие, идет по дороге папизма, от которого отверглось православие: он проповедует учение об изъятии духовных сановников от общественного суда — учение, проповеданное доминиканцами и иезуитами, говорившими, что не должны судить поступков духовенства светские вообще, а низшее духовенство — своих начальников, и, таким образом, хотевшими заставить людей, одаренных смыслом, по выражению св. писания, видеть и не узреть, слушать и не услышать.

«Светскому человеку» не нравится, что все толкуют о гласности. Он жалуется, что гласность оглашает не дело и не правду, а представляет одни карикатуры. Не станем разбирать, в какой степени проявилась у нас гласность, если только она сколько-нибудь проявлялась, но спросим автора, что лучше: если между делом и правдою проскользнет безделье и неправда, или ради боязни безделья и неправды лишиться возможности видеть дело и правду и облечь себя на гробовое молчание? Конечно, при последнем положении все покажется хорошо, все будет шито-крыто, как говорят враги гласности; но это будет только казаться. Автору известно, что казаться и не быть в самом деле тем, чем кажешься, есть самый противный христианству порок. Неужели автор считает нужным такое лицемерство для православной Церкви? Этим-то он и дает оружие в руки врагам православия; они скажут: следовательно, у вас в самом деле много другого, когда вы так не любите, чтоб о вас говорили, следовательно, ваше православие стоит на слишком слабых началах, когда вы опасаетесь, чтоб его не подорвали; если б оно было истинно, чего ж вам бояться за него? Истины ничем нельзя подорвать; она всегда возьмет верх. Вы же не только утверждаете, что православие истинно, но еще говорите, что оно находится под руководством Божиим. Чего же вам бояться за него? Разве мы сильнее Божия покровительства? Так будут говорить враги православия, и их негласные, безответные с нашей стороны нападения будут гораздо более заслуживать внимания к себе того, что автор «Мыслей» сказал о книге «Описание сель-

ского духовенства»: эта вредная и бессознательно принимаемая книга проникает во все слои общества высшего и низшего, производит везде губительные опустошения.

«Светский человек» уверяет, что в преследуемой им книге ложь и клевета. Отчего же он, не разобрав ее до конца, а открывши несколько мест, говорит с негодованием: «стесняется сердце продолжать далее разбор, через который человек невольно повторяет оскорбительные хулы критики, хотя и для опровержения их?» Отчего же «светскому человеку» стесняться, если у него есть доказательства, чтобы опровергнуть эти хулы, и есть способности, чтоб взяться за это дело? Напрасно автор «Мыслей» так стесняется: лучше бы, если б он опроверг то, что ему кажется неправдою, и другим дозволено было бы так же, с своей стороны, представить собственные наблюдения и доказательства: тогда бы мы узнали, кто прав, кто виноват. «Светскому человеку» не нравится, что писатели дают *частным случаям повсеместную гласность*, и приводит нас к такому заключению, что всякая несправедливость, нанесенная лицу, не должна быть представлена на суд общественного мнения; по крайней мере, на стр. 13 он жалеет, что сочинитель «Описания» приводит тяжелые воспоминания о своей школьной жизни и *разделяет* те же воспоминания с другими: «suum cuique!» прибавляет автор «Мыслей», то есть как это suum cuique? Иначе: кого били, тот терпи и молчи, а кто бил, тот продолжай бить! Что же касается до частных случаев, то ведь из них составляется общность. Доказать: исключительный или повсеместный характер носит на себе какой-нибудь случай, можно только тогда, когда узнаем, часто ли повторяется такой случай или нет? Поэтому, не следует так презрительно отзываться о частных случаях, когда они изображают людское угнетение, скрытые несправедливости. Ведь всякое преступление само по себе есть частный случай, одного его преследует суд закона; отчего же частные случаи злоупотреблений не подвергать суду общественного мнения?

Если архипастырь есть сан священный, то из того не следует, чтоб не были обличаемы те, которые, занимая этот сан, пользуются им недостойным образом. Говорить, что есть пастыри, которые злоупотребляют свою власть, не значит поносить самый сан. Если в самом деле справедливо, что в поступках некоторых из наших архипастырей могли быть подмечены такие черты, которых нежелательно было бы видеть, то несомненно, что у нас были и есть достойные архипастыри, сиявшие и сияющие святостью жизни, силою



слова, бдительностью над паствою, ревностью о вере. Гораздо было бы полезнее, если б «светский человек», вместо того, чтоб громить гласность, дерзнувшую подметить темные пятна на архипастырях наших, представил все те неисчислимыя заслуги, которые оказали наши архипастыри Церкви и отечеству: тогда бы мы увидели, что добро превышает зло, и, следовательно, нечего бояться, если открывается последнее: напротив, надобно этому радоваться; ибо только путем знания своих недостатков можно приступить к их исправлению.

«Светский человек», как видно, принадлежит к тем патриотам доброго старого времени, которые считали любовь к отечеству в том, чтоб хвалить все, что у нас, не замечать ничего дурного и особенно оскорбляться, когда иностранцы заговорят о нас неблагоклонно. По крайней мере, «светского человека» тревожит то, что «Описание» переведено по-французски и по-немецки. Что патриотизм такого рода оказался неосуществимым для гражданского нашего порядка, об этом в наше время нет нужды разглагольствовать. Он столь же вреден и для русской Церкви. Засыпает деятельность многих из тех, которые должны учить нас словом и делом; охладевает ревность к истинам веры, лишенная побуждений; великое строение Церкви ограничивается по местам одною внешностью; молодое поколение, думая встретить в Церкви форму без содержания, отвращается от нее и вслед затем расстается с самою религиею; другие думают, что, соблюдая внешние обряды, они исполняют все свои обязанности к Церкви, и во всю жизнь не возбуждают в себе никакого нравственного религиозного вопроса, и в самом деле во всю жизнь остаются полными атеистами, не подозревая в себе этого; толпа раскольников, записанных в последнем числе православных, убегает от всякого соприкосновения с Церковью... между тем, все кажется снаружи прекрасно, благосостоятельно! До сих пор, к сожалению, так и было; а чтоб этого не было, нужна гласность. Не спорим, может быть, развязный язык заговорит что-нибудь и несогласное с православным учением; но тут-то и поприще для наших пастырей: их обязанность с оружием слова и доброго дела стать на брань против вражеских нападений. Более же всего желательно, чтоб наше духовенство трудилось для Церкви и обращало к ней вместе и путем слова и путем благих дел; самая лучшая проповедь религии есть та, когда верующие с сознанием могут сказать неверующим: посмотрите на нас, мы нравственнее вас; наши убеждения приносят добрые плоды, следовательно, они истинны, ибо

то, что нравственно, вместе истинно. Этим путем проповедовалась вера в первые века христианства; этим путем распространялась и поддерживалась она в нашем отечестве. Этому пути мы желаем и теперь. Правдива или неправдива книга «Описание сельского духовенства», она не отходила от этого пути. В первом случае она должна обратить внимание на исправление тех злоупотреблений, которые указываются ею; во втором — она должна вызвать такие опровержения, которые своею очевидностью снискали бы всеобщее одобрение публики. До сих пор кажется, что если в книге «Описание сельского духовенства» действительно есть слишком резкие выражения, приводимые автором «Мыслей» о ней, то все-таки побуждение со стороны автора было доброе и он не может назваться дерзнувшим святотатственною рукою на святую Церковь. Напротив, автор «Описания» кажется более православным, чем автор «Мыслей». Первый не отвергает святости иерархии, укоряет только дурных архипастырей; второй ведет нас к средневековому папистическому учению об исключительном праве духовных властей видеть и понимать в делах Церкви и об изъятии их от всякого общественного суда.

## ДАВНО ЛИ МАЛАЯ РУСЬ СТАЛА ПИСАТЬСЯ МАЛОРОССИЮ, А РУСЬ РОССИЕЮ<sup>1</sup>

В № 7-м «Киевского Телеграфа» перепечатана под этим заглавием статья почтенного М.А.Максимовича, известного собирателя украинских песен и исследователя южнорусской старины. Эта статья написана в опровержение толков, будто киевская и вся западная Русь не называлась Россиею до ее присоединения к Руси восточной, будто и название Малой России или Малороссии придано киевской Руси уже по соединении с Русью великою или московскою. Это мнение признается почему-то сродным тому, по которому русский народ делится на Русь, рутенов и московитов, из которых московиты причисляются даже не к славянскому племени, а к туранам. Чтоб уничтожить (говорит г. Максимович) этот несправедливый и нерусский толк, надо обратить его в исторический вопрос.

Нам кажется, что нет ровно никакого родства между мнением о позднем усвоении имен Россия, Малая Россия и производных от них прилагательных, и мнением о таком непонятном для нас (что́ это Русь и рутены? где различались такие названия в смысле отдельных одна от другой ветвей народных?) делении русского народа с происхождением московитов от туранов. Одно из другого не вытекает, одно другим не обуславливается, одно без другого быть может. Вопрос, занимающий г. Максимовича, может, по крайней мере, по отношению к тому времени, которого он касается, назваться историческим скорее в смысле истории риторики, чем истории русской жизни. Нужно знать, когда начали заменять названия «Русь», «русский» названиями «Россия», «российский». Но важно, кто начал заменять? Слово Россия, рос, российский (с чем согласен г. Максимо-

---

<sup>1</sup> Статья была опубликована под псевдонимом Иван Богучаров в санктпетербургской газете А.Краевского «Голос», 1868, № 67.

вич) греческого происхождения; греки переменили звук у на о, по введенному у них издавна обычаю коверкать иноземные названия; в IX веке мы уже видим, что греки называли наших предков Ros; так в известном окружном послании Фотия о крещении Руси. С тех пор греки неизменно держались этого произношения и оно, конечно, с давних времен было у нас не безызвестно, потому что греков было у нас много; но предки наши не усваивали такой формы по той причине, что трудно принять, вместо своего собственного, правильного названия, исковерканное чужими. Не ранее, как в конце XVI века (в восточной Руси после учреждения патриаршества, поставившего московское государство наравне с древнею Византиею в церковном достоинстве, а на западе и юго-западе — по мере сильнейшего обращения русского православия к греческому и по мере ближайшего ознакомления с греческою словесностью вследствие напора западного католичества) духовные риторы, выражаясь высоким слогом, стали иногда употреблять слова *российский*, *Россия* (например: «восприим скифетро российского царствия»); но вообще это были редкие случаи и ограничивались только сферою риторического щегольства. Г. Максимович, при всех усилиях, не мог в Южной Руси найти примера ранее 1592 г., когда львовское братство обращалось в Москву к царю Федору Ивановичу с просительными посланиями, в которых именует его *светлым царем российским* и вспоминает князя Владимира, крестившего весь *российский* род; г. Максимовичу не удалось, как видно, до самого 1654 г. найти более девятнадцати подобных случаев, и все они взяты из произведений церковной риторики.

Напрасно только г. Максимович хочет ввести в заблуждение своих читателей, уверяя, что московские митрополиты, бывшие до учреждения патриаршества в Москве, писались *всеа Руси*, а первый патриарх московский писался уже *и всеа России* (1589—1605 (?)). В «Актах исторических» (т. I, стр. 429) можно прочесть этого самого Иова послание к Александру, грузинскому царю, которою начинается: «О, святом Дусе благословение Иева патриарха царствующего града Москвы и всеа Руси» (а не России). В соборном постановлении об учреждении поповских старост в 1594 г. («Акты арх. эксп.» I. 439) говорится: *боголюбивый, благочестивый и христоробивый великий государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Руси самодержец, поговоря с отцем своим и богомольцем святейшим Иовом патриархом московским и всеа Руси*

(а не России). Грамота того же Иова, писанная незадолго до низвержения его в 1605 г. («Акт. арх. эксп.» II. 78) начинается так: *От великого господина Иова патриарха московского и всеа Руси* (а не России). Г. Максимович слишком торопливо делает свое заключение, опираясь, как видно, на грамоте об установлении патриаршества, где действительно употреблено слово *Росия*, ради высоты слога, но в той же грамоте Иов называется *патриарх царствующего града Москвы и всеа Руси* (а не России). Г. Максимович правее, когда говорит, что митрополиты киевские, в XVII веке, титуловались: *и всея Росии*; действительно, перечитывая очень много рукописных грамот киевских владык XVII века, мы встречаем часто *и всея Росси*, но случалось тоже нередко встречать и *всея Руси*.

Что касается до титула наших московских государей, то он был неизменно *и всея Руси* до самого присоединения Малой Руси, когда царь начал писаться *всея Великия и Малыя и Белыя Росии*. Даже Хмельницкий и другие южнорусы в письмах своих к нему титуловали его царем *всея Руси, а не Росии*; доказательством могут служить многие подобного рода акты, помещенные в 3-м томе «Акт. Южной и Западной России». Слова *Россия* или *Россия, российский* были вначале книжными, риторическими, вроде того, как Франция называлась Галлией, Польша — Сармацией, Немечина — Германией, Венгрия — Панонией и т.п. С половины XVII века они стали официозными, но общеупотребительными народными не сделались до позднего времени. Даже и теперь, хотя слово «Россия» в смысле государства употребляется нами всеми: но кто без смеха назовет себя *россиянином*, вместо того, чтоб назвать *русским* или сказать: *российский* язык вместо *русский* язык? До какой степени принятая искусственно эта греческая порча нашего древнего названия несвойственна духу нашего языка и народа, показывает, что великорусы и теперь произносят *Расея* вместо *Россия*, так точно, как они переделывают другие чисто греческие собственные имена, кончающиеся на *ия*, например: *Настасея, Палагея, Евдокея* и пр. В Южной Руси оно не так противно фонетике тамошней местной речи, но никогда усвоено не было народом до того, чтоб сделаться общеупотребительным обыденным названием.

Что касается до названия Малая Россия, то мы без г. Максимовича знали, что оно употреблялось в духовной риторике до присоединения края к московскому государству, только чрезвычайно редко. И действительно, до 1654 года

г. Максимович мог привести только четыре примера: 1) в послесловии к Анфологиону, изданному в 1619 году Памвою Берындою, говорится о печорской лавре: *мать твоя в Росии Малой*; 2) в издании Октоиха 1630 г. говорится: *в граде Леондополисе Малыя Росии*; 3) в грамоте патриарха (греческого) Феофана: *всем благочестивым христианом в Малой Росии, сыном церкви российскийский восточный*; 4) в универсале гетмана Богдана Хмельницкого 1648 г: *вам всем обще малороссиянам... кому из вас любима целость отчизны вашей Украины Малороссийской... о увольненью от бед людских всего народа малороссийского*. В трех первых примерах слово «Малая Россия» имеет такое же значение, как и название города Леондополиса. Если б кто-нибудь, въезжая в Львов, спросил: как называется этот город? никто бы не ответил ему: Леондополис; так же точно, если б любого южноруса спросил кто-нибудь: как называется край, где вы все живете? никто бы не сказал: *Малая Россия*.

Что же касается до универсала Хмельницкого, обращенного ко всему народу, то мы считаем долгом, при этом случае, заявить наше сомнение в подлинности или, по крайней мере, в правильности дошедшей до нас формы этого акта. Нам известны две редакции этого универсала: первая помещена в «Летописи Величка» у Ригельмана и у «Симоновича», вторая — в «Истории Русов», приписываемой (по всей вероятности, неправильно) Конисскому и в том была перепечатанной многими. Последняя отличается от первой четырьмя искажениями событий, происходивших в первый год восстания Богдана Хмельницкого, умышленно сделанными для соответствия с вымышленными автором «Истории Русов» событиями. Но и первая редакция заключает в себе признаки, побуждающие признать этот универсал если не совсем фальшивым, то чрезвычайно искаженным документом. Так, например, Хмельницкий называет себя *гетман сущей обеих сторон Днепра Украины малороссийской*. Но из всех актов того времени (а их осталось много) не видно, чтоб он так титуловался; до присоединения к московскому государству он писался: *Гетман войска его королевской милости запорожского*, а по присоединении: *Гетман войска его царского величества запорожского*. Гетманом же не только войска, но и Украины он не мог писаться уже потому, что гетман — значит главнокомандующий; главнокомандующий же может быть только над войском, а не над страной. Если б он хотел выразить свою власть над страной, отдельно от войска, то выбрал бы

другое слово. Так он и сделал, когда спорил с польскими послами и заявил свое право на Киев; он сказал: *я пан и воевода киевский; вольно мне так рядить*, а не сказал: *я гетман киевский*. Так один из предшественников Хмельницкого, Павлюк, желая показать свою власть, независимо от войска, которого назывался гетманом, еще вообще над Украиною, назвался *опекуном Украины*. Слово *обеих сторон Днепра* явно пахнет позднейшим временем, когда явилось двугетманство, а вслед за ним андрусовское деление; когда два днепровские побережья имели уже политическое и административное отличие друг от друга. При Хмельницком никому в голову не пришло бы обозначать южнорусскую местность таким образом и притом по поводу такого дела, в котором географический признак течения Днепра ровно ничего не значил. Говоря о присоединении русских земель к Польше, универсал впадает в грубейшую ошибку: Казимиру Великому приписывается присоединение к Польше земель не только Киевской и Волынской, которые, по крайней мере, в XVII веке причислялись к польской Короне, но и литовских: Мстиславской, Витебской и Полоцкой, которые в XVII веке, во времена Богдана Хмельницкого, принадлежали не к Короне, а к Великому Княжеству Литовскому, а в те времена Великое Княжество Литовское хоть и было соединено нераздельно с Польшею, но все еще составляло отличное от последней политическое и административное тело. Это знал в то время каждый, кто только знал, что существуют на свете земли Витебская, Полоцкая и Мстиславская. Приписать присоединение их к Польше во времена Казимира Великого разве мог тот, кто вовсе не знал о различии Польши от Литвы. Но уж если в ком, то в Богдане Хмельницком никак нельзя предположить такого невежества: по единогласному свидетельству его врагов, он был человек образованный (*literat, człowiek uczony*). Возможно ли в нем такое грубое незнание азбуки истории своего края, когда на этой истории опирались права русского народа, которые он отстаивал? Подобное смешение главнейших понятий о составе польско-литовской державы и ее истории может быть допущено только лет через семьдесят после Хмельницкого, именно тогда, когда составлялась летопись Велички, где помещен старейший экземпляр этого универсала и, притом, оно возможно было только в той части Украины, которая давно уже принадлежала к России, да к тому еще у человека, не получившего основательного воспитания по своему времени, а начитавшегося как попал разных сведений отрывками: таким и был Величко. Дей-

ствительно, в первых главах его летописи видно, что он не ясно себе представлял, каким образом русские земли подпали под власть Польши, а по литовской истории не имел почти понятия. Так, напр., на 20 стр. первого тома, сообразно с анахронизмами, допущенными в универсале, приписывается одному Казимиру Великому присоединение к Польше всех вообще русских земель и провинций, которые после ей принадлежали; а о том, что некоторые русские земли и провинции вошли в связь с Польшею иным путем, именно путем соединения Польши с Литвою, он, как будто, не знает ничего. Это сходство и заставляет подозревать, не сам ли Величко — творец того анахронизма, который мы указали в универсале. Если же не он, то все-таки, такой, который, подобно ему, обладал, в слабой степени историческими сведениями, а никак не Богдан Хмельницкий: и менее его образованный, и менее его поставленный в необходимость знать состав польско-литовского государства и крупные события его истории, живучи в польской державе в XVII в., не сделал бы такой ошибки. Сам Величко не сделал бы ее, если б родился пораньше и не принадлежал к тому поколению малорусов, которое явилось на свет уже не под польским владычеством. Слова *малороссиянин, малороссияне, малороссийский*, если и существовали о присоединения к московскому государству, то редко употреблялись, а выражение *Украина Малороссийская*, которое является в универсале, сообщаемом Величком, нигде решительно не встречаем в памятниках той эпохи. Вообще все эти слова и теперь ненародны. Возможно ли, чтоб Богдан Хмельницкий, желая говорить с народом, употреблял такие слова, когда он мог отозваться к народу с более знакомыми народному сердцу и понятию словами: *Русь, русьский*? Когда этот самый Богдан пугал польских послов в Переяславле, он выражался: *выбью з ляцкои неволи народ русьзкий весь — русский народ*, а не *малороссийский*. Зачем же ему, говоря к своему народу, употреблять слово, без сомнения, тогда более чуждое народу, чем теперь? Слово «украино-малороссийский» — любимое слово Величка, и он его сует повсюду в приводимые им акты, а между тем, это слово не встречается в тех актах, которые дошли до нас не через руки Величка. Вычурный, напыщенный, вялый и тягучий слог этого универсала не похож на живой, зернистый, простой и здоровый слог писем и речей Богдана Хмельницкого. То был человек дела, а не фраз. Решившись заговорить с народом, он сказал бы то, что нужно народу, что в силах был вместить народ, преимущественно же то,



что могло этот народ подвинуть на дело восстания. С какой стати Хмельницкому, говоря с народом, толковать о ветхом Риме, о руссах с поморья балтицкого, о роксолянах и савромотах? Это все бурсацкие штуки! Такой человек, как Богдан Хмельницкий, если б и набрался их в молодости, то они не удержались бы у него в голове, оставя место тому, что имело практический смысл и применение к жизни. Вероятно, Богдан Хмельницкий рассылал из-под Белой Церкви универсал, зазывая назад в козачество, и быть может, кое-что из действительного универсала удержалось в том, который выдают нам за универсал, писанный Хмельницким; но это *кое-что* так затерто красками бурсацкой риторики, что едва ли теперь он в таком виде может считаться сколько-нибудь в числе исторических источников. Притом, там меньше всего говорится о том, чему там быть следовало: о записывании в козаки и об увеличении козацкого сословия — а это-то и было тогда всеобщим стремлением в Украине. В ту эпоху у народа быть свободным значило быть козаком. На это именно и налегал бы такой практический человек, как Богдан Хмельницкий в конце мая 1648 г., когда ему нужно было увеличить как можно скорее свою военную силу, чтоб дать отпор полякам, собиравшим на него последние тогдашние силы, а толки о ветхом Риме, да о балтицких руссах не привели бы в его обоз ни одного козака.

Таким образом, важнейший документ, как будто показывающий распространенное употребление слов: *Малая Россия, малороссияне, малороссийский* до переяславского договора, оказывается сам по себе несостоятельным. Затем, остается несомненным, что в первой половине XVII века употребляли довольно редко эти выражения некоторые риторики, точно так же, как они называли Львов Леондополисом, русских — роксолянами, поляков — сарматами и проч. Что касается еще до одного акта, приводимого Максимовичем, именно до письма из Запорожского Коша к Богдану Хмельницкому, то мы не касаемся его, потому что оно писано уже после присоединения; скажем мимоходом, что и ему-то мы плохо верим, получив его из рук Величка, у которого письма, писанные будто бы разными людьми и даже в разные времена, сочинены так, что на них видна одна и та же творческая рука.

Вопреки г. Максимовичу, мы не думаем, чтоб можно было считать употребительными в известный период истории слова и выражения, если они встречаются только у некоторых писателей, в виде риторических украшений, и,

притом, редко, мы можем привести столько же примеров, когда риторы XVII века называли русских роксолянами; неужели на этом основании можно считать и такое название употребительным? Мы берем на себя смелость заметить г. Максимовичу, что он ошибается, воображая, будто ратует против враждебных нам западных теорий, проводимых поляками, о не принадлежности великорусского племени к славянам. Там хотят уверить, что название *Русь*, принадлежа издревле Южной и Западной Руси, было чуждо до позднейших времен Северной и Восточной. Примеры же, приводимые г. Максимовичем, не говорят ни в опровержение, ни в защиту этих несправедливых толков. Напротив, поляки охотно употребляют, говоря о великорусах, слова: *Rossya, rossyjski, rossyianin*; но им очень не нравится называть их *русскими*. Разве этот факт неизвестен на *Михайловой Горе*?

Иван Богучаров.

Васильев Остров.

25-го января 1868.

## О НЕКОТОРЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЮЖНОРУССКОГО (МАЛОРУССКОГО) ЯЗЫКА, НЕ СХОДНЫХ С ВЕЛИКОРУССКИМ И ПОЛЬСКИМ<sup>1</sup>

Враги малорусской письменности проводят, между прочим, мысль, будто бы малорусская речь не только не может назваться языком, но даже наречием, — что это случайная неорганическая смесь русского языка с польским, произошедшая от долговременного пребывания края под властью Польши. Один публицист выразился между прочим что малорусам не следует беречь эту примесь, как памятник ненавистного для них господства над ними поляков.

Те, которые заявляют подобные мнения, основываются на признаках совершенно внешних. Слыша некоторые слова, сходные с польскими, они приходят к такому заключению потому, что не хотят вникнуть в законы построения языка и соотношения его с другими славянскими наречиями. Не так смотрят на него те, которые хотели научным путем разрешить этот вопрос. Миклошич, первый славянский филолог нашего времени, изучивший глубоко родство славянских наречий, говорит: *indem ich die Sprachen nach der Nahe ihrer Verwandschaft an einander reihe, behandle ich dann das Kleinrussische, das auf dem Gebiete der Wissenschaft, wie die Untersuchung selbst darthut, als eine selbständige Sprache und nicht als ein Dialect des grossrussischen anzusehen ist.*

Как в авторитете, так и в беспристрастии с этой стороны знаменитого автора единственной сравнительной грамматики славянских наречий, никто сомневаться не станет. Другой филолог, великорус и не только чуждый всякого

<sup>1</sup> Опубликовано в «Журнале Министерства Народного Просвещения», ч. СХІХ, сентябрь 1863 г

пристрастия к малорусам и их языку, но вступивший, по своим мнениям, в противоречие с южнорусским органом «Основою», профессор Лавровский, в своей статье «Обзор замечательных особенностей наречия малорусского, сравнительно с великорусским и другими славянскими наречиями» выразился, что «черты этого наречия дают ему неоспоримое право и на такое же самостоятельное место, какое занимают другие славянские наречия». Вопреки голословному мнению тех, которые думают видеть в нем смесь русского с польским, этот филолог, напротив, путем филологических исследований его конструкции находит в нем близость прежде всего с великорусским, а потом с сербским и хорутанским (по нашему мнению, он ближе к словацкому).

Руководствуясь тем, что до сих пор в этом роде сделала наука, и дополняя ее результаты собственными наблюдениями, изложим здесь некоторые особенности этого славянского наречия, которые составляют его исключительную принадлежность и не свойственны ни великорусскому, ни польскому. При этом, будем употреблять орфографию, принятую в настоящее время всеми пишущими по-малорусски, именно: означая твердое *и* знаком *и*, а мягкое знаком *i*, твердое *е* знаком *е*, а мягкое — *є*, а звук *ё* знаком *io*. Признаки эти, сколько можно припомнить и собрать, следующие:

Предьйотирование звука *я* после губных и в тех случаях, где был старославянский *Ѣ* (юс), как, например, в словах: *м'ясо*, *п'ять*, *в'ялий*, *м'яко*, и в окончаниях слов, например: *им'я*, *плім'я*, *тім'я* и проч.

Изменение букв *о* и *е* в большей части случаев в *i*; например: *віл*, *кіт*, *кінь*, *шість*, *вісім*, *вечір*, *камінь*: в словах же, где в старославянском не было *о*, но *ѣ*, эта гласная не переходит в *i*; например: *вовкѣ*, *лобѣ*, *жовтий*. В тех уменьшительных и других производных формах, которые делаются от слов, где *о* и *е* не переменяются, эти гласные тоже изменяются в *i*, например: *сирота* уменьшительное — *сирітка*, *бров'а*, уменьшительное — *брівка* и проч.

Произношение буквы *и* средним звуком между *и* и *ы*, как итальянское *i*, а также и буквы *ы* одинаково с *и* во всех тех случаях, где эта буква является в славянских словах.

Произношение буквы *ь* как мягкое *i* повсюду.

Изменение *е* в *о* после буквы *ж*, *ч*, *ш*, *щ*, например, *чоловік*, *жона*, и проч. *чоло*, *чотирі*, *шостий*.

Изменение *о* в *у*, например в глаголах, оканчивающихся на *овати*: *ночувати*, *цілувати* и проч.

Переход славянского *юса* не только в *у*, как в великорусском, но, в некоторых случаях, в твёрдое *и* и мягкое *і*, например: *дїброва*, *заміжь*, *глибокий* и проч.

Взаимный переход *е* в *іо* во множестве случаев, например: *іому*, *пoлемь* и *поліомь*, *у Києві* и *у Київі*.

Перемена *ѣ* в *іо* в тех случаях, где эта старославянская буква в великорусском языке изменяется в *е*; например, *сліоза*, вместо *слеза*.

Взаимная замена гласных *і* и *ю*, например: *Матінка* и *Матюнка*, *утінка* и *утюнка*.

Приставление, для благозвучия, гласных букв, например *и*, в начале слов, где встречаются стечения согласных, например: *Ильвівъ*, (город Львов) *ильнувати*, *ильняний*, *иржа*, *ирвати*, *имла*.

Вставление *о* и *е* с их изменением в *і* в словах, где стечение согласных, например: *мозок*, а не *мозг*, *Дністер*, а не *Днестр*, и вообще более частое употребление гласных, чем в великорусском и несравненно более, чем в польском.

Замена старославянских *ы* и *и* малор. *и* там, где в великорусском они переходят в *о* и *е*, например: *шия*, *мию*, а не *шея*, *мою*.

Выбрасываются для благозвучия гласные при их стечении, например, в начале слов: *голка* вместо *иголка*, *город* вместо *огород*, вместо *искати* говорится *ськати* и проч.

Взаимная замена *у* и *в*, смотря по стечению гласных и согласных, например: *уремья* и *время*, *урагівъ* и *ворогівъ*, *удію* и *вдію*. *учинок* и *вчинок* (например: не могу я так учинити, и такечки не могу я вчинити).

Произношение буквы *в* в значении сокращенного *у* и никогда, как в великорусском, за *ф*.

Губные не смягчаются даже и тогда, когда за ними следуют мягкие гласные, например: *бью*, *пью*, *мясо* или *мясо*, *мята*, *вьязи*. С этим соединяется вообще отсутствие смягчения губных букв: *б*, *в*, *м*, *п*, как например в словах: *любовь*, *кровь*, *церковь*, *голубь*, *цепь*, *степь*, по-малоруски: *любов* или *любва*, *кров*, *церква*, *голуб*, *цеп*, *чеп*, *степ* (мужеского рода).

Буква *г* непременно всегда произносится как в чешском и словацком наречиях, как латинское *h*; только немногие слова, как видно восточного происхождения, имеют звук *g*, например: *гудзикъ*, *гирлиа*; также и западного: *гніт*, *ганок*, *гонта*.

Буква *ж* в некоторых словах выговаривается как *дж*, например: *джбан*, *джут*, *джура*, *джерело* или *джорело*, *джджуристий*, а также и *з* как итальянское *z*, но независимо от польского *dz*; например: *дзвін*, *дзвоник* и преиму-

щественно в звукоподражательных или насмешливых словах, например: *дзіндзівер* (*zinzíwer*), *придзілеванка*, *дзіунець*. Немногие слова изменяют *з* в *ж*, а *ж* в *з*; например, *замзо*, *дражняти*.

Изменение буквы *г* в *к* во многих словах для благозвучия, например: *торкати*, *брязкотати*.

Употребление гортанных *г*, *к* и *х* там, где в великорусском они изменяются в шипящие, например: *текти*, *берегти*, *стерегти*, *бігти*, *могти* (великорусские *течь*, *беречь*, *стеречь*, *бежать*, *мочь*); также в слове *прохати* (просить); напротив, замена их шипящими там, где в северорусском они употребляются; например: *ляжу* (*лягу*), *може* (*могу*), *бережи*, *стережи* и проч. (великорусское: *береги*, *стереги*); а также и в начале слов: *жену* (вместо *гоню*), *гирло* и *жерело*.

Изменение гортанных в соответствующие им свистящие там, где они прикасаются со старославянским *н*, выговаривающимся в малорусском как мягкое *і*; например: *щоці*, *у лузі*, *катузі* по *заслузі*.

Изменение *л* в *в* во множестве слов, например: *човен*, *вовк*, *мовчати*, *живтий*, и во всех прошедших временах глаголов.

Вставка буквы *л* во многих случаях, где в великорусском она выбрасывается; например: *сплять*, *мовлють*, *роблють*, *плавлють*, и проч.

Умягчение, сообразно древнейшим формам, согласных *т* в третьем лице глаголов настоящего времени, множественного числа, например: *ходють*, *бачуть*; и *ц* в конце всех слов: *молодець*, *купець*; и во многих словах на конце, например: *комарь*, *свинарь*, *вівчарь* (некоторые из них имеют двойное окончание, например: *малярь* и *моляр*, *пужар* и *пужарь*); умягчение согласной *ц* и перед гласными в конце слов, например: *травиця*, *водиця*, *молодиці*, *хлопці* (согласно славяно-церковному).

Перетасовка слогов, например: *тверезій*, от *тръезвъ*, *намастырь*, *намісто*, *шевця*, *женця*, *капость*, *вирина́ти*, *гонобля*.

Образование существительных, кончающихся на *енко* в смысле происхождения, откуда возникло множество малороссийских фамилий.

Множество уменьшительных, например, на *онько*, *енько*, *онька*, *енька* и проч. например: *козаченько*, *голубонько*, *дівчинонька*, *головонька*, *травоченька*; отсутствие великорусских окончаний, например на *ушка* и других, и польских на *ек*, *ечка* и на *инчик*; окончания на *ок* и *ик* существуют, как и в великорусском, но нередко заменяют-

ся одно другим; например, по-великорусски: котик, по-малорусски коток, по-великорусски конёк, по-малорусски: коник, по-малорусски садок, по-великорусски садик. Множество других окончаний, например на *ечко*: виконечко, ненечко, лелечко, матіночко.

Существительные среднего рода на *я*, имеющие окончание во множественном числе на *ята*, и уменьшительные, составленные из множественного числа на *ятко*, хотя не чужды совершенно великорусскому и равнозначительны польским на *ie*, *ieta* или *ietka*, в малорусском любимы и употребительны даже для неодушевленных предметов: дівча, дівчатко, дитята, кошеня, кошенятко, горщя, горщата, горщятко, кухля, кухлята, кухлятко, коліщя, коліщата и проч. и проч.

Образование из старославянских слов, кончающихся на *ль* с предыдущею согласною, своеобразных окончаний со вставлением гласной, например: журавель, корабель.

Окончание существительных на *ка*, *га* и др., имеющих большею частию смысл бранный или презрительный: гадюка, злюка, подлюка, пьянюга, волоцюга, козарлюга, катюга.

Окончание на *ци*, равносильное старославянскому и великорусскому на *сть*, например: мудроци, жалоци, любочи (как в слове о плёку Игореву). Эти слова употребительны только во множественном числе, но есть некоторые и в единственном, например: кушц, гордоци.

Удвоение, в окончаниях, согласной, соединенной с *іотою*, в тех случаях, где в великорусском (и других славянских) она не удвоится; например: суддя, багаття, знаття, каяття, вороття, подружжя, струччя, затишшя, насіння или насінне, жабуриння, діловання, гарбузиння. Сюда принадлежат и те слова, которые возникли этим способом из слов славянских на *іе* и *еніе*: спасеніе по-малоросийски спасіння, кореніе — коріння, каменіе — каміння, евангеліе — евангілья.

Отсечение слога *ин* в словах, кончающихся на этот слог, например: самаританин, римлянин, по-малорусски самаритан, римлян и проч., также книжное, вообще чуждое народа, его название малороссиянин, выговаривается малоросиян.

Сохранение гласных в именах, оканчивающихся на согласные, например: Петро, Павло, Дніпро. Вообще, в противоположность великорусскому и польскому, малорусский язык любит окончания на гласные.

Употребление винительного падежа сходно с именительным в одушевленных предметах, согласно древнеславянско-

му, например: зібрав козаки, та вийшовши у поле, побив татари.

Приставление разного рода придыханий: в, г, й, л, например: вікно, він, гарапник, гармата, юлиця, ледве.

Удержание в косвенных падежах гласной именительного падежа во многих таких словах, где в великорусском и польском она выпускается, отчего происходит нетерпимое малорусами стечение согласных, например: на лобі, у роті, по лёду, крізь рови, вместо: на лбу, во рту, по льду, по рвам.

Ов измененное в *ів* в родительном множественного числа; например: волів, лугів (лесов), чоловіків; употребляется во многих случаях, где в севернорусском нет на *ов*, например: слугів, старостів, братів, вместо: слуг, старост, сыновей, братьев.

Окончание родительного падежа единственного числа на у в гораздо большем числе случаев, чем в народном великорусском, например: поїхав добувати розуму; нема дощу.

Удержание старославянского дательного на *ові* и *еві*: богові, козакові, коневі, и сходство дательного с творительным: на богові, об козакові, на доброму коневі.

Удержание старославянских звательных на *о*, *е*, *у* и *ю*, например: жіно, сине и сину, земле, коню; а в тех существительных, которые кончаются в именительных на гор-танные, в звательном они, согласно славяно-церковному, изменяются в *че*, *же*, *ше* и проч., например: чоловік — чоловіче, ворог — вороже, жоніх — жонише.

Кроме единственного и множественного чисел, в малорусском языке многие формы двойственного числа несравненно сильнее, чем в великорусском и в польском языках, например: очима, дверима, плечима, грошима, у вічі, у вухах и проч.

Сохранение в прилагательных окончаний: *ий* и *ій* мужского рода с отсутствием усеченного, а в женском и в среднем длинного и усеченного на *ая* и *а*, на *ее* и *е*: добрий (нельзя сказать добр), добрая и добра, добрее и добре; синий (нельзя сказать синь), синяя и синя, синее и сине. Исключение для мужеских родов составляют немногие в песнях, с изменением ударения: зелен, молод, «пливе човен людей повен»; но их можно принимать скорее в значении существительных, чем в прилагательных. Окончаний прилагательных на *кий* гораздо больше, чем в великорусском и все они, исключая уменьшительных, имеют ударение на последнем слоге, например: швидкий, гнучкий, пруткий, говіркий и проч.



Удержание в прилагательных во множественном числе для всех родов одинакового окончания, как и в славяно-церковном, и преимущественно в усеченной форме, например: червоні и чорвоні чоботи, ягідки, зёрна.

Своеобразная форма числительных имен, например: дев'ятірочко, дванадцятро, двадцятро и двадцятірко, тройко, двойко, четвірко и проч.

Составление многих местоимений на свой особенный лад, отличный от великорусского и польского, например: той (тот, ten) и ті, цей, оцей (этот), що-він (который), оттой (оний), який, деякий (кой-кто), абиякий (кой-какой), якийсь, наський (наш), васький (ваш), свіський и проч.

Составление наречий, предлогов и союзов на свой особенный лад, совершенно отлично от великорусского и польского. Например, -наречия: такечки, тамечка, тутички: колись, деколи, инколи, ніколи, десть, відки, звідти, звідкіля, звідусиль, тоді, врядигоди, годі, байдуже, сількісь, досі, завширшки, вдовж, завдовшки, упоперек, мерщій, швидко, багато, чимало, онде, озьде, эге, навпростець, охляп, торік, позаторік, остронь, знетільки, бігма, ліжма, навіткача, прожогом, чимдуж, втямки, помацки, скрізь, паобіч, зубіч, нечля, бачця, сутужно, бізько, боязно, щодня, щоденно, навманя, вростіч, доснаги, наввипередки, покіль, досхочу, конче, доконче, миттю, попліч, повпрямки, почасту, мов, мовляв, буцім, удвійзі, навперейми, заздалегідь, зараз, заразом, знечевя, важко, гарно, гірше, мабуть, нехай, трохи, ніби, незгірш, ген, геть, либонь, дуже и проч., и проч.

Наречия качества принимают сравнительные степени также своеобразно, например, на іш: горячіш, моторніш, дурніш; есть и другие окончания: швидко имеет швидче и т. п.

Предлоги: між, поуз, кри, з-попід, спід, спонад, біля, коло, из (с), у (в), кріз, керез, від, и проч.

Союзы: або, бо (славяно-церковное), тай, аж, аже, коли, колиб, що, шо, щоб, лишень, хай, най, наче, саме, яко (церковно-славянское), чи (тоже), чом, бак, дак, хоч, ото и проч.

Спряжение глаголов имеет свои особенности, свойственные только этому наречию. В глаголах, оканчивающихся в неопределенном наклонении на *ати* и *яти*, отсекается *ть* в третьем лице единственного числа настоящего времени, с оставлением по произволу мягкого *е* и с отбрасыванием этой гласной, например: думае и дума, хапае и хапа; но там где перед *е* на *а* или *я*, в *у* или *и*, то *е* не отбрасывается, например: цілуе, а не цілу; так и в тех случаях, в которых перед *е* согласная, нет изменения, например: ди-

ше, плете. А там, где в великорусском третье лицо множественного числа оканчивается на *ять*, в малороссийском *ють*: ходють, причем выпускаемая в севернорусском и польском буква *л* сохраняется, например: сплять, роблють, луплють. В тех же глаголах, в которых неопределенное наклонение на *ити* и друг., форма третьего лица может сохранять букву *т* с мягким знаком и отбрасывать ее, переменяя *и* в *е*, например: ходить и ходе, бачить и баче, говорить и говоре; на Подоли же говорят: ходи, бачи. В прошедших временах *л* изменилось в *в*: ходив, робив; причем во вторых лицах удерживается славянская форма вспомогательного глагола: *еси, есте* (ходив еси, блудили есте), но тогда уже впереди глагола нет местоимения. Первое лицо множественного числа, согласно славянскому окончанию, оканчивается на *мо*: думаемо, ходимо, бжимо и проч. В будущем времени сохраняется старославянский вспомогательный глагол *имам*, изменяясь в формы: му, меш, ме, мемо, муть, которые и приставляются к неопределенному наклонению, например: ходитиму, любитимеш, и проч. но также иногда употребляется и *буду*, особенно в отрицательных предложениях. В повелительном наклонении, согласно славяно-церковному, удерживается особенная форма и для первого лица множественного числа, которой нет в великорусском, например: ходім, любімося и т. д. Во втором лице множественного числа форма *ите* сокращается в *ить*: ходіть, любіть, а не ходите, любите; причем нужно заметить, что мягкое *і* здесь измененное *н*, которое всегда является в повелительном наклонении в старославянских глаголах. В тех словах, где в великорусском гортанные *г, к, х*, удерживаются в повелительном наклонении, в малорусском они изменяются в шипящие, например: течи, бережи, стережи и проч., а не теки, береги. Точно так же и в настоящем времени изъявительного наклонения они в малорусском изменяются в шипящие, тогда как в великорусском нет, например: стережу, могу, бережу, а не стерегу, могу, берегу. Действительных и страдательных причастий настоящего времени вовсе нет; хотя и встречается несколько слов, похожих на них по форме, но они имеют значение прилагательных, например: видющий, ходящий. Зато употребительны деепричастия на *чи* и *ши*: бачучи, люблячи, ходячи, бігавши и проч. Как на особенность малорусских глаголов можно указать на уменьшительные неспрягаемые: істоньки, питки, ходитоньки; в этом языке они разнообразятся на разные лады, например: літатоньки, питусі, питу-

сеньки, питунечки. В определенном наклонении глаголов удерживается старославянская форма на *ти*. Возвратные глаголы, как и в великорусском, образуются через прибавление *ся*, которое переходит в *ця* или сокращается в *сь*, причем сохраняется *ть*, где в действительном залоге оно отбрасывается, так, например: думается, колихается; но в западной Малороссии *ть* отбрасывается и нередко *ся* ставится вперед глагола (*ся хоче* вместо *хочется*: як ся маеш?), что не заимствовано с польского, но составляет старинную форму языка церковно-славянского, употребительную в летописях. Некоторые глаголы, будучи в великорусском действительными, в малорусском принимают возвратную форму, например: гратися, присягаться, вместо играть, присягать.

В словосочинении можно указать на следующие особенности:

Два, дві, три, чотири требуют не родительного падежа единственного числа, а именительного множественного числа: два козаки, чотири голуби.

Падежи зависимые не сочетаются таким образом, как в великорусском и польском, но родительный, например, ставится спереди: «чесного батька дитина», а не сын хорошего отца. Глаголы ставятся по большей части в конце предложений и проч.

Некоторые слова имеют другой род чем в великорусском языке, например: пил, степ, чеп, собака, путь, цеп — мужеского рода, евангелія — женского и среднего разом, когда говорится: евангілья.

Законы ударения иные, чем в великорусском, и совершенно несогласны с польским, например: ко́лесо, а не колесо́, коро́мисло, а не коромы́сло, висить, а не висит, візьму́ть, а не возму́т, держи́ть, а не держи́т, нена́виду, а не ненави́жу. В множественном числе ударение переносится на последний слог: чарки, чарок, дівки, дівок, жі́нки, жіно́к и проч. Наречие *учора* имеет ударение на предпоследнем слоге, а не на последнем, как в великорусском *вчера*; *шкода* имеет ударение на последнем, а не на предпоследнем, как в польском. Кончавшиеся на *енк* имеют ударение непременно на *е*: миле́нький, веселе́нький, а не как в великорусском: ми́ленькой, весе́ленькой; прилагательные на *кий* имеют ударение на последнем слоге: пружки́й, швидки́й, таки́й, важки́й, гнучки́й, боязки́й и проч.

Мнение, будто малорусский язык произошел от смешения с польским, яснее всего опровергается тем, что в нем нет ни одного из тех резких свойств, которыми отличается

польский язык от других славянских. Это свойства: 1) *dz*, *dz*; его нет в малорусском, исключая звукоподражания и притом не сообразно с польским; так слово *дзиндзівер*, в польском *зинзивер*; а в польском вовсе нет некоторых; сходное слово в этом случае с польским, *дзвін* (*dzwon*), в середине слов всегда выговаривается твердо (как латинское), — ясно приняло в малорусском *дз* от звукоподражания, 2) *rz* совсем нет в малорусском, 3) носовых звуков не терпит малорусский язык, 4) перехода *t* в *c* нет в малорусском, 5) ударения в малорусском разнообразны, тогда как в польском ударение однообразно ставится на предпоследнем слоге, 6) *н* не растворяется в *я*, как это делается и в некоторых наречиях великорусских и проч. Если бы малорусский язык действительно составил из русского и польского, то, конечно, вошли бы в него польские свойства.

С другой стороны, малорусский язык не имеет тех свойств, которые служат характеристическими особенностями великорусского языка. Например: *о* отчетливо сохраняется по церковно-славянски и никогда не изменяется в *а*; *е*, *н* и *и* выговариваются отличным образом, и сверх того все показанные отличия грамматические и множество других не заимствованных из польского и не известных в великорусском; — не указывают ли ясно на самобытное, правильное образование особого наречия в южной Руси, а не на случайное смешение?

Что же касается до того, что в малорусском языке находят много польских слов, то не опираясь легкомысленно единственно на их подобии с польскими, следует различать: 1) те слова, которые будучи в польском составлены в малорусском на свой образец, от таких, которые вошли прямо из польского языка. Последнего рода слов до чрезвычайности мало и они собственно не входят в язык органически, а только иногда говорят малороссиянами, перенявшими их от поляков, и то преимущественно дворовыми на Волыни и Подоли. Таким образом, можно услышать слово «цнота», но это слово, как и много подобных, произносится не так, как малорусское, а как польское, с сознанием произносящего, что это польское слово, и оно никак не может войти в язык, ибо противно языку по стечению согласных и по перемене *т* в *ц*: цнота есть измененное честность; по-малорусски было бы: чеснота, и всякий малорус, произнося это слово, скажет, что оно польское, а не малорусское. Некоторые же слова в Червоной Руси, заимствованные из польского, переделываются на русский лад, но в нашей рос-

сийской Малороссии таких не принимают, ибо ухо малоруса не может не чувствовать здесь фальшивого звука. Из тех слов, которые есть в малорусском и в польском, нужно наперед отличить: действительно ли они заимствованы из польского? ибо присущность их в обоих славянских наречиях еще ничего не значит; таким образом рассуждая, можно дойти и до того, что русский язык считать можно польским или наоборот, ибо и в русском и в польском есть множество общих одинаковых слов, измененных в каждом наречии на свойственный ему лад. Здесь мерилom может быть сравнение малорусского языка с другими славянскими наречиями, и если окажется, что слова, схожие с польскими, есть в других наречиях, то их нельзя безусловно признавать взятыми с польского; при этом нужно сравнивать эти слова и с наречиями великорусского края, так например, слова: *шкода, шукати, хата, хилити* — казались бы в первого взгляда польскими, но они встречаются в новгородском наречии на севере и, следовательно, не польские; они же есть и в других славянских наречиях. Кроме этих слов, надобно отделить и все те, которые есть в малорусском, славяно-церковном и великорусском и которые есть равно и в польском, так и те, которые есть в малорусском, церковно-славянском и русском и которых нет в польском; наконец, те, которые сохраняются в одном только малорусском и не имеются ни в польском, ни в великорусском. Тогда останутся слова, которые есть только в малорусском и польском: только те слова и можно считать заимствованными. Пока эта лексикологическая работа не произведена, нельзя делать смелых заключений.

Вообще, о лексическом составе языка можно заметить, что в малорусском языке большая часть слов, конечно, — общие всем славянским наречиям, но они составлены по законам малорусского языка; другая, огромная часть принадлежит исключительно ему и с трудом может быть найдена в наречиях других языков славянских, а самый малый процент приходится на долю действительных заимствований из польского.

## ЛИЧНОСТИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

МИХАИЛ СКОПИН-ШУЙСКИЙ. — ПОЖАРСКИЙ. —  
МИНИН. — СУСАНИН.

Всем известно, какие трудно преодолимые препятствия возникают в процессе обработки истории. Конечно, нет науки более трудной для изучения и для передачи другим. Но, кроме недостаточности письменных известий, кроме неверностей и неясностей в сохранившихся известиях, кроме, наконец, чрезвычайного разнообразия предметов, входящих в область исторического исследования и требующих подготовительного знакомства с другими ветвями человеческих знаний, мы часто встречаем препятствия в собственном воображении и сердце. Очень часто исторические события и лица являются нам только в общих очертаниях, без крупных характерных признаков, так что одно данное походит на другое. Утомляясь под тяжестью однообразия, не находя ничего, что бы служило нам для заключений и выводов, не встречая ясных живых образов, мы иногда насильственно пытаемся оживить мертвое, бездушное, и прибегаем к собственному воображению, а потом признаем за плод нашего уразумения фактов то, что собственно есть плод одной нашей субъективной деятельности. Часто там, где источники предоставляют в наше распоряжение одни только названия, мы воображали себе лица, общества, учреждения; там, где перед нами мелькали только неясные черты, мы видели характеры, угадывали побуждения, указывали причины и последствия. Много из того, что мы привыкли считать достоянием науки, пришлось бы, скрепя сердце, выбросить вон, если бы достояние это подвергнуть надлежащим образом беспощадному ножу критического анализа. Много бы нашлось таких мест, где уверенность в нашем знании нужно было бы заменить добросовестным признанием в нашем неведении.

Наша русская история, особенно древняя, легко подвергается этому недостатку, потому что значительная часть ее

источников отличается теми качествами общности, сухости, недосказанности, маложизненности и удобоподатливости различным толкованиям, которые вызывают деятельность воображения. Но там, где есть простор воображению, легко увлекает нас в заблуждение и сердце. Как только является воображению повод, за отсутствием ясных данных, создавать образы и делать выводы, сердце побуждает нас вымышлять именно так, как ему хочется. Отсюда происходят вредное для исторической правды возведение в апотеозу исторических деятелей, преувеличения, направление в одну известную сторону изображаемых событий, предпочтения одних сказаний другим на том только основании, что первые более согласуются с нашим чувством, чем другие, ревнивое прилипание к одному способу толкования и безусловное устранение всякого иного; наконец, обращение предположений в догматы, будто бы не требующие проверки, не допускающие опровержений.

Едва ли в мире есть страна, где бы историки, описывая свое прошедшее, были совершенно изъяты от этого недостатка. Замечательно, однако, что чем народ здоровее, чем более имеет права уповать на свое будущее, чем общество, которое он из себя образует, прочнее и благоустроеннее, тем историки его способнее стать выше предрассудков и смотреть беспристрастнее и трезвее на прошедшее своего отечества. Напротив, там, где нация переживает времена упадка, расслабления или глубокого застоя, ее историки, чувствуя, что у их народа нет того, чего бы им хотелось, чтоб он имел, не видя ничего или очень мало видя в будущем, как бы для утешения уходят всем сердцем в свое прошедшее и обращаются с ним самым несдержанным и пристрастным способом. У нас, к чести читающего русского общества, критическое направление пользуется сочувствием и уважением, хотя и не применялось к отечественной истории в том размере, в каком было бы желательно. Правда, у нас раздавались голоса, которые высказывали боязнь перед свободными, беспристрастными суждениями о нашем прошедшем, стояли за утвердившиеся в истории произвольные взгляды, считая их необходимыми для патриотических видов, и отыскивали задние мысли и скрытые враждебные обществу или государству намерения в суждениях тех, которые имели смелость посягать на предрассудки. Но такие возгласы могут пленять только невежд и никак не разделяются истинно мыслящими людьми. В деле науки только убеждения последних могут служить мерилom для определения общественных настроений. Великое историческое

всегда останется великим, и никакой критический анализ не может уничтожить или уронить его значения, так точно, как мелкие исследования естествоиспытателей не могут разрушить поэтического обаяния, производимого на нас целостностью явлений природы, а напротив, еще возвышают это обаяние, одухотворяя его смыслом.

## I

В нашей отечественной истории эпоха Смутного времени есть действительно великая эпоха. Держава наша разлагалась; народ был на краю чужеземного покорения — и однако последовало спасение и избавление. Но лица, действовавшие в эту славную и бедственную эпоху, облеклись сиянием славы и воплотились для нас в такие образы, которые при строгом и трезвом исследовании окажутся более произведениями нашего воображения, чем исторического изучения былой действительности. Это сделалось тем легче, что о многих из них недостает таких подробностей, при помощи которых можно было бы уяснить себе их характер и определить действительное их значение в свое время.

К таким личностям принадлежит Михаил Васильевич Скопин-Шуйский.

По первому впечатлению, эта личность представляется в высшей степени поэтической и привлекательною. Молодость князя Михаила Васильевича, его быстрое возвышение на общественном поприще, важные успехи и ранняя смерть с характером трагической таинственности — все это придает ему поэтический оттенок; прибавим к этому и то, что народ с любовью внес его имя в свои песни, а этой чести в великорусском народе достигали немногие. Но как только мы приблизимся к этой личности с холодным анализом, мимо всякого поэтического увлечения, предвзятых понятий и заранее составленного образа, то встретим лицо очень тусклое. Начнем задавать себе вопросы и не будем знать, что отвечать на них. Прежде всего являлся вопрос: что это была за натура? Пылкий ли юноша, увлекаемый жаждою подвигов и деятельности, у которого энергия поступков зависела от сердечных побуждений, или это холодный, рассудительный ум, чуждый увлечения, взвешивающий обстоятельства, осмотрительный, проницательный, всегда расчетливый. Некоторые признаки склоняют нас видеть в нем характер последнего рода: во-первых, нам не представляются нигде такие черты, которые бы указывали на господство сердечных побуждений; во-вторых, мы замечаем в его действиях хитрость, напр., он перед Делагарди скрывал



важность бедствий, посетивших Русь, в своих грамотах, рассылаемых по Руси, преувеличивал свои успехи. Но таких черт слишком мало, чтоб мы были вправе сделать какое-нибудь точное определение о его характере, тем более, что вместе с тем представляется нам важным другой вопрос, на который мы отвечать никак не в состоянии: насколько этот человек действовал по собственной инициативе или уразумению и насколько исполнял волю и советы других? В повествованиях о его деяниях нет ни одного места, где бы он явился с свойственным ему одному, отлично от других, образом взглядов, чувств и приемов, нет ни одного случая, где бы высказалась его индивидуальность. Мы также находимся в неведении относительно его нравственных побуждений: руководствовался ли он бескорыстной любовью и преданностью делу родины, или же он не был чужд честолюбивых видов? Как относился он в самом деле к намерению поставить его царем в Московском государстве, что могло совершиться только с низложением царя Василия? Нам это неизвестно. Когда Ляпунов заявил перед ним желание Рязанской земли избрать его царем, Скопин хотя не потакал открыто такому предложению, однако, не преследовал Ляпунова, и даже, как говорят, не доложил об его поступке царю. Быть может, он не принял предложения, потому что не хотел допускать к себе и мысли о низвержении царя, а царю не сказал, не желая подвергать опасности Ляпунова, которого считал человеком полезным для отечества. А может быть, он радовался этому, но, как умный человек, понимал, что Рязанская земля не может делать того, что принадлежит целой Руси, и оставлял Ляпунова в покое до тех пор, когда при содействии последнего подобное предложение последует от более широкого круга. В Москве, куда он вступил победителем, слышалось желание иметь его царем, и кто знает, как бы он поступил, когда бы это желание высказалось решительным заявлением массы! Смерть его остается неразгаданною. Конечно, он мог умереть от внезапной болезни; но народная молва и уверенность многих современников, в том числе шведского полководца Делагарди, приписывали ее отравлению. Обвиняли, как известно, жену царского брата Димитрия. Если это обвинение справедливо, то мы все-таки не знаем, по какому поводу совершено злодеяние, участвовали ли в нем другие члены царской фамилии и сам царь? Не было ли это плодом какой-нибудь личной злобы или, быть может, это была вынужденная попытка крайнего самосохранения в виду готовности народа провозгласить Михаила царем, в виду того, что новый царь мог поступить с прежним царем и с его

близкими родичами так, как поступил в Новгороде с Татищевым? Событие с Татищевым в жизни Скопина представляется чем-то странным, набрасывает как бы тень на безупречность его поступков, но по неясности своей и неполноте сообщаемых известий все-таки не может повести к заключениям о личности замечательного человека. Татищева, новгородского воеводу, обвинили в намерении передаться на сторону Тушинского вора и сдать Новгород. Скопин выдал его на растерзание, не подвергши, насколько известно, обвинение исследованию. Если в этом обстоятельстве оправдать совершенно Скопина, то надобно допустить, что Татищев был действительно изменник. Однако, как-то странно допустить это в таком человеке, который отличался самою яростною ненавистью ко всему иноземному, доходившею до тупого фанатизма, который отважился перечить названому Димитрию тогда, когда все пред последним склонялось, и тем доказывал, что не принадлежал в то время к себялюбцам, готовым из своекорыстных видов продавать себя всякой стороне. Татищев давно служил государству верно и деятельно. Правда, мы все-таки не настолько знаем его, чтобы составить ясное понятие о том, что он мог и чего не мог делать при различных обстоятельствах; но насколько он нам известен, — ничто не внушает подозрения в способности его изменить отечеству для второго названного Димитрия, когда он был одним из главных лиц, уничтоживших первого. Карамзин, описывая это происшествие, спешит извинять Скопина молодостью и пылкостью; но мы, как уже выше сказали, не знаем из источников ни одной черты, которая бы указывала на пылкость Скопина. Из описи имущества убитого мы видим, что многие вещи взяты были без денег шурином Скопина, Головиным, а отчасти и самим Скопиным, быть может, и не для своей корысти, а с целью обратить на общее дело. Как бы то ни было, это темное событие нельзя объяснить положительно ни в хорошую, ни в дурную сторону для Скопина.

## II

К таким же тусклым личностям принадлежит и князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Его важное значение не подлежит сомнению, но возникает целый ряд вопросов, на которые источники не представляют ответа. Мы не знаем, отчего Минин и бывшие с ним нижегородцы пригласили в предводители собиравшегося против поляков ополчения его, Пожарского, а не кого-нибудь другого. Мы не видим, чтоб князь Пожарский

прежде отличался какими-нибудь способностями и успехами. При Шуйском он действовал в Рязанской земле, но действовал зауряд с другими, и не совершил ничего необыкновенного. Участвуя в нападении русских на поляков, овладевших Москвою в 1611-м году, он был ранен близ церкви Введения на Лубянке, и, по выражению летописи, плакал о гибели царствующего града. Все это были еще не такие подвиги, которые давали бы русским повод предпочесть его всем другим и поручить ему важнейшее дело — руководить спасением отечества. В этом случае мы находим себе удовлетворение в одном: мы полагаем, что этот человек заслужил уважение за безупречность поведения, за то, что не приставал, подобно многим, ни к полякам, ни к шведам, ни к русским ворах. Но если это обстоятельство, в минуты первого воодушевления (впоследствии русские не были строги к тем из своих знатных особ, которые запятнали себя такими поступками), и способствовало выбору Пожарского, то едва ли было единственною его причиною. Были лица, не менее его безупречные и более его заявившие о своих способностях: таков был хоть бы Федор Шереметев; он же, сверх того, был близок к Романовым, которых и тогда любили и многие уже хотели возвести на престол. Между Пожарским и нижегородцами было что-то связывающее, что-то такое, чего мы не знаем; видно, что Пожарский для Минина и нижегородцев был более свой, чем всякий другой. Когда приехали к нему печерский архимандрит и дворянин Ждан Болтин с просьбою принять начальство над ополчением, Пожарский согласился, но пожелал, чтоб выборным человеком от посадских был Козьма Минин-Сухорук. Минин хотел Пожарского; Пожарский хотел Минина. Мы не знаем, откуда возникла эта взаимность.

Князь Пожарский после своего избрания стал очень высоко. Он писался «у ратных и земских дел по избранию всех чинов людей московского государства» и вмещал в своей особе всю верховную власть над Русскою землею. Великое, славное дело совершал русский народ под его начальством. Но в какой степени он сам лично содействовал этому делу и насколько, в качестве военачальника, давал ему ход? Это вопрос, на который едва ли кто даст удовлетворительный ответ при существующих данных. Во все время своей новой деятельности Пожарский, насколько известно нам по источникам, не показал ничего, обличающего ум правителя и способности военачальника. Его не все любили и не все слушали. Он сам сознавал за собою духовную скудость: «Был бы у нас такой столп, говорил он,

как князь Василий Васильевич Голицын — все бы его держались, а я к такому великому делу не придался мимо него; меня ныне к этому делу сильно приневолили бояре и вся земля». В продолжение всей его деятельности в звании главноначальствующего мы видим поступки, которые современники считали ошибками, но мы не можем решать, кого и насколько следует винить за них.

Тогдашнее положение дел требовало, чтоб русское ополчение; как можно скорее поспешало к Москве. Это было полезно для будущего успеха; медлить же было опасно. Ожидали прибытия короля с свежими силами, а вместе с ним должен был приехать и сын его Владислав, нареченный царь московский. Разом с материальным усилением поляков могло возникнуть опять разделение между русскими; появление Владислава в земле, избравшей его в цари, образовало бы тотчас партию, так как его неприбытие вовремя раздражило русских и соединило их против поляков. Надобно было предупредить эту опасность и поскорее отбить у врагов столицу, которой святыня служила знаменем для Земли Русской. Освобождение Москвы подняло бы дух народа; успех Пожарского привлекал бы к нему массы, всегда ободряемые успехом и падающие духом от неудач. Узнавши, что Москва более не в руках неприятеля, русские отважнее и охотнее пошли бы на брань за отечество. Так смотрели на дело троицкие власти и беспрестанно торопили Пожарского. Увещатели за увещателями ездили в Ярославль, заклиная Пожарского поскорее выступать к Москве. Мало утешительного встречали они тогда в Ярославском ополчении: они видели около Пожарского и других воевод — «мятежников, ласкателей, трапезолюбцев, воздвигающих гнев и свары между воеводами и во всем воинстве». Из дошедших до нас письменных известий видно, что в апреле воеводы жаловались на недостаточность средств на плату войску, доставляемых преимущественно с северо-востока. Видно по всему, Пожарский и воеводы считали свои силы еще малыми и сверх того боялись козаков, с которыми им приходилось действовать заодно под Москвою. Но троицкие власти, конечно, лучше знавшие тогдашние обстоятельства, чем можем знать их мы через двести шестьдесят лет, считали возможным поход к Москве. Если у Пожарского, быть может, и не так много было войска, чтоб одолеть многочисленного неприятеля, то, кажется, его было достаточно, чтобы померяться с такими силами, какие он застал бы в Москве. По крайней мере, нам известно, что, стоя в Ярославле, он отправлял отряды под Москву. Так, напр., в половине июля пришел туда отряд под начальством Михаила Симоно-

вича Дмитриева. Если была возможность посылать под Москву войско частями, то едва ли было невозможным двинуться туда и самому Пожарскому со всеми остальными силами. Мы узнаем, что Пожарский рассылал отряды по сторонам — к Белоозеру, на Двину, следовательно, не боялся уменьшить своего войска. Поход его под Москву не помешал бы приставать к нему свежим ополчениям; они приходили бы туда так же удобно, как и в Ярославль, а некоторым это было даже подручнее. Мы встречаем известия, что в то время, как Пожарский стоял в Ярославле, иные ополчения прямо проходили к Москве и потом посылали в Ярославль к Пожарскому, умоляя его скорее идти к столице. Что касается до козаков, стоявших под Москвою, то хотя они издавна смотрели недружелюбно на земских людей, однако, тремя-двумя месяцами ранее прихода Пожарского к столице их отношения к земским людям не могли быть враждебнее и опаснее того, как были впоследствии. Главный враг Пожарского Заруцкий был не силен; Трубецкой давно уже готов был отстать от него, и если мирволил ему, то потому только, что не имел другой опоры, кроме козаков; с появлением под Москвою ратных земских людей Заруцкий до того увидел свое положение ненадежным, что должен был бежать, а это случилось недель за пять до прибытия Пожарского под Москву. Относительно скудости средств, имея сведения о недостатке их в апреле, мы не знаем, насколько они увеличились в последующее время. Но не можем не привести следующих соображений: во-первых, жалобы на недостаток денег и припасов (вспоможение в стан Пожарского доставлялось не только деньгами, но и натурою) слышались в апреле, — время года крайне неудобное для сообщения, но положение дел этого рода должно было улучшиться уже в мае; во-вторых, вполне веря, что русские терпели недостаток, неизбежный при обнищании края, мы, однако, не видим, чтобы ополчение умалялось, напротив, увеличивалось до того, что была возможность посылать из него отряды по сторонам, отвлекая от главной цели: ясно, что оно не разошлось бы, если б военачальник перевел его из-под Ярославля под Москву. Доставка жизненных припасов и вообще сообщение войска с восточными областями было удобнее в Ярославле, чем в Москве, но, во всяком случае, цель похода была Москва, а не Ярославль. Из-под Москвы затруднительнее было сообщение, а тем самым и доставка средств прокормления; но ведь стояли под Москвою козаки и как-нибудь существовали; приходили туда ранее Пожарского земские ополчения, и также не перемерли с голода. Для нас, незнакомых с подробностями тогдашних условий в этом отношении, все-таки важен авторитет

троицких властей, которые не считали безусловно невозможным переход ополчения из Ярославля к Москве, когда так сильно торопили Пожарского.

Русские всего удобнее могли явиться под столицю в июне. В мае Гонсевского сменил Струсь, а литовский гетман Ходкевич, появившись под столицю в последних числах мая, нуждаясь в продовольствии, тотчас же стал под Крайцаревом и распустил свое войско на фуражировку. Так как окрестности были опустошены, то жолнеры уходили отрядами далеко в Новгородскую область. У гарнизона, запертого в Кремле, в июне средств было бы еще меньше, чем в сентябре и октябре, когда русские держали его в осаде: тогда литовское войско, несмотря на потерю своего обоза, все-таки успело пропустить в Кремль несколько десятков возов с запасами, а это продлило упорство гарнизона. Летом его принудить к сдаче было легче. Но предположим, что Пожарскому не удалось бы этого сделать, прежде чем Ходкевич успел бы собрать свое распущенное войско и поспешить на выручку осажденным. И в таком случае русские остались бы с выгодой, пришедши под Москву ранее: литовское войско должно было собраться наскоро, не успев набрать с собою того, что впоследствии привозило; оно бы лишено было продовольствия, не могло бы снабдить им осажденных в Кремле; и притом, оно было слишком деморализовано: Ходкевич не мог бы выдерживать долгое время битв с русскими; если впоследствии он появился с огромным количеством запасов и, потеряв их, должен был бежать, то, явившись без этих запасов, убежал бы так же скоро. Пожарский не мог не знать положения враждебных сил под Москвою, потому что и троицкие власти и выставщики из-под Москвы ему об этом сообщали. Напротив, как мы уже показали, медлить под Ярославлем целое лето, как сделал Пожарский, значило подвергать и себя, и все русское дело возможности больших затруднений и опасностей. Правда, на счастье Руси не случилось того, чего так боялись троицкие власти и чего так желали засевшие в московском Кремле враги; но этого не случилось никак не по усмотрению русского военачальника: последний не мог предвидеть и рассчитать наперед, что король с свежим войском не придет к Москве ранее конца года: Пожарский не мог знать о несостоятельности короля Сигизмунда, когда и поляки, сидевшие в Кремле, и Ходкевич с своими литвинами надеялись, что король приедет и поправит свое дело в Московском государстве. Ближайшая цель Ходкевича состояла в том, чтоб как можно более привезти гарнизону запасов, чтоб гарнизон мог продержаться в Москве до прибытия короля; ближайшая цель Пожарского должна была состоять в том, чтоб

не допустить Ходкевича исполнить свое намерение, а гарнизон принудить как можно скорее к сдаче и, до ожидаемого появления короля, удержать столицу в своих руках.

Несмотря на неоднократное увещание троицких властей, Пожарский, даже решившись выступить из Ярославля, шел к Москве чрезвычайно медленно, сворачивал с дороги, ездил в Суздаль кланяться гробам своих отцов, а между тем не только троицкие власти, но и ратные земские люди, которые прежде него пришли к Москве, умоляли его идти скорее. Ходкевич в это время успел окончить свое дело, набрать запасов в достаточном количестве, собрать свое распущенное на фуражировку войско и благополучно приблизиться к столице. Пожарский прибыл к ней в одно время с Ходкевичем.

Столкновение с Ходкевичем, однако, окончилось благоприятно для русских. У Ходкевича отняли возы с продовольствием. Этим были погублены все плоды его летних операций. Не доставил он гарнизону запасов, кроме небольшого количества, не было у него ничего для прокормления своего войска. Ходкевич должен был поневоле удалиться, тем более, что его буйное и голодное жолнерство угрожало бунтом. Отбой возов с запасами был самое крупное и важнейшее дело русских. Но его совершили, главным образом, козаки, находившиеся под начальством князя Трубецкого, а не Пожарский. После ухода Ходкевича русские осаждали поляков в Кремле в течение двух месяцев. Ужасный голод, доходивший до того, что жолнеры пожирали друг друга, принудил их к сдаче. Надобно беспристрастно сказать, что в этом случае ошибки поляков и, главное, неприсылка помощи в свое время порешили дело в пользу русских. Да и вообще поляки, с которыми тогда боролась Русь, вели себя до такой степени бессмысленно, так мало у них было согласия, искусства, сознания цели, и, напротив, все у них происходило так некстати, не вовремя, что они были страшны для Руси только потому, что ее политический состав был в совершенном расстройстве и внутренние общественные связи порвались от долгих беспорядков. При малейшем водворении порядка и согласия поляков не трудно было прогнать. Мы не думаем, однако, считать вообще Польшу неопасною для московской Руси. Стоило только сосредоточить наличные силы Польши, дававшие ей перевес перед Московским государством уже по превосходству образованности, стоило явиться в Польшу уму, который бы сумел воспользоваться этими силами кстати — Русь была бы подавлена. Называя поляков слабыми

врагами, мы имеем в виду только те условия, в которых находилась Польша в 1612-м году. Сигизмунду не давали денег на войну; в Польше хоть и хвастали тем, что побили москвитян, но вовсе неохотно смотрели на успехи Сигизмунда, считая усиление могущества короля опасным для шляхетской свободы. Война с Московским государством была вовсе не популярна в тогдашнем шляхетском обществе, уже терявшем прежний дух предприимчивости, удалства, отваги и создавшем себе другой идеал — веселого, ленивого довольства рабовладельческой республики. Воевавшие у нас польские войска состояли из наемников, без чувства долга по отношению к отечеству, руководимых только страстью к грабежу и веселому военному буйству, которое в тот век пленяло молодежь, особенно ту, которая приходила в бедность и крайность от развратной жизни. Кварцянское войско состояло не из одних поляков; напротив, в том польском войске, которое находилось тогда в Москве, было более немцев, чем поляков. Всегда несогласные между собою, алчные, корыстолюбивые, эти наемные воины подчас были храбры и стойки, но не терпели дисциплины и, при малейшем неудовлетворении своих желаний, бунтовали, а как польское правительство очень часто отличалось неисправностью в уплате жалованья, то такие бунты были делом обычным; и, как известно, по окончании московской войны, эти наемники стали разорять Польшу почти так же, как прежде разоряли Московское государство. Вдобавок военачальники, польские паны, постоянно были не в ладах друг с другом. Ходкевич был соперник Якуба Потоцкого, а через него ненавидел и племянника его Струся, начальствовавшего кремлевским гарнизоном; говорили, что Ходкевич без сожаления, даже с тайным удовольствием, оставил Струся на произвол судьбы. Такого рода военные силы не могли выдержать борьбы с единодушным восстанием народа.

В деле победы, одержанной под Москвою, Пожарский почти не показал своей личности, по крайней мере, насколько сообщают нам источники. Но, может быть, они укажут нам, как много он сделал для другой спасительной цели — для устройства Руси, для соединения русских сил воедино? Быть может, не будучи особенно великим полководцем, он был великим гражданином и государственным человеком? К сожалению, тогдашние источники и в этом отношении не сообщают нам ничего. Мы знаем только, что под его предводительством происходили ссоры, несогласия, и он долю не мог с ними сладить. Прямо возводить на него



вину мы не имеем права, потому что ничего об этом не дошло до нас, кроме общих мест, возбуждающих вопросы, на которые мы не в состоянии дать ответы. Быть может, в этот период Пожарский оказал какие-нибудь важные услуги отечеству, но мы о них не знаем, а чего мы не знаем, о том не в силах рассуждать и делать какие-либо заключения.

Со взятием Москвы оканчивается первостепенная роль Пожарского. С этого времени до самого избрания в цари Михаила Федоровича он уже не стоит на челе безгосударной Руси. В грамотах пишется в начале не его имя, как делалось прежде, а имя князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого; имя Пожарского стоит вторым в товарищах. Оттого ли так случилось, что Трубецкой был боярин, хотя пожалованный в этот сан Тушинским вором, а все-таки — боярин; оттого ли, что род Трубецкого был знатнее рода Пожарского, красуясь целым рядом государственных людей; оттого ли, что сам князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой стоял непоколебимо под Москвою с марта 1611-го г. и воевал против поляков, а князь Дмитрий Михайлович Пожарский прибыл незадолго пред тем; оттого ли, наконец, что победу над Ходкевичем Трубецкой, начальствовавший козаками, приписывал себе? Быть может, все эти условия вместе поставили имя князя Трубецкого выше имени князя Пожарского. Мы подлинно не знаем, как относился к делу избрания в цари Михаила Федоровича человек, которого судьба выдвинула вперед, поставила на короткое время во главе Русской Земли. Он не был в числе послов, ездивших к царю Михаилу Федоровичу с просьбою от Земского Собора принять царский венец. Ни во время прибытия царя в столицу, ни во время его венчания Пожарский не выказал себя ничем.

Новый царь возвел его из стольников в бояре, но замечательно, что существеннейшие награды, состоявшие в вотчинах, Пожарский получил главным образом уже после, по возвращении Филарета, тогда как Трубецкой был награжден гораздо раньше и гораздо щедрее Пожарского.

Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой получил богатейшую область Вагу, которая некогда составляла источник богатств и материальной силы Бориса Годунова. Грамота на владение этою областью дана была ему еще до царского избрания Земским Собором, и Пожарский был в числе подписавших ее. В ней, между прочим, выставляется важнейшею заслугою князя Дмитрия Тимофеевича отбитие воез с запасами у Ходкевича, и при воспоминании об этом со-

бытии не упоминается о князе Дмитрие Михайловиче Пожарском, тогда как при исчислении других дел Трубецкого, совершенных после прибытия под Москву Пожарского, говорится и о последнем, но всегда как о втором лице, ниже Трубецкого. Во все царствование Михаила Федоровича мы не видим Пожарского ни особенно близким к царю советником, ни с особенно важными государственными поручениями, ни главным военачальником: он исправляет более второстепенные поручения. В 1614-м году он воюет с Лисовским и скоро оставляет службу по болезни. В 1618-м году мы встречаем его в Боровске против Владислава; он здесь не главное лицо; он пропускает врагов, не делает ничего выходящего из ряда, хотя и не совершает ничего такого, что бы ему следовало поставить особенно в вину. В 1621-м году мы видим его управляющим разбойным Приказом. В 1628-м году он назначен был воеводою в Новгород, но в 1631-м сменил его там князь Сулешев; в 1635-м году заведовал судным Приказом, в 1638-м году был воеводою в Переяславле-Рязанском и в следующем году был смещен князем Репниным. В остальное время мы встречаем его большею частью в Москве. Он был приглашаем к царскому столу в числе других бояр, но нельзя сказать, чтоб очень часто: проходили месяцы, когда имя его не упоминается в числе приглашенных, хотя он находился в Москве. В ответах с послами он был редко — не более трех или четырех раз, и всегда только в товарищах. Мы видим в нем знатного человека, но не из первых, не из влиятельных между знатными. Уже в 1614-м году, по поводу местничества с Борисом Салтыковым, царь, «говоря с бояры, велел боярина князя Дмитрея Пожарского вывести в город и велел его князь Дмитрея за бесчестье боярина Бориса Салтыкова выдать Борису головою». Как ни сильны были обычаи местничества, но все-таки из этого видно, что царь не считал за Пожарским особых великих заслуг отечеству, которые бы вывели его из ряда других. В свое время не считали его, подобно тому, как считают в наше время, главным героем, освободителем и спасителем Руси. В глазах современников это был человек «честный» в том смысле, какой это прилагательное имело в то время, но один из многих честных. Никто не заметил и не передал года его кончины, только потому, что с осени 1641-го имя Пожарского перестало являться в дворцовых разрядах, можно заключить, что около этого времени его не стало на свете. Таким образом, держась строго источников, мы должны представить себе Пожарского совсем не таким лицом, ка-

ким мы привыкли представлять его себе; мы и не замечали, что образ его создан нашим воображением по скудости источников... Это не более, как неясная тень, подобная множеству других теней, в виде которых наши источники передали потомству исторических деятелей прошлого времени<sup>1</sup>.

### III

Несколько яснее представляется нам образ другого знаменитого деятеля конца Смутной эпохи, неразлучного в нашей истории с Пожарским — Козьмы Минича Сухорукого, известного под сокращенным прозвищем Минина (по общеупотребительному у великорусов способу называть людей по отчеству — Иванов, Петров, Лукин, Силин и т. п.). Благодаря некоторым, хотя коротким и отрывочным, но резким и характерным признакам мы можем, хотя приблизительно, составить себе представление об этой личности как о живом человеке. Нам прежде всего помогает известие о том, как во время первого собрания нижегородцев по случаю чтения грамоты, присланной троицким архимандритом Дионисием, Минин заявил народу, что ему

---

<sup>1</sup> При такой неясности образа человека, бесспорно, некоторое время поставленного на челе народа, конечно, было бы драгоценно всякое новое свидетельство современников, касающееся его биографии. И вот в прошлом 1870-м году в I книге Чтений Императорского московского общества истории и древностей мы с жадностью бросились на статью под названием: «Следственное дело о князе Дмитрие Михайловиче Пожарском во время бытности его воеводою во Пскове». В предисловии к этому делу, написанном действительным членом общества П. Ивановым, сказано: «Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, посланный в 7136-м (1628) воеводою во Псков, был обвинен, вместе с товарищем своим, князем Даниилом Гагариным, во время своего управления в разных злоупотреблениях власти. Почему в 7139-м наряжено было над ним особое следствие. Следователями назначены были новые воеводы: князь Никита Михайлович Мезецкий и Пимен Матвеевич Юшков; при них для делопроизводства находился дьяк Евстафий Кувшинников. Следствие продолжалось целые восемь месяцев (с декабря по июль включительно). В продолжение этого времени городские и пригородные жители всех сословий, духовенство, служилые люди, посадские и крестьяне собираемы были для показаний в съезжую избу». Из напечатанного дела оказывается, что князя Дмитрия Пожарского обвиняли в разных злоупотреблениях, совершенных во время его двухлетнего воеводствования во Пскове, которые сводятся, главным образом, к трем видам преступлений: к обращению в свою пользу казенного интереса, к составлению лживых актов (записыванием лиц, обращенных в своих холопей, на имя других) и к притеснениям посадских и волостных людей, находившихся под его управлением. Относительно первых двух видов преступлений спрошенные лица не показали ничего обвинительного. Не то оказалось по поводу третьего вида — притеснения подчиненных.

были видения, явился св. Сергей: «Не было тебе никакого видения!» — сказал соперник его Биркин, как бы холодной водою окативший восторженное заявление Козьмы Минина. — «Молчи!» — сказал ему Козьма Минин и тихо пригрозил объявить православным то, что знал за Биркиным; и Биркин должен был замолчать.

Достоверность этого сказания с первого взгляда не без основания можно подвергнуть сомнению. Если Минин произнес свои слова Биркину тихо, то кто же слышал их и каким образом они сделались известными и попали в исторический источник? Но, с другой стороны, рассмотревши обстоятельства дела, мы должны будем признать, что это было возможно. Биркин заявил свое сомнение в справедливости чудесных видений Минина гласно; все это слышали; но вслед затем после короткого тихого изречения, сказанного ему Мининым, может быть, даже после одного слова, сопровождаемого взглядом, который Биркин должен был понять, это сомнение уже не раздавалось. Знавшие, кто такой Биркин, или считавшие его человеком с предсудительными поступками, сейчас поняли, в чем тут дело; наконец, и сам Минин своим приятелям мог впоследствии сказать, что заставил Биркина замолчать. Остается необъяснимым одно — почему Минин не обличил Биркина тогда же, если знал за ним дурное? Можно допустить несколько причин и соображений, одинаково вероятных. Как бы то ни было, мы не видим необходимости отрицать фактическую верность этого известия, тем более, что и выдумывать его не было причины и повода. Оно не служило ни к пользе, ни ко вреду Минина. Тот, кто сообщил о сомнении Биркина и о тайном замечании, сделанном ему Мининым, не заподозревал через то добросовестности заявлений Минина о виденных им знамениях. Весь склад этого сказания показывает, что оно составлено во время, близкое к описываемым событиям. Мы видим в Козьме Минине человека тонкого и хитрого, сознававшего, что он по уму стоит выше той толпы, на которую вознамерился действовать. Он избрал верный путь овладеть этою толпою: надобно было ухватиться за ее благочестивое легковерие, надобно было показать себя человеком, осененным благодатью религиозных видений, навести на слушателей обаяние чудесности, и, таким образом, внушить уважение к своим речам и советам и заставить покоряться своей воле. Так поступал когда-то иерей Сильвестр с немногоумным царем Иваном Васильевичем, и Курбский оправдывал его примером тех родителей, которые приказывают стращать детей вымыш-

ленными пугалами. Умные люди старого времени не считали безнравственным делом подчас обманывать людей чудесами для хорошей цели. Так поступил и Минин с целью двинуть и повести народ на великое и благое дело спасения земли Русской. Не он был первый. Чудесные видения были тогда в большом ходу, несмотря на то, что о вымышленности некоторых тогда же узнавали. Измученный народ уже не доверял человеческим силам, ожидал помощи только свыше и не стал бы слушать никакого умного совета и увещания, если не видел на нем печати чудесности. Минину, для успеха, непременно было нужно начать с того, с чего он начал. Минин, как видно, хорошо и в разных видах понимал человеческую природу и сообразно этому взвешивал шаги свои. Он знал, что значит расположение толпы: она увлечется его речами, поверит его видениям, слепо отдастся ему на волю и последует за ним; но потом, когда почувствует неизбежную тяжесть от его руководства, тогда, по наущению какого-нибудь Биркина, отстанет от него, изменит общему делу. Нижегородцы просили его быть над ними старшим человеком, но Минин сообразил, что следует поставить их в большую необходимость избрать его старшим и повиноваться ему. Он сначала предложил в предводители будущей ратной силы князя Дмитрия Михайловича Пожарского; мы думаем, что Минин уже прежде сносился с ним, по крайней мере несомненно знал его близко. Пожарский, как известно, соглашаясь принять начальство, заявил о необходимости избрать выборного человека для сбора казны и прямо указал на Минина. Тогда нижегородцы, избрав Пожарского, естественно не только расположены были, но уже должны были выбрать того, кого желал приглашаемый военачальник. Принялись просить Минина. Минин отказывался для того, чтоб его более просили и тем более предоставили ему власти; наконец он согласился не иначе, как выговоривши себе крепкую диктатуру.

Кому не известно много раз повторенные в разных книгах слова, произнесенные Мининым при первом возбуждении нижегородцев: «животы, дворы наши продадим, жен и детей в кабалу отдадим». Некоторые считали эти слова одним риторством. Нам кажется, эти слова имели действительный, буквальный и притом тяжелый смысл; они объясняются тем, как поступал Минин после того, как Пожарский согласился принять начальство над предполагаемым ополчением, а Минин был избран выборным человеком. Он потребовал рукоприкладства в том, чтобы слушаться во всем его и князя Пожарского, ни в чем не

противиться, давать деньги на жалованье ратным людям, а если денег не будет, то силою брать животы и продавать, даже жен и детей закладывать.

Здесь открывается нам еще новая сторона характера Минина. Это был человек с крепкою волею, крутого нрава, человек в полном значении слова практичный, — один из тех типов политических деятелей, которые избирают самый ближайший и легчайший путь, ведущий к цели, не останавливаясь ни перед какими бы то ни было тягостями и бедствиями, могущими от этого возникнуть для других, не заботясь о том, что произойдет после, лишь бы скорее была достигнута намеченная цель. Выгнать поляков — то была цель; для нее необходимо было войско, а на войско необходимы были деньги. Если они у кого были, то разве у богатых купцов и вообще посадских; но в те времена, как нам известно, люди, копившие деньги, скрывали их, прятали в земле, а сами ходили и жили черно, показывая вид, что у них нет богатства, — иначе либо власти отнимут, либо воры и разбойники похитят; в Смутное время подавно денежным людям надобно было так поступать. Но как вытянуть денег от таких людей, чтобы потом пустить в оборот для общего дела? Добровольно отдадут немногие из них, а насильно взять нельзя, потому что они у них зарыты где-нибудь в земле. Раздражать богачей было бесполезно, да притом и сам Минин, очевидно, принадлежал к их среде; он был «говядарь» — гуртовщик, продавец скота, а этот промысел отбывался людьми зажиточными. Минин обложил всех пятою деньгою (по некоторым даже третьею), т. е. пятою (или третьею) частью состояния; но этого было мало, потому что ему, конечно, не удалось бы взять от богачей положенной части: богачи без крайней нужды не покажут, сколько у них есть того, о чем, кроме них, никто не знает; самопожертвование могло быть уделом только немногих, вроде той вдовы, которая своею искренностью, по выражению источников, всех в страх вложила; но у большинства человеческая природа должна была брать верх. И вот Минин для приобретения денег пустил в торг бедняков: за неимением у них денег, оценивали и продавали их имущества и отдавали их семьи и их самих в кабалу. Кто же мог покупать дворы и животы, кто мог брать людей в кабалу? Конечно, богатые люди. Этим путем можно было вытянуть от них спрятанные деньги. Само собою разумеется, имущества и люди шли за бесценок, потому что в деньгах была нужда, а выставленного товара было много. Конечно, нужно было, чтоб покупать и брать в кабалу было для бо-

гачей очень выгодно; только тогда они решатся пустить в обращение свои деньги. Такая мера влекла за собою зло-вредные последствия; изгнавши чужеземных врагов, Русь должна была накатить на себя внутреннее зло — порабощение и угнетение бедных, отданных во власть богатым. У нас под руками нет достаточного количества материалов, которые бы разъяснили нам основательно, насколько эта мера в свое время принялась и как отразилась на народной жизни в последующие времена; но известия о множестве беглых кабальных людей в царствование царя Михаила Федоровича и о тесноте, которую в посадах бедные люди терпели от «мужичков-горланов», должны состоять в связи с теми средствами, к которым прибегал Минин для составления ратных и ведения войны. Вообще рука этого выборного человека была тяжела: он не жаловал ни попов, ни монастырей, хотя, как заверял, ему и являлись святые. Круты и жестоки были меры Козьмы Минина, но неизбежны: время было чересчур крутое и ужасное; нужно было спасать существование народа и державы на грядущие времена.

Если бы мы позволили себе делать заключение об отсутствии того в действительности, чего отсутствие находим в источниках, то, не видя за Пожарским никаких признаков, возвышающих его личность над уровнем дюжинных личностей, мы пришли бы к такому заключению, что Минин умышленно пригласил предводителем малоспособного князя, чтобы удобнее было самому безусловно всем распоряжаться, тем более, что этот говядарь, несколько прежде ознакомившись с военным делом, показывал способности военного человека. Под Москвою в то самое решительное время, когда козаки покушались отбивать неприятельский обоз на Замоскворечье, Минин смекнул, что надобно побеспокоить литовское войско с другой стороны и развлекать неприятельские силы: он выпросил у Пожарского небольшой отряд, пригласил с собою передавшего поляка Хмелевского, ударил на неприятельские роты у крымского двора и сбил их, содействуя, таким образом, главному делу, совершаемому козаками. Под Москвою, в битве, Минин выказал себя более Пожарского. Но признавать несомненным фактом предположение о такого рода побуждениях Минина в избрании Пожарского, при всей его вероятности, мы считаем несообразным с осторожностью, необходимую при составлении исторических выводов.

Уже указанных нами черт достаточно, чтобы признать в Минине человека большого ума и крепкой воли, человека

необыкновенного. Но этим почти и ограничиваются наши сведения об этом человеке. Недавно нам досталось любопытное сведение, касающееся биографии Минина. За Волгою, против Нижнего в нынешнем Семеновском уезде, был монастырь Толоконцевский (теперь там село Толоконцево) постронный при великом князе Василии Ивановиче бортниками. Монастырь был самостоятелен и получил от царя Ивана Васильевича жалованную грамоту. Но позже, при царе Федоре Ивановиче, игумен этого монастыря Калликст «проворовался и пропил всю монастырскую казну и все грамоты и документы отдал Печерскому монастырю». С тех пор Печерский монастырь противозаконно завладел Толоконцевским. В Смутное время толоконцевские бортники жаловались на такое неправое завладение в Приказ Большого дворца Борису Михайловичу Салтыкову да Ивану Болотникову. Февраля 22-го 1612 года послан был произвести обыск некто Антон Рыбушкин. По обыску оказалось, что толоконцевцы были вполне правы; монастырь был государственное строенье, а не Печерского монастыря, но нижегородские посадские старосты Андрей Марков и Кузьма Минин Сухорук, «норовя Феодосию, архимандриту печерскому, по дружбе и посулам, опять отдали Толоконцевский монастырь Печерскому». При Михаиле Федоровиче бортники жаловались снова. Если верить этому документу, то Минин, как русский человек того времени, не изъят был от пороков кривосудия и посуловзимательства<sup>1</sup>.

Кроме этого известия, мы не знаем ничего о его прежней, ни о его последующей жизни, не знаем, как он относился к медленности Пожарского, на которую жаловались троицкие власти, неизвестны нам способы обращения его с казною, которая была ему вверена; множество вопросов готовы явиться к нам на глаза, и на них мы не в состоянии отвечать. Мы не можем воссоздать себе вполне ясного, выпуклого образа этого замечательного человека.

#### IV

Скажем еще о четвертой личности, мимоходом промелькнувшей при самом окончании Смутной эпохи — об Иване Сусанине. Мы уже изложили свое мнение на счет этой личности в статье, напечатанной в 1-м томе Истори-

---

<sup>1</sup> За сообщение этого сведения приношу благодарность Павлу Ивановичу Мельникову.



ческих Монографий и, сверх того, в качестве дополнения к означенной статье в примечании, напечатанном в 3-ей части сочинения «Смутное время Московского государства — Московское разоренье»<sup>1</sup>. Мы бы не воротились к этому предмету, если бы не появлялись в изданиях, специально посвященных русской истории, статьи, изъясняющие притязание на открытие новых, до сих пор неизвестных источников. Во 2-й книжке «Русского Архива» 1871-го года г. Владимир Дорогобужинцов рыцарски восстает на нас за Ивана Сусанина, возмущаясь «покушением отнять у народа кровную заслугу его», и требует оставить ему и другим «веру в Сусанина». Если бы шло дело об одной «вере», то и возражать было бы неуместно. Отчего ж не верить, если от этого тепло и приятно? Но когда собственную веру выдают нам за правду о Сусанине и когда, поэтому, приводят новые факты в качестве исторических, то мы считаем обязанностью подвергнуть их критике и сообразить: можно ли, в самом деле, признать их достоверность.

Г. Дорогобужинцов сообщает записку протоиерея села Домнина Успенской церкви Алексея Домнинского. В ней сообщаются следующие «народные предания, послужившие источниками для составления рассказа о Сусанине, приложенного под названием «Записка или свод преданий».

1) В село Домнино приезжали паны с собаками погубить царя Михаила Федоровича (к этому сделано примечание: приезжали не на санях и не в телегах, а на лошадях верхом, с собаками такими, кои по обонянию могут отыскивать след человеческий).

2) Царь Михаил Федорович спасся от панов на дворе под яслями коровьими.

3) Крестьянин Иван Сусанин был старостой в господском доме лет тридцать (протоиерей прибавляет к этому от себя, что Сусанин был старостою; это полагаю справедливо, потому что первоначально о сем слышал я от престарелого села Станкова священника, который родился и был воспитан в доме своего деда, домнинского священника Матвея Степанова, а сей был внук домнинскому же священнику Фотию Евсееву, самовидцу описываемого события. Он в жалованной грамоте значится дьячком и наименован тором. Это я знаю потому, что от того же родоначальника происхожу и имею на то документы. Домнинские старые крестьяне тоже говорили, что Сусанин был старостою).

<sup>1</sup> См. также «Вестн. Евр.», 1867, сент., 36 стр.

4) Паны его мучили и кроили из спины ремни, чтобы он сказал им про царя Михаила Федоровича, но он их обманул и провел лесами и оврагами на Чистое Болото к селу Исупову.

5) Там его изрубили неприятели на мелкие части.

6) Царь Михаил Федорович сам складывал в гроб изрубленные части.

7) Сусанин погребен под церковью, и туда каждого дня ходили в старину петь панихиды.

8) Дочь Сусанина Степанида ежегодно ездила в город Москву в гости (протоиерей замечает, что, вместо Антонида, молва ошибочно называет ее Степанидою).

9) Крестьянам тогда житье было самое хорошее.

10) Мать царя Михаила Федоровича наказывала молвитинским крестьянам не обижать ее крестьян.

11) Ах, матушка наша была Оксинья Ивановна!

12) Царя Михаила Федоровича провожали крестьяне из Домнина в обозе с сеном (из опасения — замечает отец протоиерей — чтобы на дороге не случилось такой же смертной опасности, как и в Домнине).

13) Много припасено было Сусаниным про царя Михаила Федоровича ям, т. е. тайных мест в земле.

14) Царь Михаил Федорович закрыт был от панов в сгоревшем овине (здесь от протоиерей присовокупляет: «должно быть и у зятя Сусанина в деревне Деревнище приготовлено было место в земле для укрывательства от набегов неприятельских»). В истории о Костроме князя Козловского (1840 г., стр. 157) напечатано: «В одной древней рукописи, находящейся у издателя «Отечественных Записок», сказано, что Сусанин увез Михаила в свою деревню Деревнище и там скрыл его в яме овина, за два дня перед тем сгоревшего, закидав обгорелыми бревнами, а по-моему, за два дня перед тем сгорел овин не случайно, а нарочно зажжен; увез в свою деревню Деревнище; по-моему, Сусанин, явившийся к великой старице, вскоре по прибытии ее из Москвы в Кострому, с отчетами вотчинными, нашед ее в смертельном страхе, по случаю прибывших в Кострому поляков и узнавши все ее тесные обстоятельства, сам выпросил Михаила Федоровича к себе в Домнино с клятвой сохранить его во что бы ни стало, а привезя в Домнино, наказал зятю своему перевезть его, когда откроется удобный случай, из Домнина в Деревнище. «За два дни сгоревшего перед тем» — это, кажется, означает, что Сусанин привез Михаила Федоровича только за два дня до прибытия поляков и при том так скрытно, что никто про него не знал, кроме зятя и дочери.

15) Сусанин, по прибытии панов в Домнино, угощал их хлебом-солью.

16) Сверх того недавно слышал я от одного старика следующий рассказ. Хотели было убить царя Михаила Федоровича паны и гнались за ним от Москвы до Костромы: «там сказали ему: никто, кроме Ивана Сусанина, тебя спасти не может». И приехали было паны в село Домнино с собаками, спрашивали Сусанина про царя Михаила Федоровича, мучили его и кроили из спины ремни, но он им не сказал про него и увез в лес да в овраги, а оттуда на Чистое Болото; там бросился было он через реку, но враги схватили его и изрубили на мелкие части.

Народные предания, переходя из уст в уста, от поколения к поколению, подвергаясь влиянию фантазии и случайным переделкам вследствие запамätования, сами по себе есть такой источник, который более важен для определения народного воззрения на события, чем для узнавания фактической правды. В последнем отношении ими можно пользоваться только с самою крайнею осторожностью.

Каким путем переходили выше приведенные известия о Сусанине, которые названы народными преданиями?

Тот же о. протоиерей «неизлишним делом считает сказать, что крестьяне села Домнина все суть недавние жильцы оного; они все переселились в него из разных селений после перехода монастырских имений в государственное ведомство, а прежде сего перехода в селе Домнине крестьян не было; зато священники в нем были тутошние все уроженцы и притом с незапамятных времен от одного рода, а потому неудивительно, что сии предания перешли от них к крестьянам. Родитель мой (говорит о. протоиерей в выноске) и его предместник происходили от двух братьев, священствовавших в Домнине около 1700 г., Матфея и Василья Стефановых, из коих первый Матфей первому (родителю автора) был прадед, а второй Василий предместнику родителя автора был дед; а оных священников дед, тоже домнинский священник, Фотий Евсевьев был самовидцем описываемого события».

Значит, крестьяне села Домнина в своих народных преданиях повторяют только то, что слышали, как думает о. протоиерей, от священников, которые все происходили от одного рода.

Мы не в состоянии поверить генеалогии и последовательности священников села Домнина, но верим на слово о. протоиерею, тем более, что верим и в его добросовестность: происходя из того же рода, из которого перешли в народ

предания, он однако ничего не получил от членов своего рода относительно Сусанина и его подвигов, кроме того; что слышал от двоюродного деда своего, что Сусанин был вотчинным старостою. И более ничего. Сам г. Дорогобужинцов говорит: «родитель (отца протоиерея) относился довольно безучастно к подвигу Сусанина; спросили у него крестьяне — он рассказал им что знал; не спрашивал сын смолodu, пока жив был отец — последний не счел и нужным по собственному побуждению говорить ему об этом. Если б нынешний отец протоиерей был менее добросовестен, — ему ничего бы не стоило сказать: так я слышал от отца и деда — и делу конец. Тут было бы семейное предание, но он этого не говорил; он передает только то, что слышал в качестве народных пересказов, и только полагает, что последние перешли к крестьянам от священников. Но странно! Если у священников села Домнина было так мало интереса к памяти Сусанина, что сын не слышал о нем подробностей от отца, то как могли быть счастливее и любознательнее в этом отношении крестьяне? Если только преемственность священнического сана в селе Домнине, оставаясь в одном роде, что-нибудь да значила для Сусанинской истории, то рассказы о ней должны были переходить от отцов к детям; мы же, напротив, встречаем то многозначительное обстоятельство, что один из членов этого рода, желая сказать что-нибудь о Сусанине, должен ловить рассказы крестьян и почти ничего не в силах вынести из своей семейной сокровищницы. Кто же поручится, что и прежние священники села Домнина передавали своим ближайшим потомкам более сведений о Сусанине, чем мог получить от своих родных почтенный отец протоиерей Алексей? Если же сомнительно, чтобы предания о Сусанине в одном и том же роде переходили от старших членов рода к младшим, то сомнительно, чтоб они и сохранились в этом роде. Сам г. Дорогобужинцов, выставив, как оружие против нас, возможность преемственного сохранения преданий о Сусанине в роде, из которого лица были священниками в с. Домнине, очень добросовестно поражает тем же оружием себя самого. Он говорит: «глядя на современных нам стариков из духовенства по деревням, легко представить себе, как узко кругозором и бедно научными интересами должно было быть развитие заурядных сельских священников в конце минувшего столетия». При таком положении всего вероятнее, что если в селе Домнине и священнодействовали лица из одного рода один вслед за другим, с самого Михаила Федоровича, то все-таки, будучи

«бедны научными интересами и поэтому мало находя интереса в исторических вопросах, не могли не утратить воспоминания о старине, которой свидетелями были их предки: следовательно, уже по той причине, какую привел г. Дорогобужин, едва ли у них могло сохраниться предание о Сусанине. При том сам отец протоиерей Алексей очень неясно представляет нам сведения об источниках преданий, слышанных им от крестьян. Он сообщает, что эти предания известны ему *большою частью* от крестьян села Домнина, «наипаче же таких, кои близко были расположены к его родителю (утопленному раскольниками еще в 1814-м г.) и к его предместнику. Слова *большою частью наипаче* показывают, что отец Алексей не все предания слышал от тех, которые были близки к его родителю и его предместнику: если так, то, следовательно, не все эти предания могли исходить из архива фамильных воспоминаний священнического рода, и хотя отец Алексей полагает, что эти предания перешли к крестьянам от лиц того рода, к которому он сам принадлежал, но это не более, как предположение, тем более, что добросовестный отец Алексей хотя и заметил, что многие, говорившие с ним о Сусанине, были близки к его родителю и его предместнику, однако, не уверяет нас положительно, что они от последних слышали то, что рассказывали.

Читатели ясно могут видеть, что источник преданий очень мутен и неясен. Рассмотрим самые предания по их содержанию.

Отец протоиерей, говоря, что все крестьяне села Домнина недавние жильцы и прежде всего в селе Домнине крестьян не было, объясняет, что и при Сусанине в селе Домнине не было крестьян. Г. Дорогобужин, ухватившись за это, говорит: «вот и ответ на слова г. Костомарова: если поляки пришли в село Домнино, где находился в то время царь, то уж конечно нашли в этом селе не одного Сусанина, который был притом житель не самого села, но выселка. В таком случае они пытали бы и мучили не одно лицо, а многих». Отчего же не допустить, — замечает г. Дорогобужин, — что в момент подвига Домнино было не село с десятками или сотнями жильцов, а просто помещичья усадьба, приказанная одному крестьянину Сусанину?» Но разве была возможность, чтобы в помещичьей усадьбе тогдашнего знатного боярина был всего-навсего один человек, и чтобы при этом там находился сам боярин, да еще какой боярин, — тот, кого избирали в цари! Это утверждать было бы до крайности нелепо, и вот думают

замазать эту нелепость другою. В записке или своде преданий, составленном отцом Алексеем, рассказывается, что Михаил Федорович был в Костроме (где ему и подобало быть по истории); вдруг «враги царства русского» прибыли в предместье Костромы, и в это время явился Сусанин, управитель-староста домнинской вотчины, и сказал Марфе Ивановне: «Отдай мне Михаила Федоровича, я сохраню его для святой России и пр. Михаил Федорович, с согласия матери, в крестьянской одежде, выехал из города и прибыл в Домнино ночью же, без всякой огласки. Здесь он тотчас скрылся на дворе в подземном тайнике и закрыт был коровьими яслями, а Сусанин каждый раз с самого раннего утра до позднего вечера уходил в лес рубить дрова. Мы не знаем — *предание* ли это, или это, как и вероятно, комментарии отца Алексея на предания (в числе преданий это не помещено), во всяком случае измыслить такой исторический роман могли только люди, малосведущие в истории. Едва ли сообразно с бытом и обычаями времени, чтоб от опасности бежали из города в необитаемую усадьбу, тогда как, наоборот, слышавши о приближении врагов, люди из сел и деревень бежали в города? Сообразно ли с здравым смыслом, чтобы мать юноши, кандидата в цари, отпустила его с одним крестьянином Бог знает куда? И когда это было, и какие это были враги? В «Записке или своде преданий» говорится, что это происходило после того, как «в Москве все чины соединились в одну думу: быть царем Михаилу Федоровичу Романову, весть сия о предназначении Михаила Федоровича на царство скоро донеслась в неприятельскую армию»; не опуская из вида главной цели: покорить Россию польской державе, там, в воинском совете, положили послать отряд смелых охотников в Кострому для погубления Михаила Федоровича, и эти «известия, как о назначении Михаила Федоровича на царство, так и о посланных польских злодеях для погубления его, дошли до Марфы Ивановны в то самое время, когда враги царства русского прибыли уже в предместье Костромы и через своих доброхотов изыскивали средства к исполнению своего намерения». Но после избрания Михаила (22 февр.) до прибытия послов в Кострому (10 марта) никак не могла дойти весть в Польшу (а неприятельской армии в России не было); не могли, вследствие этого, послать в Кострому отряд смелых охотников, и смелые охотники не могли дойти до Костромы; наконец, нам достоверно известно, что Марфа Ивановна получила весть об избрании сына через послов, прибывших в Кострому с значительным отрядом,

который был бы в состоянии защищать новоизбранного царя удобнее, чем крестьянин Сусанин. Если б все это было в самом деле народное предание (в чем мы сомневаемся), то оно не имело бы никакой фактической достоверности, а если это комментарий, то он показывает столько же невежество, сколько большую несообразительность его составителей.

В так называемых «народных преданиях» мы видим четыре признака подобных, но не тождественных, явно относящихся к одному и тому же главному моменту и взаимно себя уничтожающих. № 2-й народных преданий (см. выше) говорит, что царь Михаил Федорович спасся от панов на дворе под яслями коровьими; № 12-й говорит, что царя Михаила Федоровича провожали крестьяне из Домнина, в обозе с сеном; № 13-й говорит о тайных ямах, вырытых Сусаниным в земле заранее про царя Михаила Федоровича; № 14-й говорит, что царь Михаил Федорович был закрыт от панов в овине. Отец Алексей в своем своде преданий прибегнул к способу, крайне несостоятельному с точки исторической критики. Он сблизает два из признаков в один момент — коровьи ясли и ямы, а остальные прикидывает к различным, вымышленным для этой цели, событиям; между тем для всякого, кто будет смотреть на это беспристрастно, без заранее предвзятой веры, слишком ясно, что все это не более, как видоизменения одного и того же представления, которого смысл состоит в том, что царь Михаил Федорович, по приближении врагов, куда-то спрятался; затем уже та и другая фантазия, по своему вкусу, сочиняла для этого и коровьи ясли, и обоз с сеном, и ямы, и овины. Такие варианты — самое обыкновенное и почти неизбежное явление в народных пересказах. Простодушный составитель свода преданий, наперед задавшись слепую верою в несомненную достоверность того, что говорят ему предания, заботится только о том, чтоб каждому признаку отвести приличное место; но историческая критика не может удовлетворяться таким произволом. Это, в некотором роде, напоминает особенности древней римской истории, где подобные составители сводов преданий создавали различные события, похожие одно на другое, однако наука, разработавшая римскую историю в лице Нибура и его ученых преемников, не иначе понимала подобные сказания, имевшие вид различных событий, как видоизменения одних и тех же первоначальных представлений.

Несообразность с истиной народных преданий о Сусанине, с которыми нас знакомят во 2-й кн. «Русского Архива»

1871 года, видна во всем. «Паны мучили Сусанина и кроили у него с спины ремни, чтоб он им сказал про царя Михаила Федоровича, но он их обманул и провел лесами и оврагами на Чистое Болото к селу Исупову». Есть ли какая-нибудь физическая возможность человеку, с которого кроили ремни, ходить несколько верст! Статочное ли дело, чтобы в боярской усадьбе не было, как толкуют, живой души, кроме Сусанина? Если бы Сусанин был так близок царю Михаилу Федоровичу, возможное ли дело, чтоб царь только через восемь лет наградил семью его и притом таким скудным образом? А каждогодние поездки дочери Сусанина в Москву в гости? К кому она ездила в гости? К царю? Здесь чересчур видно крестьянски-патриархальное представление об условиях жизни! Обратим, наконец, внимание на то, что Сусанин погребен под церковью и туда каждого дня ходили в старину петь панихиды». Если так, то, значит, под церковью был погреб. Действительно, о. протоиерей говорит: «С южной стороны под придел Успения Божией Матери построен был только вход, дверь коего от долговременности так была угружена в землю, что при сломке церкви виден был верхний косяк. Предание же говорит, что туда под церковь ходили петь панихиды». И в самом деле, после разборки церкви, под приделом Успения Божией Матери, в том же 1831-м году при взрытии могилы для умершего младенца в глубине земли открыт был гроб, и в нем остатки мужеского тела: «череп и волосы были целы, а в изголовье была найдена фарфоровая чашка с яркими на выпуклости цветами. Думать должно, что тело сие было похоронено у самой церковной стены, при распространении же церкви закрыто было приделом Успения Божией Матери. На всем пространстве, какое занимала церковь своим зданием, кроме означенной, ни одной могилы не открыто. Отец протоиерей не говорит нам прямо, что это Сусанин, но оставляет читателям самим догадаться. «Что касается могилы, найденной мною в 1831-м году — замечает он — то совершенно не лгу, и сохрани меня Боже лгать при конце жизни на истину, хотя на историческую». Но если это Сусанин, то как попала в гроб его чайная чашка? В то время не только у крестьян, у бояр не было такого рода вещей, да и не было в них нужды! Очевидно, могила — времени более позднейшего. Заметим, что если над могилою Сусанина служили панихиды, а потом перестали, то это значит, что и воспоминания о нем исчезли у священников.

Нельзя не поблагодарить отца Алексея за сообщение публике этих преданий. Повторим, что нимало не сомневаемся в его добросовестности не только относительно преданий, но и относительно составленной им записки или



свода преданий. Веря им вполне, он сшивал их произвольно, починал заплатами собственного измышления и поступал добросовестно: не его вина, что он не умел иначе относиться к этим материалам и обращаться с ними; не его вина, что распространить короткие и отрывочные сказания силою своего воображения для него не значило «лгать на истину, хотя на историческую».

Но какого рода эти предания: древние ли они или сравнительно позднейшего изобретения, и могут ли они в какой бы то ни было степени указывать на действительно совершавшиеся факты?

Г. Дорогобужинов сильно хочет опровергнуть высказанное в статье «Иван Сусанин», напечатанной в 1-м томе «Исторических Монографий и Исследований», мнение о том, что книжные вымыслы могли распространяться в народе. Но он не точно говорит, будто в этой статье вообще «предание о Сусанине», если оно есть в народе, непременно признается пришедшим из книг, разобранных по отношению к Сусанину в этой статье. Не о предании вообще там говорилось, а о том образе, в каком излагалась в книгах история Сусанина.

Предания, сообщенные о протоиерее, отличны от этой истории и не заимствованы целиком прямо из тех книг, о которых шла речь; но и это не упрочивает однако за ними древности, не освобождает их от влияния книжности на их составление и еще более — не дает им никакого права занять место между источниками русской истории. За происхождением их нет ни признаков, ни доводов древности; они не истекают из архива фамильных преданий священствовавшего рода; иначе отцу протоиерею нечего бы упираться на них: ему достаточно было привести то, что он слышал не от крестьян, а от своих родных; да наконец мы думаем, что если бы предания о Сусанине интересовали членов священствовавшего рода, то ранее отца Алексея нашелся бы кто-нибудь из этого рода, который написал бы то, что знал, если не для себя, то для других. Не заимствовавши этих преданий из фамильных родовых воспоминаний священников, крестьяне села Домнина не получили их и в качестве местных воспоминаний от своих предков; сам же о. Алексей полагает, что они, как люди недавние, могли слышать об этом только от священников.

Жители окрестностей Костромы естественно должны знать имя Сусанина. Во-первых, существуют крестьяне, пользующиеся льготами за подвиг Сусанина; во-вторых, в Костроме есть памятник с барельефными изображениями

события в том виде, в каком его рассказывали книжники. Конечно, очень многие из окрестностей бывали в Костроме и видали этот памятник, слышали, что такое он означает и для чего поставлен, а тем самым знакомились, хотя в основных чертах, с историей Сусанина. Всякий, учившийся на Руси истории, наверно знает о Сусанине, а в Костроме, где с его именем соединяется местный интерес, вероятно, знает о нем всякий грамотный; от грамотных узнают и неграмотные... тут не нужно никакой Макферсона, как говорит г. Дорогобужин. Проникая в сельский народ, эта история естественно облеклась в образ предания и видоизменилась сообразно крестьянским представлениям: ясно, что ясли, обоз с сеном, оvin, соби́рание собственными руками царя частей тела, поездки Степаниды в Москву в гости — все это измышления крестьянской фантазии, при неизбежном влиянии крестьянского кругозора.

Итак, после напечатанной во 2-й кн. «Р. Архива» статьи «Правда о Сусанине» мы знаем об этом лице не больше того, сколько прежде знали, а именно: что в 1619-м году Богдан Сабинин получил от царя Михаила Федоровича обильную грамоту за своего тестя Ивана Сусанина, которого польские и литовские люди пытали, желая доведаться от него, где находился царь Михаил Федорович и, не допросившись, замучили до смерти<sup>1</sup>. Затем всякие подробности, выдуманные и, как оказывается, до сих пор выдумываемые, следует выбросить из истории, — подобно тому, как и многое еще придется выбросить из отечественной истории, если дружно приняться чистить авгиеву конюшню.

---

<sup>1</sup> Известный наш этнограф С.В. Максимов, сам будучи родом из Костромской губернии, сообщал нам, что слышал на своей родине такое предание о Сусанине, что злая судьба постигла его не в Домнине, а где-то на дороге, по которой он шел в гости к своей дочери, отданной замуж куда-то в иную сторону. Поляки встретили его, стали допрашивать и, замучили. Это предание приблизительно согласуется с тем предположением, которое высказано было нами в III части сочинения «Смутное Время», именно, что Сусанин скорее мог быть замучен не вблизи Костромы, а где-нибудь поближе к Волоку, где зимою 1612—1613 гг. несколько времени находился польский лагерь, из которого, по военному обычаю, посылались разъезды — хватать языков и собирать вести. Впрочем, мы не выдаем своих предположений за несомненные факты. Предположения бывают полезны, только как нити, по которым, при удаче, можно иногда добираться до истины.

## КТО БЫЛ ПЕРВЫЙ ЛЖЕДИМИТРИЙ?

### (Историческое исследование)

*Вообще в грамотах того времени не заботились о согласном свидетельстве, а выставляли события смотря по обстоятельствам.  
(Соловьев. Ист. Рос. IX, 23).*

У нас общепринятое мнение о самозванце, царствовавшем в Москве под именем Димитрия Ивановича, есть то, что он был чернец Чудова монастыря Гришка Отрепьев. Это мнение считалось и считается у нас как бы доказанным окончательно. Историк смутного времени Бутурлин выразился так: «первым Лжедмитрием в России был Отрепьев, и противоречить еще сему свойственно было бы только тем, кои, увлекаясь суетным мудрованием, тщатся опровергать все исторические истины единственно чтобы мыслить иначе, чем мыслили их предшественники». (Ист. См. Вр. 1, 278). Между тем, до сих пор остались не разобранными, не исследованными и не поверенными места из источников, на которых основывается это мнение.

Наши летописные сказания и большая часть иностранных источников о смутной эпохе составлены уже впоследствии, а потому оценка взгляда их на этот вопрос зависит от оценки первоначальных сведений, более близких как ко времени, так и к самому вопросу. Они считали загадочное лицо, о котором идет речь, тем или другим, на основании такого или иного образовавшегося мнения, и потому важнее всего добаться, как эти мнения сложились и откуда получили начало.

Самозванец, как мы докажем впоследствии, появился в польских владениях в 1600—1601 годах, а первые заявления о том, что он — Гришка Отрепьев, явились в 1604 году и положительно — только к концу этого года. Первым протестом из Московского государства против него были две

грамоты от пограничных Черниговских воевод: одна от князя Михаила Кашина-Оболенского, другая от князя Татеева. В обеих извещается, что называющий себя Дмитрием был беглый чернец; но он не называется Гришкою (*Suppl. ad Hist. Russ. monum.* 410).

Из сношения наших бояр с польскими послами уже через полтора года после воцарения Шуйского видно, что тогда бояре указывали, будто в 1604 году они посылали для обличения самозванца дядю Гришки Отрепьева — Смирного-Отрепьева к панам, требуя очной ставки с племянником; но паны не допустили его до этого. В ответ на это польские послы уличали их и объясняли, что Смирной-Отрепьев приезжал совсем по другим делам, с двумя грамотами: одна была к воеводе Виленскому с жалобой, что не посланы судьи со стороны короля для разбора дел о грабежах и пограничных недоразумениях, и другая — к Литовскому канцлеру о том, что, вопреки прежним обычаям, берут с московских купцов новые поборы. О личности же Димитрия не было ни слова; и даже сам Смирной не сказался, чем он был послан — посланником или гонцом, как всегда делалось; а в одной из грамот не упомянуто было и его имя. «Как же можно, — говорили поляки, — чтоб Смирной, с такими грамотами присланный о других совершенно делах, мог домогаться очной ставки с Димитрием, которого вы называете сыном его брата! Если ж бы он и домогался, то нельзя было ему поверить, когда в грамоте об нем не написано. Сверх того вы сами говорите, что посылали Смирного тогда уже, когда вор пошел в Северскую землю; то как же вам было искать его в чужом государстве? Если бы вы хотели добра вашему царю Борису, то следовало бы, как только весть разнеслась о воре, тотчас же снести с королем и с сенаторами, писать об этом с точностью и представить очевидное свидетельство, а то вы прислали Смирного с поручением о другом совсем предмете — о делах пограничных, стоящих каких-нибудь несколько рублей, о таком же важном деле не поручали ему ни слова».

Эта протестация поляков заслуживает вероятия, потому что панам не было необходимости в этом случае говорить неправду. Если б Смирной приехал с поручением о самозванце, они бы все равно не могли удовлетворить его, и следовательно — нечего было бы записывать, что не знали такого поручения. Притом же они не запирались, что Постник Огарев, вслед за Смирновым, а может быть — и в одно время приезжавший в Польшу, имел поручение о Димитрии. И почему же по таковому важному государственному делу Смирного-От-

репьева посылали московские бояре к польским панам, а не московский государь к польскому королю?

Постник Огарев, дворянин, послан был Борисом октября 14. Паны в тех же самых и последующих сношениях объясняли боярам, что этот посланник приезжал с грамотой от Бориса собственно о пограничных недоразумениях, но между прочим грамота касалась и того, что во владениях короля находится беглый монах Гришка Отрепьев, называющийся Димитрием Углицким, и посылает грамоты в украинные города Московского государства. Приглашали короля поймать его и наказать. Король отвечал, что так как этот человек находится уже в пределах Московского государства, то там его удобнее поймать. (*Дела Арх. Ин. Д. №№ 26, 27. Suppl. ad Hist. Russ. mon. 418*).

В то же время в Разрядных книгах записано, что царю «учинилась весть (следовательно — в первый раз царь узнал), что нашелся в Литве вор, который называется Димитрием Углицким». И тут же следует, заключение, что этот вор должен быть Гришка Отрепьев, сбежавший в 1603 году (111) в Северскую землю с чернецом Мисаилом Повадиным. Он пришел в Печерский монастырь и там разболелся, призвал игумена исповедоваться и сознался ему, что он царевич Димитрий и ходит не пострижен в искусе, избегая царя Бориса. Игумен стал его чтить, объявил о нем и сказал королю.

Бояре, в сношениях своих с польскими послами, уже после убиения Лжедмитрия, ссылались еще на то, что патриарх посылал к воеводе киевскому, князю Острожскому, сына боярского Афанасия Пальчикова известить, что называвший себя Димитрием и проживавший в его воеводстве — беглый монах-чернокнижник, и просил выдать его. Острожский, признавая беглеца истинным царевичем, не только не выдал, но задержал Пальчикова, а сын Острожского Януш томил его в оковах долгое время, также признавая бродягу царевичем. На это известие поляки отвечали, что не знают ничего о таком посольстве. Заметить следует, что и Константин Острожский и сын его Януш не мирволили самозванцу. В дневнике Борша (*Рукоп. Библ. Генер. Штаба*), бывшего в первом полчище, с которым претендент двинулся из Украины в московские владения, говорится, что они боялись даже, чтоб Острожский не ударил на них вооруженною силою, а на переправе через Днепр Острожский велел угнать прочь все суда и паромы. От князя Януша сохранилось того времени письмо (*в Дел. Литовск. Метр.*), где он вовсе не одобряет намерений помогать Димитрию и не считает его истинным

царевичем. Потому нельзя поверить, чтобы Острожские задержали гонца патриархова, признавая самозванца настоящим царевичем.

Существует в списке напечатанный на 164 странице II-го тома Румянцовских грамот приговор о высылке патриарших, митрополичьих, архиерейских и монастырских слуг на службу, надписанный числом 12 июня 1604 года. Там Гришка Отрепьев упомянут по имени, но число и месяц, означенные на приговоре, как и время его составления, неверны, ибо там говорится о вступлении самозванца в Московское государство тогда, когда он еще не вступал. Этот приговор мог состояться уже после половины августа 1604 года.

Если исключить сомнительные посольства Смирного и Пальчикова, то до 1605 года только в посольстве Постника Огарева и в приговоре о высылке на службу<sup>1</sup> видны шаги к тому, чтоб назвать самозванца определенным именем Гришки Отрепьева. Народу не говорили ничего о таинственном лице, старались даже не говорить с ним об этом, и ему не позволяли о нем говорить. Между тем народ все более и более увлекался новизною.

В то время, когда успехи самозванца в Северской земле делали его очень опасным для Бориса, когда народные симпатии склонялись повсюду на сторону Димитрия, необходимым сочли совершить повсеместный обряд проклятия над этим врагом Бориса. Но для этого нужно было объявить народу положительно, кто таков именно человек, взявший на себя роль Димитрия. И вот патриарх в январе 1605 года рассылает грамоту (А. Э. II, 78), где не ограничивается одним глухим намеком на то, что называвший себя Димитрием есть Гришка, но рассказывает подробно его похождения. «Этот человек звался в мире Юшка Богданов сын Отрепьев, проживал у Романовых во дворе, сделал какое-то преступление, достойное смертной казни и, избегая наказания, постригся в чернцы, ходил по многим монастырям, был в Чудовом монастыре дьяконом, бывал у патриарха Иова во дворе для книжного письма, потом убежал из монастыря с двумя товарищами, монахами Варлаамом Яцким и Михаилом Повадиным».

До сих пор патриарх говорит то, что ему могло быть известно лично. Далее идут сведения, которые он мог иметь только получивши от других, а именно:

---

<sup>1</sup> Приговор напечатан в Собр. Госуд. Гр. II, 164, июня 12, вероятно, в ошибочном списке. Там определяется клясть Отрепьева, тогда как грамота о проклятии была выдана уже в январе 1605 года.

1) Чернеца Пимена, постриженника Смоленского монастыря.

2) Чернеца Венедикта, Троицкого монастыря.

3) Стефана иконника, ярославца, торговавшего в Киеве иконами.

Пимен говорит, что он встретился с ним в Новгороде-Северском, — Григорий был с Варлаамом и Мисаилом Повадиным; а Пимен проводил их за рубеж в Литовскую землю, а сам воротился назад в Московское государство.

Венедикт был в Киеве в Печерском монастыре и там видел Гришку в Печерском и Никольском и у князя Острожского, воеводы киевского: Гришка служил в дьяконском чине. Потом Гришка уклонился к люторам, впал в ересь и чернокнижие, стал есть мясо, связался с запорожцами и ушел из монастыря на Запорожье. Венедикт жаловался на него печерскому игумену, и тот послал к запорожцам взять его; тогда Гришка ушел ко князю Адаму Вишневецкому.

Стефан иконник видел Гришку в Киеве: он приходил к нему в лавку с запорожцами, тогда он дьяконил в Печерском и в Никольском монастырях и у князя Острожского.

Венедикт и Стефан иконник свидетельствовали, что Гришка, убежавши к Адаму Вишневецкому, там, по умыслу князей Вишневецких и по королевскому повелению, начал называться князем Димитрием Углицким.

Из этих известий невозможно вывести несомненно, чтоб самозванец, вошедший тогда в Северскую землю, был именно Гришка. Патриарху известно было только то, что был в Чудовом монастыре монах Гришка Отрепьев; он бежал в Литву, обыкновенный приют множества беглецов того времени. Сам патриарх более ничего сказать не в силах. Затем три его свидетеля что говорят? Первый вовсе не обвиняет Гришки в самозванстве. Остаются другие два. Но если дать им доверие как очевидцам, то они нам сообщают единственно то, что Гришка жил в Киеве в Печерском монастыре; а Венедикт прибавляет, что и вел себя дурно. Это они говорят как очевидцы. Что же до того, что Гришка ушел к Вишневецкому и там назвался Димитрием, то ни Венедикт, ни Стефан Иконник не называют себя очевидцами и свидетелями этого происшествия. Они не могут доказать, что именно Гришка, а не другой кто-либо назвал себя Димитрием у князя Адама Вишневецкого, как равно не показывают — откуда они знают, что Гришка ушел именно к Вишневецкому. Венедикт и Стефан не последовали за Гришкой, оставались в Киеве; Гришка также не сказал им, что пойдет к Вишневецкому. По собственному признанию

Венедикта, за ним из монастыря посылали, а он спрятался и ушел. Если он прятался, то без сомнения не открывал ему, куда он убежит. Следовательно, при самой полной добросовестности этих показаний, источник сообщенного здесь может быть только слух и собственное соображение. Венедикт и Стефан Иконник могли услышать, что появился называющий себя Димитрием Углицким, и, вспомнив бежавшего бродягу Гришку, сообразили: уж не Гришка ли этот новоявленный Димитрий? Так могло быть только при полной добросовестности. Но сама грамота патриархова не признает за ними этого качества, напротив, называет их ворами: *который товарищи его воры в Литву за рубеж его проводили и которые про него подлинно ведают, и в Литве с ним знали*. Если они воры, то есть преступники, то, следовательно, могли ждать за воровство свое наказания. А в таком случае им было естественно делать то, что может избавить их от наказания или облегчить его тяжесть. Таким делом и было — сообщить правительству вести, которые были для него необходимы; а в то время иметь более или менее вероятные сведения, подтверждающие, что самозванец — Гришка Отропьев, было делом первой важности. Но о добросовестности трех бродяг мало можно толковать, когда тогдашние известия по этому делу, исходившие прямо от патриарха и других важных лиц разноречат между собою и передаваемое ими не согласуется с строгой истиной. Например, патриарх писал окружную грамоту о проклятии Гришки, где выставил народу то, что ему было известно об этом лице, и скоро после того писал грамоту в Вильно к католическому духовенству и в ней допустил противоречие тому, что писал своему народу. Так, в окружной всенародной грамоте, как выше сказано, было объявлено, что Гришка *прежде* своего пострижения *заворочивался*, сделал что-то достойное смертной казни и, избегая ее, постригся в монахи. А в грамоте — к католическому духовенству, напротив, он пишет, что Гришка, уже постригшись, наделал преступлений и, избегая смертной казни, ушел в Литву. Это изменение против прежнего известия, конечно, сделано с тою целью, чтобы более уронить самозванца и оправдывать требование выдачи его. В Соборной грамоте ко князю Острожскому (Доп. I, 255) говорится, что Гришка, живучи в Чудове монастыре, был уличен в чернокнижестве, призываньи нечистых духов и отречении от Бога, и за то осужден не на смерть, а на тюремное заточение в Каменном монастыре. Сверх того в грамоте, отправленной в Польшу, сказано, что сам Иов



патриарх посвящал его в диаконы; а в окружной грамоте этого не говорится, напротив — смысл выходит такой, что Гришка прежде поступления во двор к патриарху был дьяконом и был взят во двор уже носивши дьяконский чин: *и был по многим монастырем и в Чудове во дьяконех, да у меня Иева патриарха во дворе для книжного письма побыл во дьяконех же.* На это могут возразить: патриарх мог ставить Гришку прежде, чем взял во двор. Посвященный в диаконы Гришка ходил по разным монастырям, а потом уже взят во двор к патриарху. Но во-первых, если б патриарх его ставил, то конечно в Чудовом монастыре, и тогда в грамоте было бы поставлено имя Чудова монастыря прежде, а не после безыменных многих монастырей, здесь же изображается, что Гришка был в звании дьяконском во многих монастырях, а потом пришел в Чудов. Если же предположить, что Гришка был во многих монастырях не дьяконом, а пришедши в Чудов получил дьяконство, то этому противоречит склад речи: тогда патриарх или употребил бы два раза слово *был* (*и в Чудове был в дьяконах*),, или, по крайней мере, сказал бы: *а в Чудове*, тогда как один глагол для *многих* монастырей и для Чудова, равным образом союз *и* показывают, что пребывание Гришки принимается одинаковым, как в многих монастырях, так и в Чудовом. Во-вторых, для чего было патриарху не сказать народу о том, что он сам поставлял Гришку, когда он сообщает об этом польским духовным? И почему не оповестить народу вначале о тех преступлениях, о которых писано было впоследствии Острожскому? Не скорее ли видно тут, что писавшим грамоты в Польшу и к Острожскому приходили в голову новые удачные выдумки, которые случайно не приходили тогда, когда писалось окружное послание.

Известно, что кто вымышляет, тому редко удастся повторить свой вымысел в том самом виде, в каком он изложил его первый раз.

Когда после низложения самозванца, в царствование Шуйского, патриарха Иова привезли в Москву из Старицы для разрешения народа от наложенной им на него клятвы, то патриарх объявил, будто Гришка расстригся, прежде чем бежал в Литовское государство (А. Э. 11, 153): *Научи его (диавол) прежде отступить от Творца нашего Бога и попрасти иноческий святолепный образ и дьяконьский чин, потом же вложи в него злохитрый яд и бесовский плевел всеяв и злобу лукавства своего вложи в сердце его: и по научению дьявольскому, той прежереченный*

*враг Божий расстрига Гришка Отрепьев, избежав от Российского государства в Литовскую землю, и проч. Потом в другом месте той же грамоты: про расстригу извещали подлинно, как он поверг иноческий и дьяконский чин и как избежал из Российского государства в Литовскую землю.* Здесь патриарх как будто противоречит прежней своей грамоте, на которую тут же ссылается. Положим, что выражение *попрати иноческий образ* можно принимать за риторический способ, что здесь смысл: Гришка стал жить недостойно иноческого сана; но слово *поверг* прямее выражает тот смысл, что Гришка снял с себя иноческий сан, прежде бегства в польские владения, ибо выражение повергнуть, свергнуть сан употреблялось у нас не в общем смысле поступков, достойных лишения сана, а именно в смысле действительного снятия с себя сана. Между тем, по известиям, сообщенным прежде от имени того же патриарха Иова, не видно было, чтоб Гришка снял с себя монашеский сан до побега в Киев, напротив, в Киеве еще ходил в монашеском платье и служил в дьяконском сани. Собственно это разноречие само по себе не важно, но оно в числе других указывает, что в официальных актах, относящихся к этому времени, не держались строгой одинаковости изложения событий, а изображали их так, как в данную минуту казалось приличнее и выгоднее изображать.

Гораздо важнее следующее разноречие. Написанная от имени патриарха в 1605 году грамота, где излагались в первый раз народу свидетельства о том, что явившийся под именем Димитрия есть Гришка Отрепьев, была разслана по епархиям; архиереи должны были сообщать народу те вести, какие сообщил им Иов, и без всякого сомнения русские архиереи не имели тогда иного источника, кроме грамоты патриаршей, ибо переписывали ее слово в слово. Но при этом они говорили не совсем то, что говорил патриарх. Например, в грамоте Исидора, митрополита Новгородского (А. Э. II, 81), говорится о Стефане Иконнике, что он видел Гришку у Адама Вишневецкого и слышал, как он назывался царевичем Димитрием; а в окружной грамоте патриарха не говорится, чтобы Стефан его видел у Адама Вишневецкого, а все знакомство его с Гришкой ограничивалось тем, что последний с запорожскими черкасами приходил к его лавке. Откуда же это разноречие? Конечно, в грамоте Новгородского митрополита прибавка, сделанная для того, чтоб показание Стефана Иконника имело какую-нибудь ценность, ибо в патриаршей грамоте оно может возбуждать смех своею несостоятельностью. Сверх того в окружной

грамоте патриарха, в показании Венедикта, говорится, что Гришка пристал к лютарам, а у Исидора это обстоятельство упускается, за то говорится, будто Венедикт видел Гришку в Никольском монастыре расстриженным, чего нет в патриаршей грамоте.

Известия эти слагались и обнародовались в то время, когда для спасения Борисова правления необходимо было, чтоб тот, кто называл себя Димитрием, представлен был народу не безыменным вором, но с каким-нибудь положительным именем; ибо это лицо оставлять неизвестным было опасно. Если он не Димитрий, то все таки — кто же он? спрашивал бы народ. А коль скоро он — неизвестно кто, то почему же он не Димитрий? И почему правительство может знать, что он не Димитрий, когда сознается, что не знает: кто он? Для влияния на народ решились предать проклятию вора. Но кого проклинать? Нужно было имя. Что оно было крайне нужно, показали последствия. Когда после смерти Бориса написали крестоцеловальную запись, где не упомянули ни имени Гришки, ни другого определенного имени, а выразились о самозванце как о неизвестном воре, то перешедшие к самозванцу считали эту неопределительность в присяжном листе для себя достаточным извинением. Видно только, что когда нужно было доискаться, кто бы мог быть назвавшийся Димитрием, то патриарх вспомнил, что в Чудовом монастыре был монах Гришка Отрепьев, бывавший у него во дворе для книжного письма и бежавший из Москвы. Этим собственно и ограничивались положительные сведения о Гришке в Москве. Что касается до его преступлений, то относительно этого патриарх запутался в своих грамотах, и в одной из них обвиняет Гришку в преступлении, сделанном до пострижения в монахи, не говоря о его преступлениях в монашестве, а в другой, не говоря, чтоб причиною поступления в монашество было желание избежать кары за преступление, говорит, что Гришка, уже постригшись в монахи, сделал что-то достойное смертной казни. Затем подтверждением догадкам, явившимся в Москве, послужили неясные показания трех бродяг, которым было естественно сочинить что-нибудь о Гришке и доставить правительству услугу сообщением нужных ему объяснений. Но если они говорили и правду, то ничего не сказали важного, ибо не объяснили, почему они считают, что назвавший себя Димитрием был Гришка, а не иной кто-нибудь.

Как сторонник Бориса, патриарх мог и должен был из видов политики прибегать ко всевозможнейшим выдумкам,

чтоб спасти престол своего покровителя. Патриарх уже прежде доказывал, что готов был жертвовать истинною политическим видам Бориса. Проводя на царство Бориса, патриарх употреблял всевозможные уловки, очень недобросовестные. Теперь для того, чтобы удержать Бориса на царстве в критическое время, патриарху Иову было извинительно назвать неизвестное лицо известным именем бежавшего бродяги; тем более что он сам, если не был уверен, что самозванец есть Гришка Отрепьев, то, по своим соображениям и догадкам, считал это возможным.

Замечательно, что в то время проглядывают черты, которые давали право думать, что правительство не уверено было в том, что утверждало всенародно, будто самозванец был Гришка. Например, в посольской грамоте, посланной к королю Сигизмунду с Постником Огаревым, было сказано, что если б это лицо и был настоящий Димитрий, то и тогда бы он не имел права на престол Московского государства как незаконнорожденный сын. Поляки объясняли это желанием обеспечить за собою право, если б оказалось, что претендент был не только не Гришка, но даже настоящий Димитрий. Имел ли право на престол Димитрий или не имел, для Бориса должно было быть все равно, если только он был уверен, что Димитрия нет на свете. По крайней мере, поляки, впоследствии, придирались к этой оговорке и доказывали русским, что Борис сам не знал наверное, что назвавший себя царевичем был действительно беглый монах Гришка Отрепьев. Подобное неведение, кто именно был самозванец, проглядывает в упомянутой нами выше крестоцеловальной записи на верность Феодору Борисовичу, где сказано: *и того вора, что называется Димитрием Углецким, на Московском государстве видети нехотети* (Собр. Гос. гр. II, 192). Об этом воре несколько раз упоминается в этой грамоте, и все безыменно. Не доказывает ли это того, что, признавая называвшего себя Димитрием вором-обманщиком, не уверены были, точно ли это Гришка Отрепьев? По крайней мере, современники, не хотевшие присягать по этой крестоцеловальной записи, так понимали смысл этого неопределительного выражения. Самое то обстоятельство, что войско, до сих пор воевавшее за Годуновых противу претендента, не хотело более воевать за них с той минуты, когда того, с кем они боролись, правительство не назвало именем Гришки, показывает, как слабы казались русскому уму доказательства, что тогдашний Димитрий и Гришка Отрепьев одно и то же лицо.

Пущенная Борисовым правительством мысль, что бродяга, называвший себя Димитрием, есть Гришка Отрепьев,

служила однако предлогом для врагов Димитрия во время его царствования. Чуть только кто был недоволен царем, то имел способ выразить свое неудовольствие, назвавши его Гришкою-расстригою. Это было естественно после того, как уже по всей Московщине его проклинали под именем Гришки Отрепьева. Авраамий Палицын характеризует так царствование Лжедимитрия: «от злых же врагов, козаков и холопей вси умнии токмо плачуще, слова же рещи несмееюще: аще бо на кого нанесут, яко рострига нарицает кто, и той человек безвестно погибает» (стр. 27). Такие случаи (если только здесь не преувеличение, как вообще все, что рассказывали о дурных сторонах Лжедимитрия) не разъясняют ничего в вопросе о Гришке, ибо обвинение было уже изготовлено и распространено самым удобным способом, посредством патриаршей грамоты. Не принятое всенародной громадой в Московском государстве, оно осталось в народной памяти, и тотчас представлялось готовым бранным эпитетом для того, кто рассердится на царя. Важнее было бы свидетельство того же Авраамия, будто самозванца обличали Отрепьевым мать Отрепьева Варвара, его дядя и его брат. Но об этом только и говорит один Авраамий Палицын, тогда как все самые враждебные самозванцу летописцы и официальные известия не упоминают об этом ничего; тогда как это было бы самым важнейшим укором ему в самозванстве. Нельзя предположить, чтобы те, которые сколько возможно более могли очернить самозванца, упустили такое важное обстоятельство. Несообразность этого известия усиливается еще более от того, что Авраамий говорит, будто это обличение произошло до суда над Шуйским. Суд произошел через несколько дней после Димитриева воцарения. Следовательно, обличение Отрепьева его семьею происходило бы тотчас по вступлении самозванца в Москву: это было до того поразительно, что не могло оставаться никем незамеченным, кроме одного человека, и то писавшего историю много лет спустя после того как происходило то, что он описывал. Сверх того, если бы так было, возможно ли, чтоб Шуйский, по вступлении своем на престол, упустил это обстоятельство, когда оно более чем что-нибудь другое могло обличать бывшего царя в самозванстве? Не смешал ли здесь Авраамий Палицын того обличения, которое происходило по убиении самозванца и о котором говорит Голландец, бывший тогда во Москве?

Кроме обличений в самозванстве, приписываемых матери, дяде и брату Гришки, рассказывают еще и о других, а именно:

Дворянин Петр Тургенев обличал царя Димитрия, что он не истинный сын Ивана Грозного, но говорил ли при этом, что он Гришка Отрепьев, неизвестно. Ему отрубили голову. Об этом событии говорит Авраамий Палицын; упоминает о том же и Никоновская летопись. Двойное свидетельство заслуживает вероятия. Авраамий говорит, что это происшествие случилось прежде дела Шуйского. Спасение Шуйского приписывали ходатайству поляка реформата Бучинского, но сам Бучинский говорит (*Собр. гос. гр.* II. 261), что он, напротив, советовал не миловать Шуйских, а Димитрий сказал, что он дал обет отнюдь не проливать крови, и по своему обету милует Шуйского. Самозванец должен был бы избрать другой мотив для своего милосердия, если б дня за два или за три происходила уже подобная казнь. От этого вероятно, что казнь Тургенева произошла еще до приезда самозванца в Москву, но когда уже народ московский присягнул ему, и хотя, быть может, он сам, находясь в Туле или Серпухове, соизволил на то, но так как это было еще до его приезда, то после того он мог показывать вид, что это случилось еще до него, а с тех пор, как он пришел, дал обет, что казней не будет.

Вместе с Тургеньевым, по известию Авраамия, был казнен Федор калачник, который называл Димитрия посланным *от сатаны*; но называл ли он его при этом Гришкою расстригою — неизвестно (*Авраам.* 14). Впрочем, если б называл, то подобное обличение, как и обличение Тургенева, могло быть последствием заявленных от Бориса и Патриарха Иова обвинений, без новых доказательств.

Важнее всего было бы для нас дело Василия Ивановича Шуйского, если б мы знали о нем подробнее. Все почти исторические источники, относящиеся к эпохе первого Лжедмитрия, согласны в том, что Шуйских судили, говорили Василия к смерти, вывели на место казни, но царь заменил ему смертную казнь ссылкой, наравне с его братьями, а через несколько времени принял его и всю родню его снова в милость. В повествовании, вошедшем в Никоновский сборник, говорится, что Шуйские, видя на православную веру гонение, начали помышлять, чтоб православная вера до конца не разорилась; а Димитрий для суда над Шуйскими созвал собор не только из бояр, но из простых; и никто на этом соборе не пособствовал стороне Шуйских. В варианте того же повествования, изданном Оболенским, под именем «Нового Летописца», прибавляется, что все на соборе были уверены, что царь — Гришка

Отрепьев, да сказать не смели. В повествовании, помещенном в разных хронографах (изд. в *Временнике Моск. Общ. Ист. и Древн.* № 16), приводится сущность приговора, читанного Басмановым над Шуйским. Из него видно, что Василий Шуйский осужден за то, что называл царя Григорием Отрепьевым. В хронике Буссова рассказывается, без точного указания времени, что был составлен против царя заговор и открылось, что Шуйский глава его. Его вывели на площадь казнить, а потом объявили, что царь, по своему милосердию, и этого преступника прощает (Bussov. 40). Маржерет говорит глухо, что его судили за оскорбление величества. Паэрле говорит, что Шуйский разглашал в народе, что царь не сын царя Ивана, а расстрига (стр. 35). Время суда и казни Шуйского хронографы наши определяют через несколько дней после прибытия самозванца в Москву. День смерти по одним вариантам назначается 25-го (*Времен. Моск. Общ. Ист. и Древн.* № 16 и 30), по другим 30-го июня. Левицкий, иезуит, бывший тогда в Москве, сообщает, что Шуйский оговаривал царя в оскорблении церкви, и указывает день казни 10-го июля (то есть 30-го июня старого стиля (Ciampi Notizie 182). Вообще видно, что это событие произошло тотчас после прибытия Димитрия в Москву. По известию «Сказания еже содеяся» (напечатанного в *Чтениях Моск. Общ. Ист. и древн.* № 9 1847 г.), Шуйский разглашал в народе чрез своих агентов, торгового человека Федора Конева с товарищи, что усевшийся на престоле не настоящий Димитрий, а вор, расстрига Гришка, присланный от короля польского разорить христианскую веру (стр. 17). Это последнее Сказание, согласно хронографам, Лавицкому и Паэрле, полагает событие совершившимся в первых днях по воцарении самозванца. Мы не знаем доводов, какие тогда представлялись с обеих сторон; не знаем: доказывал ли на соборе Шуйский, что царь самозванец, и не доказал этого, или же он оправдывался и записался в том, что говорил, будто царь — Гришка Отрепьев, и был уличен; но если б он стоял твердо на том, что царь — Гришка, то не мог бы уж никак возвратиться в милость царя. Впоследствии, мы знаем, что он притворялся и признавал царя сыном Ивана Грозного.

Надобно обратить внимание, что суд над Шуйскими был совершен боярами и выборными из всех сословий, следовательно, Лжедимитрий сильно рисковал тогда, предавая собственное дело на обсуждение нации. Значит, он был твердо уверен, что невозможно доказать, что он Гришка Отрепьев. По свидетельству наших и иностранных истори-

ков, тогда никто не оправдал Шуйского, никто не изъявил подозрения, что царь не Димитрий, а Гришка. Если б были явные улики, — явились бы свидетельства, и царь не усидел бы на престоле. Этот суд собора, созванного из всех сословий, фактически был для Димитрия законным признанием всей страны. Дело его было обсуждено и порешено в его пользу. Он был в руках врагов своих как нельзя более; они имели всякую возможность обличить его, если б могли; а когда не обличили, то значит не было у них надлежащих доказательств. Кого и чего могли бояться члены собора? Польского отряда, поддерживавшего царя? Всего в городе было несколько польских рот, провожавших его; не могли же они защищать его от целой нации. Положим: прежде, из ненависти к Борису и его фамилии, могли иные насильно закрывать себе глаза и принуждать самих себя признавать ведомого бродягу царским сыном; теперь Годуновых уже не было. Что же могло привлекать к Гришке?

Собравив эти обстоятельства, нельзя не признать, что в то время не было доказательств, что царь был Гришка Отрепьев, расстрига, беглец Чудовского монастыря.

Есть свидетельство Авраамия, что Чудовский игумен Пафнутий знал прежде Гришку и узнал его в царе; но не объявил этого в его время. Свидетельство очень важное, но оно произнеслось уже тогда, когда самозванца не было на свете, когда в угодность врагам его было выгодно чернить всеми возможными способами этого человека. Если Пафнутий не имел настолько гражданского мужества, чтобы обличить расстригу, когда последний был в силе и власти, то, конечно, мог иметь настолько малодушия, чтоб говорить про него наобум тогда, когда прах его развеяли по ветру, а память предали проклятию.

Вот все, что во время царствования Димитрия проглядывало как бы обличение, что он Гришка Отрепьев. В минуты его убийства, заговорщики, взявши его с фундамента Борисова дома, внесли во дворец и стали допрашивать: «говори, кто ты таков? кто твой отец?» Не показывает ли этот вопрос, что заговорщики не знали совершенно, что он Гришка Отрепьев; иначе, зачем спрашивать его? Тогда они бы прямо обличали бы его, что он Гришка. Валуев, перед тем как застрелил его, сказал: «вот я поблагословлю этого польского свистуна». Это выражение как будто показывает, что Валуев считал его поляком, а не Гришкою Отрепьевым. Такие черты свидетельствуют, что враги, считая его самозванцем, не имели несомненной уверенности, что он Гришка Отрепьев.



По смерти его, Шуйский разослал по всему Московскому царству грамоту о низложении прежнего царя и о собственном восшествии на престол. Если где, то в этой грамоте должны были быть собраны все очевидные доказательства, что царствовавший под именем Димитрия был Гришка Отрепьев. И однако мы, к удивлению нашему, не встречаем там этого; все усилие направлено лишь на то, чтоб уличить бывшего царя в измене православной вере и русским обычаям; наброшено на него множество обвинений, очевидно нелепых, как например, попытка объяснить затеваемый за городом турнир — умыслом побить всех бояр и передать управление в московском государстве польским панам: но об его самозванстве сказано коротко как уже о факте известном и доказанном... *бogoотступник, еретик, расстрига, вор Гришка Богданов сын Отрепьев своим воровством и чернокнижеством назвал себя царевичем Дмитрием Ивановичем Углицким, омраченьем бeсовским прельстил многих людей* (А. Э. II, стр. 100). А чем же это было доказано? Самый способ его низложения и смерти как нельзя яснее показывает, что нельзя было уличить его не только в том, что он Гришка, но даже и вообще в самозванстве. Зачем было убивать его? Почему не поступили с ним именно, как он просил: почему не вынесли его на площадь, не призвали ту, которую называл он матерью? Почему не изложили перед народом своих против него обвинений? Почему, наконец, не призвали матери, братьев и дядю Отрепьева, не дали им с царем очной ставки и не уличили его? Почему не призвали архимандрита Пафнутия, не собрали чудовских чернецов и вообще всех знавших Гришку, и не уличили его? Вот сколько средств, чрезвычайно сильных, было в руках его убийц, и они не воспользовались ни одним из них! Нет, они отвлекли народ, науськали его на поляков, сами убили царя скопом, а потом объявляли, что он Гришка Отрепьев, и все темное, непонятное в этом вопросе объясняли чернокнижеством и дьявольским прельщением. Но Шуйский ошибся в расчете, как часто ошибаются плуты, искусные настолько, чтобы, как говорится, подвести механику, но близорукые для того, чтоб видеть последствия.

Народ любил Димитрия и не хотел знать в нем Гришки; народ со всех сторон протягивал руки к тени Димитрия даже и тогда, когда она еще не обозначилась явственно. Шаховской провозгласил, что Димитрий спасся, и Московское государство потряслось до основания. Не помогло Шуйскому даже торжественное открытие и перенесение из

Утѣлича в Москву мощей Димитрия царевича. Среди стесненных обстоятельств, когда Болотников стоял под Москвою, держал ее в осаде, а в Москве ждали только обещанного царя Димитрия, чтоб выдать ему Шуйского, явилась челобитная Варлаама, того самого, о котором в окружной грамоте патриарха Иова было сказано, что с ним убежал из Москвы Гришка Отрепьев. Мы не станем ее приводить здесь целиком; всякий может прочитать ее в *актах Археографической Экспедиции, том II, стр. 141* и в *хронogr.*, помещенном во *Временнике*. Когда прочитаешь ее, то с первого раза она как будто носит печать истины; но, всмотревшись пристальнее, увидишь много несообразностей, обличающих умышленную составленность:

1) В ней говорится, что Гришка спозналсѣ с ним и убежал из Москвы в 1602 году, в великий пост. Тогда как поляки сообщали, что монах, который объявился под именем Димитрия, уже в 7109-м году (то есть с сентября 1600 по сентябрь 1601-го года) был в Киеве. Сообразно тому и Маржерет говорит, что уже в 1600 году пронесся слух о явившемся Димитрии. Многие письма польских панов между собою (о чем скажем ниже) показывают, что лицо, назвавшее себя Димитрием, должно было явиться в Польше раньше того, как приводит Варлаам своего Гришку в Польшу.

2) Варлаам рассказывает, что, проживши в Печерском монастыре три недели, Гришка задумал идти ко князю Острожскому. Тогда Варлаам извещал на него архимандриту, чтоб тот удержал его; ибо если он пойдет, то скинет с себя иноческое платье. Но архимандрит сказал ему: «здесь земля вольная, — в какой вере кто хочет, в той и пребывает». После этого сам Варлаам отправился с Гришкою в Острог. Странно, что Гришка отправился вместе с человеком, который на него уже доносил и наблюдал над ним. Трудно предположить такую неосторожность в плуте, затевающем важное плутовство.

3) Варлаам рассказывает далее, что Острожский отослал его, Варлаама, и товарища Мисаила Повадина в Дермянский монастырь, а Гришка ушел в Гощею (Гощу), где стал учиться по-латыни. Варлаам извещал па него Острожскому и просил взять его из Гощи и принудить оставаться в монашеском диаконском чине, но Острожский отвечал точно так, как и Печерский архимандрит: «здесь земля вольная, — кто как хочет, в той вере и пребывает». Потом весною 1603 года, после пасхи — Гришка пропал без вести из Гощи. Как Гришка жил в Гоще и как бежал, — Варлаам знал об этом только по слухам, а уже не как очевидец.

Потом, по словам Варлаама, Гришка очутился в Брагине, во дворе князя Адама Вишневецкого, и назвался там царевичем Димитрием. Из Брагина князь Адам возил его по родным, и повез в Вишневец; там Гришка пробыл лето и зиму, а весной 1604 года, после пасхи, Адам Вишневецкий повез его к королю. Из слов самого Варлаама видно, что он не видал Гришки с лета 1602-го года; сам он пребывал в Дермянском монастыре, а Гришка в Гоще и у Вишневецкого; все это он мог писать только по слухам и по сообщениям. И действительно, что ни шаг, то ошибка, показывающая, что челобитную писал человек не бывший близко к делу. Мнишек, знавший хорошо все дело, на допросе, учиненном ему в Москве по убиении Димитрия, сказал, что Адам Вишневецкий, у которого открылся претендент, передал его князю Константину Вишневецкому, своему родному брату, и претендент жил не у Адама, а у Константина, не в Вишневце, а в Жалозицах, потом приехал с ним в Самбор, а потом уже Мнишек с Константином Вишневецким повезли его к королю в Краков.

4) Варлаамова челобитная рассказывает пребывание Гришки у короля и приводит длинную речь, которую будто бы говорил Гришка королю. Из Кракова претендент уехал в Самбор к Мнишку. Каким образом мог слышать эту речь Варлаам? Уже это одно приведение речи в таком подробном виде побуждает подозревать справедливость всей челобитной. Дело в том, что если б тот, кто писал челобитную, знал близко дело, то не сделал бы такой капитальной ошибки, указавши свидание самозванца с королем после пасхи 1604 года, когда оно происходило непременно ранее, еще в 1603 году. Так агент Борисов на границе с Польскою Украиной киевский мещанин Валковский-Овсяный, проживавший с октября 1603 года в Чернигове, в донесении своем Борису Феодоровичу говорит, что *вор, который прозвался Димитрием, был уже у короля, и король тотчас его от себя отослал и дал ему в Польше поместьишко на прожиток*. Уже в конце 1603 года Димитрий, успевши побывать у короля, деятельно сносился с запорожцами, а король Сигизмунд поступал очень двулично: поласкав немного Димитрия, в подлинность которого ни он, ни паны не верили, он, однако, от 12 декабря 1603 года издал строгий универсал к украинским старостам, чтоб они не пускали украинцев в козацкие шайки, которые собирались для того, чтоб вести самозванца в Московщину, и не продавали бы им боевых запасов. Киевский подписок Гаврило Крупович в феврале 1604 года писал такое известие к Борисову агенту:

«козаки з Запорожтя послали до того нецноты-господарчика, абы им нагороду дал, а они его на Москву нести подымалися; который им то обещал, же, поведя, «гды мене до Путивля перенесете, зараз нагороду каждому дам»; и с тым их отправил». Что король виделся с самозванцем ранее того времени, как указывает Варлаам, и что самозванец был уже довольно значителен в то время, когда по сказанию Варлаама он только что открылся царевичем, показывают современные письма короля и панов. Например, из письма от короля к Замойскому от 23 марта (Hist. Jana Karol. Chodk. 215) ясно видно, что уже заранее прежде этого времени король видел Димитрия. Еще ранее, в начале 1604 года, Чарнковский писал к королю о том, что в Украине козаки и всякого рода украинское гультайство стремились помогать ему и ворваться в Московское государство, никак не одобрял королевского намерения оказывать ему помощь, доказывал необходимость передать дело обсуждению сейма, а самого называющего себя Димитрием арестовать для того, чтоб он мог послужить пугалом Борису, залогом заключения с Московским государством мира на выгоднейших условиях (*Письмо из книг Литовской метрики, № 53*). Из всех этих примеров видно, что в конце 1603 года и начале 1604-го самозванец находился в таком состоянии, что уже воротился от короля и к нему собирались козаки и разные охотники вести его на московский престол. Это могло случиться только тогда, когда весть об нем могла распространиться повсюду, а для этого нужно было достаточно времени. Но согласно челобитной Варлаама, самозванец в то время сидел в Вишневце и еще не представлялся королю, и следовательно не мог быть слишком известен. Противоречия в показании времени свидетельствам, указывающим на пребывание самозванца в Польше, Варлаам противоречит и тому, что записано в Разрядных книгах о Гришке, будто он убежал в 1603-м году. Странно, как в Москве могли ошибиться о времени бегства монаха из Москвы, если только считали это бегство достойным замечания!

Далее Варлаам говорит, что он извещал королю о том, что называющий себя Димитрием есть Гришка Отрепьев. Король, не поверив ему, отправил его к Гришке в Самбор. Там товарища его Якова Пыхачева казнили, а его бросили в тюрьму. Сендомирский воевода с Гришкою отправились в поход, а он остался в тюрьме, потом уже жена Мнишкова и дочь Марина освободили его. Здесь странно то, что Варлаам, расставшись с Гришкою еще в 1602 году и оставшись в Дерманском монастыре, не говорит, каким образом он уследил, что называв-

ший себя Димитрием был Гришка, и как очутился в Кракове у короля. Странно и то, почему одного казнили, другого только в тюрьму заключили, когда следовало бы казнить Варлаама, ибо Варлаам, а не Яков, извещал королю, следовательно, Варлаам был опаснее Якова.

Замечательно противоречие между челобитною Варлаама и грамотою патриарха Иова. В грамоте патриаршей Варлаам назван монахом Чудовским, а в челобитной он себя сам называет постриженником Пафнутьевского Боровского монастыря. Варлаам говорит, что Гришка прожил в Киеве всего три недели, ушел прочь из Киева к Острожским, и когда он уходил к Острожскому, то это считалось удалением из монастыря. А в грамоте Иова, в показании Венедикта, — что Гришка, живя в Киеве в Печерском монастыре, служил в то же время и у Острожского в Киеве как у Киевского воеводы и через это не разрывал своей связи с Печерским монастырем. Варлаам говорит, что когда он сделал извет, что Гришка хочет уйти к Острожскому, архимандрит сказал, что здесь земля вольная, кто как хочет, в такой вере тот и пребывает. А в показании Венедикта говорится, что тот же самый архимандрит посылал достать Гришку; тогда он ушел не к Острожскому, как показывает Варлаам, а к запорожцам. Венедикт показывает, что Гришка убежал ко князю Адаму Вишневецкому от запорожцев. Варлаам показывает, что он туда убежал из Гощи. По грамоте патриарха Иова, какой-то чернец Пимен водил Гришку с товарищами через границу; Варлаам не знает Пимена, а знает в этом случае иное лицо, какого-то Ивашку-вожа.

Все историки и летописцы, признающие Димитрия Гришкой, повторяют, с разными видоотличиями, слухи, которые образовались первоначально вследствие внушений от власти, что обманщик был Гришка. Уже после смутного времени появился ряд повествований и рассказов о приключениях Гришки Отрепьева. Они один другому противоречат. Очевидно, Гришка сделался мифом, о нем ходили сказки и легенды в различных отменах. Достаточно взглянуть на главнейшие из этих рассказов, чтоб видеть, как они несходны и между собою, и с челобитною Варлаама, и с патриаршею грамотою.

Вот для примера рассказ из Никоновской летописи и из Летописи о мятежах.

Там говорится, что Гришка, до монашества Юрий, был родом из Галича. Отец его назывался Богдан. Он отдал его учиться грамоте. Гришка постригся в монашество в Спасо-Ефимьевском монастыре.

В сказании, занесенном в хронографы, говорится напротив, что отца его звали Яковом; Юшка остался после отца *млад зело*, и отдан матерью учиться грамоте, и начал жить в Москве; там игумен Трифон, Вятской области, города Хлынова, уговорил его постричься в монашество (*Ин. сказан. о самозв.* 10).

Бояре в сношениях с польскими панамы рассказывали (*Дела посольск.* № 26), что отца Григорьева Богдана зарезал Литвин в Немецкой слободе, а он, Юшка, сын его, пошел в холопы и жил у Романовых и у князя Черкасского, а потом заворовался и постригся в монахи в Суздальском Спасском монастыре. Далее рассказывается, что он перешел в Галицкий монастырь Иоанна Предтечи, ходил по другим монастырям, наконец бил челом, чтоб архимандрит Чудовский Пафнутий принял его в Чудов монастырь, где жил в монашеском звании дед Отрепьева Замятня. Пробыв год во дьяконах, он поступил во двор к патриарху для книжного письма; но скоро впал в еретичество, и за некие богомерзкие дела его хотели сослать на смерть в заточение, а он ушел с Варлаамом и Мисаилом, проживал в Киеве в Печерском и Никольском монастыре, и там, по совету Сендомирского воеводы и Вишневецких и других панов, принял на себя имя Димитрия.

Этому официальному известию служила основанием грамота патриарха Иова и его послание к католическому духовенству; но противоречия в этих грамотах тут слажены и слажены; затем прибавляется несколько сведений о пострижении Гришки.

В Никоновской летописи ведут Гришку из Суздальского монастыря не в Галич, а на Куксу, потом в Чудов монастырь; будучи в последнем монастыре, он стал вхож к патриарху, между тем расспрашивал об убиении царевича Димитрия и говорил как будто на смех: я царем буду в Москве; старцы смеялись над ним и плевали на него; но митрополит Иона Ростовский не поставил этого в шутку, а донес патриарху. Патриарх не придал этому значения; Иона сказал царю. Борис приказал дьяку Смирному-Васильеву послать Гришку в Соловки под крепкое начало. Смирной передал поручение дьяку Семейке, а дьяк Семейка был Гришке свой человек и стал укрывать его, и молил Смирного, чтоб не исполнял вскоре царского указа; а тем временем Гришка убежал.

Таким образом Никоновская летопись противоречит важнейшей части официального заявления бояр. В последнем, как и в грамоте патриарха Иова, умысел принять на

себя имя Димитрия приписывается козням поляков: а в Никоновской, напротив, говорится, что Гришка возымел его еще тогда, когда проживал в Чудовом монастыре. По официальному заявлению бояр, Гришка убежал из Москвы прямо в Литву; по Никоновской летописи, он бежал из Москвы в Галич на Железный Борок, потом в Муром в Борисоглебский монастырь, а в Борисоглебском монастыре строитель дал ему лошадь, и Гришка поехал на ней в Брянск в Свинский монастырь; тут он сошелся с Мисаилом Повадиным и товарищем его (Варлаамом?) и с ними отправился в Новгород-Северский, а из Новгородсеверского монастыря, под предлогом, будто едет в Путивль, повернул в Киев. На память игумену новгородсеверскому он оставил записку, где сообщал ему, что он царевич Димитрий. Здесь Никоновская летопись противоречит и официальному сказанию бояр, и челобитной Варлаама, по которым Гришка сошелся с Варлаамом и Мисаилом в Москве, и вовсе не был в Брянске, но прямо ехал в Новгород-Северский и оттуда прямо в Киев.

В «Ином сказании» (из хронографа) рассказывается еще иначе: поживши в Чудове, Гришка перешел к Николе на Угрешу и там впал в еретичество; оттуда ушел в Кострому, из Костромы снова пришел в Москву, и оттуда уже убежал в Литву, подговоривши с собой Варлаама и Мисаила.

В других хронографных сказаниях рассказывается, что Гришка постригся не в Суздальском монастыре, как говорят некоторые, а в монастыре Борки, Галичской земли, и оттуда перешел в Чудов монастырь, вовсе не бывавши в Суздальском монастыре; в Чудове монастыре вошел в него сатана и обещал ему царствующий град покорити; он бежал в Киев (*Четыре сказ. о Лжедм. 1863*).

В «Сказании еже содеяся» рассказывается еще иначе, и с большими подробностями, чем где-нибудь. По этому сказанию, Гришка, еще до пострижения, обвинен был в преступлении по тому поводу, что был вхож в дом Черкасских вместе с Михаилом Повадиным, родом из Серпейска. Это заставило его, избегая опалы, постричься в Стодольском монастыре; потом он прибыл в Чудов монастырь, посвящен во диаконы, вошел к патриарху, а потом подобрал себе товарищей Мисаила и Варлаама, дали они взаимную клятву пребывать неразлучно и ушли в Свинский монастырь. Двое товарищей его любили пить, а Гришка ничего не пил, и те на него сердились за это. Потом все трое ходили по Северской земле и собирали милостыню на монастырь. Та-

ким образом они пришли на Литовский рубеж и вошли в дом к одной женщине, и тут узнали, что по повелению царя поставлена застава стеречь кого-то, кто убежал из Москвы. Гришка помертвел от страха, спросил у женщины дорогу на Чернигов, и отправился с товарищами в Чернигов. На дороге он сознался им, что застава поставлена на него, припомнил товарищам данную в Москве клятву и убедил их идти с ним в Киев. Далее рассказывается подробно, как они пребывали в домах панов Воловичей и пана Прокулицкого, как, наконец, добрались до Киева. Сказание не говорит, долго ли пребывали они в этом городе; но из Киева оно ведет их в Острог, называемый Острозеполь, ко князю Константину Острожскому; тут описывается, как встретил пришельцев этот князь, малый ростом, с такою большою бородою, что когда он сидел, то постилал платок, на котором укладывалась его громадная борода. Острожский, приняв их у себя, через два месяца отпустил в Печерский монастырь. Таким образом, противно челобитной Варлаама, где они из Печерского переходят в Острог, здесь наоборот — они из Острога едут в Печерский монастырь. Соскучившись в Печерском монастыре, Гришка убежал к запорожцам, вступил в роту Герасима Евангелика, и с козаками бесчинствовал около Киева ради прибытка. Дошла весть до Острожского. Князь приказал поймать Гришку. Между тем, погулявши у запорожцев, Гришка опять пришел в монастырь; тут его хотели задержать; на счастье его, архимандрита не было в монастыре. Гришка смекнул, что ему плохо будет, и ушел в Самбор, который неправильно называется именем князей Свирских и панов Ратомских. Здесь у Свирских в католическом монастыре Стодольском открывается Гришка в первый раз монаху греку Арсению, что он Димитрий царевич. Весть о появлении человека, называющего себя Димитрием, дошла до Бориса. Царь послал к Острожскому с просьбой выдать вора. Сказание совсем иначе представляет в этом случае поступок Острожского, чем представляли его бояре польским послам. Киевский воевода отправил двоих монахов, его товарищей, Варлаама и Мисаила для обличения; но они поклонились Гришке и признали его царевичем. Паны Свирские известили о явившемся царевиче королю. Сигизмунд отправил в Самбор проведать о Димитрии двух московских людей, братьев Хрипуновых, давно уже отъехавших в Литву. Те, увидевши Гришку, тотчас признали его царевичем и уверяли, будто знали Димитрия в младенчестве. Тогда король пригласил его в Краков и, посоветовавшись с панами, обе-



шал ему помогать, если он примет католическую веру. Гришка отказался. Король признал его царским сыном, пригласил к себе и угощал. Рассказ о свидании с королем противоречит рассказу Чилли, бывшего свидетелем этого свидания. Папа услышал о явлении русского царевича в Польше, стал побуждать короля обратить его в католическую веру. Гришка, пробыв долгое время в Кракове, познакомился с католическою верою, и наконец согласился. Тогда король созвал сейм (небывалый) в Лашеве и там предал дело Димитрия рассмотрению. Изменники московские люди в польских владениях уверяли всех, что это истинный царевич. С этого сейма взял Гришку к себе в Сендомир (а не в Самбор) Мнишек, и у него в Сендомире Гришка влюбился в дочь его Марину.

Это сказание от начала до конца оказывается невероятным, и еще Карамзин назвал его *баснословным*. Действительно, подробности о мелочных событиях, которые мог знать только очевидец, приведение разговоров, которые знать мог только участвовавший в них или слышавший их, и самые грубые анахронизмы, показывают, что все это составлялось человеком, жившим вдалеке от описываемого театра событий. Если по способу изложения и по множеству невежественных анахронизмов «Сказание еже содеяся» перещеголяло другие наши летописи в повествовании о Гришке, тем не менее нет основания верить другим рассказам больше, чем этому. Что ни летопись, то новый рассказ! Согласить их и сшивать наобум — было бы делом произвола, слишком противного исторической критике. Соглашать разноречия, дополнять одно сказание другим, можно только тогда, когда есть доказательства, что авторы были поставлены в такие условия, когда один мог видеть то, чего не мог видеть другой, или один должен был смотреть с иной точки зрения, чем другой. В рассказах о самозванце нельзя опереться на такой точке зрения: все они смотрят на самозванца одинаково враждебно; все писаны были в России, очевидно, после смутного времени. Во всем этом исторического можно усмотреть только вот что: когда появилось в польских владениях лицо, называвшееся Димитрием, в Москве пустились в догадки — кто бы это был, и так как лицо это явилось прежде в монашеском виде, то и стали отыскивать и предполагать — не Гришка ли Отрепьев он, действительно бежавший из Чудова монастыря; и так как монастырь этот находился на виду у патриарха, то происходившее там прежде могло быть ему известнее, чем происходившее в других монастырях. Когда же оказалось нужным во что бы то ни стало дать в глазах народа какое-нибудь имя страшному неизвест-

ному человеку, называвшему себя грозным именем, тогда употребили имя Гришки Отрепьева, тогда под этим именем патриарх произнес проклятие на самозванца. Как слабо на народное чувство подействовала эта выдумка, доказывают слова летописца, который сознается, что никто не верил ей (*Ин. сказ. о самозв. 21*); проклятие не действовало на народ: всякий шаг патриарха приписывали Борису умышлению; народ пошел за Димитрием. В его царствование не было никакой возможности обличить, что он Гришка, и когда пришлось низложить и убить его, враги все-таки не могли найти никаких доказательств; оставалось, однако, невольное сомнение, зароненное патриархом; и после смерти царствовавшего под именем Димитрия Шуйский употреблял все усилия, чтоб очернить его память и утвердить в народе мысль о том, что он Гришка Отрепьев. Долго эти меры действовали слабо. Большинство народа пошло за вторым Лжедимитрием. Бесчинства поляков, его союзников, отрезвили Московщину; народ, не терпя Шуйского, собрался около него не ради защиты его, презираемого Россиею, а за веру и независимость земли своей. Называвший себя Димитрием был не первый и не последний. Не он один явно обличен в самозванстве; являлась куча ложных царевичей: Федоры Клементии, Петры, Савелии, Семены, Василии, Ерофеи, Гаврилы, Мартины. Все они исчезли бесследно. Убит второй Димитрий, явился третий, и также убит. Понятно, что при таком множестве ложных царевичей, явно оказавшихся самозванцами, представление о спасенном чудесном лице царственной крови потеряло в народе окончательно и веру и сочувствие. Тогда не осталось ни у кого сомнения, что и первый Димитрий был не настоящий; а так как враги давно уже постоянно объявляли его Гришкою, то и утвердилось мнение, что он Гришка Отрепьев. Воображение создавало разные подробности о нем. Когда минула эпоха смут и Московское государство успокоилось, взялись писать о событиях прошлого времени, и по письменным памятникам, и по памяти, и по слухам; в писания вошли разные рассказы о явлении первого самозванца, ходившие из уст в уста, а в них имя Гришки, брошенное изначала патриархом и Борисом, приняло право исторической достоверности, перешло во все истории, и до сих пор соединяется с личностью первого самозванца. Стоит только сличить все эти сказания, чтоб видеть в них господство вымысла и отказать им во всяком праве на авторитет.

Между тем существуют прямые свидетельства современников, опровергающие, что самозванец был Гришка. Укажем на Маржерета. Он говорит, что вскоре по воцарении

Бориса убежал из Москвы секретарь патриарший Гришка Отрепьев в Польшу. «Я знаю наверное, — говорит Маржерет, — что тогда убежало в монашеском виде двое, один Гришка Отрепьев, другой безымянный. Борис разослал гонцов ловить их и стеречь все дороги. На границе учредили заставы, и три или четыре месяца трудно было ездить из города в город. Когда называвший себя Димитрием прибыл в Московское государство, то привел с собою Гришку Отрепьева. Ему было от роду за 35 лет, тогда как самозванцу было не более 23 или 24-х. Вскоре самозванец сослал Гришку Отрепьева в Ярославль за пьянство и беспутное поведение. Один из живших в Ярославле в доме Английской компании рассказывал Маржерету, что когда самозванца убили, то Гришка Отрепьев стал уверять всех, что убитый вовсе не Гришка, и указывал в доказательство на свою личность. Василий Шуйский приказал его отыскать и неизвестно, что с ним сделал». Маржерет — писатель умный, беспристрастный и добросовестный. Если у него и есть неверности, то разве от незнания, а не от умышленной лжи. Он хотя и остается в том убеждении, что самозванец был настоящий Димитрий, но убежден не наобум, а приводит доказательства, которые настолько сильны, что должны были убедить его в то время, при естественном отдалении иностранца от условий нашей русской жизни. Пристрастия к самозванцу в нем нет; он не скрывает его дурных сторон. Весь тон его сочинения побуждает доверять ему там, где он выступает как очевидец или как близко знающий то, о чем рассказывает. Впрочем, если нужно свидетеля, который бы непременно не признавал самозванца Димитрием, и за этим дело не станет. В хронике Буссова, далеко не так умного и беспристрастного, каким был Маржерет, но тем не менее очевидца событий, притом вовсе не расположенного считать самозванца настоящим царевичем, личность его также различается от личности Гришки Отрепьева. Буссов говорит, что Гришка Отрепьев бежал из монастыря с тем, чтобы отыскать кого-нибудь, кто бы решился назваться Димитрием. В Поднепровских краях он нашел такого молодца, а сам отправился к козакам и подстрекал их подняться за явившегося Димитрия (*стр.* 19). Так и Кобержицкий (*стр.* 57), считая самозванца отнюдь не Димитрием, а обманщиком и пришельцем из Московии, не называет его Гришкою Отрепьевым. Другой польский историк Лубенский (*стр.* 28), считая его также обманщиком, изъявляет сомнение к тому, чтоб он был Гришка Отрепьев, как москвитяне считают его.

Карамзин, Соловьев и вообще наши историки, соблазняясь свидетельством современников (не имевших никакой причины лгать) о различии Гришки от самозванца, думали объяснить это различие известием, вошедшим в Морозовскую летопись и рукописную «Повесть о Борисе и Расстриге», что Гришка, сам назвавшись Димитрием, нарек своим именем другого. Но Морозовская летопись говорит, что эту роль Гришки на себя взял чернец Пимен: — умышленная и неудачная ложь, ибо мы знаем из патриаршей грамоты, что чернец Пимен был в конце 1604 года в России (если верить ей в этом); проводивши Гришку Отрепьева до границы Литовской, он воротился назад. «Повесть о Борисе и Расстриге» говорит, что это был Леонид, инок Крывецкого монастыря, который сопутствовал самозванцу вместе с Мисаилом Повадиным и Варлаамом. Но странно, что об этом Леониде упоминается в одном только сочинении, и то единственно для того, чтоб указать, что он заменил собой настоящего Гришку. Почему же ни в патриаршей грамоте, ни в челобитной Варлаама, ни в одном из рассказов, вошедших в хронографы и летописи, нет имени этого Леонида? Не показывает ли это, что имени Леонида не осталось даже по преданиям в числе спутников самозванца, и выдуманно кем-то уже впоследствии? Да и как можно верить вообще, что кто-то, в угодность самозванцу, принял на себя имя Гришки Отрепьева, не бывши им в самом деле, когда об этом говорят только два позднейшие источника, да и те разноголосят между собою?

Есть, однако, разноречие между Маржеретом и Буссовым. По Маржерету, самозванец, не будучи Гришкою Отрепьевым, по-видимому бежал все-таки в Польшу из Москвы; а по Буссову, он и произошел в Польше. Но это разноречие показывает только то, что Буссов, как это видно во многих местах его хроники, ошибался в тех случаях, когда шла речь о событиях, происходивших далеко от его сферы и о которых он писал по слухам. Маржерет говорит сообразнее с истиною и с большою осторожностью. Он выдает за верное, что Гришка Отрепьев другое лицо, а не тот, который царствовал под именем Димитрия, и указывает только, что кроме Гришки бежал еще из Москвы кто-то безымянный. Важно то, что Маржерет прибавляет, что в его время так думали вообще русские, то есть отличали царствовавшего под именем Димитрия от Гришки Расстриги.

Действительно, самозванец бежал из Московской земли; в этом нет сомнения. Все польские источники согласно свидетельствуют о том, что он явился из Московщины. Мни-

шек в своем допросе объявил, что он явился в Киеве в монашеском платье, потом перешел к Вишневецким и там объявил себя царевичем. Мнение о том, что он был поляк, настроенный иезуитами, разбивается в прах от следующих очевидных доказательств:

1) Он не твердо знал латинский язык (вопреки Вассенбергу, ошибочно говорящему, будто он его знал хорошо); а это было бы невозможно, если б он был воспитанник иезуитов.

2) Он говорил по-русски как природный великороссиянин.

3) Если б он был воспитанник иезуитов и даже просто поляк того времени, то оказывал бы гораздо больше рвения к католичеству, чем сколько было в нем его видно; ибо хотя он и писал к папам двусмысленные уверения в преданности и готовности следовать их наставлениям и быть полезным апостольскому престолу (— выражения, которые католическое духовенство, по обычаю из малого заключать великое, растолковало совершенным принятием римско-католической религии и готовностью вводить ее в Московском государстве); но, царствуя на престоле под именем Димитрия, в течение года только и сделал для католичества, что допускал свободное обращение католиков наравне с прочими иноверцами, да толковал о союзе с западным христианством против турок; важного же ничего к осуществлению заветных намерений папы не делал вовсе, даже свою жену обязывал поститься по уставам православной церкви и причащаться от патриарха; а под конец уже разочаровал и папу Павла V, и всю католическую пропаганду в их блестящих надеждах.

Наконец 4), если б он был поляк, то московские бояре, постоянно говорившие, что его научили поляки, не преминули бы указывать на это; но видно, что с первого взгляда чересчур видно было его великорусское происхождение, когда его поспешили признать скорее своим беглым бродягой, чем иноземцем. Оттого, вероятно, и называли его Гришкою, что он явился беглецом из Москвы в монашеском платье, в каком ходил действительный Гришка.

Действительно ли тот безымянный, о котором говорит Маржерет, был наш самозванец? Ответ на это скажется сам собою, но прежде нужно исследовать другой вопрос: Каким образом спасшимся от насильственной смерти выдавал себя самозванец?

Есть много иностранных рассказов о том, как спасся Димитрий царевич от подосланных убийц. Все они если

не есть, то кажутся сокращением подробной повести об этом, находящейся в рукоп. Публ. Библ № 33 и напечатанной Когновицким во втором томе его Сапег (*Zyse Sapiehow*) и приписываемой какому-то Товианскому. Там рассказывается, что спас его доктор Симеон, подменивши другим мальчиком, которого убили, почитая за царевича, зарезали ночью сонного, а настоящий передан на сохранение князю Мстиславскому. Впоследствии, после разных приключений, царевич поступил в монастырь, желая укрыться от преследований Бориса. Эта повесть с первого взгляда показывает такое же легендарное происхождение, как и наши затейливые рассказы о похождениях Гришки Отрепьева. Писана она со слухов, ходивших из уст в уста в Польше и заходивших в Западную Европу. В сокращенных видах то сказание повторяется Пясецким (стр. 221), Гревенбрухом (стр. 14), Петрицким (13), Бареццо-ди-Барецци (стр. IV). Но то, что у них рассказывается, точно ли было рассказано Димитрием и в таком ли виде рассказано? Это более чем сомнительно. Рассказы эти чересчур противоречат истине, и самозванец был бы чересчур неловкий обманщик, если б прибегнул к такого рода вымыслам. Так, например, подлог накануне убийства и ночное убийство мальчика, подложенного вместо царевича, не сходятся с обстоятельствами, сопровождавшими убийство настоящего царевича Димитрия в Угличе. Убийство это произошло не ночью, а днем. Целый город в продолжение трех дней смотрел на мертвое тело царевича и все могли узнавать в нем того самого, который был жив накануне убийства. Справедливо смеялся над этою сказкою великий гетман и канцлер польский Ян Замойский. «Замыслить убить наследника престола и ошибиться в убитом, — (говорил он) — да это можно только барана или козла зарезать, и не посмотреть кого зарезали». Притом же в известии Товианского говорится то, что доктор Симеон, спасши царевича, сохранил его у князя Ивана Мстиславского в украинских землях Московского государства, когда никакого Мстиславского там не бывало. Князь Иван умер в 1586 году, и никогда не был сослан в украинные города. Неужели нарекший себя Димитрием мог не знать этих обстоятельств и выдумать такие небылицы, которые легко могли опровергнуться с первого раза, когда были другие способы гораздо хитрее и ловчее скрыть обман! Всякому читающему эти сказки может придти в голову: почему бы этому плуту, вместо того чтоб говорить, что его

подменили накануне убийства, не сказать, что его подменили гораздо раньше?<sup>1</sup>

Действительно такой способ объяснения и был в ходу в то время. Англичанин Смит, посетивший Россию во время гибели Борисова дома и воцарения самозванца, объясняет тайное спасение царевича, без сомнения так, как он слышал от русских. Богдан Бельский был удален от двора. Его друзья ему сообщали обо всем, что делается при дворе<sup>2</sup>; и по этим известиям Бельский сообщил, что Борис замышляет истребить Дмитрия. Он вошел в сношение с его матерью; мальчика подменили, на его место подставили сына какого-то священника, который был одних лет с Дмитрием и похож на него. Этот попов сын воспитывался под именем царевича Дмитрия, и однажды, когда он играл с детьми, ему перерезали горло, будто случайно, желая разрезать шейное ожерелье. Тело его лежало в продолжение трех дней всенародно; все думали, что это Дмитрий, а между тем настоящий Дмитрий проживал в неизвестности<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Так же точно мы считаем чистым вымыслом письмо, приписываемое Лжедмитрию, к Борису, находящ. рукописи в Публ. библ. № 33 и приведенное в отрывках Соловьевым. Это письмо напицкано до такой степени анахронизмами, до такой степени не похоже на слог писем этого человека, что нам не представляется ни малейшего сомнения в его подложности. Очень вероятно, что Лжедмитрий, вступая в Московское государство, писал к Борису, исчислял все злодеяния, предлагал отречься от престола и за то обещал свое помилование; но та польская редакция, которая находится в означенной рукописи, не может считаться подлинною. Во многих местах совершенная бессмыслица, и это вынуждало г. Соловьева приводить ее только в отрывках.

<sup>2</sup> Andrea Shultan (Шелкалов) and Andrea Clyskenine being his there instruments that wrought for him.

<sup>3</sup> Sir Thomas Smithes Voyage and entertainment in Rushia. London. 1605. стр. 45-46: «Bogdan (knowing the ambitious thirst of Borris to extirpate the of Evan Vassilewich) took deliberation with the old Empresse (mother to Demetre) for the preservation of the child. And seeing a farre off arrowes aimed at his life, wich could very hardly be kept off, it was devised to exghande Demetre for the child of a churchman (in yeares and proportion somewhat resembling him) might live safe though obscure.

This counterfet churchmans sonne being then taken for the lauful prince^ was attended on and associated according to this statae: with whom one day, another child (that wsa appointed to bee his play-fellow) disporting themselves, finding faulte that collar which the supposed Demetre wore about his necke (as the fashion of the countrey his) stood awry, preparing to mende it, with a sparpe knif (provided as seems of purpose) cut his throat.

The report of this arrived presently at court the usurper makes shew of much lamentation yet to salisfiy the people and seat himself faster in his throne the dead body was openly showne three daies to the cyes of all men. Many arguments were drawne to make world beleewe that Boris sonne sought the death of this brother in lawes childe, and to weane the loves and hopes they had from him, as first to have

Несмотря на некоторые анахронизмы, неизбежные у иностранца, не знающего ни русского языка, ни русской жизни и сообщающего известия по слухам, рассказ Смита заключает и много верного, и показывает, что рассказчик писал то, что ему говорили московские люди. Это подтверждается еще более, когда мы сопоставим известие англичанина с другими источниками того времени. Из рассказа Смита видно, что Богдана Бельского считали избавителем царевича Димитрия в младенчестве, а Буссов и Петрей повествуют, как этот самый Богдан Бельский уверял народ, что воцарившийся под именем Димитрия есть действительно Димитрий.

В тот день, когда самозванец въехал в Кремль, Богдан Бельский явился на площадь и с лобного места говорил народу: «Как бы вас лихие люди ни смущали, ничему не верьте. Это истинный сын царя Ивана Васильевича. Святой Николай чудотворец помогал ему до сих пор во всех бедах его и к нам его привел. Берегите же его, любите его, почитайте его, служите ему и прямите без хитрости, ни на что не прельщаясь». В подтверждение своих слов, он целовал крест, на котором было изображение Николая чудотворца (Busov chronic 36. Ptrei 176).

Сообразно с выдумкою о ранней подмене Димитрия сыном священника, и Василий Иванович Шуйский перед низложением Борисова сына Федора спрошенный народом, объяснил, что Димитрий избежал Годуновского преследования, а вместо его убит и царски погребен священнический сын; а настоящий Димитрий идет в Москву и находится в Туле. Об этом сообщает только Петрей (Chronic. Moscov. 174), но свидетельство его имеет, по нашему мнению, все признаки достоверности. Многие говорят, что с прочими бо-

it spread abroad, that Demetre was like to prove like his father thats to say a Tyrant because, even in his childhood, he tooke delighte to see hennes and chickens kilde, and to bath his hands in the blood, adde unto this, the poisoning of his nurse, besides it was forbidden to have him praied for, as the of the Emperors children were because hee should be utterly forgotten. No conclude an old over-worne law buried long in forgetfynlness was now againe freshly revived, and that was, that the child of a six wife was not to unherit (yet the murder beeing acted). Boris the usurper, to blind the eies of the world, and to weare a cunning maske over his owne. Sent a nobleman with divers other, to take strict examination of each particular circumsstance, and to imprison all those that had the gurdiaunce of him, yea to put some of them to tortures and to death, wich was done accordingly. But heaven protected the lawfull, to be an instrument for the usurpers confusion. Obscurely lived this wronged prince, the changing of him being made private to none but his own mother, who now living, and to Bodan Belskey; but upon wheele his various fortunes have bin turned (wich of necessitye much needs be strange) came within the rech of our knowledge being there.



ярами Василий Шуйский ездил кланяться самозванцу в Тулу. Польские паны, в спорах своих с боярами, припоминали, что все бояре, в том числе избранный ими царем Василий Иванович, кланялись ему в Туле. Этого не опровергали и не могли опровергнуть бояре. А коль скоро Шуйский ездил кланяться самозванцу, то нет ничего невозможного, если он и народу торжественно заявил, что этот самозванец настоящий царь. Не только уместно было народу спросить Шуйского, но даже неизбежно, ибо Шуйский производил следствие об убийении царевича и лучше чем кто другой мог знать: убит ли настоящий царевич или нет? Хитрому Шуйскому в то время был прямой расчет объявить таким образом народу, чтоб погубить Годуновых, в уверенности, что самозванец недолго продержится на престоле, а после него Московский престол останется не занятым и взойдет на него он, как старший из князей Рюрикова дома. Не только в России, но даже в Польше признавали за ним это право. В речи Яна Замойского, последней в его жизни, говоренной им на сейме, канцлер, отвергая подлинность назвавшего себя Димитрием, заметил, что если нужно Годунова свергнуть как похитителя, то Московский престол по праву наследства должен достаться князю Шуйскому.

Сообразно этому мнению и Маржерет, видевший, как мы заметили, близко эти обстоятельства, говорит: весьма вероятно, что мать и знатнейшие бояре, как Нагие, Романовы, угадывая, чего желает Борис, употребили все способы для избавления младенца от гибели. Спасти же царевича они иначе не могли, по моему мнению, как подменить его и воспитав тайно, доколе настанет лучшее время, пока разрушатся планы Бориса Федоровича. Сей цели они достигли как нельзя лучше: кроме верных соучастников, никто не ведал о подлоге; царевич воспитывался тайно; по смерти же брата своего Федора, когда избрали царем Бориса, вероятно удалился в Польшу вместе с расстригою, одевшись монахом, чтоб перейти русскую границу.

На это мнение человека, стоявшего так близко к событиям, следует само собою смотреть как на отголосок тех мнений, которые вращались в среде, где жил он. Не посвященный в тайны боярские, Маржерет слышал, что Димитрия спасли бояре, и по догадкам мог называть Нагих и Романовых, как людей, благодетельствованных Димитрием. Но имена эти только приведены для примера и как поясняющие понятие о знатнейших боярах, а не наверное, что именно эти бояре, а не другие, и только эти, а не

другие с ними, считались виновниками спасения Дмитрия. Для нас важно то, что и Маржерет, подобно Смигу, говорит, что царевича подменили задолго до углицкого убийства.

В двух грамотах самозванца, писанных еще до прибытия в Москву, глухо и неясно говорится о его спасении. Первая так выражается (*Акт. Эксп.* II, 89): «изменники наши послали нас великого государя на Угличь, и толикое утеснение нашему царскому величеству делали, что и поданным делити было негодно: присылали многих воров и велели нас портити и убити; и милосердый Бог нас великого государя от их злодейских умыслов укрыл, оттоле даже до лет возраста нашего в судьбах своих сохранил». В другой, от июня 12, говорится: «Божиим произволением и его крепкою десницею сокроуенного нас от нашего изменника, от Бориса Годунова, хотящего нас злой смерти предати, и Бог милосердый, не хотя ему злокозненного помысла исполнити, и меня, государя вашего прирожденного, Бог невидимую силою укрыл и много лет в судьбах своих сохранил» (*ibid.* 97).

Эти неясные фразы, если не подтверждают известия о том, что спасение царевича приписывали друзьям его задолго до убийства, то и не противоречат ему.

В Ростовской летописи рассказывается, что когда самозванец открылся Вишневецкому, то показал свиток, где было объяснено его спасение так: «когда повелел его Борис убити, и его Бог укрыл, место его убиша Углицкого попова сына, а его будто скрыша бояре и дьяки Щелкаловы, по приказу отца его царя Ивана Васильевича» (*рукоп. Археограф. ком.* № 5, F 13). Здесь также нет противоречия известиям Смига и Маржерета.

В допросе, сделанном Мнишку по смерти самозванца, Мнишек объявил, что, пришедши к Адаму Вишневецкому, самозванец показал, что Господь Бог его от смерти спас помощью доктора, положившего на место его иное дитя, которое вместо его в Угличе зарезали; а потом доктор отдал его на воспитание к одному сыну боярскому, который присоветовал ему спрятаться между чернецами (*Собр. Госуд. гр. и д.* II, 294).

По-видимому, здесь-то и корень всех нелепых рассказов о подмене Симеоном Дмитрия. Но собственно это место двусмысленно. Можно действительно понимать и так, что доктор подложил вместо царевича другого пред убийством; но можно понимать и так, что он сделал этот подмен и раньше. Во всяком случае, однако, видно, что в рассказе о

спасении своем самозванец говорил в Польше о каком-то докторе; но замечательно, что по этому известию доктор отдал его не Ивану Мстиславскому, как говорится в сказании Товианского, а какому-то сыну боярскому.

Таким образом ничто здесь собственно не противоречит известию Смита, показывающему, что спасение Дмитрия приписывали Богдану Бельскому и его друзьям ранее убийства, совершенного в Угличе, подкрепляемому свидетельствами Буссова и Петрея, сообщающими, что Бельский уверял народ крестным целованием, что пришедший в Москву есть истинный Дмитрий, и, наконец, сообразному с мнением Маржерета, на которое следует смотреть, как на выражение мнений известного круга людей в то время.

Если вопрос ставить таким образом, что спасение Дмитрия приписывалось партии друзей его, то открывается, что личность эта должна быть орудием партии, ненавидевшей Бориса, и тот самый Богдан Бельский, который так энергически уверял народ в истинности прибывшего в Москву Дмитрия, был со своими друзьями и виновником его самозванства. По известию Маржерета, слух о Дмитрии возник в 1600 году, именно около того времени, когда поляки указывают время прибытия его в Киев, в 7109 году (с сентября 1600 по сентябрь 1601 года). С этих пор, говорит Маржерет, Борис занимался только истязаниями и пытками (*tourmenter et gehenner*). Раб, обвиняющий своего господина, хотя бы и ложно, в надежде сделаться свободным, получал от царя награждение, а господина или его главного служителя подвергали пытке, дабы исторгнуть признание в том, чего они никогда не слыхали и не видали. Дмитриеву мать вывели из монастыря и удалили от Москвы верст за 600. В столице очень немногие из знатных родов спаслись от подозрений тирана, которого прежде считали милосердным государем, ибо во все время своего царствования от появления Дмитрия он не казнил и десяти человек всенародно, исключая воров». (*Estat de l'empire de Moscovie Paris, MDCLXIX, стр. 110*).

Известие современника — чрезвычайно важное. Указываемое им время совпадает действительно с эпохою гонений и преследований знатных фамилий. Борис сделался подозрителен, хотел все знать, говорит наш летописец (*Летоп. о мятежах, стр. 54, Никоновская, 14*), и начал награждать холопей боярских за доносы. Началось с Воинка, холопа князя Федора Шестунова, который донес на своего боярина. Царь публично на площади приказал объявить ему похвалу и наградить поместьем. С его легкой руки и

начались доносы холопей на бояр; за доносами пытки, ссылки, заточения, казни. «Жены на мужей своих доводиша, а дети на отцов, якоже от такие ужаси мужие от жен своих таяхуся: и в тех окаянных доводах многие крови пролишася неповинные и многие от пыток помроша: иных казняху, иных по темницах рассылаху и дома их разоряху; ни при котором государе таких бед никто не виде!»

Эта ужасная картина, сходная с изображением Маржерета, поясняется последним. Царь хотел все знать, — говорят наши летописцы. Маржерет поясняет, что он хотел знать: его встревожил слух о Дмитрии; он догадался, вероятно, что ему готовят Дмитрия, и хотел во что бы то ни было отыскать и самого Дмитрия и тех, кто ему готовит его. Тогда постигла печальная участь роды Романовых, Черкасских, Репниных, Сицких, Карповых и множество менее знатных, и потому неизвестных по именам. Тогда же постигла кара и Богдана Бельского. Этот боярин в конце царствования Грозного был его другом и самым могущественным человеком. Царь назначил его после себя одним из пяти правителей государства, по случаю слабоумия Феодора, и сверх того воспитателем другого сына — Дмитрия. В ночь, после того когда Грозный умер, Дмитрия с матерью сослали в Углич и удалили его родственников с матерней стороны, Нагих. Говорили, что это было следствие каких-то замыслов в пользу Дмитрия, руководимых Бельским. Враждебные ему бояре взбунтовали московскую чернь и дворян, находившихся в Москве на службе. Под предводительством рязанцев Ляпуновых и Кикиных, они требовали выдачи Бельского и обвиняли его, будто он извел царя Ивана Васильевича и хочет извести Феодора, чтоб самому править государством. Бельского сослали в Нижний Новгород. Мятеж этот до того представлен сбивчиво, что нет возможности исследовать его поводов и побуждений. В 1591 году Бельский снова был уже в столице. Ясно, что личность Бельского была связана с личностью Дмитрия. Понятно, что когда разнесся слух, что Дмитрий жив, Годунов не мог не подозревать Бельского. Поводом к его опале наши летописцы поставляют то, что Бельский получил поручение ставить в Поле город Борисов, и будучи очень богат, в короткое время на собственные средства поставил его так, что он имел подобие города, Бельский укрепил его башнями и стенами, Бельский поил, кормил ратных людей, давал им деньги, платье и запасы, словом — привязывал к себе, готовился к какому-то замыслу. Борис приказал его привезти, разорить, взяв у него все вотчины, позорил его,

поругался над ним и сослал куда-то в низовые города в тюрьму. Та же участь постигла и его друзей дворян, между которыми летописец называет Афанасия Зиновьева. Иностранцы рассказывают при этом, что Борис приказал одному своему доктору немцу выщипать у Бельского бороду, якобы за то, что, будучи в Борисове, он на пиру расхвастался и промолвил: «царь Борис — в Москве царь, а я в Борисове царь». Этот рассказ о бороде правдоподобен, ибо сходится с глухим известием наших летописцев о том, что Борис позорил Бельского и поругался над ним. Если в ком, то в Бельском Борис действительно поразил своего врага; но Дмитрия он все-таки не доискался. Маржерет говорит, что весть о Дмитрии сделала перемену в образе действия Бориса. И в русских летописях тиранства Бориса изображаются в виде перемены в его характере. Прежде, когда он вступал на престол, то казался «естеством светлodusен, нравом милостив, паче же рещи — нищелюбив; от него же многие доброкапленные потоки приемше, и от любодаровитые его длани в сытость напитававшиеся: всем бо неоскудно даяние простираше, не точию ближним, но и странным» (*Степ. кн.*); а потом: «да никто же не похвалится чист быти от сети неприятельственного злокозньствия врага, от клеветующих некие изветы нечестивого совета приимаше и сего ради в ярость суетно приходяше». Подобного проявления мрачной подозрительности и варварства в характере нельзя объяснить иначе, как тем, что Борис, вообще опасавшийся за свою корону и жизнь, в это время был встревожен чем-то важным, искал какой-то тайно грозившей ему опасности и потому прибегал к таким суровым средствам. На это, конечно, могут возразить, что наши летописцы, описывая тиранства Бориса, не говорят, однако, чтоб поводом к его свирепствам было опасение Дмитрия, и Борис, отыскивая тайные замыслы врагов, не говорил, что они хотят выдумать против него страшилище в образе углицкого царевича. Но обратим внимание на то обстоятельство, что если до Маржерета в 1600 году доходил слух о Дмитрии, то уже без сомнения он доходил до Бориса. А что Борисовы преследования и гонения не совершались гласно ради Дмитрия, то это в порядке вещей: Борису имя Дмитрия было до такой степени страшно, что он не решался и не должен был решиться произносить его громко на всю Русь. Это был для него только слух. Объявить гласно, что он боится Дмитрия, значило бы рисковать вызвать на свет этот призрак; тем более, что сам Борис не мог быть вполне уверен, что Дмитрий убит: он сам не был в Угличе; тех

кто убил его, не мог спросить, ибо их на свете не было; а на преданность Шуйского, производившего следствие, он никак положиться не мог. Да если б он и был вполне уверен, что в Угличе действительно совершилось убийство дитяти, которое считалось царевичем, то кто мог поручиться ему, что проникая его козни, заранее не подменили Димитрия, что не случилось именно то, чем морочили народ во время самозванца. Как тиран подозрительный, но вместе осторожный, Борис старательно укрывал — какого рода измены и замыслов он ищет; он только преследовал тех, кого, по своим соображениям, считал себе врагами, чтоб случайно напасть на след искомого. Для этого-то он и употреблял холопов, надеясь таким путем знать всю подноготную того, что происходит в подозрительных для него домах. Ему не удалось. Многих он перемучил, пересылал, переморил; а тот, кого ему подготовили враги, успел уйти и надеть кутерьмы. Замечательно известие Маржерета, что когда ушло двое, Гришка Отрепьев, а другой безымянный, то Борис приказал поставить заставы по границе и не пропускать никого даже с проезжими памятьми. Не ясное ли дело, что Борис уже знал о Димитрии. Не ради же Гришки Отрепьева были поставлены эти заставы! Ни патриарх в своем окружном послании и в своих письмах, ни Борис в своей грамоте к польскому королю о выдаче вора, не говорили, чтоб Гришка Отрепьев еще прежде заявлял намерение назваться царевичем; бояре в своих ответах польским послам тоже этого не говорили. Московское правительство постоянно твердило, что вора научили в Польше назваться Димитрием. Невозможно, чтоб ради Гришки Отрепьева или каких бы то ни было подобного рода беглецов были поставлены такие крепкие заставы; из Московского государства бегало очень много дворян и детей боярских в Литву, и однако не ставили ради их таких застав, чтоб не пропускать никого даже с проезжими памятьми; это уместно только тогда, когда ожидают побега какого-нибудь лица, которое, убежавши в чужую землю, может принести вред государству, из которого вышло, и притом такого лица, которое убежало под чужим именем. Таким важным и опасным для державы Бориса лицом и был в то время Димитрий, о котором слухи уже носились, по свидетельству современника и очевидца событий. Без сомнения, Борис слышал о Димитрии, — быть может, знал наверное, что есть уже такое подготовленное лицо и готовится убежать в Польшу; но где оно, какое имя носит, это было ему неизвестно, и потому он приказывал останавливать встречного

и поперечного. Когда, наконец, разнеслась весть о том, что Димитрий открылся, Борис, патриарх и все их клеветы — стали соображать и догадываться, кто бы это был из бежавших; напали на имя Гришки Отрепьева, монаха, действительно бежавшего из Чудова монастыря, стали подозревать в нем Димитрия, а когда пришла необходимость уверить народ, что явившийся под именем Димитрия вовсе не Димитрий, и назвать вора другим именем, то и употребили Гришкино имя. Когда же именно бежал этот Гришка, об этом представляется, как мы видели, разноречие. В выписке из Разряда говорится, что он убежал в 111 году, а в челобитной Варлаама по одному списку в 110-м, по другому — в 111 году; в патриаршей грамоте не говорится, когда именно случилось бегство. По смыслу Маржеретова сказания выходит, как будто Гришка бежал из Москвы разом с тем, кто назывался Димитрием, следовательно — в 1600 году. Для нас собственно это не важно, а челобитная Варлаама явно неверная вещь уже и потому, что Варлаам рассказывает, что он познакомился с Гришкою на улице перед своим уходом из Москвы, тогда как в патриаршей грамоте этот Варлаам называется монахом Чудова монастыря, следовательно должен был знать Гришку, как жившего с ним в одном монастыре. Если верить Разрядной выписке, то Гришка ушел в конце 1602 или в первой половине 1603 года, и значит не разом с Димитрием. Может быть, в списке неверность, а может быть, и Маржерет здесь невольно впал в ошибку: с одной стороны он знал, что слух о Димитрии был в 1600 году и тогда уже ставили заставы по границе, а с другой, что судьбу Гришки соединяли с судьбою самозванца, и притом Гришка пришел вместе с самозванцем в Москву; поэтому Маржерет ошибочно мог отнести их бегство из Москвы к одному времени.

На основании всех упомянутых здесь обстоятельств, мы признаем самозванца творением боярской партии, враждебной Борису. Борис был в этом убежден, и когда ожидаемый давно и не дававший ему покоя призрак царевича Димитрия отозвался в Польше и начал существовать под этим именем, Борис не задумался сказать боярам: «вот наконец что вышло! я вижу, откуда он идет; вот она измена и крамола князей и бояр; знаю, — это ваше, ваше дело: вы хотите погубить меня!» (Bussov 27). Какие же лица, кроме Бельского, благоприветствовали делу явления Димитрия? Сказать положительно невозможно; только одних Щелкаловых именует сам претендент. Дьяк Василий Щелкалов был действительно в эпоху казней в опале и удален от дел;

при самозванце был в чести, и, как его приверженец, подвергся опале при Шуйском. По кое-каким признакам можно было бы еще бросить подозрение на род Романовых и их свойственников, на которых и указывает Маржерет. 1) Романовы пострадали в то время, когда Борис узнал о Димитрии и, без сомнения, Борис их более всего подозревал, ибо на них особенно разъярился; 2) Романовы были в хороших отношениях с Бельским, ибо Филарет Никитич, сосланный в Сийский монастырь, отзывался о нем, как о самом способнейшем и достойнейшем между боярами; 3) Когда самозванец шел на Бориса, Филарет (как доносил пристав, который за ним присматривал) изменил свой старый образ поведения и оказывал радость и надежды. 4) Самозванец, вступивши на престол, благодетельствовал в особенности фамилию Романовых и так уважал ее, что даже кости умерших в ссылке приказал с честью перевезти в Москву. Но такие признаки недостаточны. О Филарете Никитиче, например, мы знаем впоследствии более: он жил в лагере Тушинском, именовался московским патриархом, именем его писались патриаршие грамоты, наконец польские источники выставляют его как одного из главных предателей Московского государства в руки Сигизмунда после бегства Тушинского вора. Все обстоятельства слишком очевидны против этого человека, и однако тот, кто наиболее должен был бы обвинять его, как восхитившего патриарший сан, патриарх Гермоген не только защищает и оправдывает Филарета, но самое пребывание его в Тушинском лагере и почести, которые ему там оказывали, считает за мученичество.

Если Лжедимитрий был творением враждебной Борису партии, хотевшей подорвать его державу и наследие рода, то был ли он сознательным или бессознательным ее орудием? Сознавал ли он, что он плут, обманщик, или же он был сам обольщен, обманут и верил, что он в самом деле царевич Димитрий?

Наш историк Соловьев полагает последнее. «Чтоб сознательно принять на себя роль самозванца, сделать из своего существа воплощенную ложь, надобно быть чудовищем разврата, что и доказывают нам характеры самозванцев, начиная со второго». (Т. VIII. стр. 2). На это можно бы возразить достоуважаемому историку, что, быть может, достаточно быть пустым ветреным лгуном, шалуном вроде Гоголевского Хлестакова. Но такое возражение имеет только отчасти смысл. Действительно, чтоб назваться чужим именем и поиграть роль знатного лица, для этого еще не



нужно быть чудовищем: таких найдется чересчур много; но такие Хлестаковы, по своей природе, слишком призрачны и не способны проводить никакого дела, а тем более бороться с препятствиями. Они всегда мелкие, ленивые трусы, пошлые натуры. Не таков был Лжедмитрий первый. Это был человек вовсе не дюжинный, напротив чрезвычайно способный, пылкий, храбрый и неустрашимый. Непритворный до неосторожности, он по своей природе менее всего был способен играть долго роль и обманывать. Некоторые поступки и черты его характера удостоверяют в том, что он верил в свое царственное происхождение:

1) Когда после его прихода в Москву Шуйский стал рассеивать про него слухи, что он самозванец, Дмитрий сделал поступок, невиданный на Руси: он отдал это дело, в котором замешался вопрос о его собственной личности, на суд всех сословий Русской земли. К сожалению, не знаем производства этого дела; но во всяком случае хитрый обманщик, который бы чувствовал за собою, что его могут обличить, не сделал бы этого, когда того не требовали обычаи страны. Дмитрий, как мы уже объясняли, давал тогда возможность обличать себя. Все шансы были на стороне врагов его. Если б Шуйский и его единомышленники имели на своей стороне какие-нибудь доказательства, они бы могли одержать верх. Стало быть, царь вполне был уверен, что у врагов нет доказательств, а это возможно единственно тогда, когда царь сам был убежден, что он именно тот, за кого себя выдавал. При малейшем сомнении он бы никак не мог на это решиться.

2) Еще более говорит в его пользу то, что он простил Шуйского и тем приготовил себе гибель. Будучи обманщиком, он знал бы, конечно, что Шуйский, производивший следствие над телом убитого царевича, Шуйский, издавна близкий к тайнам правительству, наконец Шуйский, по своему родовому происхождению считавший себя и считаваемый многими за ближайшего наследника московского престола, в случае прекращения царствующего дома, — Шуйский ему опаснее всех в Московском государстве. Этот враг, осужденный не им, но голосом земли, идет на смертную казнь! Если б Дмитрий был обманщик, он бы не мог простить его: это не в человеческой натуре. Этого мало, — избавивши от казни, Дмитрий приблизил к себе такого опасного человека, который раз уже обличал его в самозванстве, приблизил не по принуждению обстоятельств, а по движению собственного великодушия. Может ли обманщик довериться тому, кто уже раз обличал его обман и всегда имеет возможность обличить его

более чем кто-нибудь? По природе человеческой, ничье присутствие нам так не противно, как того, кто видит нашу тайну, которую мы упорно желаем скрыть. Самый злейший враг всякого лжеца есть тот, кто не верит его лжи. Каково же должно было самозванцу терпеть постоянное присутствие Шуйского, показавшего уже раз, что его не обманули, как других! Зачем же этот плут на престоле добровольно устроил себе такую нравственную пытку, когда сама судьба избавляла его от нее?

3) Самозванец-обманщик всеми силами должен был бы поддерживать свой обман, не щадить никаких средств для этого, не останавливаться ни перед какими жестокостями. Это свойство обмана. Всякая ложь, желающая удержать господство, прибегает ко злу. Сознательный обманщик на престоле принужден был бы, хотя бы против воли, казнить и мучить людей за истину, за неверие его обману и за обличение этого обмана. Он неизбежно вошел бы во вкус к жестокостям и скоро укоренилась бы в нем ненависть ко всему правдивому, честному, и стал бы он отъявленным чудовищем. Димитрий продержался почти год. Какие жестокости учинил он? Авраамий Палицын и Никоновская летопись говорят о казни дворянина Тургенева. Авраамий прибавляет еще к этому Федора Колачника. Но мы уже заметили, что эти казни, бывшие, по свидетельству Авраамия, еще до суда над Шуйским, должны были происходить еще до прибытия Димитрия в Москву, и притом сам Авраамий говорит, что москвичи ругались над казнимыми и кричали, что осуждение постигло их поделом. Не показывает ли это, что казни эти возбуждали сочувствие народа и были так или иначе народным делом. Стрельцов, обличивших его не в самозванстве, а в нарушении веры, он не казнил, а отдал на суд их же братии, и свои товарищи изрубили их (*Собр. гос. гр. II, 297. Нов. Лет. Летоп. о мят. 100*). Говорят еще о дьяке Тимофее Осипове, который исповедавшись, причастившись, пошел обличить расстригу и принял мученическую смерть (*Авраам. 29*). Но это событие произошло в день смерти Лжедимитрия, как указывает хронографное описание (*Четыре сказания, 17*). По сопоставлении с хроникой Буссова, дьяк Осипов, который по сказанию хронографа «абие ту иссечен бысть саблями», есть тот самый смелый «боярин», который, по известию Буссова, прежде чем нахлынула на дворец толпа заговорщиков, прибежал к Лжедимитрию с требованием выходить давать ответ народу, и был изрублен им самим (*Chron. Buss. 47*). Конечно, никто не станет укорять за то

Лжедмитрия в том положении, в каком он тогда находился. Его обвиняют в варварском убийстве жены Борисовой и сына его Феодора. Тут (надобно заметить) дело темное. Наши летописцы стараются всеми силами очернить расстригу и приписывают смерть их его повелению. Но, кажется, едва ли не справедливее будет сказание (если пристрастной к немцам, то беспристрастной к Димитрию) хроники Буссова (стр. 33), которая повествует, что Димитрий выразился тогда совсем не в определенном смысле повеления убить Годуновых: «я не могу приехать в столицу; прежде чем все мои враги до единого не будут оттуда удалены; если уже большую часть их выпроводили, нужно чтоб и Феодора с матерью его тоже не оставалось; тогда я приеду, буду вашим милосердным государем». Так как в то время Годуновых и их свойственников вывезли из Москвы, то Лжедмитрий хотел только, чтоб и семью Годунова тоже выслали. Новые его приверженцы подслужились ему и удавили сына и мать. Важно здесь то, что настоящая причина их смерти была скрыта от народа: объявили, будто царица и сын ее отравили себя ядом; даже морочили людей, будто Феодор Борисович пред смертью писал письмо к Димитрию. В таком виде это событие перешло в разные сказания иностранцев. Но если б Лжедмитрий велел их умертвить, то для чего было ему приказывать умерщвлять их тайно и распространять слух, что они отравили себя ядом, — слух, которому, конечно, редкий из русских мог поверить в то время? Если Лжедмитрий желал их лишить жизни, он мог сделать это явно. Положим, еще убить царицу казалось бы для всех жестоко; но за Феодора никто бы не осудил его. Он мог прикрыть убийство личиною правосудия. Ведь он предлагал Феодору мирно уступить престол. Феодор, напротив, принял на себя звание царя, принадлежавшее по праву наследства отыскавшемуся Димитрию, воевал против него; войско, по его повелению, разоряло Северскую область; приверженцы Димитрия были казнимы. Феодор в глазах Димитрия был похититель и мятежник. Этих обстоятельств было достаточно в глазах самых некровожадных, чтоб не считать жестокостью, если Феодору отрубят голову на площади. Для чего ж было делать бесполезное тайное убийство врагов, когда можно явно разделаться с этими врагами? Разве Шуйский менее был ему враг, чем Феодор и царица Мария? Разве не великодушно поступил он с родственниками Годуновых и их приверженцами, облегчив их ссылку, а некоторых допустил даже к должностям? По всему вероятно, если убийцы Фе-

одора и Марии сочли нужным скрывать убийство и распространять весть, будто Мария и сын ее отравили себя ядом, то скорее всего они желали обмануть этим самого царя. И кто был исполнителем этого дела? Василий Васильевич Голицын, один из погубивших впоследствии Лжедмитрия в соумышлении с Шуйским, один из низложивших впоследствии Шуйского и отдавших его в руки иноземных врагов!

4) Чрезвычайно много говорит в пользу Лжедмитрия в этом случае, отношение его к матери настоящего Дмитрия. По приезде своем в Москву, кого послал он за нею? Михаила Скопина-Шуйского, родственника Василия и его братьев! Как же это, обманщик, чувствующий, что он не Дмитрий, посылает за матерью настоящего Дмитрия, которая должна окончательно решить, сын ли он ее или нет, — посылает человека близкого по крови и по связям к тем, которых недавно только что осудили за обличения его в самозванстве! Как не вошло к нему опасение, чтоб такой посол не настроил в противном для него духе женщину, перед которою он должен играть сына? Как решился обманщик, без предварительных совещаний, вызывать эту женщину? Когда она прибыла в Москву, он выехал к ней навстречу при многочисленном стечении народа, бросился ей на шею, как к матери, плакал и обнимал ее, шел возле ее кареты; все это видели, и никто не сомневался, что он сын ее. Впоследствии от имени Марфы была обнародована грамота, где рассказывалось, будто Лжедмитрий говорил с нею наедине в шатре и грозил ей смертным убийством. Это выдуманно Шуйскими. Современники, описывающие это событие, не видели никакого шатра. (*Паэрле*, 34. *Bussov*, 37. *Ciampi Notizie*, 120. *Inno Petricii* 83. *Никоновск.* 74). Смертным убийством грозить могла скорее она ему, чем он ей. Одного ее слова было достаточно, чтоб уничтожить его. Стоило Марфе, обратясь к народу, произнести: это не мой сын, это обманщик! — ничто бы не спасло его... Послать за Марфой человека из враждебной партии, встречать ее всенародно, извлекать знаки сыновней любви, не спросивши наперед: дозволит ли она играть такую комедию, — мог только человек, вполне убежденный в том, что он сам ее сын.

5) Самозванец-обманщик, без сомнения, осторожно показывал бы себя людям и остерегался, чтоб его не увидели и не узнали прежние знакомые. Дмитрий, напротив, вел себя так открыто, как ни один из царей московских. Он выходил пешком, в противность обычаям, и принимал просьбы два раза в неделю сам лично.

6) Его предпочтение иноземных приемов жизни, естественное в молодом москвитянине, который ознакомился с

более цивилизованным бытом, его религиозный либерализм, допустивший равенство вероисповеданий, его неуважение к старым предрассудкам, позволявшее ему не ходить в баню и есть телятину, и все что навлекло на него укоры от приверженцев старины, также показывают в нем человека, глубоко сознававшего свое царское происхождение, свое право. Если в чем, то именно в этом во всем ловкий обманщик подчинялся бы окружающей его среде.

7) Когда Шуйский составил заговор, поляки проводили о существовании коварных замыслов; были доносы и от Русских, и от Немцев. Лжедмитрий не хотел разыскивать, преследовать, и даже приказывал наказывать доносчиков. Это и помогло заговору созреть; тогда как если б он, по сделанным ему доносам, принял меры, то, по всей вероятности, остался бы цел. Если б царь знал за собой обман, никак бы не пренебрегал этим. Объяснить такую невнимательность к доносам можно только уверенностью в правоте своей.

8) Наконец, в последние минуты, когда его расшибленного, окровавленного принесли во дворец и стали допрашивать и вместе с тем бить, ругаться, он говорил: «спросите у матери (Hist. Russ. monum. II, 119. Bussow); выведите меня на Лобное место и дайте мне говорить». В этих словах видна прежняя уверенность и надежда, что дело его и теперь оправдается, если станут разбирать его спокойно.

Как же в самом деле понимать отношение к нему инокини Марфы? Притворялась ли она?

Сомневаемся, и скорее готовы принимать вещи, как они представляются сами собою. Марфа признала Лжедмитрия за сына торжественно, в виду московского народа, признавала его в течение десяти месяцев. Когда тело убитого царя волокли мимо ее монастыря, ее спрашивали: твой ли это сын? Она не отвечала: не мой, это обманщик! Она отвечала загадочно: «спрашивать было меня об этом пока он был жив; теперь, когда вы его убили, он уже не мой». (Hist. Russ. monum. II, 119). Это изречение, вообще двусмысленное, можно объяснять и так, что царица хотела этим выразить прежнее свое признание, но не смела слишком явно, и так, что она сомневалась и сама себе не могла дать ответа: точно ли он сын ее, или нет.

После убийства Лжедмитрия, есть известие, что Марфа во время перенесения мощей ее действительного сына всенародно каялась в том, что признавала расстригу своим сыном, и объявила, что он никак не был сын ее, а сын ее теперь сопричтен к лику святых. В обоих показаниях Мар-

фа могла быть искренна. Женщину эту могли уверить и в том, и в другом в различное время. Ей могли сказать (может быть, по воцарении Лжедмитрия, а может быть, — что вероятнее, и раньше), что ее сына подменили в младенчестве. Конечно, с первого раза она должна была недоверчиво принять такую весть; но уверения людей, близких к делу, на нее должны были подействовать. Такова человеческая слабость, что скоро верится тому, чего желается. От смерти царевича прошло четырнадцать лет; а от того времени, когда царевича могли подменить, до двадцати лет: события прошедшие могли ступаться в памяти этой страдалицы, запуганной, измученной... Вся жизнь ее была цепью горестей. Супружество с Иваном Грозным было тяжелый крест, данный ей в молодости. Она знала, как кончали свою блестящую карьеру ее предшественницы, и должна была беспрестанно опасаться, что царственный супруг вдруг почувствует к ней отвращение и зашлет куда-нибудь в монастырь, а то еще под худой час и утопит, как Долгорукую. Особенно должно было ей казаться страшно, когда Иван Грозный, будучи женат на ней, искал руки Марии Гастингс и на счет своей супруги отзывался, что она не царской крови и следовательно нечего обращать внимание на то, что она существует. По смерти Грозного ее постигли: ссылка в Углич, подозрительные наблюдения Борисовых клеветов, насильственная смерть ее ребенка, потом насильное пострижение, тяжелое заточение, гонение всего ее рода, безнадежное грустное житье в одиночестве и изгнании. Понятно, что не трудно ошалеть и отупеть от такой жизни существу робкому, неразвитому, какими были русские женщины по их воспитанию. Легко было такую страдалицу привести в то неясное душевное состояние, когда человек ни верит, ни не верит, ему кажется то так, то иначе; не достает ума решить в ту или другую сторону, не достает воли самому определить свои поступки, и подчиняется он уму и волею тому, кто имеет над ним в данную минуту силу. Марфа могла быть именно в таком неясном, неопределенном душевном состоянии: ей говорили, что сын ее подменен и жив; ее сердцу было приятно если бы так было, и она поддавалась этому обаянию, и мешалась в ней вера с сомнением. Когда этот сомнительный сын встретил ее с признаками неподдельной, искренней сыновней любви, когда она увидела кругом себя бесчисленную толпу, которая признает его сыном ее, когда притом вместо привычной грустной келии она увидела себя в блеске царского величия, и на старости лет отдыхала она от долгого горя, а

названный сын угождал ей, оказывал к ней любовь, уважение, каждый день ходил к ней, перед начатием всякого важного дела испрашивал ее благословения; тут сомнения стали умолкать в душе ее: неловко и оскорбительно было высказать их ему, когда она сама не считала положительно невозможным, что это сын ее; и она свыклась с верою, что это ее сын. Пораженная его внезапным убийством, она произнесла над ним сомнительный приговор: она тут гласно сказала то, что у нее было в душе, то есть, ни то, ни сё. Тогда принялись за нее и стали объяснять, что все это был обман, призрак, сын ее не воскресал для нее; она как была, так и остается сиротствующей матерью. Зато указали ей того сына, которого она видела истекающим кровью, ей указали этого сына в нетленном величии святости. Материнское чувство утешилось, слилось с чувством благочестия, возгордилось славою сына — большею, чем слава царская; прежние угасшие в царственном величии сомнения ожили и сделались в свою очередь верою. И Марфа, обрадовавшись чести быть матерью святого, повторила все-народно слышанное от Шуйского, что царствовавший под именем Димитрия был расстрига Гришка Отрепьев, черно-книжник, обольстивший и ее вместе со всем русским людом; а стыд своего обмана стала извинять угрозами смертным убийством.

Нам могут сделать следующее замечание: Если Лжедимитрий мог быть человек уверенный в том, что он истинный царевич, и если обольщение было так хитро ведено, что не было возможности открыть обмана (ибо народу представили дело так, что он подменен еще задолго до убийства в Угличе), то, скорее, не настоящий ли он царевич, и не легче ли в самом деле было его спасти, чем сотворить? — Действительно, мы не считаем положительно невозможным и странным, чтоб малолетнего царевича спасли и подменили. Вскоре после воцарения Феодора Борис захватил власть и сделался несносен для многих. В 1586 году уже обозначались его стремления. Тогда он низложил и, как думают, удавил Шуйских, заточил князей Татевых, Урусовых, Быкасовых и других; лилась кровь на плахах; Дионисия митрополита и Варлаама Крутицкого архиерея сослали; вместо Дионисия на митрополичий престол возвели Иова, преданного Борису. Все это сделалось за то, что хотели слабоумного Феодора понудить развестись с сестрою Бориса под предлогом бесплодия, — иначе, этим хотели лишить Бориса его возникавшего могущества. В это время уже могли догадываться, что Борис рано или поздно

станет метить на престол и постарается избавиться от важнейшего соперника. Можно было уже соображать, что Борис покусится на жизнь Димитрия, для спасения себя и своего рода. Борис так высоко стал, что середины для него не было: если Феодор умрет бездетным и ему не удастся быть царем, то его ожидала гибель: другая власть не забыла бы той власти, до которой достигал он. Но по смерти Феодора должен быть царем Димитрий. Борису либо Димитрия нужно было свести со света, либо самому дожидаться от Димитрия гибели. Ни Димитрий, ни партия Нагих не простили бы ему своего изгнания. И Борис должен был решиться на тайное убийство, для ограждения себя и своего рода от беды. Рассчитывая таким образом, легко могла в то время хитрому Богдану Бельскому придти мысль удалить заранее Димитрия и спасти этого малютку, которого отец ему поручил на попечение. Живучи в ссылке в Нижнем Новгороде, он конечно имел так много связей на Руси, что мог через своих соумышленников и агентов увести Димитрия из Углича, подложить на место его другого похожего на него младенца, а настоящего царевича отдать на воспитание в чужие руки, с надеждою объявить ему тайну, когда нужно будет. Хотя представляется с первого раза, что в таком случае могли царевича увести маленьким в Польшу, куда пришлось спровадить его взрослым, но можно допустить, что покровители его боялись, чтоб Сигизмунд его не выдал за выгоды от Московского правительства. Могли также бояться, чтоб впоследствии Димитрий не поддался притворно-дружелюбным приглашениям от имени слабоумного брата и добровольно не возвратился в Московское государство, как случилось с Марьею Владимировною и ее дочерью, и потому нашли удобнейшим спасти его, укрыв в неизвестности, отдавши на воспитание темному человеку. Подмененного убили. Настоящий рос сыном незначительного человека, пока наконец вступил в юношеский возраст, и тогда объявили ему, кто он. У Бориса было много шпионов, и они проводили тайну, но не узнали, где царевич. Борис, чуя против себя замысел, стал, как зверь, терзать всех кого подозревал, но не нашел Димитрия. Его однако потом нельзя было держать в Московщине, и его спроводили в Польшу. «Понятно, что для избежания Борисовых шпионов всего уместнее было выпроводить Димитрия из пределов Московского государства в монашеском платье, под чужим именем: чем незначительнее и беднее человеком он казался, тем был безопаснее». Димитрий ничего не мог сказать о себе положительно, кроме того, что слышал, именно —



что его спасли бояре, но кто именно, как — никто ему не говорил этого из опасения как бы не довести их до беды. Только о дьяках Щелкаловых он узнал как-то.

Все это, по нашему мнению, возможно: легче было спасти, чем подделать Димитрия. Но принять это положительно нам воспрепятствуют следующие обстоятельства:

1) Если б так было, то по воцарении Димитрия были бы объяснены народу подробности его спасения, а участвовавшие в спасении получили бы огромные награды и благодарность перед лицом всей земли русской.

2) Если б то был настоящий царевич, то, прибывши в Польшу, он представил бы там более очевидных доказательств своего царственного происхождения; а то они до того слабы, что им никто в самом деле не верил, кроме разве самых легковверных. Люди честные советовали королю не только не принимать его под покровительство, но не допускать чтоб он набирал себе в королевстве толпу для вторжения в Московские пределы. Другие советовали даже арестовать бродягу. Мнишки увлеклись собственным честолюбием: они были неразборчивы в средствах; это доказывает их участие в деле второго самозванца. Адам Вишневецкий, «бражник и безумен», как называет его современное показание, признавший его прежде всех царевичем, тоже зарекомендовал себя также плохо впоследствии, когда вступил в шайку того же второго Лжедимитрия и, зная лучше других в лицо первого, бесстыдно притворялся, будто находит одно и то же лицо. То же можно сказать и о большей части поляков, служивших у первого самозванца и перешедших ко второму. Претендент не нашел себе поддержки собственно в Польше, а нашел ее в Украине, где в то время были готовые элементы для всякого набега, для дела смуты и потрясения государственного порядка. Его ратная сила, составленная из козаков и украинской шляхты, мало чем отличавшейся от козаков по склонности к буйству и шатанию, была такого же рода, как и сила второго Лжедимитрия: это были толпы, готовые пристать ко всякому бродяге, обещающему под своим знаменем поживу. Признали его московские изгнанники, поселенные в Польском королевстве; но им выгодно было признать всякого такого претендента; ибо в случае успеха они могли надеяться воротиться с честью в отечество и найти там хорошее положение, а в противном случае — ничем не рисковали. Наконец ласкали его в Польше католические духовные, особенно иезуиты, по обычному стремлению пользоваться всякими — и честными и бесчестными —

средствами для приведения к панской власти страны, не входившей в систему католического мира. Нельзя предположить, чтоб действительный царевич явился в чужую землю с такими слабыми свидетельствами своего звания и мог опираться только на такие стихи, которые бы равным образом послужили всякому самозванцу-обманщику.

Эти соображения побуждают нас признать, что царствовавший у нас в Москве под именем Димитрия был не настоящий Димитрий, но лицо обольщенное и подготовленное боярами, партией, враждебною Борису. Люди этой партии настроили пылкого, увлекающегося юношу в убеждении, что он царевич Димитрий, спасенный в младенчестве по наказу его родителя царя Ивана, и выпроводили его из Московского государства. Это сделано было на русское авось. Они, конечно, не желали заменить Борисов род навсегда этим поддельным Димитрием; но им достаточно было поставить Годуновым страшное знамя, под которое можно было соединить против них народную громаду и ниспровергнуть род Годуновых с престола; а потом можно было обличить самозванца, выставить его обманщиком, сознаться в своем заблуждении, и уничтожить его. Но дело будет совершено. Бориса и рода его не будет на престоле. А это главное. Родовитость русская слишком оскорблялась тем, что на престол взошла фамилия незнатная, даже не чисто русской, а татарской крови. Это было чересчур унижительно и для национальной чести. Таковы могли быть побуждения и расчеты у тех, которые выпустили на свет самозванца.

На это могут возразить, что если б так было, то бояре тотчас бы приняли сторону Димитрия, как только он появился, тогда как мы видели, что они служили Годуновым, помогали им в борьбе с самозванцем девять месяцев, и уже после смерти Бориса перешли на сторону Димитрия. Это объясняется следующим: 1) Главные виновники явления самозванца были или истреблены Борисом и находились или в могиле, или в изгнании; 2) Другие, если не терпели Бориса и готовы были пристать к Димитрию, не смели на это отважиться, потому что не ручались, что за собой потянут народную громаду, и выжидали времени, пока имя Димитрия охватит народное воображение своею обаятельною силою. Наконец, 3) Борис, пока был жив, удерживал повиновение к себе тою нравственною силою, какую имеет над окружающею средою человек с сильною волею. Его не стало — и род его слетел с престола. Сила обстоятельств совершила то, чего хотели. Димитрий уничтожил Годуно-

вых, и сам исчез, как призрак, открыв за собою страшную пропасть, чуть было не поглотившую Московского государства.

На основании всего здесь изложенного ми принимаем следующие выводы.

1) Мнение, что первый назвавший себя Дмитрием и Гришка Отрепьев есть одно и то же лицо, не подтверждается ни несомненными современными свидетельствами, ни ходом обстоятельств того времени.

2) Появление Дмитрия относится к 7109 году, то есть к 1600—1601 годам.

3) Эпоха казней, пыток и ссылок в царствование Бориса Годунова состоит в связи с этим явлением.

4) Дмитрий был орудие враждебной Борису партии, хотевшей низвергнуть род его, а Богдан Бельский был одним из главных лиц этой партии.

5) Дмитрий не был обманщик, но верил в свое мнимое царственное происхождение.

6) Признание его сыном со стороны матери настоящего царевича Дмитрия было искренно и легко объясняется душевным состоянием этой женщины.

7) Обстоятельства, сопровождавшие явление Лжедмитрия, лишают силы предположение, что он был истинный царевич.

## КСЕНИЯ БОРИСОВНА ГОДУНОВА<sup>1</sup>

(По поводу картины художника Неврева)

В русской истории едва ли найдется такой грустный женский образ, как образ царевны Ксении Борисовны. Судьба как будто измышленно и утонченно сопоставила для нее все, чтоб сделать ее несчастною и притом так, чтоб она как возможно сильнее ощущала свое горе. По известному поэтическому выражению Данта, всякое злополучие тем тяжелее и невыносимее, чем более предшествовало ему благополучие. В жизни Ксении это выразилось самым язвительным способом. Она родилась в эпоху блестящих надежд для ее родителя, когда все, казалось, пророчило всему роду Годуновых величайшие земные блага; ее детство и отрочество протекали в добре и холе, среди всякого избытка, окружавшего знатную русскую семью; она возрастала под непрерывными ласками родителей и родных, а достигши лет взрослой девицы, очутилась первою по знатности девицею на Руси, единственною дочерью царя. Природа наделила ее красотою и, судя по оставшемуся в Кубасовском хронографе описанию ее наружности, она представляла собою тип великорусской красной девицы, как создает ее народная песенная поэзия<sup>2</sup>. Какого еще благополучия для девицы! Если бы она родилась царевною, то и вполтину не испытала бы того наслаждения, какое должна была ощущать, когда стала царевною, не бывши ей с колыбели. Такого благополучия было мало. Судьба, казалось, доставляла

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в Журнале «Исторический вестник», 1884, т. XV, кн. 1.

<sup>2</sup> Отроковица чудного домышления зеленою красотою лепа, бела и лицом румяна, очи имея черные велики, светлостию блистая, когда же в жалости слез от очию испущаше, тогда наипаче светлостию зеленою блисташе, бровми союза, телом изобильна, млечною белостию облиянна, возрастом ни высока, ни низка, власы имея черны велики, аки трубы по плечам лежаху (Руск. Достоп. 1, 174)..

ей то, в чем отказывала вообще другим русским царевнам, осуждаемым за свой почет на всегдашнее одиночество, ради того только, что отдавать их в замужество за иноверцев считалось грехом, а православного мужчины, который по своему происхождению достоин бы был руки царской дочери, не находилось. С Ксенией было не так. Ее отец хотел во что бы то ни стало дать в женихи своей дочери какого-нибудь иноземного принца высокого рода, не жалея наделить его уделом из своих обширных владений. Попытки в этом роде следовали одна за другою: неудачи не останавливали чадолюбивого родителя, как вдруг неожиданный удар судьбы разбил в прах все его замыслы и надежды. Царевна стала свидетельницей внезапного падения своего рода, на ее глазах совершается трагическая смерть матери и брата; она остается горемычною сиротою, без родных, без друзей, отдается на посрамление врагу, захватившему престол отца ее; несколько времени против воли служит предметом его гнусной забавы и, наконец, в угоду ожидаемой в жены царю иноземке, отсылается в монастырское заточение. И тут еще не окончены ее страдания! Ей суждено еще раз, уже под иноческою одеждою, достаться на поругание дикой военной толпе... нет бедняжке покоя и в святых стенах отшельниц, нет ей успокоения от ударов судьбы, пока не успокоится вся Россия, взбаламученная грехами отца ее.

Этот образ злополучнейшей из русских женщин не создан вымыслом поэта: он существовал некогда в действительности. Неудивительно, что этот образ был излюблен нашими художниками, посвящавшими свой талант изображению событий отечественной истории. Назад тому лет двадцать, на выставке в Академии Художеств мы любовались картиною г. К. Маковского, изображающею страшное событие смерти Борисовой жены и сына; царевна Ксения изображена здесь плачущею над трупом только что перед тем удушенной матери, а за нею убийцы расправляются с ее братом Федором Борисовичем. С этой картины к настоящей книжке «Исторического Вестника» прилагается копия в гравюре, исполненной г. Зубчаниновым. По нашему мнению, это лучшее произведение талантливого художника, но оно мало было оценено в свое время. Тогда у знатоков господствовал вкус к рутинной живописи с античными позами; картину г. Маковского находили слишком реальною и грубою, ставили ей в недостаток даже верность истории, одним словом порицали за то, что составляло в ней достоинства. В более недавнее время явилась другая картина из жизни Ксении Борисовны, не менее талантливого художни-

ка г. Неврева, снимок с которой также прилагается к настоящей книжке «Исторического Вестника», в прекрасно сделанной гравюре известного гравера Паннемакера. Художник избрал тот момент, когда Рубец-Мосальский, в день гибели Борисова семейства взявший Ксению к себе в дом с целью доставить ее в жертву сластолюбию нового царя, приводит ее к названому Димитрию. По поводу этого художественного произведения мы позволим себе несколькими словами помянуть изображенную в картине г. Неврева историческую личность.

Борис Годунов еще задолго до своего воцарения был одним из тех немногих русских сановников, которые начинали сознавать необходимость просвещения и убеждались, что это просвещение может водвориться в России не иначе, как чрез сближение с Западною Европою.

Еще при царе Иване Васильевиче Грозном он постоянно благоприятствовал англичанам, которые вели торговые сношения с Россиею. То же самое было еще в большей степени при царе Федоре Ивановиче, при котором, вследствие слабоумия государя, всем государством управлял он, Борис Годунов. Когда, по кончине царя Федора Ивановича, Борис был избран на престол, тогда его просветительные намерения стали высказываться вполне. Он не только дозволил немцам, жившим близ столицы в Немецкой слободе, построить себе церковь для отправления богослужения по своим обрядам (что очень не нравилось приверженцам старины), не только привлекал во множестве иноземцев в военную службу, с целью устроить войско по западноевропейскому образцу, не только приглашал в Россию опытных «рудознатцев» для отыскания золотых и серебрянных руд, часовщиков и другого рода мастеров, в особенности же врачей: — он возымел намерение завести в Московском государстве школы для народного обучения и написать из Западной Европы учителей и наставников. В архиве министерства иностранных дел сохраняется письмо одного немецкого ученого из Гамбурга, от 24-го января 1601 года, к царю Борису. Он восхваляет Бориса за намерение (о котором он узнал от одного посланного царем московского немца) основать в своем государстве университет и училища и с этою целью пригласить иностранных ученых людей. «Ваше величество, — выражался в своем письме этот немец, — приобретете себе бессмертную славу во всем мире, если даруете своему народу величайшее благодеяние, ибо нет драгоценнее сокровищ, как знания и изящные искусства: этому доводом служить может судьба всех образован-

ных народов» (Карамз. т. XI, прим. 125). Но когда царь по этому вопросу стал советоваться с светскими и духовными сановниками, духовные резко воспротивились и говорили: «наша страна велика и обширна, но в ней одна вера, одинакие нравы и одна речь, а как внедрятся к нам люди иного языка, тогда уже не будет прежнего единства, начнутся разделения и споры, и не будет мира внутри страны нашей, как было прежде».

Духовенство в те времена имело громадную нравственную силу, а царь Борис не чувствовал еще большой силы за собою и за своим, только что воцарившимся, родом: он должен был уступить и ограничился только посылкою в чужие края для обучения наукам и для знакомства с иностранными языками восемнадцати молодых дворян, из которых впоследствии только один воротился в отечество, прочие же отреклись от него (Bussov. Chron. изд. Археогр. Ком. *Rerum rossicorum scriptores externi*, I, стр. 9).

Цня так высоко просвещение для народа, естественно, царь Борис прилагал старание о собственных детях. О сыне его Федоре Борисовиче, наследовавшем престол, но преждевременно погибшем, летописец современник отзывается так: «аще бо и юн сый летними числы бысть, но да смыслом и разумом многих превзыде сединами совершенных, бе бо зело изучен премудрости и всякого философского естественнословия и о благочестии же присно упражняшесе, злобы ж и мерзости и всякого нечестия отнюдь всяко ненавистен бысть» (Врем. И. М. О. И. и Др. XVI, 92).

Другой старинный летописатель говорит о нем: «царевич Феодор, царя Бориса отроча зело чюдно... научен же бе от отца своего книжному почитанию, в ответех дивен и сладкоречив вельми, пустошное же и гнилое слово никогдаже изо уст его исхождаше, о вере и о поучении книжном со усердием прилежахше» (Руск. Достоп. I, стр. 174). Памятником образования, какое получал сын царя Бориса, осталась начертанная им карта России, напечатанная в Германии в 1614 году (Карамз. XI, прим. 132). О дочери Бориса, Ксении, тот же летописатель, изобразивший ее брата Федора, отзывается так: «во истинну во всех женах благочиннейша и писанию книжному многим цветуще благоречием, во истинну во всех делах чредима, гласы воспеваемые любляше и песни духовные любезне слышати любляше» (Рус. Достоп. I, 175). Какие это писания книжные, которыми занималась царевна, а также к какому «поучению книжному со усердием прилежахше» ее брат царевич Федор, мы можем определить только приближи-

тельно, по соображению — какие книги могли быть тогда читаемы. Кроме довольно ограниченного еще числа печатных книг того времени, тогдашняя литература не бедна была по количеству рукописных книг, преимущественно религиозного содержания, но отчасти и светского: хронографы, где излагалась древняя история, начинавшаяся от Ноя, переходившая к деяниям византийских царей, потом к русской истории, сборники, заключающие «альфавиты, азбуковники, цветники, космографии» и т. д. Из них можно было почерпать разные энциклопедические сведения; космографии сообщали о странах света, о государствах и народах в них обитающих; альфавиты и азбуковники заключали разные житейские ходячие сведения, напр., как измеряется время по годам, месяцам и неделям, что значат семь свободных мудростей: грамматика, диалектика, риторика, музыка (под которою разумелось собственно пение), арифметика или числительница, геометрия (в которую включались сведения, касавшиеся математической и физической географии) и астрономия или звездозаконие (счисление обращения луны и течения планет и звезд). Самый процесс тогдашнего научения письма представлял нелегкое и кропотливое занятие, при необходимости изучить правильное употребление разных надстрочных и междустрочных знаков<sup>1</sup>. Еще более трудностей в мелочах представляло изучение церковного пения, которого любительницею изображается царевна Ксения. В «Чтениях Московского Общества Истории и Древностей» (1846 г., № 3) помещена очень любопытная ученая статья покойного Ундольского о церковном пении, представляющая поразительно странную кучу названий, терминов, которые должны были заучить, понять и удержать в памяти занимавшиеся пением люди старого времени<sup>2</sup>. Кроме чтения и церковного пения, в круг старинного воспитания входило иконописание, а женскому полу вышивание золотом, серебром и шелками. Конечно и царевна Ксения училась тому, чему обязательно учились

---

<sup>1</sup> Вария, врахия, оксия, исо, камора, звательцо, вопросительная, удивительная, вместительная, пераспомени, майора, раздвижка, атрикаль, слогия, стяга, чашка, дасия, статия, сквады (Чт. М. О. И. и Др. 1862. Т. 4. стр. 52).

<sup>2</sup> Тут есть разные фиты: грамогласная, громозельная, громосветлая, двоестрельная, душеполезная, девическая, двоначальная, златокрылая, положительная, постоятельная, преложительная, скорбная, смиренная, степенная, тихая, страшливая, троицкая успенская, храпливая, и другие, кулизмы, полукулизмы, змеицы, дербицы, переемы, перекладки, переклички, перевязки, и проч., и проч.



тогдашние барышни. Под 1589 годом есть письма Бориса Годунова иерусалимскому патриарху Софронию. Борис писал: «и дочь моя Аксинья тебе великому господину и государю челом бьет икону Спасов образ и ширинку» (Др. Русск. Вивл. XII, 414). Так как Ксения тогда еще была малолетнею, то нельзя считать какой-нибудь из даров произведением ее рук, но принесенные патриарху от ее имени подарки имеют смысл, как будто посылаются ее собственной работа. Это в особенности можно заметить о ширинке, так как этот предмет входил в круг женских занятий исключительно. Наконец, мы позволяем себе думать, что воспитывая детей своих с особенным вниманием, Борис не оставлял их без знакомства с иностранными языками. Хотя об этом не сохранилось нигде ни малейшего намека, но мы считаем возможным это на том основании, что Борис был большой поклонник знания иностранных языков и когда думал заводить школы, духовенство вооружилось против такого намерения именно в опасении распространения иностранной речи в России. Не может быть, чтобы, признавая большую пользу в изучении иностранных языков для своих подданных, Борис не сознавал в том же большой пользы для собственных детей. Считаем вероятным, что Борис, готовя своего сына Федора быть царем, учил его языкам, по крайней мере латинскому, как языку интеллигенции во всей Европе, а, может быть, еще немецкому или английскому, тем более, что тогда уже некоторые из бояр начинали учиться, несмотря на неодобрение благочестивых духовных. О Ксении можно предположить что-нибудь подобное, так как отец готовил ее быть женою иностранного принца.

Чадолубивый отец старался, чтоб москвичи заранее полюбили его детей. После его избрания на престол, московские чины поднесли царевичу Федору и царевне Ксении хлеб-соль и подарки, состоящие в золотых и серебрянных изделиях. Борис приказал детям принять хлеб-соль, а золото и серебро отвергнуть; затем всех приносивших дары пригласить к царскому столу (Карамз. XI, 8).

Для сына отец назначал престол, а дочери хотел доставить жениха из иноземных принцев, который бы согласился принять православие и жить в России. Борис такому принцу предполагал дать удельное владение в пределах своего государства. Нескольких принцев, одного за другим, пытался Борис поставить в такое положение и все ему не удавалось.

Первым из кандидатов в зятя московскому царю явился Густав, сын низложенного шведского короля Эрика XIV.

Он скитался изгнанником по Европе и поселился в польских владениях в г. Гданске, потом в Торуне. Его наследственное право захватили родичи и оспаривали его друг у друга. По низложению Эрика, шведским королем стал брат последнего Иоанн, а по смерти его — сын Иоанна, Сигизмунд, польский король, который, сам проживая в Польше, назначил своим наместником в Швеции дядю, брата отца своего, Карла герцога Зюдерманландского. Тогда в Швеции образовалась партия, недовольная Сигизмундом, главное, за его привязанность к католичеству, и предложившая шведскую корону Карлу. От этого между двумя лицами, носившими титул шведского короля, возникла вражда, перешедшая на шведскую и польскую нации и ставшая причиною многих войн между ними. Борис завел сношения с Густавом еще при царе Федоре, а вступивши на престол, приглашал его приехать в Россию и уверял, что там он найдет в царе покровителя и второго отца. Московская политика нашла возможным сделать этого изгнанного принца орудием своих политических замыслов. Борис предполагал сделать из своего будущего зятя то, что сделал царь Иван Васильевич из датского принца Магнуса, которого, женив на своей племяннице, назначил королем ливонским в вассальной зависимости от московского царя. Борису казалось, что этот принц-скиталец, не имевший постоянного приюта, и, как говорили, терпевший скудость, на все согласится. В августе 1599 года принц Густав приехал в Россию, был встречен с большим почетом 19-го августа в Москве и тотчас щедро одарен со всею своею свитою (Исаак Масса. 70. *Bussow. Chronic.* 9). Царь отправил служивших у него немцев склонять ливонцев, находившихся под властью короля Сигизмунда, к отпадению от Речи Посполитой; один из них Кляузен ездил в Ригу убеждать рижан отдаться под покровительство московского царя и признать над собою власть его подручника Густава; царь писал к рижанам, что соболезнует о их судьбе, слыша, что иезуиты посягают на их лютеранское вероисповедание; сам же Густав, по научению царя, написал к считавшемуся шведским королем Карлу Зюдерманландскому, чтоб он добровольно уступил ему Эстонию и обещал за то союз и дружбу со Швециею от себя и от царя; вместе с тем он уверял, будто Сигизмунд желает уступить ему Ливонию и по ходатайству его уже приказал прекратить начатые неприязненные действия против Швеции (Карамзин, XI, прим. 42). Если Сигизмунд не сделает ему добровольно уступки, то царь будет оружием добывать для него владение. Но все эти затеи не имели последствий.

Сам Густав оказался неподходящим человеком царю. Когда царь стороною сообщил ему, что он может искать руки царской дочери, но должен принять православную веру, и за это царь обещал ему не только добыть владение в Ливонии, но даже и шведскую корону, которой он прямой и законный наследник, Густав заявил наотрез, что он ни за что не переменит веры и не хочет искать шведской короны, если это соединено будет с кровопролитием и нанесением вреда его отечеству (Bussov. Chron. 10). После такого заявления, обращение с ним царя и вообще царского двора изменилось; не стало прежнего внимания и предупредительности. К тому же он возбуждал соблазн своим поведением: живучи в Гданске, он вошел в любовную связь с женою своего хозяина Христиана Катера и привез ее с собою в Москву. Она ездила в карете, запряженной четвернею белых лошадей, как в Москве ездили только царицы. Люди указывали на нее пальцами. Притом были недовольные и из собственной свиты принца: говорили, что она имела на него влияние и под этим влиянием он стал дурно обращаться с своими людьми (Is. Massa; перев. стр. 72). Царь приказал ему передать, что поступки его неприличны званию королевского сына. Густав раздражился и собирался уехать из России. Перед приездом в Москву он получил от царя Бориса опасную грамоту, по силе которой предоставлялось ему свободно выехать из Московского государства, но эту грамоту он оставил в Риге, а царь Борис через посредство какого-то Иоанна Шульта достал ее в свои руки. Утративши этот важный документ, Густав все-таки требовал отпуска, ссылаясь на царское обещание и замечая, что царское слово должно быть неизменно. Несмотря на все домогательства, царь не торопился исполнить его желание, и тогда Густав, в порыве досады и притом разгоряченный выпитым перед тем вином, произнес такую похвальбу: «я уйду, да еще и город зажгу!» Это было тотчас сообщено боярину Семену Годунову, а последний донес об этом царю. Тогда Борис, сильно разгневавшись, приказал отобрать у принца серебрянный прибор, подаренный ему прежде, и другие драгоценности, отнял у него подаренный ему удел в Калуге, приказал поставить у его жилища караул и не велел посылать ему каждодневного обеда из царской кухни. Этот гнев продолжался недолго. Борис решил, что такой принц не может сделаться его зятем, но не хотел отпускать его за рубеж: царь назначил ему город Углич с уездом, с которого принц мог получать ежегодного дохода до 4000 рублей, но управлять этим уделом должны были

назначенные от царя дворяне, а принцу на его содержание доставлять доходы (Petr. Chron. Reg. rossicar. scriptores externi. Изд. Арх. Комм. 1, стр. 156. — Маржерет. — Сказ. соврем. о Дим. самозв. III, 69). Густав уехал туда и там занимался химией, живя в Угличе безвыездно до конца Борисова царствования и жалуюсь на непостоянство женщины, которой в жертву он принес счастье своей жизни (Bussov. Chronic. 10).

Вскоре после первой неудавшейся попытки достать для дочери жениха последовала другая. Царь Борис узнал, что у датского короля Христиана есть брат Иоанн и отправил посольство как бы для улажения некоторых пограничных недоразумений, но в то же время поручил сообщить королю о своем желании отдать свою дочь за его брата. Мы не знаем условий, на которых датский король согласился отпустить своего брата в Московское государство, но достоверно то, что датский королевич герцог Иоанн должен был навсегда поселиться в России в уделе, который назначит ему тесть. Иоанн не был тогда в отечестве: он воевал в Нидерландах. По возвращении в Данию он сел на корабль и отправился в Россию через Балтийское море. 6-го августа 1608 года он вступил на берег в Ивангороде с многочисленной свитою, доходившею числом до четырехсот человек (Is. Massa; перев. 86). Отсюда до Москвы путешествие его было праздничным шествием: на каждом стане предупредительно угощали его и всю его дружину, при въезде в города встречали его пушечными выстрелами и выстроенные в ряд ратные люди отдавали почести высокому гостю. Он ехал через Новгород, Торжок, Старицу, ехал медленно, делая не более тридцати верст в день, останавливался, забавлялся охотою. Провожали его боярин Михаил Салтыков и дьяк Афанасий Власьев, люди более прочих знакомые с иноземными обычаями и потому приставленные к чужестранному гостю. Герцог Иоанн беседовал с ними, узнавал от них о житье-бытье русского народа, о гражданском и церковном строении в Московском государстве. Царь посылал ему подарки: деревянный возок с парадною окраскою и дорогою обивкою внутри, породистых упряжных лошадей и различные одежды, украшенные дорогими камнями (Карамз. XI, примеч. 60-62). 19-го сентября Иоанн въехал в Москву, встречаемый множеством народа, при оглушительном звоне всех московских колоколов. Бояре и дворяне встречали его верхом, в нарядных одеждах. Его поместили в Китай-городе в лучшем доме, нарочно заранее к его приезду убранном, и в первый же день доставили ему и всей

его дружине из царской кухни обед на тридцати золотых блюдах и множество сосудов с вином и медом. 28-го сентября он представлялся царю. Царь Борис и царевич Федор, одетые в бархатные порфиры, унизанные жемчугами, в коронах на голове и с бармами на груди, на которых блистали крупные рубины, изумруды и яхонты, обняли его как родного и посадили рядом с собою. В тот же день происходил обед в грановитой палате. Царь сидел на золотом троне, посреди царевича и принца Иоанна, как своего будущего зятя: кроме членов царской семьи, никто не мог сидеть рядом с государем. По окончании пиршества, царь и царевич сняли с себя толстые золотые цепи и возложили на герцога. В тот же день постановили отложить бракосочетание до наступления зимы. Царевны Ксении здесь не было; по известному московскому обычаю, она, как невеста, не могла до свадьбы видеть своего суженого лицом к лицу. Она видела его из скрытого места, стоя в верхнем коридоре (Карамз. XI, прим. 63. — Busching's Magazine; t. VIII. Moskowitzische Reise. стр. 257-277).

По общему отзыву современников, герцог Иоанн был очень красив и статен и произвел приятное впечатление на царевну.

Не суждено было и этому предначеченному Борисом жениху его дочери сделаться ее мужем. Вскоре после представления его царю, государь со всем семейством поехал в Троицко-Сергиевскую обитель. Так нужно было перед совершением важного семейного дела по благочестивым обычаям. Королевич не поехал и остался в Москве. Каждый день продолжали угощать его и всю его дружину обедами из царской кухни, а невеста, бывшая лично с родителями на богомолье, прислала ему в дар, как жениху, по обычаю, богато убранную постель и белье, расшитое серебром и золотом. Королевич употребил время отсутствия царя с семейством на занятие русским языком. Он за него принялся ревностно и говорил даже, что имеет желание принять православную веру. Последнее известие находится только в Степенной книге Латухина (Рукоп. Археогр. Комиссии) и не подтверждается никакими иноземными свидетельствами, но оно вполне достоверно. При тогдашних воззрениях было бы не в порядке вещей отдавать царскую дочь в замужество за иноверного человека; хотя Борис, отличавшийся уже издавна любовью к иноземщине, мог сам иначе смотреть на это, но он бы никогда не решился на такой шаг из страха вооружить против себя духовенство и потерять любовь народную. Вероятно, если об этом не было объявлено датско-

му королевичу еще до его приезда в Россию, то ему объявили бы позже, и он, зная это и предупреждая русских, сам заявлял желание сделать то, чего бы, как он уже предвидел, от него непременно потребовали.

Оставаясь в Москве и пользуясь знаками чрезвычайного к себе внимания, герцог, по известию одного современника (Маржер. русс. пер. Сказ. о Дим. самозв. III, 77), неосторожно нарушил пределы воздержания и умеренности, вероятно, по поводу громадного количества яств, доставляемых из дворца ежедневно. Царь узнал о его болезни 16-го октября, находясь в Братошине на возвратном пути от Троицы. Болезнь сначала казалась неопасною: королевич был в состоянии написать о себе нареченному тестю. Царь умолял врачей и своих и прибывших в герцогской дружине спасти дорогого будущего зятя и сулил за его выздоровление великие милости. По примеру благочестивых предков, которые в виду грозившей опасности давали разные обеты, царь обещал, если королевич останется жив, отпустить на свободу 4000 узников (Карамз. XI, 52). Врачи уверяли государя, что болезнь королевича неопасна и излечима. Но наперекор их уверениям, болезнь со дня на день принимала все более и более зловеший характер. 27-го октября царь с патриархом и с боярами посетил больного. Герцог лежал уже безгласен. С ним сделалась сильнейшая горячка. По одной разрядной книге он умер 27-го октября, во втором часу ночи, по другой — 20-го октября, в третьем часу ночи (Карамзин, XI, примеч. 68).

Говорили, что Ксения, услышавши о смерти жениха, чрезвычайно убивалась по нем, а Борис, соболезнуя дочери, сказал, «погибло, дочь, твое счастье и мое утешение» (Moskovit. Reise. Busch. VIII, 272). Но есть иного рода известие, занесенное в тогдашние русские летописи: Борис с семьею уехал к Троице, оставивши королевича под наблюдением своих бояр; но когда до него стали доходить слухи, что молодой королевич приобретает большую любовь, Борис, до того сердечно расположенный к Иоанну, стал ему завидовать: ему приходило в голову, что таким образом москвичи после его смерти могут избрать на престол его зятя, а не сына. Он сообщил свое опасение Семену Годунову. Тут заболел королевич. Доктора говорили Семену Годунову, заведовавшему аптекарским приказом, что болезнь королевича излечима. Семен Годунов посмотрел на них свирепо: из этого доктора уразумели, что царю вовсе не желательно, чтоб королевич выздоровел (Летоп. о мятеж. Никон. VIII, 50. Нов. лет. Времен. И. М. О. И. и Д. XVII,

стр. 56). Это известие достопримечательно только в том отношении, что показывает, как много было не любивших Бориса и как легко возникали всякого рода клеветы на него и принимались с доверием.

Итак, два раза не удалось Борису выдать дочь свою за нарочно привлеченного иноземного принца. Еще до несчастного приезда королевича датского, Борис, как кажется, намеревался сыскать для своей Ксении жениха между членами императорского дома Габсбургов. Сохранилось латинское письмо императора Рудольфа к Борису, в котором император сообщает московскому царю, что не может отвечать па секретное сообщение царского посла Афанасия Власьева, не поговоривши с своими братьями, но, поговоривши с ними и узнавши их расположение, будет отвечать или письменно или словесно через посла (Карамз. XI, прим. 82). Карамзин предполагает, что тут дело шло о сватовстве, что Борис думал отдать Ксению за одного из герцогов. Но это не имело никаких последствий. И понятно. Никто из Габсбургов не решился бы переменять религии. По смерти герцога Иоанна, Борис нашел более уместным найти для Ксении такого жениха, которому не нужно было бы переменять веры. В Закавказье было несколько владельцев особ грузинского происхождения, православного исповедания. У Карталинского князя Юрия была дочь Елена и молодой родственник, воспитанник матери Юрия, по имени Хозрой или Фозра. Елена годилась быть супругою Федора Борисовича, а Хозрой мог быть женихом Ксении. Собственно Борис посылал просить руки одной Елены, женихом же Ксении предполагался другой грузинский князек — Теймураз, иверский царевич, но он оказался в отсутствии и князь Карталинский сам предложил послу Борисову, Михаилу Игнатьевичу Татищеву, заместить Теймураза Хозроем. Московский посол в своем донесении царю так описывает и молодца и девицу: «Хозрою от роду 23 года; он высок ростом и строен; лицо у него красивое и чистое, но смуглое, глаза светлые, карие, нос с горбиною, волосы темно-русые, ус тонок, бороду уже бреет, в разговорах умен и речист, знает язык турецкий и грамоту турецкую, одним словом хорош, но не отличен; вероятно, что полюбится, но не верно. Елена бела и еще несколько белится, глаза у нее черные, нос небольшой, волосы крашенные, станом пряма, но слишком тонка от молодости, ибо ей только 10 лет, а в лице не довольно полна. Отец вымерял ее рост деревцом и подал мне сию мерку, чтобы сличить с данною от государя» (Карамз. XI, стр. 7-). Из этого доне-

сения видно, что Борис, отправляя посла просить руки невесты для царевича, указывал заранее какого роста должна быть эта невеста, словно дело шло о покупке животного или дерева.

Сватовство это не имело последствий; князь Карталинский согласился на брак детей своих, но Елену оставил у себя за ее малолетством, а Хозроя отпустил с Татищевым к московскому царю. По причине происшедших тогда в Закавказье переворотов, Татищев оставил его в Сонской земле, а сам воротился в Москву, уже в царствование названного Дмитрия. В то время, когда Татищев по царскому наказу отыскивал в Закавказье жениха и невесту для царских детей, Борис пробовал еще отыскать для Ксении жениха в той же Дании, откуда приезжал ее умерший жених. В 1603 и 1604 годах были царские послы Михайло Глебович Салтыков и дьяк Афанасий Власьев у герцога Шлезвигского Иоанна и предлагали ему послать в супруги для царевны Ксении одного из сыновей своих, которому царь Борис назначит особый удел в своих владениях. Герцог указал на третьего из сыновей своих Филиппа. Состоялось согласие. Послы уехали и с тех пор уже не было никакого отзыва из Московской державы об этом деле. Настали такие обстоятельства, при которых царю Борису было уже не до искания женихов (Карамз. XI, прим. 77).

Наступила великая смута, Борис умер, и совершилось страшное событие 10-го июня 1605 года, так мастерски изображенное кистью художника Константина Маковского. Царица Марья, вдова Бориса, и сын ее Федор были удушены, а народу объявлено было, что они сами себя отравили ядом: этому никто не поверил, так как более сотни лиц и в их числе историк этой эпохи Петрей (Сказ. иностр. о России, т. I, 175) видели явные следы удушения веревками. А царевна «едва оживе» — заметил кратко, но тем не менее очень много сказавши этим, современный летописец (Никон. VIII, 70).

По другому летописному известию, названный Дмитрий сам дал тайное приказание умертвить царя Федора Борисовича и мать его; «а дочь повелел в живых оставить, дабы ему лепоты ее насладиться еже и бысь» (Времен. И. М. О. И. и Др. XVI, 29), хотя сам показывал, будто это совершилось мимо его воли. Осиротевшая царевна взята была одним из губителей Борисова семейства, князем Рубец-Мосальским, и содержалась у него в доме, ожидая страшного дня, когда ее поведут на посрамление. Этот день пришел. Названный Дмитрий установился в Москве; все



москвичи признали его царем; попытка Шуйского низвергнуть его в первые же дни его воцарения — не удалась, возвратилась из ссылки мать настоящего царевича Димитрия и всенародно признала царя своим сыном, совершен был над ним обряд царского венчания, укреплявший его право в глазах обрядолюбивых людей Московского Государства, и тут-то, по его приказанию, князь Рубец-Мосальский привел к нему во дворец бедную Ксению. Вот это-то мгновение изобразил талантливый художник г. Неврев в своей картине. Какой же день был ужаснее в жизни злополучной царевны: тот ли, когда перед ее глазами удавили ее мать и брата, или этот, когда ее привели к названому Димитрию? Чтобы решить этот вопрос, нужно знать всю душу Ксении. Во всяком случае трудно себе вообразить что-нибудь унижительнее и оскорбительнее положения женщины, отдаваемой на забаву тирану-сластолюбцу, которого она считала убийцею своих дорогих родных. И при том какой женщины? Той, для которой так недавно царствующий родитель отправлял доверенных послов в разные страны искать жениха высокой крови!

Но это мгновение важно для истории еще и потому, что оно более всего помогает нам разгадать, что за существо был этот названный Димитрий, этот поистине сфинкс русской истории.

Бывают личности, умеющие так искусно личиною добродетели прикрывать свои внутренние порочные наклонности и побуждения, что невольно привлекают к себе и располагают составить о них такое мнение, какое не составилось бы тогда, когда мы знали бы их поглубже. Одною из таких личностей в истории представляется названный Димитрий. В нем замечается столько благородных и светлых черт прямоты, искренности, великодушия, что при изучении его судьбы не одного из нас волновала мысль: не мог он быть сознательный обманщик! Под влиянием такого воззрения иные готовы были признавать его за действительно-го царевича Димитрия, которым он себя называл; другие же, соображая, что он никак не мог быть тем, кого уже давно не было на свете, останавливались на том предположении, что если он на самом деле не был тем, за кого себя выдавал, то по крайней мере был сам в том уверен, потому что еще в детстве его настроили другие в этом убеждении. К такому взгляду склонялся и покойный С. М. Соловьев, историк в высшей степени трезвый в своих суждениях и осторожный в заключениях. Но обратим внимание на поступок его с Ксениею: это такой поступок, в котором он

виден весь насквозь — и тут невольно склоняемся мы к тому, что все качества, так подкупающие нас в его пользу, не более как блестящая мишура. И мы когда-то, подкупленные этими качествами, долго хотели, чтоб этот поступок не имел исторической достоверности и мог быть отнесен к разряду тех пятен, которые в таком изобилии наложили на него, названного Димитрия, монахи, и несостоятельность которых легко изобличается исторической критикой. К сожалению, здесь обелить эту личность невозможно. Не только русские, но также иноземные современники, не имевшие повода чернить названного Димитрия, говорят положительно, что он приказал доставить к себе Ксению Годунову и, против ее воли, продержавши у себя наложницею, сослал в монастырь. Всего важнее в этом вопросе письмо будущего тестя его Юрия Мнишка: «Есть, писал он, у вашей царской милости неприятели, которые распространяют о поведении вашем молву; хотя у более рассудительных эти слухи не имеют места, но я, отдавши вашему величеству сердце и любя вас как сына, дарованного мне от Бога, прошу ваше величество остерегаться всяких поводов, и так как девица, дочь Бориса Годунова, живет вблизи вас, то по моему и благоразумных людей совету, постарайтесь ее удалить и отослать подальше» (Собр. госуд. грам. и догов. II, 243). Живший в то время в Москве голландец Исаак Масса на счет Ксении (Русс. перев. стр. 171), сообщает, кроме того, о сношениях названного Димитрия с другими особами женского пола в чрезвычайно циническом виде (*ibid.* 172).

Ксения жила во дворце названного Димитрия несколько месяцев. Нам неизвестен способ обращения с нею в то время. После письма Мнишка, писанного 25-го декабря 1605 года, в начале следующего 1606 года бедную сироту отвезли для пострижения в монастырь, но в какой именно, о том происходит разноречие: по одним во Владимирский, по другим в Кирилловский, (Никон. лет. VIII, 70. — Масса, русс. перев. 171) или точнее в Горицкий женский близ мужского Кирилловского. Думают согласить это разноречие так, что Димитрий отправил ее в Горицкий, а Василий Шуйский, по своему воцарении, перевел ее во Владимирский Княгинин монастырь.

Царь Василий Шуйский устроил торжественное перенесение праха Годуновых из убогого Варсонофьева монастыря в Троицкий Сергиев. Когда двадцать монахов несли гроб царя Бориса, а двадцать бояр и думных людей гробы Марии и Федора Борисовича к Троицким воротам, за погребаль-

ным шествием ехала в закрытых санях Ксения, постриженная с именем Ольги, и горько вопила, так что народ слышал ее причитания: «Горько мне одной сироте. Злодей вор, что назвался ложно Димитрием, погубил моего батюшку, мою сердечную матушку, моего милого братца, весь род наш заел. И сам пропал, и при животе своем наделал бед Русской земле и по смерти продолжает. Господи! осуди его, накажи его!» (Buss. Chronic. 69). Тогда же носились слухи о явлении новых обманщиков, взявших на себя продолжать дело первого названного Димитрия, тогда уже убитого, и этим объясняются слова Ксении, что он и по смерти продолжает делать зло Русской земле.

В 1609 году, мы видим старицу Ольгу, бывшую в мире Ксению Годунову, в Троицко-Сергиевом монастыре. Думают объяснить ее появление тем, что она прибыла туда для поминовения родителей и была застигнута осадой от полчищ Сапеги и Лисовского. В Актах Исторических (т. XI, стр. 212-213) напечатано письмо ее к тетке княгине Домне Богдановне Ноготковой. Эта тетка была дочь Богдана Юрьевича Сабурова, сестра Евдокии Богдановны, одной из жен царевича Ивана, старшего сына царя Ивана Васильевича Грозного. Пишущая, называя себя «дочь Бориса Федоровича», но не означая своего имени, извещает, что она: «и я у Живоначальные Троицы в осаде марта по 29-й день в своих бедах чуть жива, конечно болна со всеми старицами; и впредь, государыня, никак не чаем себе живота, с часу на час ожидаем смерти, потому что у нас в осаде шатость и измена великая. Да у нас же за грех за наш моровая поветрея, всяких людей изняли скорби великие смертные, на всякой день хоронят мертвых человек по двадцати и по тридцати и болши, а которые люди пося место ходят, и те собою не владеют, все обезножили. Да пожалуй отпиши ко мне про московское житье, про все подлинно, а яз тебе, государыне своей, много челом бую» (А. И., II, стр. 212).

Рядом с этим письмом инокини Ольги, в Актах Исторических помещено письмо ее служительницы Соломонии Ржевской к своей матери Феофании Ржевской на Ново-монастырском дворе. Она пишет: «я, государыня матушка, жива после Петрова дни неделю, а нету мне, государыня матушка, здесь некоторые нужи, Ольги Борисовны милостью». Далее — она рассказывает о приступе неприятелей, бывшем накануне Петрова дня, но не причинившем большого вреда монастырю, — жалуется, что мать не писала к ней от Великого мясоеда до Петровых заговен, спрашивает: есть ли у матери «жоначька или девька», просит передать

Макарию Карякину, что Федор Карьцов жив, а Кашпиров сын Димитрий умер, и Ольга Борисовна пожаловала рубль на похороны, а то было схоронить нечем. В заключение, Соломония извещает мать, что у них в монастыре свирепствовавший мор унялся, «а не осталось людей ни трети».

Вместе с дочерью бывшего царя Бориса, у Троицы в осаде находилась тогда другая особа старого царственного рода, Марья Владимировна, племянница царя Ивана Васильевича Грозного, вдова Магнуса, короля ливонского, продолжавшая и в иноческом звании носить прозвище королевны ливонской. Старцы монастырские обвиняли ее в измене, она же посылала извет на своих недоброжелателей (А. И., II, 286). Это совпадало с возникшею ссорой между собою двух царских воевод, защищавших Троицко-Сергиевский монастырь, князем Долгоруковым-Рощею и Алексеем Голохвастовым. Не видно, чтобы дочь Бориса вмешивалась в эти дразги, хотя в письме к тетке, приведенном выше, делается намек на шатость и измену в осажденном монастыре.

По освобождении Троицко-Сергиевского монастыря от осады, находившиеся там инокини из Владимира не поехали в свой монастырь, быть может, оттого, что в то смутное время трудно и небезопасно было туда проехать. Они после того очутились в Московском Новодевичьем монастыре. Этот монастырь находился во власти бояр, сидевших в Кремле вместе с поляками и присягнувших королевичу Владиславу. Для охранения монастыря помещено было в нем четыреста польских козаков и двести немцев. В начале августа 1611 года, козаки Заруцкого, стоявшие под разоренною Москвою и воевавшие против поляков, взяли приступом Новодевичий монастырь. Бояре, сидевшие в Кремле и составлявшие верховное правительство от имени царя Владислава, в январе 1612 года, разослали окружную грамоту, и в ней говорилось так: «как в Новом девичьем монастыре сидели ратные люди от нас с Москвы, и они церковь Божию соблюдали что свое око, а как Ивашко Заруцкой с товарищи Девичь монастырь взяли, и они церковь Божию разорили и образы обдирали и кололи поганским обычаем, и черниц королеву княж Владимирову дочь Андреевича и царя Борисову дочь Ольгу, на которых преж сего и зрети не смели, ограбили донага, и иных бедных черниц и девиц грабили и на блуд имали, а как пошли из монастыря, и они и досталь погубили, и церковь и монастырь выжгли» (Собр. госуд. грам. и догов., II, 585).

Всех монахинь, находившихся в Новодевичьем монастыре временно из Владимирского княгинина монастыря

отправили обратно в их монастырь. Тогда и злополучная дочь Бориса Годунова, претерпевшая это новое, но уже последнее над собою поругание, была возвращена во Владимир, и с тех пор об ней нигде нет помина до 1622 года. В этом году, 30-го августа, прекратились все ее страдания на 41 году ее возраста. Перед смертью она изъявила желание, чтоб тело ее было погребено вместе с прахом ее родителей. Сохранился отрывок без конца грамоты царя Михаила Федоровича суздальскому и торусскому архиепископу Арсению, в которой говорится: «Ведомо нам учинилось, что царя Бориса Федоровича дочери царевны старицы Ольги не стало, а по обещанию де своему, отходя от света, приказала нам бить челом, чтоб нам пожаловати тело ее велети погresti у Новоначальной Троицы в Сергиеве монастыре с отцом ее и с матерью вместе. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, богомолец наш, да с тобою архимандрит Спаской Еуфимиева монастыря, по нашему указу и по грамоте отца нашего великого государя святейшего патриарха Филарета Московского...» (А. А. Э. III, 176).

Здесь царская грамота прерывается, но смысл того, что заключалось в утраченном конце ее, очевиден сам собою: царь указывал поступить согласно желанию почившей.

Прах злосчастной царевны был привезен по назначению и предан земле рядом с прахом ее родных в трапезной паперти Успенского собора Троицко-Сергиевского монастыря. Эта паперть была сломана в 1781 году, а над могилою семейства Годуновых воздвигли каменную палату, существующую и в наше время близ входа в Успенскую церковь.

Там покоится прах страдальницы, пережившей своих родных, свидетельницы ужаснейших дней в жизни русского народа и разом с ним испившей горькую долю сиротства и всякого рода посрамлений и поруганий. Много трогательно и привлекательно в этой давно уже отшедшей в вечность личности, невинной жертве преступлений своих предков. Русский народ вспоминает о ней в своих песнях; почтили память ее несчастий русские художники; коснулся ее, хотя вскользь, но достойно своего поэтического гения, и великий русский поэт в своем «Борисе Годунове».

## КТО ВИНОВАТ В СМУТНОМ ВРЕМЕНИ?

И. Е. Забелину

Статья моя «Личности Смутного Времени» побудила стопочтенного И. Е. Забелина в «Русском Архиве», издаваемом при Чертковской библиотеке, напечатать статью «Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время». Статья эта посвящена разрешению именно тех сторон, которые я указал темными или двусмысленными, и заключает в себе взгляды и мнения диаметрально противоположные моим. И. Е. Забелин — одна из самых даровитых, почтенных и глубокосведующих личностей, занимающихся и занимавшихся русскою историею и археологиею; мы привыкли уже так высоко уважать этого писателя, что если бы нам пришлось в ратоборстве с ним и положить оружие, то нам все-таки останется то утешение, что труды наших писаний не пропали даром, если вызвали с его стороны произведение, достойное его таланта и знаний.

Мы решаемся вступить с ним в состязание с целью выказать еще яснее некоторые наши взгляды, несходные с его взглядами. Просвещенным читателям предоставляется оценить силу и справедливость наших взглядов.

### I

И. Е. Забелин очень мало придает значения полякам в Смутное время; они у него, как говорится, с боку припека: зло главное не в них; великий враг, волновавший Русь в начале XVII-го века, это — смута, засевшая в боярстве и служилом сословии, — сословии, которое представляется как бы скопищем мерзавцев, тогда как против этого скопища стоит другая стихия, здоровая, нравственно крепкая, чуждая смут: стихия эта, пользующаяся большим сочувствием автора, — народ, сирота-народ, как он его называет, употребляя старинный термин челобитных.

Вот этот-то сирота-народ поднялся по зову Минина, уже готовый прежде, бодрый духом, крепкий смыслом и единодушием, вручив предводительство достойному человеку, князю Пожарскому, для спасения отечества, растерзанного смутю, произведенною боярством и служилыми.

Такой взгляд на служилых и неслужилых преувеличен и показывает как будто, что те и другие были людьми иного племени, языка, словно турки и греки в Османской империи или какие-нибудь ост-готы, либо лонгобарды, с одной стороны, и римляне, с другой — в Италии. Мы не только сомневаемся в возможности такого раздвоения в русском народе, при котором служилые и неслужилые казались бы враждебными и как бы разноплеменными лагерями, но считаем это положительно невозможным. Если у служилых и у остального народа и были свои интересы, то несравненно было более признаков жизни, общих тем и другим. Люди родовитые, люди служилые принадлежали к одному и тому же народу с тем земством, которое так любит г. Забелин, противопоставляя его служилым. Между теми и другими не было еще того различия, какое в более позднее время возникло между высшими и низшими классами вследствие образованности, распространившейся в высших слоях; при том же, несмотря на все предрассудки родовой чести (измерявшейся однако службою), служилые и неслужилые не оставались какими-нибудь восточными кастами. Частые верстанья беспрестанно пополняли ряды служилых людьми неслужилыми; даже в дети боярские верстали из гулящих людей всякого звания, давали им поместья, а дети боярские выходили в дворяне. Не говорим уже о низших разрядах служилых людей, беспрестанно пополняемых теми, которые принадлежали к массе сироты-народа. Не только у дворян и детей боярских, у знатнейших бояр, даже в царских палатах мы видим одни нравы, одинакие понятия, как и у народа. Понятно, что служилые и неслужилые имели один склад ума, одни добродетели, одни пороки. Общих тем и других свойств и признаков жизни было так много, что невозможно приписывать исключительно одной только части русского народа явлений, обнищавших строй всей русской истории.

Г. Забелин видит в предшествовавших временах историю развития той смуты, которую ставит в вину одним служилым. «Ее исторические корни, говорит он, уходят далеко в глубину прожитых веков и могут быть указаны чуть не на первых страницах нашей истории. Ее корни скрывались всегда в мятежном, самовластном, своевольном и крамольном духе той среды боярства, которая помнила свою первобытную старину.

А этою стариною для боярства в оное время было непререкаемое право княжеской дружины властвовать даже над самим князем, указывать ему, не выпускать его из своей воли: право очень древнее, которое в первое время возникало естественно, было историческою необходимостью и, так сказать, историческою нравственностью, твердым и благим уставом самой жизни. Но с течением веков, по ходу истории, оно, если хотело быть добрым уставом жизни, должно было бы переродиться во что-либо новое, политически годное для дальнейшего развития народной истории. Между тем в течение этих веков, особенно в период княжеских междоусобий, оно еще больше усиливало свои старые, допотопные начала жизни и поддерживало в Земле такую же нескончаемую смуту.

«Началом дружинной жизни (если объяснять их одними только существенными, хотя и резкими чертами) были самоволие и самовластие, властолюбие и честолюбие, добывание высоких столов для своего князя, т. е. великих старших волостей или княжений, следовательно, жадность к захвату новой власти и многого имения. Все это, конечно, утверждалось на первобытном историческом корне отношений дружины-боярства к лицу своего князя, и в первую пору вполне едилило интересы дружины с интересами князя по той причине, что в ту пору и сам князь в собственных глазах был столько же главою Земли, сколько главою дружины, был сам только первым дружинником, и в своих действиях преследовал лишь свои эгоистические цели. Очень понятно, что такие начала и даже задачи жизни должны были воспитывать дружинную боярскую среду особым образом, должны были вырабатывать ее нравы и обычаи по особому складу, нисколько не помня о благе и добре всей Земли».

Нельзя не признать в этих словах значительной доли правды, но также нельзя не видеть односторонности, преувеличения и смешения понятий. Не следует, во-первых, смешивать дружину княжескую с боярами. В числе дружинников были бояре, но в то же время можно было быть боярином, не будучи дружинником. Бояре в древней Руси принадлежали земле; то были богатые и влиятельные землевладельцы. По крайней мере, в Новгороде и Пскове, которых история нам известнее, бояре являются никак не в значении княжеской дружины: борьба против них черного народа, иногда вспыхивавшая в Новгороде, была борьбою не против княжеских дружинников, а против своей же земской братии, возвысившейся над прочими, против земских аристократов. В «Русской Правде» бояре выразительно отличаются от дружины: «аже в боярех или в дружине кто умрет?» и в летописях



бояре нередко именуются принадлежащими городу или землям (что, конечно, одно и то же, так как город был средоточием своей земли и по старинному образу выражения означал землю), а не особе князя: бояре киевские, вышгородские, галицкие, ростовские. Что бояре земские были близки к князю — это естественно, так как князь был правитель Земли, а бояре богатейшими и влиятельнейшими ее членами; что, при добрых отношениях к князю, они поддерживали его и, таким образом, наполняли лучшую часть его дружины — это также вполне естественно. Но не только бояре, и княжеская дружина (за исключением разве отдаленных языческих времен или же тех аномалий, которые заметны на юге, когда князья ходили в поход на челе инородческих шаек) не составляла по существу своего чего-то составленного из иных элементов, отличных от земщины, и тем самым не была диаметрально противоположна земщине. Дружина была неизбежным явлением при удельности князей, а удельность князей соответствовала древней раздельности земель. Сбивчивости наших представлений о многих явлениях старой жизни способствует усвоенное со школьной скамьи понятие, будто в начале была какая-то единая Русская Земля, а потом раздробилась на княжения и отсюда потекли на нее всякие бедствия. Наоборот, в глубокой древности жили разрозненные народцы, у которых если, быть может, и существовали начатки сознания племенной связи, то уж никак не настолько зрелые, чтобы образовывать между народцами прочное единение. Народцы эти, как гласят предания и как следовало ожидать по свойствам человеческой природы, то и дело что ссорились между собою. Киевские князья языческого периода начали их сшивать на живую нитку, но сшивка эта ограничивалась тем, что их обдирали, когда можно было, да призывали вместе грабить Византийскую империю. Только с распространением христианства и с разветвлением одного княжеского рода по всем землям наступает период единения, которое, начинаясь с крайней разрозненности, клонилось прежде к федеративному строю, а потом уже, впоследствии, в силу новых толчков, повернуло к иной форме. Стало обычаем, что земля должна иметь у себя князя из одного на Руси дома; стало необходимо, чтобы при князе, правителе и охранителе земли, была постоянная военная сила; то была дружина. Откуда же набиралась эта дружина? Были в ней и иностранцы, были русские из иных земель, но главная сила ее, по крайней мере в большей части русских земель, состояла из уроженцев той земли, где князем был тот, кому она служила; таким образом, дружина не теряла связи и общих интересов с землею. Что дру-

жина князя состояла из людей той же земли — резко и наглядно показывает пример из многомятежной жизни Изяслава Мстиславича киевского, который, будучи изгнан из Киева вместе с дружиною, говорил последней: «вы есте по мне из русские земли вышли своих сел, а своих жизни лишився, а яз паку своея дедины и отчины не могу перезрети, но любо голову свою сложу, паки ли отчину свою налезу и вашу всю жизнь». Из кого же состояла дружина этого князя? Конечно, из тех же земских людей, киян, которые прежде признали его своим князем на вече от мала до велика. Собственно дружина была только органом земской деятельности. Дружинники не составляли замкнутого сословия; люди всякого происхождения возвышались и достигали большого значения. Так мы встречаем в чине знатных лиц поповичей, напр., Александра Поповича или Судыча, попова внука, и даже происходивших из смердов (два беззаконника от племени смердь). В Новгороде в более позднее время дружина князя или наместника состояла из пришельцев не новгородцев, но все-таки русских.

Конечно, бывали нередкие случаи, когда дружинники с своими князьями преследовали эгоистические цели и наносили вред русским землям; и это бывало особенно тогда, когда князь с дружиною, составленною из жителей той земли, где он жил и княжил прежде, нападал на чужую землю и княжение, а наготове у него была помощь инородцев; но вина зла этого не может падать на одних дружинников: вина эта крылась во всем настроении русского общества, и свойства дружинников не были их исключительными свойствами, чуждыми остальной массы земщины, из которой они происходили.

Задавшись мыслию отыскивать везде враждебные отношения дружины к земщине, можно и не обратить внимания на то, что в наших летописях под «дружиною» разумеется не всегда только военная сила князя, но это слово принималось и в смысле более широком, в значении кружка людей влиятельных или благоприятствующих, хотя бы они не составляли княжеской дружины в тесном смысле. Так, между прочим, в повествовании о тех новгородцах, которые во времена Ярослава Владимировича, готовившегося идти на Киев, перебили поставленных у них в домах варягов, а потом были сами коварно избиты князем в Ракоме, этот князь, жалея о погибших, называет их своею «любою дружиною». А ведь это были земские люди, нарочитые мужи, домовладельцы новгородские, и конечно у Ярослава была иная дружина, дружина в тесном значении, которая и содействовала избиению новгородцев в Ракоме. Мы находим также основание предполагать, что в словах летописи о том, как Владимир, «любя дружину и

с ними думая о строи земленем, о ратех и уставе земленем», разумеется дружина в обширном смысле, так что к этой дружине, то есть к кругу людей, близких к князю, относились даже духовные лица; именно: вслед затем, как бы для пояснения, каким образом Владимир думал с дружиною о строи земленем, и о ратех и о уставе земленем, повествуется, как он, по совету епископов, стал казнить разбойников, а потом, по совету епископов и старцев, вместо смертной казни, начал брать виры, принимая в расчет необходимые расходы на войну (и реша епископы и старцы: рать многа: оже вира, то на оружьи и на конех буди. И рече Володимир: тако буди). Точно так же несколько строк перед тем, где описывается, как пировавшие с Владимиром изъявили желание есть серебряными ложками, а не деревянными, слово «дружина», по ходу речи, имеет обширное значение. На пиру у Владимира были: бояре, гриды, сотские, десятские и нарочитые мужи. Когда они подпили, то начали роптать на князя за ложки. Владимир, потакая их прихоти, называет их общим именем «дружины» (повеле исковати лжице сребрены ясти дружине, рек сице: яко сребром и златом не имам налезти дружины, а дружиною налезу и сребро и злато). Слова о невозможности найти дружину за золото и серебро показывают, что здесь идет речь о нравственно близких людях, о друзьях Владимира, а не о наемных воинах, состоящих на плате, каких именно и можно приобрести за серебро и золото. В ином месте летописи, в описании изгнания из Киева Изяслава Ярославича, происшедшего в 1067 году, киевляне, готовясь освободить полоцкого князя из темницы с его двумя сыновьями, говорят: «Пойдем высадим дружину свою из погреба». Здесь слово «дружина» еще в более обширном смысле, чем прежде; здесь она вообще означает лиц дружелюбных, друзей. Таким образом, самое слово «дружина» на нашем старом языке не означало всегда только того, что под этим словом разумеют историки, составившие теорию о противоположности дружины и земщины. Понятно, как следует осторожно приступать к каким бы то ни было выводам по этому вопросу.

Но более всего г. Забелин не прав по отношению к временам более поздним, ко временам усиления Московского государства и объединения Руси под властью Москвы. «Не захотевши сделаться слугою Земле, она (дружина) за это самое должна была сделаться слугою князя. Ее общие с ним интересы стали расходиться все дальше, древняя дружба стала расстраиваться. Стремясь за общеземскими целями, князь в Москве вырос целою головою выше старых дружинных связей и отношений. Стремясь исключительно только за своими лич-

ными целями и интересами, дружина понизилась до значения холопства. Но, не выучившись ничему новому, она крепко держала в памяти свое старое, крепко жила своими старыми преданиями и не думала изменять своим древним нравам и обычаям. Собравшись в Москве около своего государя самодержца, она все еще думала, что это только первый дружинник, и стала постоянно заводить те же самые истории, какими была озаменована жизнь прежних волостных и удельных князей. Главнейшим пунктами дружинного самоволия и властолюбия, как прежде, так и теперь, являлось наследование престола и вообще малолетство или неспособность наследника. В эти времена с необыкновенною силою просыпались необузданные и ничем неукротимые стремления дружинников захватить господство над властью и Землею в свои руки. Здесь в полной мере обнаружилось самое существо древнедружинного обычая — это неизменное стремление властвовать над Землею, а не служить Земле... В государственной Москве древние дружинники долго старались заводить эту рознь, поддерживая удельных, возбуждая споры и смуты о разных наследниках, вообще же стремясь овладеть государственною властью. Однако, идея государственного единства, перешагнувши через множество невинных жертв, восторжествовала. Но в этой беспощадной борьбе за единодержавие и самодержавие государя династия, по весьма понятным причинам, уничтожая самое себя, должна была к концу истощить свои силы и совсем угаснуть».

Исторический ход событий представляет нам совсем противное тому, что здесь высказано. Конечно, можно все это подтвердить отдельно взятыми исключительными фактами, насильственно давая им предумышленное значение; но историк должен составлять свои приговоры не на основании только единичных отрывочных явлений, а принимать во внимание то, что совершалось в их цельности и связи, от начала до конца; таким образом можно указывать и определять характер и направление века, народа или сословия.

Дружинникам ставят в вину, что они сделались слугами князя, а потом его холопами. Но как же могло быть иначе, когда сами князья были холопами и рабами завоевателей, и с ними вся Русь охолопилась до мозга костей. Татарское господство совершенно сбило ее с той, хотя и своеобразной, но по духу истории все-таки средневековой европейской дороги, по которой она шла до половины XIII-го века. Мы не думаем искать каких-нибудь высоких идеалов, осуществившихся в дотатарской Руси. Нет, и тогда было варварство, но варварство европейское, тогда как, после татарского завоевания, Русь

погрузилась в варварство азиатское. Первое, при всех своих темных сторонах, хотя медленно, хотя с уклонениями, хотя более или менее узким и туго расширявшимся кругом участников движения, а все-таки шло на пути к идеалу личной свободы человека, к выработке политических и гражданских прав, понятий о чести и долге; для последнего не было других общественных идеалов, кроме постоянного страха за существование, самоунижения и хитрого раболепства перед безгранично эгоистическою силою, чем бы ни была эта сила: верховною ли властью деспота, твердо сидящего на своем троне, или разнузданною наглостью успевающего бунтовщика. Понятно, что московские князья, освобождаясь, в силу обстоятельств, от чужеземного деспотизма и захватывая в свои руки ту верховную власть, которая выпадала из одряхлевших рук ханов Золотой Орды, последовали за тем образцом, который был им близок от отца и деда, за образцом восточного деспота; понятно, что и пособники их должны были следовать за образцом подчинения, с каким были знакомы, и делаться холопами. Мы не скажем, впрочем, чтоб на Руси не оставалось уже ни жизненных следов, ни воспоминаний о прошлом, но эти следы и воспоминания были до того, так сказать, завалены наносами прожитой народом в последующие времена истории, что разве великие бури и крутые потрясения могли бы снести эти наносы. Следует заметить, что остатки византийских государственных понятий, хотя в них уже издавна было много азиатского, не дали восточной Руси сделаться совершенною ордою; их влияние вместе с религиею сообщило ей образ государственного механизма.

Ничто так не содействовало возвышению московских князей и их стремлению к собиранию русских земель, как дружинное или служилое (как оно после стало называться) сословие. Москва наполнялась людьми этого сословия — боярами и вольными слугами, приходившими отовсюду служить московским великим князьям. При сохранении права свободного отъезда бывали случаи и противные — отъезжали из Москвы в уделы, но число таких, в сравнении с числом приставших к московским князьям из уделов, было незначительно. При их-то помощи и содействии эти князья укреплялись, расширяли свои владения, возвышались над прочими князьями. Покорением уделов, напр., Нижнего, Владимира, Рязани, Твери, они были обязаны тем, что тамошние дружинники перешли на московскую сторону. То же, вероятно, делалось и в мелких уделах; за дружинниками князья их, оставленные без вооруженной силы, стали именовать себя холопами московского князя. В начале, пока московские вели-

кие князья не были еще слишком сильны, пока им предстояла борьба с удельными князьями, — борьба, которой успех зависел от перехода служилых на московскую сторону, понятно, что великие князья относились к своим боярам как к советникам. Но отношения переменились уже с Ивана III: это был самовластный деспот, не терпевший вокруг себя никого, кроме холопов. Сын его Василий превзошел родителя, так что современникам Иван III, в сравнении с своим преемником, представлялся добродушным и приветливым государем. Герберштейн, посещавший Москву при Василии, говорит: «никто не смеет разногласить с государем не только что противоречить ему: воля государя — Божья воля!». Иностранцу того времени строй московской державы представлялся беспредельно самодержавным. А кто же довел до этого, как не служилое сословие, покорявшееся обстоятельствам? Не только не препятствовало оно развитию идеи государственного единства, как уверяют нас, а напротив — оно-то и было главнейшим органом этого развития. Вопреки словам г. Забелина, будто дружинное самоволие проявлялось во время малолетства наследника, мы просим читателей припомнить тот многознаменательный факт, как во время малолетства Димитрия Донского бояре успели сохранить за ним великое княжение, преследуя как будто приросшую к Москве идею первенства над Русью. Вероятно, г. Забелин намекает на смуты во время малолетства Ивана Грозного. Но много ли Забелин покажет нам примеров в истории монархических государств, когда малолетство сироты-государя, требовавшее регентства, не было временем пререканий, недоразумений и смут? Явление — чересчур общеисторическое, чтобы на нем основывать характеристику целого сословия. Да и что же в самом-то деле мы видим, ссоры лиц, не более, а не борьбу партий за какие-нибудь принципы. Вот, если бы Бельские, Шуйские, Воронцовы стояли за какие-нибудь изменения порядка в государстве с целью расширить и упрочить права своего сословия или своей партии за счет самодержавной власти — иное дело; но этого мы не видим.

Где же, в самом деле, эти необузданные, ничем неукротимые стремления дружинников захватить господство над властью и Землею в свои руки? Где эта беспощадная борьба против них за единодержавие и самодержавие государя? Пусть нам покажут ее! Мы видим только верных и ревностных рабов: только тогда, когда уже тяжело кому-нибудь покажется жить, тот убегает! Неужели это борьба, да еще беспощадная? Покажите нам хоть один пример, когда представитель самодержавной власти выходил с войском против полчища врагов

самодержавия? Покажите нам хоть один заговор с целью ниспровергнуть форму правительства? Мы видим бесчисленное множество казней, совершавшихся по подозрению, а не видим действительных попыток произвести перевороты в государстве, с целью подорвать единодержавие и самодержавие государя. Мы видим, как при дворе одни против других враждуют, строят одни другим козни, роют одни под другими ямы, но по отношению к верховной власти все они покорные холопы. При Иване Грозном представляется нам единственный пример, когда царь, как он сам впоследствии сознавался, некоторое время управлял по совету Сильвестра, Адашева и их сторонников, и как бы находился под их опекою. Но все это касалось только личности Ивана, а не царского самодержавия вообще в его идее. Сам Иван, по трусости, поддался нравственному влиянию умных личностей, успевших в короткое время именем царя совершить истинно великие дела; но как мало расположены были эти люди поставить прочные границы самодержавию и единодержавию, показывает то, что царь всех их разогнал, истребил, а потом уже многие годы совершал чудеса тиранства, и все сходило ему с рук. Мысль г. Забелина, что Рюрикова династия должна была к концу истощить свои силы и совсем угаснуть, более чем непонятна. У Федора могли быть дети, и Рюриков род преспокойно бы размножался. По отношению к политическим событиям московского государства, предшествовавшим смутам, возникшим по прекращении Рюриковой династии, это прекращение есть факт чисто случайный, зависевший от физических причин и не состоящий в связи с политическими событиями.

Едва ли в силах доказать г. Забелин, будто закрепощение крестьян было делом интриг боярского властолюбия. Мера эта, настолько нам известно, предпринята была в тех видах, чтобы остановить усилившиеся побег и народные переселения, грозившие опустением центру государства, и была в свое время еще нужнее для государственных целей, чем для интересов землевладельцев.

Верный своей задаче — накладывать как можно более черноты на бояр и на служилое сословие и как можно более в привлекательном виде изображать своего «сироту-народ», г. Забелин, переходя к эпохе смут в начале XVII-го века, причину всех смут взваливает исключительно на тот же служилый класс: «смуту искони производил, а теперь распространил ее на всю Землю именно пласт служебный, по древнему дружинный, а ныне уже холопий». Автор изображает прекращение Рюриковой династии в виде смерти хозяина дома, после которого слуги-холопы бросились расхищать его достояние, а

сирота-народ долго стоял перед домом покойника и все видел и все слышал, что там творилось, и прямо назвал все это дело воровством и всех заводчиков смуты ворами. Из ближайшего рассмотрения событий и обстоятельств той эпохи, о которой идет речь, оказывается не то: напротив, смуту распространял тот самый сирота-народ, который г. Забелин возводил в идеал, а служилые только отчасти примыкали к нему. Мы говорим о козачестве, разумея не особый род войска, известный под этим именем, а вообще ту массу народа, которая искала воли и принимала это название в его первоначальном, более общем значении вольного человека. Козачество в этом смысле выражало собою протест народа против государственных тяготей. Люди, как скоро им становилось или казалось невыносимым от суровости властей и тяготы поборов и повинностей — бежали. Крестьянин уходил из волости, посадский из посада; и тот и другой избавлялся побегом от участия в платежах, работах и службах, увеличивая тем самым тягость тех, которые оставались на месте жительства, — боярский холоп бежал из боярского дома, бегал подчас служилый человек, избавляясь от государственной службы. Бежать было делом обычным: посадские люди и крестьяне без зазрения в своих челобитных обещали, в случае отягощений, разбрестись врознь. Бежать было куда: на юге и на востоке было много пустых пространств, где можно было селиться, укрываясь от руки правительства. Но соседство с хищническими ордами делало этих беглецов воинами; таким образом, сложилось военное общество, носившее название козачков, название, без сомнения, заимствованное от татар. К сожалению, появление козачества до сих пор остается еще неисследованным. Замечательно, что почти одновременно тяга народа на юг и образование козачества совершалось, как из Московского государства, так и из русских земель, принадлежавших Польше, и в образовании великорусского козачества, которого ядро было на Дону, участвовал элемент малорусский. Это усматривается, во-первых, в наречии, которое до сих пор, по крайней мере в южном крае Донской Земли, обличает смесь малорусской речи с великорусскою; во-вторых — в одинаковости названий чинов и в сходстве устройства; в-третьих, в том, что в движениях великорусских козачков всегда почти принимали участие малорусы. Хотя война была главным занятием козачков, но у них слагались своего рода идеалы общественного строя, которые они хотели видеть осуществимыми: идеалы эти были противоположны государственным порядкам. Вместо подчинения козак считал личность свою ни от кого независимой: вместо разверсток, разубов, даней — козак знал равный дукан дохода от добычи и добровольную складку на общее де-



ло; вместо мира — у козаков был вольный козачий круг; козак не признавал для себя законною иной власти, кроме той, которая выбрана в этом вольном кругу и могла быть им же сменена; не терпел козак никакого тягла и прикрепления, признавая право каждому приходить откуда угодно и уходить куда угодно, не терпел никакой неволи, господства человека над человеком, никакого холопства: козак днепропетровский стал прирожденный враг польского пана, а донской ненавидел московского боярина; и тот и другой с радостью принимали в свою братскую семью бежавших панских и боярских рабов и подданных. У козака сложилась и своя, единственно допускаемая им, форма землевладения: право каждому считать своею собственностью ту усадьбу, на которой он живет, и ту землю, которую сам обрабатывает. Козак не знал различия людей по породе и ненавидел его. Все власти, сверху поставленные именем царя или короля, были ему равно противны, и только по отношению к самым коронованным особам козаки удерживались от открытой вражды, готовы были помогать им и служить, но с тем, чтоб последние не мешались в их дела, и сами козаки считали себя от них не зависимыми, а на свои услуги они смотрели как на добровольные. Так как козацкое общество непрерывно пополнялось новыми беглецами, то они не могли отрешиться от прежнего своего отечества, оторваться от всех интересов, и потому, при удобном случае, покушались к враждебным выходкам против государства. Их козацкая страна была без границ, как их козацкая воля; от этого они стремились расширить ее на счет того государства, из которого бежали сами или их отцы. Так украинские козаки успели захватить и оказачить значительную часть южной Руси, хотя зато во многом изменили первоначальным козацким идеалам. В XVII-м веке мы видим подобное стремление у великорусских козаков: во время восстаний, предпринимаемых против государства, козаки старались захватить города и уезды, истребить в них поставленное от верховной власти начальство и ввести козацкое устройство.

Так было при Стеньке Разине; то же повторялось во время бунтов Булавина и Некрасова. Смутное время Московского государства в начале XVII-го было, так сказать, школою, воспитавшею и укрепившею козачество. Правда, мы в это время еще почти не видим положительного стремления к оказачению страны, введения форм новой организации, но зато козачество сильно действовало отрицательным способом, разъедавая и истощая ненавистное ему государство. Народ почувал, что сковывающие его государственные цепи ослабели, искал воли, но для него идеал свободного человека был только

идеал козака или подобие его. Украинные земли на юг от Оки сильно прониклись козачеством: там не было ни промыслов, ни торговли, жители были беднее и отважнее; соседство с козаками увлекало их. На севере, где в городах были промышленники и торговцы, люди зажиточные и домовитые, козацкий дух распространялся сравнительно менее. Тогда, как известно, к козакам примыкали не только те, которые носили это звание, но и вообще всякие искатели воли, и в том числе разбойничьи шайки также величали себя козаками; да и другие не отнимали от них такого звания, только к слову козаки прибавляли слово воровские. Все козацкие и козачествующие шайки составлялись из голытьбы, бедняков, дышавших ненавистью столько же к богатым, сколько к знатым. Черный народ, именно тот сирота-народ, который г. Забелин представляет противником смут, производимых будто бы служилым сословием, был главнейшею стихией тогдашней смуты. Он-то приставал к тушинскому вору, он наполнял его козацкие шайки, именем обманщика волновались населенные этим народом посады и волости; этот же сирота-народ давал подмогу и поддержку всем другим ворах той же эпохи. Только тогда, когда для него стало ясно, что желанная воля таким путем не добывается, когда и поляки и свои удалыцы проучили его — он опомнился, однако все-таки склоняясь покорно под гнетом властей, сохранил за собою способность при всяком удобном случае приставать к воровскому знамени и доставлять из своей массы контингент для разжигания государственного порядка: это и в будущем показали всякие народные бунты до Пугачева включительно. Люди родовитые и вообще служилые, в своем большинстве, всегда составляли консервативный элемент: и в Смутное время Шаховские, Мосальские, Трубецкие составляли временное исключение, точно так, как, например, в полчище Богдана Хмельницкого были исключениями приставшие к нему шляхтичи. Странно на таком основании утверждать, что шляхта сочувствовала козацким восстаниям, но мало чем менее странно утверждать, вместе с г. Забелиным, что смуту производили бояре и служилые, а сирота-народ постоянно был охранителем спокойствия и государственного порядка. Если единодержавие и самодержавие вели с кем беспощадную борьбу, то именно с этим «сиротою».

Мы, однако, не станем, в обратном смысле, поступать подобно г. Забелину и, взваливая вину смут на черный народ, признавать правыми родовитых и служилых. Уж если кого обвинять, то прежде всего последних, вместе с верховным правительством, которое они поддерживали и служили его

органами, обвинять за то, что они своим неумелым управлением ставили народ в такое положение, что он получил наклонность производить смуты. Но мы обвинять кого-нибудь считаем неуместным. Виноваты ли те и другие, когда предшествовавшие века и обстоятельства воспитали их поколения за поколениями в известных понятиях, обычаях и привычках? Виноваты могут быть люди только тогда, когда им предстоит возможность и удобство отличать лучшее от худшего и выбирать одно из другого. Подобного положения относительно сферы политической жизни в московской истории не было там, где не было такого умственного развития, при котором возможен был выбор. Люди действовали сообразно положениям, в которые, мимо их намерений, ставили их обстоятельства, истекавшие из естественного сцепления фактов.

## II

Г. Забелин считает не имеющую исторического значения легендою записанный в летописи, отысканной г. Мельниковым, рассказ о том, как Минин говорил нижегородцам о бывшем ему явлении св. Сергия, как Биркин заявил было сомнение, а Минин заставил его замолчать, пригрозив объявить православным кое-что такое, что знал за Биркиным. Г. Забелин смущается даже тем, что летописный отрывок этот известен только по рукописи XVIII века.

Во всем этом рассказе, как и во всем повествовании, к которому он принадлежит, нет ничего неправдоподобного. Повествование, очевидно, составлено было во времена очень близкие к описываемым событиям. Явление святых и разные таинственные видения были в ходу в эту эпоху: об этом говорится и в Никоновской летописи. Народ, утомившись от бедствий, после многих неудачных усилий избавиться от них, ожидал помощи свыше и потому всякое возбуждение, обращенное к народу, должно было действовать сильнее, когда подкреплялось свидетельством об участии высших сил. Притом же, явление св. Сергия Минину накануне воззвания его к нижегородцам записано и в чудесах св. Сергия: это обстоятельство подтверждает справедливость известия, передаваемого летописью. Являлся ли чудотворец Сергей действительно Минину, или Минин выдумал это нарочно для того, чтобы лучше подействовать на народ, мы не беремся решать; по духу века могло быть и то, и другое. Люди умные верили в чудеса и явления святых, но также, при случае, для благой цели, не считали предосудительным и сочинить. Таким образом Курбский, восхваляя Сильвестра, соглашается, что,

быть может, чудеса, которыми он действовал на царя Ивана, были мечтательные, однако, не только не находит такого обмана дурным делом, а напротив, еще прославляет за это мнимого чудотворца, называя его благокозненным лстецом, и сравнивает с врачом, прибегающим иногда к обману, когда приходится ему подавать неприятное лекарство детям. Отчего же Минин не мог себе позволить того, что позволял Сильвестр, личность не менее знаменитая и почтенная в русской истории?

Что касается до Биркина, то отношение к нему Минина в том положении, в каком находились тот и другой, вполне заслуживает вероятия. Г. Забелин порицает меня за то, что я слово «сумняшеся» понял и выразил в том смысле, что Биркин сомневался в действительности видения, бывшего Минину. Но в летописном рассказе смысл, к чему относится слово «сумняшеся», чересчур ясен. Перед тем только было сказано, что Минин говорил нижегородцам: мне явился св. Сергей и велел разбудить спящих; затем говорится, что Биркин усомнился. В чем же Биркин мог усомниться, как не в том, что Минин говорит правду, что Минину действительно было видение? Все здесь так ясно, толковать-то нечего! Драгоценное сказание рисует нам, что и событие, без всякой легендарности и наглядно представляет черты того времени, разъясняя нам то, на что без этого у нас были только намеки. Биркин был соперник Минина, но собственно не враг самому начинанию; ему, как человеку завистливому и себялюбивому, хотелось быть первым; ему досадно было, что первым делается не он, а Минин. Это качество проявляется и в последующих поступках этой личности (так понял Биркина и наш историк Соловьев, т. VIII, стр. 448). Биркину сразу хотелось подорвать Минина. Но Минин, с своей стороны, как человек умный и осторожный, рассчитал, что не следует в таких критических обстоятельствах возбуждать домашние ссоры, тем более, что в прочитанной перед тем грамоте все слышали убеждения оставить всякие недоразумения и неудовольствия. Минин знал нехорошие дела за Биркиным и имел возможность их обличить, но, уличая соперника всенародно, он тем самым бросил бы с первого раза зародыш раздоров; у Биркина, конечно, были свои благоприятели, которые стали бы за него заступаться, да, наконец, уже одно то было бы дурно, что внимание нижегородцев от великого общественно-го предприятия, к которому их хотел подвинуть Минин, отвлеченно было бы домашним дразгам. И вот благоразумный Минин довольствуется только угрозой Биркина употребить, в случае крайности, то оружие, которое у него есть в запасе, если Биркин не перестанет заявлять себя против Минина. И Биркин, естественно, не будучи уверен, что одолеет Минина, не

решается вступать с ним в открытую вражду, и уступает до поры до времени. Все это до чрезвычайности правдоподобно, отнюдь не легендарно и не могло быть никак составленным в позднее время, когда уже самое имя Биркина должно было забыться или во всяком случае потерять живой интерес современности. Мой достопочтенный критик ставит мне в вину и то, что, передавая слова, произнесенные Мининым Биркину, я прибавил — *тихо* сказал. Однако, тот же мой критик говорит следующее: «мы вовсе не думаем отнимать у историка принадлежащее ему право восстанавливать сухой и черствый факт во всей его живой истине, при помощи даже поэтических и драматических прикрас». А если так, то какое же преступление, когда я для объяснения и полноты употребил черту, в живой истине которой едва ли может возникнуть сомнение? Как же мог сказать Минин Биркину, если не тихо? Если бы он сказал эти слова громко, то это равнялось бы исполнению той угрозы, которая заключалась в произнесенных Мининым словах.

Что касается до того обстоятельства, что повествование, отысканное г. Мельниковым, известно по списку XVIII века, то это само по себе не может умалять достоинства источника до того, чтоб лишать его достоверности. Иначе пришлось бы уничтожить древнюю летопись, называемую «Несторовою», так как списков ее нет ранее XIV века.

Г. Забелин силился доказать несправедливость моего вывода, состоящего в том, что, по силе приговора, составленного Мининым, бедные отдавались в кабалу богатым. Фантазия эта, говорит мой достоуважаемый противник, основана на буквальном толковании известной речи Минина: дворы, жен и детей закладывать и продавать, слова, которые он сам внес в приговор. Да в том-то и вся суть, что *внес в приговор*. В этом приговоре положительно говорится: «быти им во всем послушным и не противитися ни в чем, а для жалованья ратным людям имать у них деньги, а если денег не достанет, имати у них не точию животы их, но и жен и детей имая от них закладывать, чтоб ратным людем скудности не было» (Нов. Лет. 145). Мы не имеем поводов не верить существованию приговора, а смысл приведенных из него слов до того ясен, что не допускает никаких изворотов. Нам говорят, что до этого не должно было доходить, потому что тогда брали пятую, а по другому известию третью деньгу, следовательно, во всяком случае известный процент. Но, во-первых, в самом приговоре указывается, как поступать, если денег не достанет; во-вторых, нельзя понимать этого так, чтобы слова пятая или третья деньга относились исключительно к наличной звонкой монете, иначе была бы допущена вопиющая неспра-

ведливость: брали бы с тех, у кого были наличные деньги, и не подвергали бы участию в общей повинности тех, у кого не было наготове монеты, но были промыслы и имущества, приносящие доход. Слова третья или пятая деньга мы понимаем так, что они означают вообще третью или пятую часть ценности имущества. Если же только хозяева принуждены были отчуждать значительную часть своего имущества, то понятно, что кабала была неизбежным явлением, как она вообще в древней русской жизни была делом обычным и истекала из народных нравов того времени. Даже и тогда, когда у хозяев было имущество, они могли находить для себя более легким отдавать в кабалу членов своей семьи богачам, которые за них заплатят часть, следуемую от них на общее дело, и поступившие в кабалу могли в течение годов отслужить заплаченное; это для отцов семейств было удобнее, чем сразу лишиться значительной части имущества, через то самое разориться, и в конце концов идти уже, быть может, в вечную кабалу с семейством. Сомневаться в практическом применении составленного Мининым приговора значит увлекаться тою театральностью, которую г. Забелин отыскивает у других, и которою, напротив, г. Забелин сам страдает. У него Минин настоящий театральный герой псевдоклассической трагедии, по правилам которой великий человек непременно должен быть представлен ходячим магазином всех добродетелей, идеально прекрасным существом высшей породы, чуждым не только пороков, но даже слабостей своего века. Г. Забелину не нравится, что у меня Минин выходит как будто диктатором, потому что «в старом земстве нашем всякий, даже копеечный сбор, на всякий случай всегда неотменно производился миром, по его разверсткам и разрубам, по самому возможно верному распределению, кому что в силах платить». Наконец, уже то, что Минин выбран был земским старостою, достаточно, по мнению моего противника, указывает в пользу Мининого: «он должен был иметь типические черты, которыми народ вообще определял это важное в его быту звание и которые, конечно, не могли быть худые или сомнительные черты».

Уже если наш почтенный противник для характеристики действий Мининого ссылается на формы обычного в те времена выборного управления, которые так превозносит, то и нам позволено будет указать на пример, как земский староста, выбранный всенародно, показал такие «худые или сомнительные черты», которые могли повести к подаче на царское имя челобитной в том, что этот староста, по словам посадских, «в наших мирских делах учинил большое дурно, а в денежных приходах и в расходах чинил большую хитрость, а себе корысть. Да он же

староста подговаривался к воеводе и к таможенному откупщику, пьет и ест с ними беспрестанно, и ночи просиживает, а на нас сирот твоих, посадских людей, воеводе и откупщику наговаривает, и воевода, ставясь с откупщиком и им земским старостою нас сирот твоих продают и убытчат большею продажей и убытками, и мы сироты твои от такова озорничества и от напрасных продаж и убытков промыслишков своих отбыли и в конец погибли и оскудели. Да он же староста Иван Смолянин, будучи у наших мирских дел, ставясь с воеводою, порядился у уездных людей на нынешний 173-й год с целовальники к денежному сбору избирал он, Иван, ямские и полонянные деньги и законного даточного сборов и с недорослей, по рублю с двора, и от тех зборных денег он, Иван Смолянин, имел себе большую подмогу, а нас, сирот твоих, ввел в смуту с уездом и в остуду великою» (Акты гор. Шуи, I, 324).

Мы бы могли привести также места из наказов воеводам, где последним поручается охранять посадских и волостных людей от их же братии, находившейся в выборных должностях, но не хотим утомлять читателей выписками, тем более, что г. Забелину, как знатоку нашей внутренней истории, это хорошо известно. Мы указываем на эти черты, вовсе не желая тем сказать, что Минин был такой же земский староста, каким представляются подобные Ивану Смолянину; мы думаем только видеть в этих примерах опровержение того мнения, какое имеет г. Забелин о важности мирского управления, разверсток и разрубов и о характере земских старост вообще. Г. Забелин доказывает, что Минин, по своему положению, не мог быть диктатором. Достаточно можно видеть, что даже в качестве земского старосты Минин имел возможность быть диктатором, а тем более в том положении, в каком находился исключительно перед всеми земскими старостами, будучи выбран к важному делу, касавшемуся всей Русской земли, получив приговор, в котором все обещали повиноваться ему во всем, имея таким образом, по словам летописателя, власть и силу. Г. Забелин, толкуя слова «власть в людях», говорит, что это вовсе не значит, чтоб Минин имел власть над людьми, это означает только, что возбуждал к себе доверие. Но если так, то тем крепче и неограниченнее была его власть. По мнению г. Забелина, Минин не мог быть человеком сурового и крутого нрава, потому что он был выбран, а по нашему — оттого-то, вероятно, его и выбрали, что знали его за человека сурового и крутого нрава; тогда именно таков и был нужен, а не добродушный мямля. Многие примеры в истории разных народов указывают нам, что в критические минуты общество для своего спасения, доверяя власть одному из своей среды,

всегда предпочитает человека энергического и крутого, потому что только такой характер и в состоянии навести страх на эгоистические побуждения отдельных личностей и направить их к общей цели. Если верить г. Забелину, при Минине все шло согласно, все должны принести долю своего достатка: каков был достаток, такова была и доля; дело тем и кончалось. Свидетельства источников, однако, говорят не совсем так. В том же летописном сказании, на которое г. Забелин опирается, говоря о третьей и пятой деньге, прибавляется (Арх. Калач., I, 37): «а у иных и силою начали отнимать». Да и сам Минин не слишком полагался на единодушные нижегородцев, когда, получив от них приговор, поспешил отправить его подалее, «бояся, да не отнимут его паки».

Г. Забелин касается также толоконцовского дела, упомянутого мною в моей статье «Личности Смутного Времени». Г. Забелин заметил в нем неверность времени, и в этом мы с ним совершенно соглашаемся. Приводя прежде известие об этом деле, я не имел права переменить указания года и числа, не видев сам лично акта, о котором мне сообщил достопочтенный П. И. Мельников. Оказывается, что просьба бортников была подана царю Михаилу. Так как, по изысканиям г. Забелина видно, что лица, поименованные в грамоте, ведали большим дворцом уже с воцарения Михаила, то, вероятно, в доставленном мне списке сделана описка и 7120-й год поставлен вместо 7122-го. Сущность дела от этого не изменяется; она состоит в том, что по жалобе толоконцовских бортников отправлен для обыска Антон Рыбушкин, и по обыску толоконцовские бортники, жаловавшиеся на Минина, оказались правы. «Но толоконцовцы — говорит г. Забелин — могли легко и прибавить о посулах, как в подобных челобитных обыкновенно прибавлялись всякие вещи для большего объяснения своей правоты». Конечно, могли, но точно так же можно наводить сомнение на справедливость как всех вообще жалоб на противозаконные поступки начальных людей, так равно и всех вообще обвинительных решений по таким жалобам. Действительно, обвинение на Минина в посуловзимательстве и кривосудии могло быть поклепом, но оно могло быть и справедливым, так как эти пороки были в духе оногo времени и в нравах общества, среди которого жил и родился Минин.

Г. Забелин подробно излагает биографию Пожарского и упоминает о всех его деяниях, доказывающих его безупречное поведение. Так как насчет этого я уже высказал свой взгляд (Смутн. Вр. III. 245, 260. — Личн. Смутн. Врем. «В. Е.» июнь 1871), не противоречащий г. Забелину, то не считаю нужным теперь распространяться. Замечу только, что досто-



почтенный автор не беспристрастно относится к Пожарскому, стараясь обратить во вред Лыкову его заявления о том, что Пожарский при царе Борисе доводил на Лыкова «многие за-тейные доводы, что будто он, Лыков, сходясь с Голицыным да с князем Татаевым, про него, царя Бориса, рассуждал и умышлял всякое зло, а его мать Дмитриева, княгиня Марья, в ту же пору доводила царице Марье на мать его, Лыкова, что будто она, Лыкова, съезжаючись с княгиней Оленою, женою князя Василия Федоровича Шуйского-Скопина и будто ся рассуждали про нее, царицу и про царевну Оксенью злыми словесы, и за эти затейные доводы царь Борис и царица Марья на мою мать и на меня (говорит Лыков) положили опалу и стали гнев держать без сыску». По мнению г. Забелина, Лыков клеветал на Пожарского. Очень могло быть, что Пожарский доводил на Лыкова не по затейным доводам, и донос его был не «лганье», как выражался Лыков, а действительно Лыков с Татевым рассуждали о царе Борисе. Но едва ли Лыков указывал на такое дело, которое вовсе никогда и никак не происходило; едва ли Лыков решился бы лгать так, что его могли тотчас обличить; более вероятно, что со стороны Пожарского были доносы на Лыкова. Тогда было время доносов. Г. Забелин, называя заявление Лыкова сплетнею, на той же сплетне основывается сам: «из сплетни Лыкова, — говорит он, — видно, что Пожарский с матерью были в приближении у царя Бориса». Следовательно, из одного и того же известия г. Забелин принимает то, что не вредит чести Пожарского, а противное отвергает. Впрочем, если Пожарский в числе многих очутился в числе наушников тирана, этого ставить ему в упрек нельзя; дело было обычное и в тогдашних нравах. Черта эта показывает только, что Пожарский был в то время, если не ниже, то не выше других по своему нравственному достоинству. То же можно вывести и из споров о местничестве. Пожарский был до них охотник, за что и платился, даже уже после своей славы, и мы не можем согласиться с нашим достопочтенным противником, что Пожарский носит в себе черты наиболее гражданские, и наименее боярские и дворянские; местнические счеты, которыми так испещряется биография Пожарского, противоречат этому приговору и представляют Пожарского лицом чисто служащим.

### III

Теперь перейдем к самому важному вопросу. Г. Забелин держится такого мнения, что поляки были менее опасные враги, чем своя внутренняя смута, и поэтому не только оправды-

вает Пожарского за его медленность в Ярославле, но видит в этом доказательство высокого благоразумия и способностей. Вместе с тем он очень не жалуется Авраамия Палицына, который не одобрял этой медленности, видит в его истории пустое риторство, умышленную ложь, хвастовство и желание преувеличить заслуги своего Троицко-Сергиева монастыря.

Нам кажется, что задачей Пожарского было только прогнать из Москвы чужестранцев, разрушить ту тень русского правительства, которая, прикрываясь личиною законности, могла еще, при удобном случае, даже против собственного желания членов, составляющих это правительство, волновать край именем Владислава; надобно было уничтожить фактически призрачное царствование Владислава и открыть путь к избранию царя из русских людей; умирять же смуту и умиротворять Землю было задачей новоизбранного царя и его правительства, а не Пожарского. До того времени необходимо было, сосредоточив деятельность на изгнании поляков, сходиться даже и с противными себе элементами, если только и они были против чужеземцев. Надобно было помнить русскую пословицу: свои собаки грызутся, чужая не приставай! Признавать за поляками того времени мало опасности, значит относиться слишком легко к тогдашней истории. Неудача поляков происходила от той легкомысленности, с какою поляки очень часто умели пользоваться собственными силами, но нельзя не обращать внимания на эти силы, так как при некоторых условиях была возможность ими и воспользоваться. Польша в те времена обладала обаятельною, искусительною нравственною силою. Не говоря уже о превосходстве польской цивилизации перед такими странами, как московская Русь, польская шляхетская свобода была могучее орудие. Польша была такая нация, которая способна была всякую страну, добровольно ли к ней прильнувшую или покоренную оружием, привязать к себе дарованием своих шляхетских прав высшему сословию этой страны, передавая ему, вместе с тем, в порабощение низшие слои народа. Так Польша поступила в Литве и в тех русских провинциях, которые уже были соединены с нею. Всем известно, как скоро успела Польша в этих последних не только привязать к себе, но совершенно ополячить туземное высшее сословие. Не далее как внуки, а иногда даже дети тех, которые отличались ревностью к православию, стали фанатиками латинства, господствовавшего в Польше. Обыкновенно такое перерождение приписывают иезуитам. Конечно, иезуиты играли здесь важную роль, но и без них Польша в своем строе имела много поглощающих и преобразующих сил. Без иезуитов распространение католичества шло бы ту же,

православие держалось бы долее, но перерождение дворянства совершилось бы одинаково: известно, что самые ревностные защитники православия, долее других державшиеся против увлекающего потока, уносившего отеческую веру, писали польски сочинения в защиту православной церкви, усвоили себе совершенно польскую речь, польские нравы и были истыми поляками по своим понятиям и политическим симпатиям. То же произошло бы и в московской Руси, если б только поляки успели хоть сколько-нибудь установиться на ее почве. Вначале избрание Владислава не было делом противным боярам и дворянам: они, как известно, бросились просить милостей у Сигизмунда, когда он стоял под Смоленском, русским городом, пытаясь отнять его у державы, избравшей его сына в цари. Недаром в актах того времени мы встречаем такую характеристику русских людей: «только б не от Бога послан и такого досточудного дела патриарх не учинил; и за то кому было стояти; не токмо веру попрати, хотя бы на всех хохлы хотели учинити, и за то б никто слова не смел молыти» (А. А. Эксп. II. 321). Если бы Сигизмунд действовал иначе, и Владислав был коронован в Москве, коренное перерождение русских пошло бы как по маслу. Бояре и дворяне сейчас бы почувствовали, что им дышится легко, что над ними не стало всемогущего батого и, напротив, этот батог очутился в их руках над остальным русским народом. Все, что только возвышалось по происхождению, по званию над прочими, — все это пристало бы к польской стороне; все начало бы полячиться и отвращаться от народности своих предков. Вот тогда наступило бы на самом деле такое раздвоение народа, которое воображает себе существовавшим г. Забелин и которого не было еще; это раздвоение наступило бы вовсе не оттого, чтобы в служилом сословии были располагавшие к этому свойства, чуждые остальному русскому народу; это раздвоение возникло бы потому, что полякам, по их натуре по их целям, нужно было бы вырвать одну часть народа из целой его массы и возвысить для того, чтобы привязать к себе, но возвысить ее можно было не иначе, как даровавши ей преимущества, вредные для остального народа из целой его массы и возвысить для того, чтобы привязать к себе, но возвысить ее можно было не иначе, как даровавши ей преимущества, вредные для остального народа, доводящие его до порабощения. Конечно, прочности в этом порядке вещей не могло быть; польскому торжеству скоро наступил бы конец: по мере большого порабощения и унижения, народная громада теряла бы терпение, возбуждался бы в ней национальный дух, ненависть к иноземному, стремление сбросить с себя иноземное тяжелое ярмо; в Руси был уже готовый элемент для противодействия

давлению сверху; этот элемент был козачество, народ нашел бы на нем для себя опору и средоточие: поднялось бы страшное народное восстание, произошло бы то же, что через полвека происходило в южной Руси, только в большем размере. Но то было еще вдалеке, а в ближайшем — успех поляков повел бы за собою измену высших слоев русского народа.

Дело было попорчено, но еще могло понравиться для Польши. Еще в Кремле был польский гарнизон; еще там находилось русское правительство в лице бояр, которые, даже и поневоле, должны были делать угодное полякам. Сигизмунд с Владиславом могли приехать в Кремль; козаки не выдержали бы: они уж так боялись прихода Ходкевича и умоляли земское ополчение выручить их. Но у поляков были не одни только Гонсевские да Струси, у них был Жолковский, человек высокого таланта, уже показавший себя московским людям, умевший в равной степени и поражать и обольщать их. Бояре разослали бы грамоты по всему государству о прибытии законного царя, с успокоительными заверениями насчет веры и с обещаниями разных льгот и милостей служилому сословию. Появление этого царя произвело бы сильное волнение, образовалась бы многочисленная партия в его пользу. Владислав мог бы скоро короноваться: элассонский архиерей был к услугам. Обряд коронования возвысил бы его еще более. Если уже в царствование Михаила Федоровича, когда на престоле в Москве сидел царь вполне законный, избранный всею Землею, прибытие Владислава не осталось без влияния, были случаи измены, в Москве народ волновался, — то что же было бы, если бы Владислав прибыл в то время, когда, кроме него, не было еще лица, носившего, по праву избрания, титул царя, когда Москва со всею ее святынею была бы в его руках, когда первейшие бояре Московского государства уговаривали бы покориться царю, которого они выставляли в качестве законного государя? Что бы делал тогда Пожарский в Ярославле? Неужели его защитники станут приписывать ему невозможную прозорливость, скажут, что он предвидел, что будет так, как сделалось? Неужели Пожарский мог знать то, чего не знали поляки? Ведь сидевшие в Кремле держались до такой крайности, что начали есть друг друга, именно оттого, что были уверены в скором прибытии Сигизмунда и Владислава!

Но козаки? Но пример Ляпунова? говорят нам. На это мы заметим, что время, когда действовал князь Пожарский, было уже не то, когда действовал Ляпунов. Влияние и могущество Заруцкого ослабели. Явным доказательством этому служит то, что как только приблизилось земское ополчение, он бежал. Козаки в большинстве не последовали за ним. Самое

гнусное покушение на жизнь Пожарского только свидетельствует о слабости Заруцкого; злодей чувствовал, что проиграет, когда явится Пожарский, и, может быть, еще поставлен будет в необходимость дать отчет в своих поступках, а потому и прибегнул к такому средству. Спрашивают, что вышло бы по отношению к козакам, если бы Пожарский послушался увещаний троицких властей и явился бы под Москвою ранее? Вышло бы то же, что случилось, когда Пожарский пришел и позже. Козаки ворчали на земских людей, а все-таки вместе с ними бились против поляков. Козаки не любили земских, но ненавидели поляков еще более.

Ставят даже Пожарскому в заслугу то, что он посылал отряды против козаков, появившихся около Антоньева монастыря и Пошехонья. Полагают, что и по этой причине ему не следовало идти к Москве. Но что значит Антоньев монастырь около Бежецка и какое-нибудь Пошехонье, когда дело шло об освобождении Москвы, сердца государства, о предупреждении опасности нового вторжения иноземной силы и возможности страшных потрясений и волнений во всем государстве? Однако, не случилось таких бедствий, которые могли бы случиться, скажут нам, следовательно, Пожарский своею медленностью не принес вреда. Да, не случилось, и оттого-то теперь есть возможность превозносить подвиги Пожарского и возводить его в великие люди. Сигизмунд с Владиславом не пришли впору — и Московское государство было избавлено от тех невзгод и смятений, какие последовали бы за их своевременным приходом. Но история не может рассматривать событий безотносительно к причинам их. Избавление Руси от грозивших ей бедствий можно приписывать скорее заступничеству святых московских чудотворцев, чем Пожарскому.

По нашему убеждению, из всей подробной биографии Пожарского, изложенной г. Забелиным, оказывается не то, чего хотел достопочтенный автор. Пожарский является личностью политически честною, человеком благодущным, но по своим способностям совершенно рядовым, дюжинным, одним из многих. Случай временно вынес его из ряда, поставил его на видном месте, а ошибки его врагов помогли тому, что его собственные ошибки не принесли вреда. Тем не менее, однако, по сравнительной скудности источников для уяснения его характера, мы считаем все-таки опрометчивостью произнести о нем такой приговор. Заметим одно немаловажное обстоятельство. Уже после воцарения Михаила мы встречаем не раз Пожарского больным. Он страдал черным недугом. Что же, если, быть может, эта болезнь играла роль и в его прежней деятельности? Он мог быть действительно человеком с гораздо боль-

шими способностями, чем кажется по делам своим, но болезнь препятствовала ему проявить их во всей силе. Поэтому, как и по другим признакам, возбуждающим безответные вопросы, мы все-таки, как прежде говорили, причисляем Пожарского к личностям, которые, по недостатку источников, тускло отпечатались в истории.

Скажем в заключение несколько слов за старца Авраамия Палицына.

Г. Забелин обвиняет его в следующем. «Дабы выставить на вид благочестивому читателю, что все хорошее и доброе делалось и совершалось в то время почином Троицкого монастыря, старец беззастенчиво расписывает, что ляпуновское ополчение было и подвинуто к Москве именно троицкими грамотами, которые будто разосланы были тотчас после московской разрухи».

Развертываем сказания Авраамия Палицына и находим не совсем то.

На стр. 248 (изд. 1822) в главе 70-й встречаем такое известие:

«Рязанские же земли жители дворяне, и дети боярские, и всякие воинские люди видяще толико насильство поляков, в них же начальствуя тогда на Рязани воевода Прокопей Петрович Ляпунов и сославшася с Володимерцы и с Ярославцы и с Костромичи и с Нижегородцы и с государством казанским и с волскими городами и со всеми татарами. Потом же того врага Заруцкого увещаша многими дарми и посланми, с ним же многие козаки и северские города изволением Божиим обратишася, и тако из всех градов Литву начаша изгоняти».

До этого времени ни о каких грамотах от Троицкого монастыря в Сказании не говорится. Уже впоследствии, когда Ляпунов был под Москвою и поляки зажгли столицу, троицкие власти узнали об этом от прибежавшего из Москвы боярского сына Якова Алеханова (стр. 247) и потом уже «разослаша граматы во все города российские державы» (стр. 249). Правда, уже после этого, на стр. 251—253, Палицын исчисляет бояр и воевод, пришедших под Москву, но нельзя этому месту давать такого смысла, как будто автор хочет сказать, что все эти лица пришли под Москву и подвинулись первоначально на свой подвиг по грамотам Троицкого монастыря, так как о первом их движении сказано выше (на стр. 242), и этот факт отнесен ко времени, предшествовавшему рассылке троицких грамот.

Г. Забелин представляет Авраамия пристрастным благоприятелем козаков, человеком особенно державшимся Трубецкого. «Вся Земля теперь знала, что в Москве сидят

собственно два врага отечеству, поляки и козаки, с которыми требуется вести почти одинаковые счета. Об этом очень мало знали только троицкие власти с своим келарем, Авраамием Палицыным. Впрочем могло и то случиться, что, живя вблизи козаков и козацких воевод, они по необходимости должны были мирволить им». (Арх. 3. 4, 583) На стр. 602 г. Забелин говорит: «Обвиняет Пожарского (и не в одной медленности) один только человек, троицкий келарь, старец Авраамий Палицын. По всему видно, что он держался ближе к Трубецкому, чем к Пожарскому, ближе к козацкому ополчению, чем к нижегородскому: он здесь, под Москвою, был знакомее, был свой человек». На стр. 603: «За кого, следовательно, стоял Авраамий. Не иначе, как за свои личные связи или за приятельство, или за короткое знакомство с Трубецким, которому в «Сказании» он дает видное место».

И это не совсем так. Просмотрим, напр., хоть то место, где Авраамий с соболезнаванием говорит о смерти Ляпунова, описывает яркими красками злодеяния козаков и представляет их виновниками того, что войско, стоявшее под Москвой, разошлось. «Исполнишася зависти и ярости мужества его ради и разума, зело бо той Прокофей ревнуя о правоверии, ненавидя же до конца хищения и неправды, бывшие тогда в козачьем воинстве, и призвавше его в съезде возложиша на нь измену и поставше убиша его. По несправедном же оном убиении Прокофьеве бысть во всем воинстве мятеж велик и скорбь всем православным христианом, врагом же поляком и русским изменником бысть радость велика; козаки же начаша в воинстве великое насилие творите, по дорогам грабити и побивати дворян и детей боярских, потом же начаша и села и деревни грабити, крестьян мучити и побивати, а такова ради от них утеснения мнози разыдошася от царствующего града... разыдошася вси насилиа ради козаков» (стр. 256). Эта картина не показывает в авторе пристрастного благоприятеля козаков, человека, который мирволил им. Мы уверены, что троицкие власти с своим келарем, точно так же, как и «вся Земля», знали и понимали, что у Московского государства было двое врагов, поляки и козаки, и что с теми и с другими надобно было вести почти одинаковые счета, только они, как благоразумные люди, также понимали и то, что нельзя было вести счетов с обоими разом, а следовало сначала окончить счета с одними, чужими, потом уже считаться и с другими, своими.

Может быть, с большим основанием г. Забелин мог догадываться о расположении Палицына к самому Трубецкому. Но чем, в сущности, это доказывается? Тем только, что он нигде не порицает Трубецкого, хотя последний и был достоин

порицания за прежнее служение вору и за потачку Заруцкому. Но ведь Авраамий его особенно и не прославляет. Современники, однако, также не смотрели на Трубецкого такими глазами, какими теперь смотрим на него мы, припоминая все предшествовавшие его деяния. По соединении с Пожарским Трубецкой тотчас же получил первенство, как главный воевода, а земская дума признавала за ним великие заслуги, когда награждала его Вагою. Очевидно, современники забыли его темные деяния, не подозревали его в участии в убийстве Ляпунова, принимали в уважение его долговременное стояние под Москвою. Вообще мы видим здесь то благодушное свойство великорусского характера, который, по пословице: был молодцу не укор, — прощает и забывает дурные поступки за последующие хорошие. Чем же виноватее Авраамий земской думы и своих современников?

В сказании Авраамия много риторства, но у кого же из грамотного люда его не было. Разве меньше риторства в том отрывке, который приводит г. Забелин о Минине, где Минин сравнивается с Гедеоном и Зоровоавелем.

Но мы далеки от того, чтоб доверять безусловно Авраамию. В его рассказах, очевидно, есть легенды, не имеющие за собою объективной истины, хотя все-таки сохраняющие для историка достоинство произведений чувства и воображения современников. Мы согласимся с г. Забелиным, что старец немного и прихвастывает. По крайней мере, в его рассказе о том, как он в день битвы с Ходкевичем уговорил козаков, чувствуется, что если он здесь и не сочинял вовсе, то поставил себя уже слишком на первом месте и дал описываемому событию такое освещение, какого могло бы и не быть, если бы другой очевидец, не пристрастный к личности Авраамия, описывал то же. Но это не более, как чувствуется. Поверить — нечем, и отвергать вовсе также нет основания. Поэтому-то в своем сочинении «Смутное время» я, передавая эти события, счел нужным оттенить его словами: «Если только сказанию, которое передается самим тем, кто здесь играет столь блестящую роль», — и тем самым относил его к ряду таких многочисленных в истории мест, когда чувствуется, что дело происходило не совсем так, как гласит источник, но нет основания сказать, что не могло так происходить, а еще более — нет данных для того, чтобы даже предположить, что оно происходило иначе. Что касается до укоров Пожарскому за медленность, то нам вполне понятно, что троицкие власти с своим келарем были правы, и если бы даже никто из современников не укорял Пожарского за эту медленность, то мы бы все-таки сочли ее делом неуместным, потому что она подвергала опасностям все государство.



## ПОВЕСТЬ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ МОСКВЫ ОТ ПОЛЯКОВ В 1612 ГОДУ И ИЗБРАНИЕ ЦАРЯ МИХАИЛА

Русские и поляки — два народа одноплеменные и соседние, сходные притом во многом между собою и по нравам, и по близости языка, не могли ужиться между собою так, чтобы и у тех, и у других сохранилось свое независимое государство. Завязался такой узел, что либо Русь должна была покорить Польшу, либо Польша — Русь. Испокон века русский край был поделен на земли: в каждой земле держался свой порядок, были отличия в обычаях, но сходства было больше, чем разницы, и оттого все считали себя одним народом. После принятия Христовой веры еще более настало соединения: во всех землях была одна вера, одна церковь, один богослужебный и ученый язык. В землях были свои особые князья, но все русские князья были из одного рода; людям вольно было переходить из одной земли в другую, приобретать в разных землях имения и служить то одному, то другому князю. Над всеми князьями считался один старший и назывался великий князь: он большой власти не имел, но все-таки уважался за главного на все русские земли. Это поддерживало связь. Были на Руси неурядицы, смуты; князь шел на князя, город на город, земля на землю; в середине земель поднимались междоусобства, крупные земли дробились на мелкие; в мелких появлялись свои особые князья, но из одного и того же рода — все это между собою ссорилось, воевало; а тут соседние народы нападали на русский край: с востока, из-за Волги, одно за другим выходили кочевые племена и ломились на Русь; сильнее других были половцы, и страшны они были Руси наипаче тем, что князья сами приводили их на своих недругов, таких же русских князей. Они довели полуденный край — Киевщину и Северщину — до великого разорения, так что люди стали оттуда переселяться все более на северо-восток; на Оку, на Клязьму, на верхнюю половину Волги; там проживали чу-

жеплеменники, не такие воинственные, как половцы, а больше мирные и слабые; русские покорили их себе: они принимали христианскую веру, а вслед затем перераживались<sup>1</sup> совсем в русских. Это были народы племени, которое ученые называют финскотурецким. И теперь есть остатки этого племени и составляют на востоке Русского государства народы, которых обыкновенно называют инородцами, это мокша, мордва, чуваша, черемисы, вотяки, мещеряки. Прежде было их много; были такие народы этого племени, от которых теперь ничего не осталось; таковы мурома, меря, весь и другие. Все они через многие века обрусели, и память их почти потерялась. Так и теперь на наших глазах целые села мордовские делаются совсем русскими, забывают и речь свою, и обычаи отцов своих, и память утрачивается у правнуков о том, каковы были их прадеды. Так и тогда делалось.

Наконец, после того как многие кочевые народы нападали на Русь и опустошали ее, набежали самые страшные, самые многочисленные — татары. Несогласная Русь не могла от них оборониться; вся почти пострадала от их нашествия, принуждена была покориться им и досталась в неволю татарским ханам, которые заложили себе столицу Сарай-город, в низовье Волги на берегу реки Ахтубы. Горькая доля постигла Русь — чужая неволя. Мало того что русские должны были платить дань татарскому хану, татары часто разъезжали по русским городам и своевольствовали, как хотели.

Но, на счастье Руси, татары, во-первых, не истребили христианской веры; во-вторых, их царство не долго было крепким, и лет через сто с небольшим после нашествия татар на русские земли оно совсем расшаталось и начало распадаться на части. Между тем святая вера сберегла силу русского народа, и, когда пора пришла, русский народ показал ее. Татарская неволя хоть и была в свое время тяжела, и без пользы для Руси не осталась: она была для нее, словно обруч для расшатавшейся бочки; земли и княжения не знали над собой крепкой власти, а теперь поневоле должны были признавать одного господина над всеми — татарского хана; все ему должны были платить дань. Но татарские ханы поверяли свою власть и сбор дани со всей Руси русскому старейшему, или великому князю, и оттого власть этого князя стала вырастать и начала зреть на Руси дума, чтоб Русь вся была единою державою, чтоб старейший, или великий князь, был государь, хозяин, владелец целой Руси, чтоб все: и князья, и простые люди — ему

---

<sup>1</sup> Перерождались.

одному повиновались, его одного знали за владыку, чтоб его воля, как Божия воля, уважалась всеми и всех подвигала на дело. Невозможно было Руси выбиться из неволи, невозможно было ей и наперед охранить себя от иноплеменных завоевателей и разорителей до тех пор, пока русский край будет разбит на части и все части не будут знать над собой одной для всех верховной власти.

Лет через сто после нашествия татар, в XIV веке, явились и вырастали на Руси два государства — Москва и Литва, стало два государя — московский и литовский, а прежние земли и княжения с их князьями стали повиноваться — иные Москве, другие Литве. Русь, таким образом, разделилась на две половины. Но трудно было размежеваться этим половинам так, чтоб и той и другой были собственно только ей принадлежащие земли, и одна другой не трогала. И в той, и в другой половине народ был русский. Были, правда, отличия, и немалые, да все не такие, чтоб жившие под Литвою и под Москвою забыли, что они один народ. Вера православная и там и здесь одна, язык церковный один, разговорная речь сходственна. Окраины двух государств то и дело что поступали то к одному, то к другому; а кому из князей, бояр или вообще всякого звания людей не пригоже покажется жить в Московском государстве, тот уезжает в Литовское, а кому в Литовском нехорошо — тот переселяется в Московское. И пошло на то, что Москва и Литва хотели друг друга завоевать.

Но Литва соединилась с Польшею. Сначала это вышло так, что поляки выбирали себе литовских государей одного за другим в короли, а потом, в XVI веке, Польша с Литвою составила одно соединенное государство. Через это Польша втянулась в спор с Москвою. Польша с Литвою стала для Московского государства тем, чем прежде была для него одна Литва, а Московское государство сделалось для Польши тем, чем прежде было для одной Литвы. Как прежде Литва добивалась господствовать над всею Русью, так теперь уже не одна Литва, но с нею и Польша того же добивалась.

Польша, соединившись с Литвою, взяла над нею во всем верх. Польские обычаи и польский язык принимались в Руси, соединенной с Польшею. Самой православной вере угрожала там опасность от господствовавшей в Польше римско-католической веры, особенно когда римские папы, главы римско-католической церкви, домогались уже издавна, и притом неустанно, подчинить своей власти восточную православную церковь. От этого с присоединением новых русских областей к польско-литовской державе должна была и в этих новых об-

ластях делаться, как в старых, коренная перемена — и в обычаях, и в понятиях, и в управлении, и в житейском быту, и в языке, и даже мало-помалу в самой вере. Польша домогалась не только покорить себе Русь, но и ополячить ее. Но против Польши стояло уже твердою стеною Московское государство. Освободившись от татарской неволи, оно быстро выросло, укреплялось и расширялось. Присоединен был к Москве Великий Новгород со всею полуночною страной до Ледовитого моря и до Уральских гор, потом — Псков со своею областью: земли русские, но до того времени много веков сами собою управляемые. Успела Москва отбить у Литвы русские земли — Северщину и Смоленщину; завоеваны были при царе Иване Васильевиче царства Казанское и Астраханское, со всем поволжским низовьем. Стала Москва голосно заявлять, что хочет присоединить к своему государству Киевщину, Волынь, Подоль, Белую Русь — все земли, исстари русские, находившиеся во власти польско-литовской державы. Польша увидела, что приходится ей стараться скорее покорить и присоединить к себе Московское государство, как ей уже удалось сделать это с Литовским, а иначе если Москва еще более усилится, то заберет себе все русские области у Польши, да в борьбе с нею, отнявши Русь и Литву, самую Польшу (без Руси и Литвы несильную) завоюет. Польша стала приискивать средства, как бы овладеть Москвою и ее огромным царством. Сначала поляки думали дойти до этого таким путем, какой им посчастливилось с Литвою: приходилось им, по их обычаю, выбирать себе королей; они пытались не один раз выбрать на свой престол московского государя; потом бы они устроили вечное соединение двух государств. Это не удавалось. В начале XVII века случилось в Московском государстве такое событие, что полякам было на руку. Царствующий в Москве род прекратился. Последний из этого рода государь Федор Иванович, человек слабый и бездетный, еще при жизни своей отдал все правление своему шурину Борису Годунову. Этот последний мог надеяться, что по смерти царя Федора Ивановича выберут его, Бориса, на престол. Но у Федора Ивановича был малолетний брат Димитрий Иванович. Он жил в Угличе. Он был помехою надеждам Бориса. Вдруг он умер скоропостижно насильственной смертью. Народ в Угличе перебил людей, на которых падало подозрение, что они извели московского царевича. Борис послал произвести следствие. На этом следствии вывели, что царевич сам себя заколол ножом в припадке падучей болезни, но в народе осталось подозрение, что Борис приказал тайно убить царевича Димитрия. Много лет спустя после того царь Федор Иванович умер. У Бориса было много

доброжелателей, которых он, бывши при Федоре Ивановиче правителем, расположил к себе разными благодеяниями. Были у него и враги, но они не смели тогда поднять голоса. Бориса выбрали на престол. Тогда стал носиться слух, что царевич Димитрий жив, что его успели спасти от убийц, подменивши другим мальчиком, которого и убили, а царевич где-то проживает в неизвестности. Слух этот мог произойти сам собою. На нашей памяти случалось, что умрет скоропостижно какое-нибудь высокое лицо, в народе начнутся нелепые слухи, но как большого внимания не обращают, то народ поболтает, поболтает да и перестанет. Так было бы и при царе Борисе Годунове, если б этот царь не испугался слуха о Димитрии; а то он вообразил, что ему устраивают втайне что-то дурное; быть может, он и впрямь подозревал, не жив ли Димитрий и не хочет ли отнять у него престол; а может быть, он боялся, что враги его подучают кого-нибудь назваться Димитрием. Так ли он думал или иначе, только он начал доискиваться тайных врагов, приказал хватать людей, отдавать на муки в пытку, резать языки, кидать в тюрьмы, ссылать в пустыни. Таким образом много знатных родов потерпело безвинно, и в том числе семья Романовых, любимая народом. Тяжело стало жить людям: соберутся ли в гости или на улице сойдутся между собою — сейчас подозрение, лихие люди доносят; оговоренных пытаются и мучат ни за что ни про что. Народ, прежде любивший Бориса, стал его ненавидеть за жестокости. Тут, на беду Борису и Русской Земле, наступил ужасный голод, и народ начал думать, что Борисово царство не благословляется Богом; что он царь не законный, а хищник, и через него на всю Русь посылается такая кара. Димитрия меж тем Борис все искал, да не находил; а слух об нем расходился все больше и больше, и узнали об этом в Польше. Был в Польше пан воевода сандомирский Юрий Мнишек, человек хитрый, лукавый; был он в родстве и свойстве с очень знатным и богатым родом князей Вишневецких. Они объявили королю своему Сигизмунду III, что явился царевич Димитрий. Кто был этот бродяга, до сих пор не решено, хотя в Московском государстве и укоренилось, что он был беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Король принял его как царевича, хотя он никакою верного свидетельства не представил. Зато он обещал, что станет вводить в Московском государстве римско-католическую веру и устроит на будущие времена соединение Московского государства с Польшей. Много панов не поверили ему: король не мог довести дела до того, чтоб Польша целым государством повела его на престол, но дозволил панам кому-либо оказать пособие названному царевичу; а как Виш-

невещкие были очень сильны, то составили войско из разных сорванцов, пристали туда запорожские козаки, охотники воевать с кем угодно; и с такою шайкой названный Димитрий вступил в Московское государство. Ему бы, однако, никогда не удалось, если б сами русские не помогли ему. Русские поверили, что к ним идет настоящий Димитрий, думали, что Бог, из милости к Русской стране, чудесно сохранил ее законного государя. Много стало приставать к нему сразу. Жива была мать настоящего Димитрия. Если б ее поставили перед народом и она бы сказала всем, что сын ее подлинно убит и тот, который идет на Москву, ей не сын, то народ бы, конечно, не поверил обману, стал бы грудью за царя Бориса. Но Борис не смел этого сделать; он держал мать в заточении в дальнем монастыре и боялся, что если ее поставить перед народом, так она нарочно из мести за смерть своего сына и за свое горе скажет народу такое, что пойдет не к добру Борису и его роду. Борис умер скоропостижно 13 апреля 1605 года. Сын его Феодор нарекся царем. Но тут все войско, которое воевало против названного Димитрия, под городом Кромами передалось ему. Московские люди низвели Федора Борисовича с престола, а потом 10 июня 1605 г., как говорят, по тайному приказанию названного Димитрия, умертвили вместе с его матерью. Названный Димитрий сел на престол. Мать настоящего Димитрия признала его сыном перед всем народом, из мести к Годунову за убиение ее сына. Названный Димитрий должен был исполнить слово, которое дал в Польше пану Юрию Мнишку, и жениться на дочери его, Марине. По этому поводу Мнишек с дочерью и с роднею в мае 1606 г. приехал в Москву, а с ним прибыло туда тысячи две с лишком поляков. Здесь, во время свадебных праздников, поляки стали вести себя нагло, оскорблять народ, не оказывали должного уважения к вере и русским обычаям. Народ негодовал. Пользуясь этим, бояре составили заговор, заманили в него кое-каких служилых и торговых людей и 17 мая 1606 года возбудили народ бить поляков, разгостившихся в Москве, сами напали на дворец и убили самозванца, называвшего себя Димитрием. Выбрали царем князя Василия Ивановича Шуйского, уверившись, что прежний убитый названный Димитрий был не настоящий Димитрий, а Гришка Отрепьев, дьякон-расстрига, и притом затевал ввести в Московском государстве латинскую веру. Но народ был недоволен тем, что Василий сел на престол неправильно: не вся земля через своих выборных людей избрала его на царство, а прокричали его царем и посадили на престол благоприятели его и нахлебники в Москве. Начались сму-

ты, бунты. Появились бродяги, называвшие себя царскими именами, и волновали народ. В Польше, в доме Мнишка (а сам Мнишек сидел тогда в плену в Ярославле), стали опять творить Димитрия, распространили слух, что тот, который недавно царствовал в Москве этим именем, не убит, а спасся от смерти. Вслед затем в Северщине (нынешняя Черниговская, Орловская и Курская губернии) появился новый вор, назвавший себя Димитрием. Около него столпились поляки, козаки и разные русские бродяги. Стали сдаваться ему города. Он дошел до Москвы и стоял станом в подмосковном селе Тушине целых полтора года, держал столицу в осаде, а взять ее не мог. Другое его полчище стояло под Сергиевым монастырем св. Троицы и также не могло взять монастыря. Тем временем Московское государство пришло в ужаснейший беспорядок. Одни стояли за Димитрия, другие за Василия. Жена первого бродяги, Марина Мнишек, признала нового Димитрия за одно лицо с прежним своим мужем, и это много расположило к нему народ. «Стало быть, — говорили, — он и впрямь тот, кто царствовал и кому мы присягали». Были такие, которые не верили, чтоб он был Димитрий, а стояли за него оттого, что не любили царя Василия и не хотели, чтобы он, неправильно севший на престол, утвердился на нем своим родом. Они хотели через Димитрия свалить с престола Шуйского, а потом извести самого вора, что назывался Димитрием, и выбрать нового царя всею землей. Сперва Димитриева сторона брала верх над Васильевой, но скоро поляки, которые разослали из тушинского стана по разным городам и уездам собирать продовольствие для войска, наделали народу русскому оскорблений и насилий и так его озлобили, что он повсеместно поднялся и стал приставать к Шуйскому. Тогда царь Василий Шуйский пригласил на помощь шведов. Молодой боярин Михайло Васильевич Скопин-Шуйский, человек необычного дарования, вместе со шведами победил поляков и русских воров, которые держались Димитрия, и освободил Троицкий монастырь от осады. Король польский Сигизмунд III поднялся на Московское государство как будто за то, что во время убийства того царя, что назывался Димитрием, в Москве перебили его подданных, поляков.

Сигизмунд осадил Смоленск и послал под Москву, в Тушино, звать к себе тех поляков, которые служили Димитрию. Тогда те московские бояре, что были в Тушине и служили вору, увидали иной способ низложить Василия Шуйского, отстали от вора и заявили, что хотят на московский престол сына Сигизмундова, королевича Владислава.

Вор, называвший себя Димитрием, увидал, что ему плохо, и с козаками 7 января 1610 г. убежал в Калугу. За ним побежала и жена его. Весь тушинский табор разошелся. Москва освободилась от осады.

Но Василию после этого стало не лучше, а хуже. Сигизмунд ухватился за то, что некоторые русские заявили, что хотят на престол сына его Владислава, и намеревался идти на Москву. Боярин Михаил Васильевич Скопин-Шуйский умер скорострельно в Москве 24 апреля 1610 года. Народ прокричал, что его извела невестка царская, жена Васильева брата. Подозревали и самого царя, потому что не любили его и прежде. Летом польское войско пошло к Москве. Выступил против него царский брат Димитрий; но московское войско неохотно шло биться за Шуйских, а иностранцы, которые помогали Шуйскому, изменили во время самого сражения под Клушином. Предводитель, или гетман, польского войска, Жолкевский, победив Димитрия Шуйского, пошел к столице. Тогда в Москве сделался переполох, ждали поляков, а тут на пущую ей беду явился под нее из Калуги с козаками тот вор, что называл себя Димитрием. Тогда, угрожаемые с двух сторон и от поляков, и от вора, москвичи низложили царя Василия с престола; держали промеж себя совет и порешили пригласить на царство польского королевича Владислава. Жолкевский подступил к столице. Здесь бояре на Девичьем поле 17 августа 1610 г. заключили с ним договор на том, чтоб им выбрать на престол королевича Владислава и послать под Смоленск к королю посольство об этом важном деле. Вор был прогнан и через несколько месяцев (10 декабря 1610 г.) был убит в Калуге.

Но оказалось, что Сигизмунд и поляки только обманывали и дурачили русских, показывали вид, что хотят дать на московский престол своего королевича, а у них была совсем иная тайная дума: они хотели покорить себе все Московское государство и присоединить его к Польской державе. Польское войско вошло в Москву под начальством Гонсевского, которого вместо себя поставил в русской столице гетман Жолкевский. Поляки без всякой церемонии стали распоряжаться царскою казною, а бояре, составлявшие верховный совет, только по имени были правителями; в самом же деле должны были поступать так, как поляки прикажут. Под Смоленском посланные туда к королю послы — митрополит ростовский Филарет (бывший боярин Феодор Никитич Романов) да боярин Василий Голицын с товарищами — не могли столковаться с польскими панями; русские послы домогались, чтоб Владислав крестился в греческую веру; поляки на это не соглашались и обходились с послами высокомерно; Сигизмунд требовал, чтоб



ему сдался Смоленск, и, стоя под этим городом, раздавал имения в Московском государстве разным московским людям не от имени сына, которого в цари выбрали, а от имени своего, когда он на то не имел никакого права. Тем временем и поляки, и их русские сторонники в Москве стали открыто говорить, что следует целовать крест не одному Владиславу, а вместе и Владиславу, и отцу его Сигизмунду. Это уже явно показывало, что идет дело вовсе не о том, чтоб Владислав, польский королевич, был на московском престоле, а о том, чтоб все Московское государство признало государем короля польского и таким образом было бы присоединено к Польше. Но все знали, что Сигизмунд был всею душою католик и в своем Польско-Литовском государстве паче всего о том старается, чтоб весь православный народ, ему подвластный, подчинить власти римского папы. Справедливо было опасаться, чтоб и в Московском государстве, если он им овладеет, не началось того же. Тогдашний глава духовенства патриарх Гермоген, как ему и подобало яко верховному пастырю, стал возбуждать народ на защиту веры. Старик он был крутой, суровый, неподатлив ни на какие прельщения. Поляки никак не могли его обойти и обмануть. С самого начала, как послы русские с ними вошли в согласие, Гермоген один им не верил, не терпел латинства, был против выбора Владислава; притихнул было на время, а как польские хитрости стали выдаваться на явь, так начал писать грамоты и призывал православный русский народ на оборону своей веры. Его воззвание кстати пришлось рязанскому воеводе Прокопию Ляпунову. Этот человек уже прежде такую силу приобрел в Рязанской земле, что стоило ему слово сказать — и все за ним пойдут. Человек он был горячий, живой, поспешный, поборник по правде, сам был бесхитростен, оттого очень доверчив; но зато, как только становилось ему заметно, что делается не так, как прежде казалось, он тотчас изменялся. Бориса он не любил за его неправды; когда шел против него первый названный Димитрий, Ляпунов искренно поверил, что явился настоящий царевич русский, и все войско склонил на передачу Димитрию; после смерти названного Димитрия не хотел покориться Шуйскому, сначала пошел на него с его врагами, думал, что царствовавший в Москве под именем Димитрия и впрямь спасся от смерти, но потом, уверясь, что обман, отстал от воров, служил Шуйскому, но только по нужде, затем, что надобно под какое-нибудь начальство стать против смуты; не любил царя Василия, не мог простить ему, что он сел на престол не по закону, не по избранию всей Земли Русской, как следовало; затевал было устроить новое избрание волею всей земли, думал посадить на престол боярина Михаила Скопина-

Шуйского, но это не удалось — Михаил Васильевич Скопин-Шуйский скоро умер, и, когда пошла ходить весть, что его извели, Ляпунов начал возбуждать народ против Василия, послал брата своего Захара в Москву, и при его содействии Шуйского заставили сложить царский венец. Прокопий Ляпунов искренно присягнул Владиславу, думал, что польский королевич примет русскую веру, станет русским человеком и Московское государство усилится, а Польша будет жить с Москвою в дружбе, союзе и согласии, через то, что в одном государстве будет государем отец, а в другом — сын; и оттого Ляпунов скоро привел к присяге всю Рязанскую Землю, велел возить припасы польскому войску, стоящему в Москве; но как только получил Ляпунов от патриарха грамоту да проведаль, что делается под Смоленском, тотчас уразумел, что поляки русских дурачат, написал грамоты и разослал в разные города; писал, что вера в опасности, просил, чтобы везде собирались ополчения и выходили по дороге к Москве, а на дороге ополчения сходились бы вместе, как кому пригоднее по пути, и все бы дружно и единомышленно шли выручать от иноверцев и иноземцев царствующий град и его святыню — Божьи церкви, честные образа и многоцелебные мощи. По голосу Ляпунова поднялась Земля Рязанская; за нею поднялись Нижний Новгород, Кострома, Галич, Вологда, Ярославль, Владимир и другие города. Ляпунов не разбирал людей, лишь бы шли к нему; всех готов был принимать: он одно конечное дело видел впереди и хотел совершить его как можно скорее. Оттого он не пренебрег и козаками. Был козацким атаманом Иван Мартынович Заруцкий: родом он был русин, из Тарнова, в Галиции; служил он прежде второму вору — Димитрию, отстал было от него и пристал к полякам, да увидел, что у поляков не быть ему первым человеком, ушел от гетмана Жолкевского в Калугу опять к вору, а после его смерти, связавшись с его вдовою Мариною, думал волновать Русскую Землю именем ее сына, рожденного недавно от второго вора. Для Заруцкого Московское государство было чужое; ему лишь бы в мутной воде рыбу ловить; козацкая шайка у него была большая, но сбродная; наполовину, если не больше, она состояла из малороссов; а этот народ в те поры еще принадлежал не к Московскому государству, а к Польше, но поляков не любил; оттого в этом деле он был чужой сердцем: ни тем, ни другим добра не хотел, чинил только смуту. Ляпунов вошел в союз с Заруцким, хоть не любил его, как и Заруцкий не любил Ляпунова.

Русские ополчения собрались очень скоро. В январе 1611 г. Ляпунов разослал свои грамоты, а в марте уже со всех сторон шла народная сила на Москву выгонять поля-

ков. Тогда поляки увидали, что им беда, в ополчении могли быть против них десятки тысяч народа, а их в Москве каких-нибудь тысяч шесть, а как придут ополченцы, так московские жители, разумеется, станут помогать своим, — и весь город поднимется. И вот поляки, спасая себя от гибели, как услыхали, что Ляпунов и прочие предводители ополчений были близко, во вторник на страстной неделе, марта 19-го, начали бить русских и выгонять из Китай-города; и так погибло народу обоего пола и разного возраста тысяч до восьми; а потом поляки зажгли Москву со всех сторон, только Кремль и Китай-город не жгли. Русские ополчения прибыли к столице, когда в ней торчали только обгорелые каменные церкви, да погреба, да печки (жилые строения в те поры были все почти деревянные). Русские обложили Москву и держали поляков в осаде месяца четыре, но взять их не могли, оттого что в лагере у русских пошла безладница. Заруцкий спорил с Ляпуновым. На стороне Заруцкого козаки, на стороне Ляпунова земские люди — спорили меж собою. Ляпунов приказывает так, а Заруцкий наперекор ему иначе. Козаки своевольничали, бесчинствовали. Ляпунов их за это наказывал. Козаки волновались. Проведали про это поляки и воспользовались несогласием своих врагов. Они составили фальшивое письмо, как будто бы от Ляпунова, а в том письме говорилось, что лишь бы только Москву взять, а потом козаков всех надобно перевести; поляки так ловко подписались под руку Ляпунова, что никак распознать нельзя было. Это письмо нарочно было пущено меж козаками. Потребовали Ляпунова в козацкий круг к ответу. Тот, как ничего за собой не знал, то и пришел. «Ты это писал?» — спрашивали его. Ляпунов сказал: «Рука совсем моя, только я этого не писал». «Врешь! — кричали козаки. — Писал!» И кинулись на него с саблями. Тогда был там дворянин Ржевский; он был недруг Ляпунову, но человек правдивый. Вместо того чтобы обрадоваться беде своего недруга, он кинулся к козакам и стал кричать: «Прокопий не виноват!» Но козаки не послушались его, изрубили Ляпунова, а потом изрубили и Ржевского за то, что стоял за Ляпунова.

После смерти Ляпунова козаки стали стеснять и обижать земских людей и довели их до того, что большая часть их убежала. Эти убежавшие служилые люди, а также и крестьяне составляли шайки, ходили по окрестностям, нападали на поляков, которые собирали продовольствие по краю, и мешали сообщению с теми, которые сидели в тюрьме и Китай-городе. Таких называли шишами. Козаки про-

должали стоять под Москвою табором. Для вида над всем войском был главным князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой, человек знатного рода, но всем заправлял Заруцкий: он хотел быть господином Русской Земли, раздавал самовольно и отбирал имения.

Под Смоленском как услыхали поляки, что Русская Земля поднялась, стали стеснять послов, подозревали, что они сносятся с своими земляками, которые восстали, а потом, разгневавшись на их упорство и что они не хотели ни за что отступаться от того, с чем их послала вся земля, посадили в лодки и как пленников отправили в Польшу. Потом они решились во что бы то ни стало взять Смоленск. Уже близ двух лет стояли они под этой крепостью и не могли взять — им было стыдно. Смоленск защищал тогда храбрый боярин Михайло Борисович Шеин, не поддавался ни на какие предложения и отбивал много раз приступы. Наконец, 2 июня 1611 года, поляки взяли Смоленск дружным приступом. Русские, как ворвались к ним, до того ожесточились, что жгли свой город, чтобы ничто не доставалось полякам, и сами бросались в огонь.

После взятия Смоленска король с панами отправились в Варшаву и туда повезли пленного царя Василия Шуйского с братьями. Поляки ради того устроили праздник, заставили пленного московского государя при всех сенаторах кланяться польскому королю, тешились унижением Москвы, веселились своими победами и думали, что уж теперь они навсегда покорили русский народ.

На пушью беду Русской Земле шведы взяли Новгород: они придрались к тому, что им не выплачены были деньги, которые им следовало получать на жалованье войску, помогавшему царю Василию; но главное, зачем тогда шведы напали на Новгород, было то, что им было страшно допустить Московское государство попасть под власть Польши. Польский король Сигизмунд был наследственный шведский король; но, когда он жил в Польше, Швецию отдал своему дяде в управление, а дядя сам сделался королем. Когда бы Сигизмунду удалось покорить Московское государство, тотчас бы, усилившись через это, мог расправиться с дядей. Да и без того для Швеции было опасно допустить поляков так широко раскинуться. Поэтому шведы поспешили захватить себе часть России; и Новгород, после того, как будто добровольно просил государем шведского королевича и обещал стараться, чтобы этого королевича остальные части России признали царем.

В Пскове явился новый вор и назвался Димитрием, как будто в третий уже раз спасенным от смерти. Псков с при-

городами признал его за царя. С полудня набегали на русские земли татары. На востоке взбунтовалась черемиса. Повсюду ходили шайки разбойников разного происхождения и звания, а больше черкасы, т. е. малороссы. Московское государство, казалось, дошло до последнего конца.

В это время выступил на дело спасения Руси Дионисий, архимандрит Троицко-Сергиева монастыря. Был он прежде священником, потом пошел в монахи, сделан игуменом Пафнутьева Боровского монастыря, а потом выбран был братиею Троицко-Сергиева монастыря в архимандриты. Принявши этот сан, Дионисий тотчас отличился делами милосердия. Тогда везде около Москвы поляки ходили по русским селениям и мучили народ. В монастырь приходили мученные крестьяне: у иных волосы были опалены, у других полосы со спины содраны, у иных глаза высверлены или выпечены. Дионисий устроил для них больницы, где некоторые выздоравливали, а другие умирали и удостоивались христианского погребения. Кроме того, Дионисий посылал монахов и служек собирать мертвые тела: много было таких, что умирали под муками в лесах и на полях; иные окоченевали от холода, после того как солдаты польские сжигали их деревни. Посланные Дионисием привозили их тела в монастырь и там хоронили. Злодействовали тогда не одни поляки: в польском войске было чуть не наполовину немцев; тогда в Польше было войско наемное; кто хотел, тот и вступал на службу ради жалованья. Кроме польских солдат, бесчинствовали и черкасы, и свои русские из Московского государства воры. Власти не было, оттого в русском народе настала большая распущенность. К св. Сергию Чудотворцу всегда стекалось множество народа. Дионисий составил грамоту, посадил у себя в келье переписчиков, приготовил таким образом много списков и разослал их в разные стороны с людьми, приходившими в обитель. С ним трудился тогда келарь Авраамий Палицын, известный еще и тем, что составил описание печальных событий, происходивших на Русской Земле в его время, и особенно осады Троицко-Сергиева монастыря. Авраамий происходил из знатного рода; вступивши в монашество, получил он должность келаря в Троицко-Сергиевском монастыре и в этой должности отправился с другими духовными лицами при митрополите Филарете в посольство к польскому королю под Смоленск, но, как увидел, что из этого посольства ничего доброго не выйдет, а рано ли; поздно поляки отошлют его в плен, рассудил, что лучше пораньше убраться и работать для своей земли, а потому прикинулся расположенным к королю Сигизмунду, получил от него жалованную грамоту и выбрался из-под

Смоленска и, вместо того, чтобы служить врагам, служил своему народу. В грамоте, разосланной из Троицко-Сергиева монастыря, было так, между прочим, написано:

«Сами видите близкую конечную погибель всех христиан. Где только завладели литовские люди, в каких городах, какое разорение учинилось Московскому государству. Где святая церковь? Где Божии образа? Где иноки, цветущие многолетними синами, где и хорошо украшенные добродетелями? Не все ли до конца разорено и обречено злым поруганиям? Где народ общий христианский? Не все ли скончались лютою и горькою смертию? Где бесчисленное множество христианских чад в городах и селах? Не все ли без милости пострадали и разведены в плен? Не пощадили престаревших возрастом, не устрашили седины многолетних старцев, не сжалились над сущими млеко незлобивыми младенцами. Не все ли испили чашу ярости и гнева Божия? Помяните и смилуйтесь над видимою нашею смертною погибелью, чтоб и вас не постигла такая лютая смерть. Бога ради, положите подвиг своего страдания, чтоб вам и всему общему народу, всем православным христианам, быть в соединении, и служилые люди, однолично, без всякого мешканья, поспешили под Москву на сход, ко всем боярам и воеводам, ко всему смиренству народа всего православного христианства. Сами знаете: ко всему делу едино время надлежит; безвременное же начинание всякому делу бывает суетно и бездельно. А если есть в ваших пределах какое-нибудь недоволье, Бога ради, отложите на это время, чтоб вам всем с ними заодно получить подвиг свой и страдать за избавление православной христианской веры, покамест они (т. е. враги) в долгом времени, гладным утеснением, боярам и воеводам и всем ратным людям какой-нибудь поруки не учинили. И если мы совокупленным единоголосным молением прибегнем ко всещедрому Богу и ко Пречистой Богородице, заступнице вечной рода христианского, и ко всем святым, от века Богу угодившим, и обще обещаем сотворить подвиг и пострадать до смерти за православную христианскую веру, неотложно милостивый Владыко целовеколюбец отвратит праведный гнев свой и избавит нашедшей лютой смерти и вечного порабощения безбожного латинского. Смилуйтесь и умилитесь незакосненно, сотворите дело сие, избавления ради христианского народа, ратными людьми помогите, чтоб ныне под Москвою скудости ради, утешением не учинилось какой-нибудь поруки боярам, и воеводам, и всяким воинским людям. О том много и слезно всем народом христианским вам челом бьем».

Такая грамота прислана была в Нижний Новгород в октябре 1611 года. Был там воевода Алябьев, человек дельный и основательный. Он с товарищем своим Репниным созвал к себе на воеводский двор старейших людей из города. Пришли туда Печерского монастыря архимандрит Феодор, протопоп соборный Савва, попы, дьяконы, дворяне, дети боярские и старосты посадские, а в числе старост был Кузьма Захарьевич Минин-Сухорук. Был он ремеслом говядарь — торговец скотом. Прежде он служил в ратной службе у воеводы Алябьева и маленько спознался с ратным делом. Этот староста Кузьма Захарьевич сказал тогда миру такое слово:

«Вот прислана грамота из Троицко-Сергиева монастыря; прикажите прочитать ее в церкви народу. А там что Бог даст. Мне было видение: явился св. Сергий и сказал мне, разбуди спящих».

На другой день после того зазвонили в большой колокол у св. Спаса.

Сошлись люди у св. Спаса. Отслужили обедню. После обедни взошел на амвон протопоп Савва и сказал:

«Православные христиане! Господа братия! Горе нам! Пришли дни конечной гибели нашей. Пропадает наше Московское государство! Гибнет и вера православная. Горе нам! Лютое обстояние. Польские и литовские люди в нечестивом совете между собою умыслили разорить Московское государство, искоренить истинную веру Христову и водворить латинскую многопрелестную ересь. Как нам не плакать? Горе и нам, и женам, и детям нашим. Еретики разорили достославный богохранимый град царствующий Москву и предали всеядному огню чад ее. Что нам делать? Не утвердиться ли нам на единении и не постоять ли за чистую и непорочную веру Христову и за святую соборную церковь Богородицы Ее честного Успения и за многоцелебные мощи московских чудотворцев. А вот, православные христиане, и грамота из Троицко-Сергиева монастыря от архимандрита Дионисия с братиею».

Грамоту читали. Тогда в народе послышались жалостные стоны. Говорили люди со слезами: «Горе нам! Беда нам! Погибла Москва, царствующий град. Погибнет все наше Московское государство!»

Вышел народ из собора и столпился подле церкви. Тут староста Кузьма Захарьевич Минин-Сухорук стал говорить к миру и сказал громко:

«Православные люди! Коли нам похотеть подать помощь Московскому государству — не пожалеем животов наших, да не токма животов, дворы свои продадим, жен,

детей в кабалу отдадим; будем бить челом, чтоб шли заступиться за истинную веру и был бы у нас начальный человек. Дело великое мы совершим, если нам Бог благословит, слава будет нам от всей Земли Русской, что от такого малого города произойдет такое великое дело. Я знаю, только мы на это дело подвигнемся, — многие города к нам пристанут и мы вместе с ними дружно отобьемся от иноземцев».

Нижегородцам любя эта речь показалась. Все как бы в один голос дали свое согласие и, приступивши к Минину, говорили:

«Ты, Кузьма Захарьевич, будешь старшой человек. Отдаемся тебе на всю твою волю».

Стали потом думать, кого бы из бояр выбрать им начальным человеком ратной силы. Нужно было такого, чтоб имел смысл в ратном деле, да и в измене Земле Русской и ни в каком дурном деле не объявился. Не найти было такого с первого раза. Много бояр осрамили себя в прошлые годы: одни — тем, что приставали к ведомому вору, который назывался в другой раз Димитрием; другие — кланялись полякам и держали их сторону; теперь иные из них хоть и раскаялись, увидевши въявь, что поляки русских только обманывают, да народ им не верил; притом важнейшие бояре сидели в Кремле, а хоть бы который из них хотел пристать к своим, поляки бы его не пустили из Кремля. Вспомнили князя Димитрия Михайловича Пожарского. В прежние времена он не стоял на виду, но и не делал никакой неправды; не бывал он в воровских шайках, не просил милостей у польского короля. Как только покойный Прокопий Петрович Ляпунов поднялся против польской власти, князь Димитрий Михайлович Пожарский был из первых, которые стали с ним заодно. Он был первый, который с передовым отрядом вошел в Москву в то самое время, как поляки зажгли ее. Он бился с ними на Лубянке под Введением; его увезли раненого, и с тех пор он сидел в своей деревне, за сто двадцать верст от Нижнего Новгорода, и тогда чуть оправился от ран. К нему приехали печерский архимандрит Феодосий и дворянин Ждан Болтин, а с ними несколько посадских. Они просили его от всего Нижнего Новгорода постоять за Землю Русскую и принять начальство над ополчением.

Князь Пожарский сказал:

«Я рад за православную веру пострадать до смерти, а вы изберите из посадских людей такого человека, чтоб ему в мочь и за обычай было со мною быть у нашего великого дела — ведал бы он казну на жалованье ратным людям».



Стали думать посланцы, кто бы мог быть такой у них пригодным, но князь Пожарский не дал им додуматься и сказал:

«У вас в городе есть такой человек, Кузьма Захарьевич Минин-Сухорук, человек он бывалый; его на такое дело станет». Посланцы воротились в Нижний и рассказали на сходке, что им отвечал князь Димитрий Михайлович. Тогда весь мир приступил к Кузьме Захарьевичу Минину-Сухоруку; стали просить, чтоб он был у великого дела, собирал бы казну и заведовал ею.

Минин Сухорук отговаривался не оттого, чтоб он в самом деле не хотел на себя принимать важного дела, а затем, чтоб его поболее попросили, и он как будто поневоле согласился угодить миру, чтобы его потом слушали, а не станут слушать, так он бы мог им говорить: «Я ведь не хотел этой чести и власти: вы меня приневолили всем миром; так теперь я имею над вами власть. И круто вас поверну, коли захочу».

За этим-то Минин-Сухорук не решался долго-долго, а напоследок согласился: сейчас же велел написать мирской приговор на свой выбор, посадским людям приложить к нему руки и тотчас после того отправил его к князю Димитрию Михайловичу Пожарскому. Это он сделал затем, чтобы нижегородцы не одумались и не переменили своей воли. Скоро увидели нижегородцы, что Кузьма Захарьевич Минин-Сухорук им тяжел. Он устроил оценщиков, велел ценить у всех дворы, скот, имущество и от всего брал пятую часть, а у кого не было денег, у того продавал имущество. Не давал он спуска ни попам, ни монастырям, ни богатым, ни бедным. Иных самих с женами и детьми в кабалу отдавали. Положили, чтоб никто не остался, не давши своей доли для общего дела. Были примеры, что иные давали добровольно и более чем следовало. Одна богатая вдовица копила много лет деньги и скопила 12 000 руб. и отдала из них 10 000.

Приехал князь Пожарский. Тогда написали грамоту от него и от всех нижегородцев: и духовного и мирского чина людей, и больших и малых. Эту грамоту послали в списках по городам с гонцами: в Кострому, Вологду, Казань, Ярославль, Углич, Белоозеро, Владимир, Рязань и в другие во многие. Как только эта грамота приходила в какой-нибудь город, воеводы посылали бирючей (т. е. рассыльщиков) собирать в город людей. Приказывали прочитать грамоту в соборной церкви, потом народ собирался на сходку. Там постановляли миром взять такую-то деньги со всех по раз-

верстке (т. е. такую-то часть с оценки имуществ), составить ополчение, назначили, когда ему выходить и куда идти, кому оставаться беречь город, готовили порох и оружие, а бабы пекли сухари и приготавливали сухое толокно в поход ратным людям. Скоро стали приходить в Нижний ратные люди из соседних городов. Пожарский устраивал на свой счет кормы, а Минин раздавал им жалованье по статьям, кто чего был достоин по своей службе: дворяне и дети боярские, у которых были поместья, отказались от денежного жалованья, а раздавалось жалованье козакам и стрельцам. Когда уже в Нижний пришло довольно войска, Пожарский с Мининым вышел из Нижнего и прибыл в Ярославль. Патриарха Гермогена не было уже на свете. Когда в Москву дошла весть о том, что в Нижнем составляется ополчение, поляки приступили к Гермогену и требовали, чтоб он написал в Нижний и велел распустить ополчение и остаться верными присяге, данной Владиславу. Гермоген отвечал: «Да будет над ними милость Господа Бога, а от нашего смирения благословение, а на изменников излиется от Бога гнев, и будут они от нашего смирения прокляты в сем веке и в будущем». За это патриарха стали содержать в большей тесноте и томить голодом. Он скончался в Чудовом монастыре 17 февраля 1612 года, как говорили, от голода.

Пожарский простоял в Ярославле с марта до половины месяца августа. Были многие причины этой долгой стоянки. Надобно было подождать, пока подойдут из городов ополчения и пришлют казны; надобно было узнавать и поразведывать, что делается в Польше и какие силы может против нас выдвинуть польский король, кроме того, Новгород договорился со шведами принимать шведского королевича, и Пожарскому надобно было обезопасить себя от шведов, чтобы они на него не пошли войною принуждать Московское государство брать на царство шведского королевича. Для этого Пожарский посылал в Новгород к шведам согласие и обещание, что как только русские покончат с поляками, так и станут выбирать в цари шведского королевича, а на уме у Пожарского и у всех русских было другое: они натерпелись вдоволь от иноземцев, ни за что не захотели бы никакого чужого государского сына в цари себе, а думали выбрать на престол кого-нибудь из своих боярских родов. Для этого Пожарский из Ярославля писал по городам Русской Земли, чтоб земство везде выбирало из чинов всех званий по два человека выборных и чтоб эти выборные приезжали в Ярославль и составили около Пожарского земскую думу, и подумали бы вместе, как и кого

выбирать в государи. И оттого еще долго стоял Пожарский в Ярославле, что у него в ополчении сделалась большая неурядица; как съехались к нему бояре и дворяне, так вместо того чтоб всем быть в совете, они только ссорились меж собою: один хотел быть выше другого, а глядя на них, и те служилые люди, что были ниже их по чинам, не повиновались начальству и своевольствовали, а Пожарский был человек не такой, чтоб все его боялись, и не умел их держать в грозе и в порядке. Ничего с ними не сделавши, он вызвал из Троицко-Сергиева монастыря бывшего митрополита ростовского Кирилла, который у Троицы жил на покое. Тот своими пастырскими словами с трудом мог завести какой-нибудь лад, по крайней мере его уважали; было постановлено, что кто с кем поссорится, обе стороны должны идти судиться к митрополиту, и как митрополит порешит и рассудит, так тому и быть.

Под Москвой тем временем все по-прежнему стояло козацкое войско. Князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой хотел быть заодно с князем Пожарским; он хоть и служил вору, и потом хоть и потакал козакам, а все-таки был человек Московского государства и хотел добра своему народу. Заруцкий, не смея явно показать, что он недруг Пожарскому и земским людям, должен был прикинуться, что радуется приходу новой силы, и вместе с Трубецким послал от себя к Пожарскому звать его под Москву, а меж тем подослал злодеев убить Пожарского. Случилось в Ярославле, когда князь Димитрий Михайлович Пожарский осматривал пушки и рассуждал, какие взять с собой под Москву, а какие оставить, злодеи подкрались к нему посреди народа, стоявшего кругом князя, и один хотел ударить его ножом в живот, да не попал и ударил в ногу своему товарищу. Тут их перехватили; они во всем сознались; народ хотел их разорвать, но Пожарский велел их только послать в тюрьму; может быть, он сохранил для того, чтоб ими уличить Заруцкого.

После этого Заруцкий, видя, что ему нет удачи, а Пожарский скоро придет, убежал ночью из-под Москвы, взявши с собой и Марину с сыном. За ним пошла толпа самых завязтых козаков.

Вышедши из Ярославля, Пожарский шел через Ростов и Переяславль. Тамошние люди пристали к нему. Он остановился у Троицко-Сергиева монастыря. Здесь вся его ратная сила поставлена была на горе Волкуше. Архимандрит Дионисий со всею братиею служил молебствие, освящал воду, все войско окропил св. водою. Молили Бога, чтоб даровал победу православному воинству над иноверцами.

23 августа подошло ополчение к Москве. Трубецкой сначала просил соединиться с ним в один стан, но земские люди не согласились: они не доверяли козакам, помнили, как они извели Ляпунова и как потом ругались над земскими людьми. Одни с другими никак не могли сойтись и быть в единомыслии, хоть и сражались против общего врага. Козаки, признавая начальство князя Димитрия Тимофеевича Трубецкого, стояли на реке Яузе, а земские с князем Димитрием Михайловичем Пожарским вправо от них — у Арбатских ворот.

Через день после прибытия Пожарского появился под Москвою гетман Ходкевич. За ним шли ряды возов, числом четыреста, с запасами, которые надобно было провезти в Кремль или Китай-город.

Ходкевич стал переходить через Москву-реку на Девичье поле и хотел, переправившись, поворотить направо, пробиться через Белый город и провезти запасы в Кремль. Русские его отбили.

На другой день после того, утром рано, Ходкевич поставил свои возы с запасами в порядок и велел с ними войску идти напролом. Пошли от Донского монастыря по Замоскворечью и думали пробраться к Москве-реке, перейти ее и ввезти в Китай-город. Им тут мешали козацкие острожки да рвы, да окопы, да накиданные кучи щебня: нельзя было двигаться с лошадьми, и поляки потащили возы сами. Как дошли они до церкви Климента святого на Пятницкой улице, тут у них завязался жестокий бой с козаками. В это время козаки завоновались, видели, что с другой стороны земские люди им не помогают, и стали кричать: «Что ж это? Дворяне да дети боярские только смотрят на нас, как мы бьемся да кровь за них проливаем! Они и одеты, и обуты, и накормлены, а мы и голы, и босы, и холодны. Не хотим за них биться».

Тут прибежал к ним келарь Авраамий Палицын и стал уговаривать. «Храбрые, славные козаки, — говорил он им, — от вас началось доброе дело; вам вся слава и честь, вы первые перетерпели и голод, и холод, и наготу, и раны. Слава о вашей храбрости гремит в далеких землях, на вас вся надежда. Неужели, милые братцы, вы погубите все дело!» Эта речь старца Авраамия Палицына так их привела в чувство, что все закричали: «Хотим помирать за православную веру! Иди, отче, к нашим в таборы. Умоли их всех идти с нами на неверных!» Палицын перешел назад через реку, пошел в табор к реке Яузе и там застал атаманов, которые пили вино, играли в карты да песни пели. Палицын проговорил им такое горячее слово, что все бросились

и кричали: «Пойдем, пойдем, не воротимся назад, пока не истресбим вконец поляков».

«Вот вам ясак! — сказал Палицын. — Кричите: Сергисв! Сергисв! Чудотворец поможет. Вы узрите славу Божию».

Весь табор козацкий поднялся, одни в богатых, золотом шитых, зипунах, другие, босые и оборванные, кидались за Москву-реку и кричали: «Сергиев! Сергиев!»

Тогда Минин сказал Пожарскому: «Князь, дай мне войска, я пойду».

«Бери, сколько хочешь!» — сказал ему князь Димитрий Михайлович Пожарский.

Минин взял с собой людей, перешел реку, ударил на поляков у Крымского двора и сбил их. Тем временем завязался свирепый бой у козаков на Пятницкой улице. Козаки так призывали имя св. Сергия, что их крик покрывал ружейные выстрелы. Наконец, поляки не выдержали, подались и побежали; казаки отрезали у них и потащили к себе чстыреста возов с запасами. Ходкевич увидел, что все у него пропало, с чем пришел, и приказал протрубить своим, чтоб уходили к Воробьевым горам. Козаки хотели было преследовать, но воеводы запретили и говорили: «Довольно! Двух радостей в один день не бывает! Как бы после радостей да горя не отведают!»

После этой неудачи ничего не оставалось Ходкевичу, как удалиться от столицы: продовольствия не было ни для тех, что в Кремле сидели, ни для его собственного войска; надобно было идти или по Московской Земле собирать его снова, или уходить совсем из Московской Земли. 28 августа Ходкевич отошел от Москвы, но, отходя, все-таки успел дать знать осажденным землякам, что воротится скоро, да еще уверял, что король придет скоро. Ходкевич ушел к Вязьме, послал отряды собирать запасы, а сам дожидался своего короля, который в самом деле тогда уже собирался в поход.

Освободившись от литовского войска, русские обступили Китай-город и Кремль. Выкопали глубокий ров, заплели плетень в две стены и между стенами его насыпали земли. В трех местах построили деревянные высокие туры и на них поставили орудия, из которых палили в город. Трубецкой и Пожарский до тех пор стояли разными станами, косились друг на друга; Пожарский остерегался козаков и самого их предводителя, но после ухода Ходкевича оба во-сначала помирлись и, хотя не стали жить в одном таборе, но каждый день съезжались для совета на Трубе. Козаки опять было забурили, начали требовать большего

жалованья и грозили уйти прочь, да еще похвалялись ограбить земских. Дать им жалованье следовало, да казны не доставало. Хоть изо всех городов и земель русских и присылали деньги, но вся Русь была так разорена и до того обнищала, что никакими способами нельзя было из нее выжать многого. Чтоб чем-нибудь успокоить козаков, келарь Авраамий привез им из Троицко-Сергиева монастыря в залог церковные облачения, шитые золотом и вышитые жемчугом. Но козаки, как прослушали грамоту от монастыря, которую им привез Авраамий вместе с облачениями, до того пришли в умиление, что не взяли залога. «Всякие многие беды перетерпим, — говорили они, — а, не отнявши у врагов Москвы, не отойдем».

15 сентября Пожарский послал к полякам письмо. «Ваш гетман, — писал он, — далеко: он ушел в Смоленск и к вам не воротится скоро, а вы пропадете с голоду. Королю вашему не до вас теперь: на ваши границы турок напал, да и в государстве вашем нестроение. Не губите напрасно душ своих за неправду вашего короля. Сдайтесь! Кто из вас захочет служить у нас, мы тому жалованье положим по его достоинству, а кто захочет в свою землю идти, тех отпустим, да еще и подмогу дадим».

Но тогда над поляками, вместо Гонсевского, который уже уехал домой, начальствовал пан Николай Струсь, человек храбрый, упрямый и заносчивый. Он обнадеживал своих земляков, что вот скоро прибудет к Москве сам король. По его наущению, польские полковники отвечали Пожарскому бранными словами. «Вы, — писали, — москвитяне — самый подлейший в свете народ, похожи на сурков: только в ямах умеете прятаться; а мы такие храбрецы, что вам никогда не одолеть нас. Мы не закрываем перед вами стен, берите их, коли вам надобно. Вот король придет, так он покарает вас, а тебя, архибунтовщик Пожарский, паче всех».

Прошел сентябрь — помощи не было. Поляки все поджидали то короля, то гетмана. Не приходил к ним ни тот ни другой, и слуха к ним не доходило ни от того ни от другого. Наступил нестерпимый голод. Переевши всех своих лошадей, стали есть собак, мышей, крыс; грызли разваренную кожу с сапог, принялись за человеческие тела. Кто умирал, на того голодные бросались и пожирали его; кто посильнее, тот повалит слабого и грызет. Русские, узнавши, что неприятель их в таком ужасном положении, стали стеснять их покрепче и 22 октября сделали сильный приступ на Китай-город. Голодные поляки не могли оборонять-

ся, покинули Китай-город и заперлись в Кремле. Пожарский и Трубецкой вошли в Китай-город с иконою Казанской Бѳгородицы, которая находилась в русском стане, и тогда же дали обещание построить в память сего дня церковь во имя иконы Пресвятой Богородицы Казанской, которая и была потом построена и стоит до сих пор. Первое, что увидели русские в Китай-городе, были чаны с человеческим мясом.

Взявши Китай-город, русские окружили Кремль, но уже поляки не думали защищаться. Сперва они выпустили русских боярынь и дворянок с детьми. А на другой день прислали просить милости и пощады, сдавались военнопленными, вымаливали себе только жизнь. Пожарский дал от себя обещание, что ни один пленник не погибнет от меча.

24 октября поляки отворили Троицкие ворота на Неглинную и стали выпускать сначала бояр и дворян. Князь Мстиславский, старший по роду из бояр, составлявших совет, шел впереди всех. Жаль было смотреть на них. Они стали толпою на мосту: не решались двигаться далее. Козаки подняли страшный шум и крик. «Это изменники! Предатели! — кричали козаки. — Их надобно всех перебить, а животы их поделить на войско!» Но дворяне и дети боярские готовились стать грудью за своих земляков, которые не столько по охоте, сколько поневоле должны были служить врагам. Уже между земскими и козаками началась сильная перебранка, почти до драки. Бедные бояре все стояли на мосту и ждали своей участи. Но не дошло до драки. Козаки пошумели, пошумели и отошли. Пожарский и прочие бояре и дворяне с ним приняли честно своих земляков и привели в свой стан. Но им нельзя было оставаться в Москве. Многие забрали свои семьи да уехали и сидели преимущественно по монастырям.

На другой день, 25 октября, русские вступили в Кремль с торжеством. Земское войско собралось возле церкви Иоанна Милостивого, на Арбате, а войско Трубецкого за Покровскими воротами. С двух этих концов пошли архимандриты, игумены, священники с крестами, иконами и хоругвями; за ними двигались войска. Оба крестные хода сошлись в Китай-городе на Лобном месте. Впереди духовенства был архимандрит Дионисий, приехавший из своей обители нарочно для такого великого торжества веры и Земли Русской. Из ворот, которые теперь называются Спасскими, а тогда назывались Фроловскими, вышло духовенство, сидевшее в Кремле, с галасунским архиепископом Арсением. Духовенство вошло в Кремль, за ним посыпала

туда ратная сила, и в Успенском соборе служили благодарственный молебен об избавлении царствующего града.

И в Кремле, как и в Китай-городе, русские увидели чаны с человеческим мясом. Они слышали стоны и проклятия умиравших от голода поляков и служивших в польском войске немцев. Все побросали оружие и стояли безмолвно, ожидая своей участи. Начальника их, Струся, тотчас заперли в Чудовом монастыре. Все имущество поляков взято в казну; отбором распоряжался Минин. Все это отдали козакам в счет жалованья. Пленников послали в таборы и поделили. Одну половину взял Пожарский в земский стан, другую — погнали в козацкий. Козаки не слишком уважали договор и почти всех перебили. Те, которые достались Пожарскому, остались целы. Их погнали в разные города. В Нижнем Новгороде народ хотел перебить пленников; и, когда воеводы стали не давать их, народ до того разозлился, что чуть было самим воеводам не досталось. Насилу мать Пожарского уговорила нижегородцев.

Освободивши Москву от поляков, русские должны были отделаться от короля, который наконец вступил в Московское государство, когда его подданные погибали в Москве от голода. Он оттого медлил, что у него войска не было, да и денег ему не давали много поляки на эту войну. И теперь он шел с небольшим войском, да зато вез с собой сына своего Владислава, избранного московскими боярами в цари. Он надеялся, что московские люди как увидят, что им везут того, кого они согласились посадить на престол, то и переменятся, и станут послушны королю, и тогда можно будет взять их в неволю. Но не так было. Люди Московского государства не хотели ни Владислава, ни другого какого бы то ни было королевича из чужой стороны. Им уже омерзели все иноземцы, а поляки наипаче. Король остановился под городом Волоком-Ламским<sup>1</sup> и оттуда послал к Москве отряд и с ним двух русских для переговоров. Но воеводы под Москвою разговаривать об этом не хотели и объявили, что Земля Московская не желает Владислава и готова биться с королем. Сигизмунд, постоявши под Волоком-Ламским, расчел, что с малым войском нельзя ему отважиться идти под Москву, а тут зима настала. Он повернул домой вместе со своим сыном. И досадно, и срамно ему было.

И шведам был от московских людей такой же неприятный ответ, как полякам. Шведы, услышав, что русские очистили столицу от неприятеля и хотят выбирать себе

---

<sup>1</sup> Волоколамск.



государя, прислали к воеводам напомнить, что они прежде были не прочь от того, чтобы на своем престоле посадить шведского королевича. Русские на это им сказали: «Мы затем с вами так говорили, чтоб вы нам не мешали расправиться с поляками; а теперь, как мы их из столицы прогнали, так мы и с вами, шведами, готовы биться, а королевича не хотим».

По грамотам, разосланным по всем городам, стали в Москву съезжаться выборные люди для избрания нового государя. Все с первого раза приговорили из чужеземцев не выбирать никого, а выбирать из своих бояр. Казалось, толковать было не о чем. Уж наперед можно было видеть, кого выберут. Не было тогда никого милее народу русскому, как род Романовых. Уж издавна он был в любви народной. Была добрая память о первой супруге царя Ивана Васильевича, Анастасии, которую народ за ее добродетели почитал чуть не святою. Помнили и не забыли ее доброго брата Никиту Романовича и соболезновали о его детях, которых Борис Годунов перемучил и перетомил. Уважали митрополита Филарета, бывшего боярина Федора Никитича, который находился в плену в Польше и казался русским истинным мучеником за правое дело. Был у него шестнадцатилетний сын Михаил; вместе с матерью, именем Марфою (постриженною насильно Борисом, как и ее муж), и дядею Иваном он сидел в Кремле с прочими боярами, когда поляки владели столицею. Еще когда только Шуйского низложили с престола, многие желали его посадить, но он был тогда еще мал, да, главное, поляки помешали, навязав Москве Владислава. Теперь, как только стали говорить и толковать о царском выборе, сразу заговорили о Михаиле Романове. Но были у него противники. Некоторые бояре хотели себе власти и нарочно тянули выбор, а сами засылали к выборным людям, чтоб расположить их в свою пользу. Это было напрасно. Не выборные люди, а служилые и земские, и козаки написали челобитные, что вся земля хочет Михаила Романова и подали троицкому келарю Авраамии, чтоб он их желание показал выборной думе. Тут же, кстати, пришли челобитные из Калуги и других соседних с нею городов, и оттуда люди всем миром заявляли, что не хотят другого государя, кроме Романова. Тянуть выбора нельзя было дольше. Козаки вскричали, что и они хотят царем только Романова, — козацким голосом нельзя было пренебречь. Если выбрать царя не по их мысли, то можно было ожидать больших смут. С избранием Романова выходило так хорошо, что и земские люди, и козаки могли быть

довольны. В неделю православия, 21 февраля, вышли на Красную площадь рязанский архиепископ Феодорит, келарь Авраамий, боярин Василий Петрович Морозов и хотели спрашивать множество народа, нарочно собранного для этого. Но им не довелось сказать ни одного слова. Народ, как только увидел и догадался, зачем его собрали и что у него хотят спрашивать, в один голос закричал: «Михаил Федорович Романов будет царь-государь Московскому государству и всей Русской державе». «Се быть по смотрению Всевышнего Бога!» — сказал тогда Авраамий Палицын. После этого отслужили молебен и на ектеньях помянули новоизбранного царя Михаила Федоровича.

Вскоре потом отрядили послов просить Михаила Федоровича на царство. Главными в том посольстве были: Федор Петрович Шереметев, князь Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский, из окольничих Федор Васильевич Головин, а с ними служилые всяких чинов (по спискам, а именно: стольники, стряпчие, дворяне московские, дьяки, жильцы, дворяне и дети боярские из городов, головы стрелецкие, гости, атаманы, козаки, стрельцы). Отправив посольство к царю, совет выборных людей и вся земская дума послали к Сигизмунду III гонца известить его польское величество, что Московское государство никоими мерами не желает более видеть сына королевского Владислава на престоле, но согласно заключить с Польшею мир и жить с поляками по-дружески, по-соседски; пусть поляки отпустят тех послов, которые поехали просить на царство Владислава и которых они несправедливо задержали; пусть также отпустят всех пленников русских, взятых в прошлое недавнее время, а русские отпустят в Польшу тех поляков, которых взяли в Москве в плен.

Новоизбранный царь жил тогда с матерью в Ипатском монастыре возле самого города Костромы. Туда прибыло московское посольство и явилось в монастырь 13 марта. Инокня Марфа и сын ее назначили им прийти и говорить о делах на другой день.

14 марта, после обедни, послы пригласили с собой костромское духовенство и подняли чудотворную икону Пресвятой Богородицы, называемую Федоровской, оттого, что эта икона, как гласило предание, была чудотворно принесена из Городца в Кострому святым Феодором Стратилатом. Мать и сын встретили шествие за воротами монастыря и, не желая соглашаться принимать чести, которую предлагали им приехавшие послы, отказывались было идти за иконами и хоругвями в церковь — насилу их упростили, и

они пошли. В соборной церкви послы объявили, что все Московское государство просит Михаила Федоровича принять скипетр царствия, а мать благословить сына на царство. Но и Михаил Федорович, и мать его не хотели поступить по желанию посольства. При этом инокиня Марфа Ивановна говорила так: «Сын мой еще не в совершенных летах, да притом Московского государства люди измалодушествовались — давали свои души прежним московским государям и не прямо служили им. Как грех ради всего Московского государства пресекась корень прирожденных государей и не стало блаженной памяти государя Федора Ивановича, московские люди избрали на престол Бориса Федоровича Годунова, и целовали крест служить и прямить ему и его детям, а потом, когда Бориса царя не стало, изменили сыну его царю Федору Борисовичу, отъехали к вору, который по злоумышлению польского короля назвался Димитрием Ивановичем, а потом царя Федора Борисовича с матерью вор предал горькой смерти. Потом московские люди вора, которого сами называли царем Димитрием, убили и сожгли, выбрали на престол князя Василия Ивановича Шуйского, целовали ему крест, и изменили: многие уехали к другому вору в Тушино, а те, которые туда не отъехали, скинули с престола царя Василия, постригли, да в Литву отдали с братьями. Как же можно быть на Московском государстве государю, видя такое непостоянство и крестопреступления, и убийства, и поругания над прежними государями? Да притом Московское государство от польских и литовских людей и от непостоянства русских людей разорено до конца; прежние царские сокровища давних лет литовские люди вывезли; дворцовые села, черные волости, пригородки и посады розданы в поместья дворянам и детям боярским, изопустошены; все служилые люди бедны; и кому повелит Бог быть государем, тому чем жаловать служилых людей и полнить свои государевы обиходы и стоять против своих недругов — польского короля и других пограничных государей? Мне благословить сына своего на царство разве на одно погубление; отец его, митрополит Филарет, ныне в плену у короля в Литве в великом утеснении, сведает король, что по прошению и по челобитью всего Московского государства, учинится государем его и мой сын, — король тотчас велит над отцом его, митрополитом Филаретом, какое-нибудь зло сделать; да ему, сыну моему, нельзя быть на Московском государстве без благословения отца своего».

На это послы возражали так:

«Государь Михаил Федорович! Не презри моления и челобитья всяких чинов людей Московского государства; а ты, великая старица инока, Марфа Ивановна, благослови сына своего государя на государство. Московского государства всяких чинов люди будут государю служить и прямить во всем. Его, государя, обрали на Московское государство российского царствия по изволению Всемилоственного в Троице славимого Бога и Пречистыя его Богородицы и всех святых, а не по его государскому хотенью: Бог положил так единомышление в сердцах всех православных христиан от мала до велика в Москве и во всех городах всего Российского государства, а прежние государи не так воцарились. Царь Борис сел на государство своим хотеньем, изведши государский корень, царевича Димитрия, и начал делать многие неправды; и Бог ему мстил за убиение и за кровь праведного беспорочного государя царевича Димитрия Ивановича богоотступником Гришкою Отрепьевым; а вор Гришка Отрепьев-расстрига приял от Бога месть по делам своим и злою смертью умер; а царя Василия избрали на государство не многие люди, и тогда, по вражью действу, многие города не захотели ему служить, а отложились от Московского государства; все это делалось волею Божией и грехом всех православных христиан: во всех людях Московского государства была рознь и межуособство; да в то же время, по злоумышлению польского короля, пришел калужский вор под Москву с русскими и с литовскими людьми, а гетман Жолкевский шел к Москве с польскими и литовскими, и немецкими людьми, и с русскими изменниками, и умысля, чем бы разорить Московское государство и прельстить людей, начал ссылаться с боярами, будто король Сигизмунд прислал его для христианского покоя и дает на престол московский сына своего, королевича Владислава, и тогда московские люди, видя себе отовсюду тесноту, били челом царю Василию, чтобы он государство оставил и христианская кровь перестала бы литься; и царь Василий царство оставил. Что учинилось над царевичем Федором Борисовичем и над царем Васильем, то учинилось Праведного Владыки судьбами и казнью всех людей: а ныне люди Московского государства покаялись все и пришли в соединение во всех городах. А чтоб король в Литве отцу государеву, митрополиту Филарету, какого зла не сделал, так бояре и всяких чинов люди посылают из Москвы к королю посланников и дают за отца государева, митрополита Филарета, в обмен многих польских и литовских людей».

Но Михайло Федорович и мать его не поддались на эти речи и по-прежнему отказывались. Их просили долго. Де-

ржали перед новоизбранным царем царский посох, а он не брал его. Наконец, послы сказали: «Только ты, государь Михайло Федорович, не пожалуешь всяких чинов Московского государства людей, и презришь их и наше слезное челобитье: не захочешь быть на Московском государстве, а ты, великая старица инока, Марфа Ивановна, не изволишь благословить сына своего на царство, то все люди будут в сетовании и печали, а Московское государство придет в колючее запустение от неприятелей, и святые Божия и апостольские церкви и многоцелебные мощи и чудные иконы будут опоруганы, и станется истинной православной христианской вере и православным христианам разорение и расхищение, и все это за души православных христиан взыщет Бог на тебе, государь Михаил Федорович, и на тебе, на великой старице иноке Марфе Ивановне».

Это подействовало на молодого царя и на его мать. Они согласились, как бы страшась наказания Божия за неисполнение всенародной просьбы. Царь взял в руки царский посох, а мать всенародно благословила его. Тогда все по чинам подходили к царской руке.

Через несколько дней новоизбранный царь выехал из Костромы и прибыл в Ярославль 21 марта, где и помещился в Спасском монастыре. Здесь он пробыл несколько недель и, выступивши из Ярославля, ехал в Москву медленно. Надобно было для него отстроить, приготовить и убрать царские палаты, потому что все в Кремле было поляками разорено. Молодой царь увидал, в какое тяжкое время суждено ему было принять царство. Земская дума, состоявшая из выборных людей, извещала царя из Москвы, что в казне нет ни копейки, а служилые люди обступали царя и просили жалованья. Бедность была так велика, что провожавшие царя служилые люди шли пешком, оттого что не на что было купить и содержать лошадей. Но больше всего опечалило царя то, что по Русской Земле и даже около Москвы бродили разбойники, по большей части козаки, и мучили людей. К самому царю явились на дороге обожженные, искалеченные люди. Увидавши их, царь так встревожился, что не хотел было ехать в Москву, и жаловался, что послы, которые приезжали просить его на царство, обманули его, уверяли, что Московское государство утешилось и находится в соединении, а выходит на деле совсем не то. Его, однако, упростило духовенство, и он 2 мая приехал в Москву, которая чуть начинала отстраиваться после разорения. 10 июля он венчался на царство.

Польский король как услышал, что русские выбрали себе иного государя, а сына его не хотят, хоть и хотел было идти с войском под Москву, да средств у него не было. Те польские войска, которые успели уйти из Московской Земли и не достались в плен русским, требовали себе уплаты жалованья не только за службу королю, но даже за те годы, когда они служили вору, называвшему себя Димитрием и стоявшему под Москвою в Тушине; а когда им жалованья не уплатили, как им хотелось, так они начали бесчинствовать в своей земле, как будто в неприятельской, и делать разные насильства людям. Тут королю и его сенату было уже не до Москвы. Король согласился, чтобы с обеих сторон — и с польской, и с литовской съехались паны и бояре на переговоры. Тогда пан Ходкевич, гетман литовский, тот самый, что подходил под Москву и ушел, потерявши запасы, говорил: «Ну, мы раздражили Москву; как бы она, поправившись, не заплатила нам и не взяла своего с лихвою!»

Хоть не скоро, а так случилось. Царь Михайло Федорович должен был еще потерпеть от поляков. Через пять лет королевич Владислав подходил к Москве отыскивать свои права, да ничего не сделал. Московское государство, однако, было так слабо и не могло скоро оправиться от разорения, что должно было уступить Польше Смоленщину и часть Северщины. Но при сыне царя Михаила, Алексее Михайловиче, дела московские исправились. Не только воротили Смоленщину и Северщину, но еще Малороссия сама добровольно присоединилась к Московскому государству, а лет через сто с лишком при императрице Екатерине Россия приобрела в 1772 году часть литовских земель; через двадцать один год после того, в 1793 году, овладела русскими землями, находившимися много лет в соединении с Польшею, а в следующем 1794 году Суворов с русскими войсками взял Варшаву. Польское государство погибло, и Россия расплатилась с Польшею за разорение Москвы и Московского государства в оное время и взяла, как предрекал гетман Ходкевич, свое с лихвою.

## КНЯЗЬ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ

В начале текущего года скончался князь Михаил Андреевич Оболенский, директор Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел.

Имя этого человека останется надолго памятным в летописях отечественной науки. Пребывая при Архиве около сорока лет, он находился в таком положении, что едва ли кто-нибудь из занимавшихся Русской историей по источникам, не был с ним в сношениях и не нуждался в его содействии. Московский Главный Архив Иностранных Дел, заключая в себе все сношения России с иностранными государствами до конца XVIII века и, кроме того, содержа в своих бумагах множество дел, касающихся прошлой внутренней жизни, представляет такую неисчерпаемую сокровищницу, из которой, при желании, умении и усидчивости, ученые деятели по Русской истории могут выносить на свет неизвестные материалы, служащие к разрешению возникающих вопросов и разъяснению темных сторон нашей старины. Понятно, что человек, который управлял и заведовал этим учреждением, держал его в порядке, уделял из него материалы для ученых работ в течение почти полувека, достоин доброй памяти, как равно и беспристрастной оценки, по крайней мере со стороны тех, которым по роду занятий приходилось к нему обращаться.

Князь Михаил Андреевич Оболенский родился в 1805 году. Фамилия его принадлежит к числу древнейших и знатнейших княжеских фамилий в России. Род князей Оболенских происходит от Михаила Всеволодовича Черниговского, замученного в Орде в 1246 году. Потомки Михаила Черниговского разветвились на многие линии и дали начало нескольким княжеским фамилиям и в числе их Оболенским. Сколько известно из истории, первый из князей,

носивших это прозвание, был Константин Иванович Оболенский, убитый Ольгердом в 1368 году. Князья Оболенские в свою очередь разветвлялись на линии с придаточными названиями и выделяли из своего рода многих знаменитых в истории лиц, прославившихся военными и государственными заслугами.

По обычаю времени, господствовавшему в знатных семействах, молодой князь был определен пажом 13-ти лет от роду, а потом вступил в военную службу в л. гв. Финляндский полк и на двадцатом году возраста был произведен в офицерский чин. Военная служба занимала его деятельность шесть лет. Князь Оболенский находился постоянно в одном и том же полку; в 1828 году он участвовал при осаде и взятии Варны и был ранен пулей в ногу, в сражении, происходившем 16 сентября.

Военное поприще однако не удовлетворило его. Дослужившись до капитана, в 1831 году, князь Михаил Андреевич вышел в отставку и вступил в статскую службу. В начале своей статской карьеры он состоял при председателе Временного Правления Царства Польского для особых поручений. По закрытии Временного Правления, оставаясь в прежнем звании, князь Михаил Андреевич занимался по собственной канцелярии Наместника Царства Польского, заведовая секретною частью.

Начальство ценило постоянное усердие и деятельность князя Михаила Андреевича. Но этого рода чиновническая карьера также не удовлетворила его, как и военная служба. Его природа требовала сферы ученой. В 1833 году он перешел в Министерство Иностранных Дел и был причислен к Московскому Главному Архиву.

Здесь-то собственно князь Оболенский почувствовал себя на своем месте. Сначала ему пришлось взять на себя должность переводчика, а затем главного смотрителя в Комиссии Печатания Государственных Грамот и Договоров. Его сочувствие к археологии, выразившееся в издании так называемой Супрасльской летописи в 1837 году, обратило на него внимание ученых обществ. В 1834 году он был уже членом Московского Общества Истории и Древностей России, а в 1839 избран членом Археографической Комиссии. Наконец в 1840 г. кн. Михаил Андреевич вступил в управление Московским Главным Архивом Министерства Иностранных Дел и находился в этой должности до самой смерти: сначала был он исправляющим должность, с 1848 г. утвержден управляющим Архивом, и только на основании Высочайше утвержденного 22 мая 1868 г. штата цент-



ральных установлений Министерства Иностранных Дел, переименован директором Архива. В продолжении этого времени он получал и другие ученые назначения. В 1853 г. возложено было на него непосредственное заведование учрежденным при Московской Оружейной Палате Государственным Древлехранилищем хартий, рукописей и печатей, а в 1856 г., по Высочайшему повелению, назначен председателем ученой Комиссии, Высочайше учрежденной по поводу возобновления палат бояр Романовых в Москве близ Знаменского монастыря, что на Государевом дворе.

Возобновление Романовских палат, предпринятое по мысли князя Оболенского и главным образом его стараниями, представляет важное явление в истории Русской археологии. Древний наследственный двор бояр Романовых в Москве на Варварке, по вступлении Михаила Романова на престол, был отдан Знаменскому монастырю и долго назывался «Старым Государевым Двором». В продолжение двух веков он подвергался пожарам, не раз постигавшим Москву, отстраивался вновь с переделками, а в конце XVIII и в начале XIX вв. совершенно потерял свое археологическое достоинство и подвергся тому, можно сказать, варварскому пренебрежению к старине, которое почти везде истребило и до сих пор не перестает истреблять наши древние памятники. Достаточно сказать, что начальство Знаменского монастыря отдало эту вековую историческую драгоценность в аренду на 26 лет одному Нежинскому Греку, который произвел переделки в здании, сообразно своему вкусу и практическим потребностям, а после Французского разорения Знаменский архимандрит представил начальству проект об уничтожении этого здания и замене его новым. К счастью, митрополит Филарет не допустил до этого. По восшествии на престол Императора Александра II-го решено было не только спасти и поддержать это здание, но и возобновить его по возможности в старом виде, руководствуясь всеми данными, какие для этого представляли археология и сохранившиеся памятники старины. Явилась мысль создать наглядный образец старинной Русской домашней жизни начала XVII века, доступный всем и каждому. Несмотря на переделки, старое здание все еще представляло в своем расположении черты, объясняющие как древнее жилье, так отчасти и приемы старинной жизни, связанные с устройством жилья. Чего не доставало, то было возобновлено на основании действительно существующих вещественных памятников древности. Так например, часть сводов была расписана узорами, которые были взяты целиком из орнаментов на подлинных грамотах царя Михаила Феодоровича. Чтобы

показать подробности древнего жилья, старинную утварь, одежду, обувь и разные принадлежности домашнего быта, собранные были, снесены и расставлены вещи, действительно принадлежавшие тому веку, который хотели воскресить в возобновленном доме Романовых: некоторые из этих вещей на самом деле были достоянием Романовых, другие же взяты были из Оружейной Палаты, куда достались от разных бояр, современников Романовых, или же собраны из монастырей и церквей и пожертвованы разными частными лицами и в том числе князем Оболенским. Наконец, за невозможностью достать некоторые подлинные образцы, делали их подобие, держась строго старых рисунков и описаний. Теми же правилами руководствовались и относительно наружного вида возобновленных палат. Строгая критика может найти недостатки и произвол в этом восстановлении древнего быта, и такая критика была бы желательна и очень полезна в видах науки; но во всяком случае, мысль представить наглядным образом древнее жилье, со всеми следами угасшей жизни наших предков, в высокой степени заслуживает уважения. Эта мысль главным образом принадлежала князю Михаилу Андреевичу.

Время долгого пребывания князя Михаила Андреевича в Архиве ознаменовалось многими полезными изданиями материалов для Русской истории и археологии. Им были изданы в свет три летописных памятника: Супрасльская летопись, Летописец Переяславля Суздальского и Новый Летописец.

«Супрасльская летопись», названная так потому, что она, по предположению, принадлежала Супрасльскому монастырю близ Белостока, заключает в себе две сокращенные летописи: Новгородскую и Киевскую, из которых последняя представляет важность по отношению к передаваемым событиям XV века. Издатель, желая соблюдать возможнейшую точность, печатал ее славянскими буквами, не выпуская ни одной черты сообразно рукописному тексту — мысль, которой впоследствии держался г. Тихонравов в издании Памятников отечественной письменности и которой пользу создала Археографическая Комиссия, издавая фотографические снимки Лаврентьевского и Ипатьевского списков.

«Летописец Переяславля Суздальского», изданный также согласно рукописному тексту, заключает в себе вариант первоначальной летописи с важными отменами и с самобытным продолжением, касающимся дел восточной Руси, преимущественно Переяславского княжения, прерываясь между 1214 и 1219 годами. Летопись эта заключает в себе некоторые единственные и драгоценные черты древнего до-татарского строя. Заметим только, что почтенный издатель

придавал ей слишком большое значение, считая безусловно правильными все встречаемые в ней отмены против других известных нам списков первоначальной летописи, тогда как, по нашему крайнему убеждению, в ней видны искажения, внесенные позднейшими переписчиками.

Летопись «Новый Летописец», составленная в царствование Михаила Феодоровича, представляет довольно подробное изложение событий царствования Феодора Иоанновича, Бориса, а более всего Смутного Времени, и составляет вариант 8 тома Никоновой летописи и так называемой Летописи о мятежах, но более правильной, полной и вероятно первоначальной редакции.

Из собрания исторических актов, с которыми князь Михаил Андреевич познакомил ученую публику, первое место занимает Книга Посольская Метрики Великого Княжества Литовского, заключающая дипломатические сношения Литвы в XV веке и содержащая важные источники для истории царствования Иоанна Грозного.

В 1838 году князь Михаил Андреевич начал издавать сборник под названием: «Сборник князя Оболенского», которого по 1840 год вышло одиннадцать выпусков. «Часть актов, вошедших в мой сборник (объясняет издатель) хранится в Главном Московском Архиве Министерства Иностранных дел; другая принадлежит собственно мне и предназначена впоследствии также поступить в Главный Московский Архив Министерства Иностранных Дел. Вообще, со всех означенных актов не было до сих пор сделано хороших списков. Я решился принести пользу месту моего служения, снабдив их оными, а потому и печатаю ныне каждый акт отдельно».

В первом выпуске помещены переговоры Литвы с Польшею, по поводу избрания в короли Сигизмунда I, и грамоты Менгли-Гирея, Крымского хана.

Во втором — розыск о побеге из Москвы князя Рязанского в 1521 году, собственно показания разных лиц, прикосновенных к этому делу, представляющие черты древних приемов судопроизводства.

В третьем напечатано следственное дело Максима Грека, любопытные показания Максима Грека, Берсенья-Беклемишева и Феодора Жареного и их очные ставки между собою, показывающие настроение умов в Москве в эпоху великого князя Василия Ивановича.

Четвертый выпуск заключает в себе небольшой отрывок о неплодии великой княгини Соломонии, с оригинальными чертами старинных суеверий.

Пятый и шестой посвящены двум Литовским посольствам в Москву, в царствование Ивана Грозного, 1556 и 1576 гг.

Седьмой и восьмой относятся к царствованию Бориса Федоровича.

В седьмом на Польском языке инструкция, данная от Сигизмунда III Льву Сапеге с товарищами, отправленному в 1600 году к царю Борису для поздравления с восшествием его на престол; она включает в себе любопытные предположения о возможности соединить Московское Государство с Польско-Литовскою Речью Посполитою, а также завести флоты на Черном и Балтийском море и укрепить пределы обоих государств.

В восьмом — посольство в Польшу Постника Григорьевича Огарева в 1605 году с письмом Бориса к королю, в котором Московский государь подробно излагает историю чернеца Гришки Отрепьева, считает этим лицом явившегося в Польше самозванца, жалуется на Вишневецких и других панов, оказывающих ему покровительство и требует казни Самозванца, угрожая в противном случае кровопролитием, которого вина должна пасть на поляков. Этот выпуск снабжен примечаниями, с выписками из разных актов, касающихся явления Самозванца и споров, возникавших в то время между Польшею и Московским государством.

В девятом выпуске помещена грамота Тушинского Вора в Смоленск, с убеждениями признать его законным государем, где между прочим пересчитываются разные появившиеся в то время самозванцы в различных местах Руси и называющие себя именами разных царевичей. Самозванец, указывая на этот факт, как на великое несчастье для Московского государства, приписывает его «еретичеству, вражьему совету, злокозненному умыслу», называет этих мнимых царевичей бездельниками и ворами, приказывает ловить их, бить кнутом и сажать в тюрьму. Так как письмо это писано человеком, принадлежавшим к разряду тех же лиц, которых он обвиняет, то оно невольно представляется крайне комическим и вместе характеристичным для своей эпохи.

В десятом выпуске напечатаны два очень любопытные документа, относящиеся к Смутному Времени. Первый из них: Ответы Сигизмундовых послов Николая Олесницкого, Александра Гонсевского, Станислава Витовского и князя Ивана Друцкого-Соколинского, данные «на ответе» в Москве, 1608 года, думным боярам. Второй документ — ответ Литовских послов (князя Христофора Казимирского, Яна Карла Ходкевича с товарищами) князю Ивану Михайловичу Воротынскому, данный во время переговоров на реке

Вапе в 1615 году. В обоих документах излагаются подробно, с польской точки зрения, события предшествовавших годов Смутного Времени, и потому они представляют особенно важный источник для истории этой эпохи.

В одиннадцатом помещены не материалы, но замечания, сделанные на первой странице нашей первоначальной летописи. Автор разбирает некоторые мнения по вопросу о призвании варягов и сообщает несколько собственных догадок относительно имен и речений, встречающихся в договорах Олега и Игоря.

В 1847 и 1848 годах князь Михаил Андреевич издал четыре брошюры под названием: «Иностранные сочинения и акты, относящиеся до России», помещенные также в Чтениях Имп. Московского Общества Истории и Древностей.

В брошюре под № 2 помещено письмо Литовского гетмана Радзивилла, в 1564 году, о поражении Московских войск на реке Улс, с критическими примечаниями издателя, касающимися исследования подробностей этого события. К этому письму приложены извлечения из рукописей библиотеки Главного Московского Архива Министерства Иностранных Дел, заключающие в себе известия о том же событии других современников. Сверх того, в том же выпуске помещена, на Немецком языке, с Русским переводом напечатанная в XVI веке брошюра об осаде города Вендена в 1579 году. Это образчик одной из множества брошюр в таком роде, которые печатались в Европе о свежих событиях и имели значение как бы газетных известий. Брошюра эта, кроме своего исторического интереса по отношению к фактам, заслуживает внимания по трем изображениям Московских людей, объясняющим для нас наружный вид и одежду наших предков. Первая картинка изображает воина в доспехах с секирою в правой руке, с луком и колчаном; вторая есть портрет взятого в плен Московского дьяка Андрея Клобукова, а третья представляет грудное изображение князя в парадной одежде.

Остальные три брошюры относятся к Смутному Времени. Здесь, в брошюре под № 4, напечатан Итальянский подлинник с Русским переводом известной реляции об успехах первого Самозванца против Бориса до венчания его на царство, составленной в 1605 году еще до смерти Лжедмитрия. Эта брошюра известна под именем реляции «Бареццо Барецци». Ученый Чиаппи приписывает ее знаменитому иезуиту, Антонию Поссевину или, по крайней мере, что она написана и напечатана под его руководством. — В брошюре под № 1 напечатана в Русском переводе в первый раз очень редкая

книжка шведа Матвея Шаума, составленная в 1614 году, под названием «Tragoedia Demetrio-Moscovitica». Автор, сам служивший в войске Делагарди, излагает историю первого Самозванца, кратко описывает царствование Шуйского и останавливается с особенными подробностями на завоевании Новгорода и других северных городов шведами. — В брошюре под № 3 издатель поместил с рукописи, находящейся в С. Петербургской Публичной Библиотеке, Польский дневник 1609 года, заключающий в себе день за днем поход короля Сигизмунда под Смоленск и начало военных действий под этим городом. В том же выпуске помещен латинский подлинник с русским переводом инструкции, данной придворному секретарю короля Сигизмунда III Самуилу Груздецкому, отправленному в посольстве к Испанскому королю Филиппу III в 1612 году. Этот документ важен для нашей истории потому, что в нем излагается история Смутного Времени от появления Самозванца, который здесь прямо признается обманщиком, до сведения Шуйского с престола. Польский король обращает внимание Испанского на то, что с одной стороны москвитяне, еще не сокрушенные многими поражениями, при чрезвычайном изобилии людей, воспротивляются всеми силами, а с другой стороны турки, зная, что польский король сделается для них страшен, когда приобретает огромное Московское государство, замышляют неприязненные действия. На этом основании польский король убеждает испанского короля, ради общего Христианского дела, угрожать туркам и отвлекать их силы от нападения на Польшу. Достоин замечания, что польский король считает завоевание Московского государства делом, которого требует «польза Христианского общества», но вместе с тем сознается, что довести до конца это дело очень трудно, так как Польское королевство немало потерпело от внутренних мятежей прошедшего времени, и собственная казна его величества от этого уменьшилась и совершенно истощилась. «Ваше королевское величество», говорится в этой инструкции к испанскому королю от короля польского, «питаю великое благоговение к католической вере и по благорасположению вашему к Его Королевскому Величеству, сами рассмотрите, в состоянии ли вы оказать какую-нибудь благовременную и необходимую помощь не только Его Королевскому Величеству, но и общему делу Христианскому. Все сия светлейший король мой отдает на произвол Вашего Королевского Величества. Если же что-либо в этом роде Ваше Величество сделаете без ущерба для себя, то не только он сам и его потомки, связанные узами крови с детьми Вашего Величества, но и все Христианское общество весьма много будет обяза-

но Вашему Величеству, и вы приобретаете себе вечное имя за утверждение Христианства». Таким образом этот документ представляет нам особенную важность с той стороны, что показывает, в какой степени поляки старались представить в глазах Европы дело завоевания Московского Государства делом, касающимся не одной Польши, но интересов всего католического мира.

Эпоха Смутного Времени, по-видимому, возбуждала особенное к себе участие князя Михаила Андреевича. Кроме указанных нами изданий, он перепечатал: «*La légende de la vie et de la mort de Demetrius l'Imposteur*». Это известнейший рассказ, составленный очевидцем; каким-то голландским купцом, и в свое время переведенный на все Европейские языки.

К материалам, объясняющим ту же замечательную эпоху, мы отнесем также современный портрет первого Самозванца, исполненный при жизни его художником Лукою Кильяном и воспроизведенный в гравюре, по заказу князя Оболенского, в 1838 году, в Москве, академиком Скотниковым. Прибавим наконец, что будучи лично знакомы с покойным князем, мы видели у него в 1867 году толстую, хорошо переписанную тетрадь разных Русских актов, относящихся преимущественно ко времени царствования Шуйского и борьбы его с Тушинским вором. Там помещено было между прочим большое количество нигде ненапечатанных отписок воевод, игуменов, городов и разных ведомств и лиц. Князь говорил нам, что он готовил все переписанное к печати; но, к сожалению, собрание это не появилось в свет.

В 1850 году князь Михаил Андреевич издал любопытный памятник, относящийся к истории Ивана Васильевича Грозного. Это соборная грамота Константинопольского патриарха Иоасафа, утверждающая и благословляющая Московского государя в царском звании. Оказывается, что хотя Иван Васильевич принял царский венец от митрополита Макария еще в 1547 году, но для большего блеска и значения желал освящения нового сана со стороны Восточной Церкви, с которою Русская всегда находилась в непрерывном единении. Воспользовавшись Греческим посольством от патриарха Дионисия, приехавшим в 1557 году в Москву за милостынею, царь с патриаршим посланником, митрополитом Евгрипским и Кизическим, послал к преемнику Дионисия Иоасафу спасского архимандрита Феодорита с просьбою о благословении на царство. Вследствие этого патриарх в 1561 году собрал восточное духовенство на собор, который от лица Вселенской Церкви утвердил Москов-

ского государя в его царском сане. В этом смысле прислана была царю грамота, напечатанная князем Оболенским по-гречески с приложением старинных переводов и с объяснениями. Достойно замечания, что Греческое духовенство в подкрепление прав Московского государя на царское достоинство приводило главным образом древние родственные связи и союзы русских князей с греческими императорами, давая очень важное значение преданию о том, будто Владимир Мономах, венчаясь на царство, получил царские регалии от деда своего Константина X-го Мономаха.

В 1856 году, по случаю коронации Императора Александра II-го, князь Оболенский издал другой старинный памятник: «Венчание на царство Михаила Феодоровича», но, к сожалению, это великолепное издание, с превосходными рисунками, было отпечатано в очень незначительном числе экземпляров и не составляет достояния публики.

Из других изданий мы упомянем: ярлык Тохтамыша-хана к Ягайлу, изданный в 1850 году в монгольском подлиннике, с старинным современным переводом и новыми переводами наших ориенталистов: Казем-Бека и Березина. В этом ярлыке, писанном в 1392—1393 г., хан Золотой Орды извещает польского короля Владислава Ягайла о нашествии на него Тимура, об измене своих уланов и беков и предлагает по-прежнему свободный ход торговым людям и союз с целью взаимной обороны. Замечательно, что содержание монгольского подлинника, найденного в Главном Архиве Министерства Иностранных Дел в числе бумаг, некогда находившихся в Краковском коронном архиве, не вполне точно и в распространенном виде передается в современном старинном переводе, и проф. Казем-бек объясняет это тем, что, вероятно, переводчики руководствовались не одним только текстом присланной грамоты, но и изустными объяснениями ханских послов. Во всяком случае, документ этот, сообщенный ученому свету князем Оболенским, по приговору ориенталистов, был немаловажным явлением в науке.

В 1861—1862 гг. князь Оболенский, в качестве управляющего Комиссией Печатания Государственных Грамот и Договоров, издал «Письма Русских государей и других особ царского семейства», заключающие переписку Петра I с Екатериною, любопытные материалы для биографии Петра Великого, переписку царицы Прасковьи Феодоровны и дочерей ее Екатерины и Прасковьи, царевича Алексея и царицы Евдокии Феодоровны и герцогини Курляндской Анны Ивановны.



Кроме отдельных изданий, князь Михаил Андреевич помещал несколько археологических и исторических материалов и статей в повременных изданиях: так в Архиве Калачева, с которым покойный князь был постоянно в ученых сношениях, был помещен проект «устава о служебном старшинстве бояр, окольных и думных людей по тридцати четырём степеням, составленный при царе Фёдоре Алексеевиче». Этот проект, не вошедший в закон, состоит в связи с уничтожением местничества и любопытен в том отношении, что может отчасти назваться предварением того, что было сделано Петром Великим в его табели о рангах, с той разницей, что в проекте Фёдора Алексеевича, при сохранении местных Русских чинов, заимствовались новые, но не от Запада, как это было при Петре Великом, а из угасшей Византийской Империи.

В «Архиве исторических и юридических сведений» того же г. Калачева (книга 5, 1859 года) князь Оболенский напечатал три акта, относящиеся к следственному делу патриарха Никона, а в 1-й книге того же года представил свое мнение по вопросу, сильно занимавшему тогда наше образованное общество, именно: о распространении грамотности в народе. По мнению князя, с большею пользою могли служить для народного чтения наши летописи. «Если», говорил он, «в летописях встречаются некоторые места и слова не совсем ясные для простолюдина, нет однако сомнения, что большая часть сказанного здесь для него удобопонятно и должно сразу расширить его мысли, заинтересовать его любопытство проводить о том, что когда-то в старину деялось на родине и, удовлетворяя этому стремлению, усилить в нем жажду узнать еще больше». Мысль эта была принята Археографической Комиссией; но способ, с каким было приступлено к ее осуществлению, оказался неприменимым, и предприятие расстроилось. В «Русском Архиве» 1868 г., № 1, князь Михаил Андреевич сообщил найденный им в бумагах Москов. Гл. Архива М-ва Иностран. Дел любопытный приказ Наполеона I, бывшего еще генералом, от 13 июня 1798 г. о том, чтобы на островах Средиземного моря, населенных Греками, Римско-Католические священники отнюдь не совершали богослужения в Греческих церквях. В «Известиях восточного отделения И. Археологического Общества», кн. 1-я вып. 4 и «в Известиях И. Археологического Общества» т. II вып. 1, князь Оболенский сообщил сведения о надписях на старинных Русских грамотах XV века на Татарском языке Монгольскими буквами, доказывающих, по мнению князя, тот любопытный и доселе неиз-

вестный факт в древней нашей истории, что в период Монгольского владычества князья наши должны были представлять свои грамоты на утверждение хана и его чиновников.

В Известиях Им. Ак. Наук 1855 г. т. IV (вып. 3.) князь Оболенский поместил: «Новое свидетельство о родопочитании» — выписку из Славянского перевода хроники Иоанна Маламы, показывающую, что слово «рождение» или рождение имело смысл судьбы. В «Библиографических Записках» за 1859 год мы встречаем короткие статьи князя Оболенского: «Протоколы Тайного Совета» (Библ. Зап., 1858 г., т. I, № 23) — реферат о статье под этим названием, напечатанной в Чт. Им. Общества Истории и Древностей 1858 года. Князь Оболенский между прочим указывает неправильности и нарушения смысла в изданных материалах и прилагает образчик трех подлинных протоколов Верховного Тайного совета 1726 г., извлеченных из Архива Иностранных Дел. В статье: «Сведения об авторе Ядра Российской Истории, А. И. Манкееве+1723 г.» (Библ. Зап. 1858 г., т. I, № 2) автор доказывает, что сочинитель известной книги: «Ядро Российской Истории», которую некогда приписывали князю Хилкову, был служивший при князе Хилкове секретарем Алексей Ильич Манкеев, подписывавшийся званием переводчика.

«О переводе кн. Курбского сочинений Иоанна Дамаскина» (Библ. Зап. 1858 г., т. I, № 12). Здесь описывается рукопись XVI века, принадлежащая Московскому торговцу Пискареву и содержащая перевод на Славянский язык сочинений Иоанна Дамаскина, и доказывается, что переводчиком их был не кто иной, как знаменитый изгнанник князь Андрей Михайлович Курбский, причем целиком напечатано «Предословие Андрея грехыми исполненного». Видно, что Курбскому помогал в этом деле князь Михаил Андреевич Оболенский, одноименец и предок нашего князя: «И набых книгу грецки по единой стране писанную, а на другую поримски, и к тому делу призвах и умолих в помощь себе Михаила Андреева сына Оболенского (яже есть з'роду княжат Черниговских) сам бо сему недоволен бых; понеже во старости уже философских искусств приучахся, а он во младых летех прошел и их научился».

«Русская типография в Париже в 1790 г.» (Биб. Зап. 1858 г., т. I, № 5). Из этой статьи мы узнаем, что Дубровский, известный собиратель редких книг, рукописей и миниатюр, которого собрания находятся в Публичной Библиотеке, будучи секретарем посольства в Париже, завозил в 1790 г. типографию в этом городе с целью печатать собственные сочинения, которых судьба однако неизвестна.

«Сведения об иноземце Мартине Нейгебауере, бывшем наставнике царевича Алексея Петровича» (Биб. Зап. 1859 г., т. II, № 20). Здесь излагается содержание хранящегося в Гл. Московском Архиве Иностранных Дел следственного дела о Нейгебауере, высланном за границу за самовольное принятие на себя звания гофмейстера и неуважительное обращение с близкими царскими людьми. Оно включает очень любопытные черты нравов того времени. Подробности всего этого дела вошли в Историю г. Соловьева.

«Сведения о (гр. Локателли) авторе книги *«Lettres Moscovites»*» (Библ. Зап. 1859 г., т. II, № 18, отд. оттиски, М., 1859 г.). Некто итальянец Локателли, явившись в Россию с фальшивым паспортом, был задержан по подозрению в шпионстве, в продолжение целого года находился под арестом и по недостатку улик выслан за границу. В 1735 году он напечатал книгу *«Lettres Moscovites»*, в которой изображал в черных красках Россию и в особенности проживающих там Немцев. Так как книгу эту собирались перевести на Английский язык, то посланник наш Антиох Кантемир жаловался канцлеру Остерману, что эта книга крайне вредна, так как она будет отбивать мастеровых от поездки в Россию. Русское правительство пыталось потребовать от Английского, но безуспешно запрещения этой книги и по настоянию Кантемира препоручило издать эту книгу с возражениями и с карикатурой на автора. В этой статье помещены письма Кантемира и ответ Остермана.

В Журнале Землевладельцев напечатаны князем Оболенским:

«Образцы старинных записей вольных людей в крестьяне, в бобыли и во двор в холопи» (1858 г., т. I, № 3). Сельские инструкции 1765—1766 гг. 1) Инструкция сотскому. 2) Докторское наставление. 3) Инструкция голове. Из Сборника князя М. А. Оболенского. (Журн. Землевлад. 1859 г. т. VI, № 24). В первой заключаются полицейские правила благочиния и благоустройства в селе. Во второй заключаются правила о содержании и лечении скота. Третья касается сельского управления. «Инструкция 1763 г. тит. сов. А. Шетакову, каким образом поступать в собственной ее императорского величества вотчине, в селе Бобриках, с деревнями, кн. С. Гагарина. Из Сборника кн. М. А. Оболенского» (Журн. Землевлад. 1859 г. т. VI, № 23.) Инструкция эта представляет тот интерес, что знакомит нас с тогдашними повинностями крестьян и вообще с системою тогдашнего сельского управления.

«Проект д. с. с. и члена дворцовой канцелярии Ивана Елагина об определении в неотъемленное владение дворцо-

вым крестьянам земли и о раздаче казенных деревень, за известную плату, на временное и определенное владение вольным содержанием» (Журн. Землевлад. 1859 г., т. VI, №№ 21 и 22).

В «Чтениях Московского Общества Истории и Древностей Российских» 1859, № 2, кн. Михаил Андреевич поместил очень любопытную статью: «Рассказ Москвича о Москве, во время пребывания в ней Французов, в первые три недели сентября 1812 года»<sup>1</sup>.

В последнее время своей жизни, князь Михаил Андреевич занимался вопросами, касающимися начала нашей истории, печатал в небольшом числе экземпляров свои «Замечания», имевшие целью объяснение первых страниц наших летописей и рассылал их ученым и своим знакомым. Несколько корректурных листов в продолжение этих ученых работ остались памятником его неутомимой и неоконченной деятельности. Пишущий эти строки имел честь также получить от князя Михаила Андреевича эти Замечания и согласно его желанию вел с ним ожесточенную письменную войну, так как мы, признавая известия о событиях X и IX века у нашего летописца не более, как плодом преданий и изустных рассказов, ходивших в народе и без сомнения носящих на себе следы вымысла и изменений, никак не могли стать на точку зрения почтенного кн. Михаила Андреевича, который видел в них несомненную фактическую правду. Основываясь на догадках, он признавал древним летописцем нашим того священника Григория, о котором упоминает император Константин Порфирородный в своем сочинении о церемониях Византийского Двора, указывая его имя в числе лиц, составлявших свиту княгини Ольги во время ее приезда в Константинополь. Наша горячая полемика не нарушила, однако, того доброго внимания со стороны князя, которым мы пользовались много лет, находясь с ним в частых сношениях по поводу наших занятий в Московском Главном Архиве Иностранных Дел, требовавших неоднократных поездок в Москву и свиданий с князем Оболенским.

Мы слышали в последнее время от самого Михаила Андреевича об его желании издать собрание старинных печатей государей и частных лиц, а также собрание портретов государственных канцлеров и управлявших Посольским Приказом (стены здания Главного Архива Иностранных

---

<sup>1</sup> Здесь исчислены далеко не все труды и ученые сообщения князя Оболенского. Издание наше обязано ему также многими вкладыми, как видно по указателю к Р. Архиву за 10 лет. П. Б.

Дел увешаны этими портретами); но смерть не допустила его исполнить эти намерения, как равно осуществить его мысль о перенесении Архива на новое место. До сих пор Главный Московский Архив Иностранных Дел помещался в старом казенном доме близ Ивановского монастыря. Помещение это не совсем удобно в особенности потому, что дела хранились в сыром подвале. Князь Михаил Андреевич несколько лет хлопотал, преодолевая всякого рода препятствия, о перенесении Архива в казенный дом на Воздвиженке, занимаемый некогда упраздненным Горным Правлением, дом, принадлежавший в былые времена Нарышкиным и бывший местом рождения царицы Натальи Кирилловны. Цель его была достигнута: здание это было отдано под Архив, но он не дожил до возможности трудиться в новом помещении.

Князь Михаил Андреевич постоянно жил в Москве в собственном доме на Арбате у Николы Явленного, отлучаясь часто летом в родовое свое имение, в село Глухово, Дмитровского уезда, в 60 верстах от Москвы, уже около 300 л. состоящее в роде кн. Оболенских. Там он и погребен.

Он оставил по себе дочь княгиню Анну Михайловну, в замужестве за князем Григорием Дмитриевичем Хилковым. Образ жизни его был уединенный; но, удаляясь от светского общества, он любил беседу с учеными людьми, и очень много читал, проводя иногда целые ночи за старыми бумагами, что вредно подействовало на его здоровье. Кончина единственного сына сильно потрясла его, и с тех пор он стал жить еще уединеннее. Страдая тяжелою болезнью, в начале 1873 г. князь Оболенский решил отправиться для излечения за границу и, проездом через Петербург, остановился в помещении Археографической Комиссии, где и скончался 12 января в 2 часа пополудни. Быв всегда добрым христианином, он перед кончиной своею исповедовался, приобщился святых таин и соборовался. Смерть постигла его среди старых бумаг и исторических материалов, с которыми прожил он большую часть жизни и которые так горячо любил во всю свою жизнь.

9 марта 1873.

## СОДЕРЖАНИЕ

Старинные Земские Соборы .....	5
Очерки торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях .....	65
Старинные Земские Соборы на Руси .....	266
О значении критических трудов Константина Аксакова по русской истории .....	273
Лекции по русской истории. Ч. I. ....	297
Бытовые очерки из русской истории XVIII века	
I. Московские торговки .....	371
II. Царский родич .....	384
III. Черви .....	392
IV. Тайновидец .....	407
Об отношении русской истории к географии и этнографии .....	424
По поводу мыслей светского человека о книге «Сельскос духовенство» .....	441
Давно ли Малая Русь стала писаться Малорос- сией, а Русь — Россиею .....	448
О некоторых фонетических и грамматических особенностях южнорусского (малорусского) языка, не сходных с великорусским и польским ..	456
Личности Смутного времени .....	467
Кто был первый Лжедмитрий? .....	496
Ксения Борисовна Годунова .....	545
Кто виноват в Смутном времени? .....	563
Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание царя Михаила .....	590
Князь Михаил Андреевич Оболенский .....	620

*„Г-н Иловайский уже много лет занимает в нашей литературе почетное место самого талантливого деятеля по отечественной истории и притом единственного, посвящающего труды свои не на исследования частных исторических вопросов, а на стройное составление целой истории в разные ее периоды“.*

**Н. И. Костомаров**

(Из рецензии на „ИСТОРИЮ РОССИИ“ Д. Иловайского. 1885 г.)

## **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

Сочинениями русского историка второй половины XIX века Дмитрия Иловайского зачитывались многие его выдающиеся современники. А на его учебниках по всемирной истории для гимназий воспитывалось не одно поколение, в том числе и большинство поэтов и художников "Серебряного века". Патриотически-национальная концепция, блестящий литературный слог, доступное, популярное изложение делают его книги актуальными и необходимыми и в наши дни.

В серии *"Актуальная история России"* издательство "Чарли" приступает к выпуску собрания сочинений **ДМИТРИЯ ИЛОВАЙСКОГО.**

Читайте в 1995 г. его **"ИСТОРИЮ РОССИИ"**:

**"НАЧАЛО РУСИ"** ("Разыскания о начале Руси")

**"СТАНОВЛЕНИЕ РУСИ"** ("Период Киевский и Владимирский")

**"СОБИРАТЕЛИ РУСИ"** ("Московско-Литовский период...")

**"ЦАРСКАЯ РУСЬ"** ("Московско-царский период")

**"НОВАЯ ДИНАСТИЯ"** ("Смутное время Московского государства", "Эпоха Михаила Федоровича Романова")

**"ОТЕЦ ПЕТРА ВЕЛИКОГО"** ("Алексей Михайлович и его ближайшие преемники")

Заявки на эти и другие книги серии присылайте по адресу:  
107066. Москва, ул. Старая Басманная, д. 20, 3 этаж.

Наш тел./факс — 263-26-42.

*Наши книги продаются на книжных развалах и в магазинах "Библио-глобус", "Дом книги", "Мир прессы — кругозор", "Педагогическая книга", "Торговый дом "Москва", "Надежда" и др.*

### У в а ж а е м ы е ч и т а т е л и !

Мы заканчиваем издание собрания сочинений Н.И. Костомарова. Однако серия *"Актуальная история России"* (АИР) будет продолжена выпуском книг других выдающихся русских исторических исследователей.

Николай Карлович Шильдер (1842-1902) считался официальным, или придворным, историком. Может быть, поэтому его работы не переиздавались в советское время (как будто у нас не существовала своя официальная история, которая, кстати, не раз переписывалась с приходом каждого нового правителя?).

Н.К. Шильдер проделал гигантскую работу, собрав и обобщив тысячи архивных документов, писем, рассказов очевидцев событий и выпустив в итоге жизнеописания нескольких русских царей 18-19 в.в. Работы эти уникальны тем, что они день за днем — от рождения и до смерти прослеживают жизнь царских особ: воспитание, помолвка, бракосочетание, коронавание, окружение, интриги при дворе, балы, участие в государственной деятельности, военные кампании, покушения.

Таким образом, перед читателем встает панорамная картина великосветской жизни, которая, конечно же, при монархическом управлении является важнейшей частью истории государства. На труды Н.К. Шильдера, как бы к ним ни относились иные прогрессистски-демократические круги в прошлом, есть ссылки у выдающихся русских историков. А кроме того, это поистине увлекательное чтение, своего рода прикосновение к *"Тайнам петербургского и кремлевского дворов"*. Итак, читайте в ближайшее время выходящие в издательстве "Чарли" книги из цикла **"ИМПЕРАТОРЫ РОССИИ"**:

**НИКОЛАЙ ШИЛЬДЕР:**

**"Император Павел Первый"**

**"Император Александр Первый, его жизнь и царствование"** (в 4-х т.т.)

**"Император Николай Первый, его жизнь и царствование"** (в 2-х т.т.)

Цикл будет продолжен сочинениями других историков:

**В.И. БИЛЬБАСОВ.**

**"История Екатерины II"**

**С.С. ТАТИЩЕВ.**

**"Император Александр II, его жизнь и царствование"** (в 2-х т.т.)

**К.Н. КОРОЛЬКОВ.**

**"Жизнь и царствование императора Александра III"**

**В.В. НАЗАРЕВСКИЙ.**

**"Царствование императора Александра III"**

*Ваши заявки присылайте по адресу:  
107066. Москва, ул. Старая Басманная, д. 20, 3 этаж.  
Наш тел./факс: (095)263-26-42.*



*Читайте в 1995 году,  
выпущенные издательством "Чарли"  
в серии "Актуальная история России" (АИР)  
следующие книги сочинений Н. И. Костомарова:*

- "Смутное время Московского государства"**
- "Богдан Хмельницкий"**
- "Кудеяр"**
- "Бунт Стеньки Разина"**
- "Русские нравы"**
- "Раскол"**
- "Руина"**
- "Казаки"**
- "Русская республика"**
- "Старый спор"**
- "Славянская мифология"**
- "Земские соборы"**
- "Русь крещеная" ("Господство дома Св. Владимира")**
- "Государи и бунтари" ("Господство дома Романовых от  
Михаила Федоровича до Петра I")**
- "Окно в Европу" ("Господство дома Романовых от  
Петра Великого до Екатерины Великой")**
- „Русские инородцы“ — дополнительный 16-й том**
- „Самозванцы и пророки“ — дополнительный 17-й том**

**По вопросам приобретения и реализации книг  
Н.И.Костомарова обращаться по адресу:**

**107066. Москва, ул. Старая Басманная, д. 20, 3. этаж.  
Фирма и издательство "Чарли".  
Наш тел./факс: (095)263-26-42.**

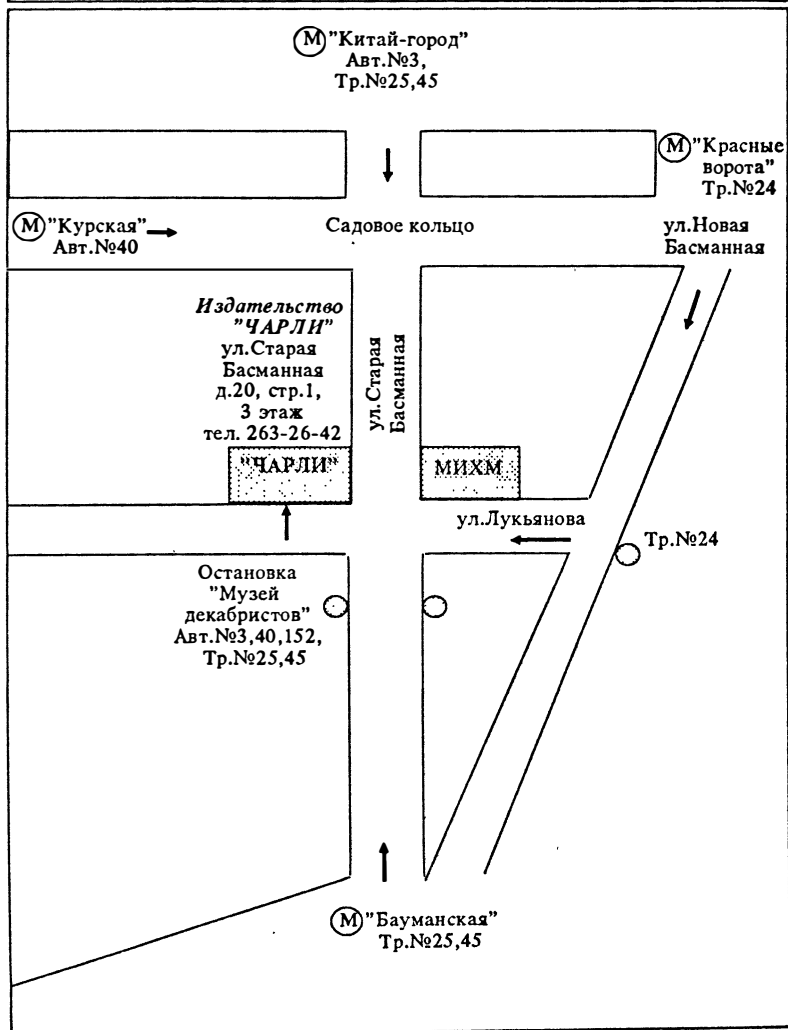


Полиграфия,  
издательские  
услуги,

*Чарли*

книги оптом  
и в розницу

263-26-42



В НАЧАЛЕ 1996 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЧАРЛИ"  
ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ  
ТРИ КНИГИ Н. КОСТОМАРОВА:

"РУСЬ КРЕЩЕНАЯ"  
"ГОСУДАРИ И БУНТАРИ"  
"ОКНО В ЕВРОПУ".

ВЫПУСК НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ УЧАСТИЯ В ИЗДАНИИ  
КНИГОТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ВЫПУСКА КНИГ.

ИЗДАНИЕ КНИГИ Н. КОСТОМАРОВА  
"ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ"  
ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ СОДЕЙСТВИИ ТОО "АЛГОРИТМ":

Москва, ул. Новослободская, д. 49 / 2  
Тел. (095) 978-10-64

Н.И. Костомаров

**ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ.** *Исторические монографии и  
исследования.* (Серия «Актуальная история России»).

Редактор П. Ульяшов

Художник В. Бобров

Сдано в набор 15.IV.95. Подписано в печать 15.X.95.  
Формат 84х108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс».  
Печать высокая. Печ. л. 20,00. Усл. печ. л. 33,60. Уч.-изд. л. 38,88.  
Тираж 15 000 экз. Заказ 37. Цена договорная.

Фирма «Чарли»

107066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 20, 3 этаж.

АООТ «Рыбинский Дом печати»

152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

